ЖАН ЖОРЕС

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

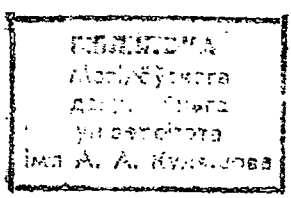
Том III

КОНВЕНТ (I)

ВЫПУСК I

РЕСПУБЛИКА (1792)

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕНТ.

ЧАСТЬ I.

Введение. От 10 августа до 21 сентября.

ГЛАВА I.

Парижская Коммуна после 10 августа.

Заканчивая историю Учредительного Собрания, я показал, что тотчас после 10 августа все партии стремятся овладеть революционным движением и обеспечить себе возможно большее влияние на будущий Конвент. В это время Парижская Коммуна пользовалась большой властью, которую хотела сохранить и усилить. Ведь десятого августа она решилась взять на себя ответственность и одержала победу. В то время как Законодательное Собрание колебалось, она подготовила и провела натиск на королевскую власть. Следовательно, в этот момент она была решающей силой революции; но она имела претензию считаться самой революцией. Коммуна допустила дальнейшее существование Законодательного Собрания по соображениям, исходившим из своего рода терпимости и политической мудрости, не позволявшей создавать перерыва между Законодательным Собранием и Конвентом. Но Законодательное Собрание в эти великие дни имело только урезанную власть.

Парижский народ облек его вновь властью; но то была Революционная Коммуна, которая, так сказать, передала свою власть ему, как временному правительству Франции, действующему, однако, под контролем самой Коммуны.

Якобинский клуб, в котором собирались делегаты секций, принял основные положения Коммуны. Он был приблизительно согласен с ней. Из страха, что якобинская партия будет наводнена тотчас после победы десятого августа нерешительными патриотами, присоединяющимися лишь после успеха партии. Общество запретило на время всякий новый прием членов. Таким образом, якобинская партия осталась незатупленным острием революции. Депутат Антуан говорил в Якобинском клубе 12-го августа:

«Народ возвратил себе верховную власть... и так как верховная власть уже взята народом, то не остается никакой другой власти, кроме власти первичных собраний; само Национальное Собрание продолжает пользоваться кое-какой властью только в результате того доверия, которое ему оказывает народ, который почувствовал необходимость сохранить этот организующий центр, и который доказал этим, как мягок его суд».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Итак, отживающая власть Законодательного Собрания была властью подчиненной. Но разве Коммуна ограничит свою власть одним Парижем? Это было бы нелепостью, потому что, если в ожидании Национального Конвента, революция олицетворялась в Коммуне, последняя должна была, как и сама революция, расширить сферу своего влияния на всю Францию.

Начиная с 10 августа, Робеспьер, этот дальновидный политик, понял, что влияние Революционной Коммуны обещает быть огромным; и он приложил все старания к тому, чтобы ее власть усилилась еще больше. Он испытывал, без сомнения, острое наслаждение удовлетворенной гордости, унижая Законодательное Собрание, где господствовали теперь жирондисты; кроме того, было естественно думать, что если толчок к революции дала Коммуна, то этот толчок должен был передаться и по всей стране.

«Коммуна, — заявил он у якобинцев вечером 10-го августа, — в качестве чрезвычайной важной меры, должна организовать посылку комиссаров в 83 департамента для выяснения им на местах нашего истинного положения; федераты должны положить начало, написав каждый в те департаменты, откуда они присланы».

Это было возвышением Парижской Коммуны над всей революционной Францией, и если бы этот план был проведен в жизнь, выборы в Национальный Конвент прошли бы под влиянием Парижской Коммуны, враждебной как жирондистам, так и фельянтинцам. Это было бы непосредственным выступлением могущественной партии приверженцев Робеспьера совместно с ее левым крылом — фракцией Марата.

Первой заботой Революционной Коммуны было пополнить себя, призвав в свои ряды людей с крупным революционным именем. Робеспьер был делегирован в Генеральный Совет Коммуны секцией Вандомской Площади; здесь он занял место с 11-го. Марат совсем не был делегирован; но он был в постоянных сношениях с Коммуной; в эти горячие дни он был ее вдохновителем и журналистом. Он, обычно такой мрачный и недоверчивый, сиял от радости и гордости в своих газетных статьях от 15-го и 16-го августа, где он пытается начертать программу действия Коммуны, как человек, который уверен, что его слушают.

«Мой вам совет,—восклицает он,—доблестные комиссары секций Парижа, истинные представители народа, остерегайтесь ловушек, которые вам расставляют вероломные депутаты; берегитесь искушений; вашей сознательности и гражданскому мужеству столица обязана, между прочим, своим успехом, а отечество будет обязано своим триумфом. Оставайтесь на своем посту ради нашего покоя, ради вашей славы, ради спасения государства. Не покидайте попавшего в ваши руки кормила общественной власти до тех пор, пока Национальный Конвент не освободит нас от деспота и его проклятого отродья; до тех пор, пока он не исправит чудовищных недостатков конституции—этого источника вечной анархии и несчастий, до тех пор, пока не утвердится на непоколебимом основании общественная свобода».

И на другой день, 16-го августа, он же писал: «Пусть будет воздано должное и безумию Совета в Тюильери, и изменническим действиям контр-революционной национальной гвардии и швейцарского генерального штаба, и неспособности и тупости Людовика Капета, и вероломству жандармов, и беззаветной храбрости народа, и роли федератов и парижских санкюлотских отрядов. Победа венчала правое дело. Она сразила деспота с его приверженцами, привела в ужас подгнившее большинство Сената [1]), положила конец их дерзким интригам, придала решимости

---

[1]) Под „Сенатом" здесь разумеется Законодательное Собрание. Примеч. ред.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

патриотическим депутатам Коммуны, санкционировала их власть; уничтожила власть департамента, трибуналов и развращенных двором мировых судей; разгромила генеральный штаб контр-революции, нагнала страха на врагов революции, возвратила свободу добрым гражданам и дала народу возможность закрепить свою власть, заставив пасть под ударами меча тех, кто строил козни. Но плоды этой блестящей победы были бы скоро потеряны, если бы патриотические депутаты Коммуны не остались на своих местах и если бы они не развили всей своей энергии до тех пор, пока свобода не окрепла.

«Людовик Капет со своей семьей—заложник; не позволять никому из его креатур приближаться к нему, не спускать с него глаз—вот что является действительным средством перерезать нити всех контр-революционных заговоров.

«Об'явить декретом премию за головы всех бежавших Капетов, изменников и бунтовщиков; обещать 6 миллионов за каждого—было бы верным средством избавить себя от их заговоров, заставить обратиться в бегство вражеские полки со всем их оружием и багажом, спасти от расхищения национальные имущества и избегнуть пролития крови патриотов. Нет ничего более действительного, чем эта мера, если хотите доставить государству свободу, мир и счастье. Вот уже два года, как я ее предлагаю, всякий разумный человек должен чувствовать ее законность; и именно потому Собрание постоянно отвергало ее. Наконец, настал момент, чтобы заставить декретировать эту меру. Требуйте ее, друзья отечества, требуйте во что бы то ни стало! И будьте уверены, что это не останется без результатов, потому что сейчас ваши представители идут, когда их подталкивают. Другая мера, не менее настоятельная, это — декретировать открытие арсеналов, чтобы немедленно вооружить всех граждан-друзей революции. Дело военного министра требовать соответствующего декрета. Скоро мы увидим, является ли он истинным патриотом: через месяц не должно быть в государстве ни единого национального гвардейца, который не был бы вооружен.

«Пусть Коммуна вооружит немедленно всех добрых граждан столицы и заставит их учиться владеть оружием; Париж должен быть приведен в состояние готовности отразить все удары уже обескураженных врагов, если они будут столь смелы, что пустят в ход остатки своих сил.

«Коммуна должна также спешно организовать лагерь у ворот Парижа и заставить запять как можно скорее все прилегающие возвышенности,—мера, которую я предлагал год тому назад.

«Коммуне надлежит ускорить суд над изменниками, арестантами, содержащимися в Аббатстве, и предупредить, чтобы не вырвали из-под меча правосудия генеральный штаб швейцарской гвардии под предлогом боязни поссориться с 13-ю швейцарскими кантонами, если последним откажут возвратить этих пленных.

«Коммуна должна помешать тому, чтобы декрет, устанавливающий продажу имений эмигрантов, обратился в одну горькую насмешку. Она должна заставить спешно продать те владения, которые находятся в столице, среди них дворец Бурбонов и все особняки, которые те имеют в Париже; надо настоять на том, чтобы Люксембургский дворец перешел в руки нации, и потребовать половину дохода с этих имуществ с целью разделить деньги между бедняками столицы, которые наперебой отличались при взятии замка Тюильери, и таким образом упрочить победу отечества.

«Пусть каждый добрый гражданин ведет агитацию среди линейных войск за требование права выбирать офицеров,—право, которое только что было дано национальной жандармерии; с своей стороны, я снова выдвигаю этот лозунг.

«Дело Парижской Коммуны—пролить свет на ведомство продовольствия, принять меры к обильному снабжению столицы припасами и об'явить войну бессовестным спекулянтам...» «Родина только что извлечена из пропасти пролитием

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

крови врагов революции,—средство, которое я не переставал рекомендовать, как единственное действительное. Если меч правосудия поразит, наконец, интриганов и предателей, меня не услышат больше говорящим о публичных казнях, этом жестоком средстве, которое один только закон необходимости может повелевать доведенному до отчаяния народу, и которое всегда оправдывается преднамеренным бездействием законов.

«На практике комиссары Коммуны уже ввели многие из тех мер, которые я рекомендовал, как необходимые для торжества свободы: задержание в качестве заложников семейства Капета, запрещение контр-революционной прессы, жестокое преследование общественных врагов, проскрипция спекулянтов, торговцев деньгами; зарекомендовали они себя и другими прекрасными чертами гражданственности. Они действуют превосходно. Если они будут проявлять ту же энергию до тех пор, пока не будет изменена конституция Национальным Конвентом, если все министры проявят себя патриотами, а народ будет за ними тщательно следить,—я буду считать общественное спасение обеспеченным, я буду спать спокойно и возьму перо только для того, чтобы заняться переработкой конституции. И в самом деле: выполнение какой иной обязанности оставалось бы мне? Я воевал с вероломными носителями воли народа, с изменниками родины, с предателями-чиновниками, с интриганами, плутами всех сортов. Но негодяи прячутся, чтобы никогда не появиться, или чтобы появиться в качестве мирных граждан, покорных законам. Вот все, чего я мог желать. И потом, не увидал ли я только что исполнение моих предсказаний, которые тогда еще не оправдывались событиями? Я предсказал Мотье [1]), что он сделается притчей во языцех и пугалом народа, когда моя чернильница иссякнет. И вот уже близок его конец.

«Я предсказал Бальи, что он будет повешен: только что повесили его бюст вместе с бюстом господина Мотье. Если не нашли оригинала, чтобы его повесить вместо портрета, это не моя вина; ему стоит только появиться публично, и с ним будет покончено.

Я предсказал год тому назад, что отродье Капетов будет лишено трона; вот они уже почти сошли с него».

Это—крик триумфа и решительной победы; но вдруг опять нотки тревоги. «В конце концов будем бояться заснуть, будем помнить, что контр-революционеры сплачивают свои силы. Будем настороже, как бы Мотье не двинул своей армии против нас; будем опасаться, как бы все немецкие и швейцарские роялистские полки не явились нас блокировать. Немедленно господствующие над городом возвышенности должны были быть заняты парижской национальной гвардией. Муниципалитеты страны должны были бы получить приказание посылать курьеров с извещением обо всех передвижениях войск, которые могли бы подойти к столице. Пора лишить полномочий всю администрацию,—эту придворную проститутку. Шесть министров уже должны были бы быть в оковах, пора арестовать и контр-революционных членов собрания: эти Ламеты, Дюма, Воблан, Пасторе, Дюбайе должны были бы быть арестованы. Будем надеяться, что наши парижские комиссары не заснут».

Итак, мы видим, что Марат, который за несколько дней до 10-го августа был настолько обескуражен, что хотел бежать, подобно тому, как бросают без-

[1]) Мотье—народное прозвище Лафайета. Примеч. ред.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

надежное предприятие, теперь полон веры. Может быть, в первый раз с начала революции он пишет, как человек, облеченный общественными полномочиями: «Они действуют превосходно». И он воображает с наивной гордостью, что они только и дела делают, что применяют сочиненные им планы. Он забывает, что между теми казнями, которые он часто и систематически предлагал так хладнокровно, и взрывом 10-го августа нет ничего общего. Однако, действительно, его влияние на Революционную Коммуну было велико. Последняя отличается той твердостью, той решимостью и быстротой действия, которых Марат не ожидал более от народных властей, слишком разрозненных и задерганных.

Прежде всего, Коммуна восстает против всяких ограничений, налагаемых на нее в силу старых законов. Законодательное Собрание в своем заседании от 11-го августа решило, на основании краткого доклада Гюитона де-Морво, что необходимо выбрать новую Директорию для управления департаментом Парижа, в количестве одного члена на каждую из 48 секций.

Всюду с начала революции между директориями департаментов, избранными двухстепенной подачей голосов, и муниципалитетами, избранными непосредственно народом, возникал конфликт.

И Коммуна могла опасаться, что новая Директория, хотя и избранная под революционным воздействием, пойдет вразрез с народным движением, органом которого она являлась. Со стороны Коммуны и Якобинского клуба поступили горячие протесты. У Якобинцев депутат Антуан говорит в негодовании: «Народ возвратил себе верховную власть, и все-таки Национальное Собрание декретировало сегодня, что парижские секции должны избирать Директорию. Национальное Собрание одержимо какой-то страстью к директориям. Разве оно не чувствует, что одни только директории департаментов об'единились в государстве против свободы? Зачем нужны директории? Разве следует верить тому положению аристократа Монтескье, что власти должны уравновешивать друг друга? Нет, власти не уравновешивают друг друга, они парализуют друг друга. Национальное Собрание начало с того, что сделалось рабом короля, и вот почему народ ниспроверг королевскую власть. Не нужно вовсе Директории, которая воспротивилась бы тем мероприятиям, которые принимает патриотический муниципалитет. Говоря об этом декрете, я не хочу сказать, что Национальное Собрание имело именно это намерение, но я говорю, что оно не на высоте положения, что оно не понимает, как следует, что представляет из себя народ, и в чем состоит его верховенство».

Это была теория почти абсолютного верховенства Революционной Коммуны.

Генеральный Совет Коммуны послал делегацию в Собрание. От ее имени говорил Робеспьер:

«Генеральный Совет Коммуны послал нас к вам по вопросу, который касается общественного спасения. После великого акта, которым суверенный народ только что завоевал себе свободу, не может существовать посредников между народом и вами. Вы знаете, что свобода родится в результате распространения просвещения. Итак, всегда руководствуйтесь чувством патриотизма, которое подняло народ Парижа и всей Франции до той ступени величия, на которой он находится; вы можете, вы должны даже понимать язык правды, которым он будет говорить с вами устами своих делегатов.

«Мы только что говорили вам о декрете, который вы издали этим утром, о декрете, относящемся к организации новой Директории департамента. Народ, вынужденный сам стоять на страже собственного дела, позаботился о своей безопасности через своих уполномоченных. Народ принужден принимать в высшей степени решительные меры, чтобы спасти государство; а потому те, кого он избрал сам в качестве своих чиновников, должны иметь всю полноту власти, которая присуща

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

суверену; если вы создадите другую власть, которая будет преобладать или уравновешивать власть непосредственных избранников народа, то народная власть не будет едина, и в вашей административной машине будет существовать вечный зародыш раз'единения, которое породит в врагах свободы новые преступные надежды. Народу потребуется еще раз вооружиться местью для освобождения от этой разрушительной силы; в этой новой организации народ видит между собой и вами высшую власть, которая, как и раньше, будет только тормозить работу Коммуны. Когда народ спас родину, когда вы приказали созвать Национальный Конвент, который должен вас заменить,—что иное вы должны делать, как не удовлетворять народные желания? Или вы боитесь положиться на мудрость народа, который стоит на страже спасения родины, спасти которую может только народ? Учреждая противоречивые власти, вы погубите отечество; только путем единения, непосредственного общения представителей с народом вы можете поддержать родину. Соблаговолите нас успокоить относительно этой опасной меры, которая уничтожит то, что сделал народ; соблаговолите сохранить нам возможности для спасения свободы. Только таким путем вы разделите славу героев, посвятивших себя делу освобождения человечества, только таким путем, накануне окончания своих полномочий, вы унесете с собой благословение свободного народа.

«Мы заклинаем вас принять серьезно во внимание и утвердить постановление, принятое Генеральным Советом Парижской Коммуны, чтобы не приступали к организации новой Директории департамента». (Оживленные аплодисменты.)

Да и как, в самом деле, два дня спустя после 10-го августа Собрание не стало бы аплодировать делегатам Революционной Коммуны? Но в глубине души оно должно было чувствовать себя больно задетым и обеспокоенным. В сущности, Робеспьер был прав. Так как Законодательное Собрание колебалось перед 10-м августа, или даже склонялось к Лафайету, предоставив организованному в Коммуну парижскому народу заботу спасать с опасностью жизни родину и свободу; так как Законодательное Собрание должно было признать эту власть революционной и самопроизвольной, признать эту власть общественного и национального спасения, как выражение новой законности,—то не следовало противоречить Коммуне и связывать ее раньше, чем она закончит свое дело. Не надо было стеснять ее устаревшими формами враждебной революции законности. Собрание это поняло, или по крайней мере оно одумалось. Тюрио поддержал предложение Коммуны в нескольких трезвых и сильных словах: «Мы согласны, что в теперешних обстоятельствах нужно, чтобы господствовала гармония между народными представителями и Парижской Коммуной, что из этого единения должна проистекать свобода. В этот момент надо особенно упростить административную машину; потому что чем проще машина, тем удачнее ее действие. И особенно в этот момент не должно быть посредников между народом и вами».

Собрание взяло назад свой декрет и решило, что новая администрация департамента будет осуществлять свой контроль только над финансовыми операциями Коммуны. Но Законодательное Собрание было, конечно, оскорблено языком Робеспьера и даже несколько напугано. Он свел Законодательное Собрание к роли очень скромной, очень приниженной. Все революционное право он перенес на парижский народ и его представительницу — Коммуну, и, когда он требовал, чтобы «уполномоченные народа» могли обращаться к Народному Собранию без посредника, он требовал в действительности, чтобы Коммуна могла отдавать распоряжения, или, лучше сказать, отдавать повелительные приказания непосредственно Законодательному Собранию. Жестокая рана была нанесена самолюбию депутатов, особенно жирондистам, которые, подчинившись силе событий, истолкователем которых был Робеспьер, под влиянием возмущенной гордости уже начинали выдвигать против него обвинения в стремлении к диктатуре. Да и сколь-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ко времени будет продолжаться это революционное право Парижской Коммуны? Если именем Законодательного Собрания Коммуна могла подчинить себе Законодательное Собрание, не захочет ли она стать над самим Национальным Конвентом, который в конце концов был вызван к жизни только революцией 10 августа? Особенно, если с настоящего момента все революционное право кажется сконцентрированным в Парижской Коммуне; и первичные избирательные собрания всей Франции, руководимые делегатами Коммуны, не смогут ли сделать из нового Конвента лишь увеличенной копии самой Коммуны? Велико должно было стать с этого дня беспокойство Жиронды. Даже сам монтаньяр Тюрио, всецело поддерживая предложение Робеспьера, подчеркивает, кажется, исключительность обстоятельств. Этим он указывает на довольно близкий конец чрезвычайной власти Коммуны. Но для нее было важной победой добиться отмены декрета, который устанавливал Директорию.

Этой, так ревностно защищаемой властью, Коммуна пользуется для проведения революционно-полицейских мер и в целях обеспечения национальной защиты. Это она издает 12-го распоряжение, в силу которого Людовик XVI и его семья должны были быть помещены в башню Тампля. Чтобы его, бывшего короля, отвезти из Люксембурга в Тампль, она делегирует своего прокурора Манюэля, обойщика Мишеля, трагического поэта Лэньело и сапожника Симона, который позднее будет стеречь дофина.

В том же заседании от 12-го она решает захватить почтовое ведомство и наложить арест на все контр-революционные газеты, или, как говорит протокол, «аристократические произведения», между прочим на «Друга короля», «Всеобщую газету», «Парижскую газету», «Указатель» (вдохновляемый Адриеном Дюпором), «Французский Меркурий», «Журнал двора и города», «Листок дня».

Коммуна вызывает к своей решетке директора почты, который получает приказание не посылать больше ни одной роялистской или фельянтинской газеты; она предупреждает также всякую попытку контр-революции посеять безотчетный страх в департаментах, волнение в армии. Она арестовывает авторов и издателей всех «аптицивических» газет; она распределяет между издателями-патриотами конфискованные у роялистов станки, шрифт и инструменты. Кроме того, она приказывает директору почты очистить свою администрацию от всех чиновников, которые «не соответствуют духу революции», чтобы контр-революционный яд не просочился в вены нации по милости изменников, сидящих в почтовых конторах. Это смело, потому что в первый раз революция наложила руку на «словободу печати», которую она до того времени защищала так энергично. Но враг был на границе, а измена была в сердце нации. Революция действительно требовала осадного положения против тех, кто собирался вторгнуться, и против тех, кто собирался изменить.

Сделав этот смелый шаг, Коммуна очень искусно прикрылась авторитетом Законодательного Собрания, или, по крайней мере, сообщая ему свои энергичные решения, она приобщала его к этому делу. Леонард Бурдон, явившись во главе депутации Парижской Коммуны, сказал Собранию 12-го:

«Согласно мерам, принятым Коммуной, зажигательные журналы не будут отравлять больше ни столицы, ни департаментов. Их печатные станки и шрифт пойдут на службу революции».

Ему отвечал председатель, жирондист Жансонне:

«Национальное Собрание с удовольствием слышит о мерах, которые вы приняли для обеспечения спокойствия Парижа и в целях положить конец сообщениям, обязанным своим происхождением полным отравы аристократическим журналам; оно приглашает вас быть попрежнему настраже».

Электронный архив библиотеки МГПИ имени А.А. Кулешова

Так сама Жиронда санкционировала в тот момент то, что можно назвать «безличной диктатурой» революционного парижского народа.

В тот же день Коммуна приказала арестовать Адриена Дюпора, Дюпон-де Немура, Лашенэ, Рюльера (отца историка), Сансон-Дюперрона—мирового судью секции Моконсейля, Кашпи—чиновника мирового суда, Бори—бывшего муниципального чиновника и заведующего хлебными складами (Grange-Batelière). Были опечатаны их бумаги, как и бумаги центрального бюро мировых судей, среди которых почти все были подозрительны по своим связям с двором и фельянтинцами.

Однако, мало было арестовать враждебные газеты. Надо было сделать так, чтобы ни один гонец, ни один гражданин не вздумал зажечь гражданскую войну, извращая события и клевеща на Париж. Коммуна закрыла, так сказать, двери Парижа; в большом, об'ятом революцией, городе, она парализовала все силы контр-революции, которые со всех концов Франции притекали к королю, «к Кобленцскому замку», как федераты звали Тюильери. Было воспрещено выдавать кому-либо паспорта, за исключением лиц, которым поручено снабжать провиантом город Париж, или тех, кто повезет декреты Национального Собрания. Домовладельцам и квартирантам был отдан приказ сделать заявление в комитеты их секций обо всех проживающих у них иностранцах; комитеты должны были составить соответствующие списки в течение 24 часов. Было решено, что комиссары отправятся в окрестности Парижа на четыре лье в окружности, чтобы осведомиться относительно лиц, которые живут в этой внешней части столицы. Было постановлено также в качестве полицейской меры, что ни один священник не может носить церковной одежды вне службы.

На том же самом заседании от 12-го Коммуна решает, что «Площадь Побед» отныне будет называться «Площадью Национальных Побед», и что статуя Людовика XIV будет заменена обелиском, на котором будут написаны имена граждан, павших за родину в день 10 августа.

Наконец, как бы желая взять в свои руки направление внешней политики и дать ей революционный ход, она постановляет просить Национальное Собрание об'явить от имени французского государства, что, отказываясь от всяких завоеваний, нация не отказывалась помогать своим соседям, которые пожелали бы избавиться от рабства. Это был смелый ответ на вражеское вторжение.

13 августа Коммуна постановляет прокопать ров вокруг сторожевой башни, чтобы сделать королю невозможным всякое бегство. Но больше всего внимания она уделяет делу национальной обороны.

«48 секций уполномочены немедленно организовать вооруженных граждан в несколько отрядов; всякие отличия, несовместимые с принципом равенства, будут уничтожены; эполеты будут исключительно шерстяные для всех рангов; в силу декрета, который об'являет всех граждан **«активными»**, все жители будут вооружены «за исключением бродяг». Это предисловие к массовому набору.

Между тем полицейские меры продолжаются. Господа — Лапорт, интендант цивильного листа, и дю-Розуа, цензор «Парижской газеты», арестованы. Их бумаги опечатаны, равно как и бумаги господина Андриона, главного комиссара швейцарцев, и Гризона. Арестованы господин Биго де-Сент-Круа и д'Абанкур. Дано приказание арестовать всех офицеров генерального штаба национальной гвардии и всех королевских камердинеров. Но Коммуна преследует не только лиц с блестящими именами, или заведомо замешанных в контр-революции. Все новые и новые обвинения, которые исходят из секций, увлекают Коммуну на путь ареста и людей незначительных. Протокол от 15-го говорит: «Дано полномочие арестовать и наложить печати у различных частных лиц, мало известных в публике».

Электронный архив библиотеки им. А.А. Кулешова

В этом была большая опасность произвола и ошибок, по поводу которых скоро поднимутся очень громкие протесты даже среди демократов из «Революций Парижа». Но в эти первые дни, когда все были охвачены еще не угасшим пылом сражений, ни один голос еще не протестует.

Парижская Коммуна, настроенная в высшей степени антиклерикально, приказывает монастырям очистить занимаемые ими помещения в трехдневный срок. «Будут наложены печати на эти берлоги аристократии». И охрана печатей поручена на эти дни самим монахиням под угрозой лишения пенсий.

В тот же день, 15 августа, юный Жан-Ламберт Тальен, неравнодушный ко всякого рода шумихе и популярности, мастер на пышные речи, симулирующие искренние увлечения, выбран секретарем Коммуны. Я не могу останавливаться на подробностях арестов, совершенных по распоряжению Коммуны. Их можно найти в чрезвычайно интересных протоколах, опубликованных Морисом Турнэ. На протяжении нескольких дней я отмечаю арест госпожи де-Наварр, Базир—горничной госпожи Руаянь, Тибо—первой камеристки королевы, Сен-Брис—горничной наследного принца, Турзель—гувернантки детей короля, девицы Полины Турзель, Марии-Терезы Луизы Савойской, Бурбон-Ламбаль, господина Лоримье де-Шамили—первого лакея короля и наследного принца, господина де-ля-Рош дю-Мэн, де-Магутье — бывшего лакея старшего брата короля (Monsieur), госпожи де-ля-Бретеш, бывшей горничной, заведующей гардеробом госпожи Артуа, господина Дювейрье—бывшего соредактора Байи по протоколу избирателей, г.г. Лажар, д'Ерминьи, Плэнвиль, Рейни, Кассак, Шартон, братьев Шартон, Миллэн, Барре, Кренэн, Обри, Лапьер, Кэнтен, Ларшен, Аклок и Кюрней, из которых многие принадлежат к генеральному штабу национальной гвардии. По правде сказать, в этом ожесточении по отношению к высшей прислуге короля была некоторая доля ребячества; и героическая Коммуна, которая в ночь 10 августа взяла на себя такую огромную ответственность, унижает себя, обрушиваясь на этих лакеев титулованных особ. Надеялись вырвать у этих мужчин и женщин какое-нибудь показание относительно королевской семьи. Может быть, Совет Коммуны чувствовал, что для того, чтобы продлить свою революционную власть, он должен был продолжить революционный кризис и посредством выискиванья статистов великой драмы поддержать непосредственное впечатление от этой драмы и сохранить о ней живую память.

Порой к его действиям примешивалось нечто театральное и суетное. Понятно, что он велел сбить все следы феодализма, все медальоны и гербы, которые еще могли остаться на домах Парижа; что он приказал всем гражданам, занимающимся торговлей и имеющим лавки и магазины, уничтожить в течение 14 дней знаки, фигуры и все эмблемы, которые могли бы напомнить народу времена рабства: ведь в эпоху отчаянной борьбы и бурного переворота символы прошлого похожи на вызов. Было гораздо более рискованным приказать разрушить ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, уничтожение которых не могло не вызвать сожаления даже у революционно настроенного буржуа из центра. Приказание, между прочим, не было выполнено, но оно служит показателем несколько поспешной и нервной деятельности. Точно также могло ли являться действительным осуществлением равенства в смерти установление для погребения всех граждан одинаковых религиозных церемоний? Да, все граждане отправятся на кладбище в однообразных гробах, сопровождаемые одинаковым количеством факелов; но одни оставляют своим женам и детям бедность и отчаяние, другие—богатство и могущество. К чему тогда этот строго ритуальный парад мнимого равенства?

Далекое от того, чтобы провозгласить отделение церкви от государства, распоряжение Коммуны делало из священника чиновника, который обязан исправлять все требы и который, будучи оплачен государством, не должен получать с

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

граждан никакой платы. Вот та идея, которую и сейчас большое количество французских крестьян считает истинным разрешением вопроса об отношении церкви и государства. В ответ на жалобы многих граждан на вымогательства, производимые конституционным священством, Совет требует выполнения декретов, касающихся уничтожения священнических поборов.

Все граждане, равные перед законом, будут погребаться с двумя священниками; запрещается увеличивать это число; не должно быть больше обивок как на дверях покойника, так и в церкви; уничтожаются церковные старосты и их скамьи.

«Генеральный Совет, принимая во внимание, что в тот момент, когда царство равенства только что водворилось благодаря святому восстанию справедливо возмущенного народа, это драгоценное равенство должно проявляться всюду; принимая, далее, во внимание, что религиозные церемонии, обычно соблюдаемые при погребении, противоречат этим святым принципам; что в круг обязанностей представителей Коммуны входит свести все к этому святому равенству, уничтожить которое стараются столько об'единившихся врагов;

«ввиду того, что в свободной стране суеверия и фанатизм должны быть уничтожены и уступить место духу святой философии и чистой морали;

«ввиду того, что представители католического культа оплачиваются нацией, а потому не могут требовать платы за церемонии этого культа, не совершая тем самым преступления по должности; в виду того, что раз богатый и бедный были равны при их жизни с точки зрения закона и разума, не может существовать разницы между ними и тот момент, когда они сходят в могилу:

«Прокурор Коммуны постановляет на основании решения Генерального Совета:

«1. В силу действующих законов все кладбища, в настоящее время находящиеся в черте города, должны быть закрыты и перенесены за пределы его стен.

«2. Начиная со дня обнародования данного постановления, все погребальные церемонии, совершаемые представителями католического культа, будут единообразны.

«3. Во время каждого погребения запрещается присутствовать больше, чем 2 священникам, не считая несущих тело.

«4. Запрещаются всякого рода шествия факельщиков.

«5. Так как нация платит жалованье представителям католического культа, никто не может ни требовать, ни даже принимать какой-либо суммы за религиозную церемонию погребения или какую-либо другую.

«6. Начиная с сегодняшнего дня, всякого рода приношения, даже добровольные, отменяются.

«7. Всякий священник, который потребует какой-либо платы за крещение, свадьбу, погребение или другую требу, подвергнется отрешению от должности.

«8. Начиная с сегодняшнего дня, всякого рода траурные драпировки как на двери покойного, так и в храме, хотя бы даже внутри, запрещаются.

«9. Так как общественные дороги принадлежат всем, никто не может захватывать их в свое личное пользование; следовательно, всякий руководитель погребений и других внешних церемоний какого-либо культа должен занимать для своего шествия только одну сторону дороги так, чтобы другая оставалась совершенно свободной для экипажей и граждан, идущих по своим делам.

«10. Однако, будет делаться исключение из предыдущего параграфа для погребальных почестей, воздаваемых гражданам, которые умерли, защищая свободу.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«11. Так как, согласно Конституции, уничтожены всякого рода преимущества и привилегии, то никто не может иметь в храме привилегированного места; следовательно, помосты и другие места, где становятся церковные старосты, члены приходского совета и религиозных братств, уничтожаются».

Все это довольно пестрая амальгама. Ясно, что под предлогом поддержать равенство, Коммуна старается все больше и больше сузить рамки культа. Народный гнев на священников, не присягнувших конституции, еще не успел распространиться на все христианство, и Революционная Коммуна еще не смеет запретить совсем всякие религиозные церемонии, но она стесняет и лишает красочности погребальные процессии. И во всей ее аргументации проскальзывает доминирующая мысль: заменить христианскую религию естественной философией и моралью. Она выступает довольно робко и неловко с тем, что через несколько месяцев будет называться гебертизмом, она скрывает еще под видом регламентации роскоши ту настоящую войну,—войну, которую с данного момента она решает вести против церкви и христианства.

Но временами ее мысль проскальзывает целиком, как, например, в приказе от 17 августа: «Генеральный Совет, ревностно стремящийся послужить общественному делу всеми мерами, которые в его власти, видя, что можно найти большие средства для защиты родины, если использовать многочисленные и разнообразные изображения, которые обязаны своим происхождением низкому обману добродушного народа священниками, постановляет, чтобы все распятия, изображения ангелов, чертей, серафимов, херувимов, аналои, сделанные из бронзы, были употреблены на пушки.

«Церковные решетки пойдут на пики».

Это совершенно новый для революции язык, который должен был беспокоить Робеспьера.

Коммуна, которая уже выбрала в своих недрах Наблюдательный Комитет, организовала настоящее правительство, издавала все новые и новые приказы об аресте подозрительных и вскрывала письма на почте; она намечала совершенно анти-христианскую политику и в то же время организовывала национальную оборону, выковывая пики, призывая рабочих и женщин изготовлять палатки в лагере под Парижем; Коммуна революционизировала военную организацию путем дробления батальонов национальной гвардии и создания боевых единиц из поголовно вооруженных секций; наконец, она решила, что для характеристики революции 10-го августа после слов «IV год свободы» следует прибавить: «I год равенства». Вся эта политика вызывала немало ненависти и недоверия по адресу Коммуны. Огромное тщеславие мэра Петиона страдало от той жалкой роли, которую он играл Десятого Августа. Посаженный под замок Революционной Коммуной, которая делала вид, что охраняет его, в действительности же его устранила, Петион с этих пор прекрасно понял, что его власть—чисто номинальная. Настоящим мэром Парижа был Робеспьер, соответственно своему влиянию на Коммуну. В Генеральном Совете, где его самолюбие не получало теперь удовлетворения, Петион показывался лишь изредка. Постепенно он сближался с Жирондой. Что касается последней, то она переносила власть Коммуны с возрастающим нетерпением. Она еще не смела нанести удара, но она дожидалась, пока первоначальная чрезвычайная популярность Коммуны пойдет на убыль. Даже монтаньяры Законодательного Собрания, даже такие люди, как Шудьё и Тюрио начинали чувствовать себя несколько неловко под впечатлением порой чисто диктаторских приемов Революционной Коммуны. Если прибавить сюда беспокойство, вносимое арестами, из которых не все были законными, и раздражение купцов, дела которых страдали от распоряжений относительно паспортов и парижского карантина, станет ясным, что против Коммуны росла

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

глухая оппозиция. Конфликт между Законодательным Собранием и Коммуной уже назревал. Достойные сожаления раздоры: Ведь именно этой скрытой тревогой среди всех властей, этой своего рода анархией, недостатком согласованности действий Коммуны и Законодательного Собрания об'ясняются те ужасные сентябрьские убийства, которые так долго возмущали против революции людскую чувствительность.

Вопрос, который был злобой дня для народа после 10 августа, заключался в следующем: как будут наказаны убийцы парижского народа, заговорщики и изменники?

Федераты, революционеры предместий, идя 10 августа против Тюильери, «против Кобленца», были проникнуты глубоким сознанием своего права. Они поднялись за родину, за свободу, и всякое сопротивление короля-клятвопреступника было преступлением. Помимо того, в действиях двора видели провокацию: в тот самый момент, когда народ полагал без кровопролития войти в замок, толпа была сметена залпом швейцарцев. План контр-революции показался народу страшным, сатанинским: позволить народу пройти и поставить его под перекрестным огнем выстрелов замкового гарнизона и национальной гвардии, приготовившей сзади колонны для натиска. Отсюда смертельная, жаждущая крови ненависть против швейцарцев и их офицеров, против генерального штаба национальной гвардии. Едва удалось спасти от народного гнева тех из швейцарцев, которые уцелели в бою и скрылись в Собрании. Для этого потребовался могучий голос Дантона.

Потребовалось обещание, что все заговорщики немедленно будут преданы военному суду, осуждены и наказаны с быстротой самого сражения. Ужасен был призыв Коммуны к спокойствию от 12-го числа: «Верховный народ, отложи твою месть. Заснувшее правосудие вступит в свои права. Все виновные погибнут на эшафоте».

Однако народ, передавая свою месть и защиту палачу, роптал. Не отложат ли опять, не станут ли вывертываться? Возбуждение страстей было столь велико, что даже Робеспьер, несмотря на свою привычку быть сдержанным и осторожным, заканчивал горячее возвеличение 10-го августа следующими ужасными словами:

«Как велик был народ во всех своих выступлениях! Те, кто находил какую-либо мебель или деньги в замке, взяли себе за правило удерживаться от присвоения этих трофеев, взятых у неприятеля. Они относили их в Национальное Собрание или в Коммуну. Такое использование права победителей они считали грабежом. Это чувство они щепетильно доводили до крайности. Народ сам убивал тех, которые считали, что они могут присвоить себе некоторые вещи, принадлежавшие тиранам и их сообщникам; народ был жесток, желая быть справедливым.

«Великие боги! в лице этих несчастных народ наказывает одну лишь видимость преступления, а все тираны, которые заставляют его выступать в роли палача, ускользают от кары за свои преступления. Богатые эгоисты, тупые вампиры, жиреющие от крови и хищений, осмельтесь-ка назвать их громилами; осмейте-ка выказать дерзкие опасения за ваше презренное имущество, купленное ценой низостей; посмейте-ка проследить до конца источник вашего богатства—нищету ваших ближних; посмотрите, с одной стороны, на их бескорыстие и благородную бедность, а с другой—на ваши пороки и ваше богатство и скажите, кто же разбойник и негодяй? Презренные негодяи, берегите ваше богатство, которое заменяет вам душу и добродетель. Но другим оставьте свободу и честь. Нет, они поклялись в смертельной ненависти к разуму и равенству. Когда

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

народ появляется, они прячутся. Стоит ему уйти, как они принимаются за свои заговоры. Они возобновляют свою клевету и вновь плетут интриги.

«Граждане, вы только тогда будете иметь мир, когда взглянете открытыми глазами на все измены и приготовитесь поднять руку на всех изменников».

Но раз рука народа поднята, он хотел бы ее опустить. Это великое движение гнева и страсти могло бы быть, однако, упорядочено. Возможно было осуществить правосудие, разыскать и наказать именно тех, кто имел прямое отношение к ответственности за возмутительное упорство изменнического двора, не разнуздывая кровожадные инстинкты.

Но для этого необходимо было всем революционным властям проявить быстроту, решительность и единство действий, между тем как в действительности наблюдались несогласованность, колебания и столкновения.

Прежде всего, 11 августа Национальное Собрание постановляет: назначить военный суд, который будет судить швейцарцев, их офицеров, а также офицеров национальной жандармерии, обвиненных в том, что они стреляли в народ. Потом оказывается, что дело не так просто. Во-первых, в военно-уголовном кодексе нельзя было найти преступления, которое можно было бы определенно подвести под понятие контр-революционного действия и покарать, как таковое.

Затем имелись налицо не только скомпрометированные военные. 14 августа, по предложению Тюрио, Собрание выносит свой первый декрет и устанавливает уголовный трибунал. «Это дело,—говорил он,—не имеет никакого отношения к военному суду; его надо направить в обычные трибуналы... и так как есть много прежних судей, которые не пользуются доверием граждан, я прошу, чтобы вы уполномочили секции назначить по два присяжных обвинителя и по два судьи».

В то время как Национальное Собрание ощупью искало формы судебной процедуры, народ вообразил, что хотят спасти виновных, и что его одурачивают. Коммуна, которая отнюдь не была заинтересована в сохранении популярности Законодательного Собрания, сама распространяет эти слухи. По поводу декрета, изданного в связи с предложением Тюрио, она выступила с следующим возражением: на приговоры обычных трибуналов может быть апелляция перед кассационным трибуналом. Вследствие этого возможны отсрочки, а это создаст неопределенность положения. 15 августа Коммуна послала в Собрание делегацию. И на этот раз Робеспьер говорит от ее имени: «Законодатели, если важно для общественного спокойствия и особенно для свободы наказание виновных, то вы должны желать его ускорения и должны обеспечить к тому средства. Народная месть еще не получила удовлетворения с 10 августа. Я не знаю, какое непреодолимое препятствие встает на пути.

«Декрет, который вы издали, кажется нам недостаточным... Народу необходимо правительство, достойное его. Ему нужны новые судьи, созданные применительно к обстоятельствам... Народ отдыхает, но он не спит. Он желает наказания виновных, он прав... Мы просим вас избавить нас от конституционных властей, к которым мы не питаем ни малейшего доверия; мы просим уничтожить эту систему двух судебных инстанций, которая, создавая медленность судопроизводства, поощряет беззакония; мы требуем, чтобы виновные были судимы комиссарами, взятыми из каждой секции; этот суд должен быть верховной и последней инстанцией».

Робеспьер был прав. Один только революционный трибунал, пользующийся полным доверием народа и быстро выносящий свои приговоры, мог санкционировать репрессии и в то же время поставить их в известные границы.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Но, может быть, этот трибунал, действуя под давлением доведенного до отчаяния народа, явится простым трибуналом мести? И к чему тогда лицемерие законных форм? Почему не оставить действовать самое стихию, если уж она непреодолима? Прежде всего, отвечу я, организация революционного правосудия в значительной степени устраняет возможность ошибок и проявлений чисто животного чувства; и я прибавлю, что для дела свободы невыгодно, если месть народа становится похожей на бойню. Если и есть в этом кое-какое лицемерие общественного приличия, то почему бы народу не благословить его? И зачем, имея в своем распоряжении судей, обагрять в крови собственные руки?

Собрание немедленно переслало петицию Коммуны Чрезвычайной Комиссии Двенадцати. Как раз в этот самый момент, когда обнаруживается вся неустойчивость революционной законности, Собрание взволновано важной новостью, в связи с которой вносятся чрезвычайные предложения. Как только делегат Коммуны кончил свой доклад, на трибуну взошел Мерлен де-Тионвилль.

«Я об'являю Собранию, что, может быть, в этот самый момент перед Тионвиллем появляется траншея. Пруссаки и австрийцы уже захватили передовые посты Сирк и Родемак. Мой отец сообщает мне, что его сограждане скорее готовы пожертвовать жизнью, чем сдаться. (Громкие аплодисменты.) В распоряжении комитета общественного надзора находится более четырехсот писем, которые доказывают, что планы и время этого нападения были известны в Париже, что как раз в Париже находится очаг кобленцского заговора.

«Я требую, чтобы жены и дети эмигрантов были взяты нами в качестве заложников, и чтобы на них была возложена ответственность за то зло, которое могут причинить соединившиеся против нас иноземные силы».

Итак, начиналась ужасная, полная неизвестности борьба. Завязывалась необычная война. Враг двигался не для того, чтобы разрешить спор двух государств или присвоить чужую территорию: он шел для того, чтобы одна из партий могла удовлетворить свое чувство мести.

Завтра, если он явится победителем, он будет убивать патриотов, их детей и жен. И так как эти действия совершатся в интересах эмигрантов, не будет ли справедливым применить к ним закон возмездия? Ужасная теория компенсаций! Ясно, что это первый сигнал к сентябрьским убийствам: ведь в момент, когда революционные страсти достигнут той степени, при которой жены и дети эмигрантов будут платиться за насилия и преступления самих эмигрантов, разве кто-либо сможет ввести в законные формы это прискорбное сведение счетов? Первым движением Законодательного Собрания было принять предложение Мерлена. В тот самый день, в эту самую минуту оно в глубине своей души согласилось на кровавую расправу, и нечего удивляться, что в дни погромов оно не имело ни сил, ни желания вмешаться. На один миг в глубине его встревоженного сердца встал красный призрак, который Собрание как бы санкционировало. Едва только был издан декрет, как поднялись протесты. Сам Мерлен заявил: «В том мероприятии, которое я предлагаю, следует видеть только средство помешать пролитию потоков крови».

Но разве можно было предполагать, что раздраженные, жаждущие убийств эмигранты остановятся из страха вызвать преследования своих близких? Собрание придало декрету иную форму. Казалось, что, провозглашая ответственность родственников-эмигрантов, оно все же хотело предать их законному суду: «Национальное Собрание, принимая во внимание, что нависшие над Францией бедствия коренятся в измене и заговорах неблагонамеренных граждан, которые

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

эмигрировали; принимая во внимание, что общественное спасение требует, чтобы планы этих отцеубийц были разрушены теми средствами, которые диктуются справедливой защитой, и что строгость скорее и вернее приведет на путь торжества над врагом государства,—постановляет принять спешные меры.

«Национальное Собрание, установив неотложность соответствующих мер, декретирует, что отцы, матери, жены и дети эмигрантов обязаны пребывать безвыходно под покровительством законов и наблюдением участковых чиновников и пределов тех участков, к которым они приписаны, и покидать которые без разрешения участковых чиновников им не разрешается под страхом ареста.

«Настоящий декрет должен быть безотлагательно разослан по всем департаментам для немедленного исполнения».

Это было равносильно об'явлению заговорщиками или, по крайней мере, подозрительными, всех родственников эмигрантов; это было провозглашением того, что нитями их измены опутана вся Франция; и какое иное заключение мог сделать народ по поводу этого торжественного заявления, как не то, что в день грозной опасности необходимо произвести поголовное избиение всех изменников? Таким образом ужасная логика завязавшейся борьбы приводила к погромам. А в тот самый момент, когда в интересах угрожаемой революции Законодательное Собрание устанавливало свои бесчисленные заложничества, враг, вступив на французскую территорию, предавался самым худшим неистовствам. Пруссаки и австрийцы, обессиленные медленностью кампании, встречаемые при своем вступлении во Францию враждебностью стихий и людей, мокнувшие под потоками дождя и натыкавшиеся при входе в каждую деревню на сопротивление устраивавших засады патриотов, предавались диким эксцессам. Да, разве им не вдалбливали, впрочем, что они сражаются не с людьми, а с дикими зверями! Кроме того, манифест их генерала, герцога Брауншвейгского, был ведь полон самых зловещих угроз. Так естественная жестокость человека, который сражается, и в котором ввиду постоянной опасности инстинкт самосохранения обращается в дикую ярость, разжигалась теперь со всех сторон. Солдаты грабили, жгли, срывали даже пеленки с детей в колыбелях. Виконт де-Караман пишет из лагеря около Лонгви вечером 23 августа: «Вступление войск во Францию было ознаменовано очень предосудительными эксцессами, пресеченными, однако, тотчас же очень суровыми наказаниями. Грабеж был ужасен, но король разжаловал и отставил от должности полковника, который усердствовал больше других, а двое грабителей были повешены. Австрийцы, в свою очередь, грабили ужасно, но правосудие не отличалось ни определенностью, ни строгостью, и взысканий не было никаких».

В тот самый час, когда революция готовилась отвечать на насилие насилием, на убийство убийством, на душение слабых, детей и женщин душением детей и женщин, безобразия вторгнувшихся врагов не знали границ. Так завязывался страшный узел взаимных кровавых счетов.

Парижская Коммуна, в своем заседании от 19 августа, повторила, но с подчеркиванием, декрет Собрания. Она возвращалась к первоначальной форме предложения Мерлена и произнесла ужасные слова—«в качестве заложников», от которых Собрание отшатнулось.

«Совет, обсуждая способы наложить узду на безумие людей, которые, не краснея, поднимают оружие на своих братьев и сограждан, постановляет, чтобы было представлено обращение к Национальному Собранию с просьбой распорядиться поместить в надежное место жен и детей эмигрантов ввиду того, что наши враги, очевидно, составили вероломный и преступ-

Электронный архив библиотеки ПГУ имени А.С. Пушкина

ный план напасть на город Париж, вся вина которого заключается только в том, что он—колыбель свободы, и ввиду того, что единственным средством остановить их преступные действия является задержание в качестве заложников единственных существ, которые им могут быть дороги, если ярость еще не заглушила в их сердце голос природы».

«Надежное место» — выражение, звучащее несколько зловеще. Коммуна не ограничивается, как Законодательное Собрание, интернированием жен и детей эмигрантов в пределах их полицейских участков и запрещением им выезда оттуда. Коммуна хочет, чтобы родственники эмигрантов были собраны в одно место, т.-е., говоря прямо, заключены в тюрьму и содержались там под угрозой ножа. Сумеют ли урегулировать и подчинить легальным формам, обставить какими-либо ограничительными гарантиями, давно уже накоплявшийся взрыв ярости?

В заседании 15 августа, в котором Робеспьер формулировал пожелание Коммуны, Национальное Собрание приняло его лишь частично. Оно упразднило, по докладу Бриссо, волокиту кассационной процедуры. «Национальное Собрание, принимая во внимание, что преступления, совершенные 10 августа, слишком многочисленны, чтобы приговоры по ним при возможности кассации могли произвести ожидаемое от них обществом действие, а именно, послужить должны примером; принимая во внимание, что, уже учреждая военный суд по делам о преступлениях, совершенных во время монской и турнейской экспедиций, Собрание тем самым постановило, что имеющие быть вынесенными приговоры не подлежат ни апелляции, ни кассации,—Собрание постановляет, что те приговоры, которые воспоследуют в связи с преступлениями, совершенными в день 10 августа или относящимися к этому дню,—не подлежат кассации, и что, следовательно, осужденные не могут ходатайствовать о пересмотре их дела перед революционным трибуналом».

Бриссо и Робеспьер! Видя, как Бриссо делает доклад в существенных пунктах благоприятный петиции Коммуны,—петиции, представленной его противниками, можно было бы заключить, что в период наиболее острого кризиса эти два человека сблизились. И—кто знает: быть может, координируя свои действия в целях укрепления быстрого и энергичного функционирования революционной юстиции, противопоставляя себя всякому народному самосуду, они избавили бы революцию от сцен бойни. Но это было не так: острое соперничество этих двух людей продолжало существовать; дает себя оно знать и в этом вопросе. Робеспьер требовал двух вещей. Он хотел, чтобы право подачи кассаций было уничтожено, и этот пункт Бриссо, от имени Комиссии Двенадцати, принял.

В то же самое время Робеспьер добивался, чтобы не ограничились только перевыборами присяжных, но чтобы перевыбрали также и судей.

Это было логично: раз создавался революционный трибунал, предназначенный для быстрого и исключительного функционирования, нужно было обновить его целиком.

Но в этом-то Комиссия Двенадцати и отказала. И Бриссо легкомысленно поздравляет себя в своей газете с тем, что именно в этом пункте он подставил ножку Робеспьеру. Во «Французском Патриоте» я читаю: «Господин Робеспьер высказывается от имени революционного городского управления против образования трибунала, предназначенного судить заговорщиков 10 августа; он требует, чтобы граждане, избранные в секциях, одновременно выполняли обязанности прокуроров, присяжных обвинителей и судей. Это предложение, противоречащее всем принципам, на которых основан институт присяжных, несовместимое вообще ни с какими принципами, было отослано в чрезвычайную комиссию».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Несколько часов спустя Бриссо сделал доклад по этому вопросу. Он ясно доказал неприемлемость петиции Робеспьера, который не выражал мнения Коммуны. Коммуна требовала только, чтобы не было ходатайства перед кассационным трибуналом. Все это мелочно и способно раздражать. Что значит эта попытка отделить Робеспьера от Коммуны, которая его выбрала? Что значит это резкое и торжественное воззвание к принципам, когда, уничтожая право обжалования перед кассационным трибуналом, само Национальное Собрание опрокидывает, в интересах революции, всю систему судопроизводства? Что значит также это искажение мнения Робеспьера? Он вовсе не требовал, чтобы присяжные выполняли и обязанности судей, но чтобы судьи были вновь избраны, как и присяжные.

Эти препирательства и злосчастное соперничество становятся противными. В то время как Робеспьер испытывал горделивую радость, передавая Собранию от имени Коммуны указания, которые в действительности были приказаниями, Бриссо кляузничал и старался унизить Робеспьера. Но надо было, однако, решиться упорядочить поставленный Парижской Коммуной вопрос относительно судей, и два дня спустя, после презрительной и оскорбительной статьи Бриссо, Собрание было вынуждено логикой вещей постановить переизбрать судей. Эро де-Сешель указал на необходимость дополнить половинчатое решение от 15 августа:

«Господа, вы декретировали вчера образование нового состава присяжных и судей, чтобы расследовать преступления, которые всплыли наружу в день 10 августа. Создание этого органа вам показалось необходимым, во-первых, ввиду недостаточности количества существующих присяжных и, во-вторых, ввиду недоверия, которое некоторые из них навлекли на себя благодаря своим политическим убеждениям. Этот новый суд создан. Но, чтобы его привести в действие, вам остается еще дополнить мудрые предписания вашего декрета, распространив их на уже существующий ныне департаментский трибунал, который отличается неудобством того же рода, и, повидимому, настоятельно требует от вас тех же мер.

«Действительно, господа, если вы, создав новую обвинительную часть трибунала, сохраните в качестве судей тех, которые до сих пор занимались расследованием обычных преступлений, вы не достигнете той цели, которую вы себе поставили; вы обречете на бессилие как присяжных, так и судей. Вопреки своему желанию, вы отдалите час законного возмездия».

Собрание все же постановило, что новые судьи будут избраны, согласно обычным формам. Что же выиграл Бриссо от этой отвратительной кляузы? А вот что: пока тянулись эти необъяснимые проволочки,—повышалась нервность масс, народный гнев нарастал. Уже восемь дней, как было обещано правосудие и казалось, что, переходя от одной трудности судебной процедуры к другой, Собрание думало поиграть своими собственными словами и уклониться от исполнения принятых на себя обязательств.

ГЛАВА II.

Борьба между Коммуной и Законодательным Собранием.

Эти подозрения народа Коммуна использовала против Собрания. В своем заседании от 17 августа она заставила Законодательное Собрание прислушаться к следующим грозным словам:

«Если бы тиран был победителем,—говорит делегат Коммуны,—уже сотни эшафотов были бы воздвигнуты в столице, и больше трех тысяч граждан заплатили бы головой за огромное в глазах деспота преступление, состоявшее в

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

том, что они осмелились сделаться свободными; а французский народ, вышедший победителем из самого ужасного заговора, покоритель самого черного предательства, еще не отомщен! Разве существует разное правосудие для народа-повелителя и для народа-раба?»

И, заканчивая свою речь подведением итогов, он как бы бьет в набат. «Как гражданин, как народный уполномоченный, об'являю вам, что сегодня вечером, в полночь, загудит набат, раздастся барабанный бой. Народ устал оттого, что он до сих пор еще не отомщен. Бойтесь, как бы он не принялся за отправление правосудия сам. Я требую, чтобы вы немедленно постановили выбрать одного гражданина от каждой секции, чтобы образовать уголовный трибунал. Я требую, чтобы народные кровопийцы—Людовик XVI и Мария-Антуанетта, получили бы удовлетворение при виде того, как потечет кровь их бессовестных приспешников».

Слушая этот язык угроз и крови, Жиронда ничего не отвечала. Может быть, перед лицом делегата Коммуны, которая произвела 10-е августа, она чувствовала себя обессиленной воспоминаниями о своих собственных колебаниях? Или она боялась сурового отпора? Или у Бриссо хватило смелости нападать только на Робеспьера? На этот раз говорит не Робеспьер, и вот газета Бриссо доходит до того, что хвалит «энергичный язык» делегата Коммуны. Кажется, что именно в этот момент Бриссо говорит комплименты Коммуне, чтобы изолировать Робеспьера и сразить его затем наверняка. Какая жалкая мелочность! При молчании Жиронды, против бурного языка Коммуны протестуют монтаньяры.

Бесстрашный Шудьё, тот самый, который еще до 10 августа, при ропоте Собрания, потребовал низвержения короля, охвачен теперь порывом негодования. Ему кажется, что уголовный трибунал, создания которого требовали в таких выражениях, будет не чем иным, как только орудием убийства и инквизиции. И, весь дрожа, он прервал слова делегата. Он сам рассказал эту прекрасную и сильную сцену, когда смелый, активный человек проявил себя в то же время представителем милосердого правосудия.

«Я не даю этому петиционеру продолжать. Я бросаюсь на трибуну и говорю: «Народное Собрание не может дольше слушать, как говорят с ним столь неприличным языком, притом говорит человек, который предстал пред вами в качестве народного магистрата. Люди, являющиеся к нам с такими предложениями, рекомендующие инквизиторский трибунал,—не друзья народа. Я считаю себя в праве говорить от имени народа, другом которого я показал себя не один раз, защищая его свободы. Но я хочу, чтобы его просвещали, а не льстили ему. Вы составили прокламацию; она должна быть достаточной, а если не хотят повиноваться нашим декретам, нечего их и составлять. Дерзкое присвоение права диктовать вам законы не есть пользование правом подачи петиций, а злоупотребление им; я всегда буду протестовать против образования трибунала, который располагал бы произвольно жизнью граждан, и я надеюсь, что Собрание разделит мое чувство по этому поводу».

Шудьё шел очень далеко, поскольку он противополагал себя в этом чрезвычайном споре всему трибуналу революции. Видимо, Коммуна своим повторным и повелительным вмешательством раздражила даже крайних левых демократов Собрания; и как раз именно Гора первая осмеливается определенно противоречить революционной Коммуне.

И другой монтаньяр, Тюрио, протестовал против этих властолюбивых претензий; испуганный за революцию при виде того, что ею овладел дух мести и крови, который, кажется, часто стал ее посещать со времени 10 августа, Тюрио напомнил об этом в нескольких прекрасных словах, проникнутых высоким духом гуманности.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Недопустимо, чтобы какие-то люди, чуждые истинных принципов, незнакомые с законом и не изучавшие Конституции, являлись сюда, чтобы подменить выражение общей воли своей частной волей. Пусть все парижане знают, что мы не должны ограничивать все свои интересы стенами Парижа. Не должно быть ни единого акта Законодательного Корпуса, который не носил бы на себе печати общего интереса, любви к закону. В этот момент вас стараются убедить, что готовится движение, новое восстание; когда следовало бы чувствовать, что самое необходимое сейчас, это—всеобщее единение, стараются еще раз взбунтовать народ; и вот я требую, чтобы Законодательный Корпус выказал готовность скорее умереть, чем допустить малейшее нарушение законности; пускай он сделает распоряжение о посылке комиссаров в секции, чтобы призвать их к уважению закона. Долой магистратов, которые уступают первому натиску, поддавшемуся обману народа. Нужны магистраты, полные священного огня любви к родине, которая одушевляет святое уважение к закону. Я люблю свободу; я люблю революцию; но если для ее упрочения потребовалось бы преступление, я бы предпочел покончить с собой. Одну только меру надо принять—об'единиться и всюду проводить любовь к закону, любовь к общественному благу. **Революция существует не для одной только Франции; мы ответственны за нее перед человечеством. Пусть когда-нибудь все народы благословят французскую революцию».**

Удивительные слова человека с великим сердцем! С радостью и отрадой слушаешь Тюрио. В то время как Коммуна, почерпая свою силу в охватившем народ чувстве мести, забывает напомнить ему о принципах гуманности; в то время как Робеспьер, прекрасно зная, что его выступление раздразнит Жиронду, расточает свое надменное, желчное красноречие, а Бриссо опускается до жалкого жонглерства, Тюрио убежден, что, если революция запятнает себя кровопролитием, она потеряет в глазах народа свой высокий престиж человечности.

И Тюрио взывает к партиям, к соперничающим личностям: «Об'едините ваши усилия, чтобы революция могла остаться гуманной!» Великие слова, но они не были услышаны!

Конфликт между Коммуной и Собранием осложнялся. Парижские революционеры, которые при содействии скопившихся в Париже федератов спасли революцию и Францию, считали необходимым продолжать революционное воздействие столицы, даже после созыва Конвента. В плане Конституции, представленном Якобинскому клубу 17 августа, секция Марше-де-Инносан требует, чтобы декреты Конвента, касающиеся установления Конституции и прочих законов... стали обязательными только после принятия их в первичных собраниях. Не нуждаются в утверждениях секций лишь декреты, изданные в порядке управления. Если бы, однако, Конвент принял какую-либо весьма опасную меру, Парижская Коммуна, более, чем другие, способная действовать, благодаря своей непосредственной близости к Конвенту, могла бы потребовать от него обязательного вторичного пересмотра этой меры».

Депутаты уже подозрительно относятся к подобным речам и начинают называть эти проекты «диктатурой» Парижа. Марат, со своей стороны, нападал с удвоенной яростью. Всего три дня спустя после оптимистической статьи от 16 августа, где он говорил, что под влиянием Коммуны все идет к лучшему, он пишет донос на Законодательное Собрание,—этих «проклятых отцов-сенаторов» из манежа, изменяющих народу, стремящихся добиться оттяжки суда

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

над изменниками до прибытия Мотье, который двигается на Париж со своей армией, чтобы вырезать патриотов». В этот самый момент бежал покинутый своими солдатами Лафайет; его посадили в австрийскую крепость. Но таков уже был темперамент Марата, что он верил худшим слухам; к тому же в его планы входило довести народ до безумия отчаяния.

«Оказывается более, чем верным, что Национальное Собрание возобновило свои адские махинации, и что оно ведет их с бесстыдством, бесчестностью и наглостью, которые достаточно свидетельствуют о презреньи, которое оно испытывает к вам, и об его намерении снова наложить на вас оковы. Пока оно боялось вашего гнева, с какой низостью оно, вам известно, ласкало и умасливало вас, лишь бы вас успокоить. Тогда высшим законом государства было спасение народа. Вы были единственным верховным владыкой, и они считали за счастье принадлежать к числу санкюлотов. А чуть только вы положили оружие и перестали лить преступную кровь, как Собрание ни о чем другом уже и не думает, как только о том, чтобы вас усыпить».

И он, Марат, бьет в набат, призывая к резне: «Но что является долгом народа? У него только два пути. Первый—это ускорить суд над изменниками, содержащимися в Аббатстве, окружить уголовные трибуналы и Собрание, и если изменники будут обелены, убить их, не путаясь с новым трибуналом и негодяями, испекшими предательский декрет. Второй путь является самым верным и самым мудрым. Он заключается в том, чтобы с оружием в руках подойти к Аббатству, вырвать оттуда изменников, особенно швейцарских офицеров и их сообщников, и нанизать на шпагу. Какое безумие непременно желать устроить им процесс! Все уже кончено; вы захватили их с оружием в руках, с оружием, поднятым против родины; вы изрубили солдат, почему же вы щадите их офицерство, несравненно более виновное? Глупостью было слушаться усыпителей, которые посоветовали сделать из них военных заложников. Это—изменники, которых необходимо было убить на месте, и никогда их нельзя было рассматривать иначе».

Было ли, действительно, в интересах революции спешить после победы с истреблением наемных швейцарцев, которые в силу вековой традиции своей родины стреляли, защищая своего господина—короля Франции?

«Граждане,—продолжает Марат,— я вам это предсказывал, и я вам повторяю: ваши враги вновь строят козни против вас; во главе их стоят прогнившие члены Собрания, в особенности эта адская клика с Бриссо-Гаде во главе; их диктатор (Лафайет) готов уже появиться».

Итак, перебить пленников, закрыть перед Жирондой Конвент—вот какова была программа Марата 19 августа 1792 года. Она осуществится в два приема: 2 сентября 1792 года и 31 мая 1793 года исключением жирондинцев.

Однако, вот уже два дня, как Законодательное Собрание, повидимому, отказалось от роковой системы откладываний и проволочек. Уголовный трибунал был создан; и, чтобы придать ему законность и революционную силу, его председателем 18 августа избрали Робеспьера. Робеспьер отказался. Это было непростительной ошибкой, что бы там ни говорили апологеты. Господин Амель, в остальном, впрочем, добросовестный и честный старик, еще хвалит его за это. «В силу мотивов,—говорит он,—деликатность которых каждый оценит, Робеспьер отказался принять высокие обязанности, к которым его призывали, где он был бы зараз и

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

судьей и тяжущейся стороной». Это и было отговоркой, выбранной Робеспьером.

«Я боролся с самого начала революции с большею частью людей, совершивших преступление против нации. Я разоблачил большинство из них, я предсказал все их преступные деяния, когда еще верили в их гражданственность, вот почему я не мог быть судьей тех, противником которых я являлся, и я должен был напомнить, что, если они были врагами родины, они тем самым являлись и моими.

«Это правило, годное во всех обстоятельствах, особенно применимо в данном случае; правосудие народа должно носить достойный его характер: нужно, чтобы оно было одновременно импозантным, скорым и беспощадным. Отправление этих новых обязанностей было бы несовместимо с обязанностями представителя Коммуны, которые мне поручены; надо было выбирать что-либо одно; я остался на старом посту; я был убежден, что именно здесь в настоящее время я должен был служить родине».

Жалкий софизм! И было бы унизительно позволить себя им одурачить. Дело было вовсе не в личной неприязни, да Робеспьер чаще всего и воздерживался от указаний на определенных лиц. Кроме того, в подобного рода процессах каждый гражданин одновременно был и судьей, и заинтересованной стороной, и кто же из революционеров и патриотов Десятого Августа не мог сказать про себя, что он был прямой враг тех, кого приходилось судить? Разве Дантон отказался под этим предлогом от поста министра юстиции? Нет. Наоборот, было делом первостепенной важности, чтобы во главе уголовного трибунала стояло лицо, которое внушало бы революции полное доверие. Это давало народу гарантию силы и искренности, которые ему были необходимы. Опираясь на то доверие, которое он внушал, председатель мог в то же время оставаться умеренным и справедливым. Согласись Робеспьер на это новое назначение, может быть, от него зависело бы избавить революцию от той резни, которой требовал Марат, и которая уже зловеще носилась над Парижем. Робеспьер устранился из страха перед ответственностью, из мудрого честолюбивого расчета. Положим, ему пришлось бы открыто взять на себя обязанность произносить суровые приговоры, которые должны были быть вынесены во имя пострадавшей от измены родины и попранной свободы. Он должен был бы также принять на себя перед лицом возбужденного народа ответственность более тяжелую, чем расплата. Или он должен был уступить чувствам народной мести, спуститься с роли судьи до роли палача. Или же он стал бы противиться и противопоставлять человечность чувству яростной мести,—и тогда он рисковал бы потерять на службе революции часть своего кредита. Робеспьер не любил обязанностей, которые требовали решительности, где определенные действия влекут за собой и определенную ответственность; он предпочитал роль советчика, где искусное равновесие фраз, остроумное сопоставление положений позволяют снять с себя определенную и прямую ответственность. Может быть, если бы он имел мужество принять этот пост, народ не пережил бы яростного взрыва нетерпения и подозрительности сентябрьских дней. Может быть, Коммуна, которая в сентябре предоставила народу свободу действий, вмешалась бы, чтобы остановить движение, направленное в целом столько же против узников, сколько против уголовного трибунала, с его несовершенствами и медлительностью. И если бы Робеспьер и поплатился благодаря этой трудной и страшной обязанности частью своего революционного реномэ, он растратил бы его, служа революции. Но он не посмел; из честолюбивого эгоизма он отказался пойти навстречу опасности. Я полагаю, что этим отказом он взял на себя в сентябрьские дни значительную часть ответственности.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Когда в своем чрезмерном усердии апологета, Амель доходит до того, что восхваляет Робеспьера за его отказ от «доходного места», он проваливает довольно досадным образом вопрос, дискредитируя своего героя.

И когда он прибавляет, что, отказавшись от всякого официального положения, Робеспьер торжественно демонстрировал свое политическое беспристрастие, Амель наивно злоупотребляет своим правом.

Одним словом, Робеспьер, стушевавшись из расчета и осторожности, уступил дорогу Марату с его кровожадными «замыслами».

В то же время Шабо в заседании 20 августа у якобинцев заявил совершенно определенно, что федераты попрежнему должны являться революционной силой, чтобы оказывать давление на самый Конвент. «Пусть федераты не расходятся вовсе; пусть они не уезжают из Парижа, пусть они остануться, чтобы наблюдать за Национальным Конвентом».

«Очень легко может оказаться, что члены, которые составят Национальный Конвент, все еще будут желать королей; но пусть храбрые парижане держатся стойко, так как короли никогда не простят им, что те за несколько месяцев перед тем лишили их трона. Выдачи по цивильному листу, правда, приостановлены, но он существует еще в кассах банков, в имуществе эмигрантов, в средствах бывших крупных помещиков и капиталистов, которые готовы на величайшие жертвы, лишь бы только вернуться к тому порядку вещей, при котором им жилось так хорошо».

«Если бы Национальный Конвент решился покинуть Париж,—я говорю об этом совершенно откровенно,—я во второй раз ударю в набат: «задержите преступников!»

Таким образом, прежде чем Конвент собрался, раньше даже, чем он был выбран, парижские революционеры приготовились установить за ними надзор, прочно зафиксировать его местопребывание и прикрепить его к Парижу, чтобы держать под своим контролем. Однако, Шабо вовсе не идет за Маратом до конца: он старается направить меч Коммуны против роялистов, умеренных, фельянтинцев; но он не грозит прямо жирондистам. Они голосовали за возбуждение судебного преследования против Лафайета. Следовательно, они по праву принадлежат к революционной партии.

«Если 220 членов, которые голосовали против Лафайета, останутся у вас,—прибавляет Шабо,—я думаю, я в праве утверждать, что общественное дело спасено. Если бы, наоборот, в Национальный Конвент прошло большинство нынешнего Законодательного Собрания, тогда берегите ваше оружие и будьте на страже».

Так, Жиронда была принята в лагерь революции, но поставлена под наблюдение Парижской Коммуны.

Избирательный манифест якобинцев, изданный 22 августа, составлен в том же духе. Он отвергает жирондистов, но делает из Парижа стража революции. «От нашего выбора зависит успех нашего дела... Собрание уничтожило раз'единяющую стену, которую наши составители Конституции возвели между гражданами; оно уничтожило без выкупа все феодальные права, исключая тех, относительно которых доказано на основании подлинных документов, что они являются повинностью, вытекающей из уступки земли.

«Мало наберется бывших сеньеров, которые смогут представить это доказательство. Оно осудило королей и священников, эмигрантов и их благородных корреспондентов, финансовую аристократию, одним словом—всех наших врагов. Оно восстановило царство равенства, призывая весь народ без различия к осуществлению своих верховных прав. Наше дело поддержать в этом Собрание, и мы можем это сделать, устраняя из избирательных собраний всех тех, которые, хотя бы косвенно, поддерживали двор, священников, эмигрантов и их приспешников

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

У нас не может быть затруднений с выборами. Патриоты составляют большинство нации, а потому они могут, если сумеют, об'единиться, добиться благоприятных для себя результатов. Выборщики оплачиваются тремя ливрами в день, да по три су с каждого лье за их путешествие, и не нужно быть богатым буржуа, священником или бывшим дворянином, чтобы принять эту благородную обязанность, и если большинство выборщиков стоит на платформе революции 10 августа 1792 года, наши новые депутаты не замедлят закрепить ее завоевания созданием конституции, соответствующей Декларации прав, охраняющей интересы большинства.

«Те из наших представителей, которые были верны народу, уже отмечены общественным мнением, и их готовый список вы имеете, если возьмете тех, которые голосовали за обвинительный декрет против Лафайета. Сравнительная таблица, которую мы вам посылаем, поможет вам разобраться окончательно, кто ваши враги и кто ваши друзья. Среди ваших депутатов Учредительного Собрания у вас есть Петионы, Робеспьеры, Бюзо, Антуаны, Серолли, Грегуары, Ле-Пельтье, Дюбуа, де-Крансе, добрый отец Жерар и некоторые другие надежные защитники народных прав; правда, их немного, но зато они наиболее достойны в этом отношении получить ваши голоса. Они доказали свою пригодность...

«Братья, друзья! если 224 представителя народа, которые только что подвергли себя обстрелу убийц и мести Тюильри, получат ваши голоса вместе с 40 неподкупными депутатами из Учредительного Собрания, отечество спасено. Они принудят остаток Национального Собрания итти честным путем; но если Конвент составится только из новых депутатов, какими бы непримиримыми они ни были, возможно, что мы найдем свое спасение только в нашем мужестве и в новом восстании».

Таким образом, Якобинский клуб, где, впрочем, официально было много жирондистов, предлагает жирондистские кандидатуры. Но Париж оставался как бы высшей апелляционной инстанцией; именно в Париже демократы-приверженцы Робеспьера и Коммуны проваливали каждую жирондистскую кандидатуру. Колебания Жиронды перед 10 августа подорвали доверие к ней; Париж хотел быть представленным более энергичными революционерами. Столичные демократы во всеуслышанье заявляли, что не будь двухстепенной системы выборов, еще удержанной для Конвента, в результате народного голосования немедленно прошли бы друзья Дантона, Марата и Робеспьера. 12 августа Антуан говорил у Якобинцев:

«Одна из главных причин наших бедствий это—избирательная система, проводимая Законодательным Собранием.

«До тех пор, пока у вас будут собрания выборщиков, результаты выборов будут плохи. Разительный пример этого вы имеете в ощутимой разнице, которая замечается между муниципалитетами, избранными прямым голосованием народа, и департаментами и трибуналами, избранными собранием выборщиков. Лучшее и единственное средство иметь хороших избранников, состоит в том, чтобы выборы были произведены народом, всем народом и только народом... Я особенно настаиваю на этом пункте, потому что без этого Конвент будет не лучше, чем теперешнее Законодательное Собрание».

Робеспьер также жалуется в «Защитнике Конституции», что Законодательное Собрание удержало собрания выборщиков, но он констатирует, что оно сохранило за первичными собраниями довольно широкие полномочия. Было бы желательно, чтобы для Национального Конвента Собрание установило более простой и более благоприятный народным правам способ избрания.

«Надо было бы уничтожить бесполезного и опасного посредника—собрания выборщиков, и предоставить народу возможность самому избирать

Электронный архив библиотеки Института им. А.А. Кулешова

своих представителей. Собрание следовало здесь скорее рутине, чем принципам. Но надо его похвалить за то, что оно предложило этот способ избрания только в форме рекомендации и совета, что оно передало почетное право окончательного решения верховенству народа, организованного в первичные собрания».

Шабо 20-го августа говорит у якобинцев: «Установленный декретом способ избрания ничего не стоит, и если бы я не был тогда занят специальной задачей—переловить швейцарцев, я бы не сошел с трибуны, прежде чем я не добился бы более выгодного для народа способа избрания—прямых выборов. Я боюсь не за Париж: там люди слишком сознательны, чтобы быть не уверенным в выборе выборщиков, но я боюсь за департаменты. Департаментские власти в большинстве случаев совершенно прогнили, и я боюсь, что декрет, который назначает избирателям по экю в день, не будет опубликован во-время, и что вследствие этого избранными еще раз окажутся богатые; как бы нам не иметь аристократический состав выборщиков».

Однако, ни одно первичное собрание не воспользовалось предоставленным ему правом принять иной способ избрания! Даже в Париже демократы ограничились тем, что подвергли выборы, сделанные избирательными собраниями, одобрению первичных собраний, и тем, что установили систему открытой подачи голосов. По предложению Робеспьера, его секция, секция «Вандомской Площади», приняла 27-го августа следующее постановление:

«1-е. В принципе все уполномоченные народа должны быть избраны непосредственно народом, т.-е. первичными собраниями; способ избрания депутатов Конвента через посредство выборщиков принят исключительно в силу необходимости. 2-е. Чтобы, по возможности, предупредить неудобства, связанные с этой системой, избиратели будут подавать свой голос открыто и в присутствии публики. 3-е. Для того, чтобы сделать эту последнюю предосторожность действительной, надо, чтобы они собрались в зале Якобинского клуба, а избранные выборщиками депутаты будут подлежать пересмотру и обсуждению в первичных собраниях, с тем, чтобы большинство могло отклонить недостойные народного доверия кандидатуры».

Робеспьер заставил обратить эту директиву в постановление муниципалитета. 28-го августа оно было расклеено по всему Парижу.

Итак, в Париже выборы должны были пройти под влиянием революционеров и приверженцев Робеспьера. Жиронда была здесь как бы устранена от избирательной кампании. Она чувствовала силу удара и, в свою очередь, задумала немедленно нанести удар Коммуне. Газета Бриссо—«Французский Патриот»—говорит 29-го августа: «Власти, установленные для того, чтобы дать политической машине определенное революционное движение, должны прекратить свое существование, раз это движение закончилось; в противном случае, эти власти будут не чем иным, как диктатурой, а диктатура, будь она длительной или всего на несколько дней, всегда является могилой свободы. Пока временные комиссары Коммуны занимались только тем, что направляли революцию 10-го августа, преследовали заговорщиков и наблюдали за теми, которые были в этом отношении подозрительны,—партиоты смотрели спокойно на власти, которые, возникнув из движения, должны были сойти на-нет вместе с ним и раствориться в народном верховенстве народа. Но как только стало очевидно, что эти комиссары продолжают пользоваться своею диктаторскою властью, узурпируют права Коммуны, распускают и вновь созидают административные органы, которые могла бы уничтожить и вновь создать одна Коммуна, что они распределяют между собою места, на которые она одна только могла назначать; отстраняют выбранных и любимых народом чиновников, наконец, совершают такие акты, которые не могут быть оправданы никакими обстоятельствами,—глаза добрых граждан открылись;

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

они поняли, что не для того они два раза завоевывали свободу, чтобы отдать ее в руки интриганов, что недопустимо на развалинах королевского и патрицианского деспотизма устанавливать деспотизм еще более жестокий и ненавистный».

В сущности, это было равносильно об'явлению войны. На другой день «Французский Патриот» возвращается к тому же: «Невозможно заставить вернуться в законные границы власть, которую внезапно поставили над законами ради спасения родины; естественная тенденция всякой власти толкает ее к узурпации; пусть подумают, легко ли заставить ее отказаться от того, что придала ей сила обстоятельств или голос времени. Тот, кто рассуждал о природе власти и о вечных законах, по которым все совершается в области морали, должен был предвидеть, что диктаторская комиссия Парижской Коммуны, необходимая в первые моменты революции 10-го августа, полезная в течение нескольких последующих дней, кончит тем, что станет опасной, тем более опасной, чем больше заслуги, которые она оказала. Ведь было очевидно, что она будет применять революционные средства и после того критического момента, который вызывал их необходимость».

Тон умеренный и ход рассуждений искусный. Но заключение резко. Нет возможности ввести в законные границы революционную власть Коммуны. Надо, следовательно, ее уничтожить. Жиронда в последние дни августа нанесла Коммуне много ударов. Сначала некоторые умеренные секции, как, например, секция Ломбард, секция de la Halle au Blé отозвали своих комиссаров из Коммуны и таким образом пробили брешь во временном городском самоуправлении.

Когда Коммуна вызвала к своей решетке журналиста Жирей-Дюпрэ, друга Бриссо, чтобы потребовать у него отчета за его выпады против Генерального Совета Коммуны, Жирей-Дюпрэ протестовал резким письмом.

Он обратился к Законодательному Собранию с жалобой на акт произвола со стороны Коммуны. Законодательное Собрание тотчас потребовало к себе Генеральный Совет Коммуны, который не явился. Тогда, 31-го августа, оно отменило распоряжение, направленное против Жирей-Дюпрэ, как несогласное с принципом личной свободы. Наконец, Ролан, искренне преданный Жиронде, 30-го августа выступил с жалобой на то, что Коммуна, присвоив себе функции всех властей, их дезорганизовывала. «Я достал себе точный список припасов, которые находились в столице, и столковался с продовольственным комитетом города Парижа; но Комитет, которому я всецело доверял, только что распущен временными представителями Коммуны, равно как отстранен от должности и господин Кузен, который стоял во главе его. Все работы Комитета остановились вследствие этой дезорганизации. И при таком положении дел я не отвечаю больше за снабжение Парижа продовольствием».

Казалось, что при некотором желании эти административные конфликты могли быть легко устранены. Но в действительности назревал серьезный политический конфликт. Ролан добавляет: «Мне поручена Собранием под моей ответственностью охрана вещей, поставленных в мебельном амбаре. Я назначил заведующим этим национальным складом господина Рестона, человека честного и весьма сведущего в области искусства. Он только что мне жаловался, что со склада королевской мебели взяли маленькую пушку, украшенную серебром, занесенную в каталог тех вещей, за которые он ответственен. Он мне сообщает, что то же лицо унесло бумаги, о важности которых я не берусь судить». Подозрительный и ворчливый Ролан обострял, благодаря своему докучливому характеру, трудности, которые человек более проницательный и более терпимый легко бы устранил.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Но Жиронда желала покончить с этим.

Часть парижского населения устала от несколько беспокойной, неустойчивой и нарушающей обыденную жизнь деятельности Коммуны. А в Законодательном Собрании даже монтаньяры начинали раздражаться. Унижая Собрание, Коммуна унижала и их. Более того, с точки зрения великого революционного чувства, национального единства, а также исходя из принципа концентрации власти, они опасались, как бы беспорядочные действия Парижской Коммуны не скомпрометировали единства усилий и борьбы. Очень искусно Жиронда дала возможность раздраженным монтаньярам высказаться. Тюрио, который отличался удивительной гуманностью, но который не хотел играть в руку Жиронде, отчасти защищал Коммуну. Но Шудье и Камбон шли до конца. Камбон воскликнул: «Если хотите укрепить положение Собрания, пусть оно заставит предоставить себе те полномочия, которые были даны народом этим временным городским властям: ведь если у них не окажется этих полномочий, то они—просто узурпаторы, и должны быть наказаны, как таковые».

В своих записках Шудье так поясняет свое выступление: «Я стал говорить после господина Камбона и сказал: «Уже время обратить внимание Законодательного Собрания на поведение теперешнего парижского муниципалитета. Всецело признавая, что он оказал важные услуги в ночь с 9-го на 10-ое августа, я не могу считать его народным представительством. Уже многие парижские секции протестовали против его образования, которое могло быть узаконено только восстанием; но когда все входит в свое русло, Коммуна должна подчиниться общему порядку. Это собрание состоит исключительно из комиссаров, которые были избраны, чтобы руководить операциями, относящимися к 10-му августа; следовательно, его власть возникла из частных, чисто муниципальных полномочий; Коммуна сама присвоила себе власть, которая не была ей предоставлена; может быть, в момент кризиса она была права, но раз опасность прошла, ее члены должны сложить свои полномочия и снова превратиться в рядовых граждан. Сейчас обвиняют Коммуну в том, что она все путает и дезорганизует. Она даже позволила себе отрешить от должности парижского мэра; подобное положение не может быть терпимо дольше, потому что оно повело бы нас к полной разрухе».

И Шудье прибавляет: «Обстоятельства, действительно, были очень трудны; народное возбуждение еще не остыло и требовало сдержки и руководства; народный энтузиазм является великой силой; но при том условии, если он не разбивается на противоречивые движения, а между тем каждый день на-ряду с самыми благородными увлечениями появлялись на свет божий неосмотрительные, даже провокационные предложения, которые преподносились под видом революционных». Собрание решило покончить с подобным положением вещей.

Жиронда, опираясь таким образом на часть монтаньяров и как бы прикрываясь ими, сочла себя достаточно сильной, чтобы распустить Коммуну; в тот же самый день, 30 августа, в ответ на запрос Гранжнёва Собрание издало, после краткого доклада Гаде, следующий указ: «В течение 24-х часов парижские секции должны избрать каждая двоих граждан. Собравшись вместе, они образуют до ближайших муниципальных выборов временный Генеральный Совет Парижской Коммуны. Как только предписанные предыдущей статьей выборы будут произведены, комиссары и их заместители, избранные 48-ю секциями, и заменившие, начиная с 10-го августа, Генеральный Совет Коммуны, лишаются своих полномочий.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Мэр города Парижа, прокурор Коммуны, члены Муниципального Бюро и Муниципального Корпуса [1]), которые состояли в должности к 10-му августа сего года, продолжат исполнение своих обязанностей до своего замещения».

Собрание не ограничилось тем, что распустило Коммуну. Приняв предложение Камбона, который требовал от временных комиссаров представления формальной отчетности, оно ставило Генеральный Совет в положение обвиняемого.

Жиронда, кажется, строила себе иллюзии. Она ждала от всех этих декретов больше, чем они ей могли дать, так как и новые избранники секций, вероятно, должны были быть одушевлены тем же самым революционным чувством. Она могла, однако, надеяться, что новая Коммуна, у которой не будет ореола славы 10-го августа, окажется менее сильной, менее влиятельной, что таким образом общенациональная власть станет над революционной властью городского самоуправления.

Как Парижская Коммуна реагировала на декрет о своем роспуске? Как только в вечернем заседании 30-го августа сделался известен декрет Собрания, в здании Коммуны поднялась невероятная буря.

Началось с того, что один горячий гражданин в энергичной речи стал призывать народ к восстанию против Собрания. Раз оно подвергло преследованию людей 10-го августа, раз оно требовало формальные документы от людей, которые могли получить свои полномочия только благодаря своему мужеству и от самой революции, раз Собрание, таким образом, вызывало к своей решетке самое революцию десятого августа,—значит нужно продолжать и углублять эту революцию. Революционеры выступили против королевской власти, теперь им следует обратиться против Собрания, которое приготовилось мстить за королевскую власть.

Но этот смелый призыв не нашел отклика. Повидимому, Коммуна хочет ограничиться сначала пассивным сопротивлением: она останется и, в случае необходимости, она заставит секции утвердить ее полномочия.

Секции Моконсейль и Финистер немедленно подтверждают полномочия своих комиссаров. Таким образом, Коммуна получила бы законные полномочия в общем согласно декрету Законодательного Собрания, а все-таки осталась бы существовать в качестве той же самой Революционной Коммуны.

Но и в этой тактике обнаружилось колебание. Секция Лувра не хочет принимать немедленного решения. Она требует, чтобы ей раньше сообщили точно декрет Собрания. Секция Ля-Фонтэн-Монмартр дает директиву своим комиссарам—подчиняться декрету Собрания.

Отсюда,—отсутствие единства и бессилие; и был такой момент около половины первого ночи, когда казалось, что Генеральный Совет Коммуны прекратит свое заседание, не приняв решения, и таким образом признает себя побежденным. Но революционный инстинкт оказал свое действие. Совет постановил, что тот, кто предложит прекратить заседание, будет исключен из Коммуны. Затем было принято решение о рассылке адреса-протеста всем департаментам и всем муниципалитетам, вместе с протоколами Коммуны, начиная с 10-го августа.

Это было своего рода апелляцией к Франции и революции против декрета Собрания. Марат, который чувствовал себя задетым тем же самым ударом, который пришелся по Коммуне, велел расклеить 31 самые резкие афиши по адресу

---

[1]) Муниципальное Бюро состояло из мэра и 16 администраторов, заведовавших различными отделами городского управления. «Муниципальным Корпусом» называлось соединение собрания Муниципального Бюро и 32-х членов Муниципального Совета, избиравшееся из состава Генерал. Совета Коммуны. Ред.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Законодательного Собрания. Секретарь Коммуны Тальен явился от ее имени к решетке Собрания, чтобы протестовать против декрета в таких выражениях:

«Вы выдвинуты нами на славный пост представители свободного народа; вы сами дали нам почетное звание представителей Коммуны, сами пожелали сноситься с нами непосредственно. Все, что мы сделали, санкционировано народом (Аплодисменты граждан, находившихся на трибунах). Это не кучки каких-то заговорщиков, как хотели бы нас уверить, это—миллион граждан. Спросите их о нас, и всюду они вам скажут, что мы спасли родину. Если некоторые из нас уклонились от исполнения своих обязанностей, мы требуем от имени Коммуны их наказания. На нас была возложена обязанность спасти родину, мы поклялись это сделать, и мы отстранили от должности мировых судей, недостойных этого прекрасного названия; мы распустили фельянтинский муниципалитет. Мы не издали ни одного приказа в ущерб свободе добрых граждан, но мы гордимся тем, что секвестрировали имущество эмигрантов.

«Мы приказали арестовать заговорщиков и отдали их в руки трибуналов для их же блага и для блага государства; мы прогнали монахов и монахинь, чтобы пустить в продажу занимавшиеся ими дома; мы уничтожили зажигательные журналы, так как они призывали к мятежу и развращали общественное мнение; мы делали домашние обыски, но по чьему приказанию?—по вашему.

«Оружие, отобранное у подозрительных личностей, мы принесем вам, чтобы вы передали его в руки защитников родины; мы приказали арестовать смутьянов-священников, сейчас они заключены в одном частном доме, и через несколько дней, когда мы их вышлем, почва свободы будет очищена от их присутствия. Нас обвиняли в том, что мы дезорганизовали администрацию, в частности, продовольственную, но на ком лежит за это вина? Где были сами администраторы в дни опасности? Большинство из них еще и не появлялось в Городской Думе.

«Секция «Ломбарда» явилась к вам с протестом против Коммуны; но голос одной секции не может уничтожить ясно выраженной воли большинства парижских секций.

«Вчера граждане, заполнявшие трибуны на заседании Совета, признали нас своими представителями, и поклялись нам в своей преданности. Если вы нанесете удар нам, тем самым вы нанесете удар и тому народу, который произвел революцию 14-го июля, который укрепил ее 10-го августа и который будет за нее держаться. Сейчас идут первичные собрания, народ осуществляет свое верховенство; спросите его, пусть он решит нашу судьбу. Люди 10-го августа хотят только справедливости и не хотят итти против воли народа».

Трибуны аплодировали.

Петиционер оказался ловким и энергичным.

И действительно, Коммуне можно было ответить только одно: вы не являетесь законным выражением верховенства, вы являетесь выражением и как бы продолжением революционных событий. Но толчок, данный этим событием, не может ощущаться в политическом порядке постоянно, и придет час, когда самопроизвольная революционная сила, исчерпав самое себя в своих проявлениях, должна будет уступить место правильному функционированию социальной машины.

Нацию влекло к Революционной Коммуне Парижа стремление поддержать завоевания 10-го августа и укрепить демократию. Монтаньяры и сами чувствовали, что нация вся целиком была готова на это великое дело. А потому Коммуна могла и должна была постепенно снова занять свое положение. Ее прокурор Манюэль прибавил к словам Тальена следующее:

«Национальное Собрание издало вчера два декрета: первым оно кассирует временную Коммуну; вторым оно об'являет, что эта Коммуна оказала важные

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

услуги родине; комиссары имеют основание быть недовольными: один декрет исключает собою другой».

Но, в сущности, альтернатива Мануэля вовсе не обязательна. Можно возвеличивать революционные действия Коммуны, не делая из Коммуны самой по себе какой-то внезаконной и вечной власти. В своих записках Шудье замечает на этот счет: «Манюэль пустился в слишком уже большие тонкости; ведь не было никакого противоречия в том, чтобы сначала констатировать, что 10-го августа и в следующие дни временная Коммуна оказала величайшие услуги родине, а потом все же выразить пожелание, чтобы она перестала выполнять функции, которые были бы только временными, и которые благодаря расширительному толкованию, которое она им давала, могли сделаться опасными».

Президент Делякруа твердо и высокомерно отвечает: «Все установленные власти проистекают из одного источника. Закон, из которого они черпают свои полномочия, определил их обязанности. Образование временной Парижской Коммуны противоречит существующим законам; оно явилось в результате чрезвычайного и неизбежного кризиса. Но раз эти опасные обстоятельства миновали, временная власть должна исчезнуть вместе с ними.

«Неужели вы, господа, хотите обесчестить нашу прекрасную революцию, устраивая перед всем государством скандальное зрелище Коммуны, взбунтовавшейся против общей воли, против закона? Париж—большой город; благодаря многочисленности своего населения и наличности множества сосредоточенных в нем национальных учреждений, он соединяет в себе максимум преимуществ; что сказала бы Франция, если бы этот прекрасный город, наделив свой временный Совет диктаторской властью, захотел отмежеваться от остальной страны; если бы он захотел уклониться от исполнения обязательных для всех законов и оспаривать власть у Национального Собрания? Но Париж не пойдет этой дорогой. Вчера был издан декрет. Национальное Собрание выполнило свою обязанность, остается вам исполнить вашу».

Толпа, правда, незначительная, ждала у дверей Собрания. Она вовсе не вела себя угрожающе, но отдельные лица были мрачны и взволнованны. Граждане, допущенные к решетке, выразили опасение, не подвергаются ли делегаты Коммуны опасности в стенах Собрания.

«Во имя народа, который дожидается у дверей, мы просим позволения пройти по залу, чтобы видеть представителей Коммуны, которые здесь находятся. Мы умрем вместе с ними, если это необходимо». Страшное подозрение, в котором чувствуется растущая нервность масс. Манюэль распорядился арестовать петиционеров.

Робеспьер был в большом затруднении. Он ненавидел Жиронду, и Коммуна была для него необходимой опорой; но у него было чрезвычайно обостренное чувство законности, он не хотел быть вовлеченным в открытое сопротивление декретам и законам Собрания, устами которого, как-ни-как, говорил суверен. К тому же он чувствовал, что парижский народ не был единодушен, и что Петион, который проявлял уже признаки раздражения, мог нанести Коммуне очень чувствительный удар, если бы каким-нибудь неосторожным и незаконным шагом она подвергла себя опасности непризнания.

При таких затруднительных обстоятельствах Робеспьер произнес 1-го сентября в Генеральном Совете Коммуны, собравшемся под председательством Гюгенэна, двусмысленную речь. С одной стороны, он заявил, что Генеральный Совет Коммуны зашел слишком далеко по дороге уступок, когда за два дня перед тем он опять допустил в продовольственный и другие комитеты чиновников, которые занимали свои посты до 10-го августа. Робеспьер требовал, чтобы кандидатуры таких администраторов были подвергнуты окончательному голо-

Электронный архив библиотеки имени А.А. Кулешова

сованию в секциях. Но, с другой стороны, осуждая весьма сурово махинации, направленные против Генерального Совета Коммуны, оправдывая и превознося его действия, в заключение Робеспьер сказал, что следует подчиниться декрету Собрания.

Народ не был ни развращен, ни запуган. Он сумел бы воздать должное тем, которые боролись за него, и не было никакой опасности в том, чтобы согласиться на новые выборы, возвратив народу ту власть, которую от него получили.

Да! Говоря в таком духе, Робеспьер должен был почувствовать, как в его сердце разгорается ненависть к Жиронде, которая, нанося удар Коммуне, думала тем самым уничтожить одно из орудий его влияния; это обязывало его в данный момент—или решиться на все превратности восстания, или, в противном случае, подвергнуть себя упрекам в умеренности в Коммуне, где действительно и без того все кипело.

В первый раз после 10-го августа Робеспьера не послушались. Коммуна отдала должное его принципам. Она постановила отпечатать его речь, которая являлась красноречивым оправданием всех действий Революционной Коммуны, но она отказалась распуститься. Манюэль, прокурор Коммуны, напомнил Совету клятву, которую он дал, умереть на своем посту и не покидать его до тех пор, пока отечество будет в опасности. Генеральный Совет Коммуны постановил, что он будет продолжать исполнение своих обязанностей. Это было об'явлением восстания, но восстания, свидетельствовавшего о бессилии. Накануне, т.-е. в тот момент, когда потребовался серьезный натиск толпы, чтобы поддержать протест Тальена, народ в целом не пошевелился. Жирондисты, которые один момент под впечатлением угрожающих речей, раздававшихся на заседании Коммуны 30-го августа, могли опасаться революционного выступления против Собрания, быстро почувствовали, что Париж не вмешивается. Газета Бриссо подчеркивает бессилие Коммуны с торжеством, едва прикрытым его обычной сдержанностью.

«Комиссары Коммуны первыми пришли к решетке Собрания со своего рода апелляцией к народу против закона, который должен был положить конец ее полномочиям. Это требование, которое показалось сильным и смелым некоторым патриотам, было, наоборот, явным доказательством слабости всех партий, которые захотели бы подняться против власти представителей французского народа, этого единственного и неделимого суверена. После четвергового заседания временного Генерального Совета, стало очевидно, что он не ограничился бы простым появлением у решетки Собрания, если бы его поддержал народ. Но, несмотря на то, что пущены были в ход агитаторы, народ проявил спокойствие, способное привести в отчаяние». Эта ирония должна была показаться жестокой деятелям Коммуны. Огонь гнева и мести сжигал их сердца.

Скоро, однако, пронесся слух, как это отмечает и «Французский Патриот», «что Законодательное Собрание взяло назад свой декрет о роспуске Коммуны. Это было не совсем так, но декрет, который устанавливал организацию новой Коммуны, был изменен. Новый декрет в гораздо большей степени щадил уязвленное самолюбие Революционной Коммуны. Согласно этому декрету, вместо двух комиссаров, каждая секция могла выбрать в Генеральный Совет Коммуны по шести [1]): затем декрет устанавливал, что комиссары, находящиеся с 10-го августа при исполнении своих обязанностей в парижской ратуше, остаются членами Генерального Совета Коммуны, поскольку они не будут смещены своими секциями». Таким образом, Революционная Коммуна как бы получала просторную оболочку в виде легальной коммуны. Генеральный Со-

[1]) Революционная Коммуна состояла из 288 членов по шести от каждой из 48 лоций Парижа. Ред.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

вет Парижской Коммуны должен был быть доведен до 288 членов, не считая муниципальных чиновников, мэра, прокурора Коммуны и их заместителей [1]). Но Коммуна в целом была как бы вновь облечена полномочиями, если не считать могущих быть отрицательных вотумов секций. Кроме того, Собрание заявило, что число членов Генерального Совета Коммуны увеличено для того, чтобы они были готовы взяться за всякую работу, за всякую службу, какую на них может возложить опасное положение отечества.

Тюрио, который старался залечить раны и поддержать Париж в его высокой революционной роли, разрушая в то же время всецело диктаторские поползновения Коммуны, составил комментарии к новому декрету в духе всеобъемлющего патриотического примирения.

ГЛАВА III.

Первые неприятности. Дантон.

Но, несмотря на это примирение и усилия благороднейших представителей страны, не зараженных ни суетным и тщеславным честолюбием Жиронды, ни гордым деспотизмом Коммуны,—зародыши жестоких раздоров, несогласия, недоверия и ненависти между Коммуной и Собранием продолжали существовать. Сердца были полны соперничества и взаимных подозрений в тот самый момент, когда росла угрожавшая отечеству опасность. С тех пор как Мерлэн 17-го августа об'явил об обложении Тионвилля, с востока на запад начало надвигаться тяжелое облако вторжений; 20-го августа началась осада Лонгви, этих «железных ворот Франции».

23 августа Мерлен де-Тионвилль опять взошел на трибуну, чтобы сообщить о жестокостях и проявлениях варварства иностранными полчищами, и вновь сделал ужасное предложение задержать в качестве заложников жен и детей эмигрантов. «В трех письмах мне сообщают, что бич войны приводит в отчаяние наши деревни, что прихвостни тиранов, с огнем и мечом в руках, гонят перед собой несчастных жителей департамента Мозеля. Этими варварскими ордами, этими пруссаками предводительствуют наши соотечественники, французы-изменники. Один из них, господин Бертранде, в настоящее время находящийся на прусской службе, возвещает о своем приходе грабежом и убийствами. Я уже требовал от вас мер, которые должны диктоваться исключительно государственными интересами. При таких обстоятельствах, даже само чувство должно молчать в интересах человеколюбия. Я требую, во второй раз, чтобы жены и дети варваров, которые опустошают пограничные департаменты и которые идут во главе иноземцев с целью вонзить меч в лоно нашей родины, были бы задержаны в качестве заложников и понесли ответственность за страдания и кровь наших сограждан».

Аплодисменты вперемежку с ропотом встретили эти слова упрямого инициатора заложничества. Тюрио лишний раз обнаружил свое негодование и чувство сострадания:

«Во всей Франции не найдется палача, способного убить дитя в об'ятьях его матери только за то, что отец поднял оружие против родины». Собрание, тронутое этими словами, отклонило беспощадное предложение Мерлена. Но мрачная туча войны росла на горизонте и вспыхивала кровавыми отблесками.

---

[1]) Повидимому автор был введен в заблуждение относительно числа членов Революционной Коммуны. См. предыдущее примечание. Ред.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

24 августа город Лонгви, плохо защищенный своими окопами с пробитыми брешами, еще хуже обороняемый трусливой буржуазией, которая потеряла голову при первых же вспышках грозы, сдался врагу. Велико было негодование Парижа! Дантон понял, что нельзя допустить ни на минуту, чтобы народ пал духом под тяжестью этой первой неудачи, и 28 августа он потребовал от Собрания, в мужественной и сильной речи, чрезвычайных мер. Во всей истории свободных народов, которые когда-либо подвергались опасности, нет более сильных слов.

«Временная исполнительная власть уполномочила меня сообщить Национальному Собранию о тех мерах, которые она приняла для спасения государства. Я рассматриваю эти меры, как народный министр, как министр революции. Враг угрожает стране, но пока он взял один только Лонгви. Видите, что угрожающая нам опасность преувеличена. Пусть Собрание покажет себя достойным нации. Судорожным движением мы сбросили деспотизм. И только великой народной конвульсией мы прогоним деспотов.

«Вы предписали набор в 30.000 человек в Парижском и прилегающих к нему департаментах. Люди с самыми лучшими намерениями вообразили, с перепугу, что этот набор должен был быть произведен в одном только Париже; они боялись, как бы центр революции не лишился совершенно своих наиболее стойких защитников. Это заблуждение было рассеяно, и я могу подтвердить, что секции прилагают все усилия, чтобы выставить свой контингент солдат. До сих пор мы вели войну в стиле Лафайета. Надо вести войну более истребительную. Пора сказать народу, что он должен всей массой броситься на врага.

«Когда корабль терпит кораблекрушение, матросы бросают в море все, что могло бы способствовать его гибели. Точно так же все то, что способно вредить народу, должно быть выброшено из его недр, и все, что может быть использовано нацией, должно быть предоставлено в распоряжение муниципалитетов, при условии вознаграждения собственников за причиненный ущерб. Исполнительная власть немедленно назначит комиссаров, чтобы воздействовать на общественное мнение в департаментах. Она полагает, что в помощь им вы также должны, в свою очередь, избрать комиссаров, чтобы совместное представительство двух властей скорее могло произвести свое благодетельное действие. Мы предлагаем вам об'явить, что каждый муниципалитет уполномочивается представить самых отборных и лучше всего снаряженных людей, какие только у него есть. До сих пор держали закрытыми ворота столицы, и на это были свои основания. Важно было уберечься от изменников, но, если нужно арестовать их в числе даже 30.000, то надо, чтобы это было сделано завтра и чтобы завтра же Париж мог выступить сообща со всей Францией. Мы требуем, чтобы вы дали нам полномочия производить домашние обыски. В Париже должно иметься 80.000 годных к употреблению ружей. Прекрасно! надо, чтобы те, кто вооружен, летели к границам. Как народы, завоевавшие свободу, пользовались ей? Они устремлялись навстречу врагу, а вовсе не ждали его; что сказала бы вся Франция, если бы Париж ждал в оцепенении прихода врагов? Французский народ захотел быть свободным, и он будет таковым. Скоро сюда будут доставлены крупные силы. В распоряжение муниципалитетов предоставят все, что будет необходимо, обещав владельцам возместить нанесенный им ущерб. Все принадлежит отечеству, когда оно в опасности».

Это был великий, все захватывающий порыв. У Дантона имелась эта повелительная способность увлекать, топить трудности, соперничество, ненависть в потоке действия. Он не обвиняет, он не спорит. Он не противопоставляет Ком-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

муну Собранию и Собрание—Коммуне; он не развертывает, как Ролан, свитка жалоб и претензий. Он зовет употребить всю энергию на спасение родины и свободы; направляя ее целиком к этой великой цели, он надеется примирить ее различных носителей, ничего не напоминая им об их распрях.

Пылкими и в то же время расчетливыми словами он умеет возбудить самые благородные страсти, щадя притом встревоженные интересы. В час опасности все делается достоянием родины; но граждане будут вознаграждены за все то, что родина возьмет из их рук для своей защиты. А каким образом он ставит границы тому, что было произвольного и неправильного во власти Коммуны? Не бранью и не кляузой. Он об'являет себя «революционным» министром и связывает, таким образом, свои полномочия с тем же самым событием, из которого вышла Революционная Коммуна. Он величает ее тем же титулом, который он требует себе, и таким образом как бы сливает свое дело с делом Коммуны. Но в то же самое время он приглашает Коммуну действовать—избрать комиссаров, которые отправятся по всей Франции вместе с комиссарами исполнительной власти.

Разве не этой мощью действия восстановит Собрание равновесие властей, не давая Коммуне поводов жаловаться? Наконец, изолируясь, замыкаясь в атмосфере недоверия и всяческих запретов, созданной Коммуной, Париж рисковал ослабеть и свариться в своем собственном соку. Нездорово для большого кипучего города жить окруженным как бы стеной подозрений. Ненормально, если, охваченный этой узкой оградой, Париж привыкнет видеть в себе какой-то отдельный мирок, какую-то сокращенную, замкнутую, непроницаемую сферу. Не годится приучать и Францию жить так, как будто Париж отделен от нее пропастью.

Пусть восстановится связь между Парижем и Францией. Но в тот момент, когда Дантон, повидимому, осуждает таким образом систему установленного Коммуной тщательного надзора, он дает ей блестящее удовлетворение. требуя облав и домашних обысков по всему Парижу.

После этой великой меры общественного спасения, кто осмелится клеветать на Коммуну за ее более робкие начинания после 10-го августа? А эта великая мера революционной полиции! Ответственность за нее будут совместно нести и власть исполнительная, которая ее предлагает, и Собрание, которое ее декретирует, и Коммуна, которая ее исполняет. Все разрозненные и враждовавшие силы об'единяются, взаимно проникают друг друга и компрометируют себя зараз в одном и том же действии.

Но как? Разве Дантон не предлагает проявить в течение одного—двух дней всю энергию революционного насилия и отдать в жертву безумных подозрений всех тех граждан, к которым войдут силой в тайники их жилищ? Но заметьте, что, упомянув о необходимости арестовать изменников, Дантон говорит, главным образом, о том. чтобы реквизировать оружие. И вот революция отправляется в течение 1—2 дней перерывать весь Париж для блага родины, для отобрания оружия. А солдаты революционной армии пойдут с песнями к границе, унося, может быть, вместе с собой страсти и взаимную ненависть партий, чтобы очистить их в неприятельском огне.

Я слышу, как все это бурлит в речи Дантона, словно в шумном, светлом потоке, который питают воды горных вершин. Ни одной низменной или ядовитой мысли, ни одной клеветнической инсинуации. Марат, Робеспьер говорили, что, пожалуй, будет опасно лишить Париж его защитников. Дантон успокаивает эти встревоженные умы. Пусть из Парижа устремится на врага всей своей массой народ остальной Франции. Но, пытаясь рассеять эту чрезвычайную подозрительность Марата и Робеспьера, он не обвиняет их в не-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

достатке патриотизма, в то время как газета Бриссо ядовито пишет 31 августа: «Вопреки всем усилиям Робеспьера и Марата умерить воинственный пыл граждан и помешать им лететь на помощь их товарищам по оружию, Париж не обесчестит себя трусливым эгоизмом». О, как велика душа Дантона, и как высок его дух рядом с этими жалкими замыслами!

В ответ на доклад Шудье, Собрание 29 числа издает указ следующего содержания: «По всем коммунам Франции муниципальными чиновниками или теми из граждан, которых на это уполномочат, должны быть произведены осмотры по домам, чтобы установить количество продуктов, оружия, лошадей, повозок и телег, которые имеются у граждан. В каждой секции города Парижа общим собранием должны быть назначены 30 комиссаров, чтобы присутствовать при обысках, предписанных предыдущей статьей. Вышеупомянутые комиссары незамедлительно и с величайшей поспешностью примутся за свою работу и обязуются закончить ее в течение восьми дней со дня обнародования этого декрета. Как только в Париже будут закончены предписанные предыдущей статьей обыски, всем желающим будут выданы паспорта, согласно законам, изданным до 10 сего месяца. Муниципалитеты уполномочиваются обезоружить подозрительных граждан и раздать их оружие тем, которые возьмутся защищать равенство и свободу. Все граждане, у которых будет найдено спрятанное оружие, относительно которого они не смогут дать удовлетворительного об'яснения, будут считаться в силу этого подозрительными, и их оружие будет конфисковано».

Декрет был быстро выполнен, и немедленно в Париже были сняты все заграждения. Любопытная вещь: в тот момент, когда Париж открывался таким образом вновь для всей Франции в интересах торговли и обмена, когда Собрание, снова приобщая Париж к общенациональной жизни, казалось, положило конец узко-революционной жизни Коммуны, — это событие, такое естественное и так легко об'яснимое, вызвало у друзей королевской семьи, наблюдавших издали, самые невероятные предположения.

3 сентября Ферзен пишет барону де-Бретёйль: «Мнения относительно того, что заставило открыть заставы Парижа и выпускать без паспортов, разнообразны; об'яснение, которое мне кажется самым распространенным, заключается в том, что злодеи хотят обеспечить себе этим средство спасения; таким образом, мы увидим в один прекрасный день, что они бросят Париж на произвол самой полной анархии».

Какое невероятное презрение! Чтобы иметь возможность удобнее убежать при приближении иностранцев, парижские революционеры распорядились убрать все заставы! И это по совету Дантона!

А враг в это время уже осаждал Вердён. Шудье сообщил Собранию, что комендант гарнизона Борепэр в двух письмах уверял его, что он скорее умрет, чем сдаст позицию. Но обеспокоенное Собрание спрашивало себя, не капитулирует ли этот город, плохо укрепленный, плохо защищаемый населением, среди которого были сильны аристократические и роялистские элементы, так же, как сдался Лонгви. Вечером 1-го сентября курьер привез в Собрание известие, что Вердён получил от герцога Брауншвейгского предложение сдаться. Город все еще держался; но, с одной стороны, в конверте, доставленном курьером, не было ответа, данного на это предложение, что указывало на наличность крайней дезорганизации и чрезвычайно критического положения; с другой стороны, в конверте имелось воззвание совета обороны Вердёна, которое содержало угрозы по адресу тех, кто «вздумал бы нарушить собственность» в городе; и легко можно было догадаться, что настроенный подозрительно народ, боясь измены со стороны фельянтинской и роялистской буржуазии, поднялся и сторожит дома богатых жителей. Как тут было не предчувствовать близкой катастрофы?

Электронный архив библиотеки ПГУ имени А.А. Кулешова

Если Вердён будет взят раньше, чем Дюмурье сможет послать подкрепление из Седана, дорога на Париж будет открыта. В первый раз революция почувствовала, так сказать, дыхание прусских лошадей на своем лице. И вот, та великая национальная конвульсия, о которой говорил Дантон, поднимает великий город. Он должен защищаться, ведь враг будет беспощаден. Разве он станет миловать патриотов, когда он собирается учинить расправу над умеренными, даже над фельянтинцами? Он хочет искоренить всю революцию. Когда Ферзен узнал, чт Барнав находится в руках революционеров, обвиненный ими в сообщничестве с двором, почувствовал ли он сострадание к этому молодому человеку, который пробовал после Варенна спасти короля и королеву, который скомпрометировал себя ради них, и которому предстояло погибнуть, потому что бумаги, найденные в Тюильери, доказывали его связи с двором? Нет, Ферзен пишет 29 августа господину Сильверспару:

«Барнав и Ламет арестованы, и я надеюсь, что они будут казнены; никто не заслужил этого больше их».

Так холодная жестокость светских людей соединилась с неистовствами вооруженных шаек, чтобы раздавить все и всяческие проявления революционной жизни.

О, Париж! Восстань же! О, революция, защищайся же! Удивительно патриотическое воодушевление Коммуны; и я уверен, что без всякого расчета, а лишь в высоком порыве веры, она первая поднимется, чтобы сорганизовать защиту.

«Прокурор Коммуны,—говорит протокол утреннего заседания 2 сентября,—сообщает, что враги около Вердёна, что в настоящий момент они ведут осаду, и что не пройдет и восьми дней, как этот город, единственное укрепление, которое существует между Парижем и врагом, будет принужден сдаться. Он требует, чтобы тотчас же все граждане собрались и сегодня вечером стали лагерем на Марсовом поле, а завтра ранним утром выступили в поход под стены Вердёна, чтобы погибнуть там, защищая свободу, или очистить французскую землю от ее врагов. Это предложение принято единодушно».

Но как передать этими холодными словами тот воинственный пыл и тот мощный жизненный инстинкт, которые в самом сердце революции являлись протестом против угроз разрушения? Делегаты Коммуны идут в Собрание и там читают свое воззвание, обращенное к Парижу:

«Граждане, враг у ворот Парижа; Вердён, который его задерживает, может продержаться только восемь дней. Защитники города поклялись скорее умереть, чем сдаться; это значит, что они загородят крепость валом из собственных тел. Ваша обязанность спешить к ним на помощь. Граждане, немедленно выступайте под своими знаменами; соберемся на Марсовом поле; пусть немедленно сорганизуется армия в 60.000 человек. Умрем под ударами врагов или прикончим их нашими».

В этом воззвании нет ни единого слова, которое не было бы обращено против врага, ни одной стрелы, которая не была бы направлена к границе. На врагов внутренних—заговорщиков и изменников—нет никаких намеков, даже скрытых; здесь все—пламя живейшей и чистейшей любви к родине и свободе. Верньо как будто для того, чтобы засвидетельствовать, что перед лицом общего долга между Коммуной и Жирондой стирались всякие несогласия, отвечал парижским делегатам в точных и в то же время полных великолепного красноречия выражениях, в которых звучало благородное мужество, без всякого бахвальства.

«Как раз сегодня Париж должен показать себя во всем своем величии; я узнаю его мужество по тем шагам, которые он сделал, и сейчас можно сказать, что отечество спасено. В течение нескольких дней враг делал успехи, и у нас

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Наши граждане, как бы жители Парижа, в результате плохо продуманного усердия, не оказались занятыми составлением докладов и петиций в большей степени, чем заботой о том, как отразить внешнего врага. Сейчас они прониклись сознанием действительной опасности, угрожающей родине, больше мы не боимся ничего. (Аплодисменты.) Кажется, что в намерение наших врагов входит устремиться на Париж, оставляя сзади себя укрепления и наши армии. Конечно, этот поход будет с их стороны удивительнейшим безумием, а для нас самым спасительным проектом, если только Париж выполнит те великие планы, которые он составил.

«В самом деле, когда иноземные орды двинутся, наши армии, которые недостаточно сильны, чтобы нападать, окажутся достаточно сильными, чтобы преследовать их, тревожить, отрезывать им пути сообщения с тыловыми частями. И если в каком-либо определенном пункте мы внезапно противопоставим им мощный фронт, если храбрая парижская армия ударит спереди, а сзади их будут беспокоить идущие по пятам за ними батальоны, враг будет поглощен той землей, которую он осквернил своим святотатственным вторжением. Но среди этих утешительных надежд есть одно обстоятельство, наводящее на размышления, и его не следует замалчивать. В распоряжении наших врагов имеется могучее средство, на которое они сильно рассчитывают, это—паника. Они щедро раздают золото; они посылают своих агентов, задача которых искажать факты, распространять кругом тревогу и сеять растерянность, а вы знаете, что есть люди, точно пропитанные какой-то столь зловонной гнилью, что они разлагаются при малейшей мысли об опасности. Я бы хотел, чтобы была возможность заклеймить этих людей, эти существа, наделенные человеческим телом, но лишенные души, а затем собрать их всех в одном городе, в Лонгви, например, который можно было бы назвать городом трусов (аплодисменты); концентрация этой постыдной породы людей избавила бы всех благонамеренных граждан от высшей степени опасной заразы—от личностей, которые всюду сеют разочарование, расхолаживая патриотические порывы, от личностей, которые принимают карликов за гигантов, пыль, которая летит перед отрядом уланов,—за вооруженные батальоны, и всегда отчаиваются в спасении родины (новые аплодисменты). Пусть Париж разовьет сегодня огромную энергию, пусть он даст отпор этим паническим ужасам, и победа скоро увенчает наши усилия. Люди 14 июля и 10 августа, это вас я призываю! Да, Собрание может рассчитывать на ваше мужество!

«Однако, почему полевые окопы у фортов этого города не подвинулись больше? Где лопаты, заступы и все те инструменты, с помощью которых воздвигли алтарь Федерации и выравняли Марсово поле? Вы проявили великий пыл по отношению к этим праздникам; без сомнения, у вас окажется не меньше усердия и в битве; вы воспевали, славили свободу; теперь надо ее защищать. Теперь нам предстоит опрокидывать не бронзовых королей, а королей, окруженных могущественными армиями. Я требую, чтобы Парижская Коммуна осуществила вместе с исполнительной властью меры, которые первая намеревается принять. Я требую еще, чтобы Национальное Собрание, которое в настоящий момент является скорее военным комитетом, чем законодательным корпусом, послало тотчас же и посылало бы каждый день двенадцать полевых комиссаров, не для того, чтобы побуждать напрасными речами граждан к работе, но чтобы копать вместе с гражданами (громкие аплодисменты); теперь не время митинговать. Надо вырыть могилу для наших врагов, иначе каждый шаг, который они сделают вперед, выроет нашу».

Всеобщее одобрение трибун было ответом на речь Верньо. Кажется, что в это утро 2 сентября, всего три дня спустя после указа о роспуске Коммуны, опасность, угрожавшая родине, помирила Коммуну и Собрание; великий оратор

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Жиронды приветствует Париж, как центр, как движущую силу национального сопротивления.

Предвидел ли Дюмурье тот план защиты, на который указывает Верньо? Дюмурье будет маневрировать, чтобы замедлить движение врага, и это удастся благодаря его удивительной ловкости. Но без сомнения, он предвидел и такой случай, когда подступы будут форсированы, и он не сможет задержать вторжения. И тогда не могло быть другой тактики, как только устраниться, с тем, чтобы следовать за врагом, быстро направляющимся к Парижу. Все будет потеряно, если Париж спасует. И, наоборот, все спасено, если Париж будет хорошо держаться и пойдет навстречу врагу; тогда этот последний окажется между столицей и преследующими его армиями. Без сомнения, Дюмурье излагал свои общие тактические планы своим друзьям, и Верньо, который после капитуляции Лонгви и обложения Вердёна, не верил больше в возможность быстро остановить вторжение, присоединялся к такому плану защиты, где Париж играл первую роль. Великая революционная роль столицы, соответственно плану жирондистов, удваивалась ее военной ролью. Как, неужели в такую минуту не исчезнут все недоразумения между Парижем и Жирондой?

Когда Верньо протестует против панических настроений, разве он хочет только увеличить силу сопротивления врагу? Не хотел ли он скорее предупредить ужасные внутренние потрясения, безумия убийства и крови, которые порождаются страхом? И как можно было бы гордиться революционной Францией и торжествовать за человечество, если бы пламенная искренность великого оратора могла проникнуть во все сердца, во все умы. Как прогремела бы революция, если бы она смогла не только преодолеть врагов, но и справиться со своими внутренними ужасами и с чувством мести и страха! Слова жирондистского оратора еще звучали в сердцах , когда на трибуну взошел Дантон и, как говорит газета Карра, заговорил «грозным голосом». Его речь еще более короткая, настойчивая и могучая, чем речь Верньо, была также человечна и свободна от всего того, что могло бы возбудить страсти!

«Министрам свободного народа доставляет, господа, большое удовлетворение возможность сообщить, что отечество скоро будет спасено. (Аплодисменты). Все пришли в движение, все горят желанием сразиться. Вы знаете, что Вердён еще не во власти врагов, вы знаете, что гарнизон поклялся убить первого, кто предложит сдаться. Одна часть народа готова отправиться к границам, другая— рыть окопы, а третья, вооруженная пиками, защищать наши города изнутри.

«Париж готов удвоить свои великие усилия. Комиссары Коммуны обратятся к гражданам с торжественным приглашением вооружиться и итти на защиту родины. В этот момент, господа, вы можете открыто признать, как велика заслуга столицы перед целой Францией. В этот момент Национальное Собрание сделается истинным военным комитетом.

«Мы требуем, чтобы вы соперничали с нами в руководстве этим возвышенным движением народа, выбрав комиссаров, которые будут нам помогать в этих великих мероприятиях.

«Мы требуем, чтобы тот, кто откажется служить своей особой или отдать свое оружие, был наказан смертью. (Аплодисменты.)

«Мы требуем, чтобы в целях руководства движением гражданам были даны указания. Мы требуем, чтобы были посланы курьеры в департаменты с целью осведомить их о декретах, которые вы издадите.

«Набат, который готов зазвучать, вовсе не будет тревожным сигналом; он будет сигналом к атаке на врагов родины. (Громкие аплодисменты.)

«Чтобы их победить, господа, нам нужна смелость, смелость и еще раз смелость,—и Франция будет спасена».

Электронный архив библиотеки имени А.А. Кулешова

Дантон говорит здесь о том тревожном набате, в который решила забить и Коммуна в своем утреннем заседании. И я спрашиваю себя: не боялся ли Дантон пробудить в сердце Парижа мрачные и зловещие мысли? Мне кажется, что его фраза о набате не является только удивительным поэтическим образом: он старается очистить грозный и печальный звон, который готов прозвучать над Парижем, от всего беспокойного и нервирующего, что дремало в нем, очистить и оставить ему лишь его героический тон.

ГЛАВА IV.

Сентябрьская резня.

Около трех часов пушка Пон-Неф дала тревожный сигнал, который повторили все колокола Парижа. Набат довел патриотизм столицы до бредового состояния. Граждане хватались за оружие, поспешно выходили из своих домов, читали афиши, расклеенные Коммуной, и непрестанно возраставшими толпами направлялись к Марсову полю, чтобы там записаться в армию и, если нужно, получить приказание тотчас выступать. Великолепное движение народа! Но вот, в то время, когда эти торопящиеся людские потоки шли к большому полю, в толпе начали раздаваться тревожные речи.

«Как! Мы уходим, а завтра, когда мы покинем Париж, чтобы итти на границу, когда здесь не останется больше ни одного патриота, враги свободы будут хозяйничать в столице? Разве вы не знаете, что один злодей, вчера казненный, показал, что в тюрьме подготовляется большой заговор? Да, в тюрьме! Тюрьмы сделались берлогами аристократов и священников; и эти презренные, отверженные люди, уже пророчат близкую гибель родины. Видели, как они делали друг другу таинственные знаки, а со времени взятия Лонгви они прямо сияют. А ведь они избегли ожидавшейся их участи, и изменники живы и до сих пор!

«Даже швейцарские офицеры, которые убили наших братьев 10 августа, еще живы, и завтра смогут стать опять во главе заговорщиков! Когда все— генеральный штаб национальной гвардии, швейцарские убийцы, дерзкая знать, не присягнувшие конституции священники—сломают ворота тюрем и провозгласят контр-революцию в оставшемся без патриотов городе, мы попадем в зажим между внутренним и внешним врагом. А что подумают патриотические армии, когда они узнают, что в самом центре революции торжествует измена? Нет, нет! Надо казнить изменников; так как презренное правосудие трибуналов было столь медлительно и робко, правосудие самого народа должно спасти свободу. Всего только несколько дней тому назад, мы совершили траурную погребальную церемонию в честь жертв 10 августа; но эти пустые траурные демонстрации, эти призраки несчастной скорби не производят на них никакого впечатления.

«Нужно им отомстить; мы сделали бесполезной смерть павших 10 августа своей трусливой снисходительностью к убийцам, которые снова собираются приняться за свое дело. Идем в тюрьмы, и пусть погибнут изменники!»

Возбужденные этой агитацией, толпы направились после полудня и вечером 2 сентября к тюрьмам, где сидели контр-революционеры: в Аббатство и Консьержери. Они потребовали принести списки арестантов, и все те узники, которые принимали участие в событиях 10-го августа или которые были замешаны в дворцовых заговорах, были судимы тут же; потом произносилось грозное слово: «Освободите его»,—и под воротами тюрьмы узника ждали пики мстителей; он падал под ударами обезумевшей толпы. Весь вечер, всю ночь продолжалась бойня; порой к ярости примешивались эксцессы садистского характера. Тела жертв

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

подвергались непристойным надругательствам. Так, например, над трупом госпожи Ламбаль низменные страсти насытились до конца. Убийцы носили ее голову на конце пики и пытались подойти к Тамплю, чтобы показать королевскому семейству этот кровавый трофей.

Резня продолжалась все утро 3 сентября до двух часов дня.

Но зачем рисовать в мелочных подробностях эту мрачную картину? К чему рассуждать об этих грустных вещах? Право революции не уменьшается этим ни на иоту; ведь нельзя только на основании недолгого взрыва народной ярости судить тот огромный общественый переворот, который происходил. Но мне не нравятся также неопределенные и трусливые апологии. Вполне очевидно, что это избиение безоружных пленников если и об'ясняется тревожными слухами, которые довели толпу до безумия, во всяком случае, предполагает помрачение умов и утрату всякой человечности.

Было неразумно предполагать, что, после от'езда волонтеров из Парижа, этот город до такой степени обеднеет патриотами, что какие-то сотни контр-революционеров смогут диктовать в нем свою волю. Следовательно, здесь мы имеем дело с результатом безрассудного страха; а страх, даже тогда, когда он переходит в кровавую жестокость, не является революционной силой. Если бы люди, совершавшие убийства в Аббатстве, Форс и Консьержери, сохранили хоть малейшую ясность мысли, хоть какое-либо душевное равновесие, они спросили бы себя в момент просветления сознания: способны ли эти погромы увеличить силу революции? И они почувствовали бы заранее всю глубину того содрогания, того чувства отвращения, которые потом должно было ощутить все человечество. Они должны были также предугадать, что партии, точно под влиянием какого-то болезненного наваждения, вернутся к этим убийствам с тем, чтобы, блуждая вокруг пролитой крови, обвинять одна другую. Точно также дело не в том, чтобы узнать, был ли достоин уважения каждый, взятый в отдельности, из числа тех, что самовольно выступили в роли судей и мясников. Мне не очень-то нравятся лицемерные защитники из современников, которые приходят в экстаз от «духа народного правосудия» на том основании, что народ избавил от наказания и выпустил из тюрьмы заключенных туда за долги. Если только сентябрьские убийцы не были совсем пьяными, неспособными ничего различать ордами, то они не должны были смешать с политическими заключенными—единственным источником своей тревоги—тех бедняг, которых заперли в кутузку за то, что они не заплатили за месяц кормилице своих детей. Довольно наивно ставить им в заслугу этот «акт милосердия».

Еще раз скажу: конечно, очень возможно, что многие из тех, что так трусливо и без всякой пользы избивали заключенных, были честными, преданными и храбрыми патриотами. Очень возможно, что они полагали, что служат революции и родине; возможно, что они готовы были пренебречь смертью после того, как они внесли ее в город. Но вопрос не в том. Не их свойства являются предметом обсуждения, а их действия; а эти действия диктовались чувством страха и слепой яростью, которая коренится в этом чувстве. Вот что в них отвратительно, и, кроме того, их поступок был неразумен, так как бесконечно больше повредил делу революции в глазах остального мира и истории, чем могли бы повредить перебитые узники, даже если бы их распустили по Парижу.

В какой степени партии и установленные власти ответственны за эту довольно-таки омерзительную драму? Должен признаться, что мне не удалось установить ее с точностью, и причины действия большинства тогдашних политиков остаются для меня темными и малопонятными. Ясно, что революция допустила свободу действия; власти, все власти вмешались или поздно, или

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

слишком нерешительно. Революция могла воспрянуть при первом шуме этих убийств. Если бы она хорошенько пожелала, она бы могла им помешать. Не было ни одного внушительного движения. Сердца были воодушевлены святой патриотической и революционной страстью, и вся ненависть была направлена в сторону границы. Убийц было мало, и их легко было разогнать, может быть, можно было даже их убедить. Стоило только с силой развить перед ними замечательные слова Тюрио, которые я уже приводил: «Мы ответственны за революцию перед всем миром».

Предположите на минуту, что вместо того, чтобы время-от-времени посылать каких-то нерешительных, вялых эмиссаров, которые, не будучи в силах помешать резне, становились ее официальными свидетелями,—все бы конституционные власти отправились к тюрьмам. Предположите, что все Законодательное Собрание и Коммуна в полном составе и также весь Исполнительный Совет вместе, совместными усилиями воспротивились бы этой дикой ярости кучки из народных подонков. Предположите, что Дантон, Робеспьер, Верньо поочереди апеллировали бы к величию и человечности революции; убийцы выпустили бы оружие из своих рук. Но ни о каком энергичном выступлении со стороны законных властей не было и речи.

Коммуна была первая извещена о происходящем. Она возобновила заседание в четыре часа вечера, и вот что говорит протокол: «Офицер национальной гвардии сообщает (в самом начале), что многие лица были убиты по дороге, и что народ начинает вламываться в тюрьмы».

«Совет уполномочивает господ Данже, Марино, Жамэ, Мишони, Легильона, Монэ отправиться в качестве комиссаров в тюрьмы и там оказать защиту тем узникам, которые заключены в тюрьму за месяц, недоплаченный кормилице, за долги, равно как за другие гражданские провинности.

«Прокурор Коммуны требует, чтобы каждой секции было предложено вытребовать обратно тех лиц из своего округа, которые задержаны за вины, обозначенные выше, равно как и военных, арестованных за проступки против дисциплины».

«В связи с предложением выпустить из Сент-Пелажи заключенных, которые там сидят исключительно за долги и будут признаны за таковые при проверке списка арестантов, Совет постановляет открыть тюрьму Сент-Пелажи. В виде поправки внесено предложение выпустить из тюрьмы всех, кто находится там за долги, за месяц, недоплаченный кормилице, равно как и за гражданские проступки. Принято».

Итак, очевидно, что первым движением Коммуны было стремление защитить только заключенных за долги. И уже тем фактом, что она не занялась остальными, она предоставила их народной мести. Официально она как бы устанавливала две категории среди заключенных: не подлежащих избиению и всех прочих. Такова была первая мысль Коммуны, и что бы она ни делала потом, чтобы вернуться к более человечным чувствам, эта первая мысль, существуя, несмотря ни на что, станет на пути всем решительным мероприятиям. Откуда эта поощрительная уклончивость Коммуны? Неужели у ее членов не нашлось в достаточной степени широты души и мысли, чтобы подняться над этими проявлениями минутной ярости и вспомнить о человечности и о будущем?

В Коммуне царило сильнейшее возбуждение, и все-таки мне кажется мало вероятным, чтобы она думала, будто для революции опасно предоставить суд над преступниками уголовному трибуналу 17 августа.

Электронный архив библиотеки университета имени А. А. Кулешова

Уж не боялась ли Коммуна, что ее заподозрят в осуждении тактики Марата, ее вдохновителя и как бы официального журналиста, который 19 августа показал народу дорогу в Аббатство и советовал учинить резню?

С 10 августа она так часто осуждала медлительность юстиции и колебания законных властей, что теперь она не смела вмешаться, чтобы остановить гнев «народного правосудия». Возможно, что, остановив это народное движение, Коммуна могла бы подвергнуть его вдохновителей законному преследованию. Чтобы они остались безнаказанными, надо было, чтобы они вышли победителями.

А, может быть, несмотря на видимое утреннее примирение и льстивые излияния Верньо, Коммуна, самолюбие и прерогативы которой были задеты распускавшим ее декретом Собрания, была непрочь показать Законодательному Собранию, что, избавившись от Революционной Коммуны, оно вовсе еще не избавилось от революционного народа. «Собрание сокрушило нас; оно испытает теперь, до чего могут разгуляться народные страсти, когда они предоставлены самим себе и никем не регулируются». Наконец, я представляю себе, на основании данных, которые я сейчас приведу, что Коммуна видела в этом народном движении, в этом грозном под'еме, который опять ставил вверх ногами все понятия законности,—повод для того, чтобы продлить свою революционную власть, противопоставить себя кончавшему заседать Законодательному Собранию и имевшему собраться Конвенту. Как раз в это время повсюду во Франции шли выборы; события, казалось, должны были наложить печать революционности даже на законные власти, которые создавались во время подобного кризиса.

Но в настроении Коммуны замечались колебания. Послав комиссаров, чтобы защитить только тех узников, которые арестованы за долги, она, судя по протоколу, повидимому, одумывается; но как неопределенны и робки ее шаги! Коммуна решается распространить свое покровительство на всех заключенных. «Выбирают комиссаров, которые должны отправиться в Аббатство и оказать защиту узникам».

Несколько позже «один из членов рассказывает о происходящем в Аббатстве; принятые на военную службу граждане, боясь оставить свой горсд во власти врагов революции, не хотят выступить в поход раньше, чем все злодеи 10 августа не будут прикончены».

Очевидно, Коммуна оставляла толпе свободу действий; но, чтобы снять с себя ответственность, «Совет постановляет немедленно отправить четырех комиссаров в Национальное Собрание, чтобы доложить ему о происходящем сейчас в тюрьмах, а также о мерах, которые могут быть приняты для охраны узников».

Коммуна хотела, таким образом, переложить на Законодательное Собрание все бремя этих ужасных событий. Второе заседание Собрания началось в шесть часов вечера.

Делегация Генерального Совета Коммуны появилась у решетки: «Вокруг тюрем происходят сборища, и народ хочет выломать двери. Напрасно большинство членов Генерального Совета появлялось повсюду, где была опасность. Уже многие из узников убиты, время не терпит. Народ вполне готов двинуться к границе, но он совершенно прав в своей боязни козней со стороны большого числа лиц, арестованных по обвинению в контр-революционных преступлениях».

По предложению друга Дантона, Базира, Собрание тотчас же выбирает двенадцать комиссаров. Но я не слышу ни одного крика сострадания; не слышу протестов Тюрио. Кажется, Собрание спешило молча покончить с тягостными формальностями. При свете последних лучей осеннего солнца, комиссары присутствуют при бойне, бессильные что-либо сделать. Переводчик Ювенала, старик Дюмурье, возвращается в Собрание: «Депутаты, которых вы послали, чтобы

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

успокоить народ, с большим трудом добрались до ворот Аббатства. Там мы пытались заставить себя выслушать. Один из нас влез на стул; но едва только произнес несколько слов, как голос его был покрыт бурными криками. Другой оратор, господин Базир, пытался заставить себя слушать ловким приемом; но когда народ увидел, что он говорит не в его вкусе, то его заставили замолчать. Каждый из нас убеждал своих соседей справа и слева, но миролюбивое намерение тех, которые нас слушали, не могло сообщиться тысячам собравшихся людей. Мы ушли; сумерки не позволили нам видеть, что потом происходило, но я не могу успокоить Собрание относительно последствий этого злосчастного происшествия. Народ так возбужден, что никого не хочет слушать. Он боится быть обманутым».

Вот и все. В то время как под покровом сумерек происходят избиения, Собрание остается спокойным. Оно предоставляет ночной работе итти своим чередом. В эти тревожные и страшные часы, когда все чувства перемешались, почти невозможно докопаться до глубин совести. Может быть, Собрание сознавало, что со времени переворота 10 августа оно потеряло связь с народом и не имеет никакой власти над ним. Может быть, оно думало, что родине, которой угрожало вторжение, нужны были даже дикие проявления энергии, и что, обуздывая народные эксцессы, Собрание рисковало уничтожить народный порыв. Но в то же время в этом самоустранении сказались, к сожалению, и некоторые расчеты. Захлестнутые этими ужасными событиями в момент наибольшего обострения взаимной борьбы, Собрание и Коммуна старались переложить ответственность друг на друга. Коммуна, вместо того, чтобы действовать решительно, советовалась с Народным Собранием. И, без сомнения, некоторые из жирондистских политиков думали и шептались, что надо взвалить ответственность на Коммуну. Поскольку она предоставляла народу свободу действий, она покрывала себя кровью; поскольку она его останавливала, она сама вовлекалась в борьбу с крайними элементами, которые она сама спустила с цепи. В газете Бриссо я нахожу, начиная со 2 сентября, первую попытку—сначала очень остроумную и замаскиорванную—набросить тень на Коммуну. «Воскресенье, 2 сентября. Муниципалитет Парижа, всецело занятый мыслями об опасном положении отечества, полагал, что необходимо сделать могучее усилие, чтобы наэлектризовать умы; сегодня, в своем утреннем заседании, он постановил ударить в набат, собрать народ на Марсовом поле, сорганизовать армию в 60.000 человек, чтобы итти на Шалон или куда-либо еще. План этот похвален, хотя события доказали, что надо было вложить в него побольше умеренности... Образовались значительные толпы; какие-то люди агитировали среди них, что, отправляясь отражать внешних врагов, необходимо освободиться от врагов внутренних; говорили, что надо напасть на тюрьмы, главным образом на Аббатство, где были заключены заговорщики. Эта идея получила широкое распространение. И как только зазвучал набат, некоторое количество людей двинулось к Аббатству и к Карм, где были заключены не присягнувшие конституции священники; там погибло множество жертв. Мы не можем входить в подробности; необходимо осветить их со всей точностью, ибо до сих пор циркулируют самые различные версии; одно, кажется, установлено, это—то, что было пролито много крови». Здесь не только скрытое порицание. Газета Бриссо едва заметным образом инсинуирует насчет каких-то рыскавших в толпе людей, выполнявших чьи-то приказания. И, видимо, она готовила приписать «избиения» (это слово она употребляет) неосторожности Коммуны, ее стремлению к театральности и всякого рода парадам.

На другой день, после 3 сентября, «Французский Патриот» снова возвращается к заседанию 2-го. Здесь-то и вырисовывается прекрасно тот антагонизм, который парализовал все гуманные порывы.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Несколько времени спустя комиссары Коммуны сообщают, что по тюрьмам бросилось большое количество вооруженных и невооруженных людей; Коммуна просит, чтобы Национальное Собрание пришло к нему на помощь. Что могло сделать Национальное Собрание, если Коммуна исчерпала все свои средства, а если бы она их не исчерпала, — чего пришла она требовать от Национального Собрания?

«Представители народа не поставили себе этих вопросов; они слышали только умирающий голос законов и призыв к человечности; они тотчас же послали в тюрьмы двенадцать комиссаров.

«Нетрудно было предвидеть, каков будет успех этого шага, продиктованного скорее усердием, чем благоразумием. Комиссары возвратились в отчаянии: их усилия пропали даром. Тяжело было видеть, как на их глазах убивали тех, кого они хотели спасти».

Это, конечно, неверно. Шаги Собрания не были столь энергичными, как это говорит Бриссо, и если оно и слушало «умирающий голос законов и призыв к гуманности», то в его душе говорили иного рода побуждения.

Сам Бриссо, в сущности, порицает попытку комиссаров. Выступление Коммуны он рассматривает, как западню, и ему хотелось бы, чтобы Собрание устранилось совершенно и всю ответственность возложило на Коммуну. Таким образом, в то время как смерть продолжала вершить свое дело, которым потом так долго и так гнусно пользовались, как орудием против революции, соперничество отдельных лиц и партий совершенно парализовало у Бриссо голос сердца. Робеспьер маневрировал, как и Жиронда, но против нее. В этом же самом заседании, вечером, 2-го сентября, когда время-от-времени, подобно зловещим ударам в дверь, сообщались новые подробности относительно избиений, в дело вмешались Робеспьер и Билло-Варенн. Вы думаете — для того, чтобы посоветовать стать на путь милосердия, или апеллировать к чувству гуманности? Вовсе нет! В этот кровавый вечер сердце Робеспьера не дрогнуло ни единой фиброй, разве фиброй ненависти. Между тем сам он едва ли был увлечен неистовствами народа, направленными против изменников и сообщников королевской власти. Он клевещет на жирондистов; среди глыб взорванной почвы этот терпеливый минёр не теряет шнурка своей ненависти, и, в то время как народ наносит удары врагам, он бьет по своим соперникам.

В протоколе бросаются в глаза следующие необычайные строки:

«Господа Билло-Варенн и Робеспьер, развивая свои гражданские чувства, рисуют глубокую скорбь, которую они испытывают при виде теперешнего положения Франции. Они доносят Генеральному Совету о существовании заговора в пользу герцога Брауншвейгского, которого хочет возвести на трон Франции одна могущественная партия». Это убийственное обвинение он выставляет против Жиронды. И стоит ли крючкотворствовать по поводу имен, которые он тогда произнес, — как это делает Эрнест Амель? «Два — три имени, — говорит он, — вырвались из его уст: имена Карра, Бриссо; и когда в заседании 23 сентября, в Конвенте, Верньо упрекал Робеспьера, о котором, по его словам, он всегда отзывался только с уважением, в том, что он (Робеспьер) приписал ему, Бриссо, Гаде, Ласурсу и др. заговор, о котором доносили Коммуне в ночь со 2 на 3 сентября, Робеспьер поднялся и сказал с энергией, проистекающей из сознания правоты: «Это ложь!» На это Верньо ответил: «Я поздравляю себя, услышав это опровержение, которое мне доказывает, что даже Робеспьер мог быть оклеветан». Никто не стал оспаривать правдивость Максимилиана; и из ответа Робеспьера Луве следует, что первый действительно назвал двух — трех лиц, относительно которых уже доносили его товарищи, как о лицах, не перестающих дискредитировать Генеральный Совет Коммуны».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Прямо поразительно, до чего доводит предубеждение, какими софистическими соображениями позволяет увлечь себя честный историк! Положим, что Робеспьер произнес только два или три имени. Но он произнес имя Карра, наиболее активного журналиста Жиронды; он произнес имя Бриссо, который считался главой жирондистской партии, и когда, назвав этих людей или называя их, Робеспьер обвинял «могущественную партию», он обвинял всю Жиронду. Если бы он обвинил только Карра и Бриссо, то и тогда это было бы важным обстоятельством, так как в эти трагические часы жизнь зависела от нескольких слов.

В данном случае Робеспьер не может быть оправдан. «Осмелились, — скажет он 3 ноября, — путем сопоставления инсинуировать, будто я хотел покуситься на безопасность нескольких депутатов, делая на них донос Коммуне во время казни заговорщиков. Я уже ответил на эти сплетни, напомнив, что еще до этих событий я перестал ходить в Коммуну, что я совершенно не мог предвидеть внезапных и чрезвычайных обстоятельств, которые их вызвали. Нужно ли вам говорить, что многие из моих товарищей еще до меня доносили о преследованиях Коммуны, затеянных двумя или тремя лицами, о которых идет разговор, а также об этом плане перессорить защитников свободы и раз'единить граждан в тот момент, когда так необходимо было об'единить все силы, чтобы покончить с внутренними заговорами и дать отпор врагам внешним? Что это за ужасная доктрина, согласно которой донести на человека и убить его — одно и то же? В какой республике мы живем, если на должностное лицо, которое свободно говорит в муниципальном собрании об инициаторах опасного заговора, смотрят, как на подстрекателя к убийству?»

Софизм бросается в глаза: не всегда, но в ночь со 2-го на 3-е сентября подобное обвинение в измене равносильно призыву к убийству. Я не исследую, действительно ли Робеспьера не было в Коммуне в это время, как он об этом говорит. Он держал там длинную речь 1-го сентября. Говорит он в Коммуне и 2-го. Нельзя также допустить, чтобы, председательствуя в своей секции Вандомской Площади на избирательных собраниях для выбора депутатов в Конвент, Робеспьер не был в курсе того, что происходило в Коммуне. Точно так же он прекрасно знал, до какой степени Коммуна ненавидела Бриссо и всю Жиронду.

Ведь почти что от имени Жиронды секция Ломбар потребовала роспуска Коммуны; и немудрено, что в сердцах осталась непримиримая вражда. А когда Робеспьер пришел к этим людям и стал авторитетно утверждать, что Жиронда держит сторону герцога Брауншвейгского, что она хочет возвести на трон Франции того самого человека, который подписал манифест, призывавший к уничтожению революционной Франции и Парижа,—он, что бы он там ни говорил, отточивал кинжал. Как! Народ избивает заключенных, чтобы не оставлять живых изменников сзади себя. И он стал бы щадить изменников из изменников—тех, которые, прикрываясь узурпированным и опозоренным ими званием партиотов, хотят отдать Францию прусскому генералу и восстановить рабство, которое будет еще более невыносимым благодаря позору поражения? Нет, нет, они должны быть также уничтожены! Пусть среди возбужденных масс распространится мрачная легенда, вышедшая из Генерального Совета Коммуны, подтвержденная и одобренная Робеспьером; масштаб бойни от этого только расширится. Обвинение, формулированное Робеспьером, незаметно соприкасалось с политикой Марата: уничтожить зараз роялистов, фельянтинцев и жирондистов.

Одно то, что на другой же день Коммуна постановила сделать обыск у Бриссо, доказывает, что донос Робеспьера отнюдь не был безобидным. Бриссо

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

сам констатирует это во «Французском Патриоте»: «Я думал,—говорит он,—что дал достаточно сильные и прочные доказательства своего патриотизма, чтобы быть выше подозрений; но клевета не останавливается ни перед чем. Вчера, в воскресенье, в Парижской Коммуне, на меня, а также на некоторых депутатов Жиронды и других не менее известных людей, был сделан донос. Нас обвиняют в желании предать Францию герцогу Брауншвейгскому, в получении с него за это миллионов для уже условленного побега в Англию. Я,—вечный враг королей, который не ждал 1789 года, чтобы засвидетельствовать свою к ним ненависть! Я—сторонник короля! Скорее я согласен погибнуть тысячу раз, чем когда-либо признать этих деспотов, а тем более—иностранца!

«Граждане, на меня сделали донос в 10 часов вечера, а в этот момент как раз убивали по тюрьмам! Подобный донос должен был вызвать против меня негодование, и уже вызвал его. Честные люди, которые думали, что раньше, чем верить и наказывать, надо убедиться, потребовали обыска в целях осмотра бумаг, и в результате—сегодня утром, в семь часов, ко мне явились три комиссара Коммуны.

«В качестве депутата, я мог протестовать против такого осмотра, но в виду переживаемой отечеством опасности, всякий гражданин, кто бы он ни был, должен позволить раздеть себя до-нага и обыскать по первому требованию.

«В течение трех часов комиссары старательно рассматривали все мои бумаги; я предоставил им их с беззаботностью человека, совесть которого совершенно безупречна. Об одном только я сожалел, что народ, этот народ, перед лицом которого на меня клевещут, и защищать который я не перестаю, что этот народ целиком не был свидетелем обыска. Вот его результат: «Произведя самый тщательный обыск во всех бумагах названного господина Бриссо и осмотревши их, не найдя решительно ничего, что бы нам могло показаться предосудительным с точки зрения общественных интересов, мы оставили ему его бумаги. Подписали: Бертельтон, Герман, помощник комиссара Кусто, он же Миньон».

Но какую горечь в душе оставляла эта борьба!

Точно также Кондорсе, великий Кондорсе, который первый формулировал теорию республики, когда Робеспьер отрекался от принадлежности к республиканской партии, принужден 3 сентября опровергать обвинение, будто он секретный агент герцога Брауншвейгского. Робеспьер в высшей степени виноват в том, что способствовал затемнению умов в эти трагические дни. А какой бы славою покрыла себя находившаяся под страшной угрозой Франция, если бы среди самых серьезных опасностей она сумела сохранить свой лучезарный дух, свою поразительную выдержку! Я презираю тех, кто украл у нее эту высшую славу! Я ненавижу тех, кто смутил и без того взволнованные умы грязной клеветой, кто смешал свет с мраком в каком-то двусмысленном хаосе: лучезарная свобода родится из этого хаоса, волоча за собой грязный хлам глупости и ненависти. Кондорсе оправдывается: «Мне говорили, — пишет он в «Парижской Хронике», — что меня обвинили, будто бы я хотел сделать королем Франции или французов герцога Брауншвейгского. Прибавляют, что этот нелепый проект создался в моей голове под действием английского золота. Я не буду отвечать на обвинение в продажности: в этом отношении у меня не было даже слабой заслуги отказа; я достаточно известен, чтобы какой-нибудь министр в Европе вообразил, что меня можно подкупить.

«Что касается предоставления трона герцогу Брауншвейгскому, то я могу лишь изумляться, как могут подозревать меня в том, что я верю в великие преимущества перемены династии,—меня, который еще в июле 1791 г. высказал свое мнение относительно бессмысленности опасности монархии.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Мне об этом говорили несколько раз, и я всегда отвечал, что политическое средство, полезное, может быть, в те времена, когда идея независимого от воли народа королевского права имела еще своих приверженцев, будет только опасной в данный момент, когда прогресс просвещения рассеял этот нелепый предрассудок. В самом деле, всякая перемена династии порождает претендента, а необходимость бороться против претендента и подавлять его сторонников создает ряд законов, не совместимых со свободой! И с какой легкостью те, которые защищают права народа, обращаются в защитников свергнутой династии!

«Возможно, что республика согласится сохранить права династии, пока совершенно очевидная и вполне доказанная измена не сделает возможным ее свержение без больших потрясений, как это имело место в июне 1791 года, и потом случилось еще раз. Но никогда, а особенно в настоящее время, республиканец не захочет новой династии: ведь это означало бы не что иное, как увековечение монархии. В Англии находившиеся в Конвенте 1688 года республиканцы не хэтели, чтобы Вильгельм или его жена получили титул короля.

«У меня нет знакомых в Англии, за исключением двух или трех лиц, преданных делу французской революции и в то же время совершенно посторонних английскому министерству или даже настроенных против него. Я перестал писать принцу Генриху Прусскому со времени революции, потому что я знал, что он не одобряет ее принципов. Я пишу только тем лицам, которым я могу, не обижая их, сказать, что думаю, целиком». И он заканчивает так: «Самый большой вред от подобных обвинений заключается не в том, что они вводят граждан в заблуждение относительно людей, преданность которых интересам народа могла бы быть использована, а в том, что эти инсинуации могут сообщить известную вероятность тем нелепым слухам, которыми стараются запугать жителей пограничных департаментов».

Ответ прекрасен: в нем чувствуются спокойствие и сила; а когда перечитываешь это длинное письмо философа, из-за мглы ужасов, окутавших на момент родину, выступают широкие, спокойно-сияющие горизонты XVIII столетия.

Но как дурно рекомендует Робеспьера, что он вынудил Кондорсе на эту апологию!

Теперь нам кажется чрезвычайно странным, что Робеспьер мог выдвинуть такое нелепое обвинение, и, по правде сказать, я не верю, чтобы оно было сделано совершенно искренне; я знаю, многие искали между монархией Людовика XVI и еще неведомой и страшной республикой какой-либо средней фантастической комбинации. Но отсюда до обвинения Жиронды в заговоре в пользу герцога Брауншвейгского—целая пропасть. Я очень хорошо также знаю, что у жирондистского журналиста Карра вырвалось относительно герцога Брауншвейгского несколько загадочных и неосторожных слов. Но и из этого нельзя было делать предлога к пропитанным ядом обвинениям!

Господин Амель, желающий во что бы то стало оправдать Робеспьера, пишет: «Разве один из главных органов Жиронды — «Патриотические Летописи» жирондиста Карра—не дошел до такого нахальства, что расточал похвалы герцогу Брауншвейгскому, как раз накануне того дня, когда появился наглый манифест, подписанный этим господином? Разве Карра не рекомендовал его довольно прозрачно в качестве возможного короля?»

Здесь преклонение перед своим героем затемняет обычно столь чуткую совесть историка; оно ведет его к своего рода исторической передержке. Амель прекрасно знает, что в течение многих лет герцог Брауншвейгский был уже популярен у философов и свободомыслящих, что он слыл за человека с широким кругозором, что ходили слухи, будто он был против войны, а если вел ее потом, то против воли. Карра—человек способный на безрассуд-

Электронный архив библиотеки имени А.А. Кулешова

ные выходки и отличавшийся склонностью к авантюризму, считал, раз уже война завязалась, возможным разделить Пруссию и Австрию, делая вид, что верит в либерализм герцога Брауншвейгского. Возможно, что это был опасный прием, но он не оправдывает ни обвинения Робеспьера, ни инсинуаций его историка. Без сомнения, Амель намекает на заметку, опубликованную Карра 19 июля в «Патриотических Летописях».

Вот эта заметка: «Несколько маленьких замечаний относительно намерений пруссаков в настоящей войне. Глупы те, которые воображают и хотели бы заставить поверить других, что пруссаки стремятся уничтожить якобинцев, тех самых якобинцев, которые являются наиболее определенными и ярыми врагами Австрийского дома и постоянными друзьями Пруссии, Англии и Голландии. Ведь с самого начала революции якобинцы не переставали громко требовать разрыва договора 1756 года и заключения союза с Бранденбургским и Ганноверским домами, в то время как универсальные газетчики, не переставая хвалить Австрию и порицать берлинские и гаагские дворы, плясали под дудку «австрийского комитета» в Тюильери.

«Нет, эти дворы не настолько близоруки, чтобы хотеть уничтожения якобинцев, в головах которых бродят столь счастливые для династических перемен идеи, и которые в случае нужды могут оказать важные услуги Бранденбургскому и Ганноверскому дому в пику Австрии. Разве знаменитый герцог Брауншвейгский не знает, кого ему держаться в этом вопросе, и разве он не замечает всех мелких фокусов, которые австрийский комитет в Тюильери и венский двор хотят проделать с его армией, направляя все силы французов как раз против него и отодвигая театр войны подальше от бельгийских провинций? Разве он позволил обмануть себя Кауницу? Нет, он будет ждать и тянуть время со своей кобленцской армией, этими несчастными прохвостами-принцами и бывшими дворянами-эмигрантами до тех пор, пока мы не предпримем решительных шагов по отношению к изменникам, которым мы поручили исполнительную власть, и пока не станем на путь правильной политики. Герцог—самый лучший воин и самый искусный политик в Европе; он очень образован, хорошо осведомлен, весьма любезен; ему, может быть, недостает только короны, но не затем, чтобы быть самым великим королем на земле, а чтобы стать истинным восстановителем свободы в Европе. Если он явится в Париж, бьюсь об заклад, что его первым шагом будет явиться в Якобинский Клуб и надеть там красный колпак. У г. г. князей брауншвейгских, бранденбургских и ганноверских несколько больше разума, чем у Бурбонов и австрийских государей».

Это подписано Карра. И от этого, несомненно, веет жалким вкусом и детской дипломатией.

Судьба жирондистов необычайна: Бриссо сделал среди них модной внешнюю политику, и они говорили о ней с невероятным легкомыслием, искажая или преувеличивая все черты до карикатурности. Мысль, что журнальная статья может поссорить Пруссию и Австрию — по меньшей мере смешна. Неприлично и в то же время смешно предлагать этому вражескому генералу сомнительного свойства приманку в виде королевской власти, особенно, если принять во внимание, что об'явленная в принципе еще три месяца назад война фактически еще не началась.

Нельзя сказать, чтобы в дипломатических фантазиях Карра не было некоторой доли истины; совершенно верно, что колебания Брауншвейга будут тяготеть над всем прусским походом. Правда и то, что такой ясный революционный ум, как Дантон, скоро займется тем, чтобы раз'единить Австрию и Пруссию. Но статья Карра напоминает праздничные проделки канатного плясуна.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

По правде сказать, на основании этого непонятного дипломатического фокусничества я не могу сказать с уверенностью, какую, собственно, корону так бесстрашно предлагает Карра герцогу Брауншвейгскому: французскую или австрийскую? И я скорее склоняюсь к последней гипотезе.

Он, повидимому, дает понять Пруссии, что если она покинет Австрию, и последняя будет побеждена революцией, то друг Пруссии, герцог Брауншвейгский, вступит на трон Габсбургов, укрепляя, таким образом, одновременно прусскую династию и свободу.

Во всяком случае, каков бы ни был смысл этого смешного, шарлатанского заявления, невозможно допустить, чтобы Робеспьер,—как бы недоверчив и подозрителен он ни был,—видел здесь серьезный заговор, или действительный план Жиронды заменить Людовика XVI герцогом Брауншвейгским.

Десять дней спустя после этой выходки жирондистского ветрогона, когда появился манифест герцога Брауншвейгского, Карра, который должен был почувствовать себя крайне неловко, старался поправиться. В первую минуту, под свежим впечатлением манифеста, он бормочет что-то неуловимое и неясное. «Своей декларацией и своими угрозами герцог Брауншвейгский проявил смелость, граничащую с таким сумасбродством, что можно подумать, будто это только игра, начатая им с целью заставить нас переменить династию».

Карра, очевидным образом, путается: в самом деле, в чью же пользу стал бы затевать эту смену династии столь ненавидимый революционной Францией герцог?

Потом, 6-го августа, у Карра уже новая теория. «У нас довольно серьезные основания думать,—пишет он,—что Людовик XVI содержит на жалованье прусскую армию, которая идет против нас, и что это было одним из условий берлинского двора, на которых он решался двинуть свои войска. Через несколько дней раскроются новые ужасы, о которых мы не имеем еще и представления, и я заранее содрогаюсь, когда потребуют отчета у национального казначейства, и заглянут на дно наших касс».

Это подписано именем Карра.

Революционно-дипломатический флюгер повернулся. Теперь уже герцог Брауншвейгский стал стипендиатом Людовика XVI. Ни одна партия не была столь плодовита на неосмотрительные и компрометирующие речи, как Жиронда, но здесь несогласованность мыслей столь вопиюща, что она действительно должна была бы обезоружить всякую подозрительность. А вот еще в «Патриотических Летописях», в номере от 13 августа, под рубрикой «Германия» находим заметку, которая окончательно лишает оправдания Робеспьера всякой силы. «Герцог Брауншвейгский,—читаем там,—сверх своего манифеста и добавления к нему, только что опубликовал принятые контр-революционными кабинетами меры в целях возвращения Франции под прежнее иго. Прежде всего, завоевание всей Франции кажется ему делом весьма легким, и он заключает свое романтическое построение проектом оставить во Франции в качестве постоянного гарнизона шесть австрийских полков, шесть прусских, два пьемонтских, три испанских и несколько рот, которые союзники испросят у курфюрстов. Все эти планы, продиктованные аристократическим сомнамбулизмом, как бы смешны они ни были, показывают, что внешние враги Франции в значительной степени рассчитывают на внутренних изменников. Французы! будьте на страже, зорко наблюдайте вокруг себя, уничтожайте находящихся в недрах Франции изменников; когда вы очистите вашу почву, возвестите миру, что вы хотите быть свободными, и тогда тираны исчезнут вместе со своими рабами».

Странное предисловие к возведению на королевский трон герцога Брауншвейгского!

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

В понедельник, 26-го августа, Карра требует, чтобы регулярные войска были обращены в национальную гвардию, и чтобы солдаты избирали всех своих офицеров до полковника включительно. «Эта мера,—говорил он,—которая, кроме того, в высшей степени справедлива и осуществляет равенство в полном смысле этого слова, произведет наиболее благотворное действие в рядах нашей армии, и в то же время устрашит армии союзных тиранов: это будет ударом молнии, направленным в европейские троны; этот удар заставит побледнеть и отпрянуть к Берлину пресловутого бахвала—герцога Брауншвейгского». Карра преувеличивает; но как мог Робеспьер, опираясь на туманную и пустую речь, когда-то сказанную этим безрассудным человеком и опровергнутую столькими противоположными речами, бросить свое чудовищное обвинение в бурный и кровавый вечер 2-го сентября?

Наконец, в номере от 3-го сентября, в статье, помеченной 2-м сентября, Карра помещает наиболее энергичное, патриотическое и революционное воззвание—«Ко всем французам, способным носить оружие. Французы, свободные люди, все, кто может носить оружие, все, кого огонь патриотизма делает в десять раз более сильным и ловким, чем 10 крейцеров и 100 палочных ударов, раздаваемых каждый день солдатам Франциска и Вильгельма,—поспешите приготовить страшную облаву, куда выстрелами из пушек и ружей, ударами пик и кос вы загоните стаю бешеных собак и волков, с хвастуном герцогом Брауншвейгским и наглецом Клерфэ во главе. Пусть еще несколько дней с севера на юг и с запада на восток, на всем протяжении этого государства несутся звуки набата; пусть разносят по всей земле весть о поражении тиранов и о полном разгроме их приспешников. Пусть, самое большее через месяц, свора пруссаков и австрийцев, жертва заносчивости и бешенства их безумных вождей, исчезнет с поверхности этой священной земли».

Здесь воодушевление Карра, порой слишком легко возбуждающегося и часто вульгарного, доходит до энтузиазма. Он заканчивает свою статью чем-то вроде картины, набросанной простыми и широкими штрихами, где от восстания свободной Франции веет каким-то непреодолимым, стихийным могуществом, свойственным великим переселениям народов.

Это как бы возвышенное возвращение к простоте жизни, наблюдаемой на заре истории. «Соединяйтесь в отряды по 100 человек каждый, чтобы итти в этот страшный поход. И пусть за каждым отрядом на телегах следует свой запас муки, фасоли, бобов, сухарей (это важно, так как при некоторых условиях у вас может не оказаться пищевых продуктов). Пусть более богатые разделят свои деньги и свою провизию со своими братьями—товарищами по отряду; пусть все лошади, которые находятся в государстве, будут использованы для этого похода; пусть лавки и мастерские, изготовляющие предметы роскоши, будут закрыты на это время, пусть на некоторое время прекратится торговля, и пусть вся Франция, ощетинившись пиками и штыками, одним движением обрушится со всех сторон на эти нечестивые святотатственные банды иностранных прихвостней и вычеркнет их совершенно из числа живых. Друзья, если мы свято выполним эти меры, мы с математической точностью можем быть уверены в торжестве, примера которому не найдется ни в прошлой, ни в будущей истории».

Поистине, как будто перед нами среди культурной, богатой, свободной, отличающейся мягкими нравами страны происходит диковинное передвижение первобытных племен. Какое-то сильное, целительное дыхание дремучих лесов вливается в грудь воинов, и кажется, что холмы, долины и равнины наполняются своими плодами колесницы революции. И вот, в то самое время, как воодушевление Карра переходит в красноречие, стоящее бесконечно выше его обычных вульгарностей, в то время, как его сердце бьется в унисон со всеми тревожно гудящими коло-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

колами, несущими весть о грозящей родине опасности, как раз в ту самую минуту Робеспьер доносит на него и на его партию, как на сообщников герцога Брауншвейгского. Я процитировал здесь многочисленные отрывки и решающие вопрос тексты, которые, если можно так выразиться, еще задолго до 2 сентября подсекали в корне клевету, теперь снова пущенную в ход Робеспьером. Я хотел доказать, что г. Амель, до мелочности точный в своих ссылках, когда нужно защитить Робеспьера, здесь поверхностен. Но что сказал бы сам Робеспьер, этот великий клеветник и в то же время жертва клеветы, если бы он знал, что в тот самый момент, когда он насильственно зачислял Карра и Жиронду на службу герцогу Брауншвейгскому, он сам начинал внушать некоторое доверие агентам королевы? Ферзен пишет в сентябре барону де-Бретёйлю, что можно надеяться, что часть членов революционного трибунала 17-го августа покинет его «по примеру их вожака Робеспьера, который подал в отставку и который, кажется, желает сделаться меньшим злодеем. У Робеспьера могущественная партия среди якобинцев, и, может быть, можно было бы воспользоваться этой рознью (ссора Петиона и Робеспьера, мотивы которой Ферзен излагает). Но нужно это сделать с большой осторожностью, чтобы еще раз не подвергнуть опасности королевское семейство».

Вот и Робеспьер внезапно сделался предметом надежды для приверженцев королевы, ибо наблюдателям издали казалось, что отказаться от председательства в уголовном трибунале значило не признавать революционного насилия. Сколько нелепых слухов! Но самым бессмысленным из всех—это можно сказать совершенно определенно—был слух, который Робеспьер сообщил Коммуне во время ночного заседания 2-го сентября. Нет, как бы велика ни была его недоверчивость, как бы ни был он склонен к пессимизму,—невероятно, чтобы он столь роковым образом использовал только что приведенные мною слова Карра. Он бросил тогда это обвинение вполне сознательно и преднамеренно, ради великих политических целей.

Каковы были эти цели? Луи Блан, который не знал протокола Коммуны, где закреплено столь важное выступление Робеспьера, предполагает, что обыск у Бриссо решил сделать Марат. Он пишет: «Наблюдательный Комитет, в котором преобладало влияние Марата, имел смелость приказать сделать в этот день обыск у Бриссо, бумаги которого были перерыты самым бесцеремонным образом». Достоверно известно, что Марат, войдя 2-го сентября с большим шумом в Наблюдательный Комитет Коммуны, действовал там самым решительным образом. Вероятно, приказ об обыске Бриссо исходил от Наблюдательного Комитета. Но определенное обвинение против Бриссо формулировали именно Билло-Варен и Робеспьер. Но на другой день Бриссо делает ответственным за обыск Робеспьера. И, наконец, в речи 4-го ноября Робеспьер не оспаривает, что он обвинил некоторых жирондистов. У него была двоякая цель. Во-первых, он хотел поддержать связь с могущественной и отличавшейся удивительной живучестью Коммуной. С другой стороны, он не мог, не навлекая на себя подозрения в бездеятельности, оставаться в стороне в этот ужасный день. Уже в героическую ночь с 9-го на 10-е августа он предоставил Коммуне одной взять на себя весь риск действия. Он присоединился к ней только на другой день после победы. И с удивительной ловкостью он воспользовался своим устранением, чтобы польстить Коммуне. Это она, только она спасла родину. И Робеспьер сумел, если можно так выразиться, заставить оценить его собственное отсутствие, чтобы увеличить революционную гордость Коммуны 10-го августа. Как велики эти люди, у которых был теперь титул, на который не мог претендо-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

вать сам Робеспьер! Но 1-го сентября, все еще награждая их льстивыми похвалами, к которым они были столь неравнодушны, произнося в их честь могучую защитительную речь, которую в замешательстве они приняли с благодарностью, Робеспьер, повидимому, сдается.

Он усомнился в правах Коммуны. Он советовал ей подчиниться декрету о роспуске. Вообще, он смотрел на Коммуну, как на силу, уже исчерпавшую себя. А вот через день после того, как на нее обрушился этот декрет, она обнаружила удивительную живучесть. Смущенное и колебавшееся Собрание переделало свой декрет. При первых же известиях о поражениях и при первом дуновении героизма эта Революционная Коммуна, о которой думали, что она погребена под пеплом законности, вновь вспыхнула великим пламенем. Именно она взяла на себя, если можно так выразиться, руководство национальной защитой. Именно она поставила на ноги Париж. Если бы Робеспьер не пошел вместе с Коммуной, он потерял бы всякую связь с народом—этой великой жизненной силой. Вот почему Робеспьер поторопился раздуть страстную ненависть, которую Коммуна питала к Жиронде. Когда отечество переживало кризис, все, не только подозревавшиеся в измене, но даже просто равнодушные, должны были погибнуть. И в этот самый момент Робеспьер давал в руки Коммуне самый убийственный аргумент против Жиронды, указывая на пресловутый заговор и прислужничество герцогу Брауншвейгскому. По части этих отравленных, смертельных ударов он был большой специалист.

Когда политическое положение Лафайета пошатнулось, когда он стал предметом ненависти и презрения, Робеспьер, посредством остроумных сопоставлений и вероломных рассуждений, соединял дело Жиронды с Лафайетом. Теперь Лафайет исчез. Захлопнувшиеся за ним двери австрийской тюрьмы несколько предохраняют его от жестокой непопулярности. Кроме того, голосуя за предание его суду, жирондисты разорвали смертельный узел, которым Робеспьер связал их с фельянтинским генералом. Об'ектом ненависти теперь становится герцог Брауншвейгский. Вот с этим-то самым герцогом Брауншвейгским и надо теперь связать Жиронду. Более страшного оружия против своих врагов Робеспьер не мог найти, и Коммуне, с которой он хотел связаться теснее, он не мог доставить более острого наслаждения. К тому же это избавляло его от необходимости явным образом солидаризироваться с ней или ее Наблюдательным Комитетом в том кровавом деле, которое совершалось в Аббатстве или Консьержери. Достаточно было его ненависти к Жиронде. Эта ненависть, так сказать, забронировывала его от событий; она избавляла его от всякой другой непосредственной ответственности.

Но Робеспьер старался выковать железную цепь общей ненависти, которая скрепляла бы его с парижской революцией, и не только на этот вечер 2-го сентября. Он думал и о будущем. Снова, как после 10-го августа, и еще более решительно, чем 10-го августа, Коммуна стремилась стать правительством. Она возобновила свою энергичную политику. Как 10-го августа, она сорганизовалась, присоединив к части старого муниципалитета крайние революционные элементы, так и в этот день, 2-го сентября, она дала, если можно так выразиться, новый толчок революции. Почти вся власть перешла к ее Наблюдательному Комитету, а этот последний, включив в себя революционным путем Марата, выявлял неуклонное стремление сбросить совершенно опеку Законодательного Собрания и подготовить подчинение себе Конвента. С вечера 2-го сентября он официально принял на себя ответственность за избиения, издав следующее ужасное обращение: «Именем народа, товарищи, вам дается право судить всех без различия узников Аббатства, за исключением аббата Ланфан, которого вы отведете в безопасное место. Отель-де-Виль, 2 сентября. Подписали: Пани, Сержан—администраторы».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Робеспьер стоял лицом к лицу перед новым революционным правительством, которое с возрастающей смелостью продолжало собой дело Коммуны 10-го августа. И раз это правительство было вызвано к жизни первыми неблагоприятными известиями, то в случае обострения национального кризиса оно могло стать огромной силой. С этих пор Коммуна должна была стать во всяком случае решающей силой революции, независимо от того, будет ли она, преобразованная и постепенно сведенная к законным формам, оказывать только косвенное воздействие в виде давления на конституционные власти, или власть ее упрочится в какой-либо вполне определенной форме. Этой силе надо было предоставить значительную роль в политике: она не могла ограничиться избиением арестантов. И вот Робеспьер вмешивается с тем, чтобы извлечь из этой революционной силы максимум политического действия. Мне кажется весьма вероятным, что в этот момент Робеспьер надеялся на почти полное уничтожение Жиронды,—я имею в виду уничтожение ее политического влияния. Робеспьер был убежден, что она представляет собой большую опасность для революции, что она парализует революционную энергию, распыляя ее в суетных интригах честолюбия. Он страдал при мысли, что она станет могущественной, может быть, господствующей партией в будущем Конвенте. Как хорошо было бы закрыть ей туда двери! Избирательная кампания началась как раз в тот самый момент, когда разыгрались сентябрьские события. 26-го августа происходили выборы избирательных собраний, и в скором времени должны были последовать выборы депутатов. Если бы некоторые из главарей Жиронды были дискретированы и замешаны по обвинению в измене, на всю партию распространилось бы смертельное недоверие. И жирондистские кандидатуры были бы устранены не только в Париже, но и в провинции. И если бы даже избирательные собрания выбрали сочувствующих Жиронде, выборщикам пришлось бы ее осудить, и, таким образом, в Конвент прошло бы большинство, преданное Робеспьеру.

Когда 5-го сентября Наблюдательный Совет дошел до того, что послал отмененное Дантоном приказание об аресте и приводе Ролана, он, в сущности, лишь довел до крайности политику Робеспьера. Не успел Конвент собраться, как уж Робеспьер начертал программу работы нового Собрания; на первом плане здесь стояло уничтожение Жиронды.

«Граждане, хотите вы избежать новых ошибок и новых несчастий? Начните с того, что признайте изменение, внесенное последней революцией в ваше положение. До уничтожения знати и королевской власти интриганы, которые только и думали о создании собственного благополучия на развалинах двора,—боролись рядом с друзьями свободы и разделяли с ними звание патриотов. Отсюда разнообразные превращения многих людей, гражданская доблесть которых умирала в тот момент, когда она вступала в конфликт с их честолюбивыми стремлениями. Тогда нация, казалось, делилась на две партии: роялистов и защитников народного дела. Теперь же, когда общий враг ниспровергнут, вы увидите, как те, которых раньше смешивали воднo под именем патриотов, неизбежно расколются на два класса. Одни хотят установить республику для самих себя; другие—для народа, сообразно природе тех побуждений, которые до сих пор питали их революционное усердие. Первые будут стараться изменить форму правления соответственно аристократическим принципам, в интересах богачей и бюрократов. Другие постараются основать ее на началах равенства и общего блага. Вы увидите, как первая партия увеличится за счет всех тех, кто поднимал королевское знамя, а также и всех дурных гражданах, какую бы роль они ни играли до сих пор; в другую партию пойдут все порядочные люди, которые искали в революции свободы своей родины и счастья человечества. Интриганы об'явят последним войну еще

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

более жестокую, чем двор и сама аристократия. Они постараются погубить демократов с помощью тех же самых средств и той же самой клеветы, тем более опасной, что они захотят захватить в свои руки все места и всю правительственную власть. А что будет, если они употребят все способы, чтобы развратить или сбить с толку общественное мнение?

«В настоящее время общественное мнение не должно довольствоваться определением врага свободы, как роялиста и аристократа; нужно распознавать его по признакам более тонким—антигражданственности и склонности к интригам. Общественному мнению пришлось бы постоянно ошибаться или теряться в пагубной неуверенности, если бы оно продолжало делить людей по старым кличкам. В республике только две партии: добрых и плохих граждан,—партия французского народа и партия алчных честолюбцев».

Итак, Робеспьер не хочет употреблять прежней устарелой классификации; и даже тогда, когда якобинцы предложили избирателям, в виде блока, список всех тех, кто голосовал за предание суду Лафайета, и тем самым приняли устарелую систему классификации. Среди патриотов есть два сорта людей: во-первых, те, кто, уничтожая королевскую власть, хотел расчистить местно народу, и, во-вторых, те, кто хотел расчистить место себе. И последние—наиболее опасные враги нации, они дурные граждане.

Если Робеспьер не побоялся выступить со столь определенным и резким мнением в конце сентября, то едва ли он упустил бы удобный случай в начале этого месяца, когда сами грозные события давали ему в руки средство разрушить мощь жирондистской партии.

Вечером 2-го сентября он направил против Жиронды разрозненную силу Революционной Коммуны совершенно сознательно, продумав свою теорию до конца. В это время Робеспьер был согласен с Маратом, ставя Жиронду на одну доску с фельянтинцами. Он не посягал или почти не посягал на жизнь ее вождей, но он хотел одним ударом уничтожить все их шансы на захват власти.

План не удался, и Жиронда в целом избегла удара. В Париже жирондисты не были избраны, но в остальной Франции их влияние все еще было значительным. Случилось это вовсе не потому, что у революционной сентябрьской Коммуны нехватило смелости. Обыск у Бриссо и приказ об аресте Ролана — довольно смелые шаги. Более того, с вечера 3-го сентября Коммуна распространила по всей революционной Франции воззвание, где она об'являла во всеуслышание о своем намерении сохранить власть ради спасения революции. Она выдавала себя за орган национальной воли. Она ставила себя над декретами Законодательного Собрания:

«После тех заявлений, которые само Национальное Собрание только что делало Коммуне, можно было бы подумать, что с тех пор втихомолку составлялись какие-то заговоры и что они вспыхнули как раз в тот самый момент, когда Национальное Собрание, забыв, что оно только что об'явило, что Парижская Коммуна спасла родину, поспешило распустить ее, как будто в награду за блестящее проявление гражданственности. Как только об этом стало известно, народный ропот заставил Национальное Собрание почувствовать настоятельную необходимость связаться с народом и, взяв назад свой декрет о роспуске, снова вернуть Коммуне те полномочия, которыми оно ее облекло.

«Гордясь тем, что она всецело пользуется народным доверием, которое она постарается заслужить еще и еще, находясь в центре всяких заговоров и обреченная погибнуть для общественного блага, Коммуна только тогда будет гордиться полным осуществлением своей задачи, когда получит ваше одо-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

брение, которое является предметом всех ее желаний, и в котором она только тогда убедится, когда все департаменты одобрят меры, принятые ею в целях общественного спасения. Признавая принципы самого полного равенства, не находя для себя других преимуществ, кроме того, чтобы быть первой там, где образовалась брешь, Коммуна поспешит спуститься до уровня самого мелкого муниципалитета в государстве, как только исчезнут всякие основания для опасений.

«Предупрежденная, что против нее двигаются варварские орды, Парижская Коммуна спешит осведомить своих братьев во всех департаментах, что часть злостных заговорщиков, заключенных в тюрьмы, была перебита народом. В тот момент, когда народ готовился двинуться на врага, этот акт правосудия показался ему необходимым, чтобы нагнать страха и тем сдержать легионы изменников, гнездившихся в стенах Парижа. Будем надеяться, что после длинного ряда измен, которые привели народ на край пропасти, он поспешит одобрить эту меру, столь полезную и необходимую, и все французы скажут, вслед за парижанами: «Мы идем на врага, но мы не оставим позади себя негодяев, которые могут передушить наших жен и детей!»

«Подписано: Дюплэн, Пани, Сержан, Ланфан, Марат, Лефор, Журдейль, чиновники Комитета Общественного Спасения, учрежденного при мэрии».

Этот призывающий к убийствам манифест поражает своей смелостью, и из него явствует, что сентябрьская Коммуна задавалась весьма широкими перспективами. Фактически она подкапывается под Законодательное Собрание и претендует стать настоящей общенациональной властью. Она стремится сорганизовать огромную федерацию революционных коммун, действующих по примеру Парижской Коммуны. Щадя их самолюбие, она им обещает, что, как только революция будет спасена, Парижская Коммуна затеряется среди множества других коммун. Наконец, она пытается толкнуть другие города, другие коммуны на такие же убийства, подобные парижским, чтобы создать между собой и ими неразрывную связь кровавой солидарности. Это было бы хорошим началом для заявлявшего о своем существовании правительства. Если бы его послушались, выборы прошли бы под знаком своего рода патриотически-демократического террора, и Жиронда, на которую уже нацелился Робеспьер, пала бы в сентябре 1792 года, вместо того, чтобы пасть в мае 1793-го.

Но этот план, несмотря на всю его смелость и безупречность, разбился о тройное препятствие. Во-первых, как бы далеко ни распространилась эпидемия убийств, почти всюду испытывали ужас перед кровопролитием. Расправа с орлеанскими узниками, перебитыми в Версале несколько дней спустя, является последним кровавым всплеском мрачной волны; почти всюду она уже улеглась. Совершенно верно, что жирондистские журналы сначала еле осмеливаются протестовать против жестокостей 2-го и 3-го. Сам Кондорсе не настаивает, а только просит, чтобы народ отвлекли «от взрывов междоусобиц на почве мести», и направили его активность на более важные и возвышенные предметы. Но если те, которые были огорчены или возмущены убийствами, порицали их в весьма сдержанных и туманных выражениях, то апологеты погромов испытывают какую-то тягостную неловкость. Газета Прюдома «Парижские Революции» рассказывает об избиениях в номере от 1-го по 8-е под заголовками: «Народное правосудие».

Прюдом об'ясняет и оправдывает их предполагавшимся в тюрьмах заговором: «По условному сигналу все парижские тюрьмы должны были открыться в один и тот же час. У арестантов имелось оружие, предполагалось выйти с ружьями и другим военным снаряжением, припрятать которые мы сами дали возможность, опубликовав за много дней до того о домашних обысках; тюремные

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

казематы Форс были снабжены военным снаряжением на этот случай... Под командой изменников-офицеров, посылавшихся в Аббатство, эта банда вылезших на свободу дьяволов, получив подкрепление от всех аристократов, попрятавшихся по своим отелям со дня Святого Лаврентия (10-го августа), и находясь под командой посылавшихся в Аббатство изменников-офицеров, должна была бы занять главные военные посты и захватить пушки».

Вот первые слухи. А вот и самые погромы:

«Толпа ждала узников у дверей, чтобы перебить, предав их мести самого народа. Как только казнь совершалась, кричали «Да здравствует нация!», как бы желая дать понять, что, подобно человеческому телу, свободный народ обязан своим политическим здоровьем ампутации зараженных гангреной членов. Кровь текла, и каждый из тех, кто имел оружие, казалось, наперебой добивался чести содействовать этому великому акту правосудия... Все усилия депутатов были тщетны. Грязная кровь изменников родины продолжала литься».

Затем идет уже настоящая апология. «Из военного бюллетеня народ узнал, что уланы отрезывают уши каждому муниципальному чиновнику, которого им удается поймать, и безжалостно прибивают их ему гвоздем на макушке; неужели же в этот момент открытой войны народ не может позволить себе суровые меры? Он знает также, что во многих парижских особняках ускользнувшие 10-го августа аристократы проводят время около маленькой, сделанной из красного дерева, гильотины; ее ставят на стол к дессерту и проводят через нее по очереди кукол; головы этих кукол, похожие на наших лучших магистратов, вставлены во флаконы; падая под ножом гильотины, они заливают стол красной, как кровь, жидкостью.

«Все присутствующие, а особенно женщины, торопятся намочить свои платки в этой крови, которая оказывается очень приятной душистой водой; ее вдыхают с наслаждением, дожидаясь того момента, когда возможно будет в действительности пролить потоки крови патриотов. А еще не хотят задернуть завесой подробности народной мести; народ очень хорошо знает, что его ожидает, если он снова подпадет под иго аристократии!»

Да, это апология; это защитительная речь; но едва ли прошло четыре или пять дней после событий, как уже чувствуется, что журналист больше всего озабочен тем, чтобы на них «набросили завесу». Повидимому, порой ему мешает в его рассказе запах мясного погреба.

«Народ, который поместил один из своих безапелляционных трибуналов у подножия лестницы бывшего Дворца Правосудия, проявлял там те же доблести и ту же месть: мостовая двора была залита кровью; наваленые друг на друга трупы представляли ужасную картину человеческой бойни».

Очевидно несмотря на взрыв ярости и вопреки всем догматам, оправдывавшим убийства из патриотизма, реакция ужаса и сострадания все-таки поднялась даже в душе тех, кто оправдывал этот поступок доведенного до отчаяния народа. Журналист жалуется, что нервы Парижа совсем не щадились.

«Площадь Пон-о-Шанж представляла то же самое зрелище, что и дворцовый двор: горы трупов и потоки крови. Но если народ целиком отдавался своим чувствам, его чиновники не позаботились достаточно тщательно скрыть следы. Они должны были следить за уборкой трупов и заставить соблюдать в этом отношении больше приличия. Было так легко покрыть чем-нибудь телеги с трупами, и избавить граждан от созерцания их во время длинного переезда, который

Электронный архив социстики МГУ имени А.А. Кулешова

нужно было сделать, чтобы доставить их совершенно раскрытыми до кладбища Кламар».

Но что это за акт справедливости, который надо прятать? В Париже определенно замечалось своего рода нервное потрясение; за увлечением убийствами последовал какой-то протест и отвращение. В этом и крылась причина слабости Коммуны.

Но вот что особенно характерно: если я не ошибаюсь, ни один историк не отметил, что сам Марат осудил или, по меньшей мере, оплакал сентябрьские убийства. Да, сам Марат, тот самый Марат, который посоветовал их народу в своем номере от 19 августа, и который 2 сентября хотел распространить их благодетельное действие по всей Франции. Два раза, по крайней мере, в октябре 1792 г., месяц спустя после сентябрьских событий, он определяет их словом «злосчастные». В номере от четверга 11 октября я читаю: «Раньше, чем приступить к исследованию бумаг, члены комиссии разговаривали о «злосчастных событиях 2-го и 3-го сентября, и спросили членов комитета, не погиб ли кто-нибудь невинно».

В воскресном номере от 14 октября я читаю: «Клевета, распространяемая под видом ненависти к насилию и несправедливости,—обычное оружие заведомых проходимцев,—использовала краски, взятые напрокат с трибуны Законодательного Собрания и в министерских канцеляриях Ролана, чтобы нарисовать Парижскую Коммуну, как орду людоедов, в связи с злосчастными событиями 2 и 3 сентября».

Злосчастные! Это как бы гомеровский эпитет, неизменно применяемый Маратом к сентябрьским событиям; кто бы поверил этому? Я знаю, что в октябре месяце Марат опять стал страдать приступами ярости. Но уступки, которые он делает общественному мнению, указывают на силу движения против убийств в Аббатстве и Форс. Весьма поучительно видеть, как идеолог убийств, человек неумолимой системы, который если и мог спастись перед лицом истории, то лишь благодаря своей непоколебимости, инстинктивно склоняется теперь перед приговором чутких людей, заражается сам общим смирением и чувством протеста во имя человечности. Я очень хорошо, впрочем, знаю, что это волнение еще не означало полного отрицания, и 8 ноября, ополчаясь снова против всех своих врагов, Марат опять расхваливает свою погромную систему.

«Им не удастся заставить видеть в моих статьях что-либо иное, кроме того, что я указал на необходимость отрубить несколько преступных голов, чтобы сохранить жизнь трем стам тысячам невинных, пролить несколько капель преступной крови, чтобы избежать пролития потоков невинной. Иначе говоря,—раздавить контр-революционеров, чтобы спасти родину; а кроме того, не я ли советовал народный самосуд в припадке бешенства, в которое меня повергала скорбь при виде законов, поощрявших изменников, при виде того, как заговорщики ускользают от меча правосудия?

«Итак, я приглашаю клеветников отдать мои советы на суд разумных людей, и если мне не удастся получить его одобрения, я согласен прослыть за каннибала. Самая чистая любовь к человечеству и преклонение перед святым чувством справедливости заставили меня отказаться на некоторое время от умеренности философа, подняв кампанию против своих самых непримиримых врагов. Против этих людей с ледяным сердцем, которые не шевельнутся, не выйдут из обычных рамок даже при виде гибели человеческого рода, я апеллирую ко всем отзывчивым и прямым душам; взрывы бешенства, которые вы испытываете при виде целой нации, увлекаемой в пропасть горстью негодяев, являются моим оправданием. Принцип общественного спасения, который всегда

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

черпает свою силу в подобных народных походах,—вот единственный ответ на распускаемую на мой счет клевету».

Но совершенно естественное возвращение Марата к его неумолимой системе не лишает ценности неожиданных сожалений, высказанных им дважды по поводу «злосчастных событий 2-го и 3-го». Но дело не только в том, что в гордом теоретике заговорило чувство простой гуманности: сожаления Марата имели и политическую подкладку. Если я не ошибаюсь, Марат, в сущности, в отчаянии, что избиения скомпрометировали Революционную Коммуну, где он играл руководящую роль. Революционная энергия 10-го августа наполовину истощилась, но критическое положение отечества вдохновило Коммуну на новый порыв.

Возможно, что, действуя с большей осторожностью и более считаясь с чувством гуманности, она могла бы стать во главе национального движения, сделаться хозяином Парижа. И тогда Жиронда умерла бы сразу, без пролития крови, а Франция, руководимая советами Марата, освобожденная от внешнего и внутреннего врага, вступила бы на путь славы, свободы и мира.

Достойные сожаления избиения смутили слабые души и дали повод использовать против Коммуны порыв врожденного чувства жалости. Они остановили осуществление того плана, на котором сходились и Марат и Робеспьер. Очевидно, в октябре Марат упрекает себя за эти убийства, как за неосторожность, которая дала в руки Жиронды и разных глупо-чувствительных людей материал для стольких лицемерных разглагольствований.

Вот, по признанию главного «сентябриста», первое препятствие, о которое разбилось политическое честолюбие Коммуны.

А с другой стороны, очевидно, что вся Франция быстро прониклась недоверием к претензиям Парижской Коммуны представительствовать от лица всей нации.

В этом отношении щепетильность монтаньяров, особенно демократов с юга, как Камбон, по меньшей мере не уступала щепетильности Жиронды. Наконец, и это было следствием происходившего, тень диктатуры внезапно испугала умы. Если Коммуна самодержавна в Париже, и если Париж—самодержец Франции, люди, которые господствуют в Коммуне, через нее будут господствовать над Парижем и Францией. А ведь влияние Дантона, Робеспьера, Марата на Коммуну было огромно. Действуя заодно, эти три человека вертели бы по-своему кормилом власти. Вырисовывается возможность диктатуры «триумвирата».

Законодательное Собрание быстро поняло, что, взывая к инстинкту человечности, ссылаясь на потребность в безопасности, используя недоверие провинциалов и ненависть ко всякой диктатуре, оно может взять реванш у Коммуны, опять захватить власть и упрочить за собирающимся Конвентом широкий национальный авторитет, где надеждам всех революционных партий будет предоставлен достаточный простор.

Жиронда, воспользовавшись ошибками и притязаниями Коммуны, а также клеветой, удивительно искусно пущенной Робеспьером, возвратила себе на некоторое время все свое влияние. 3 сентября можно было подумать, что исполнительная власть целиком была в ее руках. Дантон стушевался. С удивительным инстинктом революционера, он предчувствовал, что возбуждение, продолжавшееся с 10 августа, подогретое волнениями на почве первых поражений и растущей опасностью, толкают народ на путь эксцессов. 2 сентября он попытался использовать для спасения родины всю клокотавшую энергию. Ему не удалось воспрепятствовать погромам с помощью этой величественной диверсии. Он не настаивал. Он не считал, что в его обязанности, как революционного и патриотического министра, входит вступать в борьбу с заблуждающимися народными си-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

лами. Время ли заниматься улучшением сплава колоколов, когда они вызванивают набат, возвещая, что свобода в опасности?

С своей стороны он предоставил свободу действий; а, может быть, как его обвиняет госпожа Ролан, он оспаривал у Коммуны печать правосудия, которой она отметила свой призывавший к резне манифест? Но он оказал защиту Ролану и, без сомнения, заставил Наблюдательный Совет выслушать замечание, что он перешел всякие границы. Ожидая конца этой внутренней бури, которая, так сказать, присосались в величавому урагану, разразившемуся во имя свободы и родины, Дантон сохранял в интересах народного спасения и свою популярность, и свою силу.

По крайней мере, он не растравлял ядовитыми словами рану, нанесенную чувству человечности, как Робеспьер. Он вмешался 7-го, отдав приказание, чтобы разные личности, арестованные в окрестностях Парижа, не направлялись в этот город, чем и спас их. Он намеревался требовать забвения, широкой амнистии всех ошибок и всех проявлений озлобления. Он предоставил заботу о восстановлении порядка тем из своих товарищей по Временному Исполнительному Совету, которые принадлежали к Жиронде.

Ролан и Серван оба обратились к Собранию 5 сентября. Первый, как министр внутренних дел, говорил с точки зрения интересов революции; второй, как военный министр, выступал во имя национальной обороны.

Речь Ролана, несмотря на некоторые черточки стоицизма, не лишена была известной напыщенности и раздраженности, но ей нельзя отказать в мудрой умеренности. Он не слишком поддавался искушению отомстить Коммуне за бесконечно-мелочные ведомственные конфликты, на почве которых происходили столкновения. Он вовсе не старался ее уязвить. Сначала он набросал широкую и умную теорию революций, которые в своем неизбежном стремлении покончить с тиранией не могут вдруг остановиться на указанном философами пункте. С достаточной искренностью он отдал должное Коммуне:

«Временная Коммуна оказала большие услуги, она не нуждается в моих подтверждениях на этот счет; я отдаю ей должное от полноты сердца. Сейчас Временная Коммуна заблуждается, осуществляя длительно ту революционную власть, которая должна быть только мгновенной, чтобы не стать разрушительной».

Он особенно настаивал на том, что новый Генеральный Совет Коммуны должен быть органом совещательным, а не исполнительным; в качестве исполнительной власти он хотел восстановить в своих правах мэра Петиона. По поводу событий, случившихся накануне, он говорил со скорбной сдержанностью; порой проскальзывала, однако, угроза:

«Вчера был день, на события которого следует, может быть, опустить покрывало. Я знаю, что народ, грозный в своей мести, вносит в нее все-таки долю справедливости; он не делает своей жертвой всякого подвернувшегося ему в момент преступления; свой гнев он направляет на тех, относительно которых он думает, что их слишком долго щадил меч закона, и которые теперь, в критический момент, должны, по его мнению, немедленно быть уничтожены. Но я знаю, что негодяям и изменникам легко использовать в своих целях этот взрыв, которому следует положить известные пределы: Я знаю, что нам придется об'ясняться перед целой Францией по поводу того, что исполнительная власть не могла ни предугадать событий, ни помешать этим эксцессам; я знаю, что обязанность конституционных властей положить этому конец или признать себя упраздненными. (Шумные аплодисменты.) Я знаю, далее, что это заявление навлечет на меня ярость некоторых агитаторов. Прекрасно, пусть они возьмут мою жизнь; я хочу сохранить ее только для свободы и равенства...»

Электронный архив библиотеки им. А.К. Кольцова

И он окончил, ставя на вид Собранию, что оно должно или поддержать его, или принять его отставку.

«Я готов оставаться на своем посту до самой смерти, если я там полезен, и если меня считают таковым; я требую моей отставки и уступаю место, если кто-либо будет признан достойным его занять, или если бездействие закона парализует всякое мое мероприятие».

Собрание отвечало ему повторными рукоплесканиями и возгласами. В этой речи Ролан сохраняет еще равновесие. Повидимому, он склонен набросить завесу на прискорбные события, случившиеся накануне, и не делать из них орудия партийной борьбы. Но это равновесие неустойчиво, и он, видимо, пытается использовать погромы в полемических целях против врагов Жиронды.

В свою очередь Серван утверждает, что это внешние враги, иноземные захватчики, распуская ложные слухи, посеяли рознь среди граждан:

«На какие только провокационные измышления не пускаются, чтобы ввести нас в заблуждение? Каких только средств не употребляют, чтобы заставить нас истреблять друг друга? Здесь вот мести народа подвергаются люди, подписавшие какие-то петиции; там ставят под угрозу собственность. В то время как в пограничных департаментах распространяются известия, что герцог Иоркский приглашается на трон Франции, в Париже ходят слухи, что по воле Народного Собрания взойти на него должен Людовик XVI. Париж поддается агитации врагов свободы. В высшей степени важно скорее остановить эту агитацию и предупредить ее результаты.

«Я предлагаю Собранию: 1) составить обращение к народу с целью раскрыть ему глаза на все эти лживые утверждения; распространить это обращение должны комиссары исполнительной власти; 2) чтобы Собрание послало своих комиссаров в каждую из парижских секций в целях их информирования; 3) чтобы Национальное Собрание заседало непрерывно, день и ночь; 4) чтобы национальная гвардия была постоянно под ружьем, в количестве, достаточном для поддержания порядка; 5) чтобы ночью Париж освещался; 6) чтобы декреты, которые Собрание издает по столь важному вопросу, были опубликованы в торжественной форме».

Почти тотчас же Жансонне предложил от имени Комиссии Двенадцати следующий декрет, который и был принят без прений: «Национальное Собрание ввиду того, что одной из самых больших опасностей для родины является боспорядок и растерянность; ввиду того, что французский народ вполне уверен, что он устоит против всех врагов, которые соединились против него, и что только эксцессы отчаяния и порывы самой пагубной анархии могут способствовать его поражениям; ввиду того, что минута, когда личная и имущественная безопасность не будут признаваться, будет также и той минутой, когда личная ненависть займет место действия закона, когда дух партийности заменит любовь к свободе, а страсть к проскрипциям, прикрываясь маской ложного усердия, зажжет скоро во всем государстве факел гражданской войны, оставит нас без защиты перед лицом надвигающихся приспешников тиранов и подвергнет всю Францию опасности всеобщего разгрома;

«ввиду того, что представители французского народа не напрасно клялись поддерживать свободу и равенство или умереть на своем посту; что они обязаны перед нацией отчетом обо всех своих усилиях, которые они приложат для сохранения этого драгоценного сокровища; что общее доверие, которым они облечены, является верным залогом солидарности с ними всех добрых граждан и готовности последних соединиться со своими представителями ради спасения родины;

«ввиду того, что негодование целой Франции и потомства обрушится на всех, кто осмелился бы противиться власти, которой облекла их вся нация, и

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

которую свободные люди должны признавать в первую голову до того, весьма уже близкого, времени, когда соберется Национальный Конвент;

«ввиду того, что наиболее опасные враги народа суть те, которые стараются сбить с толку, толкнуть на эксцессы отчаяния и отвлечь от проведения мероприятий, необходимых в интересах его защиты и достаточных для его безопасности;

«ввиду того, наконец, что настоятельно необходимо напомнить народу столицы о его достоинстве, о его характере и об его обязанности,—Собрание постановляет, что упомянутые меры должны быть приняты немедленно».

Декретировав спешность, Национальное Собрание предписывает нижеследующее:

«Статья 1-я. Вменяется в обязанность муниципалитету, Генеральному Совету Коммуны и командующему Парижской национальной гвардией употребить все средства, которые доверие их сограждан предоставило в их распоряжение, и отдать все необходимые относящиеся сюда приказания, чтобы уважались личная и имущественная безопасность.

«Статья 2-я. Все добрые граждане приглашаются более, чем когда-либо сплотиться вокруг Национального Собрания и конституционных властей и содействовать всеми средствами, которые в их власти, восстановлению порядка и общественного спокойствия.

«Статья 3-я. Исполнительная власть обязывается в течение дня представить отчет относительно мер, предпринятых в целях ускорения отправки войск в различные лагери, образованные под Парижем, и для работ по укреплению прикрывающих Париж возвышенностей.

«Статья 4-я. Парижский мэр будет давать отчет Собранию каждый день в полдень относительно положения города Парижа и мер, принятых для выполнения настоящего декрета.

«Статья 5-я. Члены городского управления, Генеральный Совет Коммуны, председатели секций, командующий национальной гвардией и секционные командиры обязаны в течение дня явиться в тот же день к решетке Собрания, чтобы там лично принести клятву поддерживать всей своей властью свободу, равенство, безопасность личности и имущества и, если нужно, умереть, исполняя закон.

«Статья 6-я. Председатель каждой секции примет ту же клятву от членов своего округа.

«Статья 7-я. Во всей Франции конституционные власти отберут ту же клятву у граждан.

«Статья 8-я. Настоящий декрет будет торжественно опубликован и разнесен по всем 48 секциям Парижа комиссаром Национального Собрания».

Луи Блан находит, что декрет Собрания страдает неопределенностью и неясностью. Но прежде всего, по-моему, он запоздал. Следовало энергично защищать честь революции накануне, при первом известии об избиениях. Но Луи Блан забывает, что в распоряжении Собрания не было действительных средств для исполнения своих решений. К тому же оно не могло действовать насилием против революционного народа. Луи Блан удивляется, что оно не запретило избиений заключенных в более решительной форме и что оно говорит о нарушении неприкосновенности личности лишь условно. Если бы Собрание ясно указало на случившиеся накануне убийства, ему пришлось бы начать преследование против убийц, а оно не могло этого сделать, не подняв Париж, не создав чудовищной диверсии в интересах наступавшего неприятеля. Кажется, что в этот день 3 сентября оно выполнило целиком свою обязанность. Надлежало остановить избиения, но не следовало давать невозможной амнистии.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

На следующий после 4 сентября день Собрание вновь настойчиво заявило о своем нежелании уступать Коммуне и Марату. Великодушная и нежная душа Верньо как бы увяла, благодаря этому кризису. Резкие упреки, раздававшиеся в народе по адресу Комиссии Двенадцати, в которой он председательствовал, воспринимались им очень болезненно. Эта комиссия колебалась перед 10-м августа, затем колебалась, приступить ли к репрессиям; и народ негодовал на нее; и если понадобилось поднимать восстание, убивать, то не по ее ли вине? Горько было разочарование Верньо, когда он узнал о погроме и о пробуждении претензий Коммуны, несколько часов спустя, после великодушной речи, которая, казалось, зажгла одним пламенем патриотизм Коммуны и патриотизм Собрания. Он спрашивает себя: не является ли Комиссия Двенадцати, ненавидимая самыми революционными элементами народа, препятствием к примирению, и скорее с грустью, чем с горечью, он предлагает Собранию распустить Комиссию Двенадцати. Может быть, он хотел испросить, если можно так выразиться, новую инвеституру и вызвать протест Собрания против клевет Робеспьера: «Когда поднимается клевета, когда недоверие становится общим, долг всякого общественного деятеля—отказаться от своих обязанностей и снова смешаться с толпой. Итак, господа, нелепые слухи были распространены по поводу Чрезвычайной Комиссии, но Комиссия достаточно уверена в своей правоте и требует громко ответственности за свои действия, чтобы иметь возможность в них отчитаться. Принятые публикой на веру, эти слухи проникли в Генеральный Совет Коммуны и в секции Парижа. В эти моменты кризиса и всяческих подозрений ваша Чрезвычайная Комиссия считает необходимым возвратить вам полномочия, которые вы на нее возложили, особенно тогда, когда сделать это не является чем-то безрассудным».

Повидимому, Верньо имел в виду Робеспьера, обвинявшего всю партию Жиронды в том, что она затевает возведение на трон герцога Брауншвейгского или герцога Иоркского. Здесь уже целиком вся инсценировка протеста пущена Жирондой в ход. До такой степени,—увы!—разгораются страсти, так далеко заходит смертельное соперничество!

Я сказал, что эти августовские дни являются как бы преддверием Конвента: это как бы увертюра, где все главные мотивы, все грандиозные или тревожные мелодии, которые скоро разовьются, уже намечаются в общих чертах. Ласурс с силой, которая заставляет предчувствовать будущую неуравновешенность Жиронды, указывает на виновников анархии. Он так прозрачно обвиняет Робеспьера и Марата, как если бы он их называл по имени.

«Члены вашей Комиссии должны пользоваться всеобщим уважением, а между тем их обвиняют, на них клевещут, их преследуют. Длительность их функций дает повод для интриганов. Пора снять с них их обязанности, приняв ту отставку, о которой мы вас просим. Здесь, с этой трибуны мы сумеем защитить против интриганов эту свободу, это равенство, эти священные права народа, которым мы якобы изменили. Здесь, с этой трибуны, мы будем защищать и просвещать народ, который дерзко пытаются вовлечь в преступления. Здесь, с этой трибуны мы будем сражаться с кровавым тираном, который грозит нам политической смертью, анархией. Здесь, с этой трибуны среди наших товарищей, которые нас уважают, мы будем ждать смерти от меча этих свирепых победителей, которым наши обвинители продают родину, и открывают в согласии с изменниками двери государства».

Какая сила растрачивается понапрасну! И как уже здесь, сейчас Жиронда обнаруживает свою декламаторскую ветренность, которая потом ее погубит! Роспуск Комиссии Двенадцати был нелепостью, если бы он не был шагом к соглашению, залогом умиротворения. Однако она с проклятиями требует отставки. Всего только двадцать четыре часа тому назад министр — друг Жи-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ронды—говорил: «Может быть, потребуется задернуть завесой события». И вот Ласурс снова вызывает их кровавый призрак на трибуну; вот, против их главных вдохновителей у него вырываются непоправимые слова. Какая несогласованность и неосторожность! Но Камбон против этих театральных маневров. Он не принадлежит к Жиронде, но он ненавидит претензии Коммуны; и он, поддерживая Комиссию Двенадцати, хочет вызвать Собрание на ответ. Его необычайно страстная речь в высокой степени интересна и с исторической точки зрения: это не жирондистская клика, это—вся революционная Франция юга устами Камбона протестует против претензии Парижской Коммуны захватить власть.

«Господа, Чрезвычайная Комиссия просит вас возобновить ее полномочия; Собрание уже отклонило это предложение, сегодня ее члены вам говорят: «На нас наклеветали в Коммуне, в секциях: мы не можем быть полезны родине». Ах, господа, разве вы не видите, что, оклеветав членов в комитетах, их будут преследовать вплоть до трибуны? Разве вы не видите, что хотят дискредитировать, погубить истинных друзей свободы? Пора вам итти в ногу с событиями. Пора нам бросить эту беззаботность или сдержанность, которая каждый день компрометирует общественное дело. Пора нам спросить себя, желаем ли мы удержать в своих руках полномочия, которыми облек нас французский народ, п л и м ы у с т у п и л и в л а с т ь, в е р х о в е н с т в о П а р и ж с к о й К о м м у н е?

«Если все французы должны подчиняться своим законам, будем иметь смелость и мы им покориться; понесем, как делали в Риме, голову на плаху, если мы того заслужили. Но если у нас в душе есть еще это властное чувство долга, если мы сохранили хоть какое-либо представление о святости полномочий представителей Франции, нужно стать выше обвинений в тех происках, к которым как бы признали себя причастными члены Комиссии, в которых они хотели бы повиниться. Обвиняют членов вашей Комиссии, клевещут на них,—на людей, работа и усердие которых оправдали ваше доверие; теперь они хотят выйти в отставку. Отдавая им должное, я был против новой организации, которую они вам предлагали несколько времени тому назад. Я противился по той причине, что я не считал эту форму совместимой с принципом свободы; но я не хотел их обвинять и даже не предполагал, что мне может представиться малейший повод для этого. Мотив, который мной руководил тогда, остался в силе и теперь. Во имя свободы и национальной независимости вы не должны принимать этой отставки. Попытаемся убедить наших товарищей отнестись с презрением, и сами будем относиться так же, к трусливым клеветникам, ко всем этим низким хитросплетениям интриганов, которые легко разрушит ваша твердость в согласии с ясно выраженным желанием нации. (Апплодисменты.)

«И вот эти члены Комиссии вам говорят, что они не могут продолжать исполнения тех обязанностей, в связи с которыми против них выдвигают обвинения, но они будут защищать,—прибавляют они,—интересы своих избирателей с этой трибуны. Нет, господа: если вы уступите клеветнику, который их преследует, он последует за ними и на трибуну, и тогда—что станется с представительством? Что станется со свободой и равенством? Я дрожу за судьбу моей родины. Я у ж е с л ы ш у, к а к ш о п о т о м п р о и з н о с я т с л о в а: п р о т е к т о р а т, д и к т а т у р а, т р и у м в и р а т. Франции готовят весь ужас анархии, все те междоусобицы, которые ведет за собой борьба честолюбий. Я вижу, как поднимается призрак, который, обрекая на смерть королевскую власть, говоря беспрестанно о народе, обречет, в свою очередь, на смерть царство счастья и равенства и будет признавать только одну месть, и тогда этот народ напрасно будет взывать к нам о помощи; нам останется только плакать вместе с ним. (Громкие апплодисменты.)

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Но жестоко ошибаются те, которые надеются, что Франция дойдет до такой катастрофы. Если Париж сделается добычей этих людей, более жестоких, более преступных и особенно более трусливых, чем враги, которые оскверняют наши пограничные поля и вырезывают мирных пахарей с их женами и детьми; если эти отвратительные клеветники сделаются, благодаря нашему ослеплению и нашей слабости, свирепыми владыками, поверьте, господа, эти великодушные граждане юга, которые поклялись поддерживать свободу и равенство, придут на помощь угнетенной столице. (Громкие аплодисменты.) Ведь есть еще на моей родине, в южных департаментах французы, которых способно воспламенить дело свободы. Я говорю о марсельцах, об этих великодушных патриотах, которые, когда выяснилось, что двор готов погубить родину, поспешили в Париж, чтобы требовать уничтожения королевской власти, и которые 10-го августа дали нам такой прекрасный пример мужества. (Аплодисменты).

«Итак, господа, у них есть доверие к своим депутатам. И если, по несчастию, свобода будет повержена, и они будут принуждены отступить, не будучи в состоянии кинуться на новых тиранов со всей ненавистью, жаждой мести и смерти,—я не сомневаюсь, что они откроют в своих неприступных очагах священное убежище тем несчастным, которые смогут ускользнуть из-под топора французских Суллл. (Аплодисменты поднимаются дважды.) Я заканчиваю свою речь уроком этим злостным агитаторам, скрытая цель которых заключается в том, чтобы заставить себя выбрать в Национальный Конвент. Я сказал бы им: «Вы можете сбивать с толку народ и натравливать его против Национального Собрания, но берегитесь сами; вы жаждете сместить этих представителей народа; поверьте, что завтра поднимутся другие интриганы, которые опрокинут вас, в свою очередь, и с процентами заплатят вам за все то зло, которое вы сделаете вашим предшественникам. (Громкие аплодисменты.) Интриганы, мятежники доводят до отчаяния нашу родину; может быть, им платят пруссаки, чтобы все дезорганизовать (аплодисменты), и когда они заставят нас перерезать друг друга, они схватят наших жен, наших детей, наших стариков; они их закуют в кандалы и разграбят наше имущество. Ах, господа! предупредим эти бедствия и преступления, сохраним наше достоинство и не будем больше обсуждать этого вопроса».

Собрание и часть трибун криками приветствовали Камбона. Сколько сарказма! В первый раз замечаешь, как в речах людей революции встрепенулось чувство самосохранения. «Топоры Суллы» были занесены над их головами. И подобно тому, как при галлюцинациях все яснее витают очертания мрачных призраков, так и теперь взаимные обвинения стали получать все большую и большую определенность. Робеспьер и Марат, сосредоточивавшие всю власть в Коммуне, где они господствовали, возбуждают подозрение в диктатуре. Камбон, противопоставляя марсельских федератов 10-го августа Коммуне 10-го августа, требуя у юга «не-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

проницаемого убежища» для угрожаемых народных представителей, тем самым подкрепляет обвинения в федерализме. Взаимная клевета заостряется, как нож, и люди преисполнены героизмом, страданием, ненавистью. Они сильны и в состоянии сделать свое дело. Но они его сделают, терзая, убивая и ненавидя друг друга. Пусть судьба и наша мудрость предохранят пролетариат от этих бурных форм революции!

В сентябрьские дни 1792 года во всех этих головах, которым суждено было пасть жертвой взаимных проскрипций, рисуется уже чудовищно-фантастичный облик вчерашних друзей, сегодняшних соперников, завтрашних убийц. Очевидно 4-го сентября революционная Коммуна и ее Комитет Безопасности потерпели поражение. Они уже не могут подчинить себе Собрание, распространить сентябрьский террор на всю Францию и раздавить в самом их зародыше жирондистские кандидатуры. Совет Коммуны, не формулируя, правда, своего отказа от прежней линии поведения, расходится с своим Комитетом Безопасности. Сначала он пытается остановить избиения. В вечернем заседании 3 сентября, секция Пон-Неф обращается к Коммуне с требованием назначить комиссаров с целью предотвратить месть народа, который собирается убить г. Ришара—привратника тюрем Консьержери. Коммуна «постановляет обратиться с воззванием о необходимости предоставить наказание виновных закону». Коммуна решительно преклоняется перед декретами Собрания: «Секретарь читает (в том же вечернем заседании 3-го сентября) декрет Национального Собрания, изданный накануне по поводу организации Генерального Совета, который устанавливает, что названный Совет будет состоять из 288 членов, не считая муниципальных чиновников, мэра, прокурора Коммуны и их заместителей». Никакого протеста не поднимается. «Совет слушает чтение декрета, который требует, чтобы Генеральный Совет и муниципалитет тотчас же дали отчет о состоянии Парижа. Совет избирает комиссаров на этот предмет». Это была полная уступка постановлениям Собрания. Наконец, перед тем как разойтись, «Генеральный Совет, в высшей степени обеспокоенный и взволнованный суровыми средствами, которые были употреблены по отношению к арестованным, избирает комиссаров, чтобы успокоить возбуждение и вернуть к принципам законности тех, кто уклонился от них; кроме того постановлено, что комиссары будут сопровождаться двумя жандармами верхом, и что они могут прибегать к вооруженной силе».

Постановление звучит вполне определенно, в то же время в его тоне чувствуется волнение. Петион, находившийся с 10-го августа в состоянии зависимости и сопровождавший делегации Коммуны подобно немой и грустной тени, опять получает авторитет и возвышает свой голос. Каждый день лично или письменно он осведомляет Собрание о положении дел, сообщая ему чувствуется волнение. Петион, находившийся с 10-го августа в состоянии шаются против общего врага—иностранцев. И чувствуется, что в этой роли Петион снова начинает расцветать, подобно тому как на солнце распускается растение, которое долго держали в тени. В его полных тщеславия словах чувствуется непрестанное умиление.

4-го, 5-го, 6-го числа, проявляя больше доброй воли, чем энергии, Коммуна пытается еще противиться избиениям. 4-го «Совет, глубоко взволнованный теми известиями, которые ему принесли из Аббатства, посылает туда двух комиссаров, чтобы восстановить там спокойствие. Заслушав письмо комиссара Отель де-Форс, Совет посылает еще шесть комиссаров, чтобы постараться остановить мстящую руку, которая поражает преступников».

Очевидно Коммуна не хочет или не смеет принять суровых мер. Но заметно также, что она не стремится прикрываться этими решениями; она страдает от своего бессилия. 5-го Коммуна «постановляет, что все узники Отель де-ля-Форс,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

заключенные в настоящее время в Сен-Луи-де-ля-Кюльтюр, должны быть переведены в Сент-Пелажи. Совет выбирает в качестве комиссаров на этот предмет Бодуэна и Лекамюс; их должна сопровождать вооруженная сила». Перевод арестованных не мог совершиться полностью, потому что 6-го «Совет заслушивает письмо г. мэра, который сообщает, что казни в Отел-де-ля-Форс продолжаются. Совет посылает за господином мэром, приглашая его явиться в здание Коммуны с целью совместно обсудить средства успокоить вызванные этим волнения; кроме того, он постановляет выпустить по этому поводу воззвание».

Вскоре после этого «господа члены Совета с господином мэром во главе отправляются в Отель-де-ля-Форс, чтобы призвать граждан к исполнению закона, охраняющего личность и собственность граждан».

Реакция в сторону гуманности и сострадания настолько сильна, что член Комитета Безопасности Сержан, один из тех, кто 2-го сентября подписал приказание «судить всех узников Аббатства», старается выпутаться. В четверг вечером 6-го сентября в Генеральном Совете Коммуны «господин Сержан разоблачает отвратительные средства, которые употребляют, чтобы оклеветать народ; он рисует его доброту, его великодушие, его правосудие, о н ж а л у е т с я, ч т о р а с п р о с т р а н я ю т д и к и е с л у х и, б у д т о г р о м я т м а г а з и н ы и б о г а ч е й. Он пространно говорит о том, что народ доказал свое уважение к собственности, он утверждает, что, желая сделать кого-либо добродетельным, надо казаться расположенным верить в его добродетель; заканчивая свою речь, он просит Генеральный Совет обратиться с воззванием, которое, дав народу почувствовать его доблести, заставило бы его бояться их запятнать. Ему поручают составить это воззвание и срочно представить Совету». Правда, Сержан хочет предостеречь парижан, главным образом, против «грабежа», против всякого покушения на «собственность»; но, если он обходит молчанием избиения и избегает их порицать или не соглашаться с их необходимостью, он уже не рискует их восхвалять. А это молчание равносильно своего рода отказу от них. Умеренная часть Коммуны не захотела уступить Совету Безопасности первенство в подаче мудрых советов. И вот 7-го сентября «господин мэр дает отчет о всех средствах, которые употребляют враги общественного блага, с целью внушить ужас перед гражданами Парижа. Он утверждает, что были пущены в обращение проскрипционные списки, чтобы напугать тех, которые живут в этом огромном городе, и изгнать из него всех иностранцев. Он предлагает составить обращение к 82 департаментам, которое должно развить истинные принципы, руководившие огромным большинством граждан, и официально подтвердить, что в этом городе отдельные личности всегда уважались. Это предложение встречает сильную поддержку и покрывается аплодисментами; единогласно постановляется поручить господину мэру составить обращение».

Это было ответом на обращение 3-го сентября, которое от имени Совета Безопасности или Комитета Общественного Спасения Марат, Сержан, Панн послали во все коммуны Франции. В четыре дня произошло, кажется, полное отрезвление, и власть переходит от крайних революционеров к умеренной части Коммуны. Мало того, восстанавливая преобладание Петиона, Коммуна, кажется, возвращается к положению, предшествующему 10-му августа, и отдает всю свою власть старому «законному» городскому управлению. Таковы были последствия реакции, которая последовала за убийствами 2-го и 3-го.

По сути дела, Коммуна, повидимому, занята тем, чтобы успокоить народное движение. 6-го сентября «секция Санкюлотов требует, чтобы ей позволили снять решетку церкви Сен-Мадер, чобы сделать из нее пики. Совет не обсуждает этого вопроса, мотивируя свой отказ тем, что церкви,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

оставленные для богослужения, должны остаться в том состоянии, в котором они находятся».

Впечатление умеренности, успокоения, которое производило тогда настроение Коммуны, было так велико, что в ней делаются предложения всеобщей амнистии. Все парижские граждане, которые подписали знаменитые петиции 20.000 и 8.000 против революции 20-го июня и против образования лагеря под Парижем, со времени 10-го августа были поставлены как бы вне закона. Во всяком случае, они были изъяты из сферы действия общего политического права и приравнены по положению к пассивным гражданам, как раз в то время, когда было уничтожено старое различие между активными и пассивными гражданами. Им было запрещено добиваться избрания в секциях, равно как и принимать участие в первичных собраниях. Вечером 4-го сентября, вследствие реакции в сторону сострадания, которая следует за взрывами ярости 2-го и 3-го, вносится предложение «забыть негражданское поведение 8 и 20 тысяч петиционеров и снова считать их братьями». Коммуна нашла, что ее хотят увлечь слишком далеко в сторону примирения и снисходительности, и перешла к текущим делам, заявив, «что хорошо сохранить в сердцах граждан уважение к собственности и неприкосновенности личности, но что не следует брататься слепо с людьми, которые изо всех сил проповедовали роялизм. Это значило бы вдаваться в излишнюю терпимость, которая могла бы погубить общественное дело». Хороший урок для тех, кто верит в полезность кровавых дел для развития революции! Ибо первое действие кровавых расправ заключается в том, что они открывают широкий простор чувству сострадания, которое быстро выходит из границ, подсказываемых мудростью и осторожностью. Попытки добиться амнистии возобновляются 6-го числа. «Секция Мэль обращается к Совету с предложением предать забвению списки подписавших антигражданские петиции и просить его считать их братьями».

«Генеральный Совет отклоняет рассмотрение этого вопроса, мотивируя это опасностью, которая может возникнуть, если принять в число патриотов людей, гражданственность которых была более чем сомнительна до 10-го». Но «депутация допущена на заседание». Ее выступление не вменено ей, следовательно, в вину. Да и в самой Коммуне произошло большое умиротворение. Она сама чувствует потребность в братстве, забвении и кротости.

И как бы для того, чтобы снова направить народ на славный путь великих подвигов, Коммуна вся целиком отдается делу национальной защиты. 3-го сентября она призывает всех граждан департаментов присоединиться к парижанам, чтобы итти на границу. Она отстраняет за небрежность от должности членов своего военного Комитета. Она взывает к свободному чувству самопожертвования, отвергая принудительный набор и жеребьевку, и строит свои планы на гражданских чувствах и военной отваге Парижа. С 3-го по 22-ое сентября она уполномочивает секции учесть все оружие, которое находится у торговцев огнестрельным и холодным оружием, и определить его стоимость на основании торговых книг. Она стремится обеспечить для национальной обороны возможно большее количество рабочих рук, на которые тогда предъявлялся всюду большой спрос, и постановляет «приостановить, в случае необходимости, строительные работы, при чем взятые с них рабочие должны получать за лагерную работу плату, равную той, которую они получали раньше». Она посылает для изготовления пик железные решетки упраздненных церквей, равно как и то железо, которое находится в Тампле; она приказывает всем гражданам сносить старое железо в Арсенал и в Дом Инвалидов для производства патронов. Она входит в соглашение с министрами относительно постройки пушечных лафетов. Она постановляет, что комиссары секций должны отправиться «к торговцам колониальными товарами и ко всем тор-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

товцам охотничьими принадлежностями и получить от них дружественным образом сведения относительно имеющегося в их магазинах количества пороха и свинца». Она обращается к парижским женщинам, к работницам с полным величия воззванием: «Гражданки, Генеральный Совет Коммуны полагает, что не следует оставлять вашего патриотизма в праздности; ваши руки также должны соперничать с руками граждан, спасая общую родину. Для лагеря под Парижем необходимы палатки; эти палáтки еще не сделаны; время не терпит; вы не откажетесь поспешить на помощь угрожаемой столице? Мы предоставляем гражданам вас защищать, вам же предоставим славное преимущество участвовать в этом деле; поспешите отправиться в наши церкви; работайте там над лагерной амуницией; это позволит вам действительно послужить родине, облагородить работу своих рук и принять участие вместе с нами в спасении общества».

Она собирает в Коммунальном доме все годные ружья, найденные во время домовых обысков; она уносит из церквей свинцовые гроба, чтобы, переплавив их, лить из них пули; раздает секциям для изготовления пик десятки тысяч килограммов железа; заставляет перевезти в Коммунальный дом 20.000 пар ботинок, сложенных в Сен-Дени, с целью упорядочить их раздачу. И боясь, как бы рабочие не покинули работу для общественного спасения, благодаря повсеместному спросу на рабочую силу, она мобилизует парижских рабочих для потребностей родины: «замочники, экипажники, сапожники, слесаря и представители других важнейших профессий, приглашаются оставаться в Париже, пока будет чувствоваться общественная необходимость в них». Она постановляет дать субсидию на вооружение добровольцев. В этих действиях мы видим огромное патриотическое усилие, великодушное и планомерное.

По улицам Парижа как бы проносится широкой волной благодатное дуновение ветра, уносящее запах крови. Как бы для того, чтобы покончить с тягостными воспоминаниями, Коммуна постановляет, что принадлежавшие узникам предметы: белье, драгоценности должны быть переданы их законным наследникам. И, наконец, с целью показать, что кризис кончился, что должны опять возобновиться обычные мирные сношения, она открывает заставы и постановляет, что в среду 12-го «биржа будет открыта для всех купцов, торговых агентов и других граждан». Этим она старается успокоить и расположить в свою пользу коммерческую и финансовую буржуазию.

Так в несколько дней Марат потерял всякую надежду сделать из революционной Коммуны орудие своей политики; ему остается лишь продолжать борьбу в одиночестве при помощи яростных статей и раздраженных плакатов.

Не осуществились и надежды Робеспьера, несомненно, окрылявшие его вечером 2-го, что революционное воздействие Коммуны, которое должно было быстро распространиться на всю Францию, почти одним ударом уничтожит политическое могущество Жиронды. Нет больше молниеносных ударов и драматических выступлений. Начинается повседневная борьба, терпеливая, цепкая, в то же время мелочная и яростная, между сторонниками Робеспьера и Марата — с одной стороны, и жирондистами — с другой.

Эта борьба сначала будет вестись в связи с выборами, потом с новой силою вспыхнет немедленно после их окончания.

Но, несмотря на все расхождение революционных партий, была одна точка соприкосновения, одна общая задача. И Робеспьер, и жирондисты были одинаково заинтересованы в том, чтобы страна признала революцию 10-го августа, чтобы явилась возможность отбросить контр-революционную коалицию роялистов, свя-

Электронный архив библиотеки МГПИ им. А.А. Кулешова

щенников и фельянтинцев. Кроме того, борьба, завязавшаяся между Робеспьером и Бриссо, не стала еще известной Франции.

После 20-го июня и 10-го августа перед огромным большинством граждан особенно остро стоял один единственный вопрос: надо ли сделать шаг назад дать свободу королю и восстановить по крайней мере часть его власти? Или надо решительно покончить с монархией, лишить ее всякой возможности изменять и вредить? Контр-революция не посмела вступить в открытую борьбу; сильные удары, нанесенные народом 20-го июня и 10-го августа, нашли себе отзвук в самой глубине страны, и народная сила устранила тех, кого она не смогла увлечь за собою.

В Вандее, например, где прежний мэр Делуш и бывший дворянин Бодри д'Ассон подняли крестьян в июле 1792 года, натиск контр-революции на Бресюир был только что отбит. Все патриоты были под ружьем; контр-революционные крестьяне не осмелились явиться в конце августа на первичные собрания. Они не посмели принять участия в избирательном собрании, происходившем 2-го сентября в Шатеньёрэ. Впрочем, не присягнувшие конституции священники запрещали им, как дело, угодное дьяволу, всякое участие во всем предписывалось революционными законами. Таким образом, в Вандее во время выборов контр-революция не могла дать почувствовать всей своей силы. Она, однако, постаралась хитростью лишить новых полномочий депутатов Законодательного Собрания, в особенности Гупилло, которого особенно ненавидела. Она распространила слух, что Законодательное Собрание будет заседать одновременно с Конвентом, который займется исключительно конституционными вопросами. Вследствие этого, депутаты Законодательного Собрания не могут быть выбраны в Конвент. Пришлось официально опровергать этот ложный слух.

Во многих местностях Франции роялисты и фельянтинцы вступили между собой в соглашение для того, чтобы создавать в народе панику. Религия уничтожена, Франция ввергнута в пучину неизвестного; она уже не выходит из полосы революций; после 14-го июля—5-е октября; затем Варенненский кризис и первая отставка короля; потом 20-е июня; наконец, 10-е августа. Одно волнение ведет за собой другое, и пропасть открывается за пропастью.

Европе брошен неосторожный вызов, и, чтобы освободить короля-пленника, чтобы спасти короля-мученика и отомстить за него, армии и народы нападут на нас. Лонгви пал, Вердён и Тионвилль осаждены. Сколько крови! Сколько слез! Сколько страданий! Сколько опасностей и разрушения! Курс ассигнаций падает, и это падение вздувает цены на с'естные припасы.

Уже начинают устанавливать твердые цены на хлеб. Скоро наложат руку на собственность. Чтобы получить средства для ведения этой неразумной гигантской борьбы, конфискуют помещичьи земли. Последние или будут проданы за дешевую цену, или разделены между оборванцами, лентяями и поджигателями. Вслед за дворянином, последует священник, вслед за священником — богатый буржуа, за богатым буржуа—крестьянин-собственник. Буржуазия вскоре будет низринута в ту же пропасть, на дне которой в настоящее время находятся дворянство и священники, и подготавливаемый аграрный закон, неизбежное следствие республики, подведет все под один уровень.

Для революции было большим счастьем, что события 2-го и 3-го сентября сделались известны в большинстве областей только тогда, когда депутаты Конвента были уже выбраны, или, по меньшей мере, когда определенно выяснился революционный уклон избирателей. Если бы о сентябрьских событиях узнали раньше, если бы их начали перетолковывать вкривь и вкось, это, конечно, не изменило бы общего характера выборов, но, весьма вероятно, породило бы великое смущение и ослабило бы национальный революционный порыв тяжестью реакции и беспокойства.

Электронный архив библиотеки ИГУ имени А.А. Кулешова

Далеко не везде революционная партия легко и безпрепятственно одержала победу на выборах. Я только что отметил, руководствуясь рассказом Шассенна, опасную тактику контр-революционеров в Вандее. В Руане внушало опасения сосредоточение сил старого порядка и высшей буржуазии, по своему духу фельянтинской и умеренной.

Например, во «Французском Патриоте» от 3-го сентября напечатано следующее любопытное письмо из Руана:

«Я имею удовольствие сообщить вам, что в нашем городе господствует мир, но это ненадолго; придворные фельянтинцы скопились здесь в большом количестве и поддерживаются всеми корпорациями; с якобинцами обращаются недостойно; носильщики, слуги важных господ, рыцари кинжала должны голосовать в первичных собраниях, с тем чтобы вытеснить патриотов. Рабочие наших фабрик получили подарки ad hoc, и они рискуют остаться без работы, если не изберут тех, кого укажут им наши негоцианты. Члены департаментской администрации и законники болтают и то и сё, чтобы овладеть голосованием, рассказывают тысячу ужасов о Национальном Собрании. Гавр, Диепп, Кодебек находятся в том же положении, что и Руан!»

Тревога эта была напрасной, так как ни один из тех кандидатов, которых боялся корреспондент Бриссо, не был избран, и «патриоты» одержали верх. Но очевидно, что среди нации в целом, призванной в первый раз к всеобщему голосованию, и даже среди широких народных масс было немало реакционных элементов, и совместное воздействие людей старого порядка и умеренных из числа крупной буржуазии могло увлечь даже невежественную и несчастную часть пролетариата.

В Монтобане демократы и революционеры одержали победу не без борьбы. Жан-Бон Сен-Андре, суровый и гибкий протестантский пастор, жизнь и деятельность которого исследовал в своей замечательной книге Леви-Шнейдер, об'единил вокруг себя революционные элементы этого города. Богатая кальвинистическая буржуазия сначала полностью присоединилась к революции. Как и вся промышленная и владельческая буржуазия, она находила в революции гарантию для своего развития. Кроме того, революция обеспечивала свободное исповедание веры, закрепляла завоеванную свободу совести. В Монтобане революционные чувства буржуазии в течение всего 1790 г. и части 1791-го подогревались именно насилиями католического фанатизма.

Но когда буржуазия почувствовала, что свобода укрепилась, когда гнет католической церкви показался ей окончательно разрушенным, она стала стремиться к покою, который в ее глазах обеспечивала конституция 1791 года, почувствовала страх перед республиканскими потрясениями, последовавшими за бегством в Варенн, и демократическими требованиями рабочего народа — всеобщего избирательного права и права для всех граждан участвовать в политической жизни. Жан-Бон Сен-Андрэ, все более и более увлекавшийся демократией, не замедлил неприятно поразить буржуазную олигархию в Якобинском Клубе, где она преобладала.

Однажды, требуя равенства политических прав, он воскликнул: «Шерстобит стоит фабриканта». Буржуазия отсутствовала; но ремесленники, рабочие, особенно рабочие-протестанты, у которых революционное настроение соединялось с своего рода мистической экзальтацией, стекались массами на демократические проповеди Жан-Бон Сен-Андрэ. Вопреки всем умеренным и фельянтинским силам, он прошел в Конвент, хотя и с большим трудом.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Но, несмотря ни на что, в целом, революционное движение в стране было почти непреодолимо. Я уже указывал, как способствовали его развитию декреты Законодательного Собрания, имеющие отношение к феодальным правам. Мало того, в это время продажа церковных имуществ почти уже закончилась. В каждой общине было много семейств, которые были непоправимо замешаны и которые должны были потерять все — имущество и, может быть, жизнь, если бы революции пришлось погибнуть.

К концу 1792 года почти все церковные владения исчезли даже в Вандее. В округе Фонтеней церковные имущества были оценены в 12.577.000 ливров; к 1-му сентября 1792 года их было продано более, чем на десять миллионов ливров. Во всех департаментах Вандеи имущества, назначенные к продаже, были оценены в 28.273.344 ливра; к 1-му сентября 1792 года их было продано на 28.811.186 ливров. Так всюду, даже в местностях, наиболее враждебных революции, последняя пустила многочисленные и глубокие корни; революционная собственность оказала могущественное влияние на настроение как первичных, так и избирательных собраний.

ГЛАВА V.

Выборы в Конвент.

Три великих силы непосредственно воздействовали на умы решающим образом. Прежде всего, единственной фактической властью был Временный Исполнительный Совет—революционная власть, установленная Законодательным Собранием после 10-го августа. Он представлял из себя правительство. Попытаться возвратиться к монархии значило бы не только скомпрометировать все завоевания революции, но и пойти навстречу анархии. К великим революционным интересам присоединилось чувство порядка, об'единявшее народ вокруг новой власти. И эта последняя не боялась в своих сношениях с избирательными собраниями выступать в качестве советника и действовать как правительство.

25-го августа Временный Исполнительный Совет обратился к собравшимся избирателям с манифестом. Его всюду читали при производстве выборов. В избирательных собраниях читалось также составленное Кондорсе воззвание, где Законодательное Собрание об'ясняло причины революции 10-го августа. Большое впечатление произвели бумаги, найденные в Тюильери, которые обличали длительный обман короля, субсидировавшего из средств своего цивильного листа врагов революции.

Наконец, что особенно важно, во всей Франции единение революционных партий было почти что полным. Деление на робеспьеристов или маратистов и жирондистов, столь резкое в Париже, еще не распространилось на провинции. Издали Верньо и Робеспьер казались народу союзниками, работающими над общим делом, и почти одинаковыми средствами. Избирательный циркуляр Якобинцев, который представлял из себя блок всех депутатов, голосовавших против Лафайета, способствовал этому пониманию.

В действительности на голосование был поставлен день 10-го августа, и кого бы втайне ни предпочитали избиратели: Бриссо ли, Робеспьера или Дантона, все они давали один и тот же ответ. Люди, которые вскоре должны были вступить между собой в резкую борьбу, выбраны тем же самым избирательным собранием, в том же самом смысле и для тех же самых целей. В своем исследовании о Роберте Лэнде Монтье отмечает это настроение в департаменте Эр: «Бюзо был избран президентом избирательного собрания 329 голосами из

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

числа 565 голосующих, а Дю-Руа, судья гражданского трибунала в Бернэ,— секретарем. Выборы совершались на основе отношения к революции 10-го августа; все избранные, к какому бы оттенку мыслей они ни принадлежали, были готовы требовать низвержения короля. Бюзо был избран депутатом первым, 449 голосами, затем шли Робер-Тома Лэнде, епископ в Эврё, прошедший 407 голосами, Робер Лэнде, его брат — депутат Законодательного Собрания, 532 голосами. После того были избраны Дю-Руа—адвокат (из Бернэ), Ришу (из Анделли), Лемарешаль (из Рюгль) Топсан (из Килльбёф); Буйеро, сборщик округа Бернэ; наконец, Валле, Савари и Дюбюк были избраны в качестве кандидатов; позднее Бюзо об'явил их депутатами без нового голосования, чтобы заменить ими Альбитта, Карра и Бриссо, избранных и принявших полномочия в других департаментах.

«Поэтому едва ли можно утверждать, что выборы в департаменте Эр были жирондистскими. В действительности они были глубоко враждебны королевской власти и проникнуты совершенно определенным республиканским настроением. Мы увидим глубокое расщепление среди депутатов Эр только в течение последующих событий. Робер Лэнде, Тома Лэнде, Дю-Руа, Буйеро присоединяется к монтаньярам; в то время как, под влиянием Бюзо, Валле, Савари, Ришу, Лемарешаль и Торсан, станут, хотя робко, на сторону Жиронды; после же ее исчезновения чаще всего будут занимать место среди неопределенно настроенных депутатов Б о л о т а».

Впрочем, и у тех, и у других было задание мысли. Бюзо был слишком хорошо осведомлен в области политики, слишком привязан и умом, и сердцем к Жиронде, чтобы не знать о том, что происходит в Париже, и не знать, какая ненависть раздирает там уже в течение нескольких месяцев революционную партию. Если бы уже задолго до созыва Конвента его настроение не оформилось и не сделалось возбужденным до крайности, он не занял бы с первых же заседаний Конвента столь непримиримой позиции. Правда, он всегда настаивал, что не был вовремя осведомлен относительно истинного характера сентябрьских избиений и не знал их действительного значения, чтобы воздействовать с пользой на избирательное собрание и заставить его быть настороже по отношению к властолюбивым и анархическим претензиям Парижа. Он говорит об этом дважды в своих мемуарах, написанных в конце 1793 года и в 1794 году, в то время, когда принужден был бежать и скрываться, чтобы избегнуть смерти.

«После того как я был председателем на всех избирательных собраниях, я был избран первым депутатом от департамента Эр в Национальный Конвент. Я могу сказать, что не желал этой чести; я был счастлив, уважаем и жил спокойно в своем кругу. Я не знал еще всех подробностей дня 2-го сентября, не знал хорошо положения дел в Париже и не мог еще предвидеть, куда нас могут завести эти события, но предчувствие, от которого я не мог отделаться, основанное на некоторых ставших мне известными фактах, предупреждало меня о новых предстоящих опастностях и о тех несчастиях, которые навлечет на меня моя непоколебимая честность. Но разве я мог отказаться от своей новой жертвы на пользу моей родины?».

Итак, Бюзо не отрицает, что ему были известны парижские события и растущее соперничество Жиронды и Робеспьера; он даже предчувствовал, что Жиронда положит начало страшному кризису, вступив в борьбу с Парижем. Но он жалуется, что не смог уже во время самих выборов завязать бой страстной оценкой сентябрьских дней. В другом месте своих мемуаров он упрекает своих жирондистских друзей как раз за то, что они не предупредили страну с достаточной

Электронный архив библиотеки КГУ имени А.С. Пушкина

определенностью в тот самый момент, когда предупреждение могло бы принести наибольшую пользу, т.-е. во время избирательной кампании.

«Следует согласиться с тем,—пишет он,—что больше всего виноваты тогдашние журналисты, затем депутаты, особенно члены Законодательного Собрания, которые не осведомили своих департаментов ни относительно того состояния, в котором находилось Собрание, ни относительно состояния города Парижа. Наиболее мужественные из них только и делали, что всячески оправдывали ошибки, извиняли заблуждения, затушевывали крайности и скрывали преступления. Если бы они довели до нашего сведения истинное положение дел, если бы они осмелились сказать правду в избирательных собраниях, Франция была бы спасена вместе с свободой, миром и счастьем. Чтобы произвести все это, достаточно было одного только решения, принятого в избирательных собраниях. Следовало только пригласить депутатов собраться не в Париже, а в другом месте, и тогда Марат, Дантон, Робеспьер с их приверженцами не вошли бы вовсе в недра Национального Конвента; но ничто не было предусмотрено, Конвент собрался в Париже, и все было потеряно».

Странное заблуждение этой гордой души, вялой и желчной! Бюзо, в сущности, плачется, что во время выборов совсем не было дано сигнала к борьбе с Парижем. Он забывает, что в тот момент, когда революция должна была бороться против очутившейся в плену королевской власти, которая, однако, сохраняла еще обаяние великого имени, и против иностранного вторжения, она не могла, не губя самое себя, об'явить войну Парижу. Каково было бы изумление страны, каков был бы беспорядок, если бы, вместо того чтобы высказываться за королевскую власть или за народ, пришлось выбирать между Бриссо и Робеспьером, между Роланом и Дантоном! Это дух партийности и сектантства, доведенный до безумия.

К счастью для революции и для Франции, Жиронда не имела ни достаточно времени, ни достаточно решительности, чтобы бросить сентябрьские события в избирательную борьбу. Как! неужели в тот час, когда революционная совесть нуждалась в высокой чистоте, единстве и под'еме, нужно было внести в нее распри и раздвоение, которые неминуемо должны были обратиться против нее самой! Неужели надо было предложить ей разрешить загадку сентябрьских дней, где степень ответственности партий и людей почти не может быть выяснена, вместо того, чтобы предложить ей великий и ясный вопрос о республике и свободе! Повторяю еще раз, это было бы преступлением.

Бюзо в своем жирондистском и провинциальном фанатизме идет так далеко, что не только хочет лишить Париж его первенствующего положения. Он не только выражает сожаление о том, что Конвент заседал в Париже, настаивая на этом в словах, поражающих нас своей грубой вульгарностью.

«Если бы во время выборов знали истину о состоянии города Парижа, Франция была бы спасена. Никогда бы Конвент не вел своих заседаний в этом месте».

Он указывает, кроме того, что Конвент, собравшись вне Парижа, закрыл бы свои двери Дантону, Робеспьеру и Марату—избранникам Парижа, осужденным, без сомнения, за убийства, анархию или диктатуру. Париж вне закона! Париж, сведенный политически на-нет! Вот безумная мечта Бюзо! Он сокрушается, что не смог подготовить ее осуществления во время выборов. И это не отчаянные речи побежденного или фантастическая и ретроспективная самозащита обреченного на смерть. Со времени своего появления в Конвенте, 24-го сентября 1792 года, он говорил с трибуны тем же самым языком, выражал по поводу выборов то же самое сожаление:

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Чуждый парижским революциям, я прибыл в уверенности, что здесь я вновь обрету мою независимую душу, и что ничто не заставит меня сойти с дороги, которую я предначертал. Однако неблагоприятные слухи, история кровавых сцен оттолкнули меня. И если бы эти сцены были обрисованы в глубине наших провинций во всей их ужасной реальности, может быть, наши избирательные собрания приказали бы вам, законодатели, отправиться заседать в другом месте».

Какой странный язык: парижские революции, как будто бы они имели чисто местный характер, как будто бы 14-е июля и 10-е августа были только парижскими событиями! Но эти сожаления Бюзо и те упреки, которые он обращает к своим друзьям, к журналистам, т.-е. Бриссо, Карра, Кондорсе, и депутатам, т.-е. Верньо и Комиссии Двенадцати, показывают, что руководители Жиронды не примешали к выборам вопроса о сентябрьских днях. Таким образом революционный порыв не был разбит, и революционная партия могла противопоставить свою еще нетронутую и единую силу всем врагам революции 10-го августа—роялистам и фельянтинцам.

И даже сам Бюзо, хотя он в общем и был предупрежден относительно этих событий, молчал. Он не смел разорвать нравственного единства, которое в этот действительно решительный час, когда рождался Конвент, спасло свободу и родину.

Это не значит, что обе партии не старались использовать выборы в своих интересах. Многочисленные посланцы Парижской Коммуны пропагандировали в провинциях имя Робеспьера и восхваляли его. Но часто как раз их исступление, их двусмысленные или тревожащие заявления относительно собственности приносили вред их делу. Жирондисты в стране стояли на первом месте. В департаментах популярность Ролана, который говорил с королем твердым языком и который после 10-го августа вошел, как победитель, в министерство, была еще непоколебленной, и эта популярность распространялась на все жирондистские кандидатуры.

Может быть, в этот самый момент Робеспьер пожалел, что законом о неизбрании он выключил сам себя из Законодательного Собрания; он, без сомнения, почувствовал, что предоставил своим соперникам весь блеск власти и главные средства действия. Председательствовал в Комиссии Двенадцати и предлагал решительные декреты Верньо. Издали, для страны, Жиронда воплощала в себе великие революционные силы. Очень ловким шагом со стороны Ролана была также рассылка по избирательным собраниям оправдания революции 10-го августа, редактированного от имени Законодательного Собрания знаменитым философом Кондорсе, другом Жиронды, на которого нападал Робеспьер и которого возвеличивал Бриссо. Таким образом казалось, что идеи Жиронды сливались с идеями революции, и что Жиронда наложила свою печать на все совершившиеся великие события. Воздаяние чрезмерное, без сомнения, но справедливое в принципе по отношению к людям, которые берут на себя прямую ответственность за действия. Жирондисты своими газетами, все еще чрезвычайно влиятельными, своей весьма обширной корреспонденцией создавали, поддерживали и ниспровергали кандидатуры. Газета Бриссо следит за выборами день за днем с напряженным вниманием. С 6-го сентября Бриссо начинает опубликовывать результаты; в номере от 7-го числа он говорит:

«Нет пока никаких известий из южных департаментов: мы надеемся видеть среди депутатов людей, так хорошо защищавших свободу; сплетни, которые изрыгают против них бесстыдные жабы, не изменят, без сомнения, уважения народа».

Электронный архив библиотеки МГПУ имени А.А. Кулешова

При случае он пополняет списки кандидатов, намеченных Жирондой: «Мы упустили из виду,—пишет он 9-го сентября,—поставить в списке кандидатов одного из тех людей, которые имеют наибольшее количество достоинств, чтобы соперничать в составлении конституции на философских основаниях; это П. Бонневилль, автор многих философских и политических произведений. Его я особенно рекомендую избирателям департаментов. Он не имеет никаких достоинств в глазах парижских интриганов. На тех же основаниях мы рекомендуем и патриота Реаля».

10-го сентября Жиронда уже считает победу упроченной за собой; она полагает, что обеспечила себе большинство, которое не будет ни фельянтинским, ни робеспьеристским. «Французский Патриот» пишет:

«Здесь начинают возлагать самые радужные надежды на будущее Собрание, после того как выборы, имевшие место в департаментах, дали прекрасные результаты».

И он с удовольствием отмечает многократные избрания ряда жирондистов, руководивших партийными газетами Жиронды. Со стороны крайней левой Робеспьер выбран два раза: в Париже и в его родном департаменте Па-де-Кале. Дантон, Марат избраны только в Париже. Напротив того, жирондистские журналисты избираются по многу раз, что доказывает популярность и влияние их газет. Горса избран в Орн и в то же время в департаменте Сены-и-Уазы; Бриссо — в Эр, ле-Луаре и в Эр-и-Луар; Кондорсэ выбран в Эн и в Жиронде. Карра выбран в департаментах Соны-и-Луар, Буш-дю-Рон, Шарант, Эр, Луар-и-Шер, Орн, Соммы. Жирондист, который сообщил красному знамени его революционный символизм, пользовался в это время, как мы видим, широкой популярностью.

Таким образом, Жиронда не боялась во время избирательной кампании делать намеки на острую борьбу, которая начинала раздирать революцию. Она предостерегала департаментских выборщиков против сплетен «разбойников», т.-е. друзей Робеспьера и эмиссаров Коммуны. Она не колебалась противопоставить департаменты Парижу. Но я повторяю, что в департаментах эта начинавшаяся среди революционеров война находила только слабый отзвук. Избиратели, приподнятые величием событий и опасностью, спрашивали себя, главным образом,—какое правительство они дадут родине, какие преграды противопоставят иностранным деспотам? С известной долей изумления они узнавали, что некоторые из друзей революции были между собой в ссоре. Даже в самой Марсели и на провансальском юге, где страсти были столь сильны, умы так возбуждены и так широко осведомлены, революционный народ не знал глубоких партийных расхождений Парижа. В высшей степени живом рассказе, в котором Барбару описывает избирательную кампанию в Буш-дю-Рон, можно прекрасно подметить это удивительное смешение порыва и чистоты, характерное тогда для революционного населения великого города и всех охваченных революционным пламенем городков, которые пылали вокруг него, как второстепенные очаги вокруг главного. Не следует упускать из виду, что Барбару был страстным жирондистом, и что в тот момент, к которому относятся приведенные ниже строки, он был об'явлен вне закона, и что почти тотчас же после избрания его в Конвент от него отвернулись многие из его избирателей, благодаря его систематической борьбе с Робеспьером. Очень возможно, что в отместку он придал намечавшемуся тогда в Марсели крайнему демократическому движению слишком ярко выраженные маратистские краски. Но мне хотелось бы особенно подчеркнуть, что в этот момент в мощном пламени марсельской революции еще нет раздвоения. Для южных демократов спор Робеспьера и Жиронды является еще новостью: они осведомляются о нем у Барбару с своего рода наивностью. И нам кажется, что сам Барбару, в это время об'явленный вне закона, обвевае-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

мый тенями смерти, тем не менее кажется все еще воодушевленным и опьяненным этими удивительными лучами жизни, этими блестящими и горячими воспоминаниями. Грустный и гордый Бюзо совершенно не сохранил этого опьянения. Когда Барбару опять приехал в Марсель после 10-го августа, чтобы направить избирательное движение в интересах Жиронды, всем марсельским демократам казалось, что он носит в себе огненную душу революции, яркий огонь желанной республики.

«Как только весть о моем приезде распространилась, лучшие патриоты поспешили явиться ко мне, чтобы обнять меня. Мой дом был окружен и наполнен гражданами. Привели оркестр музыки! Пели провансальские песни, сложенные в мою честь, и гимн марсельцев. Те же самые знаки внимания были оказаны Ребекки. Я всегда вспоминаю с умилением, как при последнем куплете гимна, когда поют:

Священная любовь к родине,
Поддержи, направь наши руки, несущие месть;
Свобода, свобода любимая,
Сражайся с твоими защитниками,—

все граждане в доме и на улице стали на колени. Я сидел тогда на стуле, где меня удержали. Боже! Какое зрелище! Слезы текли из моих глаз. Если я был для них в этот момент статуей свободы, я мог с гордостью сказать себе, что я защищал ее со всем своим мужеством.

«Однако, в городе были не только такие патриоты. Терроризируя население, в Марсели господствовала толпа негодяев, выброшенных домами разврата. Они не признавали ни закона, ни властей... сильные благодаря молчанию мэра и безумию народа, всегда готового убивать тех, на кого ему укажут, как на его врагов, они вешали беспрепятственно всех неугодных им людей и пользовались общественным оцепенением, чтобы вымогать у богатых. Как только мы узнали об этих ужасах, мы—Ребекки и я—стали думать, как бы их устранить. Однако, для того, чтобы напасть прямо на этих разбойников, не было ни достаточно мужества у благонамеренных лиц, ни достаточно доблести у администрации». Только установив революционный трибунал, Барбару и Ребекки смогли внести порядок в движение... Комиссары Законодательного Собрания приказали арестовать, на основании крайне туманных подозрений, граждан в соседних департаментах. Их доставили в Марсель. Без этого трибунала они были бы перебиты, но их поведение при более тщательном исследовании не обнаружило ничего бесчестного; и народ, увенчавши их лавровыми венками, утвердил оправдавший их приговор. Гнев и революционное недоверие марсельского народа не доходили вовсе до ярости: но разве не видно, что охваченные этим пламенем страсти марсельцы, повидимому, были совершенно готовы вступить на путь политики Робеспьера и Марата? Впрочем, сам Барбару, в течение нескольких месяцев принимавший в Париже участие во всем революционном движении, посещал Марата и был даже готов привезти его в Марсель за несколько дней до 10-го августа, когда Марат отчаивался в революции и в самом себе. Барбару говорит об этом с некоторым смущением:

«Один из друзей Марата повел меня в кафэ на Гревской площади и оттуда к одной женщине, где и произошло совещание (с Маратом) в девять часов вечера. Он просил меня провезти его в Марсель, он хотел переодеться в костюм жокея; я ничего не обещал, боясь сделать дурной подарок своей родине. Но, думая, что горе еще больше расстроит его голову, я его несколько утешил. Тогда

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

я думал, что эти кровожадные речи были болезненным бредом его ума, а не выражением его свирепой души. Хорошо я узнал Марата только тогда, когда увидел письмо за его подписью, которым Комитет Общественного Спасения Парижской Коммуны приглашал все муниципалитеты Франции подражать избиениям 2-го сентября».

Понятны все усилия Барбару защитить себя от обвинений в какой бы то ни было любезности по отношению к Марату. Обвинять Робеспьера в диктатуре и в то же время быть доверенным лицом человека, который непрестанно требовал революционной диктатуры; принимать участие в яростной борьбе Жиронды против сентябрьских избиений, и быть другом того, кто советовал их произвести,— это слишком большое противоречие. Барбару напрасно утверждал, что внервые ему открыл глаза циркуляр 3-го сентября. В революции Марат уже давно был известен, как ярый теоретик систематического убийства. Истина, очевидно, заключается в том, что Барбару со свойственной ему впечатлительностью, не смог устоять перед притягательной силой странного и страшного, но великого имени Марата, тем более, что по отношению к последнему он не чувствовал никакого глубокого отвращения. Марат, в заметке, помещенной в газете в номере от 9-го октября, подтверждает эту мимолетную связь с Барбару.

«Несмотря на их ругательства, я ничего не имею лично ни против кого из этих господ, даже Ребекки, тон которого так язвителен. У меня были частные отношения с Барбару в то время, когда он не был одержим желанием играть роль; это был милый молодой человек, который любил у меня учиться». Не в большей степени, чем самого Барбару, личность Марата и некоторые из его мыслей могли испугать марсельскую демократию. Барбару сам рассказывает нам в своем суровом отчете об избирательном собрании департамента Буш-дю-Рон, имевшем место в Авиньоне, что оно приветствовало сентябрьские избиения.

«Представьте себе собрание, состоящее из 900 членов, в общем мало образованных, едва выслушивающих умеренных, зато всецело идущих за крайними; среди них во множестве имеются люди жадные до денег и мест, вечные доносчики, которые всюду подозревают мятежи или преувеличивают их, чтобы добыть себе доходные поручения; интриганы, искусно умеющие распространять клевету, мелкие душонки, полные подозрений; несколько добродетельных, но необразованных людей; небольшое количество людей просвещенных, но лишенных мужества; множество патриотов, но без чувства меры, без философии,— и вы получите избирательное собрание департамента Буш-дю-Рон. Следующая черта обрисует его лучше, чем эта весьма несовершенная характеристика. При известии о сентябрьских избиениях они огласили зал своими рукоплесканиями. Мне удалось, однако, взять это собрание в руки, но я должен отметить что это стало возможным только благодаря тому огромному авторитету, который придала мне почетная репутация Марселя».

Следовательно, перед нами экзальтированный и легко возбуждающийся народ, готовый в революционном действии итти вплоть до политики Марата. Этот народ, это собрание совсем не имеют никакого представления о Робеспьере; его они получают от Барбару. «Случай дал мне возможность публично высказать в последних заседаниях истины, которые слишком легко забываются. Один марселец написал из Парижа марсельскому обществу письмо, предостерегающее против Робеспьера. Общество, не зная, как к нему отнестись, обратилось ко мне с просьбой рассказать ему все, что я думаю об этом человеке. Секретари прочли письмо, адресованное председателю избирательного клуба, и собрание потребовало, чтобы я сказал свое мнение, которое я собирался излагать в клубе. Я не коле-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

бался, я рассказал о попытках, которые Робеспьер делал, обращаясь к Ребекки, Пьеру Бэйлю и ко мне, чтобы достигнуть с помощью марсельцев диктатуры. (Это как раз и есть то самое безрассудное обвинение, с которым в скором времени Барбару выступит перед самим Конвентом.) Можно ли было ожидать, что его перестал мучить этот честолюбивый замысел, если он стремится к тому, чтобы во главе Парижской Коммуны господствовать над Законодательным Собранием, как это можно предположить на основании общеизвестных сведений? Для чего этот многочисленный рой парижских комиссаров, осуществляющих в департаментах безграничную власть и восхваляющих преимущественно Робеспьера? С какой целью всюду распространяются клевета на будущий Конвент и афиши Марата, которые совершенно открыто требуют протектора? За что марсельцы проливали 10-го августа свою кровь: за нового деспота или за свободу? За правовое равенство департаментов или за такую систему муниципального управления, которая подчиняла бы их Парижу, как были подчинены Риму его провинции? Затем я обрисовал характер Робеспьера, жадного до мести, господства и крови, и предсказал, что он сделается тираном своей страны, если Конвент не найдет мужества, чтобы его низвергнуть. Несомненно, эта речь произвела впечатление, потому что тотчас же было решено послать батальон для охраны национального Конвента. Этот батальон был набран и выступил несколько дней спустя после от'езда депутатов».

Таким образом, в то самое время, когда в Парижской Коммуне Робеспьер возмутительно клеветал на Жиронду, утверждая, что она желает возвести на трон герцога Брауншвейгского, юный Барбару, клеветнически извращая истинные побуждения противников и возможное развитие событий, обвинял Робеспьера в том, что он, опираясь на Парижскую Коммуну, хочет фанатизировать и поработить всю Францию. Путем лжи Робеспьер вызывал по отношению к Жиронде темные чувства недоверия — порождение испуганного патриотизма. В свою очередь Жиронда использовала против Робеспьера страстную привязанность к республиканской форме правления и гордость южных городов. Получался какой-то обмен невероятной клеветой под грохот вражеского вторжения. Но очевидно, что в избирательном собрании Буш-дю-Рон совсем не было ни сектантской предвзятости, ни духа узкой партийности. Те же самые люди, которые только что приветствовали сентябрьские избиения, возмущаются диктаторскими поползновениями Парижской Коммуны и возлагают на Барбару поручение выразить их чувства по отношению к Робеспьеру. Барбару злоупотребил их доверием в пользу своих жирондистских симпатий. Он злоупотребил их доверием, стремясь руководить выборами энергичнее, чем это следовало бы, если бы он хотел получить искреннее и свободное выражение народной мысли.

«Выборы были окончены. С какой стати Ребекки и я должны были упрекать себя за то, что оказали влияние на них? Ведь интриги велись в пользу таких презренных суб'ектов, что мы сочли своею обязанностью поддержать тех кандидатов, которые казались нам более достойными».

Но марсельская демократия не предоставила себя в распоряжение какой-нибудь определенной партии. И сам Барбару торопливо оговаривается:

«За исключением двух или трех людей, репутация которых не нуждалась в поддержке, мы жестоко ошиблись относительно других».

Это значит, что многие скоро перешли на сторону Горы. Таким образом революционный народ Прованса сохранил неприкосновенной свою свободу для ее проявления в последующем революционном движении.

В сущности, несмотря на блестящее, но поверхностное влияние Барбару, авиньонские выборы вовсе не были сектантскими и узко партийными. То был

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

могучий революционный поток, устремлявшийся вперед под горячими лучами солнца, и те беглые и неопределенные отблески, которыми он порой озаряется соответственно времени дня, не имели большого значения. Но особенно важны сила падения этого потока, бьющая через край полнота жизни и веры. Так, в департаменте Буш-дю-Рон, как и в Эр, несмотря на деятельное присутствие двух влиятелных и страстных жирондистов, сразу взметнулась вся национальная и революционная сила.

Совершается великий акт единения в свободе и любви к родине. Департаментские избиратели борются заодно против королевской власти, ниспровергнутой 10-го августа, против изменников, которые поддерживают ее, против фельянтинцев, которые служат и помогают ей. Они находятся преимущественно под влиянием Жиронды, члены которой занимают наиболее видные посты и находятся на авансцене власти и действия, но они еще не отдали себе отчета в взаимоотношениях разных революционных партий, боровшихся в Париже. Они стоя за революцию в целом вместе со всеми революционерами, и разделяющие вопросы даже и не ставятся серьезно. В это время для революции это было великой силой!

В Париже, наоборот, народ производит обстоятельный отбор. Он решительно отстраняет всех жирондистов, всех тех, которые соприкасались с Жирондой, Кондорсе и Бриссо. Он выбирает первым Робеспьера, затем Дантона, Колло д'Эрбуа, Билльо-Варенна, Демулена, Марата, Пани, Сержана, Фабра д'Эглантина, Робеспьера-Младшего и также герцога Орлеанского, превратившегося в Филиппа-Эгалитэ. Таким образом Париж послал в Конвент преимущественно Коммуну во всех ее, так сказать, разновидностях.

Справедливо ли утверждение жирондистов, что парижские выборы были сделаны под давлением террора? Они прошли очень страстно. Избирательные собрания не захотели голосовать молча: они потребовали, чтобы различные кандидаты обсуждались открыто, и таким образом, собрания, предназначенные для выборов, обратились в бурные клубы. Очень возможно, что страх перед все еще всемогущей Коммуной устранил уже из первичных собраний тех граждан, которые не были согласны с ее направлением. Вероятно также и то, что жирондинским кандидатам было трудно об'ясняться и защищаться перед избирательными собраниями. Народ бурно упрекал их за их долгие колебания в вопросе о низвержении короля и за их враждебное отношение к Коммуне. Повидимому, они не решились итти навстречу буре. И одно это уже доказывает, что насилие не подтасовало выборов. Ибо Жиронда была достаточно организована, достаточно искусна и имела достаточную поддержку в министерстве внутренних дел, чтобы попытаться вступить в борьбу и расстроить террористические приемы меньшинства, если бы она имела в Париже точку опоры в народных настроениях; но она признала себя побежденной почти без боя. Я отмечаю только один случай горячего и мелодраматического протеста со стороны Гюи-Керсена, но этот случай имел место в газете Бриссо, а не на избирательной трибуне:

«Древние изображали клевету с кинжалом в руке; в самом деле, клеветник и убийца—родные братья. Сегодня на меня клевещут с избирательной трибуны, завтра, я вполне в том уверен, меня убьют. Клеветник тот, кто обвиняет меня, будто я хотел установить фельянтизм на развалинах Якобинского клуба, лгун тот, кто обвиняет меня в перемене мнения относительно низвержения короля... Я заявляю, что обсуждение отдельных кандидатур с публичной трибуны, разрешенное лишь тем, кто непосредственно заинтересован в том, чтобы обесценить и устранить от выборов всех, за исключением самих себя,—является покушением на права человека».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Напрасные протесты, затерявшиеся среди голоса народа; впрочем, Жиронда и не расточала их. Она с горьким чувством ждала компенсации со стороны департаментов.

В Париже великими, если можно так выразиться, избирателями, являются Робеспьер и Дантон. Дантон, которого газета Прюдома крайне тяжеловесно упрекает за благосклонность к артистам, мало подготовленным к роли законодателей, вмешивается в пользу Фабра д'Эглантина, остроумного и талантливого комического писателя и великого художника Давида. Этим Дантон хотел отметить свое широкое понимание жизни и то, каким образом революция должна была действовать, чтобы не только не уничтожить искусство, но попытаться его вдохновить и возвысить. Марат был выбран не без сопротивления. Это еще раз является доказательством того, что непосредственно после сентябрьских избиений произошла реакция против убийств. Газета Прюдома, старавшегося прослыть крайним демократом, тем не менее нещадно нападает на него. Правда, между «Другом Народа» и «Революциями Парижа» существовало соперничество в области сбыта и влияния. Но газета Прюдома не решилась бы на эти ядовитые нападки, если бы популярность Марата была больше.

«Нам досадно, что Марат, всегда довольный самим собой, проявляет чувства, которые плохо согласуются с моралью законодателя-патриота. Публикуемые им время от времени проскрипционные списки не всегда обнаруживают достаточно беспристрастия и справедливости, столь необходимых при таких суровых мероприятиях. Иногда Марат до такой степени забывается, что заставляет думать, будто его виды простираются вплоть до диктатуры... Марат был очень далек от того, чтобы проявить в своем поведении столько же мужества, сколько он выказал смелости в своих памфлетах. Он настолько стушевался, что его стали считать давно уже покинувшим родину или мертвым. Выбирая глашатаев истины из недр подвала, мы набрасываем тень на самое истину... Мрак—хорошее средство лишь для укрепления религиозного обмана. И кроме Марата многие сказали ряд столь же сильных истин, но говорили их, не прячась. Горса и еще некоторые другие не прерывали своей работы ни на один день; они писали в самый разгар бури и не боялись. Марат же замолкал часто и надолго. Как парфяне, он сражался, убегая далеко с поля битвы. Мы сказали, что Марат мог бы быть отчасти полезным Конвенту, и говорим это еще и теперь; но мы отнюдь не утверждаем, что Конвент без Марата будет плохим, и пусть он и не воображает быть его главой».

Будь Марат идолом народа, газета Прюдома, очень бережно относящаяся к наиболее крайним мнениям, не стала бы говорить таким языком в том самом номере, где она восхваляет сентябрьские убийства (от № 1 до 8). Но еще более знаменательной является защитительная речь, произнесенная в пользу Марата в Якобинском обществе 7-го сентября бывшим капуцином Шабо, игравшим в предместьях роль грубого шута. (Этот Шабо впоследствии женился тоже на «австриячке», богатой дочери одного финансита-авантюриста, явившегося из Вены.) Из слов Шабо мы увидим, какое сопротивление встречала кандидатура Марата и какими, наполовину презрительными, соображениями руководствовались парижские избиратели, останавливая свой выбор на нем.

«Я еще раз взошел на эту трибуну, чтобы говорить вам о кандидатах или, вернее, об одном единственном кандидате: я говорю о Марате. Я говорил о нем уже многим; они пожимали плечами уже при одном только его имени. Ну, так я об'являю, что отдам ему свой голос. Людям, которые не доверяют его талантам, я отвечаю, что он проявлял мужество, притом мужество не обычное, а именно состоящее в том, что он выказывал себя всегда одним и тем же с самого начала революции. Но не этого

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

рода людей надо склонять в пользу Марата: надо убедить тех, которые говорят, что Марат—смутьян. А я говорю, что как раз потому, что он смутьян, его и надо избрать. В Англии каждый раз, когда член Палаты Общин силою вещей высказывает себя бунтовщиком по отношению к министерской партии, двор старается привлечь его на свою сторону подкупом, и такой оппозиционер быстро делается лояльным. То, что двор делает в Англии по своей испорченности, во Франции мы должны сделать для общественного блага.

...«У него горячая голова в том же самом смысле, как и у меня, т.-е. у него горячее сердце. Я это подчеркиваю, и умеренные, игнорируя это различие, впадают в ошибку. Я вам отвечаю, что это одна из самых холодных голов, которые только существуют. Марата упрекали в кровожадности, в том, что, может быть, он способствовал, например, убийствам, которые только что были совершены в тюрьмах. Но, поступая так, он действовал в духе революции. В то время как храбрецы-патриоты отправлялись к границам, было бы неестественно, оставаясь здесь, подвергаться риску нападения со стороны заключенных, которым обещали оружие и свободу, чтобы нас перерезать.

«Говорят, что он был кровожаден, потому что он много раз требовал смерти аристократов, подкупленных членов Учредительного Собрания. Но известно, что в планы аристократов всегда входило и теперь входит избиение всех санкюлотов. А так как число последних относится к числу аристократов, как 99 к одному, то ясно, что тот, кто требует смерти одного, чтобы избежать гибели 99, отнюдь не кровожаден.

«Он вовсе и не смутьян; правда, он предложил отдать санкюлотам пожитки аристократов, но его нельзя обвинить в желании провоцировать мятеж. Что касается идеи земельного передела, которую ему приписывают, то у Марата слишком пессимистический взгляд на нравы своих сограждан, чтобы он когда-либо мог сделать попытку подобного предложения: ведь раздел земель и собственности вообще может иметь место только среди совершенно безупречных и в высокой степени добродетельных людей. Итак, еще раз повторяю, мнение Марата о своих современниках далеко не столь выгодное, чтобы он мог выступить с подобным предложением.

«Для всякого рода умеренных я еще добавляю, что если бы все упреки в дезорганизаторском поведении, которые ему делают, были справедливы, то его следовало бы привлечь к организации; а для этого умеренные должны бы провести его в Конвент. По той же самой причине об этом должны позаботиться и аристократы. Ведь Национальный Конвент не имеет права ограничивать свободу печати. Народ один осуществляет надзор за этой областью. И вот, если Марат не будет входить в состав Национального Конвента, он будет писать против аристократов. И уже, конечно, народ не возьмет на себя заботы мстить за них. Следовательно, в интересах аристократов способствовать избранию Марата в Конвент, чтобы дать ему такое занятие, которое отвлечет его от агитации против них.

«Равным образом и горячие патриоты должны провести Марата в Конвент; правда, поскольку уже выясняется состав парижского представительства, мы имеем самые лучшие предзнаменования, и я почти уверен, что остальные избранники будут подобны тем, которые уже избраны сейчас. Однако, не следует льстить себя надеждой, что все департаменты пошлют вам Робеспьеров, Дантонов, Колло д'Эрбуа, Манюлей и Билльо-Вареннов. Я повторяю еще раз: если даже мы будем вполне уверены, что нас, «бешеных», наберется в Националь-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ном Конвенте до полсотни, то отсюда не следует, что нужно упустить случай ввести туда пятьдесят первого. Я еще раз настаиваю, что самые ярые патриоты должны провести в Конвент и Марата».

Я отмечаю в этой странной избирательной рекламе примитивный ум и грубость натуры разнузданного калуцина. Бурные и кровавые парадоксы Марата проникнуты такой страстной искренностью, таким гневом и острым страданием, что даже то тягостное впечатление, которое они оставляют в душе, не исключает известной доли уважения. Шабо старается убедить своих слушателей тяжелыми монастырскими шутками и становится отвратителен. Но я хотел особенно отметить, что Шабо, повидимому, выразил мысль большинства тех, которые избрали Марата. Они надеялись сдержать, нейтрализовать и затушить это дерзкое пламя.

О человеке, в котором Париж почувствовал бы биение своего собственного сердца, следовало бы говорить у Якобинцев совершенно иначе. Но и выбирая прежде всего и в первом ряду Робеспьера, Париж вовсе не собирался всецело отдаться в его распоряжение. Устраняя Жиронду, Париж хотел просто-напросто подчеркнуть свое желание покончить с полумерами, оттяжками и искусственными комбинациями, хотел заразить революционную Францию решительным порывом к свободе и победе. Но, в сущности говоря, и департаменты, проводя на выборах угодное Жиронде большинство, отнюдь не собирались предоставить себя к услугам этой партии. Как Париж, так и провинциальная Франция хотели прежде всего освятить революцию 10-го августа, покончить с монархической изменой и придать действенную энергию своему новому, подлинно народному, правительству.

Теоретические вопросы как в первичных собраниях, так и в собраниях выбощиков обсуждались, повидимому, мало. Никто и не подумал обсуждать вопрос о новых государственных формах. Я вижу, как в Якобинском Клубе завязывается теоретический спор относительно наилучшей государственной формы, во время которого Террасон предложил как раз федеративный строй. Но эта дискуссия открылась только 10-го сентября, т.-е. после окончания выборов, и ограничилась обменом мнений между Террасоном и Шабо и почти тотчас же замерла. Францию интересовали более неотложные вопросы: что надлежит сделать с королем? Как судить его? Для этой цели следовало только предоставить всю полноту власти народным избранникам; когда они соберутся, они уж собща подумают относительно лучших средств спасти родину. Пусть только они знают одно: что больше не существует привилегий, и что, если вина короля доказана, он должен нести голову на эшафот, как и всякий преступник. Когда король умрет, когда умрет королевская власть, народные избранники сумеют придать должную форму самодержавию народа.

Вопрос о собственности серьезно не ставился нигде. Без сомнения, ремесленники, рабочие «валяльщики, которые не хуже фабрикантов», присутствовали на первичных собраниях, как они присутствовали и в клубах, где намечались кандидатуры. Но у них не было никакого идеала, который они могли бы противопоставить освобожденной и возвеличенной революцией индивидуальной собственности. Они хотели только демократического режима, который смог бы в своем развитии гарантировать все права и дать толчок к проявлению всех жизненных сил.

Повидимому, во время этих выборов пролетариат нигде не играл первой роли. До нас не дошло ни одной сильной речи поденщика, рабочего или крестьянина. В Конвент был выбран один единственный пролетарий, и я полагаю, что почти никто из них не был послан первичными собраниями в собрания выборщиков. В этих последних, почти сплошь буржуазных по своему составу,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

преобладали численно и задавали тон чиновники, юристы, медики и хирурги. В большом количестве прошли также земледельцы, но земледельцы-собственники и зажиточные фермеры.

Вот, например, список профессий, представленный избирательному собранию в Шатепьерэ для дистрикта Фонтенэ: купец, судья в трибунале этого дистрикта, общественный обвинитель, департаментский администратор, секретарь дистрикта, делопроизводитель департаментского уголовного трибунала, присяжный поверенный, мировой судья, департаментский администратор, генеральный прокурор, синдик департамента, департаментский инженер, мировой судья, помещик, коммунальный прокурор, писарь мирового судьи, священник, землепашец, помещик, откупщик (fermier), священник, помещик, офицер национальной гвардии, токарь, землепашец, писарь у мирового судьи, мировой судья, хирург, секретарь муниципалитета, помещик, священник, мэр, коммунальный прокурор, мэр, нотариус, откупщик, откупщик, хирург, помещик, мэр, землепашец, мэр, землепашец, хирург, мировой судья, мэр, мэр, писарь мирового судьи, землепашец, юрист, помещик, нотариус, помещик, командир национальной гвардии, помещик, откупщик, мэр, писарь мирового судьи, муниципальный чиновник, торговец, торговец, лесопромышленник, коммунальный прокурор, администратор дистрикта, землепашец, викарий епископа землепашец-собственник, откупщик, мэр, коммунальный прокурор, землепашец, землепашец, землепашец, землепашец, помещик, землепашец, помещик, мировой судья, врач, землепашец, нотариус, откупщик, землепашец (agriculteur), земледелец, земледелец, (cultivateur), булочник, торговец, помещик (propriétaire) и т. д.

То же самое наблюдалось и во всех других дистриктах. Будь у нас для всех департаментов такие же списки, которые для Вандеи дает в своей превосходной работе г. Шассен, мы, несомненно, отметили бы и для других департаментов те же самые характерные особенности, хотя и с некоторыми оттенками.

Чиновники революции и в лице их судейская буржуазия, из среды которой они, главным образом, рекрутировались, наводняют избирательные собрания. Но не надо забывать, что это все чиновники выборные — люди, в душе которых живым и горячим ключом кипели страстные чувства самого народа. С другой стороны, не надо забывать и того, что им-то в особенности и угрожал манифест герцога Брауншвейгского, что, принимая деятельное участие в революции, они рисковали жизнью. Люди, живущие наемным трудом, пролетарии, не были призваны играть первую роль не потому, чтобы их презирали или им не доверяли в силу консервативного уклада мысли. Но поскольку в этот период революции у них не было иных интересов, кроме общереволюционных, почему бы было не поручить охрану этих интересов тем, кто открыто и официально за нее высказался?

Всеобщая подача голосов была институтом совсем новым, введенным всего за несколько дней перед тем и применявшимся впервые. Пролетариат еще не мог завоевать даже частицы политической власти: он не имел ни единого представителя среди департаментских, дистриктских и коммунальных чиновников и администраторов, а служебный персонал не создается сразу. В 1792 году революционная сила была в руках буржуазии и только буржуазии.

Но эта буржуазия, если можно так выразиться, еще не осознала себя, как класс, определенно противополагавший себя пролетариату. В Конвент прошло несколько негоциантов, несколько промышленников, а именно, два владельца сталелитейных заводов. Но в общем работодатели мало представлены в Конвенте. Даже в крупных промышленных центрах, как, напр., в Руане, где, как мы видели, работодатели приняли самое горячее участие в избирательной борь-

Электронный архив библиотеки имени А.А. Кулешова

бе, и где было и без того много разного рода умеренных элементов, кандидатами имущей буржуазии (неудачными, кстати сказать) явились все-таки юристы, вроде Туре.

Департамент Нижней Сены, где промышленность достигла весьма значительного развития, посылает в Конвент Альбитта, юриста из Диеппа, Пошолля—мэра из Диеппа,—бывшего члена религиозного братства Оратории, Арди—руанского врача, Ижера—судью трибунала в Кани, Экке—мэра в Кодебеке, Дювваля—секретаря центрального бюро мировых судей в Руане, Венсана—администратора в Невшательском дистрикте, Фора—судью трибунала в Гавре, Лефевра — сборщика податей в дистрикте Гурней, руанского мирового судью—Блютеля, Байеля—мирового судью в Гавре, Марьетта—мирового судью в Руане, Дубле—земледельца в Лондиньере, Рюо—священника в Ивето, Буржуа—судью невшательского трибунала, Делагажа—адвоката в Кодебеке.

Кто прошел в Конвент от Тарна, где в то время была сильно развита суконная промышленность? В Тарне промышленная буржуазия пользовалась большим авторитетом и отличалась горячностью темперамента; не надо забывать, что через несколько месяцев, после 31 мая, став во главе федералистического движения, она сумеет увлечь за собой весь департамент, так что потребуется вся энергия Бодо, чтобы сломить ее и заставить подчиниться. Избранниками Тарна были: протестантский священник—Ласурс, артиллерийский офицер—Лакомб Сен-Мишель, президент департаментского уголовного трибунала—Саломиак, департаментский администратор—Камма (Campmas), администратор дистрикта Гайак—Марвежу, выборщик из Кастра (Castres)—Добермениль, юрист—Гузи, Рошегюд (бывший граф де-Рошегюд) и Мейер—департаментский администратор. Ни одного промышленника, ни одного купца! Правда, протестантская промышленная буржуазия облекла всей полнотой доверия Ласурса и через его посредство была тесно связана с Жирондой.

В департаменте Жиронды на 12 депутатов оказалось всего три купца: Дюко, Буайе Фонфред и Дюплантье; девять других депутатов—администраторы и адвокаты. В деп. Устье-Роны, где сталкивались в высшей степени могущественные социально-экономические интересы, среди депутатов не было ни одного купца. Авиньонский мэр и в то же время богатый торговец шелком—Дюпра прошел не как представитель торгово-промышленного класса, а благодаря той революционной роли, которую он играл в Конта.

В области Мёрты и Мёз, где имеется могучая железная и стеклянная промышленность, где есть чрезвычайно влиятельные и предприимчивые владельцы чугуно-плавильных заводов, не выбран ни один фабрикант.

В Изерском департаменте не выбрано ни одного капитана промышленности; а между тем в этой области, как я уже отмечал со слов Ролана, промышленная жизнь развернулась удивительно пышно. Несомненно, что именно индустриальное развитие Изера доставило Барнаву фактический материал, натолкнуло на экономическое об'яснение революции. Между тем в деп. Изер выбраны: судья виеннского трибунала—Бодран, президент трибунала в Гренобле—Женевуа, департаментский администратор—Буассьер, судья гренобльского трибунала—Женесье.

В департаменте Роны и Луары, в той области Лиона, Роанна и Сен-Этьенна, где с давних пор промышленность стала господиком положения, и уже вызывала к жизни социальные конфликты, что само по себе является показателем чрезвычайной экономической зрелости,—почти все мандаты достаются «идеологам» (intellectuelle), судебной и чиновной буржуазии в лице администраторов, судей и врачей. Избранными оказались: судья в Вилльфранш—Шассе, монбризонский судья—Дюпюи, лионский мэр—Вите, монбризонский врач—Дюбуше и мэр Дюбуше, мировой судья в Вальбенуат—Беро, хирург—Прессавен, помощник

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

коммунального прокурора, Мулен—мэр в Монтаньи, Мише—судья трибунала в Вильфранше, естествоиспытатель — Патрен, судья Роаннского трибунала—Форест, Жавонь—администратор дистрикта в Монбризоне, Лантена.

Один единственный прямой представитель торговли—лионский купец Кюссе. Но как раз от этой области был послан в Конвент Пуэнт-младший (Ноэль) рабочий оружейник из Сен-Этьенна — единственный, абсолютно единственный представитель рабочего класса в Конвенте. Что именно эта область послала в Конвент рабочего—вполне естественно, так как здесь социальный перевес заметно был на стороне класса рабочих и ремесленников. Пуэнт был, надо признаться, довольно посредственным человеком, не оставившим никаких следов на революционном поприще. В моем распоряжении имеются всего только два предложения, принадлежащие его перу: одно относительно суда над Людовиком XVI, другое—по поводу приговора над ним. Это—напыщенные, претенциозные и банальные писания, похожие на произведения, в которых пробуют свои силы писатели или поэты из рабочих, у которых нет достаточно мужества или поэтического чутья, чтобы решиться говорить просто обыкновенным и сочным народным языком.

«Я не претендую, граждане, рассеять солнцем философии облака софизма, которыми окутывают вопрос о том, надо ли судить убийцу французской нации». Таково начало. Пуэнт имел даже слабость во время этого великого кризиса сочинить шесть никому ненужных строчек стихотворения:

Если черное варварство жестокого тирана
Найдет покровителей о, моя милая родина!
Тебе придется еще пострадать от его жестокости.
Но если моему слабому голосу не суждено быть услышану
Какой бы то ни было ценой, я сам готов встать на твою защиту;
И мое последнее усилие спасти тебя будет сделано ценою моей крови.

Если бы Пуэнт отдавал проредактировать свое произведение какому-либо товарищу по Конвенту, этому последнему, вероятно, не пришло бы в голову писать такие стихи; несомненно также, что, благодаря привычке к составлению стихов и заботе о синтаксисе, чем отличились буржуа XVIII столетия, он избежал бы грамматической неправильности пятого стиха. Стихотворение написано, несомненно, самим Пуэнтом. Таким образом Рона и Лаура посылает в Конвент рабочего, человека в общем достаточно образованного и удовлетворительно владеющего языком.

Пуэнт чувствовал всю важность своего избрания. Каждый раз в заголовке своих отпечатанных предложений он сам пишет: «Письменное мнение Ноэля Пуэнта—рабочего оружейника из Сен-Этьенна». И ни одна заметка не обходится без намека на происхождение автора: «Так как я не принадлежал к числу людей,—говорит он в своей первой записке,—которые развивали свою способность речи, то я никогда не отличался красноречием». А во второй (от 15-го января 1793 года) он помещает речь, которая имела большое значение. Он жестоко громит Конвент за его колебания и мягкотелость: «Потомство будет удивляться, граждане,—говорится там,—что представители французского народа, основатели обширной и безграничной республики так долго не могли решить судьбы тирана-клятвопреступника и убийцы. Оно будет поражено, что, с одной стороны, на своем первом же заседании вы имели мужество опрокинуть трон, уничтожая королевскую власть; с другой—в течение двух месяцев не смогли потом закончить процесс того самого деспота, который был свергнут с своего трона за жестокость и ряд измен. Оно удивится, что вы тратили драгоценнейшее время, защищая убийцу, одна только мысль о злодейских преступлениях которого возмущает

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

человека до глубины души. Оно удивится, наконец, что Национальный Конвент, состоящий из людей свободно избранных изо всех без различия сословий, облеченный великой нацией всей полнотой полномочий, носитель ее последних надежд, последний оплот народа, вырывая с корнем вековой гнет тирании, проявил такую медлительность и слабость в суде над самым диким и кровожадным тираном, какие только когда-либо были». Тон этой речи, несмотря на некоторую напыщенность, отличается грубоватой энергией. И мы еще будем иметь удовольствие слышать эту сильную речь рабочего, говоря о процессе короля. Но главное, что мне бросается в ней в глаза, это то представление, которое Пуэнт составил себе о Конвенте: сила Конвента коренится в его всесословности. Депутат-рабочий не задается вопросом, правильно ли представлены в Конвенте все жизненные элементы нации соответственно их действительному численному соотношению. Действительно, фактом большой важности является то, что в Конвенте был рабочий, хотя бы даже и один, и что от одной только воли избирателей зависело послать туда и нескольких. Ни в каком из известных истории собраний не были представлены все сословия: ни в древних собраниях, которые исключали из своего состава раба, ни в варварских собраниях, в состав которых также входили только свободные люди, ни в английской Палате Общин, куда имела доступ лишь земельная аристократия и буржуазная олигархия.

Да, в первый раз с тех пор, как стоит мир, к осуществлению своих верховных прав был призван самый приниженный человек—рабочий физического труда, пролетарий, этот наследник раба. Рабочий с современной фабрики, призванный судить короля и потчующий суровыми речами нерешительную и раз'единенную буржуазию, — фабричный рабочий, суровый мастер, герой молота и резца, законодательствующий со всей нацией и для всей нации,—это великое явление и, если я могу так сказать, это революция в самой революции. Надо быть благодарным Ноэлю Пуэнту за то, что он это почувствовал. Еще один раз он настаивал на своем простонародном происхождении:

«Последнее прибежище защитников Людовика,—продолжает он,—это воззвание к народу. Я очень далек от желания узурпировать национальный суверенитет: это значило бы похитить свои собственные права у самого себя, ведь я сам доподлинный представитель народа».

Очевидно, рабочий-оружейник употребляет здесь слово народ в более глубоком смысле, в более пролетарском, чем тот, который придавали обычно этому слову на тогдашнем политическом языке. Он думает о фабриках, из недр которых он вышел, о добрых и суровых товарищах по мастерской, когда он прибавляет:

«Как человек, больше дорожащий общественным уважением, чем жизненными благами, я не намерен разделять с моими робкими товарищами (по Конвенту) того позора и бесчестия, который ляжет на них по заслугам; я пришел из моего департамента с незапятнанным именем, таким хочу и вернуться туда». Ясно, что на его совести все еще лежат тяжелым камнем упреки друзей и товарищей по работе, рабочих-металлистов Сен-Этьенна. «Будь по крайней мере тверд и последователен, докажи всем, что рабочий не изменяет революции». Конечно, он не противополагает рабочих буржуазии; он не намечает еще классовой политики; но в резком тоне, каким он заявляет своим коллегам, что сложит свои полномочия, если они не обнаружат должной энергии и решимости,— чувствуется новая и вполне определенная сила, которая сознает свою оригинальность. В этих словах рабочего-оружейника я нахожу отголосок горячих и гордых речей, которыми обменивались по своим мастерским рабочие и подмастерья Сен-Этьенна, Лиона и Роанна, когда была решена кандидатура Пуэнта. Конечно,

Электронный архив библиотеки МГИМО (У) МИД России

это не что иное, как слабый и маленький зародыш, но это показатель того, каков был бы рост рабочего класса, если бы были оставлены неприкосновенными всеобщая подача голосов и республиканская свобода, и если бы демократия была сохранена в полной неприкосновенности. Немало рабочих присоединилось бы к сен-этьеннскому слесарю в больших национальных собраниях, немногие из них проникли бы и в выборные муниципалитеты промышленных городов,—и могущественная буржуазия, вместо того чтобы замкнуться в эгоистическую олигархию угнетателей, должна была бы проникнуться идеями рабочего права. Ни буржуазия, ни буржуазное общество не являются какими-то непроницаемыми соединениями. Слово буржуазия обозначает класс не только сложный и смешанный по своему составу, но и постоянно изменяющийся, подвижной. На протяжении всей эпохи от революционной буржуазии до цензовой буржуазии времен Людовика-Филиппа этот класс, несомненно, об'единяли и общие идеи, и общие интересы. Судейская буржуазия Конвента так же восстала бы против коммунизма, против общественной перестройки собственности, как и капиталистическая буржуазия Людовика-Филиппа. И все-таки у революционной буржуазии был иной, чем у цензовиков идеал; в ней жила другая душа. С помощью революционных юристов она только что придала стройность воздвигнутому ею величественному зданию; но эти легисты вовсе не положили начала буржуазному эгоизму. Правда, они принципиально не желали касаться основ частной собственности в том виде, в каком ее создали римское право, разложение феодальной системы и рост буржуазии. Но в интересах революции и для спасения нового общества они были способны потребовать от имущих больших жертв, дать отпор их скупости, обуздать их эгоизм и вознаградить народ предоставлением ему политических прав и социальных гарантий, за его долю участия в ходе революции. Они были буржуазными законниками в тем большей степени, что они сами не были буржуа. Причиной того, что революция послала, как в Учредительное, так и в Законодательное Собрания и Конвент, только незначительное число купцов, лежит не только в том, что купцы и промышленники не могли свободно отрываться от своих предприятий, управление которыми в то время еще не было сосредоточено в Париже, в советах анонимных обществ. Не играло существенной роли и то обстоятельство, что промышленники и купцы не имели привычки к публичным выступлениям в такой степени, как юристы, что так необходимо при демократическом строе. Об'яснения следует искать в том, что в силу какого-то инстинкта революция не захотела наложить на свое великое дело узко-классового отпечатка. Два фактора породили революцию: экономический рост буржуазии и движение человеческой мысли; отсюда—сознание того, что только в законе способны найти свое выражение и общая воля народа, и широкое понимание человеческих отношений. Вот почему после 10-го августа Законодательному Собранию было легче провозгласить всеобщую подачу голосов, чем Собранию, состоящему из промышленной буржуазии, из капиталистов и фабрикантов, для которых сложившиеся в процессе производства отношения господства и подчинения стали чем-то непререкаемым. Заседавшие в Конвенте юристы олицетворяют в себе всю нацию целиком, представляют в с е е е с о с л о в и я, как сказал рабочий Пуэнт; они олицетворяют в себе всю революционную демократию, и сен-этьеннский рабочий, являясь выразителем мнения наиболее активной и сознательной части тогдашнего французского пролетариата, не обращается к конвентским буржуазным легистам, как к людям другого класса, но как к союзникам, правда, слегка избалованным судьбой и гордым своими тонко развитыми талантами, но нуждавшимися в притоке совершенно новой и прямолинейной революционной силы, которая поднимала бы их энергию и выводила бы их из сложности положения.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Впрочем, в целом избирательные собрания, из которых вышел Конвент, были очень враждебно настроены не только ко всем проявлениям грабежа и анархии, но и к малейшему, хотя бы и законному покушению на право собственности. Известие о событиях, имевших место между 2-м и 6-м сентября, дошли до них почти что в тот самый момент, когда, окончив выборы, они собирались уже расходиться. Эти известия произвели здесь довольно сильное смятение. В самом деле: если парижский народ уже не считается с законами, если он выступает в роли запоздалого революционного правосудия, если он избивает контр-революционеров, то ведь дурной пример заразителен, и дело, пожалуй, дойдет до повсеместного ниспровержения законов! Народ хочет революции; но где гарантия, что он не пойдет дальше, вплоть до лишения их жизни и имущества? Привыкнув по-своему распоряжаться имуществом эмигрантов, делить его между собой без всяких законных оснований, парижский народ, в результате естественного увлечения, почти неизбежного, перейдет к ограблению фельянтинцев, умеренных и консервативныых буржуа, которые покажутся ему сообщниками эмигрантов и короля; но тогда где граница права собственности? Пожалуй, так всякая существующая собственность, под предлогом революции, мало-по-малу сделается добычей этих дерзких людей. В силу консервативного инстинкта, всем собственникам—как буржуа, так и крестьянам—уже чудился аграрный закон, как завершение насильственных действий народа в сентябрьские дни. И казалось, что этот пресловутый аграрный закон перестает быть только призраком и принимает, наконец, реальные очертания. На этой почве во многих избирательных собраниях имели место или определенные протесты против всякой идеи аграрного закона, или торжественное подтверждение права собственности. Это была своего рода мера предосторожности против возможных насилий. Одновременно это было и ответом на ядовитые пояснения контр-революционеров, которые возвещали всюду, что аграрный закон является неизбежным логическим следствием самой революции.

В Монтабане, совсем рядом с Керси, где крестьяне, как мы уже видели, насильственным образом уничтожили без всякого выкупа феодальные права задолго до издания соответствующего закона, демократы, повидимому, испугались, что деревенские революционеры наложат руку на имущество эмигрантов и растащат по рукам вместо того, чтобы передать нации. Избирательное собрание обратилось к гражданам департамента Ло с следующим воззванием:

«На нас напали внешние враги; земля свободы осквернена ими, их нечестивые руки несут опустошение и смерть. Но защитники родины—линейные войска и национальная гвардия—стоят на страже. Вам же следует бороться с другим врагом—с врагом внутренним, который, втершись в вашу среду, прикрываясь личиной патриотизма, колебля священное право собственности, безопасности, запугивает вас невероятными ужасами и хочет довести вас до анархии, подбивая, насколько это в его силах, произвести самое пагубное покушение на политическую, гражданскую и религиозную свободу... Граждане, никакое общество не может существовать без абсолютной неприкосновенности собственности. Декларация прав человека, это евангелие, столь дорогое всякому французу, освящает этот основной принцип. Расхищение собственности, хотя бы и совершаемое под тем предлогом, что расхищаемые предметы принадлежат врагам государства, отнюдь не свидетельствует об уважении к собственности. Наказывать за мятеж может закон, и один только закон. Законодательный корпус передал в руки нации имущества тех, которые покинули родину и возвращаются с оружием в руках, чтобы поработить ее, следовательно, эти имущества не принадле-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

жат им уж больше: они стали национальным достоянием; обесценивать их или взимать обманным образом доходы, это значит лишать нацию, лишать самого себя драгоценного рессурса в тех критических обстоятельствах, в которых французскому народу приходится бороться против целой лиги заговорщиков-королей.

«Но если вы должны уважать имущество, то во сколько раз больше вы должны уважать личность? Без сомнения, эти чудовища преступны; ведь, ненавидя свободу и равенство, они хотят похоронить ее под развалинами доведенной до отчаяния Франции. В тысячу раз более виновны эти мнимые священники Бога-миротворца. Презирая в одно и то же время законы божеские и человеческие, они смело проповедуют бунт. Они поселяют в умах своих доверчивых приверженцев сомнения и ужас, и, поразив их воображение страхом перед будущим, вытравляют всякую совесть и заставляют совершать самые ужасные преступления. Пропустите их, дайте им свободно выйти из пределов государства и выпести с собой к нашим соседям столь желанную им религиозную чуму, которой заражены эти злокозненные существа. Закон, граждане, закон, вот лозунг единения всех добрых граждан».

Таким образом, революционеры-демократы могли опасаться, что одна часть народа захочет пойти дальше закона, что отказавшимся присягнуть конституции священникам, наказание посредством высылки будет заменено смертной казнью; что своим анархическим дележом народ предупредит законную распродажу земель эмигрантов. Если всюду дать свободу этим самопроизвольным и беспорядочным выступлениям, революция потонет в диких эксцессах. На каком, например, основании и по какому праву крестьяне стали бы присваивать себе имения эмигрантов или общинные земли? Сколько кровавых споров возникло бы среди участников дележа, на почве борьбы за лучшую часть! Чтобы внести порядок в эту грандиозную операцию,—касалась ли она распродажи земель эмигрантов мелкими участками в интересах нации, или установления некоторых определенных норм при разделе общинных земель, — властное вмешательство закона было необходимо.

Да, перед революцией все время стояла опасная альтернатива; либо ради собственного спасения прибегать к помощи стихийно поднимавшихся народных масс, как то имело место 14-го июля и 10-го августа, либо сдерживать эти массы, подчиняя их дисциплинирующему воздействию закона! Если бы революция не была так прекрасно подготовлена с хозяйственной и идеологической стороны, что делало ее непобедимой, она бы десять раз погибла в результате этой противоречивой необходимости. Но в решительный момент она всегда умела с удивительной силой и гибкостью использовать великие самочинно возникавшие массовые действия героического народа, и в то же время поддержать в его душе почти религиозное уважение к закону, этому священному выражению общей воли. Таким образом, революция, если и не могла осуществить свой идеал целиком, то тем не менее ей удалось благополучно совершить ряд решительных актов, делавшие невозможным полное возвращение к прошлому; создать великие прецеденты, которые, служа путеводной звездой, подготовляли и возвещали окончательное наступление республиканской свободы и демократии, несмотря на возвращавшиеся по временам мрачные сумерки реакции и рабства.

То, что говорит избирательное собрание в Ло, является выражением почти единодушного мнения революционной Франции в сентябре 1792 года. Но надо почувствовать тот горячий патриотизм, которым всецело были проникнуты эти избирательные собрания, продолжавшиеся от 8 до 15 дней и сосредоточившие в себе все живые силы революции; иначе наше представление о них будет весьма неточным.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

В то время как развертывалась партийная борьба с ее соперничеством и интригами, с величайшим нетерпением ждали новостей с границы. Не взят ли Лонгви? Сопротивляется ли Вердён? Пусть Франция явится как бы наковальней, на которой Конвент выкует свой меч! Часто избирательная процедура прерывалась поступлением патриотических приношений, туго набитых ассигнациями писем, драгоценностей, браслетов, пожертвованных и гордыми крестьянками, и богатыми женщинами буржуазного класса; пусть все это золото будет расплавлено и пойдет на пользу свободе! В то время как мужчины устремлялись в избирательные собрания или клубы, женщины собирались в церквах; конечно, не для того, чтобы молиться—молитва во всяком случае была краткой: собирались, чтобы изготовить предметы обмундировки, палатки, одежду, щипать корпию. Почитайте парижские газеты: все церкви были полны женщинами-патриотками, которые, по прекрасному выражению Коммуны, хотели облагородить свои руки на службе родине. Возьмите письма Леба и его отца: всюду в Паде-Калэ, на севере женщины собирались по вечерам в церкви, наверное, принося с собой какие-нибудь убогие свечечки, прикрепляемые обыкновенно к колпаку камина; там они вязали, шили, щипали корпию для раненых и чутко прислушивались порой в сумерках ночи к неясным слухам, которые доносились с границы: не грохочет ли уже вражеская пушка в окрестностях Лонгви? Порой входил мужчина, городской или деревенский революционер. Он болтал с этими женщинами, призывая их к твердости и героическому мужеству перед лицом грядущей опасности. Матери, великой матерью является родина, родина свободы!

Порой, говоривший с женщинами сначала запросто, почти что с порога церкви, куда его привлекал свет, по просьбе женщин входил на ступени кафедры. И ни одна из них не видела в этом насмешки или профанации; а между тем все они были верующие христианки. Высокие святые чувства, вызывавшиеся мыслями о свободе, родине и будущем, совершенно естественно уживались у них с религиозными переживаниями детства и юности, еще милыми их скорбному сердцу. Но представления о свободе, родине и будущем превалировали. Если священник идет против свободы, с ним надо расправиться; если прежняя религия пытается затемнить новую веру,—веру в свободное человечество,—пусть старая религия угаснет, и пусть мистическая лампада в самой церкви заменится светочем свободной работы, которая дает одежду, убежище и помощь защитникам свободы и права. Так рождались новые мысли, внезапно вспыхивало и разрасталось возмущение, приподнимались обычно склоненные головы, и оглашались новыми звуками низкие своды старенькой церквушки, привыкшей к глухим речам тупой покорности. Мужчины на полях битвы или в здании городской думы сражаются или выбирают, т.-е. опять-таки сражаются; женщины трудятся в церквах, трудятся над работой, озаренной бо́льшим экстазом, чем молитва; лучи света, исходящие из этих очагов и собиравшиеся в одном фокусе, разгорелись в яркое пламя Конвента.

ГЛАВА VI.

Первые партийные схватки.

Но, стремясь овладеть этим великим движением, партии лишь извратили или обессилили его. Жиронда могла считать себя победительницей, и, как мы видели, Бриссо уже с 10-го сентября хвастался результатами выборов. И на самом деле казалось, что за пределами Парижа торжествовала Жиронда. Департаменты чувствовали некоторое недоверие к Парижской Коммуне, к Робеспьеру и Марату, хотя и не высказывались вполне резко и определенно. Во всяком случае, Марат уже с 15-го сентября признает свое поражение и почти что призывает к восстанию.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Чтобы призвать в Национальный Конвент изменников, которые всегда проявляли себя, как самые от'явленные враги народа в департаментах с успехом были пущены в ход бесчестные средства. В результате позорных выборов, имевших место в департаментах, произойдут несчастья, если народ не останется на страже до конца работы Конвента. Безусловно необходимо заставить Конвент заседать в обширном помещении, и притом без всякой стражи. Узнав о способе избрания в депутаты Национального Конвента, установленном декретом, я забил тревогу. (Дело идет о двухстепенных выборах.) Я видел в этом только хитроумное средство, пущенное в ход Собранием с целью наводнить развращенными людьми верховный совет нации. Указанный декретом способ избрания давал собраниям выборщиков право назначения народных представителей, принадлежащее по существу первичным собраниям. Я предвидел отвратительные махинации, с помощью которых будут воздействовать на избирателей те средства соблазна, которые пустят в ход, чтобы их подкупить. Я понял, почему возражали против выборов, производимых непосредственно гражданами, собравшимися в своих секциях... Повсюду случилось то, что я предвидел: интриги, мошенничества, подкуп и продажность (министерская кукла Ролан расточал золото полными горстями, чтобы заставить избрать всех бриссотистских писак),— все было пущено в ход, чтобы оказать влияние на собрания выборщиков и провести в Национальный Конвент людей, запятнанных своей антигражданственностью, заведомых предателей отечества, людей развращенных, подонки Учредительного и нынешнего Собраний.

Кто бы поверил, что в числе депутатов находятся разные Малуэ, Рабо, Туре, Тарже, Пасторе, Кондорсе, Дюмоляры, Дю-Кастели, Верньо, Гаде, Лакруа, Бриссо? (Марат ошибся относительно многих из вышеназванных лиц: Малуэ, Туре, Тарже, Пасторе, Дюмоляр не были избраны.)

«Французы, чего вы ждете от людей подобного сорта? Они кончат тем, что все погубят, если только небольшому числу защитников народа, призванных бороться с ними, не удастся одержать верх и их раздавить. Если вы не окружите их многочисленными слушателями, если вы не лишите их пресловутого талисмана—неприкосновенности, если вы не предадите их мечу народного правосудия, в тот момент, когда они начнут пренебрегать своими обязанностями, злоупотребят вашим доверием и изменят родине,—ваше дело пропало навсегда. Смотрите, не поместите Национальный Конвент в зараженной атмосфере Манежа в Тюильри. Приготовьте для него достаточно обширное помещение, чтобы на трибунах поместилось три тысячи граждан; пусть там не будет никакого прикрытия, абсолютно никакой стражи—так, чтобы депутаты всегда были в непосредственной близости с народом и не имели другой охраны, кроме своих гражданских добродетелей. Без этого и последние надежды, возлагаемые вами на Национальный Конвент, окажутся тщетными. Изменники, созвавшие врагов свободы, которые под грохот контр-революционных пушек окопались теперь в своих берлогах, будут издеваться над народом, предательски нарушать его права; подобно своим предшественникам, они попрежнему будут третировать, как разбойников, возмущенных патриотов, которые вздумают призывать их к выполнению своего долга».

Так Марат заявляет, что большинство Конвента «бриссотистское»; спасения революции он ждет только от самого народа, который не остановится перед на-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

силием над Конвентом. Требуя, чтобы Конвент заседал без стражи, чтобы народ всегда мог оказывать на него давление, он тем самым дает столь желанный для Жиронды повод к вызову в Париж департаментской гвардии. Жиронда должна была бы пройти мимо этих гневных выпадов, тогда еще совершенно бессильных. Но у нее, в свою очередь, создался роковой план раздавить своих противников. Гибельное заблуждение! Ведь Франция выбирала Жиронду не для этого. Между Францией и Жирондой создалось недоразумение. Франция оказала свое доверие, в сущности, не Жиронде, а революции, стражем которой ей представлялась Жиронда.

По мере того, как жирондисты все определеннее обнаруживали свою страсть к исключительному господину, их избиратели впадали в своего рода меланхолический столбняк. Но легкомысленные, опьяненные своим успехом, жирондисты, обезумевшие от ненависти к Робеспьеру, раздраженные против отвергшего их Парижа, убежденные, наконец, что они легко поведут за собой всю департаментскую Францию,—решили во что бы то ни стало покончить со своими противниками. Если бы жирондисты обладали большей широтой ума и сердца; если бы они оставили без внимания одинокие и почти безрезультатные вызовы Марата, вместо того чтобы преувеличить их значение; если бы они сплотились вокруг Дантона, чтобы смело работать исключительно ради спасения родины и для организации свободы,—скоро сам Париж отказался бы от своего предубеждения, и вся об'единившаяся революционная Франция основала бы бессмертную республику. Но они претендовали на исключительное господство, они хотели быть единственной руководящей силой; всякое соперничество они считали нестерпимым оскорблением. Они хотели пышным и ревнивым цветком одиноко распуститься на вершине революции.

Почти тотчас же созрел и их план. Они задумали использовать сентябрьские избиения и возложить прямую ответственность за них на Коммуну и Робеспьера. Они старательно одурманивали умы, сеяли панику и доказывали, что поскольку останется в силе влияние Парижа, не будет ни свободы, ни безопасности; что, начав с лиц, анархия посягнет затем и на собственность, и что необходимо покончить со всеми дезорганизаторами, которые только играют на руку врагу.

Часто говорили (и г. Мутье повторяет это), что до 10-го сентября среди жирондистов, и в особенности со страниц журнала Бриссо, не раздается никаких речей, порицающих сентябрьские убийства. Это неточно: я уже показал, как с 3-го сентября Бриссо старается, правда, почти исподтишка, положить начало мысли об ответственности Коммуны.

С 4-го сентября жирондистская тактика делается более определенной. И вот как комментирует Бриссо письмо Ролана, сообщавшее о новых волнениях около Аббатства и возлагающего на представителей власти ответственность «за напрасно загубленную жизнь хотя бы одного единственного гражданина». Бриссо говорит: «Г. Ролан заявляет, что он больше не верит, будто вторжение в тюрьмы и избиение заключенных явились результатом стихийно возникшего народного негодования; оно не могло бы проявляться так длительно. Вооруженные люди все еще находятся около тюрем и собираются наводнить подземелья, где прячутся, по их предположениям, арестанты. Угрожают жизни тех, кто подписал петицию 20 тысяч. Эти отвратительные, перепачканные в крови чудовища явились в Комитет Надзора, требуя соответствующий список, в чем им было самым решительным образом отказано». Но если избиения не являются результатом самопроизвольно возникшего народного негодования, если Ролан ошибся, делая вид, будто он в первый день поверил этому,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

то дело идет вовсе не о том, чтобы «набросить покрывало». Наоборот, необходимо дознаться, что это была за сила, которая организовала избиения».

Я вовсе не собираюсь делать изыскания, в какой мере избиения были стихийными и в какой организованными. Все это слова, покрывающие собой очень растяжимые понятия. Мне кажется, что 9 лет спустя, в своем письме к Сериейсу по поводу трагедии «Смерть Робеспьера», Лэнде сильно преувеличивает долю организованности.

«Конституционные власти (т.-е. Комиссия Двенадцати Законодательного Собрания, исполнительная власть и парижский мэр),—пишет он,—вполне единодушно осуществляли абсолютную власть. Народная масса была послушной, кроткой; она творила добро под влиянием любви и благородства и совершала зло только по неведению.

«Всякий раз, упоминая о печальных сентябрьских событиях, общественное негодование направляют на кучку подлых палачей и на одуревшую, раз'яренную и сбитую с толку толпу. Но не называют обычно заправил. Скажу вам откровенно, граждане: толпа была обманута, и если хотят внушить справедливое отвращение ко всем совершенным преступлениям, нужно иметь мужество назвать их вдохновителей; надо назвать тех, кто придумал этот ужасный проект, кто составил этот план и в течение нескольких дней хладнокровно рекомендовал средства для его выполнения. Есть люди, которые полагают, что легко было положить предел этой разнузданной жестокости. Я же полагаю, что это было немыслимым. Дело идет не о народном движении; все было предписано. В то время народ уважал власть. Все было в повиновении. Одного присутствия мэра было достаточно, чтобы рассеять скопление народа около Тампля. Достаточно было лишь подписи прокурора Коммуны и секретаря, чтобы возвратить гражданам жизнь и восстановить их в их правах. Я согласен с тем, что если бы хоть одна из трех властей, которые пользовались тогда авторитетом, отказала бы в своем согласии на то, что предлагали, эти события никогда бы не запятнали собой Францию. Я полагаю даже, что воспротивься этому один единственный член одного из этих органов власти, то даже он один мог бы помешать всему».

В словах Лэнде есть странная непоследовательность. То он говорит, что движение, будучи организованными, было непреодолимым; то он говорит, что достаточно было протеста только одного члена какого-либо из трех органов законной власти, чтобы ему помешать. Но его обвинения идут очень далеко. Хозяева Комиссии Двенадцати, жирондисты, парижский мэр Петион и все министерство, включая сюда и Ролана, формально обвиняются в том, что они совершили, организовали или умышленно потакали сентябрьским убийствам. На кого же падает доля ответственности? Невозможно отрицать косвенной ответственности Коммуны и даже Собрания.

Прямая ответственность Марата и Наблюдательного Комитета Коммуны также неопровержима, хотя и трудно точно определить ее степень. Но определить в этом темном событии степень преднамеренности и самочинности трудно.

Жирондисты не могли отыскать «организаторов» убийств, не становясь на опасный путь, не затрагивая парижского народа. Самое правильное было бы следовать политике широкой амнистии и «набросить покрывало».

А они, наоборот, старались обнаружить рану, растравить ее и навести панику. 10-го сентября, в тот самый момент, когда, видимо, чувства человечности опять овладели Коммуной, где укрепился авторитет Петиона, и Париж успокоился, — газета Бриссо одобряет одно очень странное, совершенно безумное начинание: «Секция Аббатства, желая предупредить ужасный грабеж, который проектировался в Париже, и помешать гражданам сделаться жертвами беспо-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

рядка, предложила всем секциям заключить между собой и всеми гражданами общую конфедерацию, в целях взаимной защиты жизни и имущества: каждый пред'явившие своих карточек будут арестованы; если его секцией по удостоверению его соседей; он должен всегда иметь ее при себе. Все караулы, сторожа, патрули должны иметь право останавливать всех прохожих; не предъявившие своих карточек будут арестованы; если эта оплошность случилась с ними по забывчивости, их отведут в их секцию, где они и будут опознаны. Иностранцы должны иметь при себе паспорта, которые им будут служить вместо карточки. Как только обладающий такой карточкой гражданин потребует защиты для себя или своего имущества, всем вменяется в обязанность бежать на его призыв. Дом, улица, квартал, секция, весь город — все должны быть на месте происшествия».

Это был бы настоящий жирондистский террор и перманентное безумие. В ответ на нападки Марата Ролан выпустил длинную, многословную и сентиментальную афишу, полную самовосхваления. И всюду неотступно все тот же призрак бойни:

«Только несколько дней спустя я узнал, что меня самого отметили, как изменника, что в самый день 2-го сентября тайный городской Комитет издал приказ о моем аресте. Для чего это делалось? Уж не для того ли, чтобы перевести меня в Аббатство и потом выпустить оттуда вместе с преступниками? Пусть трусы или изменники подговаривают убийц; я их жду, я на своем посту; я верен своему долгу и сумею умереть».

Какая напыщенность! И что за мелодраматическое позерство напрашиваться на кинжал убийц в то время, когда в действительности уже не было никакой опасности. Какое несоответствие между статьями Марата и всем этим официальным аппаратом министерских опровержений и слезливых жалоб! Но вот вокруг сентябрьских дней начинается официальная полемика, при чем роль Марата искусственно преувеличивается: «враг всех порядочных граждан, сторонник беспорядка и резни» воздвигается Жирондой над всем Парижем, как какой-то жаждущий крови идол. Итак, раньше всего надлежит опрокинуть этого идола. Надо сосредоточить политику на Марате, а когда он падет под тяжестью общественного омерзения,—всякому ясно—будет раздавлена и Коммуна, на которую он оказывал столь сильное влияние. А вместе с тем, очевидно, будет задет и оратор Коммуны—Робеспьер; будет дискредитирован и Дантон, виновный лишь в том, что Марат его пощадил. И тогда Жиронда сосредоточит всю власть в своих руках.

Пусть патриоты не боятся того, что она недостаточно энергично будет защищать свободу. Разве не по инициативе Гаде все депутаты клялись 4-го сентября, как граждане и как люди, всеми силами бороться против королей и королевской власти? Таким образом, энергия и умеренность, революционный пыл и гуманность, любовь к родине и поддержание порядка, любовь к народу и уважение к собственности—все соединится в великой жирондистской партии, которая сделается олицетворением самой революции. И вот беспрестанно бормоча, они все ковыряются в сентябрьских язвах.

Был такой момент, когда жирондисты полагали, что они устранили избрание Марата. Большинство демократических кандидатов об'явило Парижу, что они только в том случае будут считать действительным вотум выборщиков, если он будет утвержден первичными собраниями секций. Повидимому, этот вид избирательного референдума нигде серьезно не применялся, но он вызвал протесты.

Электронный архив библиотеки КГУ имени А.А. Кулешова

В номере от 29-го сентября «Французский Патриот» писал: «Поднялся довольно забавный спор между секциями, муниципалитетом и избирательным корпусом; издевающиеся над народом шарлатаны, восхваляя его верховную власть, еще до выборов прокричали со всех крыш, что секции должны пересмотреть выборы и подвергнуть их очистительному тайному голосованию; они и принялись за эту работу. Но как только их выбрали, они принялись восхвалять то, что раньше порочили. Осуществляя принцип народного суверенитета, секции пожелали проконтролировать выборы, и тотчас же раз'яренные ораторы, боявшиеся за исход собрания, кинулись на трибуну, чтобы произнести анафему дерзости народа, захотевшего подвергнуть их тайному голосованию».

15-го сентября Марат, всегда легко впадающий в паническое состояние, бьет тревогу: «В то время как собрание выборщиков разделилось на две партии, между которыми происходят постоянные столкновения на почве проведения в Национальный Конвент граждан, которых каждая из них считает наиболее достойными этого, или скорее тех, которые представляют партии людьми наиболее удобными для осуществления ее планов,—враги свободы агитируют в секциях, чтобы заставить исключить из Национального Конвента наиболее горячих защитников свободы.

«Мне не безызвестны козни партии Бриссо против «Друга Народа». Эти козни достойны низости врагов этой газеты, но «Друг Народа» считает ниже своего достоинства тратить время, чтобы расстроить их планы. «Другу Народа» нечего сказать, если его права на общественное доверие могут еще подвергаться сомнению. В таком случае, единственный долг, который оставалось бы еще ему выполнить по отношению к своим согражданам, патриотам всех секций, которые могли быть введены в заблуждение, это—заявить что самым горячим его желанием является, чтобы они нашли в достаточном количестве других представителей с бо́льшими заслугами перед родиной».

Но если даже в парижских секциях была настолько сильная оппозиция Марату, что Жиронда могла возыметь надежду нанести ему решительный удар, то какой смысл имела эта политика запугивания? Разве не очевидно, что Жиронда сеет панику с умыслом, имея в виду исключительное господство своей партии? Это вдвойне непростительно. Прежде всего она прекрасно знала по опыту с грозными мятежами в Конта [1]), что одна только амнистия могла восстановить там порядок, и сама Жиронда устами Верньо великодушно требовала этой амнистии.

С самого начала революции инициаторами освободительного движения в Конта явились далеко не крайние элементы. В Конта подняли народ и буржуазию против папской власти торговцы шелковым товаром Дюпра и Мэнвиль, которые владели здесь «честно нажитым богатством». Но что бы произошло, если бы под впечатлением ужасных взаимных избиений, которые кровавым потоком залили все поле борьбы, Дюпра упал бы духом и совсем потерял бы голову?

А между тем сам же Барбару, этот пылкий враг Марата и Робеспьера, один из тех жирондистов, которые постоянно оживляли печальные воспоминания о сентябрьских событиях, пишет о Дюпра следующее:

«В Авиньоне и Конта было совершено обеими сторонами так много преступлений, что если наказывать виновных, пришлось бы сплошь покрыть эшафотами всю эту несчастную страну. Дюпра решил настоятельно требовать амнистии, и он добился своего, благодаря усилиям депутатов, которые посмотрели на этот вопрос с точки зрения правильно понятых политических отношений».

---

[1]) Одна из областей старой Франции, входившая в состав департамента Воклюз. До 1791 года она принадлежала папе. Прим. ред.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

А когда Барбару пишет эти строки? В эпоху Конвента, несколько месяцев спустя после сентябрьских убийств. Но чтобы покарать, в свою очередь, виновников сентябрьских избиений, разве не пришлось бы покрыть эшафотами весь Париж? И почему Барбару и его друзья не хотели набросить покрывало амнистии на Аббатство и Форс, подобно тому, как они набросили его на Глясьер (Glacière)? Окутать Аббатство и Форс покровом забвения было гораздо важнее, так как здесь дело шло о том, чтобы путем справедливого забвения восстановить спокойствие и согласие и вызвать к жизни энтузиазм в самом центре Франции и революции.

Но особенно Барбару должен был бы раз'яснить своим коллегам-жирондистам, что это произвольное вмешательство, эти претензии на господство, за которые они так сурово упрекали Парижскую Коммуну, могли быть поставлены в упрек также коммунам департамента Устье-Роны. В пылу непрестанных схваток с контр-революцией, среди неумолимой борьбы против роялистов Арля, против папистов Авиньона и Карпантра (Carpentras) они привыкли самостоятельно проявлять свою инициативу. Тамошние революционные организации постоянно присвоивали себе полномочия «конституционных властей». Это признает и сам Барбару. «Если бы собрание (избирательное) ограничилось одним избранием депутатов, я бы о нем и не упомянал; но таково уж несчастие нашей эпохи, что оно пользовалось большою властью и облекло и меня самого очень широкими полномочиями. Уже на втором заседании доложили о волнениях в Тарасконе, где у революции не было недостатка во врагах. Приходившие одно за другим письма сообщали нам о восстаниях во многих деревнях, об эксцессах, происходивших в некоторых из них, о полнейшем разложении одного департаментского батальона, роты которого перестреляли друг друга, в Арле, а также о существовании в департаменте разного рода интриг. Его директория не проявила никакой энергии, администрация дистриктов не пользовалась доверием, муниципалитеты не блистали талантами. Для того чтобы добиться повиновения, имелся только один способ. В своих аргументах ссылались, главным образом, на то состояние революционного брожения, в котором Франция находилась с 10-го августа. Признавали необходимым подавить беспорядки крутыми мерами. Власть брошена на произвол, и избирательное собрание присвоило ее себе. Затем исполнение своих приказов оно поручило мне; по существу дела это означало вручить мне исполнительную власть. Я принял эту власть в надежде, по мере возможности, бороться со злом; но я пожелал, чтобы в помощь мне назначили совет из двенадцати лиц. А так как Собрание предоставило мне право назначения членов этого Совета, я набрал из разных дистриктов наиболее солидных людей».

Кроме того, Барбару вынужден прибавить: «Избирательный корпус захотел об'явить себя постоянно заседающим; но приведенные мною доводы, и еще в большей степени сила обстоятельств, которые призывали каждого к его делам, заставили отказаться от этой мысли. Прежде чем разойтись, по предложению своего председателя Моисея Байля, Собрание издало постановление, которым наделало мне больших хлопот... Согласно этому постановлению, избиратели (второй степени) получили право приостанавливать на время в своем кантоне распоряжения общественных чиновников и издавать приказы об арестах. Я должен был выдержать упорную борьбу с личными самолюбиями. Однако, мне удалось в значительной сте-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

пени ослабить чудовищные полномочия лиц, которых я же облек властью. В результате, мне не приходилось слышать, чтобы это привело к пагубным последствиям».

Но ведь это те же самые действия Парижской Коммуны, которые вызывали столько тревоги! И что бы ответил Барбару, если бы ему сказали, что, согласно его собственному признанию, он и Ребекки «делали» выборы, были своего рода дуумвирами в Провансе? Что бы он ответил, если бы ему сказали, что, приняв исполнительную власть, которую ему вручил незаконный акт избирательного собрания, назначив затем себе помощников, предоставляя, далее, несмотря на все оговорки и принятые предосторожности, каждому члену избирательного корпуса незаконные и произвольные полномочия, он сам играл уже роль диктатора Юга? Но было совершенно очевидно, что будущий Национальный Конвент, благодаря своему огромному моральному авторитету и своей мощи, мало-по-малу заставит подчиниться закону все эти благодетельные, энергичные, но беспорядочные силы. Он осуществит это без бесполезных вызовов, без раздражающей полемики и в отношении Парижской Коммуны, и провинциальных коммун; но при одном условии: если он сам проявит энергию и сплоченность. Но уже заранее его раздирала партийная борьба. Через пять дней после выборов в деп. Устье-Роны Барбару, только что расставшись с своей диктатурой на Юге, поднимет в Париже самые страстные обвинения против диктатуры Робеспьера. Вот где одновременно и партийный эгоизм и роковое ребячество!

Насторожившаяся Жиронда, раздувает всевозможные тревожные слухи, вместо того чтобы спокойно рассеять их, апеллируя к рассудку. Совершенно невероятно, чтобы какие-то «душегубы» собирались перерезать членов Конвента в самый день его открытия. Ведь даже цитированная нами статья Марата рекомендовала народу лишь наблюдать за Конвентом и судить о нем по его работе. Или была ли хоть доля правдоподобия в том, что народ набросится на остатки Законодательного Собрания? А между тем 15-го сентября «Французский Патриот» писал:

«Остервенелая шайка, которая не блещет ни талантами, ни заслугами, но одинаково ловко владеет и кинжалом мести, и стилетом клеветы, хочет добиться господства путем террора; ее цель—ниспровержение всякого правительства и установление триумвирата с проскрипционной властью; говорят, она намеревается запугать Национальный Конвент, ознаменовав первые же его заседания грандиозным кровопусканием. Уверяют также, что эта шайка замышляет убийство всех членов Законодательного Собрания, которые не будут выбраны в Конвент. Конечно, это была целая система чудовищной клеветы, направленная против Парижа. И тайный сообщник Жиронды Петион опровергает эти слухи столь двусмысленно, что, в сущности, только дает им новую пищу.

«Граждане,—говорит он,—сейчас, когда так необходимо успокоение, мы как раз особенно взволнованы. Кто-то хочет во что бы то ни стало раз'единить нас и натравить друг на друга. Кто-то поселяет недоверие, пускает в ход яд клеветы; кто-то создает панику и смущает граждан самыми тревожными слухами. С провокационными целями наперед предсказываются разные ужасы. Это состояние волнения и беспокойства становится невыносимым. Кто из вас не слыхал, что 20-е число этого месяца хотят сделать днем кровавой мести? Об этом говорят не только у нас в городе, но и далеко за его пределами.

«Что же за цель была у этих смутьянов?—Наклеветать на народ и удалить из стен Парижа депутатов, которые стекаются туда со всех концов Франции, чтобы принять участие в Национальном Конвенте. Более благоприятного для них шага не могли бы сделать даже наши враги. Вне всякого сомнения и то, что у

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

последних имеются среди нас шпионы, которые, надевая лицемерную личину патриотов, зажигают всюду факел гражданской войны».

И все это вызвано каким-то бессодержательным слухом, который особенно усердно распространяли жирондистские газеты, и который подтверждал Петион. Это была просто-на-просто мошенническая проделка под видом полиции. Эксплоатировавшие патриотизм плуты нацепляли на себя муниципальные шарфы, чтобы обманным образом отбирать по домам разные вещи в пользу солдат. Они реквизировали драгоценности, порой вырывая их силой у женщин. Это вульгарное разбойничество становится для Жиронды частью якобы задуманного агитаторами плана. «Было нетрудно предвидеть,—говорит газета Бриссо,—что от убийств перейдут к грабежу. Уже сегодня разбойники рыскали по улицам, вырывая у прохожих часы, серьги, драгоценности под предлогом погашения военных издержек; но народ, на который не упускают случая перекладывать эти преступления, народ, который хотят представить в виде орды людоедов, народ арестовал этих мошенников».

Доля истины была в том, что распущенная и перегруженная работой национальная гвардия не удовлетворяла требованиям обычной полицейской службы. Она небрежно охраняла склады вещей, и воры, забравшись туда ночью, растащили драгоценности. Этот факт довольно сенсационный, но, и я настаиваю на этом, факт совершенно другого порядка. Послушайте, что говорит газета Бриссо от 17-го сентября:

«Разбой, который начался на улицах Парижа несколько дней тому назад, был только первой попыткой уничтожить национальную собственность и осуществить кровавые проскрипции. В настоящее время в недрах этого огромного города есть множество преступников, жадных до крови и добычи, готовых действовать по приказанию каких-то бешеных, которые задумали погубить государство, хорошо зная, что править они могут только на развалинах. Министр внутренних дел заявил, что сегодняшней ночью разбойники забрались через стены в склады для хранения мебели; двери были взломаны, вещи были разграблены, грабители унесли все драгоценности. Некоторые из воров были арестованы; и, может быть, воспользовавшись их показаниями, дойдут до источника этого воровства, *которое стоит в связи с одной крупной махинацией и с современным положением Парижа*. Вчера с трибуны избирательного собрания раздавались голоса против исполнительной власти, говорили об *аграрном законе* и т. д.».

Таким образом выходило, что все подстроено; самое обычное воровство является не чем иным, как выполнением какого-то таинственного плана, клонящегося к полному перевороту и осуществляемого исподтишка врагами Жиронды. Ролан вмешивается, внося свою долю драматического элемента; по его словам, все это—дело рук иностранца, или здесь замешана какая-либо не желающая обнаруживать себя личность, которая вознаграждает таким способом своих клевретов и идет этими романтическими путями к диктатуре.

«Кто же,—писал Ролан Собранию от 17-го числа,—внушил смелость совершить столь крупную покражу, происшедшую этой ночью? Кто? Подкупленные Пруссией шпионы *или негодяи, которые, действуя только в своих интересах, обкрадывают нацию, чтобы подкупить своих агентов и сообщников*?»

Что же это за таинственная личность, вокруг которой, начиная с сентябрьских событий, Жиронда плетет мелодраматическую легенду? Это просто-на-просто Дантон, именно Дантон. До этого как раз дошли тогда жирондисты в своей слепой ненависти.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Отношения между Роланом и Дантоном обострялись с каждым днем. Будучи человеком подозрительным и желчным, Ролан пугался широкого размаха и энергичного образа действий Дантона. Не входя в детали управления, последний отдавался всецело великому делу организации революции. В Исполнительном Совете жирондисты помимо своей воли подпадали под его влияние. С грустью и досадой это вынуждена признать и г-жа Ролан.

«Вообразили,—пишет она,—что одной из первых и неотложных мер Исполнительного Совета является посылка по департаментам комиссаров с поручением раз'яснить населению события 10-го августа и особенно создать настроение, благоприятное для приготовлений к обороне и быстрому набору рекрут, которые необходимы для наших армий, действующих против врагов на границе, и т. д. Когда одновременно с предложением относительно посылки таких комиссаров встал вопрос об их назначении, Ролан попросил отсрочки до следующего дня, чтобы подумать относительно тех кандидатур, на которые он мог бы указать.—«Я беру на себя все,—воскликнул Дантон,—Парижская Коммуна даст нам прекрасных патриотов».—Ленивое большинство Совета поручило ему наметить кандидатов, а на следующий день он явился в Совет с вполне готовыми мандатами; оставалось только заполнить лист именами, которые он и представил, а затем подписать его. Члены Совета мало вникают в суть дела, они не возражают и подписывают назначения. И вот вам целый рой мало известных людей, интриганов из секций или клубных крикунов, экзальтированных патриотов и еще больше революционеров из корысти; чаще всего это были лица, не имеющие других средств существования, кроме тех, которые они получили или надеялись получить, пользуясь смутой, но очень преданных своему покровителю Дантону и быстро воспринявших его распущенность и легкомысленные принципы. И эти люди оказались теперь представителями исполнительной власти в департаментах Франции.

«Это предприятие всегда казалось мне одним из главных партийных ходов в пользу Дантона и в высшей степени унизительным уроком для Совета... Дело в том, что чрезмерная работа обременяла министров внутренних, военных и даже морских дел; административные мелочи поглощали все их внимание; в результате—ни у кого не оставалось свободного времени, чтобы подумать о политике в целом. Следовало бы составить Совет из людей, на обязанности которых лежало бы обсуждение и решение тех или иных вопросов, а не управление. Дантон же сидел в таком ведомстве, где меньше всего было дела; с другой стороны, он очень мало утруждал себя исполнением служебных обязанностей и даже совсем не заботился об этом; всеми делами ворочали его помощники, которым он передал свой гриф, и административная машина работала своим чередом, без всяких забот с его стороны. Все его время, все его внимание было поглощено комбинациями и интригами, нужными ему для усиления власти и приумножения состояния.

«Он постоянно заставлял канцелярии военного министерства сажать в армию людей своего лагеря, он находил средства заинтересовать их делом снабжения и военными поставками; он не пренебрегал никаким местом, на которое можно было продвинуть эти подонки развращенной нации, эту накипь, всегда появляющуюся в эпоху потрясений и некоторое время остающуюся у власти. Такими способами он усиливал свое влияние и создавал свою партию».

Вот образчик суждения, презрения и ненависти к людям, которых г-жа Ролан даже не знала, к этим новым силам демократической революции, которые Дантон использовал прежде всего в интересах общественного порядка! С его стороны было вполне разумно привлечь эти бушующие силы, дав им специальное назначение. И эта щедрая политика, смягчая внутренние трения на почве честолюбивых вожделений, вскоре установила бы революционное управление на очень широких основаниях.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Дантон вовсе не поручал всего этого людям, отличающимся только смелостью и духом авантюризма; по крайней мере он привлекал только тех из них, у которых способность к проявлению широкой инициативы соединялась с тонким знанием дела. Дантон вдохновлял Дюмурье; и, может быть, для того, чтобы сделать его наиболее приемлемым для всех, что укрепило бы национальную оборону, Дантон широко открыл доступ к должностям пылким членам Коммуны. То, что в глазах г-жи Ролан было подонками, Дантон называл закваской. Роланы вели против него скрытую и жестокую борьбу. Вспомним заметку, которую я уже цитировал.

«Враг всех порядочных граждан, любитель беспорядка и избиений, который печатает свои рецепты под опошленной вывеской «Друга Народа», включил в свой проскрипционный лист всех министров, за исключением г-на Дантона».

Совершенно очевидно, что, говоря таким образом, газета Бриссо хотела подчеркнуть солидарность Дантона с Маратом. Та же самая заметка дословно приводится на страницах официального сообщения министра внутренних дел, и в «Патриотических Анналах» Карра, а, в сущности, исходит из недр семейного очага добродетельных Роланов. Итак, сыпались отравленные стрелы, направленные против Дантона.

Теперь его обвиняют в том, что он обворовал мебельный склад.

Судите сами, на основании каких улик.

«В результате покражи, совершенной в мебельном складе (garde-meuble), целые миллионы попали в руки людей, которые должны были воспользоваться ими, как средством для постоянного поддержания анархии, этого источника их господства.

«На следующий день после этого крупного воровства,—пишет госпожа Ролан,—в 11 ч. утра ко мне пришел д'Эглантин, тот самый д'Эглантин, который перестал появляться у нас с самых сентябрьских дней; тот самый д'Эглантин, который во время последнего посещения сказал мне, как бы движимый глубоким сознанием того критического положения, в котором находилась Франция: «Никогда дела не пойдут хорошо, если власть не будет сосредоточена в одних руках; необходимо, чтобы Исполнительный Совет в лице своего председателя получил диктаторские полномочия». Д'Эглантин не застал меня; я только что вышла с г-жей Петион; он дожидался меня два часа; вернувшись домой, я нашла его во дворе; он вошел за мной, не дожидаясь моего приглашения; оставался полтора часа, несмотря на то, что я даже не пригласила его сесть; в высшей степени лицемерным тоном он высказывал свое сожаление по поводу совершенного в эту ночь воровства, благодаря которому нация лишилась подлинных сокровищ; он осведомлялся, не имеем ли мы каких-либо сведений относительно виновников, и удивлялся, что никто не ожидал ничего подобного. Затем он долго говорил о Робеспьере и Марате, который уже начал злословить Ролана и меня; говорил о них, как о горячих головах, которым надо дать свободу действия, как людям очень увлекающимся, хотя и с самыми лучшими намерениями, приходящим в бешенство решительно ото всего, но относительно которых не следует беспокоиться; я позволила ему высказаться, сама говорила очень мало и весьма сдержанно; он ушел, и с тех пор я его никогда не видала.

«Сегодня я принимала у себя,—сказала я своему мужу, когда мы с ним увидались,—одного из воров, обокравших мебельный склад, приходившего разузнать, нет ли против него каких-нибудь подозрений».—Кого же это?—«Фабр д'Эглантин. А ты откуда знаешь?»—Как? Такой дерзкий поступок может быть только делом смелого Дантона; я не знаю, будет ли когда-либо эта истина доказана

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

математически, но я ее живо чувствую, а Фабр сыграл только роль его соучастника и шпиона.

«Я узнала семь месяцев спустя, что задержали в тюрьме в Бовэ отъявленного негодяя по имени Лефора, который был захвачен с вещами из мебельного склада и который действовал по поручению Дантона; но последнего не смеют привлечь к ответственности, так как его партия в высшей степени могущественна».

На основании этих жалких сплетен, на основании каких-то «предчувствий» самонадеянной и мстительной женщины вся Жиронда клеветала на великого революционера. И пусть не ссылаются на то, что это было написано г-жей Ролан несколько месяцев спустя, когда уже побежденная Жиронда обвиняла Дантона в своем падении. Г-жа Ролан говорит, что у нее тотчас же мелькнула эта мысль и она тотчас же ухватилась за нее: и она не лжет. Кроме того, странная фраза Ролана, которую я подчеркнул, конечно, является отзвуком этого нелепого разговора министра и его жены. И газета Бриссо, сказав, что кража стоит в связи с грандиозной махинацией, еще подчеркивает:

«Это совершенно «необычное» воровство. А теперь мы знаем, что под этим выражением скрывалась нелепая клевета. Г-жа Ролан наболтала в кругу своих друзей, жадно подхватывавших все, что могло скомпрометировать великого Дантона, виновного лишь в том, что после 10-го августа он осмелился разделить власть с Жирондой. Всякому разумному и хладнокровному человеку должно бы казаться ясным, что визит Фабра д'Эглантина к г-же Ролан имел целью смягчить беспощадную борьбу, завязавшуюся между Роланом, с одной стороны, Робеспьером и Маратом—с другой. Дантон, уже тогда предвидя печальные последствия партийных раздоров, старался добиться примирения и соглашения. Но благодаря ограниченности и высокомерию г-жи Ролан, эта попытка, сделанная им через его друга д'Эглантина, была использована против Дантона. Мало того: если путем едва заметной агитации в столице можно было зараз запутать и погубить Робеспьера, Марата, Дантона—весь триумвират, то разве трудно было расширить сеть и придать самым простым событиям мелодраматический и таинственный смысл? Кроме того, совершенно очевидно, что в то время, когда все были охвачены реакцией сострадания и жаждой порядка, которая последовала тотчас за сентябрьскими избиениями, для самого Марата не представляло никакого интереса компрометировать себя смешными разбойничьими историями: срывание серег или золотых колец с первых попавшихся женщин вовсе не соответствовало его трагическому идеалу. Сам Марат особенно осуждал эти низкие провокационные приемы и видел в них (трогательная взаимность!) маневр своих врагов. 15-го сентября он писал:

«Всюду внезапно обнаруживаются новые козни. Вчера утром по городу распространилась тревога; во многих кварталах Парижа были учинены насилия над гражданками; какие-то подкупленные негодяи ломали руки и разрывали уши, отнимая серьги и золотые кольца... Повидимому, организаторы этих преступных козней хотели запугать граждан, и, сбивая их с толку мнимыми опасностями внутри страны, сорвать выборы в Национальный Конвент».

20-го сентября он же пишет:

«Но этим вовсе не ограничивается их злодейство (мнимых друзей справедливости). Чтобы дискредитировать временный муниципалитет, демонстрировать неспособность его комитета по части надзора и предоставить полную свободу интригам,—они подкупили шайку разбойников, чтобы обворовать мебельный склад и дома лучших граждан. Арестовав чиновников муниципальной полиции, эти негодяи поставили фальшивую стражу, они посеяли ужас во всех сердцах, распустив слух, что ограблены Мон-де-Пиете, Отель-де Вилль, мэрии, казначейства, и опубликовав, что через несколько дней будет перерезано все население.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

В этом не будет ничего удивительного, если принять во внимание огромное количество авантюристов, дезертиров, бывших королевских телохранителей и всякого рода преступников, которыми кишат постоялые дворы около Парижа».

Очевидно, что временная Коммуна, которой удалось продержаться, несмотря на сентябрьские потрясения и вопреки декрету Собрания, впрочем, исправленному и ослабленному, Коммуна, судьбу которой расходившееся Законодательное Собрание намеревалось вручить энергичному и молодому Конвенту,—старалась в этот момент избегнуть малейшего намека на провокацию беспорядка. Но что за дело Жиронде до всего этого,—она сеяла панику, уверяя, что за незначительными и неизбежными волнениями кроется постепенно обнаруживающийся план.

ГЛАВА VII.

Брожение на экономической почве, проект аграрной реформы.

Жиронде посчастливилось: она получила возможность обвинить противников в том, что они подготовляют аграрный закон, желая довести страну до безумия; она не остановилась перед тем, чтобы пустить в ход тот же прием, которым в этот момент пользовалась контр-революция. Двое из посланных исполнительной властью членов Коммуны, Дюфур и Моморо повели в Нормандии пропаганду, которая вооружила против них всех собственников как крестьян, так и буржуа. Они агитировали за расширенную и дополненную «Декларацию прав человека», они внесли в ее текст две следующие статьи:

«Нация признает только промышленную собственность. Равным образом нация обеспечивает гражданам гарантию и неприкосновенность того, что ошибочно называют территориальною собственностью до того момента, пока она не издаст соответствующих законов».

По недомыслию некоторые говорили: это социализм. Нет, это не социализм в совершенном и жизненном смысле этого слова. Новейший социализм возник, главным образом, на почве промышленного развития; он появился из растущего с каждым днем в области индустрии антагонизма между капиталистами и пролетариями. Социализм зародился в мозгу индустриальных рабочих, имевших в виду организацию промышленности.

Вопрос о собственности на землю попал в эту социальную систему вследствие ее неизбежного расширения и необходимости согласовать все виды производства в данном обществе. Наоборот, Моморо и Дюфур оспаривают только собственность на землю: собственность промышленную они оставляют совершенно в стороне. В известном смысле можно было бы сказать, что, очень далекие от того, чтобы итти к социализму, они лишь доводили до крайности чисто буржуазную теорию.

Но именно собственность индустриальная и движимая является характерной буржуазной собственностью—созданием и триумфом буржуазии. Буржуазия может разделять владение земельной собственностью с аристократией и духовенством, но то, что принадлежит собственно ей, то, что есть она сама, это—собственность индустриальная.

Революционная буржуазия не боялась экспроприировать церковь и эмигрировавшее дворянство; и хотя конфискация коснулась и движимого имущества, а также акций, принадлежавших эмигрантам,—главным делом, которое совершила революция, была экспроприация земельная («территориальная»). Следовательно;

Электронный архив библиотеки КГУ имени А.А. Кулешова

брать под свою защиту безусловно и навсегда собственность промышленную, это главное создание и главную силу буржуазии, и в то же время оспаривать собственность земельную, на которую буржуазия уже наложила свою руку,—это означало бы просто довести мысль революционной буржуазии до крайности или, если хотите, до парадокса. И нельзя видеть в этом открытия какого-то нового мира или новой системы права.

Впрочем, аграрная программа Моморо оставалась совершенно неоформленной. Он имел в виду аграрный закон, он запугивал собственников, отказывая землевладельцам в звании собственников, но он был совершенно неспособен формулировать или хотя бы набросать в общих чертах свой проект земельной реформы.

Думал ли он передать в собственность общинам все земли, отнятые у частных владельцев? Но даже у крайних демократов, и, в особенности, у них, была тенденция совершенно противоположная: они, напр., хотели поделить общинные земли между бедняками. Но, может быть, предполагалось пустить в раздел общинные угодья? Но тогда кто должен был быть привлечен к этому разделу? Если бы участвовать в нем имели право только жители деревень, то какая это была бы несправедливость! Как можно было бы отказать городскому пролетариату, беднякам больших предместий, в доле угодий, которые хотели вернуть общинам: ведь промышленный пролетариат не может быть устранен от пользования общим достоянием. С другой стороны, если бы он был привлечен к этому разделу, то какой бы это был грандиозный переворот и какое печальное попятное движение в области экономической жизни. Если бы рабочие покинули свой городской труд для того, чтобы обрабатывать свой надел, это было бы концом индустриального развития, означало бы своего рода возврат к исключительному преобладанию земледелия,—возврат, граничащий с варварством. А если бы рабочие стали сдавать в аренду или продавать свои участки, то «территориальная» собственность снова была бы восстановлена.

Остается только одно возможное решение вопроса. Нация могла заменить собою всех землевладельцев, или, по крайней мере тех, которые не обрабатывали своих наделов личным трудом. После того как государство национализировало собственность церкви и эмигрантов, оно национализировало бы и земельную собственность буржуазии. Но оно не пустило бы эти земли в продажу, так как всякая продажа земельной собственности отныне становилась бы невозможной, но нация получала бы с таких земель определенный доход, который мог бы пойти на общественные нужды. Но если чисто аграрная концепция Моморо и Дюфура имела в виду подобный проект национализации, то против нее поднимаются новые неоспоримые возражения. Во-первых, почему надо было лишать буржуа капитала, употребленного им на покупку земельного владения, в то время как этот же самый капитал ему оставляли, если он был вложен в собственность индустриальную, или в акции компаний или в государственную ренту? И, во-вторых, разве не было явной несправедливостью и даже контр-революционным шагом ограбить эту часть патриотической, революционно настроенной буржуазии, не боявшейся вложить свои фонды на покупку национальных имуществ и в то же время почтительно остановиться перед собственностью той трусливой и враждебной революции буржуазии, которая не хотела связать своей судьбы с революцией?

Наконец, всякая продажа того, что осталось от церковных и эмигрантских имуществ, естественно прекратилась бы, и нация, вместо того чтобы быстро реализовать путем продажи и получить в свое распоряжение значительные суммы, в которых она так нуждалась, имела бы лишь доходы с конфискованных владений.

Таким образом, трудности возникали со всех сторон.

Электронная библиотека МГУ имени А.Г. Кузьмина

Если бы Моморо и Дюфуру пришлось продумать до конца свою собственную мысль, то они пришли бы к формуле Сен-Жюста, т.-е. к созданию определенного национального земельного фонда, сдаваемого в аренду тем гражданам, которые не владели землей, но которые в то же время не имели возможности заниматься индустрией. Так, по крайней мере, я понимаю некоторые мысли Сен-Жюста, которые мне придется комментировать в соответствующем месте позже. Во всяком случае, общая и неопределенная формула Моморо и Дюфура была весьма неблагоразумной: не представляя собой никакой программы, не подготовляя никакого решения, она в то же время внушала тревогу всем земельным собственникам, всем крестьянам и всем владельцам национальных имуществ, рискуя вооружить против революции всех ее друзей. В этом крылась серьезная опасность!

Бюзо, председательствовавшему на последних заседаниях избирательного собрания в Бернэ, едва удалось взять под свою защиту смелых пропагандистов: так велико было единодушное негодование присутствовавших. При всей ее бессвязности и незаконченности, мысли Моморо нельзя, однако, отказать в смелости. До сих пор даже наиболее решительные, как, напр., аббат Доливье, говорили о земельной собственности лишь в весьма туманных выражениях. А теперь, под натиском народного движения 10-го августа и под давлением Революционной Коммуны, всякая земельная собственность—буржуазная ли, аристократическая или церковная—об'являлась незаконной. Более того: идея Моморо вошла даже в Декларацию прав, что ограничивало значение прежней статьи, определявшей право собственности. Этим возвещалось новое потрясение, хотя еще смутное, но глубокое и широкое.

Уже возникало в умах некоторое довольно сильное и, я думаю, довольно искреннее чувство тревоги. Революция, смело осуществившая уже всякого рода аграрную экспроприацию, теперь смутно чувствовала себя как бы обязанной произвести еще более смелые операции. Но она не решалась согласиться, наконец, на этот неясный, внушавший тревогу и казавшийся каким-то безумием аграрный закон, истинная сущность которого была неуловима. По мере того как укреплялась демократия и поднимался народ, революция боялась нарушить равновесие собственности и она непрестанно повторяла самой себе, словно стараясь предохранить себя от искушения и гибели, что собственность священна. Даже в те моменты, когда ей казалось все более необходимым подкрепить нерешительную умеренную буржуазию силой народной, «пролетарской», она спрашивала себя: не становится ли она на наклонную проскость?

Еще до 10-го августа Марат испускал от имени бедняков крики гнева, требования и отчаяния, что на следующий же день после народной победы 10-го августа легко можно было обратить в угрозу аграрным законом. Революции никогда не увенчаются успехом, — писал он 7-го июля; — «когда плебс, т.-е. низшие классы в борьбе против высших бывают предоставлены только своим собственным силам. В момент восстания, он успешно все сокрушает своей массой. Но, добившись сначала некоторого успеха, движение в конце концов оказывается побежденным; всегда ему нехватает знания, сноровки, средств, оружия, вождей, определенного плана действий; оно остается беззащитным против заговорщиков, обладающих опытностью, ловкостью и хитростью.. А если в борьбе против деспотизма принимали участие люди просвещенные зажиточные, то только для того, чтобы потом обратиться против народа и, добившись его доверия, воспользоваться его силами и стать самим на место только что упраздненных привилегированных сословий. Таким образом революция совершается и поддерживается только низшими классами общества, — рабочими, ремесленниками, мелочными торговцами, земледельцами — всеми этими

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

обездоленными, которых бесстыдное богатство третирует, как каналий, и которых римляне, со свойственным им цинизмом, некогда прозвали пролетариями. Но чего уже никогда нельзя было ожидать, — это, что революция совершилась в пользу мелких земельных собственников, законников и пособников сутяжничества».

А во вторник, 10-го июля, под обескураживающим заглавием: «Раскрытие новых причин, угрожающих установлению свободы у французов»—Марат снова поднимает неистовый вопль против социального неравенства, матери рабства: «Посмотрим,—пишет он,—на вещи оптимистически. Допустим, что все знают и любят свободу; и все же большинство вынуждено от нее отказаться ради добывания хлеба насущного; прежде чем подумать о том, чтобы сделаться свободными, приходится подумать о средствах к жизни.

«Почти во всей стране семь десятых граждан дурно питаются, плохо одеваются, имеют плохое жилище и убогое ложе. Три десятых проводят свои дни в лишениях, их прошлое и настоящее одинаково полно страдания, то же сулит им будущее; вся их жизнь есть непрерывное лишение, они боятся зимы, они страшатся собственного существования. А сколько обречено на крайнюю нищету, от которой сжимается сердце: их лишения доходят до полного отсутствия одежды и предметов питания; доведенные до крайнего истощения голодом, полураздетые, проводя дни в поисках каких-нибудь отбросов, на ночь они скрываются в берлогах, где в продолжение всего года спят на навозе, перенося все лишения, связанные с временами года.

«Во Франции мы встретим на каждом шагу эти потрясающие картины. Лишены куска хлеба как раз те, кто освободил от забот о нем других, кто делает почву плодородной и извлекает из нее тучные колосья.

«А на-рядус этими несчастными имеются богатые, которые спят на пуховиках, среди золоченых стен, стол которых покрыт только первинками, взятыми от всех климатов для удовлетворения их чревоугодия, и которые пожирают за один обед благосостояние ста семейств. Недостойные баловни судьбы — это они командуют другими, являются вершителями судеб народа».

Да, но вся эта, валяющаяся в навозе и проводящая ночи в отчаянии, нищета, которая поднялась на ноги с победой 10-го августа, не потребует ли теперь своей доли участия в радостях жизни? И, если верно, что революция пошла на пользу, главным образом, «мелким земельным собственникам», тем, которые, владея малым наделом, видели в революции освобождение от церковных и феодальных поборов, то не было ли возможности распространить ее блага на всех граждан, и особенно на сельских пролетариев, обрабатывающих землю, но не имеющих хлеба, лишенных достатка? Было бы правильным наделить и их земельными участками! Таким образом, революционная буржуазия имела основание предполагать, что беднейший пролетариат вот-вот потребует чего-то вроде аграрного закона в награду за помощь, оказанную им революции.

В самом деле: разве не было бы вполне последовательно уничтожить, наконец, собственность, пользуясь все более и более поддержкой со стороны лишен-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ных собственности? А между тем революция противилась парадоксальным и крайним выводам, которые, казалось, властно ее манили. Когда, напр., якобинцы в заседании 12-го сентября слушали лионского федерата, говорившего о том, что негоцианты его города, эти крайние аристократы, пользуются войсками, чтобы окончательно закабалить своих рабочих, оставляют их без работы и тем обрекают на крайние лишения, оставляя таким образом за собой возможность раздавить их при малейшем движении; когда оратор требовал отозвания войск, чтобы хозяева и рабочие были предоставлены самим себе, или когда якобинцы констатировали, что в крупных промышленных центрах революция переходит уже в классовую войну,—они тем решительнее пытались поставить право собственности вне всяких споров. Иногда некоторые из них, казалось, теряли почву под ногами и, защищая право собственности для настоящего, наполовину отказывались от него, поскольку речь шла о будущем.

Всегда несколько легковесная и грубоватая газета Прюдома, оглушенная криками Жиронды, приняла всерьез слабое движение, о котором я говорю; она готова видеть в нем как бы прелюдию гражданской войны и обращается к народу с проповедью о необходимости временного самоотречения (№ 15, от 22 -го сент.).

«Сами эмиссары, искусно направляемые тайными происками, пытаются натравить на богатых обездоленные классы. Если бы это вероломство удалось, оно было бы более быстрым и надежным средством, чем несколько союзных армий. Наши враги будут торжествовать победу, когда узнают, что Париж сделался ареной восстания против собственности. Уже и теперь при встрече граждане недоверчиво измеряют друг друга взглядами, стараясь прочитать тайные мысли. Серебряные вещи уже припрятаны! Зажиточные парижане! Что вы делаете? Берегитесь! принимая эти меры предосторожности, вы клевещете на народ и позорите его доброе имя.

«Всегда он уважал «твое» и «мое», и его мораль всегда была: не делай другому того, чего себе не желаешь. К т о м у ж е о н з н а е т, ч т о э т и б о г а т с т в а, р а з у м н о с б е р е г а е м ы е в а м и в о в р е м я и з о б и л и я, п р и г о д я т с я в б у д у щ е м: о н и н а й д у т с е б е п р и л о ж е н и е п р и п е р в ы х ж е п р и з н а к а х н у ж д ы. О н с ч и т а е т, ч т о в ы п е р в ы е п р и н е с е т е и х в д а р о т е ч е с т в у, т о г д а к а к, б у д у ч и р а с х и щ е н ы с б и т о й с т о л к у т о л п о й, э т и б л а г а б ы л и б ы п о т е р я н ы д л я о б щ е с т в а. Пусть злонамеренные граждане сознательно не признают вас, почтенные бедняки, н о п у с т ь о н и у з н а ю т о т в а с, ч т о н е п р и ш л о е щ е в р е м я с о к р у ш и т ь а р и с т о к р а т и ю б о г а т ы х; н а с т а н е т д е н ь, и о н у ж е н е д а л е к, о н н а с т у п и т т о т ч а с ж е п о с л е н а ш и х в о й н, — д е н ь, к о г д а с о с т о я н и я б у д у т у р а в н е н ы н а о с н о в а н и и з а к о н а.

«Теперь же революция только может и должна облагать богатых налогами во имя интересов отечества».

Конечно, во всем этом не заметно ни ясности точки зрения, ни социальной философии, ни плана нового общества. Да и как могла едва народившаяся буржуазная демократия сразу же создать иной идеал? Но уже и это было признаком какого-то брожения и новой смуты. И революция инстинктивно реагировала соответствующим образом на это еще не осознанное увлечение. В эту эпоху сам Эбер успокаивал богатых. Он твердил им, что без санкюлотов, без федератов и волонтеров они уже пали бы под ударами герцога Брауншвейгского, что революционный народ спас их дворцы и богатства. Едва лишь стала известна новая декларация прав Моморо, как журналисты поспешили подвергнуть ее уничтожающей критике; и не только затем, чтобы поднять шум по поводу безрассудства Коммуны: как будто бы сама революционная совесть была

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

в тревоге, и искала в смятении предела, на котором ей следовало бы остановиться. Для социальной истории было бы важно сопоставить эти документы, в которых отразилась еще недостаточно освещенная идеология эпохи Конвента. Газета Прюдома многословна и тяжеловесна. Она обращается к новым избранникам с такими речами:

«Немедленно предоставить в пользование народа те блага, которые им созданы, является настоятельной и неотложной необходимостью; необходимо сделать так, чтобы революция стала для народа его собственным делом; но так как он слишком многочислен, чтобы самому произвести раздел этих благ, вы должны управлять его достоянием так, как если бы он управлял им сам.

«Мы уже говорили и мы снова повторяем, что аграрный закон неосуществим; это—безумное требование, которое никому не приходило в голову и которое было выдвинуто с целью отбросить вас в сторону оппозиции. Никакой здравомыслящий человек не может представить себе установления всеобщего закона, который при всяком случае рождения и смерти отдельного лица необходимо вызовет изменение, влекущее за собой полнейшее ниспровержение всего государственного строя. Но необходимо (и без этого нет равенства, а без равенства нет свободы), чтобы было произведено известное смягчение имущественного неравенства, уничтожило бы безнравственную систему преимуществ, которыми богатые пользуются перед бедными.

«Нельзя допускать, чтобы гражданин имел более определенного количества арпанов земли. Может показаться странным, что, на-ряду с проведением земельного передела, мы подчеркиваем необходимость общественного воспитания, находим небесполезным мимоходом заметить по этому поводу следующее. Когда вы разрушите одновременно и преимущество богатства над бедностью, и преимущество таланта над невежеством,—это опасное преимущество, которое сегодня еще имеется в количестве почти ста на сто,—будет уменьшено на протяжении 5—6 лет до 60% и т. д.; с течением времени установится равновесие, так что искусный и просвещенный человек никогда не сможет употреблять своих познаний во зло.

«Но, положим, вы провели эту меру. Если бы собрать весь народ,—а вы не должны забывать, что вы являетесь лишь его заместителями,— он вам сказал бы: пока скажутся ее результаты, останется много бедняков, а они не должны страдать, ибо законы негодны в самой своей основе и таят в самих себе разрушение, если в республике есть хоть один недовольный и угнетенный; *следовательно, до полного проведения уравнения в имуществах, которое всех нас об'единит одними и теми же узами, одними и теми же естественными интересами и одними и теми же радостями*,—надо, чтобы тот, кто не имеет 400 ливров чистого дохода, абсолютно ничего не платил бы деньгами; он уплатит свой долг государству своей работой, своим потреблением, защитой своего очага, тем, что будет иметь многочисленное потомство... Но кто же покроет текущие государственные расходы? Имущества эмигрантов покроют часть расходов, которые возросли вследствие войны... Справедливость требует еще от вас взыскать чрезвычайный налог с заведомых врагов свободы и равенства, собственность и привилегии которых являются самым ценным сокровищем...»

Все это весьма туманно или довольно топорно. Как, в какой форме, с помощью каких органов будет подготовлено это предполагаемое уравнение имуществ? Это—тайна. И в заключение ничего не остается, кроме освобождения бедняков от налога, а для некоторых подозрительных групп богачей—принудительный заем.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Более определенно и не без горячности принимаются критиковать программу Моморо и аграрный закон газеты Карра и Кондорсе. «Патриотические Летописи» от 19-го сентября пишут:

«С начала революции аристократы не переставали говорить об аграрном законе, не потому, конечно, что они верили в его возможность; они очень хорошо знали, что лежащая в его основании несправедливость делает его неосуществимым; но им казалось, что самое слово способно посеять преступление и смуту в народе; они сделали из него пугало для собственников, чтобы привлечь их в свою партию. Жалкая каста торговцев пергаментом нуждалась в подкреплении. Ей необходимо было привлечь, по возможности, на свою сторону почтенных людей и высшую буржуазию. Но, одного ухаживания было недостаточно. Было более верное средство—запугать собственников. и это средство привлекло нескольких новых единомышленников. Однако все то, что исходило от заведомой аристократии, являлось подозрительным и ненавистным, и потому пришлось надеть маску патриотизма и проповедовать аграрный закон от своего имени. Это теперь и делают.

«Таким образом, всякий, кто говрит об аграрном законе, о переделе земли, есть явный аристократ, враг общества, злодей, которого нужно уничтожить, потому что если это не кобленцист, то—интриган, принадлежащий к какой-нибудь кучке или группе жадных к деньгам капиталистов, спекулирующих на национальном достоянии; это они пытаются отвлечь легковерных граждан от покупки национальных имуществ, чтобы приобрести их по самой низкой цене. Или, наконец, это—черствый ростовщик, портфель которого наполнен бывшими королевскими векселями, а потому ему хочется поднять их курс путем дискредитирования земельных приобретений. Все эти почтенные люди обрабатывают народ в том же духе. Присоединим сюда многочисленные семейства эмигрантов, которые, предчувствуя приближение момента продажи их имущества, надеются, что этот страх перед аграрным законом поведет к его провалу, если страх перед прусскими пушками уже не действует.

«Присмотримся, однако, к этому призраку; может ли он когда-нибудь принять некоторую реальность? Если бы народ не заявлял нам постоянно о своем отвращении к грабежу, мы могли бы бояться каких-нибудь эксцессов в этом роде с его стороны, но ни в каком случае не раздела имущества: ибо в чем же была бы гарантия этого незаконного передела после восстания?

«Аграрный закон не может быть результатом восстания. Но тогда кто же может его декретировать: Национальный Конвент, Законодательное Собрание? Это предположение мало вероятно, потому что тогда пришлось бы предположить, что все члены этих собраний—круглые невежды или совершенно испорченные люди, что также трудно предположить. Да если бы даже они его и декретировали, то где же та принудительная сила, которая могла бы заставить провести его в жизнь? Впрочем, я удивляюсь своей готовности опровергать подобные нелепости и извиняюсь перед читателем...

«Это была бы поистине сказка о курице с золотыми яйцами; нечего бояться, что нация когда-нибудь примет принцип, разрушающий всякую собственность. Но было бы прискорбно, если бы с помощью этого средства удалось посеять смуту в народе, подбить его на его же несчастье, поднять его, чтобы повергнуть потом в пропасть, вырытую его врагами. Пусть просвещенные и воодушевленные самыми бескорыстными намерениями люди постараются рассеять его невежество, пусть

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

об'явят войну всяким приманкам злонамеренных лиц, гораздо более, может быть, опасным, чем оружие прусских и австрийских разбойников».

Мне кажется, что в газете Карра чувствуются тревожные опасения. Если необходимо просветить невежество народа относительно этого пункта, если, чтобы об'яснить распространение идеи аграрного закона, приходится ссылаться на маневры капиталистов, козни ростовщиков, на ложь эмигрантов; если вся контр-революция, часть финансистов-спекулянтов и беспокойный авангард народа сознательно или бессознательно действуют в таком согласии, усиливая своей пропагандой влияние этой идеи, возбуждая вокруг нее и страхи, и надежды, если все это так,—то разве это не значит, что идея аграрного закона уже сделала кое-какие завоевания?

И напрасно Карра просто отбрасывает самое понятие аграрного закона, ему было бы нетрудно доказать его незрелость; но возможно, что для известной части народа, для пролетариев и безземельных самое слово аграрный закон служило лишь символом, призывом к более осязательному равенству, к общественному строю, обеспечивающему более прочные гарантии и права. Под этой зачаточной формой, под этой незрелой оболочкой, может быть, давали себя знать могущественные инстинкты и беспокойные силы. В свою очередь газета Кондорсе также выступает с уничтожающей критикой: берет здесь слово сам крупный банкир-космополит Анахарсис Клотц, этот «оратор рода человеческого». В его критике сказывается здравый смысл делового человека; он знает, каковы условия и законы производства при буржуазном строе. Он ополчается против аграрного закона в суровых выражениях, как будто имеет в виду действительную опасность:

«Долой смутьянов!

«Только сумасбродам или предателям нравится вселять ужас в души собственников; хотят посеять раздор между французами, которые живут на доходы с своих земель, и французами, живущими на доходы от индустрии. Этот дезорганизаторский проект выходит из лавочки Кобленца: мнимые патриоты рассчитывают приобрести популярность, об'являя земельную собственность химерой, которая должна исчезнуть перед реальностью собственности промышленной. Эта галиматья не заслуживала бы никакого опровержения, если бы она не порождала тревоги среди простодушных граждан, которые боятся потери своего наследственного достояния в такой же степени, как нашествия немцев. Эта галиматья содействовала более, чем полагают, взятию Лонгви и Вердена.

«Вот уже три года, как, по приказанию европейских тиранов, распространяются демагогические писания аристократов, в которых искусно демонстрируется опасность, угрожающая со стороны мнимого аграрного закона. Если бы эта угроза осуществилась, контр-революция была бы возможна; анархия избавила бы соседних монархов от труда составлять коалиции против Франции. Узурпаторы ненавидят наше возрождение, потому что оно возвращает собственникам все их права, нарушенные феодализмом.

«Злонамеренные лица призывают бедняков об'явить войну богатым; но народ благоразумен: он очень хорошо понимает, что земельная собственность есть основа индустрии, и что одно без другого не может существовать. В деревне проповедников земельного передела не станут и слушать, а в городе их побьют камнями, так как многие мастерские были бы разорены этим безумным учением. Рабочие, которые зарабатывают 30 или 40 су в день, богаты своим трудом и надеждами: если бы разделить наши 67 миллионов арпанов возделываемой

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

земли между 27 миллионами людей, то уже второе поколение их было бы доведено до нищеты, невежества, апатии и бессилия, которое подчинило бы их игу первого завоевателя.

«Не было бы ни городов, ни дорог, ни плотин, ни почтовых сношений, ни типографий, ни бумаги, ни газет, ни журналистов, никакой моральной или физической защиты. Коснеть в варварстве на навозе несчастного арпана земли, то обледенелого, то затопленного водой, было бы участью французских граждан. Самый ничтожный поденщик предпочтет свой ежедневный заработок риску, связанному с владением даже самым лучшим участком земли, тем более, что при свободных порядках цена на рабочие руки будет повышаться.

«Не нужно большой проницательности, чтобы предвидеть печальные последствия нарушения твоего и моего. Самый последний рабочий огромной мануфактуры отверг бы предложение лицемера разделить магазины и капиталы фабриканта, который снабжает работой сотни рабочих семейств, даже не имея с ним непосредственной связи.

«Наиболее ограниченный из ремесленников убежден, что ограбление знаменитого Декрето привело бы к гибели от истощения три или четыре тысячи граждан. Пусть те, которые хотят провести свои возбуждающие страсти, зажигательные предложения, уйдут подальше от благонамеренного общества, потому что они были бы посрамлены всеми жителями городов и всеми собственниками и фермерами деревни, благосостояние которых зависит от рынка населенных и торговых городов. Здравомыслящие и справедливые люди, истинные друзья рода человеческого, должны поскорее успокоить мир относительно бессильного проекта ничтожной клики.

«Из раздела земли вышло бы то же самое, что из раздела рек: мы потеряли бы все выгоды рыбной ловли, навигации и рыбной торговли. Излишества кровопускания могут причинить смерть самому крепкому человеку. Чем, в сущности, недовольны смутьяны? Разве новый строй не ведет к раздроблению колоссальных имуществ путем осторожных и заботливых мероприятий? Право субституции, право старшинства и преимущество наследников-мужчин уничтожены так же, как звание мастера, привилегии и всякие сеньёриальные и фискальные перегородки.

«Не будут больше обогащаться ни двор, ни церковь, ни сборщики податей. Биржевые дельцы не будут больше грабительски собирать груды золота в кругу финансистов; мы будем презирать современных Гракхов, но будем подражать древнему Гракху: распределим общинные имущества среди миллиона бедняков, распределим обширные земли, которые ожидают рабочих рук на Корсике, Мадагаскаре и в Гвиане.

«Творческое соревнование умножит отрасли промышленности в колониях и на континенте; общественное благополучие лучше возрастет благодаря более быстрому обращению и обилию произведений земли и моря.

«Итак, будьте покойны, малодушные собственники, и взвесьте мои слова; я желал бы, чтобы комиссары Национального Собрания дали решительный ответ администраторам Реймса, которые, клянясь принципом равенства, обнаруживали явное беспокойство за свои законные владения; нужно показать трусливым, что большинство так называемых бедняков в высшей степени заинтересовано в сохранении меньшинства так называемых богачей. Это тем более необходимо показать в на-

Электронный архив библиотеки имени А.А. Кулешова

стоящий момент, что мы выдерживаем разорительную войну при помощи ассигнатов, которые являются как бы ипотеками на национальные леса и фермы и продаются по самой низкой цене,—до такой степени страх перед аграрным законом мешает капиталистам—нашим и иностранным—делать территориальные приобретения во Франции. Национальный Конвент опубликует, несомненно, инструкцию, чтобы успокоить напуганных собственников».

Мне незачем пускаться здесь в обсуждение взглядов крупного банкира. В сущности, он даже прав. Конечно, раздел земли есть реакционная утопия, которая привела бы общество в состояние аграрного варварства и всеобщей нищеты. Основное и наиболее плодотворное разделение труда есть разделение на город и деревню, на труд промышленный и труд земледельческий. Всеобщее земельное поравнение уничтожило бы это существенное разделение человеческого труда, разбило бы семьи по мелким деревенским владениям, рассеяло бы и принизило бы человеческую деятельность: люди были бы в состоянии думать об удовлетворении только наиболее грубых и наиболее простых потребностей. Анахарсис Клотц прав, что промышленность зиждется на земле, т.-е. ей приходится брать из почвы сырье, которое она пускает в дело, брать продукты, которые она преобразует и утилизирует. А это, очевидно, предполагает, что все произведения земли потребляются не только деревенскими жителями; последнее имело бы место лишь в случае уравнительного распределения земли между всеми гражданами.

И Клотц прав, говоря, что эта реформа была бы гибельна для городских рабочих в такой же степени, в какой она наносила бы ущерб сельским собственникам. Их заработная плата обеспечивает им большее благосостояние, чем продукты с нескольких арпанов земли, которыми они были бы наделены. И задача искусной политики—предостеречь рабочий класс в о и м я е г о с о б с т в е н н о г о и н т е р е с а против реакционной утопии, ведущей к всеобщему обеднению.

Но Клотц идет еще дальше. Он чувствует очень хорошо, что под земельным разделом, в сущности, разумеется раздел состояний. Сознательно или бессознательно, но вопрос с тех пор ставился именно таким образом. Было бы невозможно произвести раздел земельного имущества, не задаваясь вопросом, что следовало бы сделать с имуществом другого рода, и мысль разделить промышленные капиталы была бы неизбежно внушена разделом земельных богатств. Клотц смело идет навстречу опасности: он доказывает, что концентрация капиталов, промышленной и торговой деятельности является непременным условием крупного производства и крупного обмена. Совершенно верно, что расчленять в целях раздела огромное промышленное или торговое предприятие, значит просто его убить. Дележка промышленной собственности еще более нелепа и более убийственна, чем раздел земельной собственности, потому что промышленный организм, более сконцентрированный, не перенес бы без гибели раздробления, к которому приспособляется в силу необходимости сельское хозяйство. Клотц понимал смысл совершавшейся на его глазах великой капиталистической эволюции, и он напрасно несколько смягчает и затушевывает свой тезис, говоря, что с помощью осторожных предохранительных мероприятий огромные состояния могли бы быть уменьшены; в действительности он исключает только источники обогащения, уже закрытые или упраздненные революцией: вспомним о доходах двора и церкви. Он оставляет в полной неприкосновенности главные источники буржуазного обогащения—крупную торговлю и крупную промышленность. И он прав, говоря, что не бесчисленными мелкими ручьями, а широким руслом выливается сила производства и растет обогащение. Он решительно противопоставляет застою и земледельческому распылению смелый и прогрессивный капитализм,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

которому суждено было господствовать в новую эпоху и медленно подготовлять элементы социалистического строя.

Любопытная вещь! тем же самым призраком «аграрного закона» и «дележа», которым пользовались сто лет тому назад в борьбе с буржуазной революцией, пользуются теперь в борьбе с пролетарской. Нас, социалистов, считают в настоящее время сторонниками дележа и преемниками буржуазных революционеров, которым приписывалась идея дележа врагами революции. В борьбе с нами пробуют убедить крестьян, что мы хотим произвести всеобщий раздел,—нелепый и ребяческий упрек, еще более нелепый теперь, в применении к социалистам, чем сто лет тому назад, когда бросили его буржуазным революционерам.

Ибо если в конце 1792 г. уже имелась налицо промышленная культура, которая была бы уничтожена всеобщим земельным переделом, если и тогда уже промышленные рабочие считали себя более обеспеченными своей заработной платой, чем если бы они получили ничтожный участок земли,—то насколько ужаснее была бы катастрофа в настоящее время, при существовании невероятно разросшихся городов, когда средства производства и рабочая сила удесятерились. Едва ли нужно прибавлять, что социалисты не намерены дробить, расчленять огромные промышленные организмы; наоборот, они не хотят разветвлять на бесчисленные мелкие русла растущую силу великой реки. Они, наоборот, хотят расширить и углубить эти реки великого современного производства, и они намерены об'единить их взаимной связью и образовать из них одну систему, одновременно централизованную и многообразную, отличающуюся жизненностью и высокой производительностью; только мы не хотим,—если уж пользоваться сравнением Клотца,—чтобы эти реки эксплоатировало меньшинство и присвоивало бы в ущерб рабочему коллективу выгоды рыбной ловли, навигации и двигательной силы. Мы не намерены разбивать великие кадры современной промышленности, но хотим установить в ней господство организованного труда.

Судя по страстному и убедительному тону крупного банкира, очевидно, что идея аграрного закона имела больше влияния на умы, чем это обыкновенно полагают, по крайней мере собственники начали серьезно беспокоиться; показательно и то, что он сообщал о реймских администраторах: присягая принципу равенства, они боялись, однако, пойти на равный дележ имуществ, на то, что вскоре будет названо «действительным равенством»; и Клотц не боялся намекать, что если Лонгви и Верден пали, то только потому, что буржуазия этих двух городов чувствовала себя в большей опасности от пропаганды против собственности, чем от завоевателей.

Таким образом на Западе, в центре, на Востоке—в Беарне, в Реймсе, в Лонгви—та же тревога, те же опасения.

Было бы ребячеством утверждать, что контр-революция одна ответственна за эти тревоги. Как бы реакционна ни была сама по себе программа аграрного закона и раздела, естественно, что в эту эпоху ею соблазнилась наиболее угнетенная или наиболее пылкая часть народа. Несмотря на вполне очевидный рост промышленного могущества и движимой собственности, земля также являлась, если можно так выразиться, с у щ н о с т ь ю богатства. Именно, владея землей, церковь и дворяне, эти вчерашние господа положения, могли еще сопротивляться и даже пытались укрепить свои позиции. И буржуазия спешно раскупает национальные имущества, чтобы, в свою очередь, укрепить свое зарождающееся господство на почве землевладения.

Теперь, когда, наконец, поднялся народ, когда он только что завоевал всеобщее избирательное право и политические свободы, когда он стал играть решающую роль, когда ему предстояло создать республику, в которой его могущество достигло бы наибольшей силы,—следовало ли и ему, так сказать,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. Г. Столетова

освятить свою новую власть землей, отметить свое господство над тем, что было в течение веков знаком господства дворянства и церкви, а теперь стало знаком господства буржуазии? Таким образом, в умах происходило смутное брожение: реакционные идеи перемешивались с здоровыми элементами будущего развития.

И Кералио вслед за Клотцем считал полезным опровергать аграрный закон в «Парижской Хронике» Кондорсе и во «Французском Патриоте» Бриссо:

«В некоторых официальных документах я вычитал, что комиссары, называющие себя посланцами исполнительной власти и Парижской Коммуны, распространяли некую декларацию прав, об'являющую, что нация-де признает только промышленную собственность и гарантирует то, что л о ж н о называется земельной собственностью, лишь до того момента, когда будут установлены законы по этому предмету. Неизвестно, кого более поражает дерзкое выступление этих лиц, отваживающихся без каких бы то ни было полномочий от высшей власти говорить от ее имени,—кто больше пострадает от нелепых проектов, возвещенных этой странной декларацией, и от опасных смут, которые они возбуждают. Весьма важно предостеречь от этих рискованных утверждений, которые продиктованы либо глубоким невежеством, либо злостным недоброжелательством, и которые вводят в заблуждение доверчивых граждан.

«Эти лица, которые осмеливаются стать выше воли верховного народа, заявляют нам, что они признают только индустриальную собственность, и что наша нация ошиблась, как и все другие, когда она признала и гарантировала земельную собственность. Мы определенно можем сказать, имея в виду фантазии некоторых мечтателей, что, желая сделать землю общественной собственностью, они низводят людей до состояния животных.

«Я мог бы разбить их и на этой почве. Не совсем верно, что даже и у животных земля находится в общем пользовании. Каждое имеет своего рода земельную собственность: участок, который оно избирает и подготовляет, чтобы на нем расположиться, принадлежит ему, и оно имеет право его защищать. Добавлю, что и дикие народности имеют в некотором роде земельную собственность: каждое племя занимает для своей охоты определенный участок, от пользования которым оно устраняет другие племена. Но здесь не время развивать эти мысли. Я предполагаю сделать это в другом месте и перехожу к современному состоянию цивилизации.

«Мнимые властители, предписывающие совершенно новые законы, оставляют нам промышленную собственность; но разве земельная собственность не основана на нашей индустрии? Как! Дерево, которое я выкорчевал, чтобы сделать столб, стрелу или палку, будет мне принадлежать уже потому, что не находится больше в земле, а дерево, которое я извлек из одного места с большим трудом и пересадил в другое место, дерево, которое я вырастил и выходил своими стараниями, не будет мне принадлежать потому, что оно—в земле? Как! Хижина или дом, что я построил, и земля под ними мне не принадлежит, потому что столбы и камни, которые их поддерживают, касаются земли! Все эти вещи принадлежат мне в состоянии первобытном, когда я могу их защищать. Равным образом они принадлежат мне и в состоянии общественном, упорядоченном, но принадлежат более прочно, в силу взаимных гарантий всякого рода собственности.

«Но к какой же цели стремятся эти отважные новаторы, исходя из подобного принципа? Хотят ли они разделить всю территорию Франции на равные части, с тем, чтобы каждый глава семьи имел свою долю? Тогда каждый из этих владельцев имел бы собственность на свой участок; она была бы гарантирована всеми другими, и существовала бы земельная собственность, совершенно подобная той, которая существует в настоящее время. Таким образом, наши мнимые законодатели выдвинули ложный принцип, чтобы нарушить су-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ществующий порядок и, восставая против существующей земельной собственности, установить собственность совершенно того же рода.

«Рассмотрим теперь, к чему привел бы раздел, который эти новаторы, кажется, предполагают. Какой-нибудь колонии, которая владеет ограниченной территорией, легко разделить землю между главами семей на почти равные части. Возможно, что законодатель, который дает новые законы маленькому народу, устанавливает этот дележ одновременно с законами. Так поступил Ликург в Лаконии. Некоторые греческие философы, и между ними Платон, великий философ в области морали, поэт и мечтатель в области политики, приняли этот равный раздел земельной собственности и хотели возвести его в какое-то общеобязательное правило. Но первая же попытка провести эту идею в жизнь не удалась в силу неодинаковости качества почвы и более или менее благоприятного положения торговли. Еще больше затруднений встретил бы такой раздел, если бы его стали проводить среди великой нации, существующей уже давно; да если бы даже он и имел место однажды у большого или малого народа, было бы нелепо думать, что он мог бы удержаться. Очевидно, что, выделяя каждому семейству строго определенный участок национальной территории, следовало бы ограничить число семей и число детей в каждой семье. Иначе— в течение нескольких лет у одного главы семьи может, благодаря высокой смертности, скопиться земли более, чем полагается на одну семью, и он сделается богачом; другие семьи, напротив, разрастутся, благодаря плодовитости родителей и обеднеют. Плодородная почва может истощиться; колебание рыночных цен приведет к увеличению стоимости земледельческих продуктов на одном участке и уменьшит ее на другом. В результате мнимое равенство имуществ исчезнет. Его можно будет сохранить только в том случае, если постоянно производить земельный передел в случае смерти или рождения отдельных граждан и при каждом изменении в плодородии почвы, что, очевидно, нелепо. Ликург, устанавливая равный раздел земли одновременно с законами, был принужден к этому местными обстоятельствами и особыми соображениями: лаконяне были малочисленны, почти обособлены от остального мира, крайне редко вступали в торговые сношения с другими народами.

«Земли у лаконян имелось, чтобы прокормиться, более, чем достаточно. А потому в задачу законодателя как раз и входило, чтобы торговля, ремесла, искусства, науки и удобства жизни оставались у народа Лаконии в пренебрежении. Распределение территории на равные части имелось бы только вначале; сохранить его в дальнейшем было бы невозможно. Было бы безумием пытаться сравнивать многочисленную нацию земледельческую, торговую и богатую с маленькими народами Лаконии. Было высчитано: чтобы поддерживать существование жителей Франции одной земли недостаточно, им необходимы торговля и промышленность; эти два источника богатства и общественной силы, подкрепленные свободой, увеличат народонаселение. Равный раздел земель уничтожит эти источники и будет причиной полного разорения французской нации.

«Навязывать Франции раздел земли на равные части—это значит обнаружить глубочайшее невежество в политике, в истории, в области торговли и законодательства, или же—угодничество низменным страстям, измену общественному делу, проявить возмутительное намерение посеять смуту, вражду, борьбу между гражданами, и, покушаясь на благоприобретенную собственность, сыграть на руку деспотизму.

«Слишком большое неравенство состояний—опасно; слишком большое дробление не менее опасно, потому что оно лишает привлекательности занятия промыслами, без чего они хиреют и вымирают. Без сомнения, необхо-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

димо предотвратить слишком непропорциональное распределение всякого рода имуществ; но без насилия или несправедливости, а путем мудрых законов, которые не только не налагали бы пут на промысел ремесленника или земледельца и не ставили бы каких-либо границ накоплению их состояния, а наоборот, содействовали бы их возрастанию, в то же время раздробляя их осторожными и естественными мероприятиями в виде покровительства бракам и обеспечения детей, определения максимума владения землей, запрещения передачи имуществ путем дарения и по завещанию, запрещения субституций, неравных разделов имущества и других подобных средств, ведущих к сосредоточению как промышленных, так и земельных богатств в немногих руках.

«Эти соображения подсказываются как бы самой природой: о них будут всегда разбиваться, как морские волны о скалы, и страсти неумеренного эгоиста и ограниченные идеи школьника, воодушевленного бескорыстными мечтами или чисто местными преобразованиями какого-нибудь гениального человека».

В этом вся социальная программа Жиронды... Она нова и прогрессивна в своей склонности к развитию богатства, удобств и радостей жизни, и гораздо ближе к творческому социализму с его изобилием, чем к скудной программе спартанского самоограничения и планомерной бедности. Но было заблуждением думать, что даже с равным разделом в пределах одной семьи социальное равновесие может быть восстановлено и поддержано и что «опасная непропорциональность» в состоянии сгладиться. Более того, Кералио, поистине, слишком уже легко торжествует, выступая против раздела земель и понимая его буквально и математически. Это слишком легкая игра ума. Нужно было бы обладать умом философа и государственного человека, чтобы вскрыть под этой незрелой формулой тягу народа к собственности.

Таким образом Жиронда, пользуясь «аграрным законом» в целях возбуждения умов против своих соперников, не создавала этого страшилища из ничего. Действительно, начиналась подпольная пропаганда, имелись налицо смутные тенденции в этом духе и все растущие опасения. Но она прекрасно знала, что ни Марат, ни Робеспьер, ни Дантон, ни огромное большинство Парижской Коммуны не желали аграрного закона. Она прекрасно знала, что с этой стороны не грозило определенной, непосредственной и серьезной опасности. И, однако, она пыталась создать вокруг «триумвирата» атмосферу смутных подозрений. Она использовала рискованную затею Моморо, неосторожность или чрезмерное усердие некоторых комиссаров исполнительной власти и Коммуны, метала против них громы и молнии и аттестовала их, по выражению газет Бриссо, чем-то вроде странствующих звонарей, всюду бьющих в набат. Сентябрьские убийства, кражи драгоценностей, аграрный закон—все валилось в одну ужасную и непонятную кучу, чтобы одурачить провинцию, вооружить ее против Парижа и его избранников, запугать депутатов Конвента, находившихся по дороге в столицу, и, воспользовавшись их предубежденностью, вынудить у них сразу суровые меры, проникнутые недоверием по отношению к Парижу и его представительству.

Отвратительная политика, фальшивая и искусственная! Под тем предлогом, что парижская национальная гвардия не сумела предупредить грабежа складов мебели, 18-го сентября Ролан делает странное заключение, «что Национальному Собранию следует иметь постоянно в своем распоряжении вооруженную силу, способную по своей выдержке и твердости охранять от всякого покушения представителей нации, ее казну, ее архивы, ее детей». Здесь уже проскальзывает

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

идея о департаментской гвардии для охраны Конвента. Весь план опасной и ожесточенной борьбы Жиронды был составлен раньше, чем Конвент собрался; с другой стороны, отчаявшийся Марат едва мог удержаться, чтобы не выступить, вопреки советам умеренности и благоразумия, которые ему давали со всех сторон, с насильственными планами. Тем самым, против своей воли, казалось, он играл на руку жирондистам. В четверг, 20-го сентября, как раз в тот день, когда Конвент проверял полномочия своих членов, он восклицает: «Друзья и братья! Никогда не забывайте, что временный муниципалитет, который они пытаются уничтожить, спас отечество 9-го августа и может его еще раз спасти. Никогда не забывайте, что его Комитет Надзора, который они стараются сделать ненавистным, бодрствует день и ночь в интересах общественной безопасности. Никогда не забывайте, что вы были бы уже перерезаны заговорщиками, если бы он не обезопасил вас от злонамеренных, от изменников и заведомых контр-революционеров.

«Чтобы предохранить себя от покушений с их стороны и лишить возможности строить козни, необходимо в настоящий критический момент заключить всех злонамеренных, всех врагов отечества в арестный дом до тех пор, пока свобода не будет обеспечена. Потребуйте сами устройства этого арестного дома у Коммуны и заставьте ее выбрать вполне надежное и удобное помещение, в котором заключенные могли бы жить на собственном иждивении. Это, несомненно, была бы одна из самых мягких мер, которые могли бы быть приняты против подозрительных».

А 21-го сентября, т.-е. в день первого делового собрания Конвента, Марат начинает с легкого высмеивания Петиона: «Петион—добрый малый, честный малый, я в этом убежден; он великолепно фигурировал бы в качестве мирового судьи, арбитра, муниципального казначея, школьного кассира, окружного сборщика податей, но у него глаза, которые ничего не видят, уши, которые ничего не слышат, его голова ни о чем не думает». Заканчивает же статью следующими значительными словами, которые легко можно было бы использовать против него:

«Единственная мысль, которая меня давит, заключается в том, что все мои усилия, направленные к спасению народа, будут сведены на-нет б е з н о в о г о в о с с т а н и я. Судя по характеру большинства депутатов Конвента, можно отчаиваться за судьбу общественного благополучия. Если в течение первых восьми заседаний не будут установлены все основы конституции, не ожидайте ничего от этих представителей. Вы погибли навсегда, вас ожидают пятьдесят лет анархии, и вы выйдите из нее, только подчинившись диктатуре истинного патриота и государственного человека. О, народ пустомеля, если бы ты имел способность действовать!»

Итак, глухой отзвук бури, надвигавшейся уже более месяца, заставлял, если так можно выразиться, дрожать дверь Конвента. У самого порога великого Собрания борющиеся революционные партии продолжали делать друг другу вызовы и посылать угрозы, которыми они обменивались еще с 10 августа.

ГЛАВА VIII.

Лонгви.—Верден.—Вальми.

В то время как на узком и насыщенном горизонте Парижа скоплялось противоположное электричество, солдаты революции давали на границе битву свободы против первых натисков мирового деспотизма. Лонгви уже капитулировал. Верден также сдался 4-го сентября после геронческого сопротивления Борнэра, покончившего самоубийством, прежде чем дать сигнал к капитуляции. Но сердце революции не дрогнуло.

Электронный архив Библиотеки истории А. Кулешова

Верно ли, что жирондистские министры подумывали в августе и сентябре месяце покинуть Париж, перевести на юг Луары Исполнительный Комитет, короля и Конвент? Они, очевидно, имели некоторое намерение отступить или по крайней мере были заняты обсуждением этого предположения, но трудно сказать, насколько они были к этому готовы. Впервые этот вопрос был поставлен в июле, до того еще, когда Ролан снова сделался министром.

«Однажды,—рассказывает Барбару,—когда я и Ребекки возвращались из Елисейских Полей, где мы беседовали о наших проектах (направленных против королевской власти), мы встретили Ролана и Лантенаса... Мы горячо расцеловались. Ролан выразил желание посовещаться с нами по поводу общественных неурядиц. Мы условились, что на следующий день я приду к нему один, чтобы не попасться на глаза шпионам. Я был аккуратен. Ролан жил в доме на улице Сен-Жак, на третьем этаже; это было отшельничество философа. Его жена присутствовала при нашем разговоре и приняла в нем участие.

«В другом месте я подробно расскажу об этой замечательной женщине. Ролан спросил меня, что я думаю о Франции и о средствах ее спасти. Я открыл ему свое сердце, ничего не утаив насчет своих попыток на Юге. Серван и он как раз были заняты тем же самым планом. Они мне ответили тем же откровенными признаниями. Он мне сказал, что свобода будет утеряна, если планы двора не будут расстроены незамедлительно, что Лафайет, кажется, замышляет измену на Севере, что армия центра, совершенно дезорганизованная, которой нехватает всякого рода снабжения, не в состоянии помешать неприятелю сделать прорыв и что, наконец, все подготовлено для того, чтобы австрийцы были в Париже через шесть недель.

«Неужели мы в продолжение трех лет служили делу самой прекрасной революции только для того, чтобы увидеть ее уничтоженной в один день? Если свобода погибнет во Франции, она погибнет и для всего мира. Все надежды философов будут обмануты. Самая жестокая тирания нависнет над землей... Предотвратим это несчастье, вооружим Париж и Северные департаменты, или, если они будут заняты, понесем статую Свободы на Юг, и основем где-нибудь колонию вольных людей».

При этих словах слезы потекли из его глаз. Те же чувства заставили прослезиться и меня и его супругу. Да, доверчивые излияния могут принести утешение в печали! Я также нарисовал им картину рессурсов наших департаментов и говорил насчет наших перспектив. Я видел, как по умиленному лицу Ролана разливалась радость. Он пожал мне руку и велел принести географическую карту Франции.

Мы отметили, что от берегов Рейна до моря на западе Франция разделена горами Вогезов и Юры и рекой Луарой, которая течет в том же направлении. Между пунктом, где кончаются скалы, и пунктом, где начинается водяной барьер, имеются довольно обширные равнины, которые необходимо защищать с поля. Горы защищались бы их гордыми обитателями, а берега Луары—укреплениями, которые легко было бы возвести, потому что фанатизм и наши ошибки еще не успели вооружить Вандею. Если бы неприятель форсировал поле, перешел бы реку и занял бы горы Юры, то второй барьер его остановил бы: на востоке—Дуб (Doubs), Эн и Рона, на западе—Вьенн и Дордонь, в центре—скалы и реки Лимузена. Дальше мы имели бы Овернь, ее скалистые холмы, ее лощины, ее старые леса и Велейские горы (de Velay), когда-то охваченные восстанием, но теперь покрытые елью, дикая местность, где люди пашут среди снега, но где они живут независимо. Севенские горы дали бы нам еще одно убежище.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

достаточно известное, чтобы быть угрозой тирании. А на крайнем Юге мы нашли бы барьер из Изера, Дюранса и Роны, от Лиона до моря, Альпы и валы Тулона. Наконец, если бы все эти пункты были взяты, нам оставалась бы еще Корсика,— Корсика, где генуэзцы и французы не успели еще ввести в обиход тиранию, и которая ожидает рук, чтобы стать плодородной, и философов, чтобы излечиться от предрассудков.

«Ролан предполагал создать в центре Юга продовольственные магазины, сохранить за собой военную промышленность Сен-Этьенна и овладеть тулонским арсеналом. С своей стороны я выразил пожелание, чтобы не покидали Бретани... Тулонский флот никогда не будет достаточен, чтобы поставить наше государство на один уровень с морскими державами. Брест, следовательно, был бы необходим, и я полагаю, что волны Луары могли бы понести свободу до Уэссана,—там, на ее берегах или даже в степях, могли бы быть созданы укрепления от Гранвиля до Флеша.

«Все-таки мы не хотели оставлять Северных департаментов и Парижа, наоборот, было решено употребить все средства, чтобы их спасти».

Я не хочу преувеличивать значения сентиментального и романтического разговора между старым наивным бюрократом и молодым марсельцем с фантазией бродяги. Я не желал бы также вскрывать все поразительные ребячества их планов обороны. Они, казалось, не учитывали возможности победы контр-революции в Париже. А между тем, если бы король был победителем и властителем столицы, если бы пруссаки, австрийцы, эмигранты, дворяне и священники обладали Парижем, то это имело бы опасный отзвук до самого юга,—и окрыленные словами надежды роялисты Тулона, Марсели, Арля, Авиньона и Тулузы обратили бы в бегство расстроенных патриотов, которые вынуждены были бы отступать шаг за шагом. Но если даже отбросить в сторону все эти детские планы, все же остается бесспорным, что Франция не участвовала в этих расчетах—она как бы исчезла. Барбару и Ролан имели странную способность представлять себе Францию без Парижа. Казалось, они воображали, что возможно переделать всю Францию и удержать ее за собой с помощью нескольких бретонских деревушек и остатками сил южной революции!

Неслыханная вещь: по идее Барбару вся революционная Франция умещается на Корсике и в Вандее! С чрезмерной легкостью бросивши Париж, являвшийся всегда горячим сердцем революции и отечества, жирондисты устремились на инертные и равнодушные окраины.

В том, что менее всего является Францией,—в только что присоединенной Корсике, в Вандее, уже пропитанной духом сепаратизма и восстаний,—они ищут последнего пристанища. Удивительное и опасное заблуждение! Ведь решиться с легким сердцем на оставление Парижа, значило ослаблять дело обороны, а воображать, будто страна, превращенная в несколько разрозненных обломков, способна к длительному существованию,—это значило потерять Францию. Правда, было бы преступлением строить на этом преходящем увлечении тяжкое обвинение Жиронды в измене. Но по той легкости, с которой принимались эти гибельные планы, было очевидно, что эта партия была неспособна спасти революцию и родину. Можно сказать, что сердце Жиронды не билось в унисон с сердцем Франции. В этот трагический момент, когда все силы должны были бы об'единиться около одного центра, они, напротив, теряя направление, отдаются воле стихий, рассеиваясь вдоль изменчивых вод Луары и по быстрому течению несущейся к отдаленным берегам Роны.

Какое-то непреодолимое увлечение чисто местными интересами, какая-то тщеславная склонность поддаваться местным влияниям заслоняют собой образ великой, угрожаемой родины. Барбару, который договорился с генералом Мон-

Электронный архив библиотеки КГУ имени А.А. Кулешова

тескью, который рассчитывает на него,—видит себя уже центром сопротивления на Юге, героем южной Франции, спасающим на берегах Роны свободу мира, утраченную на берегах Сены.

Химерические, но в то же время опасные мечтания. Госпожа Ролан не оставляет никакого сомнения насчет смысла этих разговоров:

«В июле (1792),—пишет она,—видя ухудшение дел благодаря вероломству двора, приближений иностранных войск и бессилие Собрания, мы искали, куда могла бы укрыться угрожаемая свобода. Часто говорили мы с Барбару и Сервано́м о превосходном духе Юга, об активности отдельных департаментов в этой части Франции и обо всех удобствах, которые представлял этот район для основания там республики, в случае, если победивший двор подчинил бы себе северную Францию и Париж.

«Мы брали географические карты; мы проводили демаркационную линию. Серван изучал военные позиции; подсчитывались силы, исследовались условия и способы перемещения различных производств. Каждый вспоминал места и лица, на поддержку которых можно было бы рассчитывать. При этом все соглашались, что после революции, возбудившей такие большие надежды, недопустимо снова впасть в рабское состояние; напротив, необходимо испробовать все средства для того, чтобы установить хоть где-нибудь свободные государственные порядки.

«Это будет нашим прибежищем,—говорил Барбару,—на тот случай, если марсельцы, которых я сопровождал сюда, не встретят достаточной поддержки со стороны парижан, чтобы опрокинуть двор; я думаю, впрочем, что они с ним покончат, и у нас будет Конвент, который провозгласит республику для всей Франции».

Повторяю еще раз: было преступлением предполагать у жирондистов план преднамеренного отпадения от Парижа. Нет, только на случай поражения свободы в центре, в Париже, они замышляли республику на Юге. Можно ли не отметить, что как раз в это время марсельские батальоны спешили к Парижу, чтобы во имя общего блага вступить там в борьбу за свободу.

Можно ли позабыть, что Серван, которому мешали некоторое время его ребяческие планы, вскоре после того, в качестве военного министра живет исключительно одной мыслью—организовать защиту Парижа и отказаться от всех рискованных проектов, которые могли бы оставить столицу без достаточного прикрытия. Но в то же время уже в самой склонности жирондистов к мечтам об урезанной Франции кроются зачатки какой-то раз'единенности, бездействия и распада. С этой уменьшенной Францией, Францией Юга, Роланы носятся, как будто в ней целиком заключалась вся Франция: они проводят,—как с поразительным спокойствием говорит г-жа Ролан,—«демаркационную линию», они изыскивают, сможет ли она продержаться в смысле экономической и хозяйственной жизни исключительно своими силами и не только на некоторое время, но и навсегда. В них не чувствуется того трепетания перерезанных нервов, которые стремились бы соединиться и возобновить связь с сердцем родины. Тщетно я ищу в их мечтаниях плана обратного завоевания Парижа, плана победоносного возвращения свободы на Север. Их свобода остается пассивной под благодатными лучами Юга и засыпает там в своем ленивом самодовольстве. Эти люди залечивали свои раны, еще не получив их.

И ведь не только в частных, может быть, несколько неопределенных, беседах,—нет, в самом Совете министров, в трагические дни, следующие за поражением Лонгви и Вердена, всплыла эта идея. Несколько позднее Дантон, дойдя в своей смертельной ненависти к Жиронде до крайности, вспоминает этот факт и бросает жирондистам обвинение уже перед целым Конвентом. «Если уже говорить прямо,—сказал он,—я напомню вам, что был такой момент, когда до-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

верие к министрам было настолько подорвано, что, в сущности, министерства не существовало, и Ролан сам решил покинуть Париж».

Госпожа Ролан хочет затушевать этот факт, и все же она не может его отрицать.

«Я знаю, — пишет она, — что учитывали возможность близкого подхода пруссаков к Парижу и однажды поставили вопрос о том, что в таком случае следует предпринять, и не будет ли благоразумным для национального правительства покинуть этот город, имеющий столь важное значение для всего государства? Но обсуждение этого вопроса было более поверхностно и гипотетично, чем оно должно было бы быть. Ни один из министров не произносил никаких угроз своим коллегам. Дантон построил свое обвинение уже post factum, не столько для того, чтобы извлечь из него выгоду для себя, сколько затем, чтобы повредить Ролану. Все это было у меня слишком на глазах, чтобы слышать, как говорили об этом моему мужу, расходясь с заседания Совета, который собирался тогда на его квартире».

Но как бы неопределенны и осторожны ни были в то время эти первые попытки к отступлению,—распространяя панику, они все же могли оказаться роковыми. Они были к тому же, действительно, преждевременными: если Лонгви и Верден и были взяты, все же ни армия Келлермана у Метца, ни армия Дюмурье, стоявшая под Седаном, не потерпели в первых числах сентября никакого поражения, а вербовка добровольцев в армию протекала с удивительным под'емом.

Нет ничего общего между решением жирондистов и действиями Гамбетты, покинувшего Париж, чтобы организовать сопротивление в провинции. Правительство Национальной Защиты осталось в Париже и переживало осаду вместе со столицей. Гамбетта, стянувший войска на Луаре, отнюдь не собирался защищать непременно юг Франции; его первой заботой было двинуться на Париж и освободить его от блокады. Странная вещь! Жирондисты, которые так злоупотребляли кровавыми сентябрьскими воспоминаниями и так страстно стремились компрометировать ими Дантона, не думали о том, что покинуть Париж, вывезти оттуда правительство, Конвент, это означало подвергнуть обезумевшую столицу всем судорогам отчаяния, безумию мести и ужасов. Кровь, пролившаяся в сентябре, ничтожна по сравнению с теми кровавыми потоками, которые заполнили бы собой улицы покинутого революцией и доведенного до отчаяния Парижа.

Дантон оказал громадную услугу революции и родине, разбив своим могучим словом все эти малодушные соображения, воодушевив всех надеждой и призывом к действию. Он был в то время министром юстиции, но, в сущности, являлся руководителем национальной обороны. Это он воодушевлял все умы и сердца своей неустрашимой верой. Его энергия и воля подчиняли себе волю других. Желая уязвить Дантона, г-жа Ролан подчеркивает, что он переброснл в армию революционеров и повторяет вслед за Серваном, что Дантон «отравил войска ядом кордельерства». Да, он вливал в войска живые силы, но он снабжал солдат также оружием и вождями. В рассказе врача Латуш-Шефтеля, раскрывшего тайный бретонский заговор в Руэри, я нахожу одну характерную подробность. Прежде всего он сообщил о заговоре Дантону:

«Разговаривая с Дантоном, я поделился с ним тем, что замышлялось. Мы переживали в это время те конвульсии, которые непосредственно предшествовали 10-му августа. Сам я, отвлеченный событиями, которые развивались с такой быстротой в Париже, больше не думал об этом сообщении. 2-го сентября прихожу к Дантону, бывшему тогда министром юстиции. Повидать его тотчас же мне не пришлось, и он назначил мне прием на завтра, 3-го, в шесть часов утра. Он принял меня в своем кабинете, где были тогда Фабр д'Эглатин и Камилл Демулен. Нет надобности подробно передавать здесь

Электронный архив библиотеки ПГУ имени А.С. Пушкина

наш разговор. Достаточно сказать, что я вышел из министерства юстиции с приказом отправиться в Бретань, чтобы ускорить отправку артиллерии, которую спешно вызывали из Бреста и Lorient, в долину Шампани. Вопрос о Руэри даже не ставился». Или по крайней мере Латуш-Шефтель не хочет в этом признаться. Но как характерна для Дантона эта утилизация всех сил, использование их до конца, использование Латуш-Шефтеля для того, чтобы поторопить присылку орудий и предупредить контр-революцию.

И вот на утро после кровавой сентябрьской ночи, поднявшись чуть свет, Дантон, обычно такой ленивец, не теряя ни минуты на колебания и страхи, уже изо всех сил спешит ускорить концентрацию ружей, пушек, направляемых против неприятеля.

Сам Дюмурье сумел сохранить всю силу и независимость своей мысли только благодаря Дантону, чувствуя себя под его защитой, огражденный его огромной популярностью от всяких интриг и подозрений. Заручившись этой поддержкой. Дюмурье в свою очередь много способствовал делу великого революционера. Главными свойствами этого вождя, оставшегося бодрым и юным в свои пятьдесят три года, была гибкость его ума, заразительная вера в себя и свою судьбу и еще какая-то особенно благородная и импонирующая манера взывать к тем чувствам и страстям, которые сам он переживал лишь наполовину.

Его давнишней целью было захватить Бельгию, вырвать ее у австрийского императора. И это было его первой мыслью в августе, как только он был призван к командованию армией, покинутой Лафайетом. Что из того,—говорил он еще в конце августа,—что союзники продвигаются, что из того, что они осаждают укрепленные позиции. Перенеся войну в Бельгию, мы внесем замешательство в их ряды, мы заставим их приостановить продвижение к Парижу, чтобы защитить свою собственную территорию, чтобы остановить революционную армию и агитацию, проникающую к ним вместе с нею.

И он упорно остается в лагере Мод (Maulde), вблизи от наименее защищенных мест Бельгии. Начиная с 18-го августа, он уже не боится раскрыть свои планы перед Законодательным Собранием и делает это в смелой и увлекательной речи, проникнутой чисто античным величием.

«Я перейду,—говорил он,—к нашей новой задаче—понести наше справедливое оружие и освобождение в пограничные области, которые стонут под игом деспотизма. Так римляне переправляли свою армию в Африку, в то время, когда Аннибал был у ворот Рима». Да, но ведь Аннибал был уже истощен 15-ю годами войны в Италии, и Рим, обретя вновь, путем этого длительного напряжения сил, свойственное ему хладнокровие, мог без опасений смотреть на от'езд своей армии; но перебросить с самого начала римские войска на африканскую почву было бы неосторожным.

Однако, Дюмурье твердо стоит на своем: только наступление, говорит он, может спасти Францию. И вместо того, чтобы итти самому к Седану он посылает туда, для организации обороны в долине Мааса, блестящего польского офицера Мячинского. Прежде, чем приступить к действиям, Дюмурье заручается доверием Собрания и патриотов. Он умеет найти для этого простые и прекрасные слова. Он пишет Собранию, что чувствует под'ем духа, благодаря декрету, который облекает его «доверием благороднейшей из наций». Но решится ли парижское правительство одобрить смелую и опасную диверсию, которую он хотел предпринять? Крепость Лонгви пала 24-го августа, гораздо скорее, чем то мог предполагать Дюмурье. Верден осажден. Дюмурье вынужден приблизиться к месту операций. Он спешит в арденнскую армию и 28-го он в Мезер. Там, как об этом свидетельствуют исторические документы, изученные М. Шке, он все еще настаивает на идее захвата Бельгии. Военный министр Серван умоляет

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

его прикрывать Париж. В это время Верден падает. Дюмурье понимает, что дольше ему нельзя уклоняться от борьбы, и с той быстротой и решимостью, которая составляет его силу, он немедленно набрасывает свой план обороны. Между долиной Мааса и Эны, между Лотарингией, куда подвигается враг, и грязной Шампанью, откуда он хочет продвинуться на Париж, простираются Аргонские леса, пересекаемые узкими ущельями. «Вот где будут Фермопилы Франции!»—восклицает Дюмурье. Он сейчас же приучает своих солдат к ускоренным переходам через леса, упражняет их в быстром прокладывании и преграждении дорог.

Он призывает на помощь народную энергию, обращается к рабочим многочисленных фабрик в окрестностях Мааса, к крестьянам, населяющим лесные долины. Пусть они вывезут в виду наступающего врага все имеющееся продовольствие, пусть возьмут его измором, забаррикадируют перед ним все пути заграждениями из сломанных деревьев.

«Воззвание генерала Дюмурье ко всем французским гражданам, населяющим департаменты Ардени и Марны, в частности, дистрикты Вузье, Граннре, св. Менегульды, Клермон, Седан, Мезьер, Рокруа и Ретель. Граждане, враг одерживает успехи на нашей территории,—территории свободных людей, потому что вы не заботитесь о том, чтобы обмолотить ваше зерно и отправить его в тыл, где оно находилось бы под защитой французских войск. Вы не доставляете своим братьям в лагеря фураж и солому, за что ваши соотечественники расплатились бы с вами наличными деньгами, ибо вашу собственность они уважают. Вместо этого все ваши запасы истощаются наемниками деспотов; не возмещая вам стоимости реквизированного, они кормят вашим фуражом своих лошадей. Таким образом, вы сами же даете нашему жестокому врагу возможность держаться в ваших местах, чинить вам обиды, снова надеть на вас ярмо рабства.

«Граждане, во имя родины и свободы я требую от вас доставки в наши лагеря хлеба и фуража. Требуйте от своих муниципальных чиновников удостоверений относительно всего доставленного.

«Я требую также, чтобы ваш скот и ваши лошади были отведены в тыл наших лагерей; иначе я буду вынужден для блага нашей родины поступать с вами так же, как поступают наши варвары-враги; я буду вынужден опустошать ваши деревни, увозя из них все, чтобы не оставить ничего неприятелю.

«Обращаясь в частности к дистриктам Седана, Мезьера, Граннре Вузье и св. Менегульды, я приглашаю их жителей воспользоваться крутизной лесных гор и суровостью лесов, чтобы помочь мне преградить туда дорогу врагу.

«Итак, я объявляю вам: в том случае, если пруссаки и австрийцы приблизятся, чтобы перейти охраняемые мною, укрепленные ущелья, я прикажу ударить в набат по всем приходам вдоль и поперек аргонских и мазаринских лесов. По этому тревожному сигналу, пусть все из вас, которые имеют огнестрельное оружие, явятся во главе своих приходов на опушку леса от Шеванжа до Пассавана; другие, вооружившись лопатами, кирками и топорами пусть строят из них заграждения, дабы воспрепятствовать продвижению врага. Таким путем, действуя одновременно осторожно и смело, вы сохраните свою свободу и поможете нам нанести смертельный удар тем, которые захотели бы ее отнять».

Странно и совершенно по-новому должны были зазвонить по аргонским лесам колокола старых колоколен, звонившие до тех пор лишь во славу смирения

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

перед божеством или мистических чаяний. Они возвещали рождение и смерть человеческих существ, передавая из века в век заветы покорности и страдания. Они возвещали грозное приближение хищного государя или высокомерного прелата. Порой их звон мог гудеть призывом к восстанию, как металлическое эхо на крики Жакерии, проходившей там, внизу; но в таком случае лишь ненадолго он разносил бесплодные ужасы по пустынным местам.

Теперь их звон, проникая в сердца людей, в сердца крестьян и дровосеков, должен был прозвучать в них вестью о великом освобождении и великой борьбе за право.

Революционный набат 14-го июля и 10-го августа разносится многократным эхом по лесам и поднимает бедные деревушки. Гений Дюмурье, или, вернее, гений самой революции об'единил, таким образом, широкое, но разрозненное народное движение с действиями организованных войск. Какое смятение должно было вызвать это среди неприятеля! Он думал, что церковный благовест будет его приветствовать, что колокола станут говорить в его пользу, радостно распространять из одного прихода в другой вести о близком освобождении короля и духовенства, но они звонили, они говорили против него; из глубины лесов они призывали на него неумолимо надвигающуюся грозную смерть от невидимого врага.

У Дюмурье было столько веры в этих людей, во всех этих только что родившихся для свободной жизни граждан, что он не только звал их на помощь своей армии,—он звал их в самые ее ряды. Накануне самого сражения он не побоялся принимать их в свои кадры, он не задумался бросить в совершенно новое горнило этот еще ни разу не испытанный металл.

«Во имя родины, во имя святой, завоеванной нами свободы, во имя равенства, которое служит основой нашего государственного порядка и нашего благоденствия, храбрые французские граждане, присоединяйтесь к армии. Она ждет своих братьев, чтобы вместе с ними итти против жестоких наемников тиранов, которые несут с собой на освященную свободой землю самое страшное насилие, опустошение, грабежи и убийства; они вошли на нашу территорию благодаря трусости обитателей Лонгви, благодаря измене начальников, которых вы облекли своим доверием. Теперь, когда этих крамольников нет более в наших рядах,—один порыв, одно общее чувство воодушевляют армию, которую я веду против германских разбойников; все храбрые солдаты, все оставшиеся верными офицеры клянутся со мной или погибнуть, или победить.

«Идите же, присоединяйтесь к нам; пусть те из вас, которые имеют лошадей и оружие, увеличат численность наших эскадронов; имеющие ружье и мундир пусть вольются в наши батальоны. Лица, занимающие административные должности в департаментах и дистриктах, должны позаботиться о снабжении нас фуражом и продовольствием, необходимыми для нашей экспедиции; пусть таким образом ничто не останавливает нашего продвижения, а изгнав из Франции эту орду варваров, мы пойдем с оружием в руках в их собственную страну пропагандировать наши идеи, мы заставим дрожать их тиранов, низвергая их с тронов. Поклянемся не складывать нашего справедливого оружия до тех пор, пока все окружающие нас страны не почувствуют благ свободы».

Своеобразным дарованием обладал этот человек. Будучи дипломатом старого режима, он постоянно изыскивал различные хитроумные комбинации в целях скорейшего окончания войны. и в то же время он умел приводить в действие все силы революционного энтузиазма. Точно чудесная скрипка, звучавшая раньше на балах, в гостиных старого режима, и которая теперь несколькими глубокими нотами вызывала на глазах слушателей слезы восторга.

Казалось, будто этого легкого, нежного и такого хрупкого инструмента коснулся мощный смычек Дантона.

Электронная библиотека МГУ имени А.А. Кулешова

И народ откликался на этот прекрасный призыв. Крестьяне приходили вооруженными; веселой улыбкой приветствовал их обходительный генерал, разделявший на ночлегах с солдатами их соломенные подстилки. Рабочие покидали заводы и мастерские, чтобы итти защищать свободу. Из одного только маленького городка Музон (Mouzon) к Дюмурье присоединилось двести ветеранов. Лишь многочисленные рабочие по стеклу с заводов долины Мааса, выходцы из дворян, эмигрировали, ушли к неприятелю. Заблуждение совершенно исключительного свойства! Эти люди благородного происхождения получили право, не теряя привилегий дворянства, работать по выделке стекла. Одним словом, это были настоящие рабочие, выдувающие расплавленную стеклянную массу, которую они черпали из раскаленного чана.

Но, несмотря на свою бедность, эти иссушенные, постоянно изнуряемые жаром люди сохранили непреклонную, чисто дворянскую гордость.

Закаленные в огне люди труда, они все же перешли на сторону праздного дворянского сословия, которое, сражаясь под иностранным знаменем, отстаивало свое право на вечный паразитизм. Эти люди устремились в об'ятия прошлого, с которым их связывало их тщеславие: они не поняли, что всем своим странным обликом они уже принадлежали отдаленному будущему,—той поре, когда вся человеческая раса сделается благородной и закрепит свое благородство священным братским трудом. В самом деле: если один вид труда уже был в их глазах чем-то благородным, то почему не считали они таковым же и весь труд в целом?

Дюмурье не удалось закрыть «Формопилы Франции». По правде сказать, ему, с его шестью тысячами людей, было действительно трудно, несмотря на всю его неутомимую энергию, оборонять эти пять ущелий. Неприятель завладел тесниной при Круа-о-Буа и, продвигаясь оттуда в обход других ущелий, сделал бесцельной и невозможной их защиту.

15-го в Моншенэн произошла короткая паника, которую Дюмурье, однако, сумел энергичным образом остановить. Защищаясь таким образом, задерживая и затрудняя в течение десяти дней продвижение врага в Аррагонии, он получил два исключительные, по своему значению, преимущества. Во-первых, он давал этим возможность, с одной стороны, подойти и присоединиться к своей армии своим же войским из модского лагеря (Maulde), с другой—армии Меца и Келлермана. За такое соединение армий Дантон восторженно приветствовал его в Конвенте. Дюмурье вскоре же мог при самом выходе из Аргонских лесов в Вальми противопоставить сорокатысячной брауншвейгской армии более пятидесяти тысяч своих солдат. Во-вторых, своей стратегией он добился того, что в войсках неприятеля появилась физическая и моральная усталость, тела отяжелели, дух упал. Герцог Брауншвейгский смутно чувствовал какую-то опасную тайну в этой войне, действие совсем новых и неизвестных дотоле сил, о которые могла разбиться вся его слава; он был решительно против всякого наступления. Ему все же пришлось повиноваться, но сомнение в благополучном исходе парализовало его силы. Рядом с полным решимости и энергии Дюмурье, герцог являлся воплощением колебаний и разочарований. Он предпочел бы по крайней мере взяться сначала за осаду укрепленных мест в долине Мааса. Он намеревался постепенно взять Седан, Мезьер и Стенэ, разместить там свою армию на зимние квартиры, а весной с подкрепленными отдыхом людьми возобновить кампанию. На путь к Парижу через Шалон-на-Марне его бросило против его собственной воли тщеславное нетерпение прусского короля, а также и слепая ненависть к революции сгоравших от нетерпения эмигрантов. Заманенная в Аргонские леса, наступающая армия герцога попала под непрерывные дожди; дороги оказались размытыми стекавшей с листвы водой; армия плохо питалась; дрожала от холода, голода и лихорадок;

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

неплотно закрывавшиеся, изорванные влажным ветром палатки плохо защищали людей от непогоды. К тому же солдаты были поражены, почти возмущены отношением к себе местного населения; вместо радости и благодарности, как то обещали эмигранты, повсюду пришлось встречаться с взрывом ненависти и гнева, с повсеместным под'емом героизма и жаждой свободы. То же ожидало их и впереди. Наконец, на армии отражалось также крайне болезненно унылое настроение ее разочарованного вождя. Вторгшаяся в страну армия шаг за шагом теряла свою жизненную силу; она, так сказать, к полному моральному истощению; оно действовало на нее так же убийственно, как и физическое изнурение, а это последнее усиливало, в свою очередь, моральный распад армии.

Эмигранты своими кровожадными требованиями довели охватившее армию недовольство и раздажение до крайнего предела. Они чувствовали, что наступление с каждым днем идет на убыль, и хотели оживить его, прибегая на каждом шагу к казням и убийствам; они пытались опьянить прусских солдат кровью якобинцев, патриотов, присягнувших священников.

Их кровью, этим теплым и горьким на вкус спасительным лекарством, они думали поднять ослабевшую энергию. Но было очевидно, что этими мерами они только вызывали недовольство; постепенно в сознании завоевателей пробуждалась мысль: где же в конце концов дикари и каннибалы? Находятся ли они перед нами или среди нас самих? Крестьяне, которых они встречали, ремесленники, с которыми они беседовали, говорили им с продуманным и серьезным энтузиазмом и великой революции,—революции, которая уничтожила деспотизм, налоги, барщину, неравенство, которая сделала всех членов общины братьями, превратила их в граждан, людей. И вот, после задушевных умных и благородных слов этих рабочих и хлебопашцев, проникнутых великой надеждой и полных милосердия и человечности, после всего этого маркиз де-Бретейль и другие агенты короля и эмиграции опять обращались к солдатам с резкими упреками за то, что они недостаточно убивали, недостаточно грабили.

7-го сентября Ферзен, этот нежный друг королевы, этот спокойный, романтически настроенный швед, с явным одобрением заносит в своем дневнике: «Видел прусского министра, барона фон-Рек; он правильно рассуждает о французских делах... он открыто не одобряет, что в городах, через которые проходили, не были истреблены все якобинцы, и что вообще было проявлено слишком много милосердия».

25-го мая он с удовлетворением отмечает чудовищное предложение Мерси, который своими жестокими, но запоздалыми планами, без сомнения, хотел наверстать свои бесконечные колебания.

«Обедал у графа Мерси. Он сказал, что следовало проявить большую беспощадность; есть только одно средство: необходимо поджечь Париж со всех четырех концов».

11-го сентября Ферзен пишет барону де-Бретейлю из Брюсселя: «Судя по всему тому, что мне рассказывают прибывающие из армии люди о плохом настроении в покоренной стране и особенно в ее городах, мне представляется, что жители ее только подчинились нашей вооруженной силе; при таком положении дела милосердие представляется мне чрезвычайно гибельным. Именно теперь необходимо уничтожить якобинцев. Вы понимаете, конечно, что сейчас их нельзя упускать из рук; во всех местностях, через которые идет наступление, нужно арестовывать главарей и видных членов этой партии и отсылать их в тыл», где их, несомненно, расстреляли бы или повесили.

Электронный архив библиотеки ЛГУ имени А.А. Кулешова

Из Вердена, 12-го сентября, барон де-Бретейль пишет Ферзену:

«Я не жалел усилий, чтобы доказать герцогу Брауншвейгскому необходимость величайшей суровости, но характер его мягок, и принципы, которых он придерживается в настоящее время, не позволяют ему проявить ту строгость, в которой мы так нуждаемся. Герцог Брауншвейгский не хочет, чтобы во Франции его обвиняли в жестокости, как то имело место в Голландии. Наоборот, своим теперешним образом действий он хочет изгладить воспоминания об этих первых жестокостях. Нам этот расчет крайне невыгоден, и, если мне не удастся склонить герцога к перемене решения, он доставит нам слишком много хлопот. Вместе с тем я не могу скрыть от себя, что переубедить его будет чрезвычайно трудно... Король Пруссии, в свою очередь, прекраснейший из людей, и все побуждения, заставляющие его помогать французскому королю, свидетельствуют об его большой доброте. Тем не менее он обещал мне распорядиться о применении суровых мер и обещал также заставить выполнять это распоряжение. Так в эти дни должен быть наказан Варенн; однако, я уверюсь в совершении экзекуции лишь тогда, когда она действительно будет совершена». И он добавляет:

«Я согласен с вами, что не надо слишком сурово относиться к грабежам для того, чтобы этим поддержать рвение солдат; не надо также взыскивать с генералов за то, что они слишком снисходительны к своим солдатам; можно надеяться, что, допустив грабежи, мы удовлетворим жадность наших солдат; впрочем, борьба с ними все равно была бы бесполезна. Вы часто слышали от меня жалобы на это зло, но его размеры превосходят мои предположения. Особенно усердствуют гессенцы; эти шесть тысяч человек уничтожают в неделю такое количество продовольствия, на которое могли бы прожить двадцать тысяч людей; кроме того, они совершенно очищают от мебели все дома».

Я подчеркнул гнусную фразу,—ту, в которой барон де-Бретейль сожалеет, что пруссаки оставили роялистам неприятную работу—вырезывать самим якобинцев. Для приверженцев монархии было бы предпочтительней, чтобы казнь было совершена иностранцами, а они бы нашли только трупы. Эта кровожадная политика шакалов давила на герцога Брауншвейгского и наиболее культурных офицеров его армии, как кошмар могилы. Тем не менее и в этой зловещей атмосфере генералиссимуса прусской армии не покидала надежда на достижение своей цели. Правда, уже со времени вступления в Верден и еще до урока, полученного пруссаками в Аргоне, он свел свои планы до минимума.

«Герцог,—пишет де-Бретейль в этом же самом письме от 12-го,—не преследует иной цели, как только «достичь Парижа и спасти короля».

Герцог Брауншвейгский хорошо знал, что не следовало вовлекать прусскую армию в безнадежную борьбу против большого политического и социального движения, силу и размеры которого он понял и учитывал со времени своего возвращения во Францию. Но окружающие продолжали тешить себя ребяческими иллюзиями. Эмигранты, встречавшие ранее Дюмурье в гостиных старого режима, надеялись привлечь его на свою сторону. Но время для этого еще не наступило. Он не решился покинуть ту могущественную тогда партию, поддержка которой, без сомнения, обещала ему столько славы и такую власть.

«Мы послали,—пишет далее де-Бретейль,—двух эмиссаров к г. Дюмурье; граф Дюмонтье состоял с ним в переписке и счел себя в праве так поступить на основании некоторых разговоров, которые он имел с ним в Париже. Кроме того, берлинский двор рассчитывал, что Дюмурье захочет его выслушать, потому что сам он несколько месяцев тому назад присылал своего эмиссара в Берлин в знак раскаяния. (Нелепое истолкование поступка Дюмурье: это была его постоянная политика—откалывать Австрию от Пруссии.) Но на этот раз он ничего не ответил на письма; он только разорвал их в мельчайшие куски перед

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

посланными и спокойно сказал: «Я отвечу пушечными залпами». Вы видите, с этим чудаком ничего не поделаешь, по крайней мере с этой стороны. Но, может быть, с большим успехом мы сможем атаковать его через Ривароля, о котором я говорил вам, и который должен был получить ответ от своей сестры; я поручил ему дать ей некоторые обещания, весьма приятные как для нее, так и для Дюмурье. Эта сестра—его возлюбленная и, по словам Ривароля, имеет на Дюмурье неограниченное влияние. Что касается дальнейшего, то я уполномочил Ривароля сообщить в мое отсутствие епископу все то, что ему ответит его сестра».

Однако, ни ум Ривароля, ни благословение епископа, несколько неожиданное в этом милом предприятии, пока что не могли привести к успеху.

А вот другая фантазия того же барона де-Бретейля: «Я постоянно возвращаюсь к мысли о том, что причина, заставившая вновь приоткрыть ворота Парижа и допустить выход оттуда без паспортов,—кроется в намерении этих несчастных создать себе возможность ускользнуть из столицы по мере приближения к ней войск». Какая наивность!

Был момент, когда эмигранты и их союзники имели более солидное основание для того, чтобы надеяться на успех. Когда ими был взят проход в Круа-о-Буа, они надеялись окружить Дюмурье. Но путем ловкого ночного отступления Дюмурье избежал этой опасности 15-го сентября. Вслед затем, с удивительным хладнокровием, вместо того чтобы поспешить к Парижу, Дюмурье продолжал опираться на южную сторону Аргонских лесов и продвигался отсюда по направлению к Вальми, держась несколько западнее и позади той дороги, по которой герцог Брауншвейгский направлялся к Шалону; таким образом, Дюмурье мог все время наблюдать за врагом и при случае нанести ему удар в тыл, если бы неприятель продолжал свое движение. Выйдя с своей измученной армией на угрюмую, размякшую от дождей равнину грязной Шампани, герцог Брауншвейгский должен был, наконец, столкнуться с армией Дюмурье, умело расположенной на высотах и подкрепленной войсками Келлермана.

Речь идет о битве при Вальми, по правую сторону дороги, ведущей от св. Менегульды к Шалону-на-Марне.

20-го августа прусская армия столкнулась с войсками Келлермана. Дюмурье подоспел днем, чтобы дать указания и оказать помощь. Герцог Брауншвейгский и король прусский не без тревоги увидели эту сильную, собранную на высотах и склонах армию. Но что было делать? Теперь, когда представлялась возможность решительной встречи, могли ли медлить и колебаться старые войска Фридриха Великого? Решено было дать сражение. И когда прусская армия увидела, что у ее вождей нет и следа былой нерешительности, ею овладели славные воспоминания Семилетней войны. Какая сила могла сокрушить этих ветеранов теперь? Не говорили ли прусские солдаты, издеваясь над костюмами молодых волонтеров, что одним движением руки они «разобьют этот голубой фаянс»?

Прусская артиллерия, под начальством Темпельхофа, открывает огонь из своих пятидесяти четырех орудий. Пушки были размещены перед войсками на площадке, против мельницы Вальми и обступали ее полукругом. Французская артиллерия отвечает с меткостью и силой, которые удивляют, но еще не колеблют врага. Прусская пехота медленно поднимается в восхитительном порядке, но без воодушевления; мерным и уверенным шагом она приближается к тем холмам, где расположена наша армия. Последняя, будто под тяжестью воспоминаний о прошлых поражениях, у Росбаха и других, обнаруживает некоторое колебание. Призраки прошлого были здесь бессильны. Перед нами совершенно свежие силы, рвущиеся к жизни,—идет целый новый мир. Пусть прусская армия черпает из прошлого воспоминания о своей былой славе, подобно рудокопу, который извлекает остатки золота из штольни, опустошаемой уже в течение дол-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

того времени. Революционные души таят в себе сокровище девственного энтузиазма. Келлерман это знает, и в решительную минуту он умеет пробудить в них трепет жизни. Стоя во весь рост, посреди проносящихся около него ядер, он поднимает свою шляпу концом шпаги и восклицает: «Да здравствует нация!» Вся армия с высоты мельницы до самого подножия холмов восклицает за ним: «Да здравствует нация!» И все воодушевление, вся энергия, которая в течение трех лет накапливалась в этом слове, разливается при этом по всем сердцам. Конечно, кошмар прошлого исчез. Так же, как небо над Вальми, сначала встревоженное канонадой и закрытое тучами, внезапно проясняется, светлеет и загорается от лучей солнца, так и тени неуверенности и страха рассеиваются в одно мгновение. Теперь прусской армии приходится, в свою очередь, удивляться. Этот крик отдается в ее рядах, как голос целого народа. Значит, придется биться с целой нацией? Французские артиллеристы не отвечают прусской артиллерии, несмотря на производимые ею опустошения. Всю силу своего удара, все свои снаряды они направляют по дрогнувшей пехоте. Герцогом Брауншвейгским овладевает опасение, как бы не потерять при этой атаке на открытом месте лучшей части своей армии. Он отдает приказ остановиться; затем, после нескольких минут судорожного колебания, он произносит решительные слова: «Здесь мы сражаться не будем» («Hier schlagen wir nicht»), и отступление началось; прусская армия отошла на равнину. По обычным правилам войны это вовсе не считается поражением. Когда, штурмуя какую-нибудь позицию, занятую неприятелем, вдруг замечают, что он сильнее и лучше защищен, чем это предполагали, отход вполне естественен. Чтобы не растрачивать своих сил, уклоняются от сражения. Кажется, что это простая случайность и вполне поправимая ошибка.

Тем не менее, с этого самого момента в механизме прусской армии словно окончательно сломалась какая-то пружина. Как человек, еще сохранивший внешнюю видимость бодрости, но физические и духовные силы которого уже разрушены длительной чередой горя, усталости и испытаний, внезапно падает под тяжестью какого-нибудь нового разочарования, так и прусская армия со своим вождем, угнетаемая все время тяжестью печальных впечатлений, накоплявшихся в течение месяца , теперь, в битве под Вальми, сознает свое полное бессилие. Наступавшие войска почувствовали, что теперь они имеют дело не только с огромной, но разрозненной силой революционного народа. Они увидели и поняли, что этот народ сумел в течение нескольких дней сформировать силу, вполне организованную, подвижную, одинаково способную как к наступлению, так и на стойкую самозащиту. Войдя в соприкосновение с этими совершенно новыми и полными энтузиазма силами, наступающая прусская армия, усталая и больная, не воодушевляемая никакими идеалами, еще глубже почувствовала свое собственное убожество. И с этого момента она катится к краю пропасти, не встречая на своем пути никакого выступа, ухватившись за который можно было бы остановиться и собраться с силами. Это было решительное поражение на почве глубокого отчаяния и внутренней несостоятельности. Так как поражение наступающей армии сказалось гораздо глубже на духе, чем расстроило ее ряды, то Келлерман и Дюмурье сначала совсем не поняли всего значения этого решительного дня. Но Гёте, этот великий, проницательный поэт, сопровождавший прусскую армию, тотчас же отмечает великое значение происшедшего. «С этого дня началась новая эра в мировой истории». Это было 20-го сентября. В этот же день в Тюильри происходило первое заседание Национального Конвента.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ЧАСТЬ II.

РЕСПУБЛИКА.

ГЛАВА IX.

Настроение в Конвенте. Провозглашение республики.

Поименная перекличка установила присутствие 318 депутатов. Прошла только неделя со времени окончания выборов. Если принять во внимание замедление, вызванное плохими средствами сообщения, эту цифру приходится признать значительной, свидетельствующей о подъеме, воодушевлении.

Конвент тотчас предоставил двухнедельную отсрочку всем своим членам, чтобы они могли прибыть к своему посту: и в назначенный срок Конвент был в полном составе. Это было многочисленное и серьезное собрание, одновременно и очень старое, и совсем юное. Оно было очень старым, так как оно воплощало собой три года революции, то-есть несколько поколений людей и идей.

В мае 1789 года, в эту нежную и лучезарную пору нарождающейся революции, избранники нации обладали радостной неомраченностью духа; какая-то наивность сочеталась с серьезностью их размышлений. Они хорошо знали, что собрались для большого и трудного дела. Они предчувствовали сопротивление и западни. Но вопреки всему,—не сам ли король их созвал? И разве само дворянство не признало необходимости целого ряда реформ, и не вступило ли оно в учтивые переговоры с третьим сословием? Также и духовенство, в особенности низшее, в сильных и трогательных выражениях говорило о бедственном положении народа.

Таким образом, на заре Учредительного Собрания члены его могли надеяться, что им удастся установить новый порядок без особенных потрясений и разочарований. Иллюзия продолжалась недолго; избранники народа натолкнулись на бесчисленные как явные, так и скрытые помехи. И все же Собрание думало, что путем сделок и различных комбинаций, имевших целью достигнуть равновесия, ему удалось установить во Франции прочный конституционной строй. Теперь же, год спустя, Конституция 1791 года была разбита. Сколько рассеянных миражей; сколько людей было низвержено в пропасть. Это относится не только к представителям старых привилегированных сословий, которые, будучи обречены на небытие волею самого Учредительного Собрания, уже не могли играть никакой роли. Нет; но что осталось даже от представителей

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

третьего сословия? Все умеренные, фельянтинцы, приверженцы Барнава Варенн ского, все они были или на подозрении или в тюрьме, отвергнутые или совсем выброшенные за борт революцией. Не более семидесяти или восьмидесяти членов Учредительного Собрания вошло в Конвент.

Одни из них, как Грегуар, Барер, Робеспьер обладали достаточной силой или гибкостью духа, чтобы проникнуться духом нового времени или к нему приспособиться; другие—мрачные и удрученные против их воли воспоминанием б их великом, но, увы! проигранном деле, явились в Конвент с тяжелым сердцем. Эти величественные триумфаторы первых дней были теперь похожи на людей, потерпевших кораблекрушение и принятых на другое судно; несмотря на свое решение приспособляться к веяниям времени, они часто с тоской устремляли свой взгляд к прошлому.

В партии жирондистов, несмотря на ее кажущееся могущество, чувствовалась какая-то дряхлость, а под несколько искусственным парадным видом плохо скрывалось уныние. Еще год тому назад, спеша в Законодательное Собрание, они наполняли дорогу от Бордо и Марселя к Парижу своей громкой и легкомысленной радостью. Они были тогда воплощением красноречивой, тщеславной, беззаботной и экзальтированной юности. Они думали удивить мир и ускорить развитие революции, ловким движением руки развязать или разрубить мечом все затянувшиеся около Учредительного Собрания узлы. А завершить победу, одержанную революцией, не значило ли это завоевать власть? Так к революционным чаяниям примешивалось нетерпеливое честолюбие. Теперь же словно какое-то тайное разочарование, тревога и печальные предчувствия овладели ими.

Победа над двором была ими одержана; но они достигли ее при помощи опасных союзников; они достигли ее при помощи мозолистых рук, которые могли теперь так же разбить их молодость и их мечты. Что касается власти, то они уже пережили обладание ею; теперь они снова завоевали ее; но достаточно было нескольких неизвестных лиц из среды Парижской Коммуны, чтобы вырвать у них остатки этой власти и тем самым отравить жирондистам всю радость.

Они верили в то, что своей деятельностью они служили народному благу и содействовали славе Франции. Но в Париже этот народ сам отвернулся от них, и на другой же день после победы им пришлось убедиться в своей непопулярности. Склонные к унынию так же, как к экзальтации, они с каким-то хилым романтизмом раздумывали над странностями своей судьбы, над суетностью, обманчивой, как сон, жизни. Отсюда эти неизгладимые тени на их лицах, эта смертельная меланхолия. Тщетно они волнуются, доносят, обвиняют, вносят многочисленные предложения. Во всем этом чувствуется какая-то усталость и искусственность. Они—точно дерево с гнилыми корнями, расходующее на обильную и болезненную листву свои последние соки.

Что касается Робеспьера, то он не чувствовал себя усталым, не был изнурен, и не страдал мелонхолией. Своим острым умом и глубоким взглядом, среди всей этой запутанности он отыскивал путь революции и в то же время свой собственный. Но если его не состарила усталость, то его состарила ненависть. Он мог считать свои годы по тем наслоениям ненависти, которые постепенно отложились в его сердце. Он боролся против всех: против Мирабо, против Дюпора, против Барнава и против Лафайета; против тех, которые старались затереть его, как личность, или высмеивали его, а также против тех, которые не признавали его глубокой веры в демократию; потом поднялись еще другие, с которыми также надо было бороться, которых надо было ненавидеть. Ему казалось также, что ненавистные жирондисты имели слишком большое влияние на новый Конвент. Робеспьер как будто обречен на то, чтобы снова отдаться чувству ненависти

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

и распространить ее на все Собрание, от которого Франция и революция ждали своего спасения.

Итак, словно мрачное горное озеро, на дне которого покоилось много обломков, Конвент представлял собою громадную, темную пропасть, где на различных глубинах шевелились призраки прошлого.

И тем не менее это обширное собрание, уже от рождения такое старое по своим воспоминаниям и пережитым страстям, все же проявляло иногда изумительную молодость и обладало чудесной мужественной силой. Два великих обстоятельства обновляли сердца: напряженность момента и необычайная его ясность. Больше уже не приходилось лукавить, не надо было прибегать к уловкам. Король был арестован; как с ним поступить? Трагический вопрос. Монархия была свергнута; какое здание возвести на потрясенной почве? Величественный, настоятельно требующий разрешения вопрос!

С другой стороны, война все разрасталась; военные действия перекидывались на новые территории. Как ее вести дальше? Какой предел, какую цель указать ей? Вопрос жизни и смерти. На костре этих проблем горела душа Конвента. Горе неосторожным, но также, с первых же дней, горе умеренным!

Дантон понял сразу, что для того, чтобы овладеть революционным движением и революционной войной, надо было сначала успокоить и об'единить умы. Агитация Моморо и других напугала собственников как мелких, так и крупных. Дантон хочет рассеять их опасения. Неистовая полемика Жиронды убедила некоторых, будто Дантон, Марат и Робеспьер и в самом деле претендовали на диктатуру. Надо было покончить с этой легендой о триумвирате. Франция начинала побаиваться владычества Парижа; пусть же все знают, что ни один закон не войдет в силу иначе, как с одобрения всего народа, с подлинного согласия всей Франции! Дантон взошел на трибуну 21 сентября.

«Прежде чем высказать свое мнение о том, с чего должно начать свою деятельность Национальное Собрание, прошу позволения сложить перед ним свои полномочия, вверенные мне Законодательным Собранием. Я принял их под шум пушек, которыми граждане столицы громили деспотизм. Теперь, после того, как произошло соединение армий и совершилось об'единение народных представителей, я не считаю себя в праве сохранять далее мои первоначальные полномочия. Я уже не являюсь доверенным народа и буду говорить от своего лица.

«Вам предложили принять присягу. Действительно, вступая на широкую дорогу, которую вам предстоит пройти, надо, чтобы вы в торжественной декларации изложили народу, каковы те чувства и те принципы, которые будут руководить вашей работой. Не может существовать иной Конституции, кроме той, которая текстуально при всеобщем поименном голосовании будет принята большинством первичных собраний. Вот что вы должны об'явить народу. Пустые призраки диктатуры, вздорные мысли о триумвирате, все эти нелепости, придуманные для того, чтобы запугать народ, исчезнут тогда, так как основными законами будет признано только то, что примет сам народ. После этой декларации мы должны принять другую, не менее важную с точки зрения свободы и общественного спокойствия. До сих пор народ всячески будоражили, так как необходимо было разбудить его для борьбы с тиранами. Теперь необходимо, чтобы законы были так же беспощадны к тем, кто чем-нибудь захотел бы повредить народному благу, как был беспощаден сам народ, диспро-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

вергая тиранию; надо, чтобы они покарали всех виновных, чтобы народу в этом отношении ничего не оставалось желать. (Аплодисменты.)

«Кажется, некоторые превосходные граждане опасались, как бы пылкие поборники свободы не повредили социальному порядку доведением до крайности своих принципов; хорошо же! Откажемся здесь от всяких крайностей; провозгласим, что всякого рода собственность—земельная, личная или промышленная—будет навсегда сохранена, и что государственные налоги будут взиматься попрежнему. (Единодушные аплодисменты.) Вспомним затем, что нам предстоит все пересмотреть, все перестроить; что даже сама Декладация Прав не совсем безупречна, и что она должна подвергнуться пересмотру истинно-свободного народа. (Двойной взрыв аплодисментов.)

«В качестве достойных представителей народа утвердите сегодня же эти великие принципы и, установив их, закройте сегодняшнее заседание; этим вы уже достаточно сделаете для народа». Новые аплодисменты.)

Это была удивительная действенная программа, призывавшая к единству, стройная и полная вдохновения. Организовать революционное правосудие, чтобы отнять у народа всякий повод к произвольным, неистовым выступлениям; разбить врагов революции, но вместе с тем установить повиновение всех закону, рассеять посредством всенародного референдума все признаки диктатуры,—это значило, оставив народу и революции всю их силу, в то же время руководить ею.

Вместе с тем верным ударом Дантон думал обезоружить, укротить Жиронду. Если она была искренна, если она действительно боялась всеобщей анархии и в этой анархии диктатуры Парижа,—все слова, все предложения Дантона были рассчитаны на то, чтобы ее успокоить. Ведь это один из воображаемых «триумвиров» сам требовал, чтобы общая воля Франции постоянно проявлялась, как активная и суверенная сила. Ведь это один из мнимых «дезорганизаторов» хотел вдвинуть в рамки закона выходящее из берегов революционное движение. «Подстрекатель к грабежу и анархии» сам требовал, чтобы все виды собственности, без различия, уважались и были поставлены под защиту закона. В этом вопросе Дантон стремится отмежеваться лично, а также оградить революцию в целом от предложений Моморо. Моморо был его другом; вместе с Дантоном он подписал знаменитую резолюцию секции «Французского Театра» и, конечно, это Дантон включил его в список эмиссаров исполнительной власти.

Дантон не хотел никакой двусмысленности, и он формально отверг аграрный закон. Его положение о том, что всякого рода собственность, как земельная, так и промышленная, должна быть сохраненной навсегда, является прямым ответом по адресу Моморо. Таким образом, Дантон одновременно и рассеял страхи Жиронды, и лишил ее всякого повода для доносов запуганной Франции на агитаторов и «анархистов» Парижа.

В этом убедительном воззвании, косвенно обращенном к Жиронде, Дантон не задевал никого лично, он просто указывал в нем на безрассудные проявления перехватившего через край патриотизма.

Конвент единодушно принял предложение Дантона. «Национальный Конвент постановляет: 1) не может существовать иной конституции, кроме той, которая будет принята самим народом; 2) личность и собственность находятся под охраной нации».

Находятся социалисты, которые говорят: вот здесь-то проявился буржуазный характер этой революции; вот оно проявление классового сознания! Только что начав свои работы среди всяческих внешних и внутренних тревог, о чем думает Конвент? О чем думает Дантон, его наиболее пылкий вдохновитель? О защите собственности, о провозглашении ее незыблемой. Прежде чем уничтожить мо-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

нархию, прежде чем призвать всех граждан на борьбу с захватчиками, еще не начавшими своего отступления,—прежде всего этого стремятся успокоить владетельную крупную буржуазию. Эту священную собственность хотят сделать недосягаемой для возмущенного и голодного народа, застраховать ее от всех случайных потрясений, от всех превратностей истории.

Таков первый акт, таково первое решение Конвента, так обнаруживается с первого же дня его внутренняя сущность. Крупные личности, но все же буржуа.

Кто же, однако, защищал обратное? Какой социалист, если он верен историческому методу, станет упрекать Конвент за то, что он не провозгласил коммунистический и пролетарский идеал, прежде чем для него не созрели экономические и духовные условия? Кто упрекнет Конвент за то, что он не дал увлечь себя неопределенными и в то же время прямо ретроградными идеями Моморо?

Обязанностью Конвента было защитить, спасти новое общество, которое народилось благодаря революции; в его задачу не входило подготовлять новую революцию, формула которой никем еще не была выработана в то время, и к которой ни один из классов не был подготовлен. В это время всякая угроза собственности была бы реакционной по существу. Не утверждая нового порядка, она только послужила бы на пользу врагам революции. Она повела бы не к коммунистическому обобществлению собственности, а лишь к беспорядочному разделу имущества, к простому анархическому грабежу.

Нет, ставя собственность под защиту нации, Конвент отнюдь не проявлял буржуазного эгоизма. Класс бывает эгоистичным тогда, когда во имя своих узких интересов он противодействует наступлению новой социальной формы, подготовленной всем ходом событий и умственной эволюцией. Но когда вне форм существующей собственности, форм, которые только что освободились от феодального рабства, от монархического произвола, нет ничего, кроме бесплодной контр-революционной анархии, — при таких обстоятельствах план, который противодействует всем этим беспорядочным стремлениям, не является эгоистичным. Он выполняет, таким образом, историческую, мировую задачу.

Он спасает не только себя: он спасает всю обновленную нацию, все обновленное человечество; предохраняя землю от одной революции, он оберегает, таким образом, слабые ростки новых революций, созревающих в ее глубинах. Когда социалисты обвиняют или осуждают Конвент, когда они низводят его на степень классового собрания, они недооценивают значение его деятельности, благодаря которой только и мог расцвести современный социализм. Маркс был более справедлив в оценке деятельности Конвента и восхвалял ее.

Итак, Дантон занял место в центре революции и жизни страны. Он хотел об'единить все стремления и все умы. Еще раз он пытался предотвратить гибельные раздоры и увлечь в одно широкое движение клокочущие страсти. С удивительной уверенностью он всегда указывал ту точку, в которой могли и должны были об'единиться все силы нации.

Крупная личность Конвента, Бодо, доброе и печальное лицо которого любил в молодости Кинэ, и который оставил записки исключительного интереса о лицах и событиях революции, Бодо сказал о Дантоне, что он был «революционным властелином», но не узурпатором. Он хотел этим сказать, что Дантон достигал своей власти над умами при помощи великих и благородных средств, не путем каких-либо скрытых и коварных поступков, и что его сила заключалась в умении действовать в духе общих великих интересов с большей ясностью и смелостью, чем это могли другие. Никогда еще не проявлял он с большим благородством эту революционную властность, как в тот день, когда, отдав всю душу и все силы на защиту захваченной территории, он сложил перед Конвентом свои

Электронный архив библиотеки МГПУ имени А.А. Кулешова

министерские полномочия, несовместимые с депутатским званием, и начертал этот широкий и мудрый план всеобщего примирения.

Но вот встает Колло д'Эрбуа и в нескольких словах просит Собрание выполнить, не медля ни минуты, желание всей нации: декретировать у н и ч т о ж е н и е м о н а р х и и. Это не значит посягать на волю нации, это значит освятить ее. Это не будет покушением на права первичных собраний, а лишь предвосхищением их решения.

«К чему прения,—восклицает Грегуар,—когда все согласны? Короли представляют собой в мире духовном то же, что чудовища в мире физическом. Двор является мастерской преступлений, очагом разврата и логовищем тиранов. История королей—мартиролог наций!»

Собрание покрыло аплодисментами эту спорную мысль, эту несколько упрощенную философию. В моменты наивысшего напряжения борьбы, в разгар революции, некогда соблюдать справедливость и давать исторически-точные названая тому порядку, который, если его не уничтожить, погубит дело свободы.

При всеобщем единодушии монархия упразднена. В Собрании со всех мест поднимаются громкие возгласы: «Да здравствует нация!» Накануне, у Вальми, таковы же были возгласы революционных солдат. Точно так же добровольцы, прежде чем покинуть Париж, просили, чтобы им было разрешено принести присягу перед Конвентом. «В то время как вы будете защищать свободу силой вашего оружия,—сказал им председатель,—Конвент будет защищать ее силой законов. Монархия уничтожена...». Так сливались воедино все чувства нации, так сплочивались все ее силы; декреты законодателей служили добавочным оружием в руках солдат.

На другой день, 22-го, по предложению Билльо-Варенна, Конвент постановил, что, начиная с 21-го сентября, государственные акты, вместо датировки их четвертым годом свободы, должны носить дату п е р в о г о г о д а Р е с п у б л и к и. Так была провозглашена республика, и так ее имя было вписано официально в историю революции. Это было величественным новшеством во всей мировой истории.

Бывали в истории республики аристократические, или основанные на груде рабов, на целой иерархии, возникшей в результате завоевания. Были варварские республики—недолговечные военные об'единения, где храбрость порождала и выдвигала главарей. Были маленькие олигархические республики, вроде республик швейцарских кантонов. Была республика изгнанников, ссыльных, которую на девственной почве не знавшей никаких зачатков монархии Америки, основали потомки пуритан. Но, чтобы на обширной территории, великий, богатый и просвещенный народ, за плечами которого уже было десять веков исторической жизни,—народ, выросший с монархией и еще вчера считавший ее необходимой даже при революции, чтобы этот народ, где не было рабов, где не было крепостных, и где с 10-го августа все граждане были равны, чтобы такой народ поднялся до республики и чтобы он на самом деле весь, целиком, в полном своем составе сделался народом-властелином,—в этом было, действительно, величие новизны и дерзновения.

Деятели революции отдавали себе ясный отчет в положении вещей. Их так часто и неумно обвиняли в том, что они были лишь школьниками и учителями риторики, как бы загипнотизированными воспоминаниями плохо усвоенной античности, на самом же деле они хорошо знали и говорили сами, что их деятельность не имела прецедента в истории, и что для производства нового опыта им нельзя было воспользоваться никакими уроками прошлого. Со следующего дня, в номерах от 22-го и 29-го сентября, газета «Парижские Революции» передает в сильной и отчетливой форме эту мысль.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Относясь с полным уважением к традициям прекрасной древности, восхищаясь гениальными художественными произведениями, которые Афины, Спарта и Рим оставили нам в области искусства, мы должны признать, что в области законодательной мы ничего не можем почерпнуть у них, что могло бы служить в качестве предостережения или руководства. Мы ничего не можем позаимствовать из того, что античные республики создали в политике. Все обстоятельства изменились, и во многих отношениях то же приходится сказать и о современных республиках. Мы первые и единственные полагаем в основу нашей Республики священные законы равенства; мы делаем это иначе, чем английская хартия, признающая короля, дворянство и две палаты—верхнюю и нижнюю. Мы первые и только мы осуществляем у себя истинно братскую форму правления. Допустим, что в этом у нас есть соперники. Но уже наверное мы не имеем перед собой никакого образца: мы никому не подражаем. Нарождавшийся Рим заимствовал свои законы у Греции, которая, в свою очередь, все заимствовала у древнего Египта. Мы идем совершенно особым путем; мы согласуем свои действия только с требованиями природы; мы восходим к неотъемлемым правам человека, чтобы из них вывести права гражданина».

Для этой совершенно новой республики надо было, чтобы нация переродилась и духовно, стала способной к восприятию просвещения, прониклась принципами равенства и свободы. Все члены Конвента, без различия их происхождения, чувствовали какой-то трепет от сознания величия и новизны создаваемого ими порядка. Конечно, он был только завершением процесса, развивавшегося в течение трех лет. Формулируя «Права Человека и Гражданина», утверждая суверенитет нации, провозглашая, что закон является выражением общей воли, члены Учредительного Собрания уже тем самым осуждали и наперед исключали все то, что противоречило суверенитету нации и осуществлению ее воли. Если исходить из глубокой логики вещей, именно с этого дня республика должна была бы вести свое начало. Но человек склонен уклоняться от чистой логики отвлеченной мысли. Даже в наиболее решительные для себя дни он не проводит до конца своих принципов; он или не видит вытекающих из них крайних последствий, или надеется избежать их, так как они слишком оторвали бы его от его привычек и знакомых ему форм окружающей жизни. К таким сделкам с самим собой человек также предрасполагается всей историей, которая представляет из себя ряд компромиссов, непрестанное нарушение отвлеченных, логических норм. Перед такими крайними последствиями очутились теперь члены Учредительного Собрания, вошедшие в Конвент. Перед ними внезапно рухнули все декорации конституционной монархии, которые в течение трех лет закрывали от них бесконечные, волнующие перспективы.

Их собственная идея вдруг встала перед ними во всей своей огромности, чего они отнюдь не предвидели, и от чего до сих пор уклонялись их напуганные умы. Превзойти самих себя, видеть свое собственное дело переросшим создавшие его силы—это одно из самых глубоких потрясений человеческого сознания. Жирондисты также испытывали это чувство. Они больше свыклись с идеей республики, они допускали ее, как гипотезу. Но в их обыкновении было прибегать к различным комбинациям и отсрочкам. Они были министрами при монархии и в глубине души нередко готовы были удовольствоваться республикой, существующей под вывеской монархии, которая открывала бы дорогу самым блестящим государственным людям и самым красноречивым ораторам, словом—избранникам. И вот перед ним была республика; такая неожиданно реальная, огромная, в недрах которой таилась суровая сила проснувшегося, наконец, народа. Уже одно соприкосновение с нею тревожило жирондистов.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

А демократия все росла и делала все новые и новые завоевания. Робеспьер, который был до этих пор скорее демократом, чем республиканцем, и который охотно укрывал корабль революции на рейде старой монархии, теперь вместе со всей нацией был увлечен волной событий в открытый океан. Какие бури и какие крушения таил в себе этот океан? Как на этом огромном, открытом пространстве потопить своих преуспевающих соперников?

Все, как старые борцы, так и новички в политике, находились под потрясающим впечатлением непоправимого разрыва с прошлым. Это была борьба не на жизнь, а на смерть со всем старым миром как во вне, так и внутри страны. Это было нечто совершенно новое, величественное; ему все угрожало, одной своей смелостью оно уже молча об'являло войну всякому рабству, а также всем непоследовательным и несовершенным формам свободы. Это было славное самоутверждение и в то же время вызов! Разве не стоило затратить каких угодно усилий для того, чтобы выдержать до конца в этой благородной ставке! А через какие опасности надо было пройти! Дух захватывало и, как это передает в великолепном образе один писатель того времени (Революция в Париже, сентябрь 1792), мускулы напрягались сами собой, предчувствуя подвиги, достойные Геркулеса.

Один знаменитый антикварий рассказывал, что «каждый раз, проходя перед статуей Геркулеса, он чувствовал себя выросшим на несколько футов. Все его мускулы выпрямлялись; его походка становилась величественнее, увереннее, его голос делался более мужественным, биение его артерий более частым... Таковы должны быть и наши законодатели».

Много лет спустя, пережив поражение и ссылку, Бодо несколькими общими штрихами рисует неустрашимого члена Конвента: «Он дерзнул взойти на самый хребет Горы, не испытывая при этом головокружения». Путь по опасным, рискованным вершинам начинается с провозглашения республики. Как легко может закружиться голова! Сколько возможностей оступиться. Порой достаточно одной уже явной или тайной ненависти, чтобы толкнуть человека в пропасть! Но на один момент под величественным впечатлением провозглашения республики они все же «на хребте Горы», может быть, примиренные друг с другом и сами с собой глубиной неизведанного дотоле волнения; вдали перед их взором — доблестная, потрясенная нация; неизвестное, рабски или враждебно настроенное человечество; необ'ятные, полные великолепия и суровости горизонты, почти безграничное поле надежд и испытаний, свободы и борьбы; это поле озарено суровым и в то же время тихим рассветом, и над ним же смерть реет широкими взмахами своих крыльев.

Когда члены Конвента начинают передавать эти грандиозные впечатления, они неисчерпаемы в образах. Камбон великолепно отметил неожиданное исчезновение всего искусственного, темного, двусмысленного и внезапное наступление ослепительного дня. Много лет спустя, пережив поражение и находясь в ссылке, он характеризует Конвент, как мощный источник света, заливающий все своими лучами.

«Вот что я знаю о революции,—писал он.—Учредительное Собрание зажгло в храме большой светильник перед статуей святого. Свет его делал заметными все недостатки святого. В Законодательном Собрании мы опрокинули эту священную статую. Во время Конвента не осталось даже обломков ни от святого, ни от светильника, но мы разбили все стекла в храме, и народ увидел отовсюду свет, всюду проник день».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

ГЛАВА X.

Успехи революционных армий. Жемапп. Майнц.

С самого начала Конвент получает хорошие вести. Прусская армия, остановленная перед Вальми, дрогнула и точно осела.

Дюмурье и его солдаты, напротив, горели усердием и рвались в бой. Дюмурье не мог еще понять всей глубины нанесенного им под Вальми удара; но он знал, что если враг и отважится пойти на Париж, то это будет предпринято с большой неуверенностью в своих силах и в подавленном состоянии духа. Тогда он, оставаясь несколько позади и правее неприятеля, сможет его теснить и толкать к Парижу, как к пропасти. Таков был план, начерченный Верньо. Дюмурье, 21-го, сообщает Сервану свои предположения:

«Вчера, 20-го, после восьмичасовой атаки на корпус генерала Келлермана, расположенный на высотах Вальми, пруссаки, понеся большие потери, продолжали свое продвижение слева от меня; за ними следует колонна гессенцев и эмигрантов, которые пройдут передо мной сегодня; я буду теснить их вплотную, последую за ними с целой армией, которая очень воодушевлена. Я не останусь долго на занимаемой мною позиции; я буду следовать за врагом по пути его продвижения и, если он пойдет на Реймс, буду теснить его на близком расстоянии».

Герцог Брауншвейгский почувствовал опасность; он сам пошел на переговоры, но с какой неуверенностью и неловкостью! Он был слишком просвещен, чтобы не понимать величия и мощи той революции, с которой боролся. Он должен был поэтому ограничиться требованем гарантий для жизни короля Людовика XVI. Но он настаивал на гарантиях и для его власти. Он сказал ад'ютанту генерала Тувено при переговорах насчет пленных:

«Наши народы не созданы для того, чтобы быть врагами; не найдем ли мы какой-нибудь возможности кончить дело полюбовно? Мы находимся в вашей стране; она разорена неизбежными бедствиями войны. Мы знаем, что мы не в праве препятствовать нации в создании законов, в установлении внутреннего порядка; нас занимает исключительно судьба короля: что ждет его? Пусть только нам дадут гарантии относительно его безопасности; пусть ему отведут какое-либо место, все равно под каким наименованием, в новом порядке,—и тогда его величество король Пруссии тотчас вернется в свое государство и сделается вашим союзником».

Сколько ребяческих противоречий, и как чувствуется в этих словах усталость! Как очевидно, что ведение войны является для прусского генерала лишь тягостной барщиной!

И какое странное упорство в желании обеспечить Людовику XVI в новом порядке хоть какое-нибудь положение! В этом сказывается его растерянность и колебания между данными ему предписаниями, ложно понимаемой монархической честью, с одной стороны, и живым чувством печальной действительности—с другой.

Дюмурье горячо ухватился за эти первые примиренческие попытки. Он склонен был начать переговоры по двум причинам. Во-первых, он знал, что прусская армия, опустошаемая дизентерией, таяла с каждым днем, и что, затягивая переговоры, он выигрывал в соотношении сил. Затем, он был убежден, что союз Пруссии с Австрией против Франции был чисто искусственным, что Пруссия, освобожденная после своей неудачной военной попытки от всяких обязательств, направленных против французской монархии, сама сблизится с Фран-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

цией. Тогда австрийский царствующий дом будет побежден, и благодаря революции Дюмурье достигнет того, о чем при монархии мечтала целая дипломатическая школа. И вот Дюмурье поспешил обратиться к прусскому королю с запиской, полной лести, натравливаний на Австрию и успокоительных заверений относительно проникновения революционной пропаганды в его государство:

«Необходимо смотреть на Францию, как на республику, потому что вся нация единодушно об'явила монархию упраздненной. Эту республику надо или признать или победить. Государства, поднявшиеся против Франции, не имеют никакого права вмешиваться в дебаты, которые нация в лице своих представителей ведет относительно формы правления. Ни одно государство не в праве предписывать законы великому народу. Хотели воспользоваться правом сильного? Но что из этого вышло? Нация только еще более воспрянула духом. Она противопоставила силу силе, и, конечно, те успехи, которые удалось до сих пор одержать многочисленным войскам прусского короля и его союзников, являются чисто случайными. Сопротивление, которое неприятель встречает и которое возрастает по мере его продвижения, слишком сильно; оно должно доказать, что победа над Францией, представлявшаяся такой легкой, на самом деле совершенно невозможна.

«Прусский народ преисполнен любви к королевскому достоинству, потому что со времени великого курфюрста он имел только хороших королей, и тот, кто руководит ими, несомненно, достоин его любви. Французы уничтожили монархию, потому что со времени бессмертного Генриха IV они имели только слабых королей: это были заносчивые или трусливые люди; или они находились под влиянием любовниц, духовников, невежественных или наглых министров, низких и хищных куртизанов, которые накликали всевозможные несчастия на прекраснейшую страну в мире. Возможно ли, чтобы король Пруссии шел против законов истинной политики, против вечной справедливости, против человечности? Возможно ли, чтобы он согласился быть исполнителем воли коварного венского двора, чтобы ради тщеславия этого двора он стал расточать свои богатые средства и пожертвовал своей славной армией? Настало время, когда открытые и чистосердечные переговоры должны положить конец нашим спорам и указать нам наших настоящих врагов. Мы будем храбро сражаться против них; мы находимся на своей земле и должны отомстить за насилие, совершенное на наших равнинах; необходимо отдать себе ясный отчет в том, что война против гордых своей свободой республиканцев—кровопролитная война, которая должна закончиться полным уничтожением притеснителей или притесняемых.

«Эти страшные размышления должны волновать сердце гуманного и справедливого короля. Ему необходимо сознать, что, оставаясь нашим врагом, он не только не облегчит силой оружия участь Людовика XVI и его семьи, но, напротив, лишь увеличит их несчастья».

По какому-то непонятному заблуждению герцог Брауншвейгский, сам начавший предварительные переговоры, ответил на примирительную ноту Дюмурье дерзким манифестом, в котором он снова требовал от французской нации бережного отношения к королю и настаивал на том, чтобы королевское достоинство во Франции было немедленно восстановлено в лице Людовика XVI и его наследников. Может быть, герцог Брауншвейгский вдруг понял, что он зашел слишком далеко и выдал свою слабость. Или он истолковал поспешность ответа Дюмурье и примирительный тон его записки, как признак его усталости и страха? Повидимому, на время завоеватели снова окрылились надеждами. Ферзен явился

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

только эхом, повторяющим распространившиеся через герцога Брауншвейгского слухи, когда в письме от 28 сентября он писал из Брюсселя барону де-Бретейль:

«Если правда, как нам говорили вчера, что Дюмурье предлагал капитуляцию, то сейчас удобный момент, чтобы начать с ними переговоры и выставить свои условия». В своем дневнике, под 28-м сентября, Ферзен отмечает эти слухи: «Один гражданский австрийский чиновник, эстафетой от 25-го извещает графа Меттерниха, что один прусский курьер сказал, что Дюмурье был окружен, что он просил о разрешении ему капитулировать и удалиться со своими войсками, оставляя свои пушки, свой багаж и палатки, на что герцог потребовал сдачи всех видов оружия».

Несомненно, здесь отразились фантастически преувеличенные иллюзии, которые питали приближенные герцога Брауншвейгского. Тем не менее можно предположить, что эти странно оптимистические слухи не получили бы распространения, если бы в прусской армии не истолковали позицию, занятую Дюмурье, как признак колебания и замешательства. Когда же Дюмурье гордо и резко ответил на манифест герцога Брауншвейгского, что отныне какие-либо переговоры невозможны, ко всем обманутым надеждам, и без того удручавшим прусского генерала, прибавилась тяжесть еще лишнего разочарования. Герцог Брауншвейгский мог даже вообразить, что Дюмурье его обманул и что притворными переговорами он задержал под дождями его разлагающуюся армию. Прусский генерал таким образом дошел до состояния недоверия к себе самому, так же как и ко всему, его окружающему. Его энергия была совершенно истощена, когда перед ним стал настойчивый вопрос: продвигаться ли дальше по вязким равнинам Шампани, по направлению к Парижу, или отдать приказ об отступлении? Под влиянием давившей его усталости он склонился к отступлению. Он не чувствовал в себе силы нести далее ответственность. Итти же к бушевавшему Парижу с больной и поредевшей армией, подвергаясь угрозе со стороны следовавшей за ним по пятам революционной армии, в которой все возрастала вера в свои силы,—это было рискованным и ответственным делом.

Кроме того, каких результатов можно было добиться путем этой неосторожной и почти безнадежной кампании? Нечего было и думать о том, чтобы с корнем вырвать революцию, которая так глубоко вросла в самую почву страны и сердца ее обитателей, что никакими насильственными средствами уже нельзя было теперь до нее добраться. Представлялось ли, по крайней мере, возможным спасти Людовика XVI? Да... если бы удалось войти в Париж... и если бы еще до этого не пришлось узнать, что восставший народ покончил с королем.

Еще до того, как герцог дал сигнал к отступлению, наступавшая армия, продрогшая под осенним ветром, уже впала в состояние полнейшей неуверенности в себе. Ферзен отмечает в своем дневнике от 1-го октября печальные предчувствия, которые наполняли все сердца.

«В нескольких письмах, полученных от эмигрантов, и также в письме виконта де-Караман от 24-го к его жене, сообщается, что Дюмурье занял совершенно неприступную позицию, что погода ужасная, и армия терпит всевозможные лишения. Для того чтобы обогреться, разрушают дома. Пришлось собрать по гумнам зерно. Все происходящее доказывает, что порядка очень мало, что большое дело проиграно; целые деревни были разрушены на топку, многие дома сильно пострадали. Эта страна превратилась сейчас в пустыню и являет собой картину полного разорения. То, что сообщает виконт де-Караман о бедствиях ее обитателей, ужасно; он рассказывает, что в одной об'ятой пламенем деревне он видел старика с женой, сидящих перед их горящим домом и в мрачном безмолвии созерцающих гибель всего их имущества; их собака лежала около них, отчаянно воя.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Письмо Вобана к жене рисует ужасную картину бедствий эмигрантов; живя в течение десяти дней на бивуаке, без палаток, без экипажей, страдая от дизентерии, не получая никакой медицинской помощи, не имея совершенно продовольствия, они доели свой последний фунт хлеба и не знают, где раздобыть еще. В этих двух письмах сквозит сомнение в успешности предприятия; они как бы говорят: «Один Бог знает, чем это кончится». Виконт рассказывает об одной бомбардировке, производившейся из 100 пушек с обеих сторон в течение четырех часов (это было при Вальми). Расположенная в траншеях французская артиллерия превосходно работала и уложила много народа».

Эмигрантам весьма скоро пришлось расплачиваться за свое варварство и самодовольство. Этим легкомысленным людям, воображавшим, что стоит им лишь появиться, чтобы тотчас рассеять трусливые революционные банды, пришлось сконфужено убедиться, что и у революции не было недостатка в метких ядрах, наносящих урон противнику. Еще недавно поощряя наступающие войска к насилиям и убийствам, покровительствуя грабежам, эти безумцы теперь сами голодали, и то отчаяние, которое они распространяли вокруг, теперь возвращалось в их усталые души. Эти непримиримые хвастуны теперь разнервничались до того, что приходили в смущение от унылых завываний бедного пса, который, как им казалось, накликал беду. Кто знает, не слышал ли и герцог Брауншвейгский этого вопля заброшенности и тоски? Во всяком случае, от этих, некогда таких высокомерных эмигрантов он не получал теперь большого подкрепления.

Но вот страхи растут, и зловещие предвестия все умножаются. Ферзен отмечает 3-го октября в своем дневнике: «Один австрийский курьер, офицер, уехавший из армии вечером 28-го (сентября), говорит, что приостановка военных действий длилась четыре дня, и что за это время Дюмурье не заговаривал о капитуляции; он сообщил также, что позиция Дюмурье совершенно неприступна, и неизвестно, что решит предпринять герцог Брауншвейгский; доставка продовольствия крайне затруднительна; при его от'езде был отдан приказ отсылать все экипажи; предполагали, что герцог хочет вести атаку со всех сторон одновременно». Точно нависли изменчивые, плывущие облака, за которыми таились крупные катастрофы. Только вечного глупца де-Бретейля не коснулось никакое предчувствие. 3-го, среда, письмо барона де-Бретейль от 28-го: «Сообщается 25-го вечером, что он с минуты на минуту ожидал вестей о капитуляции» (Дюмурье). Ох, уж этот никудышный защитник монархии!

Наконец, получается важная печальная весть, которую уже предчувствовали, но которой не решались поверить. «Вечером, в полночь, курьер лорда Эльгина привез сообщение о том, что 1-го октября прусская и австрийская армии отступили на Граппре и, говорят, оттуда на Верден. Этот офицер сообщает, что армия изнемогает от усталости, недостатка во всем и болезней; так как ни один из транспортов с продовольствием не прибывал, то в армии стал распространяться страх перед возможностью быть окруженной; что французы держались очень хорошо; что они упорно сооружали батареи; что, несмотря на то, что по ним много стреляли, они не отвечали и не прекращали своих работ; что часовые насмехались над пруссаками, когда те уходили; что местные жители—отвратительный народ, что они ничего не дают путешественникам, даже крестьяне».

Из Вердена, 2-го октября, Бретейль, который теперь начал понимать, в чем дело, пишет Ферзену: «Вы знаете и разделяете с нами все бедствия, которыми грозит нам отход наших армий в тот самый момент, когда были все основания надеяться на осуществление наших надежд».

Из Сент-Менегульд: «1-го октября 1792, 1 год республики» Дюмурье адресует военному министру письмо, которое является победным кличем, и которое тот передает Конвенту: «Наконец, мой дорогой Серван, случилось то, что я об-

Электронный архив библиотеки имени А.К. Кулешова

думывал, комбинировал, предсказывал во всех своих письмах. Отступление пруссаков в полном разгаре. Храбрый Бернонвиль, которого окрестили французским Аяксом, взял у них в течение двух дней более 400 человек, более 50 повозок и более 200 лошадей.

«По рассказам пленных и дезертиров, эта армия совершенно истощена голодом, усталостью, дизентерией. Каждую ночь неприятель покидает свой лагерь и продвигается на одно или два лье, чтобы защитить свой багаж и свою тяжелую артиллерию. Я только что подвел подкрепления к Бернонвилю, у которого более 20.000 человек, и который не оставит в покое неприятеля до его полного истребления. С сегодняшнего дня я лично присоединяюсь к нему, чтобы закончить это дело».

Комиссары Конвента при армии (Карра, Силлери, Приёр) восхваляли в своих донесениях Дюмурье, они раз'яснили смысл предпринимаемых операций:

«Если судить по разумным маневрам, произведенным генералом Дюмурье, и занятым им позициям, то он делает кампанию, которая создаст эпоху в летописях Франции

«Трудно поверить, что он решился предпринять отступление, имея 17.000 человек против армии в 80.000, сумел занять такую выгодную позицию на случай неудачи, добиться соединения с различными корпусами, которые приходили ему на помощь. Он сумел продержать неприятеля в самой бесплодной области Франции и заставить его, наконец, позорно отступить из этой страны с армией, уменьшенной по крайней мере на одну треть вследствие понесенных потерь больными и пленными».

Я отмечу здесь любопытный намек на Жанну д'Арк:

«Мы закончим это письмо,—пишут комиссары,—сообщением о двух молодых героинях, находящихся здесь, гражданках Ферниг; эти две молодые девушки, столь же скромные, как и храбрые, находятся все время на передовых позициях, в самых опасных местах. В армии, состоящей из молодых граждан, они пользуются уважением и почетом. Пусть не забудет Конвент, что в царствование Карла VII одна знаменитая дева способствовала возвращению этого короля на трон. Теперь же мы имеем двух, которые борются за то, чтобы освободить нас от притеснявших нас в течение стольких веков тиранов».

Можно сказать, что страх быть заподозренными в склонности к монархическим предрассудкам мешает им воздать должную справедливость «знаменитой деве», которая, возведя короля на трон, спасла страну. Тем не менее, они отчетливо сознают, что величие национального под'ема могло тогда так же, как и теперь, породить героизм юных девушек; и можно думать, что именно величие революции, которая разрушила прошлое, скоро облегчит человеческому сознанию и понимание этого прошлого.

При отступлении пруссаки и австрийцы были вынуждены оставить Верден и Лонгви, которые снова были заняты солдатами революции. Доведенные до отчаяния эмигранты, вместо того чтобы обвинять самих себя, обвиняли герцога Брауншвейгского: «Это грязный человек»,—трусливо пишет о нем де-Бретейль!

Что касается Дюмурье, то, будучи теперь уверен в успехе, он не хотел долго задерживаться в преследовании неприятеля. Он поручил его своим лейтенантам, сам же 11-го октября прибыл в Париж, конечно, для того, чтобы насладиться здесь своей победой, измерить силу своей популярности и установить, до какого предела может он итти дальше, но главное для того, чтобы подготовить новую кампанию—вторжение в Бельгию.

Встреченный 12-го октября в Конвенте самыми горячими аплодисментами он обращается к нему с гордой, остроумной и ловкой речью; воздавая всем долж-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ную справедливость—как солдатам, так и военным поставщикам, восхваляя одновременно их дисциплину и храбрость, он под видом похвалы дает также советы относительно дальнейших действий. Дюмурье хорошо понимал дух солдат революционной Франции и умел воздействовать на них путем своей своеобразной героической веселости. Этот удивительный человек умел вкладывать в революционные формы блестящие воспоминания, связанные со старым режимом:

«Никогда,—сказал он,—я не встречал ропота среди солдат; по царившему среди них радостному настроению и их песням, этот грозный военный лагерь можно было принять со стороны за один из тех увеселительных лагерей, в которых некогда короли собирали сформированных в полки автоматов для развлечения своих любовниц и детей».

16-го октября союз Дюмурье с Дантоном был как бы формально закреплен в Якобинском клубе. Дантон сам председательствовал в этом собрании: «Граждане, братья и друзья, — сказал генерал, — вы положили начало великой эпохе; вы разорвали прежнюю историю Франции, которая представляла собой только картину деспотизма; с этой революции, которая воодушевила наши армии и дала нам храбрость, необходимую для отражения превосходных сил противника, с этой революции начинается новая эра. Мы совершенно не устали; нам не страшны ни военные тягости, ни лишения, ни голод; мы чувствуем себя более мужественными, чем когда-либо, мы платим деспотам тем же, что они готовили для нас. К концу этого месяца я надеюсь иметь шестьдесят тысяч солдат, чтобы перейти в наступление против королей и спасти народы от их тирании».

Дантон публично как бы усыновил Дюмурье в следующей сильной речи: «Когда бежал Лафайет, этот презренный евнух революции, вы уже служили ее благу, ни на минуту не сомневаясь в ее спасении; вы соединили наших братьев; с тех пор вы все время умело сохраняли эту позицию, которая погубила врага; вы оказали важные услуги родине. Впереди для вас открывается еще более блестящее поприще. Пусть народная пика разобьет скипетры королей, и пусть падут короны перед этой красной шапкой, которой почтила вас республика. Возвращайтесь потом к нам, и ваше имя займет место на одной из славнейших страниц нашей истории».

Что же связывало в это время Дюмурье и Дантона? Прежде всего, общность перенесенных испытаний и достигнутой славы; оба они,—один в центре правительства, другой в армии,—несли на себе ответственность за опасность, грозившую родине. Оба делили с нею ее торжество и победы.

Но между ними существовала и более тонкая связь. Оба они, несмотря на всю разность их происхождения и противоположность темпераментов, превосходно комбинировали здравый народный смысл с дипломатической хитростью. У Дюмурье были очень умеренные, определенные планы. Как мы уже видели, он хотел изолировать австрийский царствующий дом. Он не хотел, ведь, довести до крайности Пруссию, не собирался во имя революции об'являть всем войну и штурмовать все троны.

Если бы Австрия была побеждена, а наступление пруссаков остановлено мирным договором, тогда республике не грозила бы никакая опасность, и понемногу она была бы официально признана всеми правительствами и всеми народами. Одного ее примера, без всякого насилия, без войны, было бы достаточно для того, чтобы повсюду разнести идею свободы, чтобы оживить народные чаяния и воздействовать на партии реформ. Эти умные, ясные и определенные идеи Дюмурье надеялся реализовать при помощи революции; он надеялся внушить

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

их и революции, умея проникнуться духом революционных событий и найти с ними общий язык.

Рожденный в разгар революции и находясь всегда в контакте с народной стихией, Дантон в прямо противоположном смысле шел той же дорогой, что и Дюмурье, идя ему, таким образом, навстречу. Он понимал, что если бы революция сама не умерила свои порывы и захотела разом обновить мир, она сама погубила бы себя, исчерпав все свои силы в роковой борьбе.

Таким образом, в то время как дипломат Дюмурье видел в революционных силах средство осуществления своих тонких расчетов, Дантон стремился умерить выходившую из берегов революционную стихию путем осторожной и обдуманной дипломатии. На этот счет он имел такие же планы, как и Дюмурье: раздавить Австрию путем ее изоляции, обезоружить злопамятную Пруссию, установить мир в Европе, достигнуть официального и всеобщего признания Французской Республики с тем, чтобы в тиши упроченной свободы силы демократии получили возможность мирного развития.

Но все же между этими двумя людьми, сблизившимися на почве общего дела, полными ума, храбрости и патриотизма, лежит целая пропасть. Бодо писал о жирондистах, «что они хотели быть наследниками республики, но лишь при условии, что их интересы будут обеспечены». По отношению ко многим из них такое определение несправедливо. Но оно вполне применимо к Дюмурье, который принимал революцию лишь постольку, поскольку находил это для себя выгодным и был готов предать революцию, если бы она расстроила его тщеславные расчеты. Дантон, напротив, принадлежал революции весь целиком и до самой смерти.

Победа Дюмурье, одержанная над пруссаками и австрийцами, а также об'явление о предстоящем вторжении в Бельгию, произвело удручающее впечатление на осаждавших Лилль австрийцев. Они опустошили его окрестности, особенно, как отмечает одна корреспонденция во «Французском Патриоте», «большую деревню при Рубэ». С 29-го сентября по 7-ое октября на осажденный город упало более шестидесяти тысяч ядер, при чем было убито более 2 тысяч жителей и сожжены обширные кварталы. Население вело себя геройски; оно бегало вокруг ядер, покрывая их красными шапками. Губернатор Рюо об'явил герцогу Саксен-Тешенскому, что он скорее взорвет город, чем сдаст его. 7-го октября осада была снята.

В Бельгии успехи Дюмурье были поразительны. 1-го ноября он обращается с прокламацией «к храброй бельгийской нации». Он напоминает бельгийцам те усилия, которые были ими уже сделаны для завоевания свободы, для свержения ига австрийского деспотизма:

«Бельгийцы, мы—братья; вы слишком хорошо доказали нам свое нетерпеливое желание сбросить иго рабства, чтобы мы могли считать вас своими врагами».

6-го ноября, при Жемаппе, в окрестностях Монса, он нанес врагу решительный ошеломляющий удар. На этот раз это уже не доблестная оборона, это не только героическая твердость под пушками неприятеля. Это—смелое наступление, это—штурм неприятельских редутов, расположенных уступами на значительных высотах; это—большое рукопашное сражение, один на одного, где каждый из солдат жертвует своей жизнью. Удивительной веселостью проникнуто донесение, сделанное по этому поводу Дюмурье Конвенту.

«Австрийская армия, по самым умеренным подсчетам, состояла из 20 тысяч человек, из них 3 тысячи с половиной кавалерии; другие определяют ее в 28 тысяч человек; у нас было не более 30 тысяч бойцов. Позиция австрийцев была угрозой; их правый фланг, опиравшийся на деревню Жемапп, образовывал угол с их фронтом и левым флангом, который опирался на Валансьенское шоссе. Они были расположены во всю длину на покрытой лесом горе, где воз-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

выпались в виде амфитеатра три яруса редутов, снабженных двадцатью орудиями тяжелой артиллерии, таким же количеством гаубиц, и имея по три полевых пушки на батальон. В общем это составляло артиллерию приблизительно в 100 орудий. Мы имели столько же, но возвышенное положение их артиллерии давало им большое преимущество на тот случай, если бы мы решились закончить дело пушечной канонадой. Уже давно, уверенные в своих силах, наши войска выражали мне свое живейшее желание сразиться с врагом вблизи. Я разделял их уверенность, так как видел, что все передвижения, которые я заставлял их проделывать под огнем противника, они совершали так, как будто дело происходило на занятиях. В течение трех предшествующих дней я наблюдал, с какой точностью они исполняли мои приказания относительно различных маневров и развертываний фронта.

«... Ровно в полдень вся пехота выстроилась в мгновение ока в батальонные колонны и понеслась с величайшей быстротой и величайшей веселостью на окопы неприятеля. Ни одна колонна не отстала; первый ряд редутов был снесен с величайшей быстротой; но скоро препятствия возросли; центру стала грозить опасность: я увидел кавалерию, готовую вступить на равнину, чтобы ударить колоннам во фланг. Тогда я послал туда генерала-лейтенанта Эгалите (сын герцога Орлеанского, будущий Луи-Филипп), который, благодаря своей холодной выдержке, очень быстро собрал разрозненные колонны и повел их на штурм второй линии редутов.

«Я очень быстро собрал кавалерию Бернонвиля, и она ударила тотчас же и с величайшей силой по неприятельской коннице, которая уже охватывала наш правый фланг. Эта конница хотела прорвать ряды нашего первого парижского батальона, который встретил ее сильным отпором и залпом убил 60 человек. Во время этой схватки, происходившей на правом фланге, наш левый фланг овладел деревней Жемапп; наш центр снес вторую линию редутов; оставалось дать новый бой на высотах; но он уже не был столь длителен и жарок, так как австрийцы были совершенно ошеломлены выдержкой наших войск. В два часа они отступили в величайшем беспорядке. Наши войска заняли тогда все расположение противника, усеянное убитыми и ранеными с обеих сторон. Потери противника были значительны, а паника среди его солдат так велика, что он отступал, не останавливаясь.

Наши войска, стоявшие на бивуаках в течение трех дней, не имевшие даже возможности сварить себе супа в день этой страшной битвы, все-таки проявляли то же самое рвение и настойчиво просили меня разрешить им итти к Монсу и взять его приступом.

В своем письме Конвенту Дюмурье пишет: «Все армейские части были пущены в ход: не было человека, который не принимал бы непосредственного участия в сражении».

Мощь и воодушевление этой армии зависели, очевидно, от того, что силы традиции чудеснейшим образом переплетались в ней с силами революции. Когда я говорю о силах традиции, я не имею в виду казарменные войска. Казарма всегда действовала на людей расслабляюще. Де-Гибер в своих книгах по тактике констатирует, что при монархии казарма делала хилыми и развращала солдат. В своих мемуарах Гувион Сен-Сир умышленно отмечает, что первые армии революции состояли из двух совершенно различных элементов: линейных войск, «морально и физически ослабленных длительным пребыванием в казарме», и из сильных и сметливых добровольцев. Но важно то, что на-ряду с вождями, избранными добровольческими батальонами, находились прекрасные и опытные линейные офицеры. Верно и то, что со времени революции сама жизнь казармы изменилась: солдат уже не держали в стороне от гражданской и политической

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

жизни. Они братались с гражданами, они сами превратились в граждан и как бы обновились духовно. На поле битвы они проявляли готовность к этому чудесному, полному энтузиазма слиянию с волонтерами, которые отражали в себе все оттенки революционной мысли.

Вследствие массовой эмиграции офицеров-дворян, после от'езда Лафайета из офицерских кадров старой армии остались только те, которые примкнули к революционному движению. В особенности превосходна была артиллерия, образованная и патриотически настроенная. Под конец старого режима, при упадке всех военных институтов, она одна росла духовно, благодаря прогрессу наук, их усердному изучению и свободомыслию своего времени. Она совершенствовалась вместе с науками, которые преуспевали повсеместно и пользовалась опытом всех многочисленных открытий, которые совершались как в военной, так и в промышленной области. Эта артиллерия была в совершенстве подготовлена к защите революции.

Таким образом, наука XVIII века присоединила в революционных армиях свою силу к воодушевлению солдат-граждан; эти армии были восставшим народом, и они были в то же время как бы вооруженной энциклопедией. Великий урок республиканских демократий, которые ищут новый тип военной организации! Не путем вредной и расслабляющей казарменной рутины можно подготовить солдат! Не принижением научного уровня вождей можно обеспечить их верность; нет, только духовная однородность и торжествующая наука,—вот две великие силы, создающие военную организацию при демократическом строе.

Победа при Жемаппе привела в восторг Конвент. Это были лучи славы и свободы, озарившие его первые дни. Конвент несколько колебался, устраивать ли торжественное празднование. Правда, свобода одержала победу; но ведь погибли люди!

«Предоставим королям Европы,—воскликнул Барер,—отмечать праздниками дни, когда они затопили землю кровью. В древних республиках празднование выигранных сражений заключалось в погребальных играх, а не в блестящих торжествах... Ведь погибли тысячи людей. Потому что австрийцы тоже люди... Одни короли не являются людьми... Я требую только постановки простого надгробного памятника».

Но Верньо, с его ясной головой, разогнал призраки смерти. Победа свободы—это победа жизни, это воскресение народов; павшие за это дело жизни могут повторить смелые слова: «О, смерть, где твое жало? Воспойте же,—воскликнул он,—воспойте победу, которая будет победой всего человечества! Да, погибло много людей, но они погибли за то, чтобы другие не погибали в будущем. Клянусь именем общего братства, которое вы установите,—всякое ваше сражение будет шагом к миру, человечности и счастью народов».

Покончив с печальными сомнениями, поднявшись как бы над самой смертью, Конвент об'явил большой национальный праздник. Как лучи света, всюду проникающие в знойные летние дни, как бы исключают даже самую возможность страдания и ночи, так и теперь все печальные мысли исчезли перед величием свободы и славы.

Такую ясность можно иногда встретить в эпоху античного просвещения, но ему никогда нехватало этой пламенной живости, того бурного размаха, который вырывался бы за узкие пределы горизонта одного какого-либо города и своим светом озарял бы все человечество.

8-го ноября Монс без сопротивления открыл свои ворота. Отстранив рукой поднесенные ему ключи от города, Дюмурье сказал местным властям: «Мы приходим как братья и друзья». Армия была встречена в городе криками: «Да здравствует Республика! да здравствует свобода!» и тот час же в провинции

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Геннегау, столицей которой был Монс, установились демократические порядки. Прямым всенародным голосованием было избрано 30 магистратов, своего рода директория. 12-го ноября Шарлеруа был занят генералом Валансом. 14-го Дюмурье торжественно вступил в Брюссель.

«Вчера,—писал он 14-го председателю Конвента,—я подошел к Брюсселю со своим авангардом. Австрийцы оспаривали у меня высоты Андерлехта. Ввиду наступающей ночи, я не хотел бесцельного пролития крови моих храбрых товарищей; мы провели ночь на бивуаке, утром же я был встречен жителями Брюсселя как народный освободитель. (Оживленные аплодисменты.) Армия Республики воодушевлена более, чем когда-либо; в качестве эпиграфа к ней можно применить слова: Vires acquirit eundo» [1]). (Оживленные аплодисменты.)

В течение нескольких недель были заняты: Льеж, Гент, Антверпен, Намюр. Война превратилась в победоносную прогулку. Тем не менее между революционной Францией и освобожденной Бельгией таилось одно недоразумение. В глазах французов это освобождение носило преимущественно революционный характер, в глазах самих бельгийцев оно было, главным образом, национальным. Полная симпатии к изгоняющим австрийцев французам, бельгийская нация хотела воспользоваться своей вновь завоеванной независимостью для того, чтобы сохранить или восстановить свои старые обычаи. Церковь и буржуазные организации были там всемогущи; дыхание революции едва коснулось этого застоявшегося болота. Оно всколыхнуло поверхность и подняло на ней легкие волны, но оно не затронуло глубин. Поспешное бегство австрийских властей было для Бельгии лишь уходом иностранцев; оно не означало разрыва с прошлым. Председательствовавший в Конвенте Эро де-Сешель обратился к курьеру, привезшему весть о вступлении Дюмурье в Брюссель, с такими словами:

«Гражданин, французский народ должен удивляться не тому, что он переходит от победы к победе: к этому он уже привык; и не взятие какого-нибудь города, не завоевание какой-нибудь области должно поражать его,— но то обстоятельство, что революционное движение коснулось Европы и всего мира, и уже нет предела завоеваниям, которые делает свобода».

В то же время Ферзен, совершенно правильно, как это скоро покажут события, отмечает различные настроения, переживаемые страной. 19-го ноября он пишет из Ахена, куда он тогда скрылся, барону Таубе: «Вы впали уже в отчаяние, мой дорогой друг, при виде отступления герцога Брауншвейгского; вы будете еще более огорчены, когда узнаете, что при приближении Дюмурье и шайки бандитов, воров и мятежников, австрийцы сочли себя вынужденными покинуть Нидерланды. Ужас охватывает при одной мысли об этом, особенно когда знаешь, что это несчастье произошло вследствие слабости, глупости и отсутствия энергии у правительства и герцога Альберта, который командовал армией; ибо сами по себе войска превосходны; они совершили подлинные чудеса храбрости, но ими плохо руководили. Валлонцы хорошо сражались, и они оставались верными своему долгу, пока не увидели, что уже решено оставить Брюссель и всю область. Только тогда началось общее отступление, и все поддались панике; теперь всякий думал только о собственном спасении, и все было брошено; не удалось эвакуировать ни складов оружия, ни продовольственных магазинов; все стало добычей французов. Сама по себе эта страна вовсе не была

[1]) Она усиливается на ходу. Прим. ред.

Электронный архив библиотеки МГПУ имени А.А. Кулешова

плохой; в ней не было ни одного восстания, а те незначительные беспорядки, которые возникли в Антверпене, были подавлены самой буржуазией; никто, кроме черни, не хотел прихода французов; все слишком хорошо видели те страдания, которые переживали французы, чтобы хотеть им уподобиться; но правительство, бросив все, малодушно бежало, и это создало панику».

В письме от того же числа к герцогу де-Зюдермани, регенту Швеции, он сообщает: «С этого времени (начиная с Жемапца) всеми овладел панический ужас. Эрцгерцогиня и правительство поспешно бежали из Брюсселя, как будто враг был у ворот города; они увезли с собой все, что было ценного, оставив все прочее; армия задержалась перед Брюсселем только для того, чтобы обеспечить им успешность этого бегства, которое оказалось бы ненужным при условии скорейшей ликвидации недоразумений и распрей с Сословиями Фландрии; их требования были не так уж несправедливы, так как речь шла единственно о сохранении так называемой La joyeuse entrée[1]), которая была утверждена после завоевания страны австрийцами в 1790 году. В силу этого акта советники Брабанта признаются несменяемыми, а фламандские Сословия требовали, чтобы пять советников, которые были отставлены императором и из-за которых возникли споры, были преданы суду и понесли бы наказание в том случае, если их признают виновными, или были бы восстановлены в своих прежних должностях, если будут оправданы. Если бы правительство проявило в этом вопросе уступчивость, все недоразумения были бы исчерпаны, и император нашел бы тогда в стране достаточное количество солдат и денег для ее защиты, так как брабантские демократы не хотели французского режима, слишком хорошо испытав на себе все связанные с этим режимом неудобства и несчастия, чтобы не бояться их.

Но как с той, так и с другой стороны было проявлено крайнее упорство, и оно оказалось роковым для австрийского двора и может оказаться таковым же и для всей Европы, если не устранить этого зла».

Но это недоверчивое, сдержанное и глухо враждебное настроение к французам, которое отмечает Ферзен, пока еще не обнаружилось. Дюмурье и Конвент могли поэтому верить в прочность одержанной революцией победы.

Какое, однако, смятение наблюдалось среди ее врагов! Чего стоит одно это постыдное и поспешное бегство представителей Австрийского дома или перетрусившего дипломата Меттерниха, прогулявшегося до самого Дюссельдорфа! Ему никогда уже не забыть своего стремительного улепетывания от победоносной революции! Но особенно неприятную прогулку пришлось предпринять обезумевшим от страха эмигрантам. Они покинули Францию, а Франция внезапно разрослась, как будто для того, чтобы снова замкнуть их в своих границах; куда им скрыться? Поток революции, который они надеялись высушить в течение нескольких дней, теперь выходили из своих берегов и, словно поднявшаяся река, как это великолепно сказано у Гомера, он настигал следы их убегающих ног.

«Множество карет и экипажей,—пишет Ферзен,—тянулись вдоль дороги, и никогда еще не было более ужасного зрелища; несчастные французские эмигранты пешком и на двуколках растянулись по дороге, имея с собой весьма скудное пропитание; дамы из общества шли пешком с своими горничными или одни, неся в руках маленькие свертки или своих детей. В Маастрихте мы встре-

[1]) Joyeuse entrée—торжественный в'езд государя в столицу, потом привилегия по случаю торжественного в'езда: во время своего торжественного в'езда в Брюссель герцоги Брабантские давали клятву сохранять национальные свободы и вольности. Прим. ред.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

тили тысячу затруднений, пока нашли себе пристанище. В течение трех дней прибыло более одиннадцати тысяч душ».

То же плачевное шествие, то же растерянное бегство можно было наблюдать и на границах Лотарингии и на берегах Рейна. В этот момент казалось, что на земле не осталось уже убежища для того, кто отверг революцию; словно произошло землетрясение. Конвент и в самом деле мог считать себя непобедимым, бросая на врага свои армии и в то же время поражая противника сокрушительным огнем своих речей. Свободолюбивые речи, произносимые его председателями, разносились далеко вокруг, сливаясь с гулом орудий. Конвент прекрасно сознавал в себе эту многостороннюю и в то же время единую силу. Тридцать шесть лет спустя, когда одинокий, побежденный, забытый в изгнании Бодо писал свои бессмертные записки, он с удивительной силой передал это единство мощи и действия; все силы, которые вступали на сцену после этого периода, уже казались ему, по сравнению с этой первой, слабыми и недостаточными.

«Национальный Конвент одновременно пускал в ход силу и ораторского красноречия, и всего административного и военного аппарата, что делало его могущественнее всех других правительств в Европе. Это была настоящая диктатура, но ее всемогущество было совсем иного порядка, чем всемогущество деспотизма. Приводя в действие гражданские или военные силы, деспоты вынуждены сами оставаться в тени: красноречие, которое волнует народные сердца, не играет среди их мероприятий никакой роли; если они и хотят составить какое-нибудь воззвание, то оно оказывается настолько запутанным, что масса ничего в нем не понимает; самое большее, что они могут, это—использовать какую-нибудь одну страсть. Конвент же одновременно мог затронуть все. Меттерних будет говорить о славе древней Германии, Махмуд—о религии Магомета, о знамении пророка. Эти чувства могут быть благородными, но их пути переплетаются, не доходя до сердец подданных. Для нас же обладать трибуной означало и пользоваться силой слова, и держать штыки наготове».

В тот момент, когда Верньо в великолепных выражениях отвечал посланцам из-под Жемаппа, когда его красноречие, словно молния, получающая искру от другой молнии, воспламенялось от сознания победы,—члены Конвента, несомненно, испытывали сознание той бесконечной гордости, которую, вопреки всем поражениям и превратностям, сохранил в себе Бодо.

Савойя встретила армию революции с открытым сердцем, совсем иначе, чем Бельгия, где наблюдались проявления известной осторожности, смешанной с беспокойством. Генерал Монтескью, подозрительный в глазах Конвента по своим политическим связям с Лафайетом, спешно направился 21-го сентября вглубь Савойи, чтобы рассеять эти подозрения. 25-го в Шамбери ему была устроена восторженная встреча: «Продвижение моей армии—сплошной триумф,—доносил он.—Жители деревень и городов выбегают навстречу, всюду красуется трехцветная кокарда; аплодисменты и радостные крики сопровождают нас на каждом шагу. Третьего дня ко мне в замок des Marches была прислана депутация из Шамбери; вчера утром я выехал оттуда, направляясь в этот город с сотней кавалеристов, 8-ю ротами гренадер и 4-мя пушками. Члены Городской Думы в парадных костюмах ожидали у ворот города, чтобы вручить мне ключи. Глава муниципалитета выразил мне чувства уважения и преданности, которые народ Савойи питает к французской нации, и от имени этой великодушной нации я пообещал савойскому народу защиту, мир и свободу. (Оживленные аплодисменты.) Я проехал в Ратушу, принял там изъявление покорности, которое граждане Савойи спешили выразить; затем всему отряду было предложено приготовленное для него угощение».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

По мере развития революции, Савойя все более склонялась к Франции. Она подвергалась эксплоатации со стороны Пьемонта, который вынуждал ее кормить часть своих войск, навязывал ей чиновников-назначенцев, подчинял ее промышленность стеснительной и придирчивой регламентации. Столь же ненавистно было савойцам и господство дворян; их привилегии, их нежелание подчиниться общему закону о налогах возбуждали особенное озлобление в этой бедной стране. Церковь, орден св. Мориса и Мальтийский, владела огромными богатствами. Крестьяне же и буржуазия были стеснены. Присоединиться к Франции, на языке которой они говорили, это значило для савойцев освободиться от эксплоатации, предоставить полный простор своей освобожденной от всяких пут промышленности, обеспечить для своей руды сбыт на заводы в долине Изера и Роны; это значило, наконец, освободиться от притеснений и эксплоатации со стороны дворян, от разорявшего страну паразитизма священников и монахов.

Савойцам казалось, что они смогут пройти в несколько дней без большой затраты энергии, без потрясений тот путь, который в течение трех лет, посреди всяческих испытаний и бурь, прошла республиканская Франция. Им казалось, что, присоединяя свою свободу к свободе великой Франции, они тем самым ставят ее под защиту на случай какой-либо насильственной реставрации деспота-иностранца. Свое присоединение к Франции Савойя подготовляла с большим достоинством и тактом. Она хотела избежать всякой видимости принуждения. Для обсуждения связанных с этим вопросов она выждала время, когда все французские войска, направляясь к Женеве, покинули пределы Савойи.

Тогда в 655 общинах был собран народ; каждая община избрала депутата; затем все эти 655 депутатов собрались в приходской церкви, в Шамбери. Это произошло 22-го октября, месяц спустя после провозглашения Французской республики. Прежде всего Собрание установило тот факт, что почти все общины дали своим делегатам наказ голосовать за присоединение к Франции. При криках: «Долой савойских герцогов! Долой самозванный царствующий дом!»—депутатами было тут же уничтожено королевское достоинство.

Над креслом председателя собрания висело изображение Христа, окруженное трехцветными знаменами и эмблемами земледельческого труда. Очищенное от деспотизма Евангелие, свобода и труд—под сенью этих трех лозунгов, озаренная этим тройным светом, Савойя хотела начать новую жизнь в союзе с Францией. Собрание об'являет себя Национальным Собранием; облеченное, таким образом, верховной властью, оно заранее согласует свои учреждения с французскими порядками. Оно не хочет присоединяться к Франции в качестве рабской, выпрашивающей себе свободу, страны; к свободной Франции Собрание хочет присоединить свободную Савойю; свою революцию оно хочет совершить самостоятельно, собственными силами. При этом оно сразу приходит к последним выводам, сделанным французской революцией.

Конечно, руководителями движения и вождями Собрания являлись в то время представители буржуазии, в частности, буржуазные легисты. Законодательный Комитет, на который возлагается почти вся работа, и с к л ю ч и т е л ь н о состоит из «законников», «нотариусов» и «поверенных». Но, в отличие от французского Учредительного Собрания, законодательная деятельность савойского Национального Собрания с самого начала не носит ограничительного характера. Оно не проводит ничего, подобного закону о марке серебра, не делает различия между пассивными и активными гражданами. В основу организации всех новых учреждений кладется принцип всеобщего голосования; савойское Национальное Собрание обязуется немедленно осуществить полную демократию. Оно уничтожает феодальные права и десятину, национализирует все виды церковных имуществ, конфискует собственность эмигрантов, поместья дворян и

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«крупных собственников», которые с начала августа, с приближением страшной для них французской революции, покинули страну. Итак, освобожденная от всех оков прошлого, Савойя предлагает присоединить свою свободу к свободной Франции. Собрание закончило свою работу благородным и полным достоинства обращением к Конвенту:

«Вы оставили нам учителей, которые должны были наставить нас при выработке новых законов, мы—действовали. Провозгласив низвержение Виктора Амедея и его потомства, осудив на вечное изгнание коронованных деспотов, савойская нация об'явила себя свободной и суверенной. Собрание выражает всеобщее желание, чтобы Савойя была присоединена к Французской республике и чтобы это присоединение не было простым союзом, но действительным нерасторжимым слиянием; Савойя должна войти во французское государство как его составная часть.

«Законодатели, перед вами не Собрание рабов, дрожащих при виде только что брошенных цепей, которое умоляет вас принять его под свое покровительство,—нет, восхищенный вашей славой суверенный савойский народ просит, чтобы и его коснулись ее лучи».

И все-таки в этом высокопарном обращении чувствуется оттенок лести. Для людей слабых всякая великая сила, даже сила вооруженной свободы, скоро становится своего рода кумиром. Но какая сила и благородство чувства, какое яркое соединение свободы и славы!

На Рейне успехи дали более поверхностные результаты, но быстрота, с какой они были достигнуты, временно произвела впечатление. Начиная с 21-го сентября, войска продвигались с удвоенной скоростью. Во-первых, было остановлено нашествие пруссаков и австрийцев, и благодаря отходу врага наши солдаты могли повсюду перейти в наступление. Затем собрался Конвент; в нем чувствовалась сила и воля к победе, которая передавалась и войскам. Рейнской армией командовал Бирон, блестящий придворный, искатель приключений, известный под именем Лозена (Lauzen). Его веселый нрав и храбрость завоевали ему любовь солдат революции. Но он был ленив и мало склонен воспламеняться энтузиазмом. Может быть, ему было также известно, что великая, но пока неподвижная Германия втихомолку собиралась с силами для сопротивления. Ответственность за наступление он сложил на своего помощника Кюстина.

Кюстин происходил из дворян и был старым офицером Семилетней войны. У него было страстное желание выдвинуться и играть роль. Он бросился вперед и 30-го сентября после горячего уличного боя овладел Шпейером.

«Я был несказанно счастлив, видя в этот день торжество свободы; счастье мое бесконечно увеличивалось также и от того, что мне удалось справиться с раз'яренными солдатами и успокоить их. Я бесконечно счастлив, что могу сообщить, что во взятом приступом городе, при отчаянной уличной перестрелке, не было совершено ни одного действия, за которое пришлось бы потом краснеть!»

Тем не менее, на другой день произошло несколько грабежей, но Кюстин сумел их подавить энергичным вмешательством. С этих пор он не переставал посылать Конвенту победоносные реляции, где все было рассчитано на то, чтобы заставить себя оценить. В его донесениях не было остроумия, чувства собственного достоинства и сдержанности, свойственных Дюмурье; они отличались тяжеловатым усердием, несколько искусственным выставлением на вид своих революционных чувств.

Вормс открыл ворота 4-го октября. Французские солдаты были встречены криком: «Да здравствует нация!» Тем не менее, проницательный ум мог бы предугадать предстоящие в будущем затруднения. Несмотря на бдительность генералов, солдаты часто давали себя увлечь зверским инстинктам и склонности

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

к грабежам, подтверждая этим сильные слова Робеспьера, что опасно нести народам права человека на концах штыков. Кроме того, практиковалась система принудительного взимания контрибуции. Кюстин, желая поправить рессурсы Конвента, облагал взятые им города военным налогом; это делается, говорил он, чтобы их наказать или, вернее, чтобы наказать их правителей за прием, оказанный эмигрантам. И одни только правители, одни городские власти должны были нести тяжесть этого налога; но как мог проверить Кюстин: не перекладывали ли они этот налог на население? Так, например, из Вормса армия унесла «контрибуцию в 1.200.000 ливров звонкой монетой, из которых 600.000 ливров было наложено на город за оказанный эмигрантам прием, 400.000 ливров—на епископа и 200.000 ливров—на кононников»; при этом, чтобы об'яснить свою политику, Кюстин обратился к жителям города с воззванием:

«Контрибуция, которую я был вынужден потребовать с вашего города, была наложена для того, чтобы переложить военные расходы на врагов нашей свободы, на людей, которые открыто об'явили себя на стороне эмигрантов, на этих изменников, которые предпочли провоцировать наступление всех деспотов Империи на наше свободное государство, вместо того, чтобы честно носить почетное звание граждан—единственное звание, которое хотят отныне носить французы.

«...Война, которую мы ныне ведем и которая совершенно отлична от всех ранее существовавших войн, направлена исключительно против узурпаторов власти, но не против самих народов.

«Только магистраты вашего города должны нести бремя наложенной на ваш город контрибуции,—такова воля представителей французской нации. Если бы на деле вышло иначе, то такая несправедливость только отягчила бы виновность ваших магистратов, и без того доказавших свое вероломство оказанием защиты эмигрантам.

«Война дворцам узурпаторов, мир хижинам и честным людям!—вот манифест французской нации».

Здесь, кажется, впервые был пущен в оборот знаменитый лозунг: «Война дворцам, мир хижинам».

Из Вормса Кюстин решился двинуться на Майнц. Он хорошо сознавал, что было несколько неосторожно увлекаться наступлением, имея в своем распоряжении слабую армию; но он хотел во что бы то ни стало удивить всех своими оглушительными успехами. Чтобы заранее выгородить себя на случай возможного поражения, он писал в Конвент:

«Возьму ли я Майнц, или нет, верьте, что мое поведение будет именно таким, каким оно должно быть,—поведением генерала-гражданина, все помыслы и все чувства которого сосредоточены на защите Республики и славе ее войск».

Своему начальнику Бирону он пишет: «Наше продвижение на Майнц внушает опасения не только в Вормсе, но и во всей этой части Германии. Оно дает мне возможность распространять наши декреты и нашу литературу, что будет подготовлять революцию в тылу у наших врагов».

Между тем в Конвенте уже началось опьянение успехом; письма Кюстина с сообщением об его движении на Майнц были прочтены там еще до его вступления в город. Казалось, что обычные предосторожности уже стали излишними, и что нет более необходимости держать в секрете намерения наших генералов и планы передвижения армий. Смелое предприятие Кюстина увенчалось успехом. Победа, одержанная над австрийцами и майнцским гарнизоном при натиске на Шпейер, ослабила повсеместно сопротивление. Кюстин высокомерно повел переговоры с губернатором Майнца, который сдался без боя. Чтобы захватить переправу через Рейн, солдаты Кюстина делали по 18 льё в сутки. Кюстин сам обратился с речью к гренадерам и набросал перед ними план взятия города, выработанный им на случай сопротивления со стороны последнего.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Это был совершенно новый способ ведения войны,—способ, основанный на доверии солдат к командирам и рассчитанный на воодушевление войск. 21-го октября солдаты овладели Майнцем, два дня спустя они уже были во Франкфурте-на-Майне.

«Гражданин-председатель, войска Республики вошли во Франкфурт-на-Майне. (Оживленные аплодисменты.) Я потребовал с этого города, оказавшего столь открытое содействие эмигрантам и врагам революции, контрибуцию в 1.500.000 флоринов». (Аплодисменты.)

Франкфуртские городские власти выступили с протестом против этой контрибуции. Тогда Кюстин приказал расклеить всюду следующий ответ:

«Ознакомившись с содержанием вашего обращения, переданного мне от вашего имени вашими депутатами, я отказываюсь видеть в нем доказательство вашей преданности Французской республике и революции. Ваши многочисленные попытки опровергнуть выставленное против вас обвинение в том, что вами производился набор солдат во Франкфурте для эмигрантов и принца Виттгенштейна, только подтверждают справедливость этого обвинения. Если бы ваши доводы были искренни, если бы вы имели возможность сделать их убедительными, вам незачем было бы умножать их... Ну, а что вы скажете насчет газеты, издававшейся у вас на глазах и не иначе, как с вашего одобрения; насчет газеты, которая создавала в германском обществе такое ложное представление о о принципах французской революции? Не в этом ли доказательство вашей преданности французской нации? Теперь, конечно, вы сознаете свои заблуждения. Я удовлетворен, что, очутившись под воздействием идей, справедливость и очевидное превосходство которых должны были поразить вас, вы и сами станете на сторону этой революции, которая возвращает народам их права, уничтожает только произвол, карает только предательство, заставляет оплачивать тяжкие последствия войны только тех, кто ее вызвал или кто, имея к тому возможность, не воспрепятствовал ее возникновению, наконец, также и тех, которые попустительствовали одурачиванию общественного мнения, которые стремились погасить свет вечных истин».

Вопреки всему какое-то недоразумение кроется в этом обращении, где революционные призывы перемешаны с оправданием военной контрибуции и где освободительные идеи идут рука об руку с завоеванием; в нем чувствуется возможность тягостных и опасных последствий. Кроме того, чувствуется, что именно в это время произошла какая-то важная тактическая ошибка. Для того, чтобы обеспечить успех революции в Германии, надо было об'единить все силы страны, буржуазию и народ для борьбы против феодальных групп, как светских, так и духовных,—для борьбы против дворянства и привилегий. Робеспьер был вполне прав, говоря, что в то время народ был еще слишком угнетен прошлым, слишком пассивен, чтобы быть в состоянии без поддержки буржуазии содействовать революционному движению.

Приемы же Кюстина затрогивали интересы немецкой буржуазии, так как промышленные города Рейна управлялись буржуазными корпорациями. Надо было привлечь их на свою сторону, освободить их от опеки дворянства, воодушевить их на борьбу против клерикального деспотизма; между тем вся тяжесть войны обрушилась на них.

Рюль сообщил Конвенту, что в Вормсе Кюстином была совершена важная ошибка: «Я только что получил,—сказал он 29-го ноября,—письмо на немецком языке от вормских бюргермейстеров и сената. Эти магистраты жалуются на тяжелую военную контрибуцию, которую наложил на них Кюстин... Наибольшая часть этой контрибуции падает на магистратов имперского города Вормса, которые, как известно, являются только скромными порт-

Электронный архив библиотеки МГПИ имени А.А. Кулешова

ными и башмачниками. Граждане, если вы хотите получить контрибуцию в 200.000 флоринов, надо возложить ее на священников и дворян, которые являются нашими прирожденными врагами».

Действительно, всю тяжесть этого налога надо было переложить на это сословие феодалов и духовенства. Но тяжелая рука солдата-завоевателя, разбивая оковы, нередко нарушает интересы тех, кого следовало бы защищать.

Во Франкфурте произошел подобный же конфликт с буржуазией. В этой заснувшей под старым режимом стране Кюстину следовало бы перенестись мысленно к 1789 году, восстановить в памяти революционное движение при самом его возникновении. Во Франции в 1789 году на стороне революции боролась буржуазия, состоявшая из банкиров и рантье. Впоследствии она отчасти отвернулась от революции, но вначале без ее помощи революция не была бы возможна даже во Франции. Кюстин же говорит языком 1792 года с нацией, которая еще не пережила своего 1789 г. Он покушается на средства местного банка и опрометчиво полагает, что достаточно неустойчивой поддержки нескольких рабочих предместий, чтобы упрочить завоевание французского оружия.

«Главный квартал в г. Франкфурте, 29-го октября 1792 года. Гражданин председатель, я должен дать Национальному Конвенту отчет в моем поведении по отношению к городу Франкфурту; я надеюсь представить по этому поводу достаточные об'яснения. Я был уверен в том, что крупные, принадлежащие австрийцам и пруссакам, капиталы хранились во Франкфурте в двух банках. Капиталы эти достигали суммы в четырнадцать миллионов. Если они еще находились там, мне следовало ими овладеть... Я назначил контрибуцию в два миллиона флоринов, уменьшенную впоследствии по ходатайству магистратуры до одного миллиона.

«Не довольствуясь этим уменьшением, которое преследовало лишь одну цель—освободить неимущие классы от выплаты этой контрибуции, и на которое я согласился лишь под этим условием, власти отягчают ею неимущие классы. При этом официально сообщается, что народ готов к восстанию; что необходимо или сбавить еще, или приготовиться к кровопролитию; что солдаты революции перешли на сторону местных властей. Я приезжаю во Франкфурт и обращаюсь к народу с воззванием, копия которого прилагается.

«Аристократия капитала, обычно, столь грозная, теперь сама терроризована. Всюду раздается клич: «Да здравствует Французская республика! Мы хотим к ней присоединиться!» Все носят трехцветную кокарду, и я надеюсь, граждане, что я скоро смогу сообщить вам, что национальная гвардия, составленная из граждан предместья Саксенгаузен, этого демократического квартала Франкфурта, стала нашей союзницей и защищает его стены от врагов свободы.

«Я восстановил контрибуцию в прежнем размере—в два миллиона. В моем распоряжении находилась тяжелая артиллерия этого города».

В своем воззвании Кюстин говорит: «Граждане, конституция была принята народом для того, чтобы положить конец угнетению, чинимому богатыми людьми, и облегчить долю бедняка.

«Я узнал, граждане, что банкиры и крупные негоцианты Франкфурта, об'единившись с нашими врагами, чтобы извлечь из Франции всю звонкую монету и пустить в ход фальшивые ассигнаты, хотят заставить население вашего города уплатить часть контрибуции, которая полностью должна быть выплачена одними богатыми людьми. И я ручаюсь вам, что только состоятельные люди будут платить эту контрибуцию: каждый гражданин, не обладающий состоянием в тридцать тысяч флоринов, будет освобожден от участия в ее выплате:

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

если же он уже заплатил, то его взнос будет ему возвращен, и эта контрибуция будет собрана лишь с богатых людей пропорционально их достатку».

Конвент вполне одобрил это воззвание.

Но ведь тем временем феодальная аристократия и «аристократия капитала», дворянин и банкир, епископ и «крупный торговец»—все силы старого режима и богатая буржуазия сплачиваются против революции и против Франции. Этот блок, который следовало бы, напротив, расколоть на части, в скором времени обрушится всей своей сокрушающей тяжестью на наши войска. Но вначале Национальный Конвент не видит в Германии ничего, кроме головокружительных побед и успехов революции. Он торжествует при виде повсеместного победоносного продвижения своих армий, несущих свободу в Бельгию, Германию, Савойю.

ГЛАВА XI.

Адресы из Англии. Присоединение Савойи. Опьянение победами.

Из Англии, которая еще сохраняла нейтралитет, но со стороны которой можно было опасаться в ближайшем будущем вступления в коалицию, были пересланы в революционную Францию многочисленные адресы от народных обществ промышленных городов с выражением симпатий. 7-го ноября секретарь Жансоннэ оглашает в Конвенте приветствие от более чем пяти миллионов английских граждан, входящих в Конституционные Общества и Общество Реформ в Манчестере, в Общество Революции в Норвиче и Общество Вигов-Конституционалистов, Независимых и Друзей Народа; все они об'единены одной общей целью,—желанием добиться равного, справедливого и беспристрастного представительства в парламенте».

Таким образом, те, кто хотел осуществить в Англии парламентскую реформу, кто стремился расширить избирательное право, ограниченное до тех пор кучкой привилегированных,—возлагали свои упования на революционную Францию и, повидимому, надеялись, что ее пример и ее победы вызовут желательное для них движение в их собственной стране. Адрес Конституционного Общества в Манчестере был подписан председателем Томасом Уокером и секретарем Самуэлем Джексоном; от имени Общества Реформ подписались Дж. Булль, председатель, и Джон Сэси, секретарь; от Общества Революции в Норвиче—Томас Гофф, председатель, и Джон Консенс, секретарь; от Вигов-Конституционалистов—Джент Пёллек, председатель, и Джек Блез, секретарь.

«Французы,—говорилось в адресе,—в то время как иностранные разбойники, под благовидным предлогом восстановления справедливости, опустошают вашу страну (адрес был написан до поражения союзников), неся всюду разорение и смерть, в то время как разные изменники и предатели имеют наглость заявлять, что вторжение их на вашу территорию вызвано исключительно соображениями сочувствия и дружбы,—вся угнетенная часть человечества разделяет с вами ваши страдания и живет лишь ими, забывая свои собственные; наблюдая с тревогой происходящее, она возносит к божеству вселенной самые горячие молитвы о том, чтобы оно помогло вам в вашем деле, с которым так тесно связано благо человечества.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Подавленные системой гнета и инквизиции, которая, постоянно укрепляясь, незаметным образом лишила нашу нацию почти всей ее столь прославленной свободы, почти привела ее к тому ужасному состоянию рабства, из которого вы только что так победоносно вышли: пять миллионов преисполненных негодования английских граждан имеют смелость выступить для того, чтобы спасти свою страну от того позора, которым ее покрывает поведение облеченных властью людей. Мы считаем нашим долгом истинных бриттов поддерживать и помогать всеми имеющимися у нас средствами защитникам прав человека, устроителям счастья всего человечества и поклясться в ненарушимой дружбе с народом, осуществляющим ваши идеи. Пусть отныне эта связующая нас дружба станет для нас священной, и да падет самое страшное возмездие на голову того, кто дерзнул бы ее нарушить.

«Французы! по сравнению с остальной частью нашей нации, наши силы могут показаться вам незначительными, но знайте, что они беспрестанно возрастают. Правда, постоянно занесенная над нами карающая рука правительства внушает страх робким; правда, распространяемая с таким искусством клевета вводит в заблуждение легковерных, а открытый союз нашего двора с заведомо изменившими своей стране французами может сбить с толку недальновидных или честолюбивых людей,—и, тем не менее, мы можем с уверенностью сообщить вам, свободные люди и друзья, что просвещение делает быстрые успехи в нашей среде, жажда знания овладела умами людей, и царству невежества и деспотизма, этих родных братьев, приходит конец; теперь постоянно все задаются вопросами: «Что такое свобода? Каковы наши права?» Франция,—вы уже свободны, но и бритты готовятся стать таковыми же. (Аплодисменты.)

«Освободившись, наконец, от жестоких предрассудков, с такой ловкостью внушаемых нашими подлыми придворными кругами, мы не видим уже во французах каких-то естественных врагов: но мы считаем их нашими согражданами по вселенной, детьми нашего общего отца, создавшего нас для взаимной любви и помощи друг другу, а вовсе не для взаимной ненависти и не для того, чтобы мы были готовы перерезать друг друга по приказу ничтожных и тщеславных королей или подкупленных министров.

«Если уж говорить о наших действительных врагах, то это как раз сторонники этой терзающей нашу грудь аристократии, той самой аристократии, которая до сих пор была отравой для всех стран на земле. Вы поступили разумно, изгнав ее из Франции.

«Как бы ни были горячи, однако, наши пожелания успеха, как бы пламенно ни хотели мы видеть по всей земле торжество свободы и повсеместное восстановление человека во всей полноте его прав,—все же, как граждане, проникнутые чувством долга и уважением к порядку, мы не можем поспешить вам на помощь с оружием в руках.

«Наше правительство связало себя от имени нации обещанием, что англичане останутся нейтральными. Выходит, что в этой борьбе между свободой и деспотизмом бритты должны остаться безучастными! Какой позор! (Оживленные аплодисменты.)

«Но мы дали нашему королю дискреционную власть; и нам приходится повиноваться; наши руки связаны, но наши сердца свободны, и они с вами. (Новые аплодисменты.)

«Немецкие деспоты могут действовать, как им угодно; мы будем радоваться их поражению... Мы не заинтересованы также в том, что Ганноверский курфюрст (он был в то же время королем Англии) присоединяет свои войска к войскам изменников и бандитов.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Но королю Англии следовало бы помнить, что Англия—не Ганноверское королевство; а если он это забыл, то не забыли мы. (Оживленные аплодисменты.)

«В то время как вы, друзья и братья, пользуетесь завидной славой быть единственными защитниками свободы, мы устремляем наши взоры в будущее, чтобы с восторгом узреть в нем всю неисчислимую пользу и то счастье, которым вы подарите человечество в случае успеха, чего мы, горячо вам желаем: тройственный союз, но союз не королей (аплодисменты), а народов Америки, Франции и Великобритании принесет Европе свободу и водворит мир во вселенной. (Снова аплодисменты.)

«Дорогие друзья, вы сражаетесь за счастье всего человечества. Какие бы кровавые потери ни пришлось вам понести в этой борьбе, могут ли они сравниться с тем беспримерным счастьем, когда вы сможете сказать: «Мир свободен; больше не существует ни тиранов ни тирании; мир царит на земле, и этим человечество обязано французам».

«Отправка этого приветствия задержалась благодаря нашему желанию дать возможность присоединиться к нам другим организациям, разбросанным по всей Англии. За это время ваше оружие сопровождалось неслыханными в истории успехами; мы поздравляем вас с ними; ваши успехи рассеяли наше беспокойство, но никоим образом не изменили наших чувств. Помните, французы, что хотя это выражение дружбы только теперь дойдет до вас, оно тем не менее должно носить дату 27-го сентября 1792 года. (Оживленные аплодисменты.)

(Подписано по форме: Морис Маргакот, председатель; Томас Хэрди, секретарь)».

Этот адрес по-истине великолепен. Он является истинно английским по тому религиозному оттенку, который в нем заметен и в котором сказывается влияние диссидентов, евангелической партии, горячо стремившейся одновременно и к политической свободе и к обновлению христианства. Английский характер адреса сказывается также в той лойяльности, которую хотят сохранить даже в чисто революционном выступлении. Война об'является при этом не монархии, а аристократии. Короля же просто предупреждают, что ему не удастся увлечь народ в несправедливые враждебные действия против Франции.

В словах этих людей чувствуются положительность и сдержанность, в них нет и тени шарлатанства. Они хорошо сознают, что составляют только ничтожное меньшинство в стране, и они этого не скрывают; но они верят во все возрастающую силу движения. Они не могут обнадежить Францию вооруженной поддержкой, хотя бы в лице своих наиболее преданных представителей. Но они обещают приложить все усилия к тому, чтобы их государь и его министры остались бы, по крайней мере, до конца верны своему нейтралитету. Вообще же, при виде того, как эти, обычно столь сдержанные и замкнутые, люди дают волю своему пылкому энтузиазму, когда они исповедуют свою веру в торжество мира и свободы во всей вселенной; как они без всякой задней мысли, без всякой национальной зависти возлагают на Францию осуществление своих великих чаяний,—нельзя оставаться равнодушным и не испытывать восхищения перед величием вызванного революцией движения.

Конечно, мы видим перед собой лишь слабый росток: это пробуждение английской демократии будет впоследствии как бы вытравлено под натиском всех консервативных сил. И все же не напрасно сознание хотя бы части английского народа оказалось затронутым страстью к свободе и равенству, которые светили им из Франции. Не напрасно в одно и то же время два народа

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

лелеяли мечту о всеобщем мире и всемирной демократии. Делом будущего, делом социалистической демократии и пролетариата будет собрать и оживить эти ростки.

Конвент приказал перевести этот адрес и разослать его по департаментам и в войска. Через председателя Конвента Эро де-Сешеля был дан осторожный и в то же время значительный ответ.

«Париж, 10 ноября 1792, 1 год Республики. Англичане и граждане мира! С живейшим интересом выслушал Национальный Конвент достойные удивления благородные пожелания английских граждан, от всего сердца присоединяющихся к нам в нашей работе; все свободные граждане Англии разделяют, конечно, выраженные 6.000 бриттов чувства высокой преданности интересам человечества.

«Им не приходится упрекать себя за то, что, присутствуя при величественном зрелище борьбы свободы против деспотизма, они не принимают участия в этой борьбе. А если они и остаются лояльными по отношению к тому государственному строю, который они все же умеют молча осуждать, то это является уже не следствием прежнего суеверного почтения к власти, которая гарантировала правительству безнаказанность совершенных им ошибок.

«Бережное отношение англичан к своей конституции является скорее плодом серьезной политической мысли; умея умерять силу движения, они в то же время принуждают, повидимому, правительство сохранять нейтралитет, предупреждая его, что оно должно быть справедливо или, по крайней мере, так же осторожно, как и сама нация.

«Верьте, благородные англичане, что, поддерживая соблюдение нейтралитета, вы тем самым помогаете нам в нашей борьбе за освобождение всего мира. Предоставьте нам сделать еще несколько шагов по тому пути, на котором вы были нашими предшественниками, предвкушая то, без сомнения, недалекое время, когда во имя блага Европы и всего человечества обе нации братски протянут друг другу руки».

Это был искусный язык, который не мог подать повода к разрыву с английским правительством. Но число приветствий все возрастало. 10-го ноября в Конвенте был прочитан адрес от Ньюингтонского общества «Друзей народа и Великобритании». Это общество тоже стремится, главным образом, реформировать систему выборов в парламент, покончить с олигархической системой и обеспечить законное представительство всего народа, особенно промышленной буржуазии, обычно приносимой в жертву крупным поземельным собственникам: «Французы и граждане мира!—читаем в этом документе.—Об'единившись в целях достижения справедливого и равного народного представительства и полного искоренения многочисленных злоупотреблений, вкравшихся в управление страной, мы с горечью и тревогой замечаем как тайные, так и открытые попытки врагов нарушить мир и ниспровергнуть только что родившуюся свободу французской нации. Тем не менее, мы сердечно поздравляем вас с поражением и с полным изгнанием союзных армий, этих неблагодарных деспотов, этих бессовестных мятежников, которые пришли грабить и опустошать ваши деревни и города, безжалостно вырезывать ни в чем неповинных жителей. Ваше благое дело должно было увенчаться успехом, которым вы обязаны разумности и решительности своих действий. Вы дали доказательство своей неподражаемой мудрости, установив принцип ответственности судебной и исполнительной власти перед великим советом нации. Итак, отныне во Франции почти без всяких усилий настанет царство справедливости, и под сенью ваших благородных законов торговля найдет разумную защиту, будет обеспечена и индустриальная собственность.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ БИБЛИОТЕКИ МГУ имени А.А. Кулешова

«Прославленные сенаторы, просвещенные законодатели, дорогие друзья. Мы можем с искренним удовлетворением сообщить вам, что теперь лишь отдельные испорченные люди, которым выгодна система злоупотреблений, одержимы недопустимой ненавистью к французам, так долго и злостно раздуваемой в благородном сердце английского народа благодаря происка и интригам двора. Мы заранее с восторгом приветствуем счастливую минуту, когда обе нации окажутся связанными нерасторжимыми узами: это будет предвестием всеобщего мира и солидарности.

«С чувством самого живого и глубокого интереса мы следим за успехом ваших войск, за вашими доблестными попытками вырвать из-под ига рабства и деспотизма храбрые народности, живущие по соседству с вашими границами». Как велика любовь к человечеству, побуждающая вас разбить их оковы!»

(Подписано председателем Джоном-Фридрихом Шифером и Франсуа Пикоком — секретарем).

Все согласны с тем, что если освобожденная и победоносная Франция могла бы заключить союз с Англией, получившей уже в силу одного примера Франции толчок к свободе, то об'единение этих двух великих народов повело бы к освобождению всего мира. Война с целью распространения республиканских идей перестала бы быть опасной. Таким образом, все способствовало тому, чтобы лихорадочное возбуждение и пылкие надежды, зародившиеся в Конвенте, все возрастали.

«Со времени революции,—воскликнул Грегуар,—три Собрания получили от англичан, и почти от одних только англичан, письма и адресы, продиктованные чувством братства, любовью к людям и ненавистью к тиранам; это—предзнаменование того, что уже близко то время, когда два народа, английский и французский, соединятся нерасторжимыми узами... Пусть дружеское приветствие донесется с берегов Сены на берега Темзы!» На этот раз Конвент также приказал перевести адрес и разослать его по департаментам и войскам.

«В четверг, 22-го ноября, Конвенту было сообщено об адресе от шеффильдских граждан; этот адрес имеет крайне важное значение. Приветствие исходило на этот раз действительно от большого промышленного города, где фабриканты об'единились с рабочими, чтобы потребовать расширения народных прав и более надежных гарантий свободы. В этом адресе они начинают с очень точного и отчетливого очерка революционных событий, говорят о своих опасениях за судьбу революции в ее начале и о своей радости при виде того, как эта революция восторжествовала над своими как внешними, так и внутренними врагами, как ей удалось избежать ловушек, расставленных изменниками, а также мнимыми друзьями. Они клеймят хвастуна герцога Брауншвейгского и называют преступлением его вторжение во Францию. Адрес утверждает, что наемным пасквилистам,—«людям, которые свою свободу и свободу всего человечества готовы продать тому, кто заплатит больше»,—не удалось развратить до конца общественного мнения Англии, и что как раз поражение этого завоевателя, о необычайных успехах которого сообщили эти наемные лжецы, совершенно дискредитировало их в глазах английского народа. В туманных выражениях граждане Шеффильда заявляют также, что, может быть, и они решатся, наконец, на активное выступление в защиту свободы. В ожидании этого они обещают поддерживать нейтралитет Англии и оказать сильнейшее сопротивление в том случае, если бы он был, по несчастью, нарушен.

«Если бы мы уже были активными участниками нашего общего дела, вместо того, чтобы быть с ним лишь случайно связанными, мы все же не могли бы более пламенно и более искренно желать вам успеха.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Наш двор уже дал вам обещание сохранять самый строгий нейтралитет в течение всей этой войны, которая вам так несправедливо была навязана.

«Мы надеемся, что вы можете всецело положиться на эти обещания, так как мы не видим, под каким предлогом, на каких основаниях английское правительство может или могло бы войти в эту столь гнусную лигу и вмешаться во внутренние дела независимого народа.

«Тем не менее, вы имели раньше и получили также совсем недавно весьма веские и весьма многочисленные доказательства клятвопреступлений королей, двуличия и интриганства окружающих их фаворитов; поэтому вы не можете слишком доверять их обещаниям или удивляться тому, что эти последние могут быть нарушены...

«Наши правители дали свои обещания от имени нации, и мы надеемся, мы совершенно убеждены, что они не посмеют шутить с нею. Однако, так как мы не можем поручиться за события, от нас независящие, наше Общество, состоящее из нескольких миллионов торговцев, ремесленников, фабрикантов и рабочих всех отраслей, знающих, что они являются наиболее полезной и многочисленной корпорацией, а в союзе с другими членами своего класса представляют собой силу и могущество целого государства,—наше Общество просит вас быть уверенными, что, если бы это так торжественно данное слово было предательски нарушено, мы отнеслись бы к этому событию, как к об'явлению войны всем нашим свободам, и употребили бы все наше влияние и все находящиеся в нашем распоряжении законные средства для того, чтобы остановить занесенную над вами руку и предотвратить ожидающую вас беду с таким же усердием, с таким же пылом, как если бы это зло было направлено против нас самих».

Благородные, но бессильные обещания! Все эти высокие порывы будут парализованы или вырваны с корнем неумолимой реакцией. Тем не менее в них уже чувствуется нарождение новой Англии, промышленной демократии, которая не желает более повиноваться олигархическому режиму. Это движение отнюдь не было бесплодным. Успехи революции, которые находили радостный отклик в магазинах, в мастерских, на заводах, воодушевляли порывы и стремления этой новой силы, поднимали ее престиж. И невольно спрашиваешь себя, во что вылилось бы это английское движение и весь ход мировых событий, если бы успехи революции продолжались, если бы Конвент представлял собой одно целое, а потому мог бы лучше учитывать ход событий и управлять ими, если бы, наконец, единством своих действий он обезвредил бы те темные силы, которые только и ждали того, чтобы воспользоваться минутами его слабости.

Во время великих переломов в ходе мировой истории экономические силы не являются единственными действующими факторами; иногда решающее значение имеют также силы морального порядка—благоразумие, единодушие, беспристрастие.

Если бы Конвент сумел укротить бушевавшие в его среде чувства зависти и вражды, если бы ему удалось утишить партийные страсти, обуздать властолюбивые замыслы, он, может быть, приблизил бы на целое столетие эру демократического развития в Англии, поставил бы границы воинственным увлечениям, пережить которые было суждено Франции, и этим спас бы свободу Европы.

От ирландского города Бельфаста было также получено горячее приветствие. Мало-по-малу, по мере того как растет сила защищающих свободу армий, тон этих обращений все повышается. Если судить по смелым выступлениям английского общества, получается впечатление, что англичане готовы были пе-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

рейти от слов к делу. Все соглашаются, что робкое движение в пользу реформы, которое в Англии предшествовало Французской революции, в свою очередь выросло и окрепло под влиянием успехов этой революции.

Во всей переписке сквозит надежда, что вскоре большинство нации окажется солидарным с этими передовыми организациями. Делегаты от патриотического Общества Реформы Конституции (Society Constitutional Reformation) являются лично в Конвент; 28 ноября они выступают там со смелыми, пожалуй, даже неосторожными речами, которые вызвали в Англии взрыв консервативных страстей. «Еще до вашей революции Общество долгое время жило этими великими интересами, не надеясь на успех».

Уже по одному этому можно судить о чувстве восторженной признательности, которое испытало Общество, когда убедилось, что благодаря необычайной энергии французской нации царство разума ширится, крепнет и обещает всем добродетельным людям, что их усилия не останутся бесплодными, если будет обеспечено счастье им подобных.

«Бесчисленные общества такого же типа возникают теперь во всех частях Англии. (Аплодисменты.) Они воздействуют на широкое общественное мнение и побуждают граждан обращать сугубое внимание на злоупотребления правительства... После примера, данного Францией, революции будут возникать легко; завоевания разума пойдут быстрее, и не будет ничего удивительного, если через некоторое время, может быть, даже более краткое, чем это можно было бы предсказать, адресы и поздравления будут направляться с континента в Национальный Конвент Англии.

«Английские общества высказывались не за какую-нибудь половинчатую революцию: нет, они ратовали за революцию до конца, за республику».

Письмо от Конституционного Общества в Лондоне, прочтенное в тот же день, 28 ноября, начинается следующими словами: «Уполномоченные суверенного народа и благодетели человечества! Мы счастливы тем, что Французская революция достигла той степени зрелости, которая дает нам право приветствовать вас в подобных выражениях. Каждый из последовательных периодов вашего политического возрождения приближал торжество свободы. Наконец, славная победа 10 августа подготовила почву для создания конституции, которая, как мы и ожидаем того от ваших просвещенных руководителей, будет построена на принципах природы и разума».

Пользуясь несколько вычурными, но вполне верными образами, они отмечают совершенно новую силу французской революции: «На протяжении нескольких веков искры свободы сохранялись лишь в Англии. Подобно северному сиянию они служили лишь для того, чтобы вся остальная Европа видела окутывающий ее мрак. Более яркий свет, уже напоминающий настоящую утреннюю зарю, брызнул из недр американских республик. Но благодаря своей отдаленности он не мог озарить наше полушарие. Надо было, если законы нашего языка дозволят довести до конца это сравнение, надо было, чтобы французская революция, сверкая огненными лучами, подобно солнцу, стоящему в зените, внезапно показала Европе практические результаты провозглашенных философией принципов».

Действительно, французская демократическая республика отнюдь не была каким-то бледным проблеском; она не похожа также на яркую зарю отдаленного будущего. В ее лице Европу озарило все великолепие достигшей своего зенита свободы.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Делегаты Лондонского Общества сообщили под конец среди восторженных одобрений, что Общество посылает: «1.000 пар башмаков в виде патриотического дара солдатам свободы».

Создается впечатление, что революция и в самом деле выходит из национальных пределов, и в то же время чувствуется, что Конвент начинает терять равновесие, хладнокровие и чувство меры. Ему грозит опасность быть вовлеченным в изнурительную и неравную борьбу против всех консервативных сил мира. За время своего двухнедельного председательствования в Конвенте Грегуар делает целый ряд неосторожных заявлений, как будто он позабыл, что сохранить нейтралитет Англии, не вызывать ее опасений, не задевать ее гордости является делом первейшей важности. Он отвечает английским представителям:

«Тени Пима, Гэмпдена и Сиднея *) носятся над вашими головами; и, б е з с о м н е н и я, у ж е б л и з о к ч а с, к о г д а ф р а н ц у з ы п р и н е с у т с в о и п о з д р а в л е н и я Н а ц и о н а л ь н о м у К о н в е н т у В е л и к о б р и т а н и и». Легкомысленные и тревожные слова, которые вызвали в английском парламенте опасный отклик. Несколько дней спустя, в письменном, а значит, вполне продуманном ответе, обращенном к обществам Шеффильда и Бельфаста, он говорит английским друзьям революции: «Если когда-нибудь посягнут на вашу свободу, — дайте только знать, и наши войска, одержавшие победы на берегах Шельды, Рейна, Варны и Изера, п е р е п р а в я т с я ч е р е з П а д е-К а л э, ч т о б ы п о с п е ш и т ь к в а м н а п о м о щ ь».

Конечно, заявлять во всеуслышание о революционном десанте было ошибкой, свидетельствовавшей о незнании английского характера. Тяжелый дурман побед уже убивал энтузиазм свободы.

19 ноября почти без прений Конвент принимает декрет, вовлекший его в смертельную войну со всеми консервативными силами мира, и все партии, в лице своих представителей: Бриссо, Лаверьер-Лепо, Рюля, Сержана, сходятся на этом декрете. Вот его текст: «Национальный Конвент заявляет от имени французской нации, что он обещает братскую помощь всем народам, которые захотят вернуть себе свободу, и он поручает исполнительной власти дать генералам необходимые инструкции, чтобы оказать этим народам помощь и защищать граждан, пострадавших или могущих пострадать за дело свободы.

«Национальный Конвент постановляет, что исполнительная власть должна дать распоряжение генералам Французской Республики напечатать и распространить вышеизложенный декрет на различных языках, во всех странах, через которые будут проходить армии Республики».

В своей газете Бриссо критиковал «всеобщность декрета, который был бы смешон, если бы его не ограничивал самый его дух». Но он не посмел выступить против этого декрета перед Конвентом, он просто требовал, чтобы декрет этот был отправлен в Комитет для окончательной редакции.

Декрет этот, в сущности, вел к преступным войнам и военному деспотизму. Как вести эту всемирную борьбу за свободу, не отдав все в руки генералов? Как ее поддерживать, не облагая поборами освобождаемые народы и не распространяя таким образом ненависть вместо чувства независимости?

Уже Кондорсе, комментируя 20 ноября декрет от 19-го, пишет:

«Обещая союз и поддержку всем угнетенным народам, Франция будет вынуждена, проливая за них кровь своих граждан, нести крупные материальные затраты. Н о в т а к о м с л у ч а е, о б е с п е ч и в и м н е з а в и с и м о с т ь, в ы р в а в и х и з-п о д и г а у г н е т е н и я, е й п р и д е т с я п р е д ъ я в и т ь и м н е к о т о р ы е т р е б о в а н и я; б у д е т в п о л н е с п р а в е д л и в ы

*) Деятели Великой Английской революции. Прим. ред.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

если она вознаградит себя за счет владений угнетателей, т.-е. воспользуется для покрытия военных издержек теми богатствами, которыми эти народы могли бы располагать по-своему, если бы они совершили свою революцию за свой страх и риск».

Как видим, теория весьма растяжимая и позволяющая зайти далеко. Нужно было, чтобы уже началось военное помешательство, напоминающее времена Людовика XIV, и, если можно так выразиться, впервые у республиканского правительства возникло чувство гордости, присущее обычно монархам, чтобы Конвент почти целиком сошелся хотя бы на одну минуту на подобном декрете.

В двух полных благородства и величия заседаниях, 21 и 27 ноября, на которых был решен по просьбе савойцев вопрос о присоединении Савойи к Франции, это вхождение освобожденных людей в великую семью свободного народа глубоко трогает сердце: в этих заседаниях чувствуется своего рода гордость, а избыток надежд и угрозы внушают тревогу. Снова пророчествует Грегуар:

«Свобода,—говорит он,—похожа на пушечный порох, и чем сильнее будет оказано на нее давление, тем страшнее будет взрыв.

«Этот взрыв произойдет как в Старом, так и в Новом Свете; он опрокинет троны, на обломках которых утвердится народовластие. Настанет, наконец, то время, когда тираны будут посрамлены в своей глупой гордости, когда торговцы неграми и короли будут предметом отвращения в обновленной Европе... Мы увидим скоро, как раны народов заживут, судьбы великой человеческой семьи прояснятся и само человечество как бы возродится.

«Прежде уважаемые островитяне были нашими учителями в социальном искусстве; теперь они сделались нашими учениками, идущими по нашим следам; но скоро гордые англичане дадут новый сокрушительный толчок, который отзовется вплоть до глубин Азии.

«На укреплениях Maline, Остенде, Майнца, Ниццы и Шамбери уже развивается трехцветное знамя... и отныне и вы, савойцы, тоже приблизились к мировой семье.

«Не страшитесь угроз со стороны деспотов Европы: это — предсмертные судороги монархии. Пока Франция находилась в рабском состоянии, она часто служила приютом для свергнутых с трона владык. Свободная Франция является ныне поддержкой угнетенных народов.

«Эта мечта о всеобщей борьбе за свободу переходит в надежду на всеобщий и вечный мир: «Начнется новый век; реющая над Европой свобода спустится на ее земли; в этой части земного шара не будет больше ни крепостей, ни границ, ни чужеземцев».

Я не решаюсь вспомнить о последовавших затем роковых неудачах. Увы! Даже находясь на службе у свободы, насилие порождает еще большее насилие. В этом для нас великий урок. Социалистический пролетариат лишь в том случае сможет избежать грозного возвращения войны и тирании, если каждый народ постепенно водворит у себя справедливый порядок мирным и автономным путем и если он сумеет избежать пагубного столкновения наций. Даже благоразумный Эро де-Сешель, председательствуя на заседании 27-го, попадает во власть многообещающих фраз; но и здесь чувствуется величие революции.

«Нация,—говорит он савойцам,—уже декретировала физическое и моральное об'единение наших территорий, нам остается выполнить ее волю; и еще не один раз Конвенту придется гордиться тем, что он подчиняется народному решению».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«После неизбежной и близкой гибели всех королей, которым предстоит быть погребенными под их собственными тронами, останется единственный трон—трон восседающей на Монблане Свободы. Отсюда эта повелительница мира торжествующе прострет над вселенной свои руки, призывая народ к возрождению».

Эти руки триумфатора меня смущают... несут они освобождение, или окажутся руками хищника? Но с какой высоты взирает теперь революция на мир! Она на белоснежной вершине Альп. Ее окружает сверкающий ореол девственных ледников. Она является перед людьми во всем своем кристально чистом, ослепительном сиянии. С высоты она созерцает раздробленные и погрязшие еще в рабстве людские массы, возносясь над еще наполовину закрытым облаками горизонтом Италии и Германии, она призывает народы к возрождению.

Древний Рим никогда не имел подобных видений, и его семь скромно возвышающихся холмов совершенно стушевываются перед громадой Альп, вершина которых озаряется восходящей над всем миром зарей революции и свободы.

Не только политический язык, но также язык науки проникнут в эти первые, светлые великие дни деятельности Конвента духом гордого человеческого величия. Наука—республиканка по самой своей природе: ей нет дела до произвольных распоряжений, продиктованных случайной прихотью отдельных лиц, она устанавливает в жизни вселенной всеобщие об'ективные законы, которые приложимы ко всем элементам мироздания, ко всем существам, ко всем действующим в нем силам. Также и республика является олицетворением этой об'ективной необходимости закона, перенесенной из мира физического в мир свободы. Кроме того, наука универсальна. Ее выводы, открытия, доказательства имеют равное значение для всех людей и народов. Революция правильно поняла эту связь науки с освобождением всего человечества. В качестве кандидата в члены Конвента она избрала великого геометра Лангранжа. Другой великий ученый—Фуркруа займет впоследствии место Марата. Научный авторитет Кондорсе высоко ценился Конвентом. В Собрании мы видим немало образованных людей, проникнутых преданностью науке, как Лаканаль или Ромм, о котором Бодо сказал, что он обладал «всей философией Кондорсе, но совершенно своеобразно выраженной». Можно указать и на многих других, оставшихся неизвестными, вроде Бонье, обладавшего удивительной силой мысли, или Гитона Морво, «республиканские убеждения которого отличались широтой, ясностью, здравым смыслом и были основаны на глубоких научных познаниях».

Революция поняла, что ниспровергая все кумиры прошлого, она должна была вызвать к жизни великую и новаторскую силу— науку-законодательницу. Уже Учредительное Собрание поручило Академии Наук изыскать меры времени, веса и длины, которые были бы основаны на данных самой природы и могли получить универсальное применение. Когда же в лице Борда и Лаланда Академия Наук в первые же дни заседания Конвента делает перед ним отчет о состоянии своих работ и результатах своих изысканий, эти великие ученые говорят с великими революционерами величественным и проникнутым духом гуманности языком:

«Академия,—говорит Борда,—хочет поставить в известность Национальный Конвент о положении ее работ относительно мер и весов; она надеется, что этот большой труд будет завершен в течение первых месяцев 1794 года; тогда останется только сделать образцы этих мер и разослать их различным нациям, также, может быть, и научным Обществам Европы, которые своим авторитетом могут содействовать введению их в употребление. Академия со своей стороны будет счастлива содействовать их распространению и она всегда будет гордиться своим участием в выполнении этого замысла, создающего славу нации, полезного для

Электронный архив библиотеки им. А. Кулешова

всего человечества, который может послужить,—если он будет одобрен и принят другими народами, — новым звеном всеобщего братства».

Указывая на науку, как на источник революции, и на революцию, как на средство расширения научной деятельности, Лаланд добавил:

«Люди, которые, вопреки всем ошибкам деспотического правления, все же всегда служили делу разума, которые высоко держали его знамя и укрепляли его позицию, в то время как правительство стремилось искоренить его завоевания, — эти люди не могут не испытывать воодушевления теперь, когда, с установлением Французской республики, гений может избирать по собственному усмотрению объекты своих исследований, причем он может пользоваться всеми средствами для того, чтобы приносить пользу, когда, наконец, разум сделался единственной реальной силой, повиноваться которой вполне совместимо с достоинством равных в правах и свободных людей». Таким образом, повсюду побеждавшая революция открывала, повидимому, широкие возможности не только в политической, но и в научной области; с помощью единства своих мер, методов и законов наука должна быть внести свою лепту в великое дело об'единения человечества — об'единения, основанного на принципах права и разума.

Искусство также предчувствовало, что в этом великом политическом и культурном движении оно найдет могучий источник новых вдохновений.

Еще в эпоху Учредительного Собрания талантливые художники и скульпторы из'явили желание предоставить свои таланты в распоряжение революции. Правда, не без горечи находишь в приветствиях имена таких художников, как Фрагонар, который уже растратил свои дарования в вихре легкомысленных развлечений, процветавших при старом режиме. Мог ли он внезапно обновить свою живопись и изобразить с помощью своей кисти великие события? Но уже в начале Конвента выступают новые силы и вполне зрелые гении. Таков Давид, нетерпеливый в своих исканиях новых путей, мечтающий с декабря месяца закрыть Академии живописи и скульптуры и установить, если можно так выразиться, непосредственное общение между молодыми талантами и гением самой революции. Таков Ромм, который, являясь противником преждевременного разрушения, набрасывает художникам от имени Конвента новый план работ, указывает на новые источники силы и красоты.

«Величественным характером нашей Революции,—говорит он,—мы обязаны литературе и философии; среди тех, кто боролся за наши права, помог нам осознать их и снова овладеть ими, мы с удовольствием отмечаем членов этих ассоциаций (Академий), которые оказались способными проявить свою мощь и независимость.

«Но часто приходилось с прискорбием отмечать и другого сорта людей— людей одурманенных, упивавшихся милостями сильных мира сего, падких до пустых знаков почета и равнодушных к славе, основанной на служении обществу. Со скандальной жадностью эти люди добивались исключительной привилегии калечить с помощью варварской цензуры произведения философов и гениальных художников, которые осмеливались проявить смелость и глубину мысли. Эти люди проституировали свои таланты, воскуряя фимиам наглости и бесстыдству деспотов, превознося порок и глупость и получая в награду подарки, дипломы, пренебрежительное отношение, которое принималось этими низкими душами как знак благоволения, тогда как всякий мыслящий человек увидел бы в этом лишь оскорбление.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Теперь маски сброшены, полные гордости кумиры низвергнуты. Получивши простор, ставши самим собою, гениальный художник будет теперь оживлять полотно или мрамор, вдохновляемый лишь идеями свободы и равенства».

И вот художники обращаются в Конвент с просьбой о помощи и сочувствии: «Искусство—это застенчивое крылатое дитя, которое нуждается в ласке; всякая несправедливость его отпугивает».

Но так как в этом «крылатом ребенке» бурлила сила освобожденного народа, то и предлагавшиеся ими планы были грандиозны. Они мечтали построить для заседаний Конвента величественный, прекрасный храм, куда с благоговением входили бы «посланники человеческого рода». Революция открыла для искусства, как и для науки, необозримые горизонты. Без сомнения, эти благородные идеи, эти великие мечты о торжестве науки, красоте, всеобщем освобождении смягчали для членов Конвента уже несколько резкий блеск военных успехов. В победах французского оружия чудилась победа разума. Победы, искусство, наука, идея человечества — таковы были великолепные спутники рождавшейся республики!

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ЧАСТЬ III.

ЗАТРУДНЕНИЯ и ПАРТИЙНЫЕ РАЗДОРЫ.

ГЛАВА XII.

Контр-революционные заговоры и агитация на религиозной почве. Вопрос о бюджете вероисповеданий. Дебаты в Якобинском клубе. Точка зрения Робеспьера.

Но уже в это время начало выступать немало теневых сторон, стали зарождаться новые тревоги. Сперва в Вандее, затем в Бретани, на юго-востоке и на Юге начали открываться глухие заговоры, таившие зародыши контр-революции.

На Юге, где попрежнему яростно продолжалась борьба религиозных партий, где католики и протестанты ненавидели друг друга, так что столкновения между ними повторялись почти в каждой деревушке, роялизм вербовал себе приверженцев среди фанатически настроенной религиозной паствы; патриоты чувствовали, что почва под их ногами минирована. Напрасно взят был лагерь Жалес, где с конца 1791 года образовалось опасное скопление контр-революционеров, которые при посредстве фанатического населения Ардеша должны были установить связь между эмигрантами Турина и лионскими роялистами: заговоры продолжали зарождаться один за другим. К концу августа доброволец-полицейский Лаллеган-Морильон открыл довольно опасный заговор, агенты которого действовали в Анте, Форкалькье, Карпентра, Моноске, Мане, Горде, Систероне, Картюи, Лутурье, Дине, Руссильоне, Сересе, Сант-Мартене, Ля-Бастиде-де-Журдан, в Бельмонте, Вакера, Симиане, Баноне, Вьене, Дори. Морильон, прикинувшись активным контр-революционером, сумел войти в доверие одного из заговорщиков, который и открыл ему вместе с именами главных участников заговора и самый план действий. По поручению эмигрировавших принцев они хотели снова с большей осторожностью взяться за дело, проигранное из-за нетерпения Сальяна в Жалесском лагере. Заговор был расстроен, но было ясно, что очаги контр-революции продолжают жить под землею. В Вандее сопротивление клятвам, каравшим не присягнувших конституции священников, становилось с каждым днем все упорнее.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

В Бретани начал создаваться громадный заговор под руководством смелого авантюриста Тюффен-де-ля-Руери, избравшего Иль-е-Вилэн центром своих операций. С июня 1792 года, по специальному поручению из Кобленца, он упорно работал над тем, чтобы сплотить контр-революционные силы западной Бретани. Согласно задуманному плану, он должен был двинуться на Париж, как только иностранные армии переступят границу. Не желая ограничиваться сопротивлением на местах, которое вскоре сорганизовали Вандея и Шуанерия, он хотел перейти в наступление и поставить столицу между двух огней: прусским вторжением и бретонской контр-революцией. Но его смелая тактика не нашла поддержки в его собственных комитетах: они, особенно комитет Сен-Мало, отказались следовать за ним, и 10 августа разразилось ранее, чем он успел выступить. Оставив после этого мысль итти на Париж, он стал думать лишь об организации широко поставленной обороны и упорной партизанской войны. Под именем Милэ, переодеваясь, он переходил из замка в замок, разжигая всюду возмущение.

Множество дворян, спешно прибывших перед Десятым Августа в Париж, чтобы вблизи наблюдать за развертывавшимися событиями, в это время, по совету принцев, отхлынули к своим замкам, надеясь таким образом ускользнуть от страшных дознаний Парижской Коммуны. Сердца разгорались во время ночных бесед; и в темных залах осененных дубами замков, где так часто давящая скука угнетала душу, женщины и девушки трепетали от волнения, охваченные надеждой, увлеченные таинственностью и опасностью.

«Что за удовольствие,—рассказывает г-жа Лонган, еще не вполне вышедшая из детского возраста в то жуткое время,—что за удовольствие было принимать участие в столь романтических происшествиях и быть посвященной в подобные тайны. И как же, помню, гордилась я, сколько принимала ненужных предосторожностей, стараясь придать себе важный вид. Г-на де-ля-Руери поместили в большой комнате, примыкавшей к зале, дверь которой была заперта. так что представленная в его распоряжение часть дома казалась необитаемой. ибо шторы здесь никогда не подымались. Два дня спустя мы завтракали с господами Тюффен (племянником маркиза) и Шафнером, которые, проведя 2 дня в Вилье, отправились к г-же де-Бургон в Буа-Блен, где они продолжали скрываться, не возвращаясь более в Вилье. Каждую ночь в замок являлись курьеры или главари движения; они давали о себе знать условными знаками и вводились через главное крыльцо в дом. Легко понять, насколько эта беспокойная и разнообразная жизнь была для меня полна прелести, и с каким любопытством я спускалась по утрам к завтраку, уверенная в том, что встречу в столовой новых только что прибывших лиц».

Но, несмотря на предосторожности, принятые де-ля-Руери, который скрывался, образно выражаясь, в лесных дебрях, революционная Директория Ил-е-Вилэн стала догадываться о движении. Доктор Лятуш-Шефтель дал Директории возможность раскрыть заговор. Случайность связала Лятуш-Шефтеля дружбой с де-ля-Руери; быть может, как многие мелкие буржуа того времени, он вырос под сенью феодального замка. Перед ним или, вернее, с ним заговорщики изяснились с совершенной откровенностью. Шефтель, однако, был тайно преда идеям революции. Была ли это двойственность или малодушие, сказать трудн Он не проронил ни единого слова, которое позволило бы посещаемым им дворя нам догадаться об его убеждениях. Овладев страшной тайной де-ля-Руери и н будучи в состоянии перенести ее тяжести, он помчался в Париж открыть Да тону планы бретонских контр-революционеров.

Франция претерпевала нашествие чужеземцев, и некоторые из ее сынов г товились предать ее. Судьба ли или скрытность и молчаливая приниженност поставили Шефтеля перед жуткой дилеммой: предать своих друзей или преда

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

родину? Сделавши первый шаг, он решил пройти весь путь до конца. Притворяясь преданным другом де-ля-Руери, он добился того, чтобы заговорщики делегировали его в Кобленц. Следя там изо дня в день за всеми вплетавшимися в заговор нитями, он выждал, при содействии Лаллеган-Морильона, пока заговор не назрел, и все главные заговорщики не оказались достаточно скомпрометированными, и выдал их тогда революции.

Ля-Руери всюду, где бы он ни появлялся, увлекал за собою крестьянство. От Ляваля до Сан-Брие в зимние месяцы 1792—1793 годов благодаря ему повсеместно стали появляться банды, освистывавшие священников-конституционалистов и нападавшие на них. Он привлек на свою сторону бывшего контрабандиста солью, Котерро, разорившегося после того, как революция уничтожила габель [1]).

Странные контр-удары революции, которая даже в своих наиболее законных, необходимых и популярных постановлениях задевает и разрушает столько частных интересов!

Этот контрабандист, изучивший за время своих ночных скитаний каждую затерянную тропу в лесу и на равнине, оказался для де-ля-Руери великолепным помощником. Он и был тем лицом, которое впоследствии прозвали Жан Шуан. Благодаря ему гибель ля-Руери не нанесла бретонскому восстанию смертельного удара: у восставших остался главарь. Ля-Руери погиб в январе.

Однажды ночью, 12-го января, во время об'езда Динанского округа с целью поднять и сорганизовать его, ля-Руери пришлось искать приюта в скромном жилище небогатого дворянина, лежавшем в стороне от дороги. Владелец его, де-ля-Гойомаре, был одним из его самых страстных приверженцев. Ля-Руери скрывался у него в течение нескольких дней, принуждаемый к этому болезнью одного из своих товарищей. Заболев в свою очередь лихорадкой, явившейся, вероятно, следствием жизни, полной непрестанных волнений и непрерывной усталости, ля-Руери скончался на соседней ферме, куда де-ля-Гойомаре велел перенести его, узнавши, что в его замке готовится обыск.

Вскоре после этого Латуш-Шефтель и Морильон указали революционным агентам дерево, под которым его похоронили ночью, постель, на которой он лежал в агонии, и давший ему приют замок. Так зародыш бретонский контр-революции был раздавлен. Но уже в первые месяцы существования Конвента можно было предугадать, что контр-революционные силы на Западе и на Юге пробуждаются, и что час грандиозных восстаний близок.

Но эта еще только зарождавшаяся и неясная опасность казалась незначительной по сравнению с ежедневно разраставшимися религиозными волнениями. Законодательное Собрание прежде, нежели разойтись, придало силу закона мерам против отказавшихся присягнуть конституции священников, которые оно издало при жирондистском министерстве в мае, и действие которых было приостановлено королем, наложившим на них свое veto. Законом 26 августа оно возобновило майские декреты в более решительной форме.

«Каждый священник, отказывающийся принять гражданскую присягу, должен покинуть в 8-дневный срок пределы своего округа и департамента и в 15-дневный срок выехать из королевства». По истечении установленного срока виновный ссылался в Гвиану. Закон этот проводился в жизнь муниципальными властями различно. Одни муниципалитеты бдительно следили за его выполнением, и Шассен дает нам длинный список священников, отправившихся морем из Сабель д'Олонь 9-го и 11-го сентября в Испанию. С 15-го по 27-е число от'езд продолжается; уезжают вандейские священники, на-

[1]) Налог на соль.

Электронный архив библиотеки им. Г. А. Кулешова

правляющиеся в Бильбао и Сан-Себастьяно. В общей сложности с сентября по январь до 220 не присягнувших конституции священников покидают вандейские берега. Но другие, более смелые и решительные, остаются, скрываясь так, что муниципальные власти не могут их найти, и подготовляют силы приближающегося восстания. Духовенство и дворянство, остававшиеся в течение долгого времени разделенными, примирились теперь в борьбе против революции.

Но гораздо тревожнее, чем происки не присягнувших конституции священников, был факт, что и конституционное духовенство оказалось с первых же дней деятельности Конвента ненадежным для революции элементом. Уже с этих пор оно начинает волноваться, предчувствуя, что логика революции приведет ее к отмене всякого официального культа. Опасаясь, что расшатывание старинных устоев церковной дисциплины и обрядов подорвет корни самой веры, оно боится, как бы народ, перешагнув через несколько двусмысленное сочетание, каковым явилась «гражданская конституция», не порвал всякой связи с религией. Оно продолжает надеяться, что, если, не упуская времени, начать действовать и сопротивляться, еще жизненная и полная неясных порывов вера широких слоев населения поможет церкви заставить революцию считаться с нею и положить пределы ее натиску.

Уже в течение нескольких месяцев, еще до наступления 10 августа, антиклерикальные меры Парижской Коммуны раздражали духовенство, присягнувшее конституции.

Внезапно вспыхнувшие волнения среди населения пригородов показали ему, как велико еще было его влияние.

В июне—Петион в это время был городским головою, а Мануэль—прокурором Коммуны,—начались волнения, связанные с празднованием дня Тела Господня. По этому поводу возникли продолжительные споры. Муниципалитет не запретил крестного хода. Он только лишил означенное празднование всякого официального характера, постановив, что украшение фасада домов и дверей жилищ ни для кого не является обязательным, и что муниципальные власти не должны принимать участие в процессии.

Но самым смелым шагом было заявление Манюэля, что настанет, несомненно, день, когда каждое вероисповедание замкнется в пределах своего храма. Доктор Робине во втором томе своего добросовестного исследования о «Религиозном движении в Париже во время революции», основательность и историческая доброкачественность которого не умаляется предвзятой точкой зрения автора, являющегося узким последователем Конта, опубликовал главнейшие документы, проливающие свет на этот многозначительный эпизод.

Муниципалитет 1-го июня постановляет:

«1. Ввиду того, что согласно тексту конституции муниципальные власти не считают себя в праве прямо или косвенно облагать население налогами, так как это право является исключительной прерогативой законодательной власти, муниципалитет не может ни при каких обстоятельствах принуждать граждан украшать или драпировать фасады своих жилищ; расход этот, являясь вполне добровольным, не должен также ни в какой мере стеснять свободу религиозных воззрений.

«2. Ввиду того, что граждане-солдаты должны становиться под ружье только для выполнения требований закона и поддержания общественной безопасности, — национальная гвардия не может быть вызываема для присутствия при обрядах какого бы то ни было вероисповедания.

«3. Ввиду того, что общественное благосостояние и национальные интересы не позволяют приостанавливать свободной торговой деятельности, граждане име-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

от право во всякое время заниматься торговлей и промышленностью, раз таковое право обеспечено им оплатою сборов и приобретением патентов.

«Муниципалитет вменяет в обязанность секционным полицейским комиссарам и командирам национальной гвардии следить за поддержанием общественного порядка применительно к указаниям настоящего декрета».

В сущности, это сводилось к уничтожению в короткий промежуток времени всяких крестных ходов в Париже; ибо сказать, что вооруженная сила будет повсеместно и даже на пути следования процессии поддерживать и обеспечивать свободное передвижение граждан, направляющихся по делу или для развлечения, значило фактически воспрепятствовать развернуться шествиям.

Манюэль в инструкции комитетам 48 секций раз'ясняет постановление Коммуны в словах, на которые наложила яркий отпечаток свободная, лишенная религиозной окраски, мысль: «Пока во Франции была господствующая религия, поддерживаемая соглашением между попами и деспотами, заинтересованными в продлении злоупотреблений, из которых они извлекали пользу, возможно было принудительными мерами заставлять всех граждан исповедывать одинаковые религиозные истины, какими бы ошибочными они ни казались. Но после торжественного провозглашения Конституции—этого нового Евангелия французов, народным магистратам не надлежит более забывать священных начал свободы...

«Недалек, несомненно, тот час, когда каждая религиозная секта, замыкаясь в пределах своих храмов, не будет уже в определенные дни года запруживать улицы своими шествиями; общественные пути принадлежат всем и не могут быть использованы в качестве частной собственности.

«Заботу о распространении просвещения мы должны предоставить здоровой философии и правильно поставленному образованию; царство разума должно расти и подготовить полное уничтожение предрассудков, под игом которых слишком долго гнулось человечество.

«Чиновники, назначаемые самим народом, не могут в качестве должностных лиц присутствовать при совершении богослужения какого бы то ни было исповедания; иначе они были бы вынуждены присутствовать на всех религиозных церемониях. В свободной стране не может быть иного господствующего исповедания, кроме исповедания закона».

Это заявление уводит нас очень далеко от положения, существовавшего при Учредительном Собрании, которое в свое время присутствовало всем составом на католическом богослужении. Оно сильно отличается также и от тех излияний полу-христианского, полу-философского характера тех первых моментов существования гражданского устройства церкви, в которых несколько революционный евангелизм одних смешивался с несколько евангельской революционностью других. Отныне наступает эра светской власти, утверждается рационализм современного государства.

Манюэль не ограничивается, однако, тем, что отнимает у католической религии первенствующую роль и официальное могущество. Не угрожая прямо свободному отправлению богослужения, он говорит, однако, о религии в весьма недвусмысленных выражениях, как о предрассудке, который рассеется при свете развивающегося разума. Газеты Прюдома, Бриссо, Кондорсе живо поддержали Манюэля. Конституционное духовенство заволновалось. Мнение народных масс разделилось: часть населения одобряла предписание Коммуны и циркулярное обращение Манюэля. Если бы демократические слои населения были сплошь возмущены принятыми мерами, Эбер, неизменно державший курс по ветру, не высказался бы так определенно в пользу циркуляра.

Велико было ликование «Пэр-Дюшена», который с обычной ему грубостью восклицает в номере от 9-го июня 1792 г.:

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Ах, чорт возьми, как я доволен! Читал и перечитывал великолепное предписание, касающееся процессий, подписанное Петионом. Вот умно-то и хорошо сказано! И как все это проклятое тараканье отродье должно теперь беситься! Ведь это еще более понизит его акции. Шабаш: царство попов прошло безвозвратно. С каждым новым днем постепенно все более и более разрушаются суеверие и фанатизм, а они, чорт возьми, были самым страшным оружием попов. Вся тайна их влияния заключалась в том, что, не обладая никакой тайной, они заставляли думать, что таковая у них существует.

«Припомните-ка, как для того, чтобы пустить пыль в глаза, они устраивали множество пышных крестных ходов, выставляя напоказ самую дерзкую роскошь. Других способов продержаться а, главное, сохранить незаконно захваченные богатства у них не было, это они твердо знали.

«Но нашелся, наконец, тертый калач, по имени Вольтер, который немало поспособствовал тому, чтобы низвергнуть трон, воздвигнутый себе этими лицемерами, сумевшими использовать невежество и доверчивость наших добрых предков. Этот великий человек, пуская в ход то шутку, то доводы разума, первый подточил основы чудовищного здания; выдвинутые им положения незаметно прививались и подготовили наступление царства всемирной свободы, к которому мы уже близки.

«Мне пришлось, однако, слышать, как старые богомолки и от'явленные ханжи возмущались мудрым предписанием муниципальных властей. «Зачем препятствовать украшению домов? Испокон веков это делалось!» твердят они.

«Так-то, так, от'явленные остолопы! Но именно потому, что это делалось всегда, не нужно, чтобы это делалось теперь; впрочем, предписание муниципалитета и не запрещает украшать жилищ, каждый волен делать, как ему заблагорассудится. Но, конечно! Никто теперь не принудит меня, протестанта, кальвиниста, еврея или магометанина убирать фасад моего жилища, чтобы торжественно ознаменовать празднество, установленное исповеданием, которое я отвергаю.

«Продолжай итти дальше в этом направлении, дружище Манюэль, мы тебя поддержим. Дай проникнуть светильнику разума в пещеру предрассудков и выведи на чистую воду всех фанатиков. Еще одно словечко, Манюэль: как можешь ты терпеть, чтобы священники, именующиеся конституционными, брали плату за похороны, крестины и браки? Разве им, пройдохам, не платят за все это? За что же в таком случае нация отпускает 140 миллионов франков на издержки культа? Обрати на это внимание, прошу тебя, и будь бдителен: попы всегда останутся попами; одни не лучше других; дай им палец, они всю руку утянут».

Вот это-то сформулированное «Пэр-Дюшеном» в июне предложение революционная Коммуна 10 августа и привела в исполнение в сентябре. Но, как явствует из статьи Эбера, предписание, касающиеся крестных ходов, встретило известное сопротивление. Действительно, народ нападал на всех, нарушавших шествие. Робеспьер начал опасаться, как бы такое слишком откровенное нападение на христианство не повлекло за собой нежелательных последствий для революции. Он с этого времени стал считать опасной политику, об'единявшую конституционное духовенство со священниками, отказавшимися присягнуть конституции.

«Боюсь,—пишет Камилл Демулен, бывший в этот момент выразителем мыслей Робеспьера,—что якобинец Манюэль сделал крупную ошибку, добившись ограничительных мер против крестного хода в день праздника Тела Господня. Милый друг Манюэль, короли уже созрели, а Господь Бог еще нет. Будь я членом муниципального комитета, я бы боролся против этой меры с не меньшим жаром, чем любой церковный староста».

Итак, со времени роспуска Законодательного Собрания появляется ряд тревожных симптомов. Перед Конвентом с первых дней его существования возник

Электронный архив библиотеки имени А.А. Кулешова

вопрос о необходимости борьбы с религиозной агитацией среди народных масс, руководимой присягнувшими священниками. Три основные причины вызывали эту агитацию и давали ей пищу: крутые меры против католической церкви и религии, принятые Парижской Коммуной; приведение в исполнение закона о гражданском устройстве, принятого Законодательным Собранием в последнюю минуту перед роспуском 20 сентября, и, наконец, угроза уничтожить бюджет культов.

Парижская Коммуна в заседании 23-го декабря 1792 года, ссылаясь на интересы общественного порядка и опасность ночных сборищ, постановила отменить рождественскую заутреню, начинавшуюся в полночь. Но народ не обратил внимания на запрещение, и в приходах, расположенных в народных кварталах, заутреня была отслужена, как обычно.

Газета Прюдома, всегда резко выступавшая против духовенства, так описывает события:

«Когда среди белого дня в общественных местах показывают театр марионеток или фокусы жонглера, то в этом большой беды нет: отчего не позабавить ребят с нянь ками? Но собираться ночью по темным чердакам, чтобы распевать гимны, зажигать свечи и курить ладан в честь незаконорожденного и жены-прелюбодейки — скандально; это является посягательством на добрые нравы, подозрительно в эпоху революции, заслуживает суровых мер со стороны исправительной полиции. В течение почти 18 веков этот скандал, который не менее возмутителен оттого, что называется религией, возобновляется ежегодно в ночь с 24 на 25 декабря, не подвергаясь законной каре.

«Принимая во внимание обстоятельства, муниципальные власти Парижа сочли своим долгом напомнить о законе, запрещающем ночные сборища, и предписали закрыть церкви в ночь, называемую рождественской. Люди, благодушно настроенные, считали эту предосторожность излишней. Кто, в самом деле, станет думать о том, что в 1792 году в Париже будет служиться заутреня? Но королевские приспешники умеют использовать всякое оружие. Они расходятся по секциям. Секция Арсенала отправляет депутата в Коммуну, который опротестовывает предписание и восклицает: Борцы 10-го августа хотят итти к заутрене. В ответ лишь пожали плечами; никому не было известно, что перед дверями некоторых церквей образовывались скопления народа, что во главе их находились люди, которые обыкновенно не ходят к заутрене, с карманами, набитыми золотом, обвешенные брелоками, королевские прихвостни, вздыхающие по Варфоломеевской ночи для патриотов, как правильно отметил прокурор Коммуны. И действительно, как раз в это время в приходе Сен-Жермен стали звонить в колокол, в тот самый, в который, по приказу первой из наших Медичей, зазвонили в этот же час, подавая сигнал к избиению протестантов, врагов двора, находившихся на подозрении у Карла XI. Вели агитацию среди женщин и санкюлотов предместья Сен-Марсо; угрожали артиллерийскому парку на площади Федерации. В церквах С.-Жак-Ла-Бушери и де Л'Опиталь, С.-Эсташ, С.-Мери, С.-Жерве муниципиальные должностные лица подвергались оскорблениям, и заутреня была отслужена в их присутствии как бы для того, чтобы насмеяться над другими и надругаться над законом.

«Секция Прав Человека» явилась в Коммуну с обещанием, что предписание ее будет уважено.

«Секция Лувра, наоборот, потребовала отмены приказа. В церквах С.-Лоран, С.-Виктор, С.-Медар, С.-Марсель и в английском монастыре заутреня была отслужена демонстративно, не взирая на присутствие властей. Большинство священников, дабы избежать законного возмездия, сделало вид, что они должны были уступить насилию со стороны своей паствы.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Секция Гравилье поступила умнее,—говорит Шомет:—она просто прикрыла все поповские лавочки. Благодаря мудрым и умеренным мерам наших муниципальных чиновников, Париж отделался только небольшими волнениями, которые разрослись бы в нечто угрожающее, если бы во главе администрации стоял какой-нибудь г. Бальи.

«Но так дела оставить нельзя. Общественная безопасность, благопристойность и закон были нарушены. В настоящее время некоторые из главных виновников уже арестованы. Теперь—дело суда, не откладывая, выполнить свой долг. Было бы крайне важно, если бы в один из ближайших дней, на паперти насыщенных фанатизмом церквей были выставлены напоказ народу все те, кто недостойно злоупотребил его доверчивостью с надписью: священники-смутьяны, злонамеренные нарушители общественного спокойствия, приговоренные к 9 годам кандалов».

Очевидно, что в это время религиозное сознание революции находится в хаотическом состоянии. С одной стороны, часть революционеров, во главе с Парижской Коммуной, с Эбером и газетой Прюдома, нападают не только на церковь, как на учреждение, но и на самое христианство. Мануэль говорит о нем, как о суеверии и предрассудке. Шомет ведет борьбу также с самой христианской религией. И когда газета Прюдома видит покушение на добрые нравы в праздновании памяти «незаконнорожденного» и «жены-прелюбодейки», то эти упреки в нарушении семейной морали направляются не только против рождественской заутрени, но против всего христианского культа и даже самой христианской религии.

Я не осуждаю в настоящее время полемических приемов газеты Прюдома и «Пэр-Дюшена». Религиозная критика XIX века со Штраусом и Ренаном во главе приучила нас к иному языку и иным концепциям.

Теперь показалось бы несколько детским приемом сводить свободомыслие к вопросу об оскорблении буржуазного целомудрия «незаконнорожденностью» Христа. Пролетариат в полной мере освободится от религиозной традиции только тогда, когда он сумеет без коленопреклонений и без гнева отвести должное место христианству в истории развития человеческого разума. Но для людей 1792—1793 годов намечались иные способы борьбы. Я хочу только отметить некоторую нерешительность, проявившуюся в последние месяцы 1792 г. Ни Мануэль, ни газета Прюдома, ни Эбер не смеют открыто признаться, что они хотят покончить с христианством хотя бы силой. Это прорывается в их мысли, но определенно не формулируется. Революция не сделала выбора между двумя способами освобождения от христианства, бывшими в ее распоряжении. Она могла провозгласить, что собирается бороться только с контрреволюционными происками духовенства, предоставив времени, разуму, свободе и рациональной постановке народного образования рассеять мало-по-малу древние христианские предрассудки. Или, избрав иной путь, она могла открыто заявить, что над умами людей было совершено длительное насилие тиранией христианских догматов и религиозных навыков, что разум своими силами не в состоянии искоренить того, что было создано без его участия, и что поэтому необходимо всеми способами, пусть даже силой, разрушить традицию невежества и рабства. Революция в эту пору не стала определенно ни на одну из означенных точек зрения. Она опасается об'явить войну традиционным верованиям. Она пытается даже об'явить полную свободу совести и культа, но вместе с тем она выдает свои скрытые намерения мелочными придирками, которые являются началом решительной войны с христианством.

С другой стороны, и народ находится во власти двух сил, одновременно действующих, но противоречивых по самому существу своему; противоречие это,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

однако, выявляется только после длительных конфликтов, раздирающих его сознание: это, с одной стороны, страстная вера в революцию, с другой же—устойчивая, вынесенная из прошлого, вера в христианские догматы. «Борцы 10-го августа хотят присутствовать на заутрене!» с беспредельным удивлением, доказывающим весьма посредственное знание человеческой природы, отмечает газета Прюдома. Санкюлоты предместья С.-Марселя в ночь на Рождество, несмотря на запрещение представителей администрации, празднуют величайшее из событий христианства. И так повсюду путаница, сложность и хаос. Хаотическое состояние религиозного сознания революции странным образом поддерживает тайные надежды и происки духовенства. Духовенство даже тогда, когда оно «конституционно», даже тогда, когда оно присягнуло в верности революции, не отрешилось от стремления сделать из церкви самую крупную и самую могущественную из социальных сил. Находчиво выдвигая положение, что Евангелие есть первое провозглашение прав человека, оно льстит себя надеждой сделать из революции служанку церкви. Революция должна быть как бы скромной младшей сестрой, заботящейся о материальных интересах людей, согласно евангельским принципам, раз'яснять и хранить которые призвана церковь. Внезапное выступление населения предместий против мер Парижской Коммуны должно было усилить честолюбивые замыслы, тайно питаемые духовенством.

Оно не решалось, однако, оказывать открытое и повсеместное сопротивление двум основным законам, устанавливавшим светский порядок, именно законам о гражданском состоянии и разводе. Законодательное Собрание на последнем своем заседании как бы завещало Национальному Конвенту привести в исполнение эти проведенные им законы.

Французский народ веками привык обращаться к приходским священникам и викариям с заявлениями о рождениях, браках и смертях; церковь вела записи. Она как бы скрепляла печатью духовной власти события гражданской жизни, или, вернее, гражданская жизнь как бы поглощалась религиозной. Революция тотчас же поняла, что существует коренное противоречие между принципами, выдвигаемыми ею для освобождения гражданина, и обычаями, которые подчиняли или даже уничтожали его гражданскую свободу, ставя в зависимость от церковного освящения его социальное бытие. Необходимо было под угрозой почти полного краха принципов революции передать гражданским властям регистрацию актов и событий гражданской жизни. Не без колебаний, однако, приступили сначала деятели революции к гражданской регистрации. Влияние церкви было еще настолько велико, что им приходилось опасаться, как бы, вводя главнейшие события обывательской жизни в рамки гражданского состояния, не насиловать граждан, заставляя их порывать с католичеством. Учредительное Собрание разошлось, не осуществив этой великой и необходимой освободительной реформы. Оно ограничилось лишь введением в конституцию 1791 года следующего положения:

«Закон рассматривает брак исключительно, как гражданский договор. Законодательная власть установит для всех без различия жителей способ регистрации браков, рождений и смертей и назначит особых чиновников для составления и хранения соответствующих документов». И только Законодательное Собрание в день своего роспуска, 20-го сентября, решилось принять закон в следующей редакции:

«Национальное Собрание, заслушав доклад Комитета по церковным делам и принимая во внимание, что брак по самому существу своему является договором, действительность которого зависит исключительно от соблюдения законов природы и государства; что таинство, установленное для освящения брака и низведения на супругов сверх'естественной благодати, может требовать от брачущихся особых условий, определение которых лежит вне компетенции

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

гражданской власти; что это таинство вместе с тем может быть совершенно отделено от брачного договора, и что церковные нормы поэтому не могут ни отнимать у супругов и детей их законных прав, ни даровать их; что, исходя из частных и правительственных интересов, следует облегчить заключение браков; что все люди в равной мере правомочны пользоваться гражданским состоянием, опираясь на свободу убеждений, обеспечиваемую конституцией; что, наконец, лучшим способом для поддержания порядка и единения между гражданами является установление способа для регистрации рождений, браков, а также и смертей посредством общеобязательного и единообразного для всех граждан и всего королевства закона, предписывает и т. д...».

Законодательное Собрание, таким образом оформило брак, как гражданское установление, и выработало во всех подробностях процедуру гражданской регистрации.

«Муниципалитеты должны впредь вести и сохранять записи рождений, браков и смертей. В случае отсутствия административного лица, уполномоченного составлять свидетельства о рождениях, браках и смертях, или если оно, по уважительной причине, не может выполнить возложенных на него обязанностей, его заменяют мэр, представитель муниципалитета или один из членов Генерального Совета Коммуны.

«Каждый муниципалитет должен иметь три книги для ведения записей: 1) рождений, 2) браков, 3) смертей. Книги записи должны быть двойными, вестись на гербовой бумаге и доставляться муниципалитетам Директориями за счет данного округа. Акты, зарегистрированные в вышеозначенных книгах, и сделанные из них выписи должны иметь силу законных документов в судебных разбирательствах.

«В недельный срок со дня опубликования настоящего декрета мэр или очередное должностное лицо обязаны по первому требованию прокурора Коммуны отправится в сопровождении письмоводителя в приходские церкви, на кладбища и в места хранения записей каждого из исповеданий и составить опись всех регистрационных книг, находящихся в руках священников и прочих ведающих этим лиц.

«Книги для текущей записи должны быть опечатаны и переданы в распоряжение мэра или другого представителя муниципалитета. Все книги записей, как старые, так и текущие, должны быть сложены в зданиях общественного самоуправления.

«С того момента, как книги текущих записей будут взяты и отнесены в здание общественного самоуправления, метрические записи, составление брачных контрактов и выдача свидетельств о смерти будет находиться в исключительном ведении муниципалитета, равно как и самое хранение регистров. Посторонним лицам воспрещается всякое вмешательство в составление записей и получение означенных выше документов».

Постановление это является одним из наиболее революционных декретов того времени. Оно проникает в глубины общественной жизни и перестраивает, если так можно выразиться, самый фундамент ее. Передача всех регистров, отобранных у церкви, в руки общественного управления является мощным символом великого гражданского обновления; окончание и опечатание прежних списков и открытие новых как бы свидетельствует о том, что все последующие поколения будут освобождены от всякого соприкосновения с духовенством. Одновременно с этим Законодательное Собрание, идя последовательно до конца, устанавливает развод. Религия делала брак нерасторжимым. Сведенный к гражданскому договору, брак перестает связывать два человеческие существа

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

пожизненной связью, переносившей в мирскую жизнь обязательство внутреннее, скрепленное вечными обетами, ибо закон не признает, более того—запрещает принесение таких обетов.

«Национальное Собрание, принимая во внимание, что для французов крайне существенно использовать право развода, так как право это проистекает из личной свободы человека, последняя же уничтожается нерасторжимостью брачных обязательств; принимая во внимание, далее, что некоторые супруги, не дожидаясь того, чтобы закон установил формы бракоразводного процесса и его следствия, использовали преимущества постановления Конституции, что брак является гражданским договором и что способ и следствия его расторжения определяются законом, постановляет разрешить вопрос в спешном порядке. Развод происходит по взаимному соглашению супругов. Каждый из супругов имеет право потребовать развода на основании простой ссылки на несовместимость темпераментов и характера».

Закон о разводе показателен для того сдвига в умах, который осуществила революция.

Дело шло не о простом перенесении метрических книг, не об одном только изменении в способе ведения записей. Менялась самая сущность договора, и его гражданский характер выявлялся в том, что договаривающиеся стороны становились отныне свободными.

Таковы два великих и дополняющих друг друга закона, проведение которых должен был взять на себя Конвент. Действительно, установление гражданского состояния было вопросом спешным. Враги революции сами немало способствовали тому, что проведение нового закона в жизнь стало необходимым. Особенно в западных областях, где треть всего числа общин отказалась избирать священников конституционным порядком, и многие приходы оставались без духовенства, общественная жизнь дошла бы до состояния варварства, не будь муниципалитетов, взявших на себя, прежде даже, чем закон 20-го сентября был окончательно принят, ведение регистрации гражданских актов. Так, уже с 3-го июля 1792 т. директория Вандейского департамента постановляет:

«Во всех общинах департамента, где вследствие мер, принятых против не присягнувшего конституции духовенства, или вследствие отсутствия приходских священников и их заместителей, или по какой-либо другой причине не имеется духовного лица, уполномоченного в законном порядке выполнять общественные функции, на муниципалитеты возлагается обязанность вести записи рождений, браков и смертей своей общины в книгах, находившихся ранее в распоряжении духовенства; запись должна быть засвидетельствована подписью мэра или другого представителя муниципалитета и должна быть занесена в книгу постановлений муниципального совета. Отцам, матерям, восприемникам, восприемницам и повивальным бабкам при новорожденных, мужьям и женам тотчас же после бракосочетания, родственникам умерших, прибывшим после кончины или присутствовавшим при пей, вменяется в обязанность сделать соответственное заявление, необходимое для настоящего постановления».

Сколько бы накопилось путаницы и беспорядка без своевременного вмешательства закона! Легко догадаться, однако, что такого рода урезывание прав духовенства казалось неприемлемым даже для присягнувших конституции священников. Но сопротивляться значило бы быть непоследовательным. Они поклялись в верности конституции, признавшей одинаковые права и обеспечивавшей одинаковые гарантии всем гражданам без различия вероисповеданий. Мало того, их деятельность также проистекала из гражданского акта, так как они назначались по народному избранию на равных правах с другими представителями администрации. Я склонен думать, что гражданское устройство духовен-

Электронный архив библиотеки МГПИ имени А.А. Кулешова

ства, опороченное теми, кто восстает против всякого рода компромиссов, подготовило умы к тому, чтобы воспринять революционное освобождение всех актов жизни.

Конституционный епископ города Парижа Гобель дал подведомственному ему духовенству, а косвенно, следовательно, и всему французскому духовенству, инструкции примирительного характера, вполне согласные с духом нового закона. Он установил, правда, особые церковные списки, в которые заносились бы для каждого гражданина церковные обряды, соответствующие актам гражданской жизни, как крещение, венчание и погребение. Однако в инструкции от 31-го декабря он предписывает духовенству ни в чем не нарушать, не подрывать и не обходить закона о гражданском состоянии. Об'являя от имени Парижского епископального и митрополичьего совета, что, «будучи в качестве духовных лиц и в качестве граждан обязаны сами соблюдать законы республики и, по мере сил, способствовать соблюдению их верующими, пастыри не должны ни крестить, ни сочетать браком, ни хоронить, не убедившись предварительно, что все предписываемые законом 20-го истекшего сентября гражданские формальности уже выполнены или имеют быть выполненными; таков должен быть первый вопрос, предлагаемый верующим, обращающимся в церковь за означенными требами; его следует включить в спешном порядке в число тех, которые задаются при выполнении упомянутых обрядов нашего богослужения согласно установленному порядку»... Однако некоторые затаенные мысли проскальзывают, правда, в очень сдержанных выражениях, заканчивающих означенную инструкцию. Епископ обращается «ко всем гражданам, священникам и священнослужителям» с просьбой «сообщить Совету в кратчайший срок соображения, которые они почтут необходимым высказать, в особенности те, которые помогут еще более согласовать ради наибольшего блага верных законы христианской республики с законами республики Французской; законы, которые, в сущности, не могут находиться в противоречии, ибо они покоятся на одинаковых основаниях: истине и свободе, равенстве, единении и братстве».

Подобная фразеология, полухристианская, полуреволюционная, искренняя у некоторых деятелей 1789—1791 года таила уже к концу 1792 года некоторое недовольство и тревогу. Конституционное духовенство с беспокойством задавало себе вопрос: куда приведет его неуклонно развивающаяся логика нового права, созданного революцией? Резко отграничив гражданскую жизнь от жизни религиозной, не будет ли она вынуждена отделить в дальнейшем государство, орган гражданской жизни, от церкви—органа жизни религиозной. С точки зрения закона существовала только жизнь гражданская; только она была закономерна; религиозная жизнь, наоборот, была совершенно необязательна и целиком зависела от внутреннего сознания человека. Отсюда и самая церковь становилась, в конечном выводе, учреждением условным и необязательным, не более связанным с государством, чем те таинства, совершать которые она считала себя призванной.

Так постепенно нарождалось взаимное недоверие между деятелями революции и конституционным духовенством. Слова «Пэр-Дюшена»: «попы всегда останутся попами, и одни не лучше других», совпадали с тайными опасениями многих революционеров и порождали тревогу у многих священников.

Неожиданное предложение Камбона, вычеркнуть из бюджета расходы на культ, лишь усилило начинавшийся разлад. Руководствуясь финансовыми соображениями, он заявил Конвенту на заседании 13 ноября, что бюджет вероисповеданий должен быть уничтожен. Финансовый комитет положил это уничтожение в основу всей финансовой реформы. Камбон, с присущей ему страстностью, говорил:

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. Кулешова

«Ваш финансовый комитет, не теряющий ни одной минуты драгоценного времени и собирающийся ежедневно, обратил свое внимание на целый ряд расходов. Во вчерашнем вечернем заседании он постановил предложить вам: отменить, во-первых, налог на движимое имущество, во-вторых, налог на право торговли и, в-третьих, сократить на сорок миллионов размеры земельного налога. (Шумные рукоплескания.)

«Ваш Комитет,—продолжал Камбон не без явной иронии,—предвидел, что это сообщение будет принято с энтузиазмом; но ему необходимо быть расчетливым и, урезывая приход, следует сократить частично и расходы. Мы подсчитали общую сумму того, что потеряет государство после отмены этих, скажу прямо, по существу своему безнравственных налогов. Нужно обратиться поэтому к народу и напомнить ему о существовании огромного расхода, который обходится Республике в 100 миллионов. (Новые рукоплескания.) Обсуждая налоги на 1793 год, мы должны поставить перед вами вопрос: не должны ли сами верующие оплачивать расходы, связанные с их исповеданием. (Рукоплескания.) Расход этот, достигающий на 1793 г. внушительной цифры в 100 миллионов, нельзя обойти молчанием, ибо народная казна не в состоянии его оплатить. Финансовому Комитету пришлось бы потерять всякий стыд и совесть, чтобы испрашивать у вас кровные деньги народа на оплату функций, которые по существу своему не являются общественными. Комитет рассмотрел этот вопрос со всех точек зрения. Он поставил вопрос: что же такое Конвент? Это—избранники, получившие наказ отстаивать известные положения и заключать условия, которые общество в целом отстаивать и заключать не может. Избранники эти не должны утверждать казенных окладов, когда соответствующие этим окладам суммы могут сложиться из посильных взносов заинтересованных в деле лиц. И, придя к такому заключению, Комитет решил провести в жизнь принцип, согласно которому каждый трудящийся получает уплату за свой труд, но не от государства, а от тех, кто этим трудом пользуется. (Новые рукоплескания.) Если бы этот вопрос был предложен Конвенту изолированно, могли бы сказать: «Финансисты всегда верны себе: они стремятся лишь сократить и урезать». Но мы обращаемся к народу со словами: мы облегчаем твое податное бремя на 120 миллионов, и вы, хлебопашцы, вносящие 100 ливров налога на движимость, вы, трактирщики, платящие по 300—400 ливров за право торговли, если вы доверяете данному священнику, правдой служившему революции, вы не будете более связаны постановлением какого бы то ни было избирательного собрания, и, вместо того, чтобы заплатить ему тысячу двести или тысячу пятьсот ливров, вы заплатите 3 или 4 тысячи ливров. (Горячие рукоплескания).

«Итак, граждане, вместо 300 миллионов вам нужно будет собрать только 200 миллионов обложения. Не понадобится уже столько принудительных мер. Менее, чем в недельный срок, наш доклад будет закончен. Доклад этот, отвечающий общим запросам, с одинаковым нетерпением ожидается,—я утверждаю это,—как священниками, так и всеми гражданами Франции».

Камбон был смелым оптимистом. Часть Собрания апплодировала. Но даже в самом Конвенте чувствовались недоумение и беспокойство. Духовенство же и большинство революционно-настроенного населения деревень и городов забили сильную тревогу. С первого взгляда трудно разобраться в сложных причинах, обусловливавших враждебное отношение народа к упразднению бюджета вероисповеданий. Казалось бы, что рассуждение, пущенное в ход Камбоном, и использованная им неотразимая приманка должны были разрешить дело:

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Я, как государство, не оплачиваю больше ваших священников; но зато я снимаю с вас 120 миллионов годового обложения и из этой крупной суммы, передаваемой в ваше распоряжение, предоставляю вам самим оплачивать священников, вами избираемых, по той расценке, которую вы сами установите. Если указанная сумма не будет вами использована, она останется в вашем кармане в виде чистой прибыли».

Предложение должно было показаться заманчивым. Чем же об'яснить, что в ноябре 1792 года оно восстановило против себя именно ту часть населения, которая всего больше была обязана революции,—население деревень? Возможно, с одной стороны, что у крестьянина возникли сомнения: не сегодня—завтра, мог он себе сказать, изыщут способ заставить меня заплатить ту часть налога, от уплаты которой освобождают меня сейчас, оставив на моих плечах всю тяжесть церковных расходов. С другой стороны, не следует забывать, что всякий платеж вообще для него тягостен, и он не прочь отклонить слишком часто преподносимую ему горькую чашу. Кроме того, как ни жесток налог сам по себе, но у него есть несомненное преимущество; заплативши его в один или два приема, не приходится более изыскивать средств для дальнейших трат на те же нужды. Напротив, если необходимо, уплатив хотя бы и уменьшенный налог, еще платить священнику и платить в каждом отдельном случае, когда приходится прибегать к его содействию, то не останется, в сущности, ни одного не отравленного денежными заботами дня. Поэтому крестьянство добивалось в 1792 г. одного: чтобы духовенство, оплачиваемое государством из сумм налогового обложения, не могло требовать особого вознаграждения за крестины, браки и похороны. Это положение ярко отразилось в цитированных выше словах «Пэр-Дюшена». Прислушиваясь к нему, вынесла свое постановление и Революционная Коммуна, отменившая плату за требы духовным лицам.

Не думаю, однако, чтобы основным мотивом, побуждавшим к данному решению вопроса, был денежный расчет. Не им руководствовалось крестьянское или, лучше сказать, народное сознание. Другая, более глубокая, правда, быть может, не вполне осознанная народными массами причина, влияла на их настроение и взгляды. В народном представлении само существование священника было неразрывно связано с оплатой его труда государством. Христианство воспринято было народом не в результате неудержимого влечения духа, не вследствие индивидуального, сознательно сделанного выбора, а по традиции. Христианская религия для него—нечто древнее и безличное, авторитет, признаваемый, лишь поскольку он приходит к ним свыше, извне. Крестьянин, вера которого сводится к пассивному чувству преклонения, находит для себя психологическую опору в том факте, что государство, олицетворяющее для него второе безличное начало власти, оплачивает священника, что богослужение, таким образом, входит в состав узаконенных общественных установлений. Но, если он поставлен в необходимость оплачивать священника по мелочам, если он покупает требу за требой, самое богослужение ему начинает казаться в причудливом изломе вещей: будто он сам дает жизнь тому неведомому богу, которого он считал ранее творцом собственной жизни. Он утверждается в мысли, что, давая личные средства на поддержание религии, он становится ее хозяином; она теряет в его глазах престиж внешней власти и ту таинственную силу, без которых для него исчезает и сама религия. А так как религия для него не есть результат свободного выбора, а только привычка к подчинению, то всякое проявление свободной инициативы в области веры является для него, по самому существу своему, антирелигиозным актом.

Мне думается, что многие верующие терзались необходимостью выбирать священника согласно правилам гражданского устройства духовенства. Ибо как

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

же сможет священник стать для мирянина носителем высших начал, если сам мирянин облекает его священнической властью? Таким образом, не грубые денежные расчеты, выдвинутые Камбоном, не идиллически-наивный призыв к нравам примитивной церкви могли осуществить сдвиг в пользу отделения церкви от государства в сознании тех, кто ранее этому противился. Этот сдвиг должен был явиться результатом смелого идеалистического порыва, пробуждения жгучего чувства стыда от той рабской зависимости, в которой находилось мышление крестьянина.

Вы считаете себя верующими? Между тем вы еще не освободились от рабства. Если бы вы, действительно, были верующими и глубоко убеждены в том, что человечеству в его духовной нищете необходимо посредничество бога для того, чтобы подняться после грехопадения; если бы вы были уверены в том, что ваш бог принял образ человека, снизошел до земной жизни, и что он продолжает свое бытие на земле через церковь во имя духовного освобождения грешного мира,—вам было бы безразлично, кто именно оплачивает священника, восходящего ради вас на амвон. Мало того, вы были бы счастливы всякой возможностью личного участия в делах веры. Но религия для вас не более, как рутина, установленная авторитетом и наложенная извне. Чтобы верить, вы должны видеть в ней древнюю власть, существовавшую задолго до вас, построенную по образцу общественных учреждений, на силе, так долго подавлявшей вашу волю. Вы так мало внесли своего в вашу веру, что боитесь утерять ее совершенно, вложив в нее часть собственного «я».

С того момента, как она перестает быть готовым механизмом, действующим благодаря пружинам, до которых вы даже не дотрагиваетесь, она уже ничто. Она существует лишь постольку, поскольку обращает вас в автоматов. И так как в основе вашей веры не было свободы, то призыв к свободе равносилен для вас призыву к небытию.

Вместе с тем необходимо было заставить народ понять, что если церковь в бюджетном отношении остается государственным учреждением, то нет основания для того, чтобы не превратить ее целиком в государственное установление. Тот, кто говорит: государственная церковь, говорит тем самым: государственная религия. Однако все, что налагает какое-либо ограничение на человеческую свободу, должно быть тщательно устранено.

На народную совесть следовало воздействовать этими аргументами высшего порядка, а не простым учетом прибылей и убытков. Призыв Камбона к кабатчикам, которые, по его словам, сами могли бы оплачивать своего священника благодаря понижению платы за патенты, был не только груб, но именно вследствие своей грубости и бесплоден. Конвент одно время мог опасаться, что предложение Камбона, выдвинутое им от лица Финансового Комитета, доведет до восстания часть присягнувшего конституции духовенства. Предложение вскоре было признано всеми неудачным и об'единило против себя все революционные партии. Когда же Конвенту пришлось убедиться, что священники приняли участие в народном движении, охватившем население Эр-э-Луар и Эр, когда крестьянство, волновавшееся по поводу возрастающей дороговизны продуктов, стало протестовать против намечавшегося уничтожения бюджета вероисповедания, на проект Камбона посыпались со всех сторон жесточайшие нападки. Бриссо в своей газете «Французский Патриот» (от 14 ноября) ограничивается лишь простым упоминанием о проекте увлекающегося финансиста, крайне сжато и неопределенно выражая ему свое сочувствие:

«Камбон открывает нам более утешительные возможности; вместо того чтобы увеличивать обложение, Комитет предлагает нам совершенно уничтожить некоторые из налогов. Он пытается установить равновесие путем сокращения

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

расходов; в частности, один из них выходит за пределы обыденного, противен принципам философии и морали; по отношению к нему Камбон призывает Собрание высказаться с возможной суровостью: речь идет о тех 100 миллионах, которые идут на покрытие расходов, связанных с католическим культом».

И ни слова более. Как будто бы самая тема стесняла его и побуждала избегать дальнейших толкований. Даже в отчете о заседании 30 ноября, на котором выступал Дантон, Бриссо только упоминает об его речи, не отмечая, что вся его аргументация была направлена против предложения Камбона. С каким удовольствием, однако, Бриссо стал бы критиковать Дантона, высмеивать его умеренность, его уклон в сторону «фельянов», если бы он сам не считал опасным и для данного момента неосуществимым упразднение бюджета вероисповеданий. В газете Карра—та же сдержанность. В номере от 14 ноября «Политических Анналов» помещен только краткий отчет о речи Камбона, никаких комментариев. В отчете же о заседании 30 ноября нет даже ни одного слова о выступлении Дантона. Как будто бы Жиронда, во всех оттенках своей партийной мысли, начиная от Бриссо и кончая эклектиком Карра, упорно замалчивает этот злосчастный вопрос и, колеблясь между интересами философского порядка и политической необходимостью, выжидает событий.

У якобинцев в заседании 16 ноября, под председательством Жан-Бон-Сэн-Андрэ, и 17 ноября, под председательством ле-Паллетье, велись горячие дебаты по злободневному вопросу. «Разнузданный капуцин» Шабо и Манюэль оказались единственными сторонниками предложения Камбона. Но способ защиты, избранной Шабо, окончательно восстановил якобинцев против проекта. Шабо не ограничился тем, что выдвинул в качестве решающего момента принцип свободы, которая обусловливает необходимость светского уклада современного государства. Он дал понять также, что этим ускорится и падение самой религии; аргумент оказался плохо выбранным, так как якобинцы опасались именно того, как бы народ не поднялся, послушный призывам фанатиков и охваченный страхом перед возможностью грядущего безверия.

«Религия, издержки которой лежатся на всех граждан страны без исключения, есть посягательство на свободу народа, ибо один из параграфов «Декларации Прав Человека» гласит: «Никто не может быть преследуем за свои убеждения, будь то даже убеждения религиозного характера». Принудительная оплата религиозных расходов явно противоречит смыслу этого параграфа. Необходимость участвовать в церковном обложении равносильна нарушению свободы религиозных убеждений. Французской нации пора подняться на должную высоту. Научим народ обходиться без священников, и он скоро сумеет обойтись без них. Обратите также внимание на то, насколько тяжел для нации налог, шедший на покрытие католического культа. Неужели нельзя иметь более экономного миросозерцания?»

На следующий день он снова обратился к дебатируемому вопросу и с без силы разбивает сделанные ему выражения. Тем, кто утверждал, как еще доселе полагает церковь, что бюджет вероисповеданий представляет собою замену доходов от национализированных церковных земель, он отвечает:

«Церковные имущества принадлежат не бывшему духовенству, но всей французской нации. Священники, являвшиеся обладателями огромных имений, должны были выплачивать нации известный налог. Они умели от этого уклоняться и в течении многих веков. Таким образом духовенство осталось у нации в огромном долгу. Общая сумма этого долга значительно превышает стоимость конфискованных нацией имуществ. Нация поэтому в праве была завладеть означенными имуществами, не давая за них никакого возмещения». Манюэль, со своей стороны, пытался доказать, что общественное мнение революционно в

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

строенных слоев населения подготовлено к самым решительным мерам, которых оно пока еще ждет, но скоро будет уже требовать, и прочел якобинцам адрес «Друзей свободы и равенства Коммуны Сутеррэн» (департамента Крезы), обращенный к конвенту и составленный в самых энергичных выражениях. Авторы адреса не ограничиваются требованием уничтожения бюджета вероисповеданий; идя дальше, они ясно склоняются в сторону законодательной отмены и самой религии. Поборники отделения церкви от государства в этот период революции были, повидимому, прежде всего убежденными противниками церкви и сторонниками полного уничтожения религии в законодательном порядке. Таким образом, отделение церкви от государства в современном смысле, т.-е. в смысле уничтожения всякой связи между церковью и государством и полной свободы вероисповедания, отвергалось в эпоху революции, за немногими исключениями, почти всеми.

Большинство деятелей революции, руководствуясь соображениями политического характера и учитывая значение вековых навыков народа, находило необходимым сохранить бюджет вероисповеданий и гражданское устройство духовенства. А те из революционеров, которые стремились отменить и гражданское устройство, и бюджет вероисповеданий, хотели, в сущности, бороться с самим культом.

«Мы аккуратно выплачиваем налоги,—заявляют авторы Крезской петиции,— но делаем это с целью обеспечить наше существование. Но до каких же пор нам придется еще кормить жреческую клику, нетерпимость и испорченность которой засвидетельствованы каждой страницей истории? Духовенство принижено, но еще не раздавлено. Трепещите, как бы, поднявшись, оно не начало действовать с прежним ожесточением. Священник—всегда священник; однако это недопустимо; он должен быть гражданином и ничем более.

«Поспешите же вырвать из законов возрожденной Франции гражданскую конституцию, увековечивающую дух фанатизма и нетерпимости,—конституцию, дающую священникам право думать, что они люди иной, высшей породы нежели все остальные французы. Духовенству дается юрисдикция, ему отводятся округа, в его ведение предоставляются приходы: как же ему не стать нетерпимым? У нас своя совесть, свой разум, своя религия; мы не хотим руководствоваться ни совестью, ни разумом, ни религией духовенства.

«Возможно ли, вообще говоря, терпеть религию, которая по самому существу своему нетерпима? Мы убеждены, что та Конституция, которую вы предложите французам, даст на этот вопрос отрицательный ответ. Но пока пусть все, жаждущие таинства веры, сами оплачивают католических священников. Дайте им это разрешение; оно никому не грозит серьезной опасностью. Но соблюдайте условие: пусть платят одни только верующие: справедливо, чтобы каждый оплачивал свои собственные удовольствия. Таковых, к счастью, окажется немного. Когда же священник, подобно торговцу, будет получать плату непосредственно от самого потребителя, вряд ли найдется много дураков, которые захотят пользоваться этим видом товара. Не явная ли бессмыслица, в самом деле, чтобы просвещенные и свободные граждане Франции платили людям, моральный кодекс которых разрушителен для духа общественности? Ибо великие добродетели католицизма сводятся к посту, власянице, слепому повиновению и дисциплине».

Вопрос о взаимоотношении католицизма и революции был, таким образом, поставлен ребром. Но сводить проблему религии к простому денежному расчету, значит странным образом умалять и суживать ее значение. Корни веры

Электронный архив библиотеки им. Я. Коласа

заложены глубже; они еще крепки. Сокровища церкви создались из пожертвований верующих,—правда, чтобы добиться их, прибегали иногда к преступным способам. Общество вообще сможет искоренить христианскую традицию лишь медленно и постепенно, заменяя ее в сознании масс иными, более жизненными и широкими идеалами. Заставлять верующих оплачивать самостоятельно церковные расходы—плохой способ для того, чтобы совершенно искоренить религию. Сутеррэнские «Друзья Свободы» смутно сознавали это, но выдвигавшийся ими религиозный идеал представлял довольно своеобразную смесь деизма Жан-Жака-Руссо с какими-то пережитками древности.

«Священник создает жалкое и ничтожное представление о Вечном; по его учению, небо ведет мелочное выполнение обрядов; социальные добродетели им отрицаются; он унижает душу, развращает ум и оскверняет человека. Мы, а вместе с нами в ближайшем будущем, вероятно, и все граждане Франции, представляем себе Предвечного не в виде восточного деспота; мы мыслим его иначе и полагаем, что он скорее окружен Миносом, Аристидом и Ликургом, чем св. Крепином, св. Франциском или св. Антонием. Добросовестный хлебопашец, хороший солдат и благонамеренный гражданин—таковы святые, память которых мы будем чтить».

Нужна была значительная доза доброй воли, чтобы поверить вместе с Манюэлем, что этот, в своем роде единственный документ выражал общественное мнение французского народа. Базир в таких выражениях нападает в клубе Якобинцев на оратора, поддерживающего проект Камбона:

«Я буду возражать предшествующему оратору. Если бы я не знал чистоты его намерений, я принял бы его за аристократа. Сам я далеко не правоверный католик, но полагаю, что означенный проект станет источником новых смут. Рассмотрим прежде всего вопрос с политической точки зрения. Обратите ваше мнимание на многочисленную толпу монахов и монахинь: на что они будут жить? Мирабо сказал как-то, что он знает три способа добывать себе средства к существованию: быть собственником, получать заработок или воровать. Но, скажут нам, ведь они в состоянии работать. Какую же работу могут они делать? У них нет образования, которое обеспечило бы им возможность прокормить себя. Комитету не мешает сделать хотя бы один правильный с политической точки зрения вывод. У кого хватит смелости приветствовать декрет, создающий триста тысяч разбойников в течение одного дня? Примите во внимание, с другой стороны, что народ еще привязан к религии. Провести проект финансового комитета в жизнь значит вызвать новые вспышки фанатизма. И как сумеете вы внушить какой-нибудь древней старухе, что религию не отменили, отменивши государственную оплату связанных с нею расходов? Бедственное состояние, в котором будут находиться священники, подскажет им, как легче всего использовать народное невежество; они создадут легенду о том, что граждане одержимы бесом, и легенде этой поверят. Кто возьмется учесть количество крови, которое будет пролито при проведении в жизнь этого декрета? Еще раз повторяю: проект декрета плох и останется плохим до тех пор, пока не перемрут все старухи».

Александр Куртуа восклицает:

«Проект Камбона, с моей точки зрения, приведет лишь к смятению в умах и беспорядкам в департаментах и заставит нацию совершить несправедливость по отношению к провозвестникам добра, мученикам закона, к жертвам аристократов. Верьте, термометр общественного мнения в департаментах стоит на ином уровне, чем в Париже; религиозные убеждения там священны, и с нашей стороны будет неосторожностью, быть может, даже и несправедливостью, нарушать их. Есть предрассудки, на

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

которые нельзя нападать наскоком; с ними следует бороться оружием просвещения; но просвещение должно уподобиться мягкому свету, безвредному для слабых глаз».

Ле-Руа (из Алансона) в резких и оскорбительных выражениях отзывается о священниках, но и он также возражает против проекта Финансового Комитета.

«Не всегда безопасно пытаться применять, не считаясь с обстоятельствами, смелые выкладки философии. Вполне согласен в принципе, что каждая секта должна самостоятельно оплачивать своих священнослужителей; но народ еще слишком темен, чтобы принять эту меру. Вам не безызвестно то влияние, которым пользуются священники по деревням, а отчасти и в городах. Если вы откажете священникам в жаловании, которое нация торжественно обещала платить им, вы увидите, как дикие толпы церковников ринутся против нарождающейся Республики и, быть может, задушат ее в самой колыбели. Вы увидите, как они всюду будут разжигать гражданскую войну и отнимут у Конвента то доверие, которым он был облечен. Не думайте, чтобы было так же легко осилить этих Катилин с тонзурой на голове, как священников, не принесших присяги конституции. Священники, примкнувшие к так называемому конституционному духовенству, многочисленны и сильны; они смогут, без затруднений, расколоть французский народ и погубить свободу. Отчего не избрать по отношению к священникам того способа действий, который применяется к диким зверям, грозящим растерзать нас; чтобы умерить их бешенство, им кидают кусок хлеба. Итак, чтобы священники не бросились на нас, отвлечем их жадность, дадим им хлеба. Тогда они успокоятся. Благополучие—вот бог, которому они поклоняются. Они станут патриотами; священник, у которого есть кусок в запасе, делается менее опасным. И в какое время предлагается подобное противное здравой политике мероприятие? В то самое время, когда нация должна приступить к суду над великими преступниками».

Гарнье указывает, что в обществе, в котором в течение многих веков переплелось столько предрассудков и традиций, нельзя производить слишком резких преобразований.

«Нужно уметь отличать общества, перестраивающиеся как бы из собственных обломков, от нового общества, в котором страсти и общественные предрассудки еще не искривили счастливого уклона, данного ему природой. Будь Французская республика рождающимся обществом, я был бы за то, чтобы предоставить каждому право оплачивать священников своего исповедания; но французская нация, отбросившая уже много предрассудков, не отказалась еще от одного из них, и притом очень серьезного. У фанатизма еще много жертв; и священники еще господствуют над мыслью значительной части населения Республики».

Базир, раздраженный возражениями Шабо, возобновляет свои нападки и проговаривается о тех тайных надеждах, которые некоторые из революционеров возлагали еще на конституционное духовенство:

«Я утверждаю, что проект Камбона грешит против философии. Не следует давать звание философа всем тем злосчастным педантам, которых народ слишком почитал до сих пор. Ибо истинная философия заключается не только в выработке собственного мировоззрения, но и в умении учитывать общественное мнение. Для того, чтобы принять какое-либо суждение, мало того, чтобы оно было доброкачественным, нужно еще, чтобы оно было и общераспространенным. Знайте, что у суеверного еще народа закон, направленный против суеверий, является государственным преступлением...

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«В чем заключается власть духовенства? Какую силу оно имеет надо мной или над вами? Его задача состоит лишь в утешении старых женщин. Неужто вам доставляет удовольствие дразнить безумцев? Какая же в таком случае здесь философия? Ваш декрет замедляет ее успехи. Священники, успокоенные тем, что их существование обеспечено, видя приближение царства разума, могли с честью проповедывать святые начала нравственности и быть провозвестниками истины.

«Если фанатики дойдут до крайностей, нужно ли будет их истреблять? Приемлемы ли для философии, толкующей нам о терпимости, пути инквизиции? Устраним суеверия; они вымрут вместе с древними стариками, не сумевшими от них отрешиться. Во имя спокойствия я предпочту заплатить священнику, раз дед мой не может без него обойтись».

Якобинцы устроили Базиру овацию настолько бурную, что сам Шабо (доктор Робинэ забыл отметить этот факт) должен был сдать свою позицию.

«Я не возражаю против того, чтобы духовным лицам, давшим предписываемую законом присягу, была назначена пенсия; но отбросим слово «жалованье»: оно наводить на мысль о существовании господствующей религии—религии конституционной. Пенсия должна быть преимуществом духовных лиц, доказавших свои заслуги перед родиной, особенно тех, которые защищали революцию 10 августа и разделяют основные начала республиканского строительства». Это было уже условным признанием бюджета вероисповеданий.

Причины, побудившие якобинцев почти единогласно отвергнуть предложение Финансового Комитета, могут быть резюмированы следующим образом:

Во-первых, население Франции в подавляющем большинстве—католическое. Монархический предрассудок был, наконец, уже изжит; предрассудок религиозный остается еще жизненным. В сознании народных масс представление о религии неразрывно связывалось с оплатой культа государством. Само собою разумеется, что убеждение это ошибочно, и что сущность религии ни в чем не была бы затронута, если бы она была тем, чем она должна быть: частным делом каждого. Но законодателю необходимо считаться с общераспространенными заблуждениями и господствующими предрассудками. Если у человека складывается убеждение, что совесть его оскорблена, это почти равносильно действительно перенесенному оскорблению, и на этот путь можно встать лишь в случае крайней необходимости.

Во-вторых, было бы бесчеловечно и опасно отказать бывшим монахам и монахиням, изгнанным революцией из монастырей, в пенсии, иначе говоря, в единственной возможности к существованию. Заставить их голодать было бы варварством; довести их до отчаяния означало бы плохой политический расчет. Мало того, по отношению к конституционному духовенству это было бы и явной неблагодарностью. Ему пришлось в свое время присягнуть конституции и сызнова получить из рук народа право на отправление своих обязанностей. Ради этого оно терпело оскорбления отказавшихся присягнуть конституции священников, грубости, угрозы и даже насилия со стороны фанатически настроенной части населения. Оно скомпрометировало себя революцией. И если бы революция оставила его после этого без хлеба, она нарушила бы самую элементарную справедливость. Откажись она выполнить торжественно принятое ею в момент секуляризации церковных имуществ обязательство обеспечить отправление культа,—можно будет усумниться в искренности ее заявлений и в надежности других заключаемых ею обязательств. Кроме того, во многих местностях патриоты и революционеры шли заодно со священниками-конституционалистами. Они их избрали; они устроили их на местах; они их защищали; они принудили даже своих жен и детей присутствовать на конституционной обедне, изменив обедне.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

которую служили бунтари и которую посещала знать, забывшая о своем вчерашнем вольтерьянстве.

Таким образом, изменив священникам-конституционалистам, ставшие в свое время на их защиту патриоты сыграли бы жалкую и смешную роль. И в то время, как не присягнувшие священники стали бы фанатически настраивать против революции одну часть населения, конституционное духовенство, озлобленное нищетой, заброшенное, отвергнутое революцией, начало бы возбуждать патриотов против Национального Конвента — единственного стража свободы и отчизны.

Наконец, третьей побудительной причиной была надежда на то, что конституционное духовенство, вышедшее из народного избрания и принявшее демократическую конституцию, опустит из догматического учения церкви все порабощающее душу и, отрекшись в значительной мере от устрашающих разум и уничтожающих человеческое достоинство тайн, сведет свою задачу к преподаванию чисто нравственных и гражданских начал и таким образом облегчит давно желанный безболезненный и незаметный переход от древнего католического суеверия к лишь слегка окрашенной в евангельский оттенок философии. Между тем, внося смуту в мирные перспективы будущего, несколько неумных «экономистов из ближайшей лавочки» готовы были разжечь в стране междуусобную религиозную войну в тот роковой час, когда нация готовилась к суду над королем и нуждалась во всех своих силах для совершения того акта возмездия, которому суждено было удивить и, может быть, поднять всю вселенную.

Таковы были причины, побудившие якобинцев в конце 1792 г. отстаивать бюджет вероисповеданий; с исторической точки зрения их мотивы следует признать вескими и значительными для своего времени. Они исходили не из классовых интересов. Революционная буржуазия не мечтала еще, как это должно было случиться впоследствие со многими из ее потомков, об искусственном поддержании государственной властью авторитета религии, необходимой ей для проповеди смирения пролетариату. Великие представители революционной буржуазии 1792 года, видимо, сами тяжело переживали засилие предрассудков и слепую приверженность страны к религиозной традиции. Они хотели бы освободить ее из-под власти предрассудков и веры и возвысить ее до разумного понимания жизни и философии. И, идя на уступки, они готовы были бережно отнестись к религии и сохранить культу место в государственном механизме, лишь бы не повредить делу революции, которой грозил народный фанатизм. Дантон в краткой и сильной речи, обращенной 30 ноября к Конвенту, громко предупреждает о грозящей опасности.

«Не верьте мысли, которую развивали перед этим Собранием. Народ обманут. Ваша обязанность осветить ему положение дел. Проект Камбона, старательно толкуемый предателями, фанатиками и злостно настроенными невеждами, всплыл на поверхность. Раздаются утверждения, что священники не должны оплачиваться из государственной казны. Для доказательства ссылаются на философские идеи, которые мне дороги, ибо я не знаю другого божества, кроме бога вселенной, и иной веры, кроме веры в справедливость и свободу. Но человек, претерпевающий превратности судьбы, ищет случайных утешений; при виде богача, удовлетворяющего все свои, даже самые маленькие прихоти, потворствующего всем своим желаниям, тогда как сам он должен ограничивать свои насущные потребности до пределов необходимого, бедняк решает, что в другой жизни его ждет столько радостей, сколько лишений выпало на его долю в этой. Говорить с народом о морали и философии окажется возможным лишь тогда, когда специально назначенные для этой цели преподаватели морали внесут некоторый свет в хижины бедняков. Но, пока народ находится в состоянии варварства, было бы престу-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

плением против нации отнять у него тех, кто приносит ему некоторое утешение. Для меня лично, как я уже сказал, существует только бог вселенной, справедливость и свобода. Но земледелец нуждается, кроме того, в утешителе, в котором он видит святого, потому что в юности, в зрелые годы и под старость он доставил ему несколько мгновений счастья, потому что душа его требует нежности и тяготеет ко всему, что исполнено величия. Да оставьте его при его заблуждениях, но просвещайте его. Скажите ему вполне определенно, что намерение Конвента—не разрушать, но усовершенствовать; что, преследуя фанатизм, он добивается лишь свободы религиозных убеждений».

Деизм Дантона не походил на деизм Робеспьера. В нем было больше натурализма, если так можно выразиться, и призываемый Дантоном «бог вселенной», очевидно, сродни богу Дидро. Между тем как Робеспьер убежден в бессмертии души, как в непреложной истине, во все времена нужной людям, Дантон принимает ее только в качестве преходящего утешения, временной иллюзии бедняков, которых освободит от этого порожденного нищетой предрассудка лучший социальный строй. Итак, не под влиянием смутных вдохновений близкого к христианству деизма, не из преклонения перед деизмом Ж.-Ж. Руссо, сложно переплетающимся с христанскими традициями, отстаивает Дантон религиозные верования народа. Он хочет, чтобы нация, отовсюду угрожаемая, избегла крупного внутреннего потрясения, связанного с вопросами совести и жесточайшей из гражданских войн. Восставая против открытой борьбы с суевериями и всякого посягательства на гражданскую конституцию духовенства, построенную на сложном компромиссе между древней верой и юной свободой, Дантон руководствуется исключительно интересами политическими и национальными, без каких бы то ни было задних мыслей догматического характера.

Кондорсе, наиболее независимый из умов своей эпохи, подлинный представитель энциклопедистов, философ, страстно стремившийся ввести все человечество в целом в светлое царство разума, подобно Дантону, также высказывается против уничтожения бюджета вероисповеданий.

«Армия, созданная Учредительным Собранием для борьбы с прежним духовенством (так метко называет Кондерсе новое духовенство, присягнувшее конституции), оплачивается по несколько высокой расценке, но было бы несправедливым распустить ее, не назначив пенсии генералам и солдатам. Отбросим всякие соображения религиозного характера; предположим, что каждая деревня, согласно установившемуся обычаю, оплачивала содержание брата милосердия, ухаживавшего за больными; предположим далее, что однажды пришли к мысли не привлекать к взносам тех, кто не доверяет хирургам, принадлежащим к данной корпорации. Будет ли справедливо заявить больным, пользовавшимся их помощью: медицинской персонал больше не оплачивается; вам придется самим оплачивать своих врачей. Не ответят ли нам на это больные: дайте нам, по крайней мере, необходимое время для принятия соответствующих мер, чтобы обеспечить себя медицинской помощью. Наша ли вина, что мы не привыкли выбирать и оплачивать врачей самостоятельно». («Chronique de Paris» от 2 декабря 1792 г. за личной подписью самого Кондорсе.)

Итак, самые крупные и независимые умы Конвента единогласно высказались против предложения Камбона. Усилия Робинэ возложить на Робеспьера всю ответственность за эту политику, признаюсь, кажутся мне несколько детскими.

Правда, Робеспьер со своей энергией и своеобразным благородством высказывается по этому вопросу в большой статье, появившейся в конце декабря.

Но к этому времени как партии, так и отдельные деятели революции уже определенно выявили свое отрицательное отношение к проекту Камбона. Робеспьер, повидимому, лишь в большей мере, чем другие, верил, что христианство

в толковании революции сумеет мало-по-малу отбросить наиболее необоснованные и тиранические из своих догматов, слиться с естественной религией; он набрасывает широкими штрихами общие очертания религиозно-нравственной системы, весьма отличающейся от системы Дантона.

«Не является ли доказательством успехов человеческого разума то смущение, которое я испытываю, затрогивая данный вопрос, и то сознание необходимости разобраться в религиозных проблемах, которое толкает меня открыто заявить свое credo; в иное время и в ином месте это не прошло бы безнаказанным. Мой бог, это—бог, сотворивший людей для равенства и счастья, покровительствующий свободе и уничтожающий тиранов; мой культ, это культ справедливости и человечности. Как и другие, я не признаю власти священников: это только лишняя цепь, сковывающая людей, цепь невидимая, связывающая души, и один лишь разум может ее разорвать. Дело законодателя—помочь освободительной работе разума; но взять ее на себя целиком он не может. Ему никогда не следует отставать от выдвигаемых жизнью запросов, но в еще меньшей степени он должен опережать их. В отношении религиозных предрассудков наша страна, с моей точки зрения, находится в благоприятном положении; общественное мнение весьма прогрессивно. Царство суеверия почти разрушено; священник уже в меньшей степени является теперь об'ектом поклонения, чем самая идея религии и предмет веры.

«Свет философии, проникая в самые отдаленные от нее области, разогнал жуткие и нелепые призраки, созданные честолюбием священников и политикой королей и ставшие под их давлением предметом слепого обожания. Теперь в сознании остаются только те достойные почитания догматы, которые служат опорой нравственности и тому высокому и трогательному учению о равенстве, которое сын Марии преподал некогда своим согражданам. Близится, несомненно, время, когда евангелие разума и свободы станет евангелием всего мира.

«Законодатели, вы можете ускорить наступление этой эры законами общего порядка, свободной конституцией, просвещающей умы, возрождающей нравы и поднимающей души до естественной простоты, но отнюдь не случайным декретом или финансовой спекуляцией. Если народ освободился от большей части давивших его предрассудков и суеверий, то он отнюдь не склонен рассматривать религию, как установление, безразличное для него или подчиненное политическим целям. Догмат божественности начертан в душах, и народ связывает его с той религией, которую он до сих пор исповедывал; с ней же он в значительной степени связывает и свои нравственные идеи. Открытое нападение на религию народа равносильно таким образом покушению на его нравственность. Философская группа может обосновывать свою мораль на иных началах, но люди, чуждые глубоких и сложных проникновений, привыкли отожествлять нравственные мотивы с религиозными принципами и не могут без содрогания видеть, как государство приносит религию в в жертву иным, чуждым интересам. Если бы народ стал поступать иначе, он нанес бы великий вред своей нравственности; ибо всякий, кто ради соблазна отказывается даже от заблуждения, признаваемого им за истину, тем самым уже порочен.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Твердо помните, что ваша революция покоится на идее справедливости, и что все, что может так или иначе подорвать нравственное чувство народа, препятствует ее развитию...

«Повремените до того часа, когда священные основы общественной нравственности смогут быть заменены законами, нравами и политическими идеями Если бы Декларация Прав Человека была уничтожена тиранами, мы снова нашли бы ее в законе божьем, который навязывался нам для почитания церковным деспотизмом; и если нужно, чтобы за счет всего общества граждане собирались в общих храмах и преклонялись перед великой идеей Высшего Существа, то вспомним, что по крайней мере здесь, перед ее лицом, сильный и слабый, богатый и бедный действительно равны между собой и сливаются в одно целое.

«Что бы ни говорили, проект Комитета вместо того, чтобы облегчить народ, налагает на него всю тяжесть издержек культа. Присмотритесь внимательнее к тому, какая часть общества освободилась от влияния религиозных идей. Богатые классы; и это об'ясняется тем, что одни из их представителей более образованы, другие же только более испорчены. Кто убежден в необходимости религии? Наиболее слабые, наименее обеспеченные, потому ли, что они не умеют рассуждать и мало просвещены, или же вследствие других причин, обусловивших в свое время быстрое распространение христианства: именно благодаря тому, что провозглашенная сыном Марии мораль посылает проклятье тиранам и безжалостным богачам и несет утешение нищим и отчаявшимся.

«Итак, именно на бедных граждан ляжет вся тяжесть церковных расходов, или же они попадут в зависимость от богатых и от священников.

«Им придется просить религиозного подаяния так же, как они просят хлеба и работы; или, не имея возможости оплачивать труд священника, они вынуждены будут отказаться от его услуг; и это худшая из возможностей, так как именно тогда они и почувствуют всю тяжесть нужды, отнимающей у них все блага жизни, вплоть до надежды. И тогда они возненавидят людей, которые заставили их покупать право выполнять то, что они считают священной обязанностью. Вы говорите о свободе совести, между тем предлагаемая вами система уничтожает ее; так как не все ли равно: лишить народ возможности использовать свою религию или просто запретить ее особым законом? Никакая власть не имеет права уничтожать установленный культ, пока сам народ не перерастет его.

«Пусть его религиозные убеждения будут только предрассудками; их приходится расценивать как воззрения народа».

Концепция Робеспьера весьма отчетлива и во многих отношениях отличается истинным величием, но в то же время она опасна и при некоторых обстоятельствах могла бы стать даже роковой.

Заслуга его в том, что он сумел с нежной бережливостью подойти к народной душе и убогому сознанию бедняка. Прочие революционеры, в частности, якобинские ораторы, цитированные мною выше, только как бы снисходят к народным предрассудкам; заявляя о своем нежелании как-либо насиловать народное сознание, о своей готовности быть терпеливыми, они тут же давят и оскорбляют его. Для Робеспьера невозможно высокомерное отношение даже к народным заблуждениям; он приспособляется к ним и готов спуститься до их уровня.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Как ученик Ж.-Ж.-Руссо, он верит в личного бога, сознательно управляющего миром, и в бессмертие человеческой души и пытается найти под христианской оболочкой народных верований эти два основные догмата естественной религии. Он убеждает себя, что народ в конечном счете мыслит одинаково с Руссо, система которого стоит философии энциклопедистов. Кто знает, не имел ли народ с высоты этих идей, бывших для Робеспьера непреложными истинами, наиболее возвышенной точкой зрения на мир и на жизнь, право смотреть с некоторым презрением на тех, кто с снисходительным высокомерием терпел убожество его духа? Между деистом, последователем Ж.-Ж. Руссо, и христианами могло существовать некоторое взаимное непонимание, в частности, по вопросу о личности Христа. Был ли он человеком, сыном и братом людей? Или он бог, который, несмотря на принятый им человеческий образ, имеет высшую власть над людьми?

В зависимости от того или иного решения этого вопроса выводы будут расходиться до бесконечности. Робеспьер, как бы избегая возможности разрыва между философом-деистом и неразвитыми массами христиан, видимо, уклоняется от выбора и обходит вопрос. Уже Руссо в своем «Савойском викарии» уклонился от прямого ответа на него, и хотя он восклицает: «Если Сократ жил и умер, как мудрец, то Иисус жил и умер, как бог», но он явным образом не вкладывает в слово «бог» того традиционного значения, которое дает ему церковь. Эта заранее принятая божественность Иисуса не основывается ни на чуде, ни на явлениях сверх'естественного порядка. Для бедного викария с горящей и смущенной душой это лишь несравнимая степень святости, не имеющая равной себе в человечестве.

«Святость Евангелия трогает мое сердце», таково все обоснование догмата и весь смысл божественности Христа для священника, устами которого говорит Руссо. Как в алтаре, в момент освящения хлеба и вина, он временно забывает мучащий его вопрос о таинстве пресуществления и склоняется, к а к е с л и б ы б о г б ы л т у т; точно так же, обращаясь к личности Христа, он, в порыве нравственного устремления, сливает божественность со святостью. Он поклоняется сердцем, не дожидаясь разрешения сомнений разумом.

Робеспьер остерегается такого увлечения. Он определенно заявляет, что для него не существует иного бога, кроме бога свободного человечества. Но, говоря о «сыне Марии», он полон особого почтения, и это позволяет ложно истолковать его мысль; он не хочет резко срывать того покрова божественности, под которым народ, сам того не сознавая, скрывает свои самые заветные надежды и поклоняется лучшим качествам собственного сердца. Он убежден в том, что народ в ближайшем будущем очнется и, разобравшись в своих ошибках, освободится от еще оставшихся в его религии суеверий и заблуждений, без всякого ущерба для понятия справедливости и надежды на бессмертие, составляющих сущность его веры.

Настанет день, когда бедный савойский викарий, ставший конституционным священником, обратится к свободному христианскому народу, собравшемуся в сельской церкви, и с высоты алтаря в момент освящения вина и хлеба скажет:

«Друзья, я о сих пор чтил невинность вашей веры, более ценной, чем все мудрствования филоосфов. Но теперь я убежден, что свобода и разум натсолько очистили вашу мысль, что вы сможете освободить основные истины от облекающих их символов. Неправда, что божество материально присутствует здесь под видом хлеба и вина. Моральное пребывание в ваших душах того, кто дал людям несравненный пример кротости и самопожертвования, бесконечно действительнее и существеннее его материального присутствия в веществе таинства. Сим-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

вол может быть отброшен: чувственный образ уже не нужен для уверенного в себе духа.

«Неверно также и то, что бог мог воплотиться и вочеловечиться материально на земле: он скрывался некогда под материальной оболочкой человеческой личности не в большей степени, чем в настоящее время таится в веществе этого хлеба и вина. Но святость, дарованная Предвечным человечеству, с такою яркостью сияла в образе и жизни Христа, что он стал для нас как бы самим воплощением божества, неизменно присутствующего среди людей. Здесь символ опять-таки излишен. Пребывание вечного бога среди людей уже не нуждается для своего истолкования в этих трогательных, но несовершенных обрядах. Лучшим проявлением божества является сознание свободного и праведного народа. Свет Христов был только зарей, возвещавшей приближение божественного света свободы. Не на Восток нужно нам отныне обращаться, а к яркому светочу свободного человечества. Вы не ошиблись; не ошиблись и мы; символы, принимавшиеся вами за истину, не вводили вас в заблуждение, ибо они подготовляли вас к принятию всей истины. Те, кто издевался над ними, уклонились в сторону от настоящего пути в большей мере, нежели те, которые, доверяясь неясному еще предчувствию своего разума и пророческому инстинкту своей души, шли темными тропами к свету, засиявшему, наконец, перед их взорами. Нет, нам ничего не приходится вычеркивать из прошлого, ни о чем не высказывать сожаления. Мы попрежнему поклоняемся той же истине, но поклоняемся, сбросив с нее покров тайны. Такова награда за наше долгое рвение; такова высшая победа, одержанная свободой».

Вот чего ждал Робеспьер от коституционного духовенства, не определяя срока, когда эти ожидания смогут быть выполнены. Ему хотелось, чтобы народ перешел от христианской веры к рационалистическому деизму без колебаний и не стыдясь своего прошлого. Он возмущался тем, что вопрос усложнялся финансовыми расчетами, которые, врываясь в сознание, препятствовали его свободному развитию. Он находил непозволительным, чтобы приманкой выгоды и уменьшением налога пытались совлечь народ с путей веры, как бы назначая цену за то всеобщее отречение, против которого восставала совесть. В этом чувстве глубокого уважения, в этом бережном отношении к народу Робеспьер был, действительно, велик. И несмотря на свои недостатки, более того, на пороки, невежество, тщеславие, зависть, вражду, он именно этим покорил народное сердце. Он мог заставить звучать те струны, которых не умели затронуть другие. В беспощадной характеристике Робеспьера, делаемой газетой Кондорсе от 9-го ноября, особенно подчеркивается все, что напоминает в нем священника.

«Нередко задают вопрос: почему столько женщин окружает Робеспьера на дому, на трибуне, в Якобинском клубе, у Кордельеров и в Конвенте? Ответить на этот вопрос нетрудно: французская революция—религия, и Робеспьер основал в ней свою секту; он—священник, окруживший себя свитой верующих поклонниц. Его власть явным образом держится на женщинах. Робеспьер проповедует, Робеспьер порицает, он строг, гневен, грустен, холодно экзальтирован, последователен в мыслях и поведении. Он громит богатых и сильных мира сего, сам довольствуется малым и почти не знает физических потребностей: его единственная миссия в жизни—говорить, и он говорит почти всегда; он создает себе последователей и особую гвардию для охраны своей особы; он держит речь перед якобинцами, когда надеется навербовать в их среде единомышленников-сектантов; он умолкает, когда боится подорвать к себе доверие; отказывается от мест, на которых можно служить народу, и выбирает те, занимая которые, можно управлять им. Выступая вперед, когда можно произвести сенсацию, он исчезает, когда сцена заполняется другими; у него все черты, необходимые

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

если не для основателя религии, то для главы секты; он создал славу о своей суровой воздержанности, бьющей на святость, он влезает на скамьи, чтобы говорить о Боге и о Провидении, он называет себя другом бедных и нищих духом, он с важностью принимает их поклонение; он исчезает перед наступлением опасности; зато вы его увидите первым, когда только она минует; Робеспьер— священник и всегда останется только священником».

В нем, действительно, были черты священника и сектанта: недопустимое притязание на непогрешимость, гордость узкой добродетели и тираническая привычка прилагать ко всему мерки собственной совести; ужасающая бесчувственность ко всякому личному страданию, ибо идея, во власти которой он находился, в конце концов, уничтожает всякие грани между личностью и верою, интересами честолюбия и интересами дела. Но он, несомненно, был человеком исключительной нравственной честности, со страстным религиозным чувством жизни, болевшим заботой, как бы не смять, не унизить заложенных в человеческой природе возможностей; готовый отыскивать в самых убогих проявлениях мысли и веры то, что делает человека великим.

У Робеспьера с его глубоким пессимизмом, родственным пессимизму христианскому и пессимизму Руссо, был несомненный уклон в сторону христианского миропонимания. Христианство, поскольку оно открывает для человека сверхчувственные возможности, не окончательно замыкается в этом пессимизме; но оно очень сурово судит природу и общество. Предоставленная самой себе, без помощи божественной благодати, человеческая душа находится во власти мрака и лукавства; внешние успехи в области науки и искусства не затрагивают глубин больного сознания. Предоставленные себе общества не могут найти естественного равновесия и справедливости, при наличности которых упования на сверхчувственное становятся излишними. Мысль Жан-Жака, в которой больше горечи и беспокойства, чем в христианстве, по-своему, также пессимистична. Человек, согласно его учению, переходит из естественного состояния, в котором невинность переплетается с насилием и грубостью и простота с невежеством,—в состояние более культурное, в котором успехи в области просвещения неизменно влекут за собою и растущую испорченность. Никогда никакой социальный строй не сможет осуществить справедливости. Сомнительно, чтобы абсолютно демократический строй отвечал потребностям крупных государств современного мира, и Руссо, определяя, чем должно быть народовластие, в то же время как бы отчаивается в возможности его осуществления. Да и каким путем, помимо разве примитивного коммунизма, давно уже изжитого и упраздненного, установить равенство? И как вернуться к коммунизму обществам, раздираемым рознью и испорченностью? Таким образом, Жан-Жак страдал от невозможности воплотить мечту о человеческом и социальном совершенстве, которое ни прошлое, ни настоящее, ни будущее истории не в состоянии осуществить. И, отрываясь от действительности, он предавался страстному деизму, близко соприкасающемуся с христианством, который сулил ему неведомый строй, полный праведной гармонии, тщетно отыскиваемой им во вселенной со всем трепетом измученного сердца.

В пессимизме Робеспьера не было той безысходности, что у Руссо: он верил, что демократический строй приложим к крупнейшим государствам современного мира. Но в то же время он полагал, что даже после установления полного народовластия многочисленные бедствия будут попрежнему тяготеть над человечеством. Ему казалось невозможным сгладить социальное неравенство и привести к одному уровню все имущества и все состояния, не остановив и не испортив при этом тех пружин, которыми приводится в движение механизм человеческого общежития; он предвидел, таким образом, постоянно возраждающуюся в будущем, из поколения в поколение, противоположность эгоизма и гор-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

дости одних, страданий и зависти других. У него не было ни малейшего предчувствия социализма, он не представлял себе нового строя, при котором каждое из человеческих свойств могло бы получить гармоническое развитие.

Таким образом, революция, как бы велик ни был ее размах, каким бы многообещающим ни казалось ее торжество, все же являлась в его представлении неглубокой и поверхностной. Дело революции казалось ему заранее заклейменным существующим социальным неравенством и неизбежно рождающимися из последнего пороками. Он проникался поэтому своего рода уважением к христианству, которое могло глубже захватывать души, чем революция. Он мучился вопросом: насколько правильно отнимать у людей надежду на сверхчеловеческую справедливость и счастье, раз революция никогда не сможет им обеспечить равного этому эквивалента?

Таков тупик, из которого не находила исхода мысль Робеспьера; отсюда глубокое волнение, постоянная грусть, которые угнетали его душу. Он работает над трудно выполнимой задачей и заранее убежден, что даже в случае ее удачного разрешения она едва ли сможет удовлетворить человеческое сердце. Он не хочет поэтому разрушать надежд, которые унаследованы от прошлого, хотя в борьбе за осуществление нового, основанного на справедливости и свободе строя, он принужден вызывать на бой все силы этого прошлого. Упрекнем ли Робеспьера, мы, социалисты, за то, что он мучительно перестрадал несовершенства демократической и буржуазной революции и искал в своеобразно модернизованном понимании христианства нравственной поддержки и радости, которых не ждал, благодаря раз'едавшему его социальному пессимизму, от естественного развития человеческого общежития. Он захватывает глубоко, и мысль его открывает перед нами мрачные и таинственные перспективы, выявляя страдания и несправедливости, коих революция не в силах исцелить.

Но такое понимание вещей было чревато опасными последствиями. С одной стороны, Робеспьер слишком легко мирился с невежеством народа, с теми укоренившимися заблуждениями, которые привязывали массы к отжившим уже догматам; под тем предлогом, что нравственность масс традиционно связывается с верой, он поддерживал последнюю; он, повидимому, не болел жаждою увидеть народ приобщающимся к науке, охватывающим вселенную смелым и свободным взглядом.

С другой стороны, он имел неосторожность полагать, что христианство как-то само собою, все более утончая и обесцвечивая свои основные догматы, сведется в конечном счете к естественной религии (la religion naturelle). Божественность Христа в течение 18 веков господствовала над умами; сердца страждущего человечества тяготели скорее к этому живому образу бога, исторически ощутимому, полному человечности, нежели к абстрактной идее Верховного Существа, неподвижной и бесцветной, и при малейших признаках реакции, при первом разочаровании масс из-под поверхностной оболочки деизма неудержимым напором могло выступить христианство со всеми своими требованиями. Авторитарная власть церкви могла внезапно и с новой силой развиться из скрытых под землею корней, которых Робеспьер не пытался вырвать.

Следовало опасаться, наконец, чтобы сам Робеспьер, считавший, что для насаждения нравственности и добродетели совершенно необходимы некоторые догматы естественной религии, почти что сливавшиеся с очищенными от наслоений догматами христианства, не увлекся дальше и не поставил бы государственную власть в подчинение этому компромиссному сплетению христианства и философии. Прежняя нетерпимость могла с новой силой вспыхнуть в стране, которую увлекали на такой сомнительный путь.

Таковы гибельные возможности, которые нам следует учесть, рассматривая мировоззрение Робеспьера; они не заслонят от нас, однако, того, что было в

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

этом мировоззрении великого. Г. Робинэ, очевидно, ошибается, когда утверждает, что проект отделения церкви от государства был отвергнут исключительно благодаря влиянию Робеспьера, имевшего свои особые взгляды на этот предмет. Конечно, не «богомольцы из улицы Сен-Онорэ», как Робинэ называет якобинцев, сохранили бюджет вероисповеданий, воодушевленные благочестивыми порывами деизма: все население, все партии пришли к согласному решению означенного вопроса. Кордельер Дантон говорил против проекта Камбона, быть может, даже с большей резкостью, чем якобинец Робеспьер. Кинэ также подпадает под влияние партийного пристрастия, возлагая на Робеспьера ответственность за политику, на путь которой вступили почти одновременно все члены Конвента, независимо от того, были ли они дантонистами и энциклопедистами или последователями Робеспьера.

«Представился случай измерить тот сдвиг, который произошел в сознании людей»,—говорит Кинэ. «Это было в ноябре 1792 г., незадолго до начала суда над королем. Прошлое рушилось, и каждый стремился вырвать из прежней постройки хотя бы один камень. Камбон внес в это время очень простое по существу предложение о прекращении оплаты труда духовенства. В бурном круговороте вещей и событий проект, казалось, не должен был встретить препятствий со стороны монтаньяров. Так, по крайней мере, здраво рассуждал Камбон. Однако он скоро убедился, что жестоко ошибся в якобинцах. Базир начал нападки на проект от их лица. Но его авторитета оказалось мало для того, чтобы разрешить столь важный вопрос. Тогда выступил Робеспьер. Его главный аргумент: «католицизм отныне может быть лишь отзвуком революции, ибо в сознании народном остались закрепленными только те великие догматы, которые являются опорой для нравственности, и то возвышенное и трогательное учение о добродетели и равенстве, которое сын Марии проповедывал некогда своим согражданам».

«Слова, полные значения, которые до наших дней сохраняют значение положения, увлекающего французских революционеров на ложный путь. Где же революционное сознание в момент, когда революция, повидимому, готова все сокрушить и увлечь? Я попрежнему вижу старые цепи, залог векового рабства. Не меняя ни слова в выражениях Робеспьера, мы читаем, в сущности, уже конкордат Наполеона: через 1792 уже проглядывает 1801 год».

Кинэ в данном случае охватывает положение вещей, не подымаясь на высокую точку; он смотрит издали и видит все сквозь призму своеобразных пристрастий. Подчеркнем еще раз: зачем возлагать всю ответственность на Робеспьера, когда в это время он подвергался нападкам со всех сторон и пользовался в Конвенте самым ничтожным влиянием? Мало того, как это ни странно, но в самом Конвенте Робеспьер не обмолвился ни словом о проекте Камбона. В качестве главного противника выступает Дантон, воскликнувший 30 ноября прежде даже, чем взойти на трибуну: «Францию хотят погубить слишком стремительным осуществлением философских принципов, которые дороги для меня, но до которых народ и, в частности, население деревень еще не доросли».

Если те, кто порицает политику, проводившуюся в то время Конвентом, сосредоточивают все внимание на Робеспьере и, повидимому, совершенно игнорируют решающую роль Дантона, то это об'ясняется тем, что очень трудно приписать последнему партийную точку зрения. Пришлось бы тогда признать, что Конвент в эту пору руководился соображениями политического характера. Предвзятая точка зрения от этого пострадала бы.

Кинэ, сын кальвинистки, желал бы видеть революционную Францию вступившей в союз с протестантизмом. Не потому, что сам он был благочестивым последователем Лютера или Кальвина, но потому, что протестантизм, с его точки зрения, закалял волю и давал энергию, которая была необходима Франции

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

в борьбе с католицизмом и цезаризмом—двумя романскими воплощениями авторитарного принципа.

Он полагал также, что страна, неспособная к резкому переходу от католических традиций к свободе мысли, могла бы осуществить этот переход через посредствующую ступень протестантизма, являвшегося как бы компромиссом между религиозным верованием и независимым мышлением. Но Кинэ проглядел при этом, что своеобразные мечты, увлекавшие также и Бодо, могли получить осуществление только тем путем, который намечал Робеспьер. Было очень мало данных за то, что Франция, порвав со своею традиционной религией, вся бы целиком приняла исповедание Лютерна или Кальвина. Напротив, конституционная церковь, проникаясь мало-по-малу революционным духом и, склоняясь постепенно к деизму, могла путем компромиссов дойти до новой реформации, более философской по своему характеру.

Что же касается до сближения, делаемого Кинэ между церковной системой Робеспьера и Конкордатом Наполеона, то оно совершенно произвольно и ни на чем не основано. Чтобы правильно оценить идеи Робеспьера, нужно вместе с ним исходить из торжества революции, демократии и республики. Действительно, если бы революция одержала полную победу и не подпала бы под власть цезаризма, то и конституционная церковь, захваченная силой революционной мысли, подчиненная благодаря демократическому выборному началу для священников и епископов воле народа, ни в чем бы не походила на церковь Наполеона и сыграла бы совершенно иную роль.

Итак, члены Конвента в 1792 году не предали революцию, когда они поставили религиозный вопрос в такой плоскости: можем ли мы вступить в прямую и открытую борьбу с остатками религиозных организаций, не вызывая среди народа религиозных волнений и не увеличивая опасности, угрожающей делу революции? Мне кажется несколько неосмотрительным и в философском отношении легковесным подменивать их точку зрения нашей и переделывать историю, когда мы не несем на себе ответственности за происходившие тогда события. Революция уже сделала колоссальные усилия в борьбе против церкви. Она экспроприировала ее имущества и лишила ее социальной власти. Она уничтожила и рассеяла по лицу земли монашеские ордена. Она значительно ослабила, если не совсем порвала, те связи, которые соединяли французскую церков с папством. Она поставила церковь в рамки прочих правительственных учреждений и подчинила ее демократическому принципу выборности. Она изгнала непокорных священников, отказавшихся дать присягу конституции. Она подготовила введение чисто светского и рационалистического народного образования. И если, вместе с Кондорсе и Дантоном, она нашла несвоевременными дальнейшие шаги, если она побоялась вызвать народные волнения, упразднив бюджет вероисповеданий, то я не могу стать на точку зрения г. Робинэ и метать громы и молнии по поводу невозможности немедленного установления республиканского календаря. Я не могу также забыть,—как это делает Кинэ,—о той подавляющей ответственности, которую несли на себе деятели революции, о той сокрушающей буре, среди которой они принуждены были работать. Я твердо помню, что мы, не перенесшие грозы, не имеем права критиковать их действия и вносить произвольные поправки в их дела. Повторяю, предоставляя этим высоким судьям сомневаться в правильности сделанного в ту эпоху, я отрицаю законность вынесения каких бы то ни было приговоров.

В то время, как революция плохо ли, хорошо ли, но пыталась разрешить проблему, так досадно выдвинутую Камбоном, недоверие между деятелями революции и конституционным духовенством все возрастало.

Духовенство, напуганное и раздраженное проектом, который, правда, был отвергнут, но мог снова появиться впоследствии, было кроме того оскорблено и те-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ми приемами, какими его защищали. Оно ясно увидело, что даже ярые противники уничтожения бюджета вероисповеданий рассматривают церковь, даже конституционную, как неизбежное, но временное зло.

Таким образом, к открытой и резкой враждебности не присягнувших священников присоединилось глухое недовольство революцией встревоженного и оскорбленного конституционного духовенства. Тяжкая болезнь, с самого начала тяготевшая над Конвентом.

ГЛАВА VIII.

Финансово-экономическое положение. Кредитные билеты.

Финансовые затруднения также начали давать себя чувствовать. Бюджет революционной Франции всегда был далек от состояния равновесия; прежние доходы были уничтожены, новые налоги, часто сложные по системе, не давали еще полных поступлений.

Учредительное и Законодательное Собрания всегда восстанавливали равновесие выпусками ассигнатов. Но война до крайности увеличила дефицит. В первые же месяцы она поглотила все рессурсы революции. Законодательное Собрание, как об этом напомнил 17 октября в своем финансовом докладе Камбон, не колебаясь, сократило ради военных расходов расплату по срочным обязательствам до 6 миллионов в месяц.

«Законодательное Собрание,—сказал Камбон,—вынужденное об'явить войну для защиты свободы, сочло своим долгом пожертвовать всем ради этой цели; оно сочло необходимым использовать все свои финансовые рессурсы для покрытия военных расходов. Оно сократило поэтому расплату по срочным долговым обязательствам до 6 миллионов в месяц, включив сюда лишь обязательства, не превышающие 10.000 ливров. Оно отсрочило до более благоприятного времени все те расходы, которые не были связаны с войной или революцией».

Это не было еще в точном смысле слова банкротство, то уродливое банкротство, которым Мирабо пугал Учредительное Собрание. Ибо это постановление могло рассматриваться как кратковременная отсрочка, вызванная критическим положением родины; тем более, что декрет о продаже имущества эмигрантов сулил государственным кредиторам многообещающие компенсации и выгодные сделки. Была об'явлена приостановка платежей,—и это было одним из величайших показателей революционного состояния государства.

Анализируя экономические и социальные причины великого движения 1789 года, я уже приводил знаменитое выражение Ривароля: «Революция была сделана рантье». Наступил момент, когда интересы жившей на доходы со своих капиталов буржуазии перестали двигать и направлять революцию. Под угрозой опасности революция становится самоцелью, она сама начинает творить собственное право и без колебаний жертвует ради самозащиты интересами, из игры которых она первопачально возникла.

Правда, рантье были захвачены революционным движением и не могли уже отступить. Мало того, революция говорила им: «Лишь только окончится нечестивая война, начатая против свободы и родины, лишь только будет покончено с внешними и внутренними контр-революционерами,—уплата по срочным обязательствам будет восстановлена в значительно более широких размерах».

Однако, несмотря на использование ассигнатов, шедших почти целиком на военные расходы, дефицит все увеличивался. Первый доклад Камбона от 12 октяб-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ря указывает на его размеры: «Собрание сочло возможным и необходимым установить размеры расходов в 48.558.333 ливра в месяц; но в самом непродолжительном времени оно убедилось в том, что приход не соответствует означенной сумме ввиду задержки в поступлении налогов; таким образом создался дефицит, возрастающий с каждым днем. Сумма недоимок для истекшего сентября дошла до 16.328.211 ливров. Кроме того в этом месяце у нас было 400.000 солдат; пришлось вновь призвать еще 200.000 человек. Потребные для этого расходы составляют сумму в 121.167.791 ливр».

Таким образом, экстраординарные расходы дошли за один сентябрь месяц до цифры в сто сорок миллионов ливров; нужно было изыскать средства для покрытия этого дефицита. Откуда было взять эти средства? Мало-по-малу, по мере роста потребностей, выпуск ассигнатов становился все более усиленным. Он постепенно поднялся до 1.200, 1.400 и 1.600 миллионов. Наконец, закон 31 июля 1792 года установил предельные размеры эмиссии в 2 миллиарда. Но этот предел скоро был достигнут.

«К 5 октября,—сказал Камбон в своем докладе от 17 числа того же месяца,—было выпущено ассигнатов на 2.589.000.000 ливров. Погашение дошло к этому времени до 617.000.000 ливров, так что в обращении находилось 1.972.000.000 ливров, что при отсутствии дальнейших погашений давало возможность, согласно закону, выпустить новых ассигнатов всего лишь на сумму в 28 миллионов.

«Продажа национального имущества даст от 3 до 4 миллионов в неделю, уплачиваемых ассигнатами, которые тотчас же аннулируются и сжигаются. А так как экстраординарные расходы доходят до 100—120 миллионов в месяц, необходимо издать декрет об увеличении цифры находящихся в обращении ассигнатов».

Финансовый Комитет со своей стороны предложил разрешить новый выпуск на сумму в 400 миллионов. Таким образом, эмиссионное право должно было достигнуть 2 миллиардов 400 миллионов ливров; до этой цифры почти тотчас должно было дойти и реальное обращение ассигнатов. Но достаточно ли было реальное земельное обеспечение для покрытия столь большого выпуска ассигнатов, втрое превышающего цифру, первоначально намеченную Учредительным Собранием? Камбон отвечал утвердительно, и его точные и сильные доказательства были бы достаточно убедительны, если бы можно было скоро предвидеть скорое прекращение военных расходов. Очевидно одно: в октябре 1792 года революция еще сохраняла финансовое равновесие: находящиеся в ее распоряжении рессурсы превышали огромную цифру выпущенных или имеющих быть выпущенными ассигнатов. Но это равновесие явным образом находилось в зависимости от военных событий.

«Законодательное Собрание,—говорил Камбон,—постановляя произвести новые выпуски ассигнатов, всегда весьма тщательно указывало имущества, которые должны были служить их обеспечением, и издавало декрет об их продаже.

«С этой целью оно потребовало в истекшем апреле подробнейшего отчета о нуждах нации и источниках доходов, об общей стоимости как уже проданных, так и назначенных к продаже национальных имуществ, а также о количестве уже выпущенных ассигнатов.

«Из этого отчета, основные положения которого были установлены после многодневного обсуждения, выяснилось, что стоимость имуществ, продажа которых была закончена к 1 ноября 1791 года, и ожидаемая выручка от пущенных в продажу, но еще не проданных к указанному сроку имуществ составляют вместе два миллиарда четыреста сорок пять миллионов.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«С этого времени проценты, которые должны были быть уплачены или уже уплачены лицами, приобретшими в собственность национальные имущества, и доходы, получаемые от назначенных к продаже имений, достигают общей суммы в пятьдесят миллионов. В апреле Законодательное Собрание постановило назначить к продаже: епископские дворцы, оцененные в 15 миллионов; дома и монастыри, занимавшиеся ранее монахинями, оцененные в 60 миллионов; имущества, находившиеся в пользовании бывшего Мальтийского ордена и коллегий, оцененные в 400 миллионов; наконец, заповедные леса, подлежащие продаже, согласно порядку, который предстоит выработать, оцененные в 200 миллионов».

Таким образом, Камбон оценивал общую стоимость национальных имуществ, уже проданных или назначенных к продаже, в 3 миллиарда 170 миллионов. А так как ассигнатов было выпущено всего на сумму 2 миллиарда 700 миллионов, к которым следовало еще причислить 41 миллион временных и окончательных свидетельств, то общая цифра требовавшегося имущественного обеспечения равнялась 2 миллиардам 741 миллиону. Таким образом, для обеспечения новых выпусков ассигнатов оставалось неиспользованным национальных имуществ лишь на сумму 429 миллионов. Свободного излишка, как видно, могло хватить только на покрытие нового 400-миллионного выпуска ассигнатов, предложенного Финансовым Комитетом. При этом следовало предположить, что вычисления Финансового Комитета были точны, и что стоимость еще оставшихся для продажи имуществ не была искусственно вздута.

Но это были лишь те средства, которыми революция могла располагать в первую очередь. Кроме того, в ее распоряжении находились еще очень значительные рессурсы, к которым она могла обращаться по мере необходимости.

«Ваш Комитет счел своим долгом закончить этот доклад кратким обзором тех чрезвычайных средств, которые еще имеются у вас для покрытия военных расходов или для оплаты долгов. Эти средства состоят:

«1) из излишка обеспечения по сравнению с произведенными до сих пор выпусками ассигнатов, который, согласно приведенному выше расчету, составляет 429 миллионов;

«2) из стоимости лесов, оцененных Законодательным Собранием в 1.400 миллионов; цифру эту, однако, исходя из уже заключенных сделок, необходимо понизить до 1.200 миллионов;

«3) из стоимости имуществ, принадлежавших эмигрантам, которую многие определяют в 2 миллиарда, но которую ваш Комитет, пока что, оценивает в 1 миллиард;

«4) из стоимости доменов, приписанных к цивильному листу, которые отчена королевской власти позволит вам продать,—на сумму 200 миллионов;

«5) из стоимости доходов, ожидаемых от вступления во владение заложенными имениями, оцененных Законодательным Собранием в 100 миллионов;

«6) из стоимости земельных рент и феодальных прав, основанных на древних пожалованиях земли. Законодательное Собрание оценило эту статью в 208 миллионов; однако после недавнего декрета о феодальных правах ваш Комитет считает необходимым уменьшить эту цифру до 50 миллионов. (Речь идет здесь о земельных рентах и феодальных правах, входивших в качестве составной части в церковные имущества, которые нация должна была теперь получить взамен церкви, поскольку революционное законодательство не отменило их.)»

И Камбон заключает: «Если к этой сумме мы прибавим то, что числится за плательщиками в качестве недоимок, от 100 до 150 миллионов, которые государственное казначейство всегда имеет авансом на текущие расходы... д е-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

нежные рессурсы могут дойти до суммы приблизительно в 3 миллиарда триста или четыреста миллионов».

Цифра, действительно, внушительная, как бы целая финансовая армия в запасе. Камбон громким голосом предупреждает монархическую и феодальную Европу о том, что революция богата не только храбростью, но и деньгами: «Не без страха узнают деспоты о громадных рессурсах, имеющихся у нас для победы над ними, и эти сведения, в добавление к тому, что они на опыте изведали нашу силу и мужество, заставят их дрожать за свое политическое существование». Конвент декретом от 24 октября постановил произвести выпуск денежных знаков, затребованный Камбоном.

Но уже начинается беспокойство. Совершенно верно, что около 3 миллиардов денежных рессурсов, казалось, были еще не использованы государством. Но прежде всего, чтобы получить эту громадную сумму, надо было пустить в ход все. Несмотря на яростное сопротивление восточных провинций, несмотря на опасность скупки компаниями капиталистов лесных богатств, надо было решиться продать леса. Между тем, в то время как цена на пахотную землю, сенокосы и виноградники, благодаря конкуренции, стояла на довольно высоком уровне, даже выше оценки, первые сделки с лесными участками вынуждали предвидеть дефицит. Использовав денежные рессурсы, правда, громадные, исчисленные Камбоном, революция уже не могла бы рассчитывать ни на какие чрезвычайные сметные средства; все собранное достояние ею было бы поглощено: церковные имущества, владения Мальтийского ордена, леса королевского домена, состояния эмигрантов. За два года, в течение которых господствовал почти полный мир, уже было истрачено около 3 миллиардов, все огромное имущество церкви. Предлись война, что сталось бы с тремя миллиардами, бывшими еще в запасе? Они растаяли бы еще скорее. Вот почему, несмотря на свой оптимизм и несмотря на блестящие военные успехи. Камбон предвидел большие и, быть может, близкие затруднения, которые он рассчитывал преодолеть, уменьшив, путем сокращения церковного бюджета, обычные расходы революции.

Он указывает также на принудительный заем у богатых и другие меры того же порядка: «Этот капитал можно было бы еще увеличить, установив временные налоги на зажиточных эгоистов, спокойно выжидающих дома за печкой успехов революции или работающих втайне над ее разрушением».

Все эти комбинации, все эти проекты показывают, что перед лицом огромного роста расходов, связанного с войной, Камбон далеко не уверен в финансовом равновесии страны. Для всех становится очевидным, что рессурсы революции покоятся только на системе непрерывного выпуска ассигнатов, и что необходимость в бумажных деньгах все нарастает, тогда как их обеспечение, пока еще достаточное, падает с каждым днем. Как же не падать все больше и больше курсу ассигнатов, падение которого началось с половины 1792 года? Как же, следовательно, не расти и не развиваться экономическим затруднениям, в основе которых лежало начавшееся падение курса бумажных денег?

Однако заминка в экономической жизни страны стала чувствоваться лишь в конце 1792 года и начале 1793. До этого момента нельзя было отметить ни уменьшения производства, ни сокращения товарообмена. Я уже отметил вполне благополучные результаты первого полугодия 1792 года, засвидетельствованные официальными документами. Ролан в своем общем отчете по управлению, представленном Конвенту 9 января, комментирует эти результаты с полным знанием дела и уверенностью, являвшимися плодом основательной эрудиции, продолжительных путешествий и долговременной практики в области мануфактурной инспекции. В отчете Ролана нет ни одного слова, которое позволило бы пред-

Электронный архив библиотеки им. А. Кулешова

ложить ослабление экономической жизни страны во втором полугодии 1792 года. А при том настроении, во власти которого находился тогда Ролан с его всегдашним страхом перед тем, что он называл анархией, он—всегда унылый и ноющий—не преминул бы отметить критическое положение вещей, как неминуемое следствие «смут», о которых он беспрестанно говорил.

Напротив, в рисуемой им картине почти нет темных красок; в представленном им отчете—никаких дурных предчувствий. «Внешние торговые сношения республики со всеми европейскими, левантскими, варварийскими и англо-американскими народами дошли в первом полугодии до суммы в 227 миллионов ввоза и 382 миллиона вывоза, что обещает годовой ввоз заграничных товаров в 554 миллиона, а товарообмен с нашей стороны в 764 миллиона. В обычные года мы покупали не больше, чем на 319 миллионов, и продавали не больше, как на 357. Излишек, даваемый настоящей картиной наших коммерческих сношений, имеет различные причины, которые будут указаны в нашем дальнейшем анализе.

«Южно-европейские страны, Испания, Португалия и Италия, дали нам в течение рассматриваемого полугодия товаров на 95 миллионов, ранее же в среднем они ввозили к нам не более, чем на сто, преимущественно—шерсть, шелк, индиго, кошениль, соду, красильное и цветное дерево и прованское масло. Значительный предмет ввоза составило также зерно, особенно из Генуи, также как и испанские коньяки, необходимые для возмещения вывоза за границу наших собственных, пострадавших от неурожая виноградников. Мы же за то же полугодие вывезли в эти страны товаров на 78 миллионов,—изделия наших мануфактурных, суконных, трикотажных и шляпных фабрик, также сахар и кофе наших колоний.

«В обычные года мы продавали этим южным государствам на 94 миллиона тех же продуктов. Не забудем, что из Испании мы получаем ежегодно на 38 миллионов сырья, отдавая ей в обмен на 44 миллиона нашей мануфактуры; так приливает во Францию через бесчисленные каналы мексиканское серебро, расходясь потом среди промышленных и малообеспеченных классов французского народа.

«Западные страны, Англия, Американские Соединенные Штаты, Голландия, имперские владения во Фландрии и Германии и швейцарские республики, вместе взятые, продали нам в течение первого полугодия 1792 года товаров на сумму 69 миллионов, в год же мы от них в среднем получали на 134 миллиона. Важную статью ввоза составляют здесь зерно и мука, затем идут: можжевеловая водка, для обратного после переработки вывоза, пряности и москательные товары.

«Отметим, что, по сравнению с обычной картиной нашего вволза, теперь наблюдается ощутительное уменьшение ввоза шерстяных и хлопчатобумажных тканей, галантереи, металлических изделий, идущих из Англии, а также фландрского, голландского и швейцарского полотна. Мы вывезли в эти страны товаров на 165 миллионов за полугодие, в обычные же годы наш вывоз не превышал 128 миллионов, так что получится прирост в 37 миллионов, основанный на огромном сбыте наших кружев, батиста, шелковых тканей и местных вин, а также сахара и кофе наших колоний. (Заметьте, что излишек в 37 миллионов, указываемый Роланом, есть излишек одного полугодия по сравнению с целым годом.)

«Северные страны, Германия, Польша, ганзейские города, Дания, Швеция, Пруссия и Россия, вместе взятые, дали нам приблизительно 20 миллионов товаров, соразмерно среднему годовому ввозу в 43 миллиона; предметы ввоза составляют, главным образом,—уголь, металлы, пенька, строевой лес и сало; к этому в данный момент надо прибавить еще зерно и муку из Гамбурга. Франция в обмен дала им товаров на 117 миллионов. Ежегодная сумма вывоза была не более 113

Электронный архив библиотеки Института А. Кулишова

миллионов; четырехмиллионный излишек в нашу пользу основан, с одной стороны, на большом сбыте шелковых тканей, особенно в Германию, и вина на север, а с другой—чрезмерно повысившимися ценами на сахар и кофе из наших колоний.

«Торговые сношения наши с Левантом, Оттоманской империей и Берберией достигли в течение первого полугодия цифры в 42 миллиона ввезенных к нам продуктов. Предметы ввоза, главным образом,—зерно, хлопок, шерсть, шелк, кожа, прованское масло, камедь, красильные и лечебные вещества; продали мы на 21 миллион, преимущественно сукна, вязанных изделий, сахара и кофе. Наш средний ввоз из этих стран за год равнялся 40 миллионам, а вывоз—24-м».

Итак, начерченная Роланом картина показывает, что революционная Франция покупала сырье и пищевые продукты, продавала же, во все возраставшем количестве, обработанные товары, изделия своей промышленности; впрочем, Ролан сам превосходно характеризует это экономическое движение: «характерные черты, отмеченные в настоящем отчете, суть следующее: значительные закупки зерна и муки за границей; существенное уменьшение наших закупок фабричных и обработанных товаров; обильный сбыт на европейских рынках наших шелковых тканей и других шелковых изделий, батиста, кружев, сукна и вин; уменьшение сбыта наших водок и колониальных товаров из французских владений в Америке. Что касается до ценности товаров, то мы имеем всюду определенный перевес в пользу Франции, которая в оплату закупок, сделанных на сумму 227 миллионов, отправила на 382 миллиона товаров, что дало ей в первом полугодии 1792 года 155 миллионов лишку. Этот последний будет позднее оплачен иностранными государствами товарами или деньгами».

Итак, Ролан 9 января 1793 года, когда произносил свою речь и делал анализ ближайшего прошлого, не указывает ни одного признака экономической слабости. Революционная Франция в конце 1792 года и начале 1793 года чувствовала себя в расцвете своей экономической силы. Обмен с колониями был не так хорош—естественное последствие неурядиц в Сан-Доминго; но и здесь было отмечено только уменьшение, а не прекращение торговли.

«Что касается до торговых сношений Франции с колониями, то французский вывоз в американские колонии и к берегам Африки составлял в обычное время 87 миллионов. Вывоз в первое полугодие 1793 года дал лишь 23 миллиона, несмотря на сильно возросшие цены товаров; этот недобор относится к муке, вину, мясу, соленой рыбе, полотну,—ко всем обычным статьям нашего вывоза. Разница в ввозе не так значительна; в обычное время ввозилось товаров на 200 миллионов, а в первом полугодии 1792 года было ввезено на 163 миллиона; но недобор ввоза покрывается высокой ценой товаров».

Темная и запутанная фраза Ролана означает, что ввезено было товаров из колоний меньше обычного, но что этот количественный недобор был покрыт необычно высокой ценой их. На деле он был больше, чем покрыт, потому что колониальный ввоз составлял в среднем 200 миллионов в год, т.-е. 100 миллионов в полугодие, а в первом полугодии 1792 года он достиг уже 163 миллионов. Итак, в колониальной торговле повышается стоимость, если не количество ввоза. И, утверждая вслед за тем, что деятельность торгового флота не пострадала за первое полугодие 1792 года, Ролан ни единым словом не дает повода предположить, что он получил какие-либо неблагоприятные известия относительно второго полугодия. Если бы здесь была заминка или поворот к худшему, то каким бы образом не пожаловаться на это сейчас же министру внутренних дел?

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Что касается до торгового флота дальнего плавания, то общий тоннаж как прибывающих, так и выбывающих из наших гаваней французских судов составляет 390 тысяч тонн, при чем эти суда обслуживают преимущественно наши колонии и Левант, тоннаж же иностранных судов, транспортирующих грузы, главным образом, в северных морях, составляет 300 тысяч тонн.

«В обычные года весь французский тоннаж составлял 828 тысяч тонн, а иностранный 888 тысяч, так что нет никакого ощутительного изменения в пропорции торговых сношений нашего коммерческого флота, взятых в общем...»

Ролан прибавляет: «Что же касается до внутренней торговли республики, то можно составить общее представление об ее теперешнем состоянии по количеству тонн груза, транспортируемого между внутренними портами двух морей. Передвижение покупаемых и продаваемых грузов в приморских департаментах потребовало 491 тысячу тонн в первом полугодии 1792 года, ежегодный же тоннаж равняется 972 тысячам. Выполнить все эти операции выпало на долю французскому флоту, потому что иностранного тоннажа на этом рынке насчитывается не больше 5 тысяч: иностранным судам не позволяют принимать участие в этих сношениях падающие на них морские сборы, от которых, вполне естественно, освобождены все французские суда.»

Ролан, ища предлога пожаловаться на препятствия, чинимые внутри страны «анархией» и недоверием свободному подвозу хлеба, особо подчеркивает блестящее состояние морской торговли: «Анархистские конвульсии не парализуют торговых сношений между приморскими департаментами в той мере, как между другими департаментами республики. Предприимчивому человеку гораздо легче победить океан, чем ярость части населения, не понимающего собственных интересов».

Опять-таки, будь во втором полугодии 1792 года малейшее ослабление экономической деятельности, по сравнению с первым, симптомы этого ухудшения появились бы еще раньше опубликования официальных статистических данных, и Ролан, специалист по черному цвету, постарался бы сгустить темные краски. Однако ни в одной главе своего отчета, где ему представлялась естественная возможность отметить увеличивающиеся бедствия,—по поводу благотворительных учреждений, фондов помощи увечным и беднякам,— он не указывает на ослабление трудовой деятельности нации.

Все же в Лионе уже в то время начал сказываться кризис промышленности; повидимому, заграничный спрос на шелковые изделия не возмещал уменьшения внутреннего потребления. 3 ноября 1792 года два специально присланных депутата сообщили Конвенту о крайне стесненном положении большого города. «Вот уже 2 месяца,—говорил один из них,—как наш громадный город, терзаемый бичом голода, находится во власти жестоких смут; вы послали нам для их успокоения комиссаров, исполненных мудрости и благоразумия, а известна ли вам причина волнений? Упадок мануфактур, 30 тысяч безработных рабочих, неимоверная дороговизна хлеба, боязнь, к несчастью, слишком основательная, что его нехватит совсем,—вот что вызвало сцены ужаса, разыгравшиеся в нашем городе. Увы! с горем мы говорим это; но какая роковая судьба заставляет французов, столь об'единенных во имя свободы, так бесчеловечно закрывать границы, разделяющие департаменты, когда дело идет о том, чтобы поделиться своими запасами с братьями. Отцы отечества, верните мир нашему городу, приведите к повиновению законам впавший в заблуждение народ. 30 тысяч неимущих просят хлеба у властей. Департамент напрасно пытался достать продовольствие. Если вы быстро не придете на помощь и не доставите стесненным классам источников заработка,—о богатствах Лиона, об его недавно столь процветавших мануфактурах останется только одно воспоминание.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Народные представители, взвесьте в своей мудрости те средства агитации, какие дает сеятелям смут неудовлетворение самых неотложных нужд стольких несчастных; посмотрите, как самые разрушительные для всякого общества советы легко могут быть приняты теми, кто ежедневно говорит: мы просим только работы, чтобы обеспечить себе хлеб. Роскоши больше нет, от нее везде осталось лишь пустое место, но Лион почувствовал последствия этого острее, чем все другие города. Законодатели, если обстоятельства не изменятся к лучшему, нам останется только существовать на счет национальной благотворительности».

Это первый с начала революции удар колокола, возвестивший о промышленной разрухе. Верньо восстал против этих жалоб: он уверял, что у некоторых патриотов есть плачевное свойство легко создавать тревогу, преувеличивая народные бедствия, и что чересчур прислушиваться к зловещим слухам, значит играть в руку врагам. Но Шарлье стоял на своем: «Несмотря на все сказанное Верньо, хлеб в Лионе все-таки стоит 5 су за фунт, и народ без работы». Нет работы, нет хлеба—страшные слова. «Мы просим работы, чтобы иметь хлеб». Это как бы первый набросок, еще робкий и покорный, того драматического девиза лионцев, который при Луи-Филиппе был начертан на черных знаменах: «Жить работая или умереть сражаясь».

Но Конвент, повидимому, думал, что в основе этого двойного требования—хлеба и работы—не лежало ничего иного, кроме вопроса о снабжении продовольствием. Правду сказать, даже в петиции, поданной двумя депутатами, преобладающим мотивом была забота о снабжении, и что если они опасались приостановки мануфактур, то еще в большей степени страшились голода. Легарди воскликнул: «Пусть богатые граждане Лиона сделают то же, что сделали в Руане, пусть они обложат друг друга, и, правильно поставив таким образом дело снабжения с'естными припасами, придут на помощь нуждам неимущих». Действительно, был в конце сентября и в начале октября момент, когда Руану грозил голод: хлебные грузы, шедшие туда, были задержаны в Гавре. Я склонен думать, что большой нормандский город терпел недостаток в хлебе, потому что он очутился в неблагоприятном положении вследствие, с одной стороны, обширных закупок Парижа, а с другой, благодаря обширным заготовкам, производившимся в портах для нужд флота.

Но в Руане дело шло только о недостаточном подвозе зерна и, как следствии этого, о дороговизне, а отнюдь не о кризисе или остановке промышленности. «Донесения из Руана,—пишет Ролан Конвенту 25 сентября,—сообщают мне о тревожном состоянии города в отношении продовольствия. Закупки, сделанные им за границей, будут ему доставлены только в течение будущего месяца. Кроме 12 тысяч квинталов, которые я уже определил Руану, я разрешил комиссарам взять для него 4.500 квинталов, находящихся в Гавре, а также груз корабля, который должен в настоящее время туда прибыть. Эти 4.500 квинталов задержаны в Гавре под предлогом того, что там чувствуется недостаток в самых необходимых припасах. Вследствие этого Руан находится в крайне стесненном положении: в нем нет припасов и на три дня. Его администрация просит разрешить ей сделать позаимствование для удовлетворения безотлагательных нужд момента из военных складов с тем, что взятое будет возвращено по мере получения ожидаемого извне продовольствия».

Как видно, там не было ни малейшего экономического кризиса, и достаточно было административных мер, чтобы поправить беду. Или, самое большее, нужно было прибегнуть к принудительному займу у богатых, чтобы оплатить заграничные закупки. На этом и настаивал Генеральный Совет Руана в письме, читанном перед Конвентом 8 октября:

Электронный архив библиотеки МГПИ имени А. А. Кулешова

«Коммуна не располагает никакими фондами для расчета по этим закупкам. Генеральный Совет, полагая, что к народной казне должно прибегать, лишь исчерпав все частные средства, предложил взыскать с города Руана сумму в один миллион, в форме займа, для оплаты закупок, сделанных за границей.

«Совет полагает, что этот заем, производимый в интересах неимущего класса, должен лечь своею тяжестью лишь на граждан, занимающих квартиры ценою свыше 500 ливров в год и, следовательно, имеющих достаточно средств, чтобы вынести его.

«Этот план—единственный, который может предотвратить бедствия, угрожающие Руану, сохранить в целости запасы для армии, хранящиеся отчасти в этом городе, наконец, обеспечить продовольствие Парижа, бо́льшая часть которого неизбежно проходит через Руан,—одобрен секциями и принят генеральными советами округа и департамента.

«Этот план вызовет, без сомнения, ропот нескольких капиталистов, больше привязанных к своему денежному сундуку, чем к общественному делу; к несчастью, их немало в городе Руане; но вас, конечно, не остановят притязания горсти жадных людей, не признающих в своем эгоизме ничего, кроме личных интересов».

Конвент немедленно издал следующий декрет:

«Статья I. Руанская Коммуна уполномачивается взыскать в форме займа со всех жителей города, занимающих квартиры ценой в 500 ливров или выше, сумму в один миллион для покупки, под ответственностью Коммуны, зерна, необходимого для продовольствия города и для возмещения припасов, позаимствованных в военных складах.

«Статья II. Раскладка этого займа будет произведена способом, установленным Генеральным Советом Коммуны и одобренным генеральными советами округа и департамента.

«Статья III. Суммы, которые получатся от продажи зерна, купленного на средства от этого займа, должны быть употреблены исключительно на уплату по нему, а убыток должен быть распределен между всеми участвовавшими в нем гражданами, соразмерно доле каждого по раскладке».

Так был разрешен кризис в Руане.

Конвент, повидимому, полагал, что лионский кризис можно разрешить тем же способом. Богатая лионская буржуазия должна обложить себя налогом в виде займа; полученными таким образом средствами она обеспечивает доставку хлеба в Лион; закупленный хлеб она продает по умеренной цене и берет на себя убыток, происходящий от разницы в ценах, закупочной и продажной. Задача таким образом решена. Да, но оставался вопрос о приостановке производства. Комиссары Конвента, посланные в Лион на основании декрета от 29-го октября, постарались прежде всего убедить состоятельные классы подвергнуть себя самообложению, что им удалось без особого труда. И 24 ноября Реаль, от имени Финансового Комитета, представил Конвенту следующий проект займа:

«Генеральный Совет Лиона принял 10 числа текущего месяца решение открыть подписку на 3-миллионный беспроцентный заем, имеющий быть использованным на покупку зерна для снабжения города и окрестностей; дефицит, который возникнет благодаря связанным с выпуском займа расходам и разнице между закупочной и продажной ценами хлеба, будет покрыт чрезвычайным налогом, падающим только на людей зажиточных.

«Посланные вами комиссары сами способствовали принятию этой меры, возбудив рвение богатых негоциантов этого города. Они нашли ее необходимой для поддержания порядка в городе Лионе».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Конвент уполномочил Лионскую Коммуну сделать этот заем по прогрессивным ставкам. Но как поднять деятельность мануфактур? Комиссары Вите, Алкье и Буасси д'Англа послали Собранию тревожное письмо из Лиона: «Накануне десятого августа аристократы из Арля, Тулона, Нима, Жалеса и Ардешского департамента собрались в Лионе. Замыслы этих контр-революционеров нашли себе сочувственный отклик и поощрение среди богатых себялюбцев, равнодушных к общественному делу, каких много в больших пограничных городах. В Лионе уже готова была вспыхнуть контр-революция. После 10 августа весь облик города изменился, но бездействие мануфактур и безработица вызывают там опасное брожение; 30.000 рабочих лишены ежедневно заработка и хлеба; дурные граждане пользуются этим, чтобы ввести их в заблуждение и заставить их служить своим отвратительным предателям; однако же ремесленники и рабочие настроены превосходно, и наименее обеспеченные классы проявляют самый чистый патриотизм».

В намечавшейся уже в Лионе борьбе партий, мрачной и острой, комиссары Конвента стараются держаться середины. Вите уже донес Конвенту о тех, кого он, со своими товарищами, именует здесь «дурными гражданами», т.-е. об ярых демократах, возбуждавших страсти павшего духом народа. «Все эти беды,—говорит Вите 28 октября,—дело рук комиссаров, именующих себя посланными Парижской Коммуной; это они поселяли среди граждан подозрения и недоверие».

Но относительно Лиона приходилось признать, что контр-революция первая посеяла в нем смуту, и что главной причиной волнения были страдания рабочих. Католический фанатизм, искусно умевший эксплоатировать народные бедствия. старался еще более обострить кризис. Комиссары уже 14 ноября отмечают эту опасность: «Неприсягнувшие священники пытаются снова зажечь огонь фанатизма. Петиция, которую разносили женщины, известные под именем: «coureuses de nuit», об'являла, что Национальный Конвент хочет отменить религию; что церковные обряды уже запрещены, так как с церквей снимаются колокола. Было замечено, что во главе этих неистовых были публичные женщины, надевшие на себя личину благочестия». Брожение шло далеко вглубь. Чтобы поддержать в Лионе революционный порядок, надо было пустить в ход все отрасли промышленности. Комиссары надеялись добиться этого. «Они изыскивают средства, чтобы дать работу безработным; они рассчитывают успеть в этом до своего от'езда из города». Непохоже, чтобы это им удалось.

21 ноября гражданин Нивьер-Шоль, муниципальный чиновник, исполнявший обязанности прокурора Коммуны, констатирует неудачу переговоров с фабрикантами. «Граждане,—обращается он к своим товарищам, собравшимся в лионской Ратуше,—в бурное время, среди тяжелых административных трудов вы не перестали заботиться о бедных рабочих шелковых мануфактур города Лиона. Вы совещались с другими о способах помочь этой многочисленной части граждан, доведенной до нищеты безработицей. Переговоры, которые вы вели с владельцами главнейших мануфактур шелковых материй, не только не привели к хорошим результатом, к легко и быстро выполнимым мероприятиям, но дали вам лишь вычисления и расчеты, внушенные одними личными интересами. Между тем время идет, бедствие увеличивается, и 24 тысячи людей ждут, чтобы вы достали им хлеб и работу».

Нивьер-Шоль находит только одно решение задачи: государство должно субсидировать мануфактуры, чтобы пустить их в ход. «Для удовлетворения столь больших нужд необходимы большие средства; их может дать только нация, ибо без скорой и чрезвычайной помощи лионские мануфактуры не могут возобновить работы, а бедствия, которые произойдут от длительной приостановки, будут не-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

исчислимы и коснутся не одного Лиона, но внесут беспорядок и смуту и в соседние департаменты».

В заключение он советует предложить Конвенту, через посредство его комиссаров, следующее:

«1. Чтобы в распоряжение министра внутренних дел была предоставлена сумма в 3 миллиона.

«2. Чтобы эта сумма, назначенная для возобновления работы лионских мануфактур, была передана министром внутренних дел директории департамента для внесения в казначейство округа.

«3. Чтобы употребление этих денег производилось комитетом, избранным из должностных лиц и нотаблей города в числе пяти, под председательством мэра и в присутствии прокурора коммуны.

«4. Если, для возобновления работы мануфактур, комитет найдет необходимым вырабатывать ткани за счет нации, он уполномочивается на это, под условием довести обо всех подробностях производства до сведения министра внутренних дел».

Комиссары передали Конвенту это постановление Коммуны, не настаивая, однако, на нем, и как бы лишь для очистки совести. Их внимание в этот момент было занято другим: раскрытием громадных мошенничеств, совершенных в Лионе администрацией армии. Без сомнения, решение задачи, предложенное лионским муниципалитетом, показалось им химерическим; ибо что стала бы делать нация с материями, выработанными за ее счет? Ей нужно было в то время железо для вооружения солдат и грубое сукно для их обмундировки, а не тонкие, блестящие ткани. Конвент оставил петицию без внимания. Какова была дальнейшая судьба лионского промышленного кризиса? Несомненно, он не обострился, потому что Ролан ничего не говорил об этом в своем отчете от 9-го января. Тома, исследователь социального и экономического движения при Луи-Филиппе, сообщил мне любопытные данные, из которых видно, что лионские рабочие вспоминали об эпохе революции, как о времени своего благосостояния. «Тогда не было такой дороговизны,—говорили они,—и так как в армию требовалось много народа, то все оставшиеся рабочие были заняты». Это стоит в резком противоречии с промышленным кризисом, несомненно, пережитым Лионом в конце 1792 года.

Вероятно, когда выяснилась абсолютная невозможность бороться с частичной остановкой шелковых мануфактур искусственными мерами, путем правительственных заказов, запись добровольцев в армию увеличилась; все безработные пошли в солдаты или получили занятия в отраслях промышленности, вызванных к жизни войной. Таким образом, кризис потерял свою остроту. И тем не менее, крайне стесненное положение народа, несомненно, содействовало будущему взрыву лионского мятежа, обратившегося затем в контр-революцию. Революции благоприятствовал общий экономический под'ем страны. Она не просуществовала бы и шести месяцев, если бы промышленный кризис, тяготевший над Лионом в конце 1792 года, охватил бы с начала революции всю Францию. Бездна нищеты и безработицы поглотила бы революцию.

Доказательством тому служит то обстоятельство, что нищета и безработица в Лионе расчистили здесь дорогу контр-революции. Но, по счастью, это был только местный кризис. Франция в целом не прекращала производства и процветала. 9 января 1792 г. Ролан так далек от мысли констатировать общее ослабление индустриальной деятельности или опасаться его, что мечтает даже, наоборот, о развитии промышленной деятельности в деревне. Это давнишняя мысль Ролана, и мне пришлось уже останавливаться на ней на основании его большой статьи в словаре Панкука, когда я давал общую картину экономического состояния Фран-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

нии в 1789 году. Ролан мечтал сочетать промышленность с земледельческим трудом.

«Что касается меня, — пишет он Конвенту по поводу благотворительных мастерских,—то я не нахожу желательным иметь мануфактуру только в городах; для усовершенствования промышленности, требующей изощренного вкуса, это хорошо, но с другими отраслями дело обстоит иначе.

«1) Желание сохранить между городом и деревней различие занятий, которое предоставляет первому все ремесла, искусства, просвещение, а второй оставляет только простую полевую работу, противоречит, быть может, принципу равенства.

«2) Природе торговой и промышленной деятельности противно стремление ставить препятствия, даже косвенные, тому, чтобы она устраивала свои мастерские повсюду, где находит это выгодным.

«3) Мануфактуры перерабатывают сырой материал; последний при этом частично теряется. Если использовать его на месте и избежать расходов по перевозке, получится экономия. Прибавить к этому экономию на стоимости рабочей силы, которая уже в силу различия нравов и повседневных потребностей в городе и в деревне будет в последней всегда дешевле.

«Процветание мануфактур основано на экономии, так как она определяет цену товаров и решающим образом влияет на конкуренцию с иностранными фабриками. Поэтому я думаю, что при выборе отрасли труда следует советоваться с местными жителями. Сельские местности особенно пригодны для изготовления материй. Деревни, где прядут шерсть, хлопок, где ткут сукно, полотно, где есть ленточные фабрики, оказываются самыми населенными, самыми богатыми и, следовательно, самыми цветущими областями Республики: житель такой деревни является поочередно то ремесленником, то сельским хозяином. Небо ясно, погода благоприятная—он пашет, сеет, убирает хлеб на поле. Дождь, заморозки, долгие зимние вечера гонят его под кровлю: он прядет хлопок, шерсть, ткет из них ткани и занимается другими домашними работами, равно полезными Республике и благосостоянию его самого и его семьи. Праздность—мать всех пороков, бич-разрушитель государства—бежит прочь от его очага: в довольстве, достатке и мире текут его дни; и никогда не осмелится отвратительный раздор возникнуть в селении, одновременно промышленном и земледельческом.

«Итак, я полагаю, что правительство должно развивать в деревне знакомство с самыми необходимыми отраслями промышленности и поощрять интерес к ним. Промышленность и земледелие взаимно помогают друг другу, и нигде поля не возделываются лучше, чем в местах, оживленных индустрией.

«Надо, чтобы каждый человек, как крестьянин, так и горожанин, знал какое-нибудь ремесло; надо, чтобы общественное воспитание прививало ему такую наклонность, вменяло бы ее даже в обязанность: это самый надежный способ искоренить нищенство и внушить любовь к труду».

Я не хочу рассматривать здесь системы Ролана; она соответствовала промежуточному и неопределенному периоду, в котором находилась тогдашняя промышленность, не подпавшая еще под власть машины и закона концентрации производства. Ролан, повидимому, и не подозревает, что, пробуждая в деревне промышленные наклонности, он не привьет промышленность к деревне, а только облегчит высасывание городом из деревни более развитых и образованных, благодаря городской индустрии, сил.

Но опять-таки, какой бы характер ни носила система Ролана, с какой бы радостью ни развивал он, выступая перед Конвентом в качестве министра внутренних дел, идеи, которые он давно пропагандировал в качестве инспектора мануфактур,—можно ли предположить, что он с таким оптимизмом предсказывал развитие промышленности и распространение технических знаний, если бы в

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

этот самый момент имело место общее понижение экономической деятельности страны?

Странная мысль — создать громадную конкуренцию новых рабочих рук прежним, страдающим от безработицы. Раздиравшие друг друга партии не преминули бы возложить друг на друга,—Жиронда на Робеспьера, Конвент на Бриссо,—ответственность за промышленный кризис, если бы он действительно разразился. Но они ничего подобного не делали.

Однако, если и не было остановки или ощутительного падения экономической деятельности и промышленного производства; неустойчивость равновесия, которую я уже отметил весною 1792 года, все увеличивалась. Все больше и больше жизнь Франции стала опираться на что-то очень искусственное и непрочное. Падение курса ассигнатов все ускорялось, особенно после нового выпуска денежных знаков на сумму в 400.000.000. Ролан, в своем докладе от 9 января, признает, что «при размене ассигнатов на серебро, они расцениваются вдвое ниже их нормальной цены,—общий признак богатства для всех коммерческих наций». Пятьдесят за сто—это уже очень тревожный симптом.

Правда, как заметил Кондорсе, соотношение стоимости ассигнатов и серебра не определяло соотношения стоимости ассигнатов и других товаров: потеря на ассигнатах по отношению к товарам была гораздо меньше, чем потеря по отношение к серебру, считавшемуся почти предметом роскоши. Но все-таки, при таком низком курсе ассигнатов сравнительно с металлическими деньгами, устойчивость меновых отношений размена была нарушена: цены на все товары должны были повышаться. Несмотря ни на что, блеск металла продолжал гипнотизировать, и убеждение в возможности обменять ассигнанты на серебро лишь с потерей 50% обесценивало их в меньшей, но все же довольно ощутительной мере во всех торговых сделках. От непрочности курса ассигнатов, от риска потери на них владельцы товаров стремились обеспечить себя путем повышения цен.

Это было, по очень меткому выражению Ролана, как бы «страховою премией». Эта премия, так как она раскладывалась на все количество товаров и на всю совокупность сделок, была гораздо ниже потери на ассигнатах по отношению к тому редкому и специфическому товару, который назывался серебром. Но все же эта страховая премия была высока и, постоянно изменяясь, ложилась тяжелым бременем на все торговые сделки.

Затруднения, вызванные ассигнатами, довольно долго время осложнялись, особенно в больших городах, еще благодаря кредитным билетам (billets de confiance), которые выпускались «патриотическими кассами» и другими учреждениями; так, в Париже крах ссудной кассы вызвал, как мы видели, целую панику.

Конвент вотировал в первых числах ноября декрет, воспрещавший всякие выпуски кредитных билетов. Камбон изложил вкратце 2-го ноября основания, вызвавшие эту меру:

«Граждане, говоря о кредитных билетах ссудной кассы, касаешься очень деликатного вопроса, так как приходится, с одной стороны, оберегать интересы общественной казны, а с другой—необходимо притти на помощь неимущему классу граждан. Вам теперь известно, какова предположительно сумма имеющихся в обращении кредитных билетов парижской ссудной кассы: она составляет 2.986.063 ливра; эту сумму нужно сейчас оплачивать; мы еще не знаем точно, в каком состоянии актив этой кассы. Директория департамента определяет его в 1.600.620 ливров, Генеральный Совет Коммуны—в 1.237.000 ливров. Мы считаем,что дефицит различных парижских касс может дойти до 5 миллионов.

«Завтра мы предложим вам проект декрета, распределяющего уплату этой суммы между богатыми гражданами департамента. Ваши комитеты, обращая внимание на другие ком-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

муны Республики, решили из'ять из обращения все кредитные билеты, выпущенные муниципальными или частными учреждениями».

Камбон предлагает, чтобы, начиная с очень близкого срока—с 1-го января, «всякое частное или муниципальное учреждение, которое выпустит билеты на пред'явителя, было приравнено к фальшивомонетчикам. Такое постановление не заключает в себе никаких неудобств, потому что к концу месяца будет в обращении на 200 миллионов ассигнатов по 10 и 15 су (входящих в состав нового 400-миллионного выпуска). Билеты на пред'явителя—только источник спекуляции. Билеты в 1.000 ливров, выпущенные учетной и патриотической кассами, без сомнения, имеют достаточную гарантию, но если дозволить их обращение, то мошенники пустят в ход и другие, а, кроме того, количество наших ассигнатов вполне достаточно для всех нужд торговли.

«Мы предлагаем вам установить, как общее правило, что дефицит, могущий оказаться в какой-либо из этих касс, покрывается коммунами, в которых они находятся, но соответственно состоянию; потому что богатый гражданин должен платить неизмеримо больше, чем человек среднего достатка, а тех, у кого есть только самое необходимое, вовсе нельзя облагать платежами. Этот принцип еще более верен в приложении к данному частному случаю, так как нельзя оспаривать того факта, что кредитные билеты были полезны, главным образом, крупным собственникам, владельцам предприятий и мастерских, ибо они освободили их от необходимости покупать звонкую монету. Эти и другие меры успокоят денежный рынок и, несомненно, предотвратят затруднения, которые может вызвать внезапное из'ятие билетов из обращения во многих департаментах».

Действительно, среди населения было довольно сильное беспокойство, обусловленное двумя причинами. С одной стороны, кредитные билеты обеспечивались преимущественно ассигнатами, а ассигнаты падали в цене; с другой—злостное банкротство парижской ссудной кассы, растратившей или вложившей в спекуляции часть сумм, которыми обеспечивались выпущенные билеты, поколебало кредит и других касс: кто же мог знать, не расхитили ли и они часть обеспечения выброшенных ими на рынок билетов. Поэтому Финансовый Комитет предвидел дефицит; согласно политике, принятой Конвентом с первых дней его существования, задача покрыть этот дефицит и оплатить публике ту часть кредитных билетов, которая больше не обеспечивалась в патриотических кассах солидным залогом, должна была в каждой коммуне пасть на богатых.

Подобно тому как в Руане и в Лионе, богатая буржуазия должна была, посредством принудительного, беспроцентного и прогрессивного займа, взять на себя задачу снабжения населения хлебом по умеренным ценам, она должна была и здесь покрыть при помощи прогрессивного налога дефицит эмиссионных касс. Имущество богатых людей начинает, повидимому, становиться как бы социальным запасным фондом, своего рода страховым капиталом от неприятных случайностей, нарушающих хозяйственную жизнь страны.

Собственно говоря, за исключением Парижа, в кассах, повидимому, не было дефицита. По крайней мере в тех муниципальных кассах, о состоянии которых Ролан говорит в своем отчете, сумма вкладов, гарантирующая кредитные билеты, или равна или даже превышает сумму выпущенных билетов. В Париже большая запутанность в делах сильно затрудняла надзор. В больших же провинциальных городах кассы учреждали либо сами городские управления, ведшие дела с неподкупной честностью, либо группы деловых людей, привычных к точности и к контролю.

Так, напр., в Бордо билеты были выпущены на более, чем десятимиллионную (10.391.034) сумму; отсюда видно, какую большую роль играли эти бумажные

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

деньги, вольная разновидность ассигнатов) точно соответствовал надежный и проверенный актив. То же было в Лавале, где билетов циркулировало на сумму 1.833.591 ливр.

В Лионе касса корпорации шапошников (maître chapelliers) выпустила билетов на 1.572.000 ливр. с равноценным активом. В городах: Анжер, Сомюр, Боже, Шоле, Корон, Тур, Сен-Кантен, Дюнкирхен, снова Лион (в патриотической кассе), Пуатье, Монтаржи, Бальмон, Нанси, Туль, Весьез, Люневилль, Макон, Бар-сюр-Орнен, Партней организация эмиссии билетов, выпущенных хотя и на меньшие, но все же довольно крупные суммы, была безупречна. Приведенный перечень еще не полон. Однако не служит ли это обилие мелких бумажных денег в добавление к огромному количеству ассигнатов признаком крайней напряженности обмена: 10 миллионов в одном только Бордо!

8 ноября Конвент принял декрет в окончательной форме. В нем виден в ходу весь административный механизм Революции, управляемый могучей волей великого собрания. «Национальный Конвент, заслушав донесение своего финансового Комитета, считая необходимым прекратить возможно скорее обращение билетов на пред'явителя, обмениваемых по пред'явлении на ассигнации или на билеты, подлежащие оплате ассигнациями, и пользующихся при обычных торговых сделках таким же доверием, как монета,—во избежание затруднений, могущих произойти от этого обращения;

«считая, что выпуск этих билетов, сделанный административными или муниципальными учреждениями, компаниями и частными лицами, ни в коем случае не может считаться долгом Республики;

«считая обязанностью представителей нации принять меры к пополнению дефицита, могущего получиться от различных выпусков этих билетов,—дабы наименее обеспеченная часть народа не стала жертвой несостоятельности или преступных козней лиц, организовавших выпуск,—постановляет нижеследующее»...

Дальше следует целый ряд статей, устанавливающих поверку касс комиссарами, назначенными директорией департамента или округа. Эти комиссары должны были проверять фонды и все ценности, гарантировавшие билеты, следить за продажей правлениями касс тех ценностей, под залог которых выпускались билеты, чтобы немедленно реализировать в ассигнатах или деньгах всю сумму билетов, находящихся в обращении.

«Статья 6. В день обнародования настоящего декрета административные и муниципальные учреждения прекращают выпуск вышесказанных билетов; служившие для их изготовления доски разбиваются; имеющиеся в обращении билеты отбираются, аннулируются и сжигаются публично.

«Статья 7. Административные и муниципальные учреждения, выпускавшие билеты, будучи ответственными за дефицит, могущий оказаться в их кассах, обязуются заботиться об его покрытии, и, если они этого не сделают, они будут принуждены к тому директорией департамента по заявлению комиссара, выбранного советом департамента».

Должна была быть немедленно произведена проверка касс компаний.

«Статья 9. В трехдневный срок после упомянутой проверки компании и частные лица, выпустившие в обращение указанные билеты, обязуются представить муниципалитету ассигнатами или монетой сумму, необходимую для изъятия из обращения всех выпущенных до того билетов».

При этом оплата билетов должна быть произведена не крупными ассигнатами, даже если устав кассы предусматривает это, а мелкими в 5 ливров.

«Статья 14. Чтобы облегчить изъятие упомянутых билетов, все условия относительно оплаты их только ассиг-

Электронная библиотека МГУ имени А.А. Кулешова

натами в 50 ливров и выше аннулируются; административные учреждения обязуются разменивать названным компаниям или частным лицам ассигнаты в 50 ливров и выше на ассигнаты в 5 ливров и ниже в неограниченных размерах».

А вот постановления касательно дефицита:

«Статья 16. За дефицит, могущий оказаться в кассах компаний или частных лиц, вышустивших в обращение билеты на пред'явителя... стоимостью ниже 25 ливров, известные под именем патриотических, кредитных, ссудных (de securs) или под каким бы то ни было другим названием и пользующихся в повседневных торговых сделках тем же доверием, как и наличные деньги, за результат продажи вещей и товаров и поступление активных долгов—отвечает в Париже департамент; а вдругих городах коммуны, в которых находятся указанные учреждения, с сохранением за ними права взыскания убытков с предпринимателей, управляющих, членов и прочих лиц, заинтересованных в делах названных касс.

«Статья 17. Сумма дефицита раскладывается на жителей в виде чрезвычайного налога, устанавливаемого Конвентом, согласно указаниям муниципальных и административных учреждений».

Начиная с 1-го января 1793 года ни один билет не должен был оставаться в обращении; чтобы вынудить владельцев пред'явить их к оплате в определенный срок, ст. 21 гласила:

«Лица, не пред'явившие своих билетов стоимостью ниже 25 ливров к оплате до 1-го февраля, будут лишены права взыскания убытков с коммуны; лица, не пред'явившие до 1-го января билетов стоимостью в 25 ливров и выше, обязаны для получения оплаты по ним, штемпелевать их в бюро взимания регистрационных сборов, внося туда 2% стоимости названных билетов».

Но, несмотря на всю строгость этого декрета, кредитные билеты не исчезли из обращения так скоро, как того желал Конвент; долго еще они усугубляли затруднения, вызывавшиеся в экономической жизни падением и колебаниями курса ассигнатов. Ролан констатирует 9 января 1793 года, что зло продолжает существовать:

«Фальсификация превратила коммерцию в океан случайностей. Люди испугались за обеспеченность своих доходов. Каждый хотел получить себе страховую премию под видом ли повышения цен на свои товары или прибавки жалованья за свою службу. Цены стали расти быстрым темпом, — обстоятельство тягостное для бедняков и истощающее государственную казну (вынужденную благодаря войне производить большие закупки).

«Законом 8-го ноября,—прибавляет Ролан,—Конвент мужественно вступил в борьбу с источником зол, постановил произвести оплату и из'ятие из обращения кредитных билетов на всем протяжении Республики. Мера была крупная: но события показали, что для приведения ее в исполнение было дано слишком мало времени». Это не значит, чтобы большинство патриотических касс, отчетность которых составлялась согласно законам, не доказали, что у них имеется обеспечения в ассигнатах на всю сумму выпущенных ими билетов.

Размен кредитных билетов на ассигнаты по 15 и 20 ливров произошел б везде без затруднений, не будь в некоторых больших городах удивительной смеси билетов всякого рода. В некоторых департаментах находились в обращении б леты всех областей Франции, и вдали от места их выпуска трудно было реали вать их на ассигнаты. «В момент, когда враг перешел границ Франции, она вся пришла в движение, батальоны добр вольцев двинулись на громадные расстояния, усеив свои пути билетами—каждый своего муниципалите или округа. Результатом этого было везде, а особенно в пограничных

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

партаментах, ужасающее смешение бумажных денег. И в настоящее время ничего нет труднее, как вернуть эти деньги к месту их выпуска».

Любопытное следствие огромного национального движения, перемешавшего людей всех областей страны, всех коммун в армии свободы! Пришлось дать самые продолжительные отсрочки, и таким образом, к причинам, влиявшим на цены, прибавилась еще одна второстепенная, но досадная причина нарушения экономического равновесия.

ГЛАВА XIV.

Рост цен на съестные припасы, особено на зерно. Тревожное настроение. Борьба за повышение заработной платы.

В этом общем вздорожании особенно выросли цены на хлеб. Вздорожание хлеба было вдвойне ужасно; прежде всего потому, что оно затрагивало питание народа, а затем потому, что хлеб был как бы тем масштабом, в соотношении с которым устанавливались цены на все остальное; таким образом чрезмерное повышение хлебных цен влекло за собой революцию и повышение всех остальных цен.

Между различными областями страны, особенно между севером и югом, существовало громадное различие цен на хлеб, от обычных до двойных, но везде он был неимоверно дорог. Временный Исполнительный Комитет в своей прокламации от 20-го октября 1792 года констатирует, что «почти во всех южных департаментах сетье (12 четвериков) зерна и 220 фунтов продается за 60 ливров и больше».

60 ливров—это ужасающая цена, составляющая почти 45 франков за гектолитр и даже более.

На севере хлебные цены вполовину меньше, но повсюду, даже в самых благополучных областях, хлеб доходит до 37 ливров за сетье. Эту цену констатирует министр внутренних дел в своем докладе от 19 ноября:

«В настоящее время, — пишет он, — обычная цена хлеба доходит до 37 ливров». Это, по сравнению с ценами последних 10 лет до Революции, огромное повышение. «С 1776 года до 1788,—утверждает Ролан,—цена на зерно почти не изменялась и держалась на среднем уровне в 22 ливра за сетье в 240 фунтов марочного веса». Теперь же цена удвоилась, а на юге даже утроилась. Фабр, депутат департамента Эро, не вдаваясь в подробности, говорит 3 ноября от имени Комитета земледелия:

«Повсюду наблюдается чрезмерное повышение цен, вызывающее серьезные опасения».

Крезе-Латуш «от имени продовольственной секции», констатирует в докладе от 8-го декабря, что цены в различных областях до крайности неодинаковы, но что повсюду ужасающее повышение довело их до уровня, неслыханного за целое столетие.

«Посмотрите на таблицу хлебных цен во Франции с 1756 до 1790 года. Это—средние цены каждого года, сведенные к парижскому сетье, в 240 фунтов марочного веса.

«С 1756 года до 1766 цена на хлеб составляла 14—18 ливров. В 1766 году она равнялась 20 ливрам; быстро повысившись в следующие годы, она в конце царствования Людовика XV достигла — 29 ливров.

«В 1774 году цена понизилась, и с того времени до 1788 года она стояла на уровне 19—20 ливров, никогда не подымаясь выше 23, за исключением 1775 года, когда во многих провинциях был недород и связанные с ним волнения.

«Взгляните на таблицу цен во всех департаментах, относящихся ко времени с 1-е по 15-е октября текущего года и также сведенных к парижскому

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

сетье. Из нее явствует чрезвычайная неравномерность цен. Тогда как многие департаменты имеют хлеб по 24, 26, 27 и 28 ливров, другие в то же самое время платят за него 56, 60 и даже 64 ливра, третьи 40—50, четвертые 30—40».

Крезе-Латуш указывает, например, что департамент Луар-э-Шер, лежащий между департаментами Сарт и Луаре, где хлеб стоит 29—31 ливра, платит за него 45 ливров.

«Департамент Ланд платит за хлеб 26 ливров, а он находится между Жирондой и Нижними Пиринеями, где цены равняются 41 и 42 ливрам». Главная забота докладчика—показать что эти колебания вызваны недостаточным обращением зерна в стране. Но если это недостаточное обращение и об'ясняет «чудовищную неравномерность» хлебных цен в разных департаментах то оно не об'ясняет их общего, и действительно исключительного повышения. Это повышение явствует из таблиц, оглашенных Крезе-Латушем, которые я воспроизвожу, как чрезвычайно важный документ экономической жизни революции.

Вот таблица средних цен на пшеницу, по годам, начиная с 1756 года, за парижское сетье:

1756	14 ливр.	19 су	1769	24 ливр.	— су	1781	20 ливр.	19 су
1757	18 „	11 „	1770	29 „	7 „	1782	23 „	16 „
1758	17 „	11 „	1771	28 „	6 „	1783	23 „	9 „
1759	18 „	8 „	1772	26 „	— „	1784	23 „	18 „
1760	18 „	7 „	1773	25 „	13 „	1785	23 „	4 „
1762	15 „	9 „	1774	22 „	14 „	1786	22 „	— „
1763	14 „	17 „	1775	24 „	16 „	1787	22 „	2 „
1764	15 „	12 „	1776	— „	— „	1788	25 „	2 „
1765	17 „	8 „	1777	20 „	17 „	1789	34 „	2 „
1766	20 „	14 „	1778	22 „	18 „	1790	30 „	7 „
1767	22 „	6 „	1779	21 „	4 „			
1768	24 „	4 „	1780	19 „	15 „			

Итак, с 1756 до 1790 года, в течение 32 лет, средняя цена составляла 23 ливра за сетье (около 120 кило), т.-е. 20 ливров или около 20 франков за 100 кило. Теперь же средняя цена достигает 37 ливров, с значительными отклонениями в разных департаментах, но даже и в самых благополучных из них она не спускается до уровня средней цены за 32 предшествующие года.

Вот цены по департаментам с 8-го по 16-ое октября 1792 года:

Эн (Ain) 43	Дуб 42	Лозер . . . . .
Эн (Aisne) 32	Дром 47	Мэн и Луара . . .
Аллье 43	Эр 26	Манш . . . . .
Альпы (Верхние). . . 63	Эр и Луарн 26	Марна . . . . .
Альпы (Нижние) . . . 54	Финистер 28	Марна (Верхняя). .
Ардеш 44	Гар. 51	Майенн . . . . .
Арденны. 47	Гаронна (Верхняя) . . 42	Мерт . . . . .
Арьеж. 55	Жер 42	Мез . . . . .
Об. 25	Жиронда. 42	Норбиган . . . . .
Од 34	Эро 58	Мозель. . . . .
Авейрон 53	Иль-э Вилэнь 28	Ньевр . . . . .
Устья Роны. 51	Эндр. 43	Нор . . . . .
Кальвадос 30	Эндр и Луара 29	Уаза . . . . .
Канталь 30	Изер 29	Орн . . . . .
Шаранта 35	Юра 45	Па-де Кале . . . . .
Шаранта Нижняя . . 34	Ланд. 27	Пюи-де-Дом. . . . .
Шер 37	Луара и Шер 47	Пиринеи (Нижние) .
Коррез 42	Луара (Верхняя) . . . 51	Пиринеи (Верхние).
Кот д'Ор 35	Луара (Нижняя) . . . 30	Пиринеи (Восточные)
Кот-дю-Нор 26	Луаре 31	Нижний Рейн . . .
Крез. 49	Ло. 28	Верхний Рейн . . .
Дордонь 40	Ло и Гаронна. 40	Рона и Луара . . . .

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Верхняя Сона	41	Сена и Марна	30	Вандея	31
Сон-э-Луар	34	Дё-Севр	32	Вьенна	38
Сарт	30	Сомма	30	Вьенна (Верхняя)	32
Сена и Уаза	25	Тарн	30	Вогезы	32
Нижняя Сена	31	Вар	43	Ионна	31

Это повышение, столь неравномерное, но всюду очень сильное,—отнюдь не временное явление; оно продолжается в январе 1793 года, когда Ролан представляет свой отчет Конвенту. Я ниже вернусь к причинам кризиса, указанным Роланом, теперь же я цитирую этот весьма важный во многих отношениях отчет только для того, чтобы отметить постоянство повышения хлебных цен и его глубокие следствия для всей экономической жизни Франции «Напрасно,—говорит Ролан,—были отменены таможенные границы, еще более разрушительный инквизиторский розыск уничтожает питание всей кровеносной системы политического тела страны. Цена на зерно колеблется для французов от 25—64 ливров за сетье, и земледелец не может свободно обменивать плоды своих трудов на промышленные изделия своих соотечественников. Конвент противопоставил этой ложной, дезорганизующей все социальные отношения системе исполненный мудрости закон, но к условиям, неблагоприятным для земледелия надо еще прибавить необходимость выпуска для покрытия государственных расходов значительной массы ассигнатов, которые расцениваются вдвое дешевле звонкой монеты, общего знака богатства всех коммерческих наций. Сельский рабочий ведет борьбу с хозяином за повышение заработной платы; потребитель же лишь с трудом соглашается на повышение цен на местные припасы вызываемое ростом издержек производства. Это повышение является тем более неминуемым, что миллион рабочих рук, занятых сейчас обороной Республики, лишает земледельца свободы в выборе работников. Это еще не все: рогатый скот и лошади, помощники земледельца в его работах, уменьшающие его расходы и увеличивающие производительность его труда, теперь отняты у него, частью для прокормления защитников отечества, частью же для военных работ...

«Те же болезненные признаки намечаются и в обрабатывающей промышленности. Первый элемент цены всякой работы, всякого фабриката оказывается расстроенным, так как хлеб, стоивший во Франции в течение долгого времени в среднем 22 ливра за сетье весом в 240 фунтов, повысился теперь в общем до 37 ливров.

«Многочисленные потребители, живущие рентой, жалованьем, поденной работой, не имея такого же увеличения доходов, сокращают потребление и не оживляют уже своими тратами прежних путей обращения товаров; многие из них, встревоженные обесцениванием ассигнатов, покупают не для потребления, а про запас».

Итак, громадное повышение цен на хлеб и зерно, официально отмеченное в прокламации Временного Исполнительного Совета от 30-го октября находит еще раз официальное признание в своей грубой реальности и с вытекающими из него последствиями со стороны министра внутренних дел 9-го няваря 1793 года.

При таком разнообразии хлебных цен не легко установить с точностью, какова была средняя цена на хлеб. Лекинио, стремившийся успокоить Конвент, говорит в своей речи от 29-го ноября: «Заметьте, что жалобы народа и голод

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

имеют место вовсе не в департаментах, где нехватает хлеба, а в тех, где он в изобилии. Сейчас зерна недостает в некоторых южных департаментах, и хлеб продается там но 7 или 8 су за фунт; тем не менее там царит полное спокойствие. На 30 льё вокруг Парижа земля производит лишь хлеб, урожай был хорош, все закрома полны; хлеб в Париже стоит только 3 су за фунт, в окрестностях на 30 льё он не дороже, и все же здесь царит зло».

Но если в Париже хлеб стоил только 3 су за фунт, то лишь потому, что парижский муниципалитет продавал зерно в убыток. Поэтому, несомненно, что стоимость фунта хлеба почти везде превышала 3 су. Припомните, как лионский депутат воскликнул в Конвенте, что в Лионе хлеб продается по 5 су за фунт, и сопоставьте с этим почти невероятные цены на хлеб в 7 — 8 су, отмеченные Лекинио в некоторых южных департаментах; придется допустить, что почти везде цена хлеба дошла, по крайней мере, до 4 су за фунт. Барбару предлагает 8-го декабря проект декрета, статья вторая которого гласит:

«Когда цена на хлеб поднимется в большинстве департаментов выше 36 денье за фунт, вывоз зерна из пределов Республики должен быть воспрещен законодательным собранием, и виновные в нарушении этого постановления будут наказаны смертью» (36 денье равняется 3 су: денье составляет двенадцатую часть су).

Значит, по мнению Барбару 3 су являются предельной ценой, которую может выдержать народ. В том же декрете он говорит (ст. 4): «Вывоз зерна с настоящего момента воспрещается». Значит, в большинстве департаментов хлеб неоспоримо стоил дороже 3 су за фунт. Впрочем, он продавался почти по 3 су за фунт уже перед октябрьским повышением цен; я считаю поэтому допустимым сделать вывод, что в конце 1792 года и в 1793 хлеб стоил, по крайней мере, по 4 су за фунт почти во всей стране. Большинство ораторов Конвента согласно утверждают, что французский рабочий, особенно в деревне, потреблял по 3 фунта хлеба в день. Дюфриш-Валазе определенно говорит в своей речи 23 ноября:

«Вобан определяет потребление хлеба на душу лишь в 3 сетье в год, что не составит и 2-х фунтов в день, но если горожане и потребляют меньше, то будет им известно, что сельский житель, чьи труды и силы всегда находятся в взаимном соответствии, потребляют гораздо больше. Опыт показал мне, что земледелец с'едает от 3 до 3¼ фунта хлеба в день».

Правда, бедняки могли прибавлять к пшенице рожь; но, не ухудшая качества хлеба, французский гражданин должен был в то время тратить 12 су на один только хлеб. Барбару исчисляет ежегодную стоимость потребляемого 25 миллионами французского населения хлеба в 2.400 миллионов ливров; значит на одного едока приходилось 88 франков. А в этом году грубые виды хлебов, которые можно было бы назвать хлебом бедноты, и которые заменяли в нужде пшеницу, не уродились.

«Почти беспрерывные осенние дожди,—пишет Ролан,—нанесли большой вред второсортным хлебным злакам, как маис и гречиха, составляющим главную пищу бедного населения во многих округах. Недобору этих хлебов надо преимущественно приписать многочисленные просьбы о вспоможении, поступающие ко мне ежедневно».

Следовательно, приходилось рассчитывать только на пшеницу; оказывается, что, исходя из цен на пшеничный хлеб, каждый работник, городской или деревенский, смотря по тому, потреблял ли он 2 или 3 фунта в день, должен был расходовать на один только хлеб от 8 до 12 су, т.-е. по меньшей мере треть, а то и половину своего заработка. Я не вхожу в данную минуту в исследование размеров заработной платы в эпоху революции; я хочу лишь в

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

основании немногих примеров показать, насколько цены на хлеб были в то время чудовищными по сравнению с заработной платой. Многие поденщики в деревне зарабатывали не больше 20 су в день. Мы видим, что парижские строительные рабочие получали 40 су. Я беру из отчета Ролана, где он констатирует высокие цены на хлеб, размеры жалованья некоторых категорий квалифицированных рабочих, оплачивавшихся особенно высоко. Так, на Севрской мануфактуре рабочие, в числе 204 человека делились на 6 мастерских. Мастерская живописи состояла из мастера и 72 рабочих, годовой заработок которых составлял в целом 63.492 ливра; т.-е. среднее годовое жалованье каждого из этих рабочих, представлявших из себя художников, равнялось 900 ливрам, т.-е. 3 ливра за рабочий день. В мастерской тонкого фарфора мастер и 46 рабочих получали в год 33.285 ливров, что составляет средний годовой заработок одного рабочего в 718 ливров, или 2 франка 30 сантимов (46 су) за рабочий день. В мастерской толстого фарфора мастер и 26 рабочих получали в год 20.256 ливров, почти 50 су в день. В обжигательной мастерской на мастера и 42 рабочих приходилось в год 25.620 ливров, что дает на одного 581 ливр в год или 38 су в день. На мануфактуре гобеленов: рабочих было 134, из них 18 учеников, и в целом их оплата достигала 109.546 ливров в год. Эту сумму надо уменьшить на 8—10 тысяч ливров в год, благодаря вычетам четверти дневной платы за прогулы».

Итак, в действительности рабочие гобеленовой мастерской получали около 100 тысяч ливров в год; т.-е. (включая жалованье учеников) по 860 ливров на каждого, другими словами, по 56 су за фактический рабочий день или при расчете на круглый год едва по 50 су в день. Это были редкие рабочие, соперничавшие талантом с художниками и обязанные так глубоко проникать в произведения мастеров, что, в зависимости от более широкой или утонченной манеры, воспроизводимого ими на ткани художника, быстрота их работы, измеряемая аршином, была весьма различной.

«Когда воспроизводились картины старых мастеров, плата, назначенная за труд, не встречала возражений; но при передаче Буше, Ван-Лоо, работник не мог выполнить своей работы с такою же скоростью». Если высокие оклады жалованья были на таком уровне, то какова же должна была быть обычная заработная плата. Мне кажется, не будет слишком рискованным определить ее едва в одну треть теперешней заработной платы. В настоящее время, за последние 10 лет цена хлеба во Франции в общем не доходит и до 3 су за фунт. Следовательно, хлеб в начале 1793 года был дороже, по крайней мере, на одну четверть; по сравнению же с заработной платой он был дороже в 4 раза. Какое бремя для народа в этот одновременно трудный и победоносный для революции период!

Но каковы же были причины этой ужасной дороговизны?

Без сомнения, невозможно разобрать их все и измерить действие каждой в отдельности. В периоды мирового обновления, когда все поколеблено, факты перепутываются до крайности, явления экономического и политического порядка воздействуют одни на другие до бесконечности.

Было бы чересчур легко сказать, как говорят историки во вкусе Тэна, что причиной дороговизны было общее недоверие и анархия. Без сомнения, народ хранил недобрую память о хлебных операциях старого режима, с ужасом вспоминал о неурожаях и периодических голодовках, опустошавших страну. И каждый департамент, округ, кантон, полагая, что хлеб, вывезенный из их пределов, станет об'ектом преступных спекуляций, предпочитал держать его на месте. Таким образом обращение хлеба в стране было если и не остановлено, то нарушено, и области, имевшие его в избытке, только с трудом отдавали его туда, где его нехватало; отсюда вытекала, без сомнения, крайняя неодинаковость цен.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Недавно сделанное открытие снова вызвало к жизни самые печальные воспоминания и ужасные легенды о спекуляциях на голод. Бумаги, захваченные в Тюильери, вскрыли довольно странный способ использования за счет короля находившихся в его распоряжении свободных средств. Король, в записке от 7-го января 1791 года, поручал управление ими г. де-Септейль.

«Я уполномочиваю г. де-Септейль поместить мои свободные денежные средства, как он найдет подходящим, в векселя на Париж или на иностранные государства, без всякой гарантии с его стороны».

И г. де-Септейль вступил в сношения с торговыми домами Нанта, Лиона и особенно Гамбурга, совершая за счет короля сделки на сахар и хлеб, играя на повышении цен. Вот письмо от 22 апреля 1792 года, адресованное г.г. Дюбуавиолет и Моллер в Нанте:

«Г. Рокк из Гамбурга, в бытность свою здесь в последний раз, предупредил вас, что закупка 20 бочек очищенного сахару на сумму 65.982 ливра, сделанная по его приказу, была произведена на мой счет. Вследствие чего прошу Вас, господа, от времени до времени, и прежде всего в ответ на данное письмо, осведомлять меня о ценах на сахар и о том, на какую прибыль я могу рассчитывать. В зависимости от этих сведений я поручу вам продажу сахара. Мое намерение—реализовать эту партию возможно скорее, как только я мог бы получить от нее 10—12% барыша. Прошу адресовать ваши письма в запечатанном виде на имя г. Шаландрэ, улица Университета».

30 апреля 1792 года Септейль писал Рокку, находившемуся тогда в Амстердаме у г.г. де Бюри и К°: «Милостивый государь, я с удовольствием узнал о вашем благополучном прибытии в Амстердам; очень рад, что вы не встретили никаких затруднений в дороге; теперь, пожалуй, будет не так, с момента объявления нами войны... Что касается до товаров, я смотрю с большим огорчением на огромное понижение цен на № 1. С нетерпением ожидаю следствий объявления нами войны. Вам известны мои намерения касательно этого предмета, я настаиваю на том, чтобы произвести реализацию аль-пари. Рассчитываю на то, что вы сумеете использовать обстоятельства, если они окажутся более благоприятными. Что касается до №№ 2 и 3, то я уверен, что эти товары должны подняться в цене; я надеюсь, что вы будете точно извещать меня об изменениях цен, и что вы не упустите случаев, благоприятствующих моим интересам; вы мне подали хорошие надежды на эти операции; желаю видеть их быстрое осуществление. Уверен, что мне придется лишь благодарить вас».

Очевидно, операции за счет короля были незначительны, но они представляли из себя спекуляцию на повышение, и, когда эти письма были захвачены и опубликованы, умы, и без того слишком возбужденные повышением цен на товары, усмотрели в них часть обширного тайного плана. Септейль, в письме от 14 мая 1792 года к г.г. Энгельбак и Рокк в Гамбурге, писал: «Я просил вас подтвердить употребление В. М. 75.089 за мой счет, пропорционально, на совместные закупки пшеницы, достигающие, по переданным г-ну дю Коломбье фактурам, В. М. 402.992».

Суммы были ничтожны и ни в коем случае не могли повлиять на цены, но какое отсутствие сознания, какая гибельная опрометчивость у этих слуг короля, которые в разгаре революции и войны, когда народ, еще помнивший о «pacte de famine», начинал роптать на дороговизну хлеба, связывали имя Людовика XVI со спекуляциями на повышение цен на колониальные товары и хлеб. Септейль просит своих гамбургских корреспондентов

Электронная библиотека МГУ имени М. Кипешова

(какие драгоценные прецеденты для монархического и антисемитского национализма, добродетельного врага финансового космополитизма) подтвердить ему получение в их распоряжение кофе из Гавра и Нанта, и сахара из Нанта:

«Вы меня очень обяжете сообщениями по всем этим пунктам. Скажу вам больше, что г. Рокк определенно обещал мне, что вы напишете мне о ценах на каждый из этих товаров».

Приписка гласит:

«Я не сомневаюсь, что цена на пшеницу будет постоянно повышаться, и что вы дойдете не более, чем до 120, хотя это случится еще очень нескоро».

Сентейль недоволен своей операцией и боится, что купил хлеб как раз в момент наибольшего поднятия цен; он, однако, пытается утешить себя предвидением нового повышения цен, в связи с большими закупками для армии.

«В Гамбург, г. г. Энгельбак и Рокк, 8 июня 1792 г.

«Следует признаться, что я очень неудачно купил пшеницу в момент самых высоких цен на нее; надеюсь, что вы приложите все старания к тому, чтобы извлечь для меня все выгоды, какие вам дадут предположительный урожай на севере и потребление хлеба большими армиями. По имеющимся сведениям, виды на урожай во Франции хорошие. Однако, из года в год продукты дорожают перед уборкой хлеба и даже после нее; без сомнения, у вас дело обстоит точно так же, и я надеюсь, что в течение июля и августа месяцев цены поднимутся; я уверен также, что к осени поднимутся цены и на колониальные товары».

Впрочем, Сентейль остался недоволен своими доверенными г.г. Рокк и Энгельбак, которым он посылал для перепродажи сахар, кофе и зерно. Он усомнился в их солидности и прекратил торговые сношения с ними, но продолжал заниматься спекуляциями, и с целью поддержать курс написал своим новым корреспондентам в Гамбурге: г. г. Попп и К°.

«Я не устанавливаю никаких предельных цен на пшеницу. Вы узнаете о распоряжениях нашего правительства насчет закупок у вас, за которыми, как говорят, последуют новые, еще более крупные».

Сентейль развивал свои мелкие операции также в Лондоне и Петербурге. Документы, относящиеся к этим спекуляциям, были оглашены с трибуны Конвента и усилили народное волнение. В ходу, правда, были только маленькие суммы, но разве была раскрыта вся сеть операций? А если суммы цивильного листа шли на покупку зерна, на хлебные спекуляции, то не входила ли в систему короля вся контр-революция? Пусть же хлеб остается под надзором народа, если не хотят, чтобы контр-революционеры, знать, крамольные священники, купцы-аристократы, богатые буржуа собирали его в тайные хранилища с целью заставить революционный народ голодать.

Жирондист Валазе, докладчик Комиссии по рассмотрении бумаг, найденных в Тюильри, яростно обличал 6-го ноября королевские спекуляции:

«На что только не было способно это чудовище! Вы увидите, что король выступил против всего человечества. Я обличаю его перед вами, как спекулянта, оперировавшего зерном, сахаром и кофе. Сентейлю была поручена эта отвратительная торговля, на которую ушел не один миллион. Для того ли народ осыпал изменника богатствами, чтобы он так ужасно воспользовался ими? Только сердце короля способно на такую неблагодарность.

«А! я больше не удивляюсь тому, что законами недостаточно предусмотрена скупка продуктов. Все было сделано, чтобы отклонить от этого предмета мысли законодателей; народу, всегда легковерному, затыкали рот, уверяя его, что скупщиков нет и не может быть; что во всех частях государства за этим слишком

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

внимательно следят муниципальные учреждения и национальная гвардия... Народ молчал, ведь его так легко убедить, а вслед за тем, под громким предлогом свободной торговли хлебом в стране, его заставляли помогать скупщикам. Я воспользуюсь этим уроком и беру на себя обязательство с особым тщанием следить за редакцией законов, касающихся продовольствия.

«Вы, народные представители, хорошо понимаете, что только что изобличенная мною отвратительная торговля скрывалась под покровом всевозможных тайн, и даже мы долго думали, что наши розыски останутся бесплодными. Суммы, которые шли на это и имя того, кто этим занимался, не оставляют у нас никакого сомнения относительно того, что Людовик Капет, по примеру своего деда, участвовал в этой отвратительной торговле. Мы знаем все возраставшие потребности его порочного двора. Мы видим, как трудно бывало иногда Септейлю удовлетворить эти потребности; однако гордый деспот хотел, чтобы его требования выполнялись немедленно. Мы видим, как этот самый Септейль вложил 2 с лишним миллиона в торговлю, которую он вел в Гамбурге, Лондоне и других местах, приняв лишь предосторожность сноситься письменно по этому поводу под вымышленным именем; мы уверены в то же время, что тиран был осведомлен относительно коммерческих сношений своего агента с иностранцами, так как в наших руках находятся документы, векселя на Лондон. Мы не перестанем повторять, что Септейль не был бы настолько неблагоразумен, чтобы отказаться от нескольких миллионов, когда от него ежедневно требовали крупных выплат, если только у него не было готового ответа на эти требования.

«Наконец, после того как мы пересмотрели сотни раз кипы бумаг, содержавшие фактуры и корреспонденцию, относившиеся к этой торговле, которая велась с июня 1791 г. вплоть до революции (10-го августа), нам удалось найти убедительный документ».

Это было полномочие Людовика на имя Септейля, которое я цитировал выше. Валазе преувеличил многое. Прежде всего, перечитывая документы, приложенные к его докладу, я не нахожу миллионов, употребленных на торговые операции. Я вижу, правда, что король требует от г. Дюрюэ 24-го февраля 1791 г. аванса в 1 миллиона, но ничто не указывает, чтобы эти деньги назначались на коммерческие комбинации.

Самые крупные закупки были произведены 2-го июля 1792 года: 595.69 фунт. кофе и 234.793 фунта сахару были куплены в Гавре и Нанте и препровождены в Гамбург для хранения там у г.г. Попп и К°; поэтому я думаю, что капитал, вложенный агентом Людовика XVI в эти операции, не превышал миллиона. Но если бы это были даже 2 или 3 миллиона, какое влияние могли бы иметь на общее движение цен? Нет ничего похожего на планомерную скупку хлеба, на спекуляции за счет народного голода. Мы имеем здесь только изумительное отсутствие всякого сознания, полный разрыв между мышлением короля и жизнью народа.

Крезе-Латуш допустил противоположные преувеличения, пытаясь 8-го декабря успокоить волнение, вызванное этими документами:

«Вы помните, что в отчете о Людовике XVI, представленном вам Комиссией 24-х в заседании 6-го ноября, его обвиняли в скупке зерна; я был очень удивлен этим обвинением, так как я не особенно верю в эти скупки и хорошо знаю, что в этом году в распоряжении Людовика XVI не было ни денег, ни интендантов, ни властей, ни штыков, ничего, чем располагал его дед.

«Но меня еще более удивило то, что докладчик, обличая перед нами эти операции скупки, присоединил к обвинениям свои собственные критические рассуждения о вреде свободной торговли хлебом, отнюдь не выясняя, каким именно образом производились эти скупки; я заранее предвижу зло, которое может

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

быть вызвано такими неопределенными обвинениями. Ибо, когда говорят так гласно о скупках, не выясняя точно фактов, народ, становясь все более беспокойным и подозрительным, смешивает невинные и даже полезные операции с преступными, а ошибки подобного рода неминуемо еще более ухудшают народные бедствия.

«Я вынужден делать собственные предположения касательно этих скупок. Я представляю себе, что Людовик XVI, желая пустить в ход свои капиталы, в качестве купца, занялся спекуляциями зерном, и, вследствие этого, чтобы повысить цены на хлеб, подсылал агитаторов и эмиссаров, которые вызывали волнения в народе и мешали нормальному обращению зерна в стране.

«.... Я отправился в помещение заседаний Комиссии Двадцати-четырех, чтобы рассмотреть там документы, касавшиеся этих, якобы, спекуляций. Из документов я увидел, что Септейль или его агенты употребляли капиталы нескольких компаньонов на спекуляции кофе, сахаром и зерном. Я заметил, что купленное зерно назначалось для перепродажи во Франции, а не для вывоза за-границу, затем из писем компаньонов я увидел, что они были в отчаянии от того, что деньги обратили на покупку зерна: их письма полны жалоб и упреков по этому поводу. Одни хотели выйти из общества, другие требовали, чтобы поскорее разделались с этим товаром.

«Главная причина их недовольства этой операцией заключалась в том, что приближалось время жатвы, и что урожай обещал быть хорошим.

«Итак, если Людовик XVI и тратил суммы цивильного листа на коммерческие спекуляции, все же очевидно, что он, хотя и был королем, подчинялся законам природы и всем случайностям удачи и неудачи, как всякий другой купец».

Здесь мы имеем оптимизм экономистов в своей чистой форме. Слушая Крезэ-Латуша поддаешься искушению поверить, что Людовик XVI и Септейль заботились о снабжении Франции продовольствием. Но народ поражало и смущало то обстоятельство, что, в то время когда повышение цен на зерно и хлеб было губительным для страны, король мог ждать этого повышения, мог возлагать на него свои надежды. Легко можно было поверить, что король, спекулируя на повышение цен, сам пользовался всякого рода средствами, с целью вызвать это повышение. Но это охватившее народ беспокойство и недоверие с вытекающими из них последствиями—укрыванием запасов зерна и застоем хлебной торговли—все же недостаточно об'ясняют исключительное повышение цен в конце 1792 года, потому что с начала Революции у народа были те же страхи и подозрения касательно снабжения продовольствием, а между тем хлебные цены не достигли той высоты, как теперь.

Это движение цен нельзя об'яснить скудостью или хотя бы средним качеством урожая, который был хорош, на чем сходятся все свидетельства. Революции сопутствовала обильная жатва. Временный Исполнительный Совет в прокламации от 30-го октября официально констатирует это изобилие:

«Во многих департаментах Республик снабжение продовольствием составляет предмет беспокойства в народе. Напрасно наша земля даланам обильный урожай; страх овладевает умами, владельцы запирают хлебные амбары, купец не смеет заняться своими делами; торговля замирает, и поэтому мы терпим частичную, искусственно созданную, нужду среди фактического изобилия».

Фабр, из департамента Эрэ, говорит в своем докладе 3-го ноября:

«Если верить наиболее известным экономистам, Франция, в общем, собирает с своих полей количество хлеба, достаточное для прокормления всего своего населения; и хотя нельзя иметь точных данных по данному вопросу, все вероятия сходятся в пользу этого предположения. Если урожай этого лета и был скудным

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

в некоторых департаментах, т о д р у г и е п о с е т и л о с ч а с т л и в о е и з о б и л и е, к о т о р о е д о л ж н о б ы л о б ы п о п р а в и т ь ч а с т и ч н ы е б е д с т в и я. Петиции не содержат указаний на недостаток хлеба».

Бефруа 16-го ноября говорит: «Среди изобилия народу грозит нищета». По поводу округа Уазы, Изоре пишет: «На основании собранных мною лично точных сведений и наблюдений наших доверенных, я уверяю, что этот округ будет иметь, сверх необходимого для его потребления количества хлеба, излишек в 15.000 сетье пшеницы (по 275 фунтов марочного веса в сетье); сделав подобные наблюдения над всеми округами департамента Уазы, и приняв в расчет неблагодарную почву некоторых кантонов, я нахожу, что за вычетом того, что необходимо оставить для потребления населению, этот департамент может уступить соседним 80.000 сетье.

Лекинио говорит 29-го ноября:

«Чувствует ли Франция недостаток в хлебе? Нет, на деле Франция собирает с полей больше, чем ей нужно. Урожай этого года был хорош, и мы его еще не использовали. Если даже его и окажется недостаточно для нужд целого года, то в настоящий момент мы, несомненно, находимся в изобилии».

Фейян в тот же день говорит:

«Будете ли вы еще терпеть, чтобы Франция жаловалась на голод среди изобилия».

«...Несомненно, что в Республике есть больше зерна, чем нужно для потребления граждан».

Сен-Жюст утверждает, что продукты есть, но что их прячут, вследствие излишка денежных знаков. Дюфриш-Валазе, определенно восстающий против оптимистических подсчетов, признает, однако, что зерна достаточно:

«Вы хотите, чтобы я прибавил все возможное к расчетам экономистов? Хорошо! я согласен, что урожай так или иначе составляет сам $4^1/_6$, за вычетом семян; из этого следует, что нам хватит хлеба, если не будет общего или частичного неурожая. Таким образом рассеивается прекрасный сон, продолжавшийся, к сожалению, слишком долго; без затруднения находят себе об'яснения все события. Меня больше не удивляет, что Франция так часто поддается страху остаться без продовольствия; будь у нее даже больше, чем ей надо, малейшей причины довольно, чтобы вызвать эти страхи среди столь сильного, как наше, населения».

Но он заключает:

«Зерна у нас почти столько, сколько нам надо».

Крезе-Латуш 8-го декабря заявляет:

«Я смело утверждаю, что во Франции никогда не было столько хлеба, сколько теперь... В т е ч е н и е т р е х л е т б ы л и х о р о ш и е у р о ж а и, а п о с л е д н и й у р о ж а й б ы л п р е в о с х о д н ы й...»

«Прибавьте к запасам хлеба от последнего урожая и даже от урожая прежних лет (потому что таковые еще имеются), особенно в северных департаментах, еще то зерно, которое мы должны получить из-за границы, и вы увидите, что французский народ утопает в изобилии, хотя и не пользуется им».

Луи Портье, депутат департамента Уазы, 8-го декабря пишет:

«Граждане-законодатели, время уборки хлеба едва прошло, а уже кричат о голоде. Закрома еще полны зерном, а нам грозят голодом... «Д о 1 7 8 9 г о д а п о ч в а Ф р а н ц и и д а в а л а у р о ж а и б о л е е ч е м д о с т а т о ч н ы е д л я п о т р е б н о с т е й н а с е л е н и я; т о г д а х л е б в ы в о з и л и д а ж е з а г р а н и ц у; д и ч ь п о л ь з о в а л а с ь п р и в и л е г и е й б е з н а к а з а н н о о п у с т о ш а т ь н а ш и п о л я и е ж е г о д н о, т а к и м о б р а з о м, п о е д а л а, п о м е н ь ш е й м е р е, д е с я т у ю ч а с т ь н а ш и х з е м л е д е л ь ч е с к и х п р о д у к т о в. Т е п е р ь, к о г д а х и щ н и к о в п р е с л е-

Электронная библиотека МГУ имени А.А. Кулешова

дуют, когда вывоз за границу воспрещен, когда количество продовольствия увеличилось 2 миллионами квинталов, ввезенных как зерном, так и мукой с 1-го января текущего года до сих пор из-за границы, статистики тщетно ищут причин нашего искусственного оскудения посреди изобилия».

Все газеты утверждают то же.

В важной статье о продовольствии (24-го ноября—1-го декабря 1792 г.) газета «La Révolution de Paris» говорит:

«Урожай в этом году был обильный, даже предыдущий год дал достаточное количество хлеба для всей Франции».

Кондорсэ также приводит свидетельства, устанавливающие, что во Франции нет недостатка в хлебе. Бриссо, увлеченный полемикой с Робеспьером и Маратом, приписывает дороговизну зерна «одним только агитаторам».

Но приведем, после всех этих общих весьма определенных свидетельств, несколько очень интересных частных указаний.

Лоран Лекуантр—депутат департамента Сены-и-Уазы—представляет весной 1793 г. на рассмотрение Конвента весьма важную записку, из которой я возьму позднее ценные данные по вопросу об оплате труда. Он хотел показать Конвенту, что тот мог и должен был установить таксу на хлеб, и что фермеры, имея хорошие доходы, легко могли вынести эту таксу. Для доказательства он приводит точный бюджет известной ему фермы с 300 арпанами земли. Ему легко было бы, в интересах защиты своего тезиса, поддаться соблазну преувеличить цифру производительности земли. Однако, он предупреждает, что результаты, полученные в 1792 г., должны быть заметно уменьшены, если хотят более или менее точно измерить производство фермы:

«Я собираюсь,—говорит он,—охарактеризовать положение фермера, исходя из наименее благоприятного урожая как в смысле количества, так и в смысле цен; и я предполагаю, что вместо 800 сетье пшеницы, собранных в 1792 г. со 100 арпанов земли, в 1793 г. будет собрано только 700 сетье... вместо 450 сетье овса, собранных в 1792 г. со 100 арпанов, в 1793 г.—лишь 400 сетье парижской меры, считая по 24 четверика в сетье».

Таким образом Лекуантр, стараясь дать самое выгодное представление о доходах фермеров, не решается взять урожай 1792 года за типичный и убавляет его на одну восьмую для пшеницы и на одну девятую для овса.

И он горько жалуется на «чрезмерные, постыдные, недопустимые барыши», получаемые «при настоящем положении вещей», когда «урожай равен урожаю 1792 года, а тогда сбор во всех земледельческих департаментах был обильный, ибо,—прибавляет он,—мы можем себя утешить тем, что дороговизна происходит не от недостатка хлеба, а вследствие злого умысла некоторых людей».

Для меня важны здесь не об'яснения, даваемые Лекуантром, но самый факт, устанавливаемый им с такою точностью. Он облекает свои утверждения в плоть и кровь, развертывая перед нашими глазами картину широких равнин, еще покрытых недавно снятой с них жатвой.

«Откройте свои глаза, граждане, и взгляните на поверхность этого государства. В земледельческих департаментах, не далее 40 льё от Парижа, поля еще полны скирдами хлеба; во дворах крупных хозяев вы найдете еще нетронутым сбор от обильной жатвы последнего года; у некоторых даже за 2 года. Войдите в житницы, многие из них еще полны, амбары скупщиков наполнены».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

И как будто бы здесь невозможны никакие сомнения по существу, Лекуантр восклицает:

«Вы, законодатели, являетесь свидетелями этого изобилия и, не обращая внимания на стоны несчастных, хладнокровно смотрите, как хлеб, который должен был бы стоить, самое большее, 30 ливров за сетье весом в 240 фунтов, продается по 50 и 55 ливров, и другие сорта соответственно».

Итак, в урожайном 1792 году щедрость земли соответствовала великодушию Революции. Под солнцем 10-го августа серп земледельца снял богатую жатву. О голоде не может быть и речи; свои первые шаги Республика делает не на краю бездны нищеты и отчаянья. Богатства, которые дала земля, освобожденная от десятины и оплодотворенная свободой, — налицо, глаза видят золотой цвет пшеницы, рука ощущает ее теплоту.

И Революция сумеет пустить их в ход и использовать. Но с какой неустойчивостью и какими тревожными трудностями приходится ей бороться в области экономики, и сколько причин споспешествовали этой парадоксальной дороговизне хлеба при изобильных урожаях!

Прежде всего, неоспоримо влияние падения курса ассигнатов. По мере того, как падал курс бумажных денег, цена на товары должна была, хотя и не так быстро, повышаться.

Правда, Лекуантр ссылается на то, что сумма выпущенных ассигнатов не превышает суммы находившихся в обращении в 1788 году звонкой монеты и билетов учетной кассы, и что, следовательно, нет излишка бумажных денег. Но, во-первых, отнюдь нельзя было считать доказанным, что металлическая монета исчезла; она была иммобилизирована, приведена мало-по-малу бумажными деньгами в состояние своего рода бездействия, но все же она оставалась все время в состоянии боевой готовности; таким образом количество имевшихся в распоряжении денежных знаков удвоилось. Во-вторых, почти непрерывный выпуск денежных знаков, к которому была вынуждена Революция, лишая ассигнаты какой бы то ни было устойчивости, уничтожал тем самым всякий предел для дальнейших выпусков. Неизвестно было, не последует ли завтра нового выпуска, не понизится ли еще больше курс ассигнатов и, естественно, товародержатели стремились гарантировать себя повышением цен на свои товары от риска, связанного с обесцениванием полученных ими в уплату ассигнатов. Отсюда нездоровая, лихорадочная напряженность денежного курса. Отсюда в весь экономический строй, покоящийся на предвидениях и опасениях, проникает нечто искусственное и чрезвычайно тревожное. И именно потому, что хлеб есть предмет первой необходимости и не подвержен, как предметы роскоши, превратностям моды и революциям социальных отношений, цена на него и поднимается пропорционально его важности.

Хлеб представляет из себя, как бы ценность первого разряда и вполне надежную, способную обмениваться на ценности ненадежные, неустойчивые, не имеющие определенной границы для дальнейшего обесценивания. Неудивительно, что собственники придерживают свои товары или же отдают их только по высоким ценам.

Но вот на этот рынок, и без того шаткий, обрушиваются еще военные закупки. Франция внезапно превращается в вооруженную нацию; она сражается с частичной коалицией деспотов и собирается с силами, чтобы бороться с их общей коалицией. Семьсот тысяч солдат стоят под ружьем: цифра, до которой ни разу не доходила армия даже во время самых больших войн Людовика XIV; притом ясно, это—только начало, только первая мобилизация. Скоро наступит момент, когда вся способная носить оружие часть нации будет призвана в армию. Это обстоятельство влечет за собой двоякого рода следствия по отношению к товарным ценам. Во-первых, сельские хозяева и земельные соб-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ственники спрашивают себя, не придется ли им остаться без рабочих рук? Уже Ролан в своих отчетах констатирует, что в северных областях работа по посеву затруднялась не только осенними дождями, но и недостатком рабочей силы.

«Говоря о земледелии,—сообщает Ролан 9-го января,—я должен высказать перед Конвентом возникшие у меня опасения относительно результатов будущей жатвы; из многих департаментов мне сообщают, что осенняя посевная кампания встретила бесчисленные препятствия. С одной стороны, занятие вражескими войсками наших северных департаментов, с другой—недостаток рабочих рук, использование лошадей для военных целей и почти непрерывные осенние дожди привели к тому, что четверть пахотной земли осталась необсемененной. Если прибавить к этим обстоятельствам политические события, могущие затруднить наши хлебные закупки за границей, то можно возыметь некоторое беспокойство, в связи с положением продовольственного дела в будущем году».

А Барбару даже вычислял на самой трибуне Конвента недобор будущего урожая в зависимости от недочета рабочих рук:

«Один земледелец, если взять средние цифры для трудовых затрат и получаемых продуктов, обрабатывает 20 арпанов земли и может получить с них, за вычетом семян для посева, 60 сетье зерна, давая таким образом Республике 17.410 фунтов хлеба.

«Определяя численность населения Республики в 23 — 26 миллионов, мы приходим к выводу, что для доставления продовольствия на один день всему населению государства, необходим труд 7.500 земледельцев и что, следовательно, для того, чтобы обеспечить годовой запас продовольствия, нам нужно иметь 2.800.000 сельских рабочих. Если мы потеряем 100.000 рабочих, нам не хватит хлеба на 13½ дней.

«Я определяю число людей, взятых войной из деревни, в 300.000 человек и, конечно, мой подсчет не покажется вам преувеличенным, если вы примете во внимание, что, помимо крестьян, набранных в армию, добровольцы партизанских отрядов, саперы и минеры, проводники и обозная прислуга, почти все являются крестьянами. Следовательно, на будущий год, благодаря одному лишь уменьшению числа земледельцев, у нас имеется уже недобор продовольствия на 40½ дней.

«Я исчисляю в такую же цифру недочет, который получится от уменьшения количества быков, взятых для потребления армии, мулов, мобилизованных для военных нужд, и лошадей, забранных на кавалерийский ремонт или для формирования новых конных отрядов. Это составит уже недобор продовольствия на 81 день».

Читая эти, немного самонадеянные, исчисления Барбару, можно подумать, что производительная деятельность страны есть раз навсегда данная, неизменная величина. Но на самом деле она не такова, и мы уже предчувствуем те героические усилия, то мощное трудовое напряжение, при помощи которого революционная Франция, под руководством Конвента, заполнит эти пробелы в национальном труде. Женщины станут на место отсутствующих мужчин; дети будут исполнять работы взрослых, и даже животные, более усердно погоняемые, ускорят медленный ход телег. По точности цифр и выводов, сделанных Барбару, мы предчувствуем также, что великое Собрание сумеет путем самой строгой регламентации, самого мельчайшего вмешательства, войти в трудовую жизнь всех граждан, чтобы обеспечить максимальную производительность национального труда. Но в умах людей было беспокойство; каждый спрашивал себя: что будет с полями Франции и с будущим урожаем, если все рабочие руки возьмутся за оружие? Не погибнет ли слишком медленно собираемая жатва от непогоды?

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Но война отнимала не только рабочие руки, т.-е. надежду на будущий урожай, она поглощала уже теперь, благодаря своим громадным закупкам, урожай последнего года. Ролан пишет Конвенту 28-го января 1793 года.

«Одной из главных причин, вызывающих недостаток продовольствия, содействующих повышению цен на него, являются, как я уже неоднократно указывал Конвенту, большие закупки съестных припасов, делаемые агентами военного и морского интендантств во многих департаментах. Действительно, по особым ведомостям, доставленным ими 17-го сего месяца во Временный Исполнительный Совет, я вижу, что приблизительно за два с половиной месяца они закупили больше 800.000 квинталов зерна и 17.000 квинталов муки только в 27 департаментах, в четырнадцать из которых я должен был с большими издержками посылать продовольствие».

Конечно, люди, служившие в армии, потребляли бы хлеб и мясо и жили в своих общинах. Но прежде всего многие из них пользовались бы только продуктами своего собственного маленького хозяйства; во всяком случае покупки делались бы по всей стране и не сразу. Затем, граждане, оставаясь на месте, потребили бы меньше мяса и пшеницы, чем в армии. Громадная мобилизация изменила привычки людей. Лоран Лекуантр в одной из своих речей перед Конвентом, утверждает вполне справедливо:

«Более 500.000 людей, которые у себя дома ели мясо не больше одного или двух раз в неделю, в армии едят его ежедневно». Сказанное Лекуантром 23-го сентября 1793 года, очевидно, относится ко всему времени с начала войны. Точно так же, стараясь выяснить себе причины изумительного повышения хлебных цен, я a priori предположил, что хлеб, даваемый солдатам Республики, должен был содержать в себе больше пшеницы, чем смешанный хлеб, потреблявшийся его большинством крестьян. Подтверждение своей гипотезы я нашел в короткой речи Камбона 3-го ноября 1792 года:

«Еще другая причина вздорожания. У нас 600.000 людей под ружьем. Мы решили хорошо кормить их, так как они сражаются за свободу. Запрещено было подмешивать рожь в хлеб».

Итак, народ, вступая в армию Революции, переходил на чистый пшеничный хлеб. Впрочем, я спрашиваю себя: не распространили ли успехи Революции, развитие духа общественности, рост самосознания освобожденных крестьян и ставших активными гражданами пролетариев и в деревне привычку к белому хлебу, символу лучшей жизни?

«Потребление хлеба,—говорит Крезе-Латуш 8-го декабря,—неодинаково в различные времена. Вполне верно, что рабочий люд, живущий в городах, питается преимущественно хлебом, и что он у них во всякое время почти одного качества. Но жители бедных пшеницей местностей и деревенская беднота соразмеряют свою пищу с своими средствами. В зависимости от цен на хлеб и его обилия на рынке, они едят хлеб, приближающийся по своим качествам то к белому, то к черному: пшеничный, смешанный с рожью, ржаной или из других хлебных злаков.

«Наконец, целые области потребляют в более или менее значительном количестве маис, гречиху, каштаны, овощи и картофель; они питаются исключительно ими, когда цены на лучшие сорта зерна им слишком не по средствам».

Но Крезе-Латуш забывает сказать, что потребление пшеницы в чистом виде может также меняться в зависимости от степени гражданской культурности людей. Тем, что живо чувствовал значение равенства, было не безразлично, едят ли они тот же хлеб, что и богатые классы, и они, несомненно, стремились к этому. Как раз в это самое время, благодаря исключительному совпадению вещей, была

Электронный архив библиотеки им. Н. К. Крупской

неурожай на второстепенные хлеба. Я уже приводил то, что сказал по этому поводу Ролан 9-го января. В своем докладе от 28-го числа он настаивает на этом, препровождая Конвенту список обращенных к нему ходатайств, о продовольственной помощи:

«Собрание увидит, что для удовлетворения этих ходатайств потребуется больше 4.500.000 квинталов зерна и 7.500.000 ливров деньгами; из них я уже распределил 222.000 квинталов как зерном, так и мукой, и 3.278.000 ливров денежных авансов.

«Столь великая нужда вызвана различными причинами. Во-первых, непрерывные осенние дожди очень повредили второстепенным хлебам, как, напр., маису и гречихе, составляющим во многих кантонах Республики главную пищу неимущего класса».

Итак, пшеница, посылаемая правительством, должна была заменить второстепенные хлеба. Сама сила вещей, казалось, содействовала уравнительным стремлениям нового порядка, приводя большую часть народа к потреблению белого хлеба; вместе со свободой народ привыкал к лучшему и более чистому хлебу, но Революция исключила рожь из питания армии и дала ей более мягкий и питательный хлеб и не только для того, чтобы укрепить силы солдат, но и для того, чтобы санкционировать общий под'ем и облагородить гражданское звание всех людей. Когда вести о том, как питается армия, дошли до деревни, то каким образом весь народ и рабочие на фермах могли не потребовать пшеничного хлеба? Таким образом в тот момент, когда многие признаки заставляли опасаться неурожая хлебов в 1793 году, спрос на хлеб стал расти. Это тоже послужило поводом для повышения хлебных цен. Сверх того, для огромных и нетерпящих отлагательства нужд большой армии закупки производились в больших размерах, нарушая таким образом во многих местах соответствие между потребностями и ресурсами для их удовлетворения. Ролан жалуется, что закупки часто делались в тех местах, где урожай был недостаточный. Между министерством внутренних дел и военным министерством, где Паш заменил Сервана, не было согласия, и их разрозненные действия еще более ухудшали кризис. В военном министерстве не успели еще установиться ясные и крепкие традиции. Его продовольственный отдел функционировал плохо, не имея ни общей точки зрения, ни единого плана действий. Противоречивые об'яснения, данные д'Эспаньяком и Гассенфратцем в клубе Якобинцев на заседаниях в ноябре и декабре 1792 года, показывает, какой беспорядок получился, благодаря этому, в организации продовольственного дела:

«В военном министерстве имеется продовольственный отдел, в морском министерстве тоже, и у министра Ролана было также свое управление продовольственными делами».

Сильная боевая централизация, которую Революция вскоре установила в деле продовольствия, тогда еще не существовала и, — как говорит Гассенфратц, — при этих закупках господствовала конкуренция, гибельная для общественных интересов». При столь отчаянном положении, при столь большой неорганизованности и лихорадочной спешке, бессовестные крупные поставщики хорошо наживались. Под предлогом спешного выполнения поставок они непомерно повышали свои цены, давая этим как бы сигнал к их общему росту. Журнал Прюдома (номер от 24-го ноября по 1-ое декабря) верно отметил это внезапное развитие подозрительных спекуляций. Для войны, которая последовала за 10-м августа, «нужно было разом, хоть из земли, добыть и людей и припасы для них; опасность была настолька грозна, что в таком положении нельзя было торговаться. Хорошее время для всех скупщиков! У них у одних все было в

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

запасе; они предложили свои услуги, — и им обрадовались, принимали все условия, какие им угодно было ставить. Не говоря уже о массе мошеннических сделок, раскрывавшихся ежедневно, даже те из этих господ, которые честно занимались своим ремеслом, неукоснительно ставили цены почти вдвойне против текущих, и без того уже слишком высоких; торговля испытала внезапное потрясение. Это вздорожание быстро распространилось на все, благодаря чему для честного бедного гражданина стало почти невозможным покупать себе продовольствие». Все спекулянты конца старого режима, — Бомарше, д'Эспаньяк и др.—снова занялись своими темными делами. Евреи, эмансипированные Учредительным Собранием, тоже пополнили кадры спекулянтов. Яков Бенжамен, пользуясь поспешностью или легкомыслием Монтескью, заключает мошеннический договор, в котором цены на поставляемые товары взвинчены в совершенно фантастических размерах. Комиссары Конвента, Буасси д'Англа, Алькье и Вите шлют 20-го ноября громоносный доклад, и Камбон с возмущением говорит в собрании:

«Ваш Комитет поручил мне разоблачить перед Вами некоторые мошеннические сделки, заключенные главным интендантом южной армии Венсеном. Эти сделки тем более разорительны для нации, что в них выговорена оплата части поставок звонкой монетой или ассигнатами с возмещением потери на бумажных деньгах, при чем оплата производится отчасти авансом.

«Первое и второе из этих условий приводят к значительному повышению цены на серебро и поставщикам выгодно повышать ее, чтобы больше получить в ассигнатах; это повышение тем более значительно, что эти подрядчики ставят свои цены почти вдвое против рыночных цен, как вы это увидите из сделок, заключенных с евреем Бенжаменом».

Комиссары пред'явили общее обвинение:

«Мы нашли, и имеем тому доказательства, что при всякой сделке, при всякой поставке все военное начальство представляет из себя лишь лестницу преступников: главные поставщики, их агенты, досмотрщики, смотрители магазинов, комиссары, интенданты, генеральный штаб — все нарушают служебный долг, все воруют, все обогащаются».

Благодаря этому рубахи оказались сшитыми из дерюги, обувь изготовлялась из плохой кожи и картона. Лагар и Лебрен, первый—родственник бывшего министра—фельянтинца, второй—купец из Монпелье, заполнили склады порченым товаром. Цены, назначавшиеся Яковом Бенжаменом, казались взятыми из романа. Соленое свиное сало он поставлял по 37 су за фунт, при чем половина должна была быть оплачена серебром, остальное ассигнатами, но с возмещением потери на курсе. А в портах это сало стоило 10 су ассигнатами за фунт. Башмаки он продавал по 13 ливров за пару. А другой поставщик, Жердре, в то же время предлагал и ставил такую же обувь по 6 ливров.

Собрание постановило привлечь к ответственности Лагара, Лебрена, Венсена, Бенжамена, евреев и христиан вместе. Евреи со столь давнего времени вынуждены были заниматься тайными и часто подозрительными операциями, что люди времен Революции имели против них весьма сильное предубеждение. Только после упорного сопротивления Учредительное Собрание согласилось признать за ними

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

гражданские и политические права, и члены Конвента говорят о них тоном презрения:

«Еврей Бенжамен»,—говорит Камбон; а Ланжюине говорит: «вот письмо еврея Бенжамена». Бриссо, давая перед Конвентом 13-го ноября отчет о своем допросе, пишет:

«Еврей Яков Бенжамен был вызван к допросу; он дал вполне еврейские ответы на пред'явленные ему обвинения относительно сделок, заключенных им с интендантами; сказал, что он купец, и что его дело—выгодно продавать свои товары, а дело интендантов смотреть, сколько они должны за них дать».

Это—точная передача подлинных слов Якова Бенжамена.

«Впрочем, я поставщик; имел ли генерал право заключать со мною договор или нет, это для меня безразлично; мое дело выполнить свои обязательства; но раз сделка была заключена, тем хуже для него».

Конвент вполне справедливо распорядился арестовать его. Но он не ограничился в своих репрессиях им одним. Унаследовав от прошлого сильные предубеждения против евреев, Конвент все же ни на минуту не подумал применить к ним особую мерку правосудия; он крал наравне и на-ряду с ними и других виновных.

Война являлась как бы огромной отраслью промышленности; она превратилась в новую колоссальную форму торговли, заменившую обычную, более здоровую и спокойную. Нетерпеливая горячка, риск, чрезмерно усилившиеся, благодаря грубости военного дела, аппетиты, трудность контроля, необходимость быстрого снабжения,—все это содействовало извращению цен. И, однако, безумные цены именно этой яростной и болезненной торговли послужили образцом для нормальной торговли и возбудили мало-по-малу даже в мирной области обычных сношений алчность купцов. Дух небывалых барышей и чрезмерной эксплоатации охватил народ, исходя из того самого источника, где сосредоточилась вся сила страны.

В самом деле, каким образом при известиях о фантастических ценах, господствовавших в громадной армии, куда стекалась вся страна, земельные собственники могли не придерживать своих товаров, в надежде получить за них такую же цену.

Собственники были охвачены новым духом, более смелым, более предприимчивым, более склонным к спекуляции. Когда церковь владела своими огромными имуществами, она управляла ими вяло, следуя традиционной и несколько сонной рутине. Для осуществления своей власти и поддержания своих привилегий, для сбора десятины и уклонения от налогов она нуждалась в поддержке своих арендаторов. Если бы она восстановила их против себя, у нее не осталось бы никакого практического способа действий, никакой реальной опоры в стране. Она относилась поэтому бережно к своим арендаторам, беря с них умеренную арендную плату, возобновляя с ними договоры на прежних условиях, несмотря на общее повышение цен. Эти арендаторы церковных земель составляли, таки образом, своего рода низший земледельческий канонникат, защищаемый традициями против всякой досадной неожиданности и умеренно поощряемый. Без сомнения, у них были свои неизменные навыки в отношении реализации продуктов, почти что раз навсегда установленные сроки продажи.

Наоборот, когда революционные покупатели—зажиточные крестьяне и богатые буржуа—вступили во владение церковными имениями, они внесли в управление ими дух активности, несколько беспокойный, честолюбивый и расчетливый. В общем, они сделали выгодное дело. Нельзя сказать, чтобы здесь имели место мошеннические операции или преступные соглашения с целью

Электронный архив библиотеки им. А. С. Кулешова

получить с торгов имущества по чрезмерно низким ценам. Правда, Ролан в своем докладе 9-го января отмечает преступные действия: «Не будем скрывать от себя,—пишет он,—что огромные и возмутительные злоупотребления имели место при продаже национальных имуществ, и то, что было сообщено мне в прошедшем октябре касательно округа Сен-Кентена, служит тому доказательством и может быть отнесено и ко многим другим округам.

«Фермы там имели цену значительно ниже их действительной стоимости. Владельцы и арендаторы действовали так, чтобы уклониться от налогов, при взимании коих бралась за основу плата, указанная в арендном договоре, так что имение, с которого собственник получал в действительности 1.000 ливров дохода, в арендном договоре показывалось приносящим только 500. Оценка для продажи национальных имуществ исходила из этих цен, из этого мнимого дохода. Отсюда вытекает, что на публичных торгах всегда бралась в основу неверная оценка, и продажа с торгов происходила по ценам, бывшим значительно ниже действительной стоимости продаваемой недвижимости.

«Эта неправильная оценка породила ряд печальных следствий: она пробудила алчность у целого класса граждан, который, казалось, жил только для того, чтобы считать барыши и выискивать случай обогатить себя всеми возможными способами. Отсюда коалиция аукционных скупщиков, с целью захватить национальное достояние за бесценок; отсюда скандальные и иногда кровавые сцены на торгах, когда конкуренты добивались новых торгов, в отмену тех, на которых взяли верх эти организованые монополисты, эти заговорщики против интересов Республики».

Это, конечно, так; но невозможно, чтобы мошенничества с арендными договорами были повсеместным явлением, и чтобы, следовательно, основа оценки для торгов была очень часто фальсифицированной. Фактически, в спокойные 1790, 1791 и 1792 годы происходила довольно оживленная конкуренция между покупателями, и в интересах коммун, получавших в свою пользу известный процент с вырученных от продажи сумм, было обеспечить правильность продажи. В итоге, в большинстве департаментов продажная цена превышала на четверть оценочную, и если покупатели делали выгодное дело, потому что арендные договоры на церковные земли были обычно умеренными, тем не менее справедливо, что им приходилось извлекать из них более высокий доход, чем тот, который предполагали церковные аренды. Это об'ясняет нам любопытные слова в газете Прюдома, которые стоят в столь резком противоречии с утверждением Авенеля о продаже церковных владений за бесценок:

«Вторая общая причина (дороговизны товаров), хотя и относящаяся преимущественно к продовольствию, состоит в вздорожании земли... Национальные имущества достигли чрезмерно высоких цен: это вздорожание было вызвано льготными условиями выплаты, производившейся в рассрочку на долгое время. С тех пор, как цены на национальные имущества удвоились, не стало ни одного товара, самого ничтожного, который бы, в свою очередь, не удвоился бы в цене. Приобретатели, национальных имуществ, платившие, кроме того, в виде налога, пятую часть чистого дохода, стали покрывать свои убытки за счет потребителей, заставляя их оплачивать как налоги, так и процент на капитал». (Номер от 24-го ноября — 1-го декабря 1792 г.).

При том большинство из этих покупателей затратили значительные средства на переустройство своих новых владений.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Лоран Лекуантр говорит в уже цитированном мною «Суждении и проекте нового декрета»: «Национальные имущества, на два миллиарда пятьсот миллионов, на которые за 2 года было израсходовано больше 500 миллионов, так как эти владения продавались и перепродавались, частью были разрушены, а частью переустроены для другого употребления...»

Итак, новые владельцы стремились получить прибыль на возросший капитал, и будучи людьми смелыми и расчетливыми, стали продавать хлеб не торопясь, чтобы извлечь наибольшую выгоду из роста цен, обусловливаемого падением курса ассигнатов. Большинство из них могли выжидать. Они купили земли лишь потому, что уже имели средства бо́льшие, чем могли потребоваться для первых взносов погашения.

Как выгодно было оплатить часть только что приобретенной земли за счет небывало высокой выручки от урожая! Во всяком случае они могли выжидать, пока не окрепнет несколько курс ассигнатов, и не подвергать себя риску понести убыток, благодаря все возраставшему обесцениванию бумажных денег.

Депутат Уазы—Портье, не смущаясь, утверждает, что возрастающая зажиточность земледельца, делает его хозяином рынка, куда он доставляет зерно только тогда, когда ему угодно.

«Земледелец благословляет Революцию, освободившую его от соляного налога, от десятины, от милиции и т. д. и т. д. и не платит налогов. Является ли виною этого нерадение сборщиков или невежество плательщиков, я не знаю, но государство страдает.

«Арендатор, ставший зажиточнее, не спешит на рынок, чтобы, как в прежнее время, реализовать там суммы для уплаты арендных денег землевладельцу; сбережения, неплатеж налогов, свобода от прежних податей дали ему теперь возможность выжидать, пока схлынет поток патриотических билетов».

Точно так же, по словам Изоре (16-го ноября), многие земледельцы не торопят своих арендаторов со взносом арендных платежей:

«Не будем таить от себя, что многие владельцы имений, прежняя знать, дают отсрочки по внесению арендной платы, чтобы их арендаторы держали у себя не ассигнаты, а хлеб; аристократия буржуазии тоже примыкает к этому вероломству; прибавьте к ним еще зажиточных арендаторов и скупых собственников, которые также пользуются положением».

Какое распространение имел факт, на который ссылался Изоре, и каково было его точное значение? Это трудно определить. Действительно ли владельцы имений, бывшие дворяне или аристократы из среды буржуазии, не понуждали своих арендаторов к уплате аренды, чтобы не заставлять их продавать хлеб? Доходили ли их политические страсти и соображения до того, что они на время лишали себя доходов, задерживая товарообмен и тем способствуя повышению хлебных цен и падению курса ассигнатов в ущерб делу Революции?

Тут могли иметь место скорее лишь некоторые проявления эксцентричной ненависти, а отнюдь не распространенная практика, могущая повлиять на ход событий. Гораздо вероятнее, что общие интересы побуждали земледельцев и арендаторов отсрочивать свои операции. Арендатор думал, что в его интересах оттягивать продажу своего зерна, чтобы лучше воспользоваться растущими ценами и, может быть, также, чтобы дать время установиться курсу ассигнатов.

В свою очередь, землевладельцы не торопились получать арендные платежи, так как им приходилось при этом многое терять, благодаря низкому курсу ассигнатов.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Возможно, что это добровольное соглашение землевладельцев и арендаторов, основанное единственно на экономических соображениях, и было превращено Изоре в контр-революционный план собственников.

Как вели себя арендаторы эмигрантских имений, поступивших со времени закона Законодательного Собрания в распоряжение нации? Содействовали ли они национальному товарообмену или систематически придерживали свой хлеб? Вопрос этот не безразличный, так как эти владения занимали громадную площадь. Ролан затребовал у дистриктов статистические данные относительно числа эмигрантов и стоимости их имений.

«200 дистриктов из 546, входящих в состав Республики, не дали никакого ответа; остальные сообщили более или менее точные данные.

«Я приказал составить сводку; на основании подсчета имуществ, относительно характера и размеров которых имеется достаточно данных, чтобы составить приблизительную оценку их, можно сказать, что число эмигрантов, включенных в находящиеся у меня перед глазами списки, достигает 16.930 человек, а стоимость секвестрованных недвижимостей доходит до 2.760.541.592 ливров.

«Если теперь сопоставить дистрикты, не доставившие данных, с теми, относительно которых у нас есть сведения, то, принимая для них ту же пропорцию, мы можем определить число всех эмигрантов Республики в 29.000, а стоимость их владений в 4.800.000.000 ливров (четыре миллиарда восемьсот миллионов).

«Я должен обратить внимание Конвента на то, что, если муниципалитеты весьма тщательно составляли списки эмигрантов, владевших недвижимым имуществом, то нельзя того же сказать про тех, которые ничем не владели. Число этих последних очень значительно, и не будет рискованным считать его равным, по крайней мере, 40.000, так что общее число французских эмигрантов должно составить приблизительно 70.000 человек.

«Хотя мы и оцениваем секвестрованные недвижимости в 4 миллиарда восемьсот миллионов ливров, однако, не вся эта сумма достанется Республике. Из нее надо вычесть долги эмигрантов, что составит очень значительную сумму... Несмотря на эти неудобства и вычеты, я имею смелость предположить, что выручка от реализации имущества эмигрантов даст Республике свыше 3 миллиардов. Это поступление тем более правдоподобно, что при моем подсчете я не принял во внимание движимого имущества эмигрантов, а эта статья, по верным данным, превысит 200 миллионов».

Очевидно, все эти подсчеты были очень гадательны. Будучи в качестве финансиста, осторожным и не желая рисовать депутатам слишком розовых перспектив, Камбон, как мы видели, оценивал имения эмигрантов только в один миллиард. Несколько дней спустя, рассмотрев, повидимому, документы, поступившие в министерство внутренних дел, он увеличил свою цифру до 2-х миллиардов. Ролан определяет их ценность по меньшей мере в 3 миллиарда, за вычетом всех долгов эмигрантов. Повидимому, мы проявим достаточную осторожность, если определим их стоимость от 2-х до 3-х миллиардов. Все эти имения находились под секвестром и управлялись казною в ожидании продажи.

Управители и арендаторы секвестрованных имений должны были находиться в весьма неопределенном положении и быть мало расположенными в пользу революции. По отношению к управителям, бывшим доверенными лицами прежних знатных владельцев, это ясно само по себе; впрочем, многие из них, вероятно, при национализации потеряли свои должности. Что касается до арендаторов: то они не знали, чего им ждать от ближайшего будущего. Со времени декрета, принятого Законодательным Собранием 2-го сентября 1792 г., который разрешал лицам, купившим имение с торгов, выселять арендаторов при условии из-

Электронный архив библиотеки РАНХиГС Кулешова

вестного вознаграждания, их положение стало очень непрочным и даже тревожным. В их умах перекрещивались самые различные тревоги. С одной стороны, была ли обеспечена победа революции. И, если они слишком скоро выполнят свои обязательства по отношению к национальному управлению, вместо того, чтобы возможно дольше сохранить арендную плату для отсутствующих господ, не скомпрометируют ли они себя в глазах последних? С другой стороны, продавая слишком быстро свой хлеб в обмен на ассигнаты с их неопределенной и штатской стоимостью, не откажутся ли они от ценного и реального блага, которое могло бы обеспечить их от случайностей завтрашнего дня?

Медлительность, с которой приступала Революция к продаже имений эмигрантов, превращала неопределенное положение арендаторов в длительное состояние. В конце октября еще ничего не было решено относительно способа продажи. 23-го октября Делакруа говорит в Конвенте: «Я прошу Собрание издать безотлагательно декрет о способе продажи имений эмигрантов. Промежуток, который уже протек между декретом о продаже этих имений и декретом, долженствующим установить способ этой продажи, принес уже значительный вред Революции». Конвент колебался в выборе между несколькими системами: продавать ли сразу в одни руки крупными участками, чтобы как можно скорее реализовать суммы, необходимые для продолжения всепоглощавшей войны, или же небольшими кусками, чтобы увеличить число мелких сельских хозяев.

Из отчета Ролана видно, что 9-го января Конвент еще не принял никакого решения, и что пока что было пущено в продажу только движимое имущество. При этом длительном неопределенном состоянии инстинкт арендаторов подсказывал им возможно меньше платить и стараться выиграть время. Поступления доходов от секвестрованных имений совершенно не соответствовали их ценности и вероятным условиям аренды. Камю, от имени Комитета доменов (Comité des domaines), заявляет Конвенту от 24-го октября:

«Приемщики сборов по регистрации доставили ведомости доходов с этих имений в течение сентября месяца. Они равняются 710.343 ливрам для 39 департаментов. Таким образом, судя на основании этих данных о доходах с другой половины имений, можно определить всю сумму годового дохода с них в 18.000.000 ливров». Восемнадцать миллионов годового дохода с владений, оцененных в 2, быть может, и 3 миллиарда, это не составляет даже одного процента!

Амело, заведывающий Чрезвычайной Кассой (Caisse de l'extraordinaire), посылает в Конвент 9-го января 1793 г. «отчет о поступлениях в кассу от доходов с имений эмигрантов и от продажи их движимого имущества за последний декабрь месяц. Внесено было 1.621.698 ливров, 1 су, 3 денье». Это опять-таки совершенно смехотворная цифра, несмотря на добавочную сумму, полученную от продажи движимостей. Очевидно, арендаторы укрывались и оттягивали платежи, насколько возможно, откладывая, насколько возможно, продажу хлеба. Карра говорит в Конвенте 9 января: «Только что открыта одна из причин искусственно вызванного недостатка в хлебе. Арендаторы эмигрантских имений, не принуждаемые вносить арендную плату в национальные кассы, не продают хлеба, ожидая, что он вздорожает. Я требую: 1) обязать этих арендаторов внести, самое позднее в двухмесячный срок, арендную плату вместе с недоимками в национальные кассы в обмен на выдаваемые приемщиками касс квитанции, под страхом штрафа в 20 ливров на каждые 100 ливров аренды». Изложение речи Карра в протоколе сделано, очевидно, слишком обще и неточно. Он не мог сказать так решительно, что арендаторы не понуждались к взносам платежей в национальные кассы. Это неизбежно вытекало из постановления, отдававшего владения эмигрантов в руки нации и обязывавшего именно арендаторов заявить муниципалитетам об истекших или истекающих платежах их эмигрантам.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Возможно, что, за отсутствием точно разработанного постановления, многие арендаторы лишь заявили о своей готовности передать в распоряжение нации арендную плату, но в действительности ее не внесли. Конвент издал точное постановление. Но, если оно и обязало арендаторов немедленно внести аренду, они, естественно, стали рассчитываться ассигнатами, даже когда в их договорах была обусловлена плата натурой, потому что закон 1791 г. дал им право платить деньгами, курс же ассигнатов сильно падал, и опять нация должна была нести этот убыток.

С другой стороны, нация нуждалась в большом количестве хлеба и мяса для армии. При этих закупках военные части должны были принимать в расчет потерю продавцов на ассигнатах; таким образом низкий курс ассигнатов официально признавался и этим ухудшался еще более. Именно это приводило в отчаяние Камбона в сделках с Яковом Бенжаменом. Чтобы справиться с этой опасностью, Камбон предложил Конвенту 11-го января обязать арендаторов всех еще не проданных национальных имений, как бывших эмигрантских, так и церковных и других, вносить арендную плату натурой.

«Комиссары, посланные вами в Страсбург, поражены были злоупотреблениями, царившими во всем департаменте Нижнего Рейна. Причиной этих злоупотреблений являются ассигнаты, стоящие половину нарицательной цены, так что Республика теряет на них 100%. Чтобы прекратить это зло, ваш Комитет предлагает вам сделать постановление, чтобы арендаторы национальных имений вносили аренду натурой, и чтобы хлеб и фураж, доставленные ими, шли на снабжение армии».

Конвент издал декрет: «Арендаторы, плательщики рент и держатели имений эмигрантов, Мальтийского ордена, владетельных князей и всех вообще непроданных доменов во Франции или в краях, занятых в настоящее время войсками Республики, обязанные по контрактам или арендным договорам выплачивать свою арендную плату, ренту и т. д. целиком или частично натурой, как-то: пшеницей, смешанным зерном, рожью, овсом, сеном, соломой и сушеными овощами, обязуются рассчитываться тем же способом, как и с прежними владельцами имений, к отмену статьи 3-ей закона 9-го сентября 1791 года».

Арендаторы эмигрантских земель сразу лишились возможности спекулировать хлебом. Но зато хлеб этот был как бы из'ят из торгового обмена в собственном смысле этого слова; он должен был поступать только в военные склады; доходы с эмигрантских имений были, так сказать, милитаризованы, оставлены на содержание армии; и этот вид секвестра значительного количества хлеба мог только усилить тенденцию цен к повышению и еще более напрячь пружины народного хозяйства.

Таким образом, каковы бы ни были побуждения собственников и арендаторов,—хотели ли они получить большую прибыль на возросший капитал, вложенный ими в покупку церковных владений, увлекла ли их спекуляция и высокие цены, имевшие место при первых сделках крупных военных поставщиков, или, наконец, подобно арендаторам эмигрантских земель, они, по возможности, придерживали свои продукты, имея в виду будущее,—но всюду к влиянию падения курса ассигнатов и больших военных закупок присоединялась общая тенденция к повышению цен, и все это, вместе взятое, делало цены на хлеб и на большинство других товаров чрезмерными, — ясный показатель бурного и напряженного состояния вещей.

Относительная устойчивость цен, утвердившаяся в последние годы старого порядка, была опрокинута всеобщими переменами, быстрым перемещением богатств, духом движения, охватившим экономические силы, недавно еще неподвижно дремавшие в церковном сне. Богатая добыча в несколько миллиардов, к

Электронный архив библиотеки МГПУ имени А.А. Кулешова

торая, вместе с имуществами эмигрантов, внезапно представилась честолюбию, надеждам и расчетам, также возбуждала мысли о спекуляции.

Чтобы иметь возможность приобрести побольше вожделенных владений, надо было извлечь возможно больше дохода из тех, которые уже имелись. Огонь вожделения зажегся в жилах революции; цены стали такими же лихорадочными, как мысли; буржуазия была как в огне, и цены на товар поднимались подобно ртути в термометре.

Если прибавить ко всем этим причинам повышения цен конкуренцию, которая происходила при покупке хлеба между разными муниципальными и национальными органами управления, нам станут понятными парадоксальные цены, которых достигли продукты. Революция еще не успела применить в деле снабжения стройной системы, общего плана. Она не предоставила частной инициативе заботы о снабжении страны, но вместе с тем и не организовала центрального продовольственного органа, который бы действовал методично и единообразно. Муниципалитеты больших городов производили закупки и перепродавали. Министр внутренних дел закупал хлеб непосредственно или же субсидировал муниципалитеты.

Камбон 3-го ноября воскликнул:

«Чем больше вы поощряете конкуренцию, тем выше должны подняться цены».

И повышение цен под давлением этих многочисленных причин, шло с такой головокружительной быстротой что Камбон мог сказать Конвенту 14-го октября:

«Я утверждаю, что в департаменте Эро хлеб стоит 8 су за фунт в 14 унций.

При таком уровне, и даже при более распространенных ценах хлеба в 4—5 су за фунт, вся экономическая система должна была бы рухнуть, если бы наемная плата не повысилась почти в той же прогрессии. В самом деле, живущие заработной платой часто не вырабатывали и 20 су; следовательно, потребление хлеба даже при одном только едоке поглощало три четверти, две трети, или. самое меньшее, половину обычного заработка. Высокие же цены на зерно и хлеб держались уже в течение многих месяцев. Следовательно, a priori можно было ожидать, что люди, живущие продажей своего труда, употребят все усилия, чтобы повысить оплату рабочего дня. В это время неизбежно должно было наступить, одно из самых сильных и общих движений в пользу повышения заработной платы, какие только отмечены в истории рабочего класса. Неизбежно должна была наступить и одна из самых резких прогрессий в повышении, по крайней мере, номинальной оплаты труда.

Повторяю, что указанное явление было жизненной необходимостью для народа, и что можно было быть заранее уверенным в том, что он потребует и добьется значительного повышения заработной платы.

Чтобы вынести без всякого протеста подобное повышение цен на хлеб и зерно, не добиваясь повышения заработной платы, рабочее и крестьянское население должно было бы дойти до той степени летаргического рабства, когда даже острие голода становится неощутимым. Но народ еще никогда не был столь полным жизни, пламенным и гордым, как в это время. И я без всякого удивления отмечаю определенные и неопровержимые данные, говорящие о большом повышении заработной платы. В этом отличительная черта социальных отношений данного периода. Феро, восстающий, правда, против всякой системы таксации и нормировки цен на хлеб, говорит 16-го ноября: «Если повысилась цена на зерно, то повысилась в равной степени и заработная плата: одно дополняет другое, т.-е. повышение платы соответствует росту цен; очевидно, что разница ощутима только для собственников, а не для потребителя, живущего продажей своего труда, а о нем мы преимущественно и заботимся в данное время».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Без сомнения, утверждение Феро было слишком общим; он выдавал за повсеместно совершившийся факт то, что было только частичным результатом и общей тенденцией.

Бефруа и Изоре говорят другое; вдумайтесь внимательно в их слова. Бефруа говорит:

«Когда жадные сельские хозяева, пользуясь в качестве предлога или частичным недородом в соседнем кантоне или недостатком рабочих рук, в то время как тысячи граждан предлагают свои, и их не принимают лишь потому, что не желают сообразовать заработную плату с ценой на товары, когда, наконец, они под предлогом высокой арендной платы, об'единяются с целью довести цену на хлеб до уровня, при котором рабочие уже не в состоянии купить его, тогда подённый рабочий,—раз его оплата не соответствует ценами на с'естные припасы,—лишен возможности удовлетворить свои самые насущные потребности.

Итак, из слов Бефруа вытекает, что народ не восстановил равновесия между заработной платой и хлебными ценами и только берется за установление этого равновесия. Рабочие не соглашаются работать на прежних условиях, и собственники и арендаторы вынуждаются делать большие уступки пред лицом этой стачки деревенских пролетариев.

Чтобы господствовать над рынком и использовать благоприятную конъюнктуру, они должны были иметь в своем распоряжении хлеб. Следовательно, они должны были приступить к его обмолоту, и, при отказе рабочих работать на прежних условиях, повысить плату.

Изоре, говоря о долготерпении народа, утверждает: «Не воображайте, что неимущий хочет получить хлеб по очень дешевой цене; хотя он и страдает оттого, что оплата его труда не пропорциональна ценам продуктов, он, как и вы, знает, что большое количество обращающихся денежных знаков будет поддерживать чрезмерные цены на все предметы первой необходимости».

Да, но какова бы ни была покорность народа, он неизбежно должен был находить, что большое количество находящихся в обращении денег должно оказывать свое действие на расценку его труда так же, как и на расценку товаров, и что его заработок может и должен прогрессировать, как и все остальное. Серр говорит 2-го декабря:

«Когда все товары растут в цене, вознаграждение за труд рабочего постепенно повышается, и равновесие восстанавливается почти тотчас же; одним словом, цена на хлеб является почти всегда регулятором или показателем повышения или понижения цен на другие товары. Не знаю, впрочем, увлекаюсь ли я, или память мне изменяет, но, спросив торговца железом, почему он продает его по 18 су за фунт вместо 8, у башмачника,—почему его башмаки стоят 9 и 10 ливров вместо 5—6 и т. д., я ото всех получал ответ, что хлеб в этом году стоит вдвое дороже, чем в прошлые годы, и что рабочие получают вдвое больше, чем прежде».

Серр настаивает на том, что было бы несправедливо устанавливать таксу на хлеб, «предоставляя ценам на товары и оплате труда оставаться на том уровне, до которого довели их окружающие условия».

В Конвенте не раздается ни одного голоса, чтобы оспаривать этот факт. Ни один депутат, ни один журналист не заявляет, что оплата труда остается неизменной. Наоборот, вот, что говорит Дорнье в своем «Opinion», напечатанном 8-го декабря:

«Вы должны установить определенное равновесие между потребностями ремесленника и его доходами: нельзя допустить, ни чтобы сельский хозяин при-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

теснял ремесленника, ни чтобы он притеснялся ремесленником, правильно сумевшим повысить оплату своего труда в соответствии со вздорожанием товаров; всем известно, что то, что стоило 6 ливров, теперь стоит 9, и что рабочий день, оценивавшийся в 20 су, теперь оплачивается 30-ю, и так во всем».

Эти слова отличаются крайней определенностью и спокойной уверенностью, недопускающей возражений. Да возражений и не было. Трудно представить себе более мрачную и пессимистическую речь, чем речь Сен-Жюста 29-го ноября по поводу продовольственного положения. В ней сказано:

«Говорят, что поденная плата рабочего растет пропорционально росту цен на товары; но если рабочий останется без работы, кто заплатит ему за праздность?»

Итак, Сен-Жюст, рисуя крайне плачевную картину экономического состояния страны, не оспаривает фактического повышения заработной платы. И я напомню уже цитированное мною место из отчета Ролана в январе 1793 г., где последний, заходя гораздо дальше Дорнье, уверяет, что повышение заработной платы нарушает равновесие, в ущерб сельскому хозяину. Я отмечаю во «Французском Патриоте» (номер от 3 ноября) любопытное письмо из Орлеана, помеченное 21-м октября. Оно, очевидно, написано приверженцем Бриссо, жалующимся на анархию и пагубную пропаганду, вносимые делегатами Парижской Коммуны, но в нем много верных данных.

«Мы переживаем здесь один из видов анархии, могущей иметь весьма важные последствия, как для нас, так и для других департаментов... Положение Орлеана единственное в своем роде, но если мы будем препятствовать погрузке продуктов, то сколько департаментов заставим мы умирать с голоду! Здесь невозможно внушить большинству моих сограждан, что в нашем департаменте продовольствия не хватит и на 4 месяца, так как в нем много земли находится под паром и под лесом; среди изобилия мы умрем с голоду, так как, если мы не дадим вывозить зерно, то граждане департамента Эр-э-Луар сделают то же самое. Пример прошлой зимы должен был быть достаточно убедительным: торговля зерном была совершенно свободна, и у нас в городе был самый дешевый хлеб, его везли нам отовсюду. На вчерашнем базаре,—единственно значительном за неделю,—депутаты секции в довольно большом числе рассеялись по рынку, желая установить таксу на хлеб; не успев в этом, они стали грозить фермерам и этим принудили их понизить цену на зерно. Это приведет к тому, что устрашенные фермеры не приедут в следующую субботу, что вызовет волнения. Я не скрою от вас, что моих несчастных сограждан вводят в заблуждение; между тем они только что добились повышения поденной платы и, следовательно, должны были бы меньше жаловаться; у нас здесь много парижских смутьянов, посланных, может быть, вашими агитаторами».

Действительно, какова бы ни была предвзятая политическая точка зрения, лежащая в основе всех этих утверждений, невозможно сомневаться в повышении заработной платы, подтвержденном столькими различными свидетельствами и столь соответствующем самой природе вещей. Каким образом французский народ, еще не успокоившийся после революционной победы 10-го августа, согласился бы без сопротивления голодать в то самое время, когда огромные призывы мужчин в армию, уменьшая количество свободных рабочих рук, придали требованиям наемных рабочих неодолимую силу.

Это сопоставление наводит на размышления.

Через несколько месяцев Конвент, вынужденный прибегнуть к максимуму и к общей таксации товаров, чего он раньше не хотел вводить, закре-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

шит все цены как на товары, так и на труд, взяв за основание цены 1790 г с надбавкой в одну треть. Очевидно, что Конвент старался приблизиться, н сколько возможно, к фактическому положению вещей, созданному кризисом пе Он хотел положить предел беспорядочному росту цен, продолжавшемуся уже м сяцы. Но Конвент, конечно, не имел ввиду создавать новое и бесполезно потрясение и хотел опереться по возможности на фактическое положение вещей данный момент. Как мог он пойти на то, чтобы декретом увеличить ставк на треть, если бы это увеличение не было уже почти повсюду достигнуто усилия ми самих рабочих? Этим резким повышением ставок он восстановил бы проти себя всех сельских хозяев, как арендаторов так и собственников. Мне кажет поэтому гораздо более правдоподобным, что Конвент счел своей обязанность исходить из общего повышения на одну треть всех цен как на товары, так и н труд. Его целью было утвердить это повышение, закрепить его, предупредит всякие махинации в сторону дальнейшего вздорожания.

Я поэтому очень склонен думать, что за последние 3 месяца 1792 г. и з первое полугодие 1793 года цены как на товары, так и на труд повысились. общем и среднем, именно на одну треть. И оказывается, что Дорнье,—депутат давший самые категорические и точные указания по этому вопросу,—говорит о общем повышении именно на треть, как о всем известном факте: товары сто мостью в 6 ливров дошли до 9, поденная плата с 20 су дошла до 30. Следова тельно, ставки повысились, по меньшей мере, на одну треть. Я говорю: п меньшей мере, потому что ниже я приведу циркуляр Комитета продовольствия обращенный к рабочим, где он напоминает им, что в вопросе о ставках он должны подчиниться закону о максимуме.

Многие пункты декрета возбудили довольно резкие протесты. Рабочие ш шли, что закон, повышающий ставки 1790 г. на одну треть, нарушает их инт ресы. Следовательно, они переступили уровень заработной платы, существов ший в 1790 г. более, чем на одну треть. И хотя эта прибавка была в ит только номинальной, так как она лишь уравновешивала общее повышение п на все товары, все же она представляет из себя одно из самых замечательн повышений платы, какие только приходилось отмечать историку. Народ дел двойное усилие: с одной стороны, он стремился ограничить рост цены на товар или путем непосредственно установления такс на рынках, или путем зако о таксации, которых он тогда стал добиваться от государства и которые е в конце концов, удалось провести; с другой стороны, рабочие домогались п всюду от всякого рода хозяев, собственников, арендаторов и промышленни повышения своей платы.

Пролетарии, наемные рабочие производили в это время, при том с необыч ным единодушием, двойное классовое давление: на государство и на работода лей. От закона Шапелье ничего ни осталось, его опрокинула, свела на-нет ог ная коалиция рабочих, повсеместно и в одно и то же время требовавших средст жизни. Яркие инциденты, происходившие то там, то здесь, следы которых сох няла нам история, частичные петиции и волнения дают только слабое пред вление о глубоком и всеобщем движении, которым народ показал Революции буржуазии, что он не собирается расплачиваться за кризис.

Эта повсеместная стойкость рабочего народа в защите своих жизненн интересов, этот дух борьбы за свои требования являются блестящей чертой истории пролетариата. Ибо везде требовалась борьба, усилия; в этом мы мож быть уверены, хотя подробности для нас и потеряны. Как бы, например, м могли знать без вышеприведенного отрывка из речи Бефруа, что сельские р чие стали прибегать даже к забастовкам, чтобы вырвать у жадного ферм прибавку к заработной плате. История, занятая трагическими образами эп

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

пренебрегла собиранием мелких фактов из этой грандиозной борьбы за повышение заработной платы, которая приводила наемных рабочих к горячим схваткам с революционной владельческой буржуазией на каждом заводе, на каждой ферме. Процесс приспособления оплаты труда к чрезмерным ценам на хлеб и другие товары протекал не в виде мирного, вполне естественного и автоматического движения.

Кондорсэ, бывший врагом всякой таксации и регламентации, не мог, однако, отрицать возникшего несоответствия между размерами заработной платы и ценами на товары. Он с безпокойством спрашивает себя, как восстановить равновесие и разрешить кризис, не покушаясь на абсолютную свободу обмена. И он то полагает, что государство может восстановить соответствие между ценами на товары и оплатой труда, правда, не законом, а примером, то рассчитывает на одни только следствия самой свободы.

Он спрашивает себя 18-го ноября:

«Нужно ли издать общий закон по продовольственному вопросу или же следует установить частичные законы или учреждения, имеющие задачей предвидеть и предупреждать нужду в критические моменты? Не следует ли учредить в данное время единый департамент продовольствия, для которого этот важный вопрос стал бы главным и единственным делом? Не нужно ли послать за границу ответственных агентов, которые следили бы за ценами на хлеб и закупали бы его для Республики. И, если отменить фиктивную стоимость денег, не подорвало ли бы это в корне ажиотаж, который вместе с звонкой монетой извлекает и бумажные деньги, а через них, и предметы продовольствия, выкачивая, таким образом, силы из народа».

Смелая идея, к которой я еще вернусь. Кондорсэ, как мы видели, полагал, что повышение цен на товары не было прямым последствием обесценения ассигнатов. Падение курса ассигнатов началось только по отношению к металлической монете, которую легче, чем все другие товары, было скупать и придерживать; и только, в виде отраженного удара, повышение курса металлических денег распространилось мало-по-малу и на остальные товары. Кондорсэ спрашивает себя, не лучше ли было бы, запретив обращение металлической монеты, представляющей из себя определенное орудие ажиотажа, установить непосредственную и исключительную связь между бумажными деньгами и товарами? Этим путем было бы восстановлено равновесие между оплатой труда и ценами товаров, без вмешательства закона в торговые сделки и нормировки цен.

В «Парижской хронике» от 28 ноября он говорит:

«Национальный Конвент слишком хорошо знает, что хлеб принадлежит тому, кто его сеял, и что в Республике, не имеющей себе подобных, свободное перемещение продовольствия из одного места ее территории в другое есть необходимое условие социального договора. Впрочем, непонятно, почему, раз нарушено равновесие между действительной стоимостью продуктов и средствами их приобретения, у нас упорно предпочитают опасный способ понижения цен на предметы продовольствия более простому способу увеличения этих средств? Если бы при огромных закупках и поставках хлеба, правительство старалось поддержать естественный ход торговли, вместо того чтобы его расстраивать; если бы значительный фонд заработной платы, которым оно располагает, оно употребило на поддержание нормального соотношения между заработком и потребностями, непрерывно возрастающими, благодаря стольким причинам: если бы городские рынки были одинаково предохранены как от грабительства так и от произвольных таксировок; если бы

Электронный архив библиотеки Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова

дороги и реки были вполне безопасны во время транспорта, тогда вы увидели бы, как пустеют зернохранилища, выпуская одно за другим свои запасы».

Действительно, государство производило для армии и флота огромные закупки и платило солдатам, матросам и рабочим арсеналов и некоторых фабрик значительнее жалование. Кондорсэ хотел бы, чтобы, согласовав размеры заработной платы с повышенными ценами на товары, государство положило бы тем самым начало общему повышению оплаты труда. Но 9-го декабря он возлагает свои надежды, повидимому, прежде всего на естественные результаты экономической деятельности и свободной конкуренции.

«Как вы хотите, чтобы хозяйственная конкуренция повышала оплату труда, если богатые граждане вынуждены этими самыми тревожными слухами сберегать в качестве запасных рессурсов на критический момент те суммы, которые могли бы пойти на улучшение их собственности, на приобретение движимого имущества. Разве они могут быть уверены в том, что воспользуются сами этими улучшениями и приобретениями? Поэтому они откладывают такие траты до другого времени, а пока народ страдает от печального застоя хозяйственной жизни.

«Революция, благодаря радикальному перевороту в распределении церковных и феодальных богатств, благодаря добровольной или вынужденной эмиграции большого количества собственников, неизбежно привела к новому распределению заработной платы; выпуск бумажных денег должен был изменить соотношение между заработной платой и ценами на предметы потребления; но это изменение в распределении богатства само по себе представлялось фактом, благоприятным для общественного благосостояния.

«Трудности, связанные с изменениями цен, более быстрыми и распространенными, чем изменение заработной платы, вовсе не были безнадежными; и если активность, которую должна была бы породить Революция, не была бы задержана этими искусственно вызванными опасениями, то это зло было бы уже преодолено, и равновесие восстановлено».

Но народ вовсе не хотел дожидаться этого естественного и медленного восстановления равновесия, на которое возлагал надежды революционный оптимизм Кондорсэ. Народ действовал двояким образом: отказываясь работать за старую плату и пытаясь установить через Конвент или путем непосредственного давления на купцов таксу на товары.

Повысить ставки путем пред'явления энергичных требований и, в случае надобности, стачкой; ограничить законом или силой цены на товары,—вот на что были направлены усилия рабочих в этот период. Когда Законодательное Собрание в январе 1792 года приняло делегацию рабочих гобеленовой мануфактуры, протестовавших против вздорожания товаров, делегаты просили о принятии ряда мер против «скупщиков», но они не решились выставить идею нормирования цен в законодательном порядке. Теперь же депутация от избирательного корпуса департамента Сены и Уазы формирует эту идею перед Конвентом в определенных и смелых словах. Смелость пролетариата выросла. Он чувствует себя в некотором роде более близким к законодательной власти и думает о том, чтобы заставить закон служить защите его интересов.

«Граждане,—сказали делегаты в заседании 19-го ноября,—первый принцип, который мы должны изложить перед вами, таков: *свобода хлебной торговли несовместима с существованием нашей Республики*. Из кого состоит наша Республика?—Из небольшого числа капиталистов и огромного количества бедняков. Кто ведет торговлю хлебом?—Небольшое число капиталистов. Для чего они ее ведут?—Для того чтобы обогатиться

Электронный архив библиотеки ПГУ имени А.А. Кулешова

Как они могут обогатиться?—Повышая цены на хлеб при перепродаже его потребителю.

«Но заметьте также, что этот класс капиталистов и собственников, господствующий благодаря своей неограниченной власти над ценами на хлеб, господствует также и над ценами на труд, ибо всякий раз когда нужен работник, их является 10, и богач может выбирать; выбирает же он того, кто меньше просит, он назначает ему плату, а работник подчиняется закону, потому что ему нужен хлеб, а хлеба у него никогда не бывает достаточно. Это небольшое число капиталистов и собственников является, следовательно, хозяином цены рабочего дня. Неограниченная свобода торговли хлебом делает его также хозяином цен на предметы первой необходимости. Гнусное корыстолюбие не позволяет ему признавать другого закона, кроме собственной алчности. Из этого получается ужасающее несоответствие между оплатой рабочего дня и ценами на предметы первой необходимости. Поденная плата составляет от 16 до 18 су, тогда как хлеб стоит 26 ливров за сетье весом от 260 до 270 фунтов, считая 16 унций в фунте. Следовательно, заработной платы нехватает на пропитание. Отсюда неизбежно вытекает угнетение всех, кто живет трудом своих рук.

«Но если класс, живущий трудом рук своих, является самым многочисленным, если, призванный принципом равенства законов к участию в законодательной власти, он является главной и единственной силой Государства,—можно ли ждать, что он потерпит порядок вещей, который подавляет его и отнимает у него средства к существованию и жизнь?

«Законодатели, не бойтесь смелости этой истины: не те истины, что на виду делают революцию, а те, которые прячут. Неограниченная свобода хлебной торговли тягостна для многочисленного класса народа. Народ не может, следовательно, выносить ее. Она несовместима с нашей Республикой... И вот мы приходим ко второй истине: закон должен следить за снабжением Республики припасами и за продовольствием всех.

«Какое правило должен при этом соблюдать закон? Добиваться того, чтобы был хлеб; чтобы постоянная цена хлеба всегда соответствовала цене рабочего дня, потому что, если цена на хлеб меняется, а плата за рабочий день остается неизменной, то не может быть правильного соотношения между тем и другим. А раз нет соответствия, то наиболее многочисленный класс неизбежно будет угнетен,—абсурдное положение вещей, которое не может долго длиться.

«Законодатели, вот неизменные истины. Нужно правильное соотношение между ценой хлеба и рабочего дня. Закон должен поддерживать это соответствие, препятствием которому является неограниченная свобода торговли.

«Какие способы надо употребить для достижения этой цели? Не скрывайте от себя, законодатели, что всякая частичная мера тут опасна; никаких полумер: они погубят нас; на них именно рассчитывают экономисты, чтобы обеспечить торжество системе неограниченной свободной торговли. Чтобы рассчитывать на торговлю, необходима полная сво-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

бода; при первом же препятствии торговлю надо уничтожить, иначе она буд
только отнимать у вас, а не давать вам, она будет существовать только вам н
погибель...

«Отмените теперь же все эти несправедливые меры, поддерживающие не
вежество и благоприятствующие монополии.

«Постановите, чтобы хлеб продавался по весу
Установите максимальные таксы; на этот год назначьте
ливров за квинтал (50 килограммов, что составит 18 франков за 100 килограм
мов); это средняя цена, одинаково хорошая для земледельца и для потребителя
Постановите, чтобы в следующие годы цена опре
делялась в той же пропорции, в зависимости о
урожая с арпана и стоимости его обработки, при
чем это соотношение должно определяться лицами
избранными народом.

«Воспретите торговлю зерном кому бы ни было, кроме булочников и мель
ников, а им разрешите покупать только после жителей коммуны и по той ж
цене, и пусть они ведут торговлю открыто. Постановите, чтобы весовщик
могли покупать для своего потребления хлеб не более, чем на 3 месяца, чтоб
каждый фермер был обязан сам продавать свое зерно на ближайшем рынк
а не поручал бы это весовщикам, грузчикам или посредникам; наконец, чтоб
зерно, не проданное к концу рынка, было зарегистрировано муниципальным
властями, сдано на хранение и потом пущено в продажу в первую очередь
Постановите, чтобы никто не мог снимать участк
больше, чем в 120 арпанов, мерой в 22 фута в перш
чтобы каждый собственник мог эксплоатировать лич
но только одну ферму, остальные же был бы обяза
сдавать: чтобы никто не мог требовать уплаты аренды зерном; и, наконец
чтобы никто не мог одновременно быть арендатором и мельником. Зате
поручите, заботу о снабжении продовольствием все
областей Республики центральной власти, избранно
народом,—и вы увидите, что изобилие хлеба и правильное соотношение межд
его ценой и оплатой рабочего дня вернет всем гражданам спокойствие, счасть
и жизнь».

Это—обширный, очень систематический и глубоко обдуманный план. О
исходит из двух основных идей. Первая—извлеченная из теории заработно
платы Тюрго, Адама Смита и Неккера, состоит в том, что рабочие всегд
оплачиваются по самой низкой расценке, что они не могут выжидать и защи
щаться, что они составляют друг другу почти безграничную конкуренцию
вследствие чего обусловливаемое этой конкуренцией падение заработной плат
прекращается только вместе с жизнью и работоспособностью рабочего. Есл
же спекулянтам и капиталистам удается сверх того посредством скупки зер
быстро взвинтить и цену на хлеб, заработная плата разом падает ниж
уровня, при котором возможно жить, и железный закон обрекает ра
бочих на голодную смерть.

Отсюда, и в этом вторая основная идея петиционеров, следует, что гос
дарство имеет право и обязано вмешаться и не допустить, чтобы народ па
ниже указанного уровня жизнеспособности. Оно должно обеспечить правильно
соотношение между заработной платой и ценой хлеба, и, фиксируя макс
мум хлебных цен, фактически обеспечить рабочим минимум заработно
платы. Чтобы удержать в должных границах хлебные цены, чтобы они не пер
ходили уровня, устанавливаемого издержками обработки и честной прибыль
земледельца, надо, действительно, прежде всего ввести таксу на зерно. Зат

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

следует предупредить возможность скупки в одни руки в самом корне, т.-е. при производстве, раздробляя на возможно более мелкие участки фермы, препятствуя концентрации собственности и арендованных участков.

Это можно назвать не аграрным законом, регулирующим отложения земельной собственности, но аграрным законом, регулирующим арендные отношения. Арендаторы, более многочисленные и при том вынужденные продавать зерно, чтобы уплатить арендную плату, которую, по проекту петиционеров, они уже не могли вносить зерном, должны были конкурировать друг с другом на рынке, и эта конкуренция арендаторов, обостряемая и поощряемая законодательными постановлениями, вместе с таксой должна была удержать хлебные цены в границах умеренности.

Самые смелые идеи крестьянских наказов о разделе ферм, об учреждении государственного управления продовольствием, затемненные и заглушенные городской буржуазией, зажигаются здесь вновь и бросают яркий свет на всю революцию. Народ начинает приходить к сознанию своих интересов и формулировать с систематической твердостью принципы, применение которых сделало бы государство стражем народного права. Народ начинает противополагать себя, как класс, уже не терроризированному и эмигрировавшему дворянству и не экспроприированному духовенству, но меньшинству, состоявшему из капиталистов, крупных земельных собственников буржуазного происхождения и крупных арендаторов. Требуемая ими государственная организация продовольственного дела понимается в смысле непосредственного управления продовольственным делом самим народом, в лице его прямых избранников.

Народная демократия, 10-го августа взявшая приступом политическую организацию общества, пытается теперь захватить в свои руки управление великими экономическими интересами.

В департаментах Соммы, Эн, Эр-э-Луар, Сарты, Луар-э-Шер, Луарэ в октябре и ноябре произошли сильные волнения. Народ не ограничился захватом хлебных обозов. Он сам пришел непосредственно к таксировке товаров. Члены Конвента охотно усматривали в этом происки контр-революционеров. Действительно, вполне возможно, что духовенство старалось использовать в своих видах временные страдания народа, связать дело религии с делом бедняков. Оно фанатически настраивало народ против Конвента, который обвинялся в том, что он морит страну голодом и преследует в ней христианство, отнимая у нее «хлеб духовный» и хлеб телесный.

Три комиссара Конвента,—Лекуант-Пюираво, Биротто и Мор,—посланные в департамент Эр-э-Луар, пытались в своих устных об'яснениях в Конвенте 30-го ноября придать движению одновременно «анархистскую» и контр-революционную окраску.

«В упреках, которые нам пришлось услышать, — сказал Лекуант-Пюираво, — говорилось много о религии и о священниках. Предложение, сделанное в Конвенте (предложение Камбона об уничтожении бюджета культов), было здесь известно, и нас хотели покарать за него. При нас выступили с дерзким и самоуверенным предложением аграрного закона. Человек, одетый в национальный мундир, потребовал, чтобы был издан декрет о понижении арендной платы по всем договорам. Не побоялись сказать, что это движение дойдет до Парижа, и что Конвент, который не хочет больше священников и крадет народные гроши, дорого за это поплатится».

Биротто прибавил:

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Напрасно мы говорили, что мы не имеем права вводить таксу на товары. Этот отказ мог стоить нам жизни. Они беспрестанно повторяли мне, что Парижская Палата была врагом народа, что она ведет Францию к гибели, что в скорости они будут здесь, чтобы образумить ее, что отмена католического культа и налога на движимость является мошенничеством. Вы видите, граждане, насколько опасно даже вносить подобные предложения. Собравшиеся при этом говорили, что мы все—богачи, что мы разворовали национальную казну. Я их разуверял, об'ясняя им подробно ведение отчетности. В толпе присутствовали кюре и священники и говорили. Они были раздражены против нас больше всех и говорили от имени народа. Перед нами были выставлены все основные положения аграрного закона: говорили, что буржуа достаточно побарствовали, что теперь очередь за бедными рабочими. Они прибавляли, что хотят получить обратно своих священников и свои церкви, что скоро они одни будут делать законы. Я узнал среди бесновавшихся гражданина с усами, который в Орлеане искал арестованных Верховным национальным судом. Эти лица навязывали свою волю муниципальным должностным лицам и коменданту национальной гвардии, которые повиновались из страха за свою жизнь».

Свидетельства Лекуант-Пюираво и Биротто немного подозрительны; по крайней мере, они являются преувеличенными. Поведение их в Эр-э-Лура было довольно жалким. Словом, они испугались и для спасения своей жизни, которая по их, быть может, ошибочному мнению, находилась здесь в опасности, согласились подписать незаконную таксу; они, стражи и блюстители закона, покрыли авторитетом Конвента произведенное народом насилие над законом. Они старались оправдаться перед Конвентом, преувеличивая опасность и изображая народное движение в возможно более отвратительном свете. Оно было, если верить их словам, результатом чудовищной коалиции сентябрьских убийц, запоздалых эмиссаров Парижской коммуны и крамольного духовенства; главным предметом их ненависти был Конвент. Совершенно несомненно, что духовенство действительно разжигало страсти: несколько месяцев спустя в январе 1793 г. петиция, требующая чуть ли не с угрозами сохранения католической религии. была направлена в Конвент из этого самого департамента Эр, где происходили самые сильные волнения.

Как бы то ни было, несомненно одно, что в основе октябрьских и ноябрьских волнений лежал народный и пролетарский протест против дороговизны жизни. Это был своего рода классовый мятеж, выставлявший свои принципы. свои формулы и свою тактику. Мы видим, с какою резкостью бедные сельские рабочие противопоставляли «трудящихся»—«буржуазии».

Администрация департаментов и члены Конвента стараются уверить себя. что густые толпы, систематически пытавшиеся установить на рынках таксы. образовывались и выростали под давлением угроз. Напротив, совершенно очевидно, что это движение возникло самостоятельно. Депутация административных учреждений департамента Луары и Шер, принятая в Конвенте 26-го ноября, говорит следующее:

«Мятеж возник в департаменте Сарты, в лесу Монмирель. Сборище принудило рабочих стекольного завода в. Монмирель двинуться с ними в Мондубло, где они установили таксу на зерно и вынудили жителей и должностных лиц следовать за ними в Сен-Кале. Оттуда они пришли в Вандом 23 с. м. в количестве 3.000 с 300 всадниками во главе. Они с самого начала заявили, что пришли не с целью совершать какие-либо насилия, а только для того

Электронный архив библиотеки г. Семея А.А. Кунашова

чтобы ввести таксу на зерно и на другие продукты. Они разместились в домах граждан; хлеб они принесли с собой, чтобы не подвергать голоду город, где их не ждали; они просили лишь пристанища и воды. Они действительно установили таксу на хлеб в 21 денье за фунт и об'явили, что в будущую субботу пойдут в Блуа, чтобы установить там ту же цену, и что, если жители Вандома не пойдут с ними, то они подожгут город. Можно сказать почти наверное, что число тех, кто в пятницу должны подойти к Блуа, будет не меньше 12 или 15 тысяч человек».

Буржуазная администрация Луара и Шер, смущенная этим движением, желая прежде всего поскорее добиться помощи от Конвента, старалась запугать его зловещими вестями:

«Вот факты: из них вытекает, что во многих местах этих департаментов граждане вынуждены питаться отрубями, смешанными с капустой и картофелем. Одна несчастная женщина в приходе Опиталь, не достав зерна себе на хлеб, убила своего ребенка, чтобы не видеть его голодной смерти, затем повесилась сама». (Продолжительные выражения ужаса.)

Но, как бы ни толковать это происшествие, в достаточной степени сенсационное и грубо-мелодраматическое — каким образом мы можем себе представить, чтобы люди, действовавшие с такой осторожностью и в таком порядке, бравшие с собой хлеб, проспвшие для себя лишь немного воды, могли вызвать безумную панику? Как, в особенности, мы можем поверить тому, что им приходилось применять силу, чтобы увлечь за собой стекольщиков из Монмирель для совместного протеста против неумеренных цен на товары. Депутат Фресен, также хотевший убедить всех, что здесь мы имеем дело с террором, опровергает сам себя:

«В Мансе они принудили должностных лиц департамента сделать постановление, одобряющее совершенные ими незаконные поступки. Должностные лица уступили; я их не оправдываю. Повидимому, они предпочли безопасность в соединении с большим позором опасной чести выполнить свой долг. Повсюду это скопище пополнялось всем составом граждан тех деревень, через которые оно проходило. Повсюду они оставляли на месте только женщин, детей и больных. Все остальные должны были присоединиться к ним, под угрозой поджога их имущества. При своем продвижении они предусмотрительно посылали вперед военных и гражданских должностных лиц тех мест, откуда уводили жителей».

Но допустимо ли, чтобы все население в целом шло за ними из страха? Без сомнения, на тот случай, если бы дело приняло плохой оборот, у хитрых крестьян имелась оттоворка, и они могли ответить начальству: нас вели силой. Но они примкнули к движению добровольно. Что касается до монмирельских стекольщиков, то учиненное над ними насилие было настолько фиктивным, что некоторые члены Конвента спрашивали, наоборот, не действовали ли они по вероломному наущению своего хозяина Дюваля, заподозренного одно время в контр-революции? Нет, эти рабочие на заводах и сельские работники восставали против чрезмерных цен, требовали и вводили таксу на товары, домогались большей заработной платы, добивались дробления больших участков на мелкие и уменьшения арендной платы вполне свободно и по своей собственной инициативе. Лекуант-Пюираво, Бпротто и Мор вынуждены были санкционировать тарифную роспись цен, которая была для предметов первой необходимости первой таблицей максимума. Под давлением угроз они подписали следующее постановление:

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

«Ныне, 29-го ноября 1792 года, первого года Республики, комиссары Национального Конвента постановили, что цены на нижеперечисленные товары навсегда устанавливаются в следующем виде:

«Хлеб, первый сорт—17 ливров 6 су за сетье. Второй сорт—16 ливров сетье. Низший сорт—14 ливров за сетье.

«Ячмень—8 ливров сетье.

«Свечи—16 су за фунт.

«Мясо—5 су за фунт.

«Аршин холста—2 ливра, аршин белой саржи 55 су.

«Железо 20 ливров за центнер.

«Башмаки—4 ливра 10 су пара, башмаки на толстой подошве и с двойным рядом гвоздей 45 су за пару».

Весьма вероятно, это цены 1790 г., те самые, что Конвент взял за основу при установлении максимума, увеличив их на одну треть. Что касается обуви, то следует отметить, что сапожник Жердре незадолго перед тем взял подряд на сапоги для армии по цене 6 ливров за пару. С лета 1792 г. поставщики вследствие высоких цен на сырье заметно повысили свои цены; весьма вероятно поэтому, что цена в 4 ливра 10 су, назначенная жителями Эр и Луара, была ценой 1790 г. Точно также в таблице цен на свежее и соленое мясо, составленной согласно закону о максимуме и имеющей примечание: «по ценам 1790 г. с надбавкой на одну треть», в департаменте Эр-и-Луара цена на свежее бычачье мясо составляет 10 ливров, коровье—9; в деп. Эр—для некоторых округов 10 ливров, для других 10 и 8. Эти цифры приближаются к той цене, которая получится, если надбавить треть к цене на мясо в 5 ливров, указанной в незаконной таблице цен, которую давали на подпись Биротто. Возвращаясь прост к ценам 1790 г., между тем как курс ассигнатов понизился, жители Эр и Эри-Луара в действительности обеспечивали себе продукты по ценам, на самом деле низшим, чем цены 1790 г. Правда, благодаря падению курса ассигнатов, заработная плата, если она уплачивалась бумажными деньгами, также понижалась.

Повидимому, в то время когда комиссары Конвента отправились в эти области, заработная плата там еще не была повышена в соответствии с падением ассигнатов и ростом цен. В этом одна из главных причин народных волнений. «Нищета у нас большая, — говорят делегаты Луара и Шер, — хлеб вино стоят чрезмерно дорого». А Лекуант-Пюираво и Мор говорят, что причину волнений следует приписать не столько дороговизне зерна и хлеба, которая по их мнению, не так уже велика в этих департаментах, сколько скудости заработной платы.

«Мы обязаны сказать правду,—говорит Лекуант,—достаточные люди злоупотребляют возможностью оплачивать труд по очень невысокой цене». Мор говорит: «Мятежники ставят на вид, что их поденная плата только 20 су, и что они не могут добиться большей».

ГЛАВА XV.

Проекты и системы.

Лионский социалист Л'Анж.

Очевидно, борьба за заработную плату завязалась почти повсюду и шла с переменным счастьем. Рабочие и пролетарии достигли только частичных и весьма спорных успехов. Отсюда острота схваток во всем этом районе крупных хозяйств, где количество рабочих по найму было весьма велико. Приняла ли

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

борьба этих сельских рабочих систематическую форму? Начали ли они требовать общей реформы всего социального строя? Если верить депутациям правительственных учреждений и принять буквально отчеты комиссаров Конвента, можно подумать, что среди отрядов восставших всюду пропагандировался аграрный закон. Но в партийной полемике это слово утеряло мало-по-малу свое точное значение. Оно уже не означало раздела земли, нового распределения собственности. Оно обнимало лишь совокупность мер, регулировавших и ограничивавших право собственности.

В этом смысле комиссары Конвента называют аграрным законом ограничение в законодательном порядке размера арендных цен. Враги Парижской Коммуны, впрочем, уверяли, что ее эмиссары вели агитацию в пользу введения аграрного закона и насильственного захвата земли народом. Лидон говорит в Конвенте 26-го ноября: «У меня имеются письменные доказательства всех преступлений, учиненных этими комиссарами (Парижской Коммуны); некоторые советовали властям воспользоваться национальными имуществами в своих интересах». Но не клеветнические ли это слухи? Дюруа прибавляет: «У меня есть протокол, устанавливающий, что Моморо и Дюфур, посланные в департаменты Эр и Луар-э-Шер, хотели принудить неимущих граждан завладеть замком одного эмигранта. Передо мною лежит даже рукопись, в которй Моморо требует аграрного закона». Но Дюруа здесь запаздывает и повторяет уже устаревшую историю. Дело идет, очевидно, о знаменитой речи, которую Моморо произнес в Эр вскоре после 10-го августа и об его добавочных статьях к декларации прав человека.

Ввиду того, что враги Парижской Коммуны были принуждены ссылаться на эти уже устарелые документы, позволительно думать, что эмиссары Коммуны, чувствовавшие, что за ними теперь очень следят, остерегались явно направлять пролетарское движение протеста в сторону аграрного закона. В конце концов самые умные из них должны были понять, что они сломают себе голову, открыто нападая на право собственности, но что они могут постепенно, суживая его содержание, видоизменить его в интересах народа. Разве не был уже закон об общей таксировке предметов первой необходимости, вышедший из парода, первой попыткой пролетариата, ставшего хозяином государства, наложить свою руку на самую сущность права собственности? Мне не удалось отыскать брошюры Моморо, относящейся именно к этому времени, но я нашел другую, изданную в апреле 1793 г., где аграрный вопрос проводится в виде таксировки товаров, и где его знаменитая формула земельной собственности принимает несколько смягченную форму:

«Суждение Моморо, администратора и члена директории Парижского департамента, о фиксации максимума хлебных цен на всем протяжении Французской республики, напечатанное по приказанию комитетов земледелия и торговли Национального Конвента». Посмотрите, как осторожно он развивает свои положения:

«Первое предложение: нарушается ли право собственности установлением максимума хлебных цен? Чтобы ясно ответить на этот вопрос, необходимо здесь определить, что следует разуметь под словом собственность. Собственность в обычном смысле слова есть право распоряжаться вещью, как угодно.

«Собственник может на принадлежащей ему земле построить дом и на следующий день сломать его потому, что это его собственность, и он в праве, пользуясь защитой закона, пользоваться и злоупотреблять ею (лишь бы это злоупотребление не вредило обществу).

«Имеет ли земледелец такое же право на те продукты, которые дает ему земля за его труды?

Электронный архив библиотеки МГПИ им. А.А. Кулешова

«Без сомненья, нет.

«Почему? потому что цель этих продуков — служить пропитанию общества за предварительное справедливое возмещение расходов, которые составляют их цену. Это предварительное и справедливое возмещение расходов должно соответствовать средствам гражданина. Это одна из статей sine qua non социального договора.

«Никто не может оспаривать этой истины. Это неизменный принцип: если бы его не было, не было бы и общества.

«На этом основании продукты, приносимые землей, не могут быть причислены к тому же разряду, как другие виды собственности, в точном смысле слова, и так как все живущие на земле существа должны находить на ней пропитание, то, очевидно, установление требуемой фиксации не нарушает права собственности земледельца, так как эта фиксация есть ее цена».

Что за смягченное толкование знаменитой формулы: то, что ложным образом называется правом собственности на землю!

Смягченное, но больше поверхностно, чем по существу; потому что это право общества на продукты земли, это право общества определять цены на них сообразно средствам граждан, т. - е. сообразно средствам беднейших граждан, является своего рода частичной экспроприацией земельной собственности в пользу общества и народа. И я думаю, что Моморо еще до апреля понял, что осторожная тактика и окольные пути таксировки приведут его к цели вернее, чем неблагоразумное возобновление нападений на земельную собственность. Со времени народных волнений, возникших в сентябре и октябре по поводу таксировки, он, без сомнения, понял, что принцип таксировки может привести мало-по-малу к аграрному закону. Аграрный закон был таким образом готов всплыть на поверхность. В этот период некоторой нерешимости, после неблагоразумной и всем осужденной выходки Моморо в сентябре, никто еще не осмеливался поставить ребром вопроса о земельной собственности; но в это время велись уже тайные подкопы, направленные против ее абсолютного характера.

Я привел в свое время, т.-е. при обзоре событий в начале лета 1792 г., любопытное письмо наполовину ясное, наполовину загадочное, в котором аббат Доливье, как раз в связи с продовольственным вопросом, поставил весьма еще осторожно проблему земельной собственности или, вернее, заявил о необходимости, наконец, ее поставить. Можно себе представить, с какой сдержанной и в то же время нарастающей страстностью следил аббат Доливье за движением идей и действий пролетариата. Он еще не говорил и ничем не выдавал себя, он терпеливо ждал, когда более высокий прилив революции позволит ему высказать свои мысли во всей полноте; но, наверное, с этого момента его мысли стали настойчивее и определеннее.

Они выльются позднее в труде капитальной важности, на который указал мне Габриэль Девиль, нашедший его при своих исследованиях о Бабефе, и который является как бы переходной ступенью от робеспьеровской демократии к коммунизму Бабефа. Семя растет, и, кажется, вот-вот выйдет из земли. Начиная с октября и ноября 1792 г., смелые мысли втайне возбуждают страсти в нарождающемся движении, в возникающей концепции максимума. Это больше уже не корпоративная регламентация цен, декретированная свыше с целью поддержать равновесие в промышленности; это — попытка демократии

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

и пролетариата наложить руку на все ценности и, следовательно, на самое собственность. В этой попытке социализировать обмен чувствуется зародыш демократического коммунизма, централистического и этатистского.

По удивительному совпадению, показавшему, что социализм своими самыми различными корнями восходит к демократии и революции, в тот же самый момент, когда показываются на поверхности земли первые едва заметные ростки бабувизма, начинает намечаться также фурьеризм: кооперативный социализм вырастает из той же революционной борозды, что и социализм коммунистический, и оба они опираются на внезапно разросшуюся проблему продовольствия. Мишле с неподражаемым проникновением выделил революционных предшественников фурьеризма. Он говорит о Лионе:

«Нигде не было столько мечтателей-утопистов, как в этом городе. Нигде раненое, разбитое сердце не искало более беспокойно новых решений проблемы человеческих судеб. Здесь появились первые социалисты — Анж и его преемник Фурье. Первый уже в 1793 г. набросал план фаланстера и всего учения об ассоциации, которым второй воспользовался с силою гения».

Признаюсь, эта фраза была для меня откровением. Какая радость в момент, когда в лице Доливье и нескольких других мы улавливаем переход от Робеспьера к Бабефу, от демократии к коммунизму,—иметь возможность установить также в лице Анжа и лионском движении, отмеченном Мишле, переход от революции к фурьеризму. Мне казалось, что я вижу, как в распаханной революцией почве прорастают бесчисленные семена и развиваются новые силы.

Но какой общий характер носит фраза Мишле!

Лихтенберже не обратил на нее никакого внимания, он даже не упоминает о ней в своей книге о «Социализме и французской революции»; он, повидимому, не знает об Анже и не интересуется им. В архивах, где Мишле отыскал поразительное письмо Шалье к своим единомышленникам накануне казни, нет и следа об Анже. Я обратился к Габриэлю Моно, у которого, как известно, хранятся бумаги Мишле, и в заметках, писанных Мишле пять лет спустя после выхода его книги о французской революции, Моно нашел следующее: «Кто создал Фурье? Ни Анж, ни Бабеф; Лион — единственный предшественник Фурье».

Мишле хочет сказать этим, что гений и творения Фурье были вызваны к жизни не прямым, непосредственным влиянием того или иного мыслителя, а зрелищем лионских бедствий и пылкой жаждой справедливости, тревожившей душу этого города. Но Анж остается, по мысли Мишле, одним из великих предтеч социализма.

В Национальной Библиотеке под именем Анжа не имеется абсолютно ничего. Я поделился своим интересом и недоумением с профессором Лионского университета Шарлети, давшим ряд глубоких исследований по истории революции, и он указал мне ключ к поискам.

Имя лионца не Ange, а L'Ange и все его брошюры носят имя Л'Анжа, и под этим именем я нашел некоторые из них в Национальной библиотеке. Или, скорее, его настоящее имя Ланге. Повидимому, он немец по происхождению. Из его допроса явствует, по сообщенным мне Шарлети сведениям, что он родился в Келе, воспитывался в Мюнстере и шестнадцати лет приехал в Париж. К несчастью, в Национальной Библиотеке нет его брошюры 1793 г., которую видел Мишле, и в которой изложена вся его система обеспечения «социального благоденствия». В лионских библиотеках ее тоже нет, но Шарлети не отчаивается найти ее в частных собраниях, что было бы большим счастьем для истории социализма и демократии. Пока же мы имеем краткое изложение в библиографическом каталоге.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Была ли она действительно в руках у Мишле? Можно усомниться в этом имея ввиду ошибку, сделанную им относительно транскрипции имени Л'Анж; мо жет быть, он только по традиции знал о «социетарной» пропаганде которую ве Л'Анж в Лионе в 1793 г., в то самое время, когда там поселился Фурье, которому было тогда 21 год. Но в высшей степени замечательным является факт, яви вытекающий из брошюр Л'Анжа, которые мне удалось изучить, а именно, чт он еще до идейных движений 1793 г. высказал определенную социалистиче скую мысль, чтобы затем точнее развить ее в формах очень близких к фурье ризму. С 1790 года по 1792 год его пропаганда растет и усиливается. Таки образом фурьеристское течение многочисленными узлами связывается с различ ными моментами революции.

В мышлении Л'Анжа имеются три последовательных момента, соответствую щих политическим и социальным кризисам революции. Прежде всего про тиворечие между Декларацией Прав Человека и избирательной системо олигархической и цензовой, введенной Учредительным Собранием, возмущае его совесть и побуждает его смело поставить проблему собственности. Далее повсеместный кризис, связанный с продовольствием и ценами, очевидное рас стройство обмена, все ухудшавшегося с весны до осени 1792 года, заставляю его выработать план новой организации и мировой ассоциации, имеющей своей главной целью снабжение страны продовольствием. Наконец, в 1793 г., по влиянием большого лионского кризиса, его мысль приходит к полному пере устройству всей социальной системы.

Он напечатал в Лионе в 1790 г., в типографии Луи Кютти, «Жалобы и представления пассивного гражданина гражданам активным» («Plaintes e représantations d'un citoyen décrétè passif aux citoyens décrétés actifs») Это звучит хорошо, одновременно сильно и братски, смело и нежно.

«Господа, вы собираетесь приступить к выборам новых представителей н о г д е в а ш и б р а т ь я?..

«После того как прозвучало во всем мире возвышенное постановлени 17-го июня 1789 г., в котором Национальное Собрание признало, что в это врем оно уже состоит из представителей, посланных непосредственно 96% всег народа;

«После того как 4-го августа эта масса депутатов, увеличенная и пополнен ная остальными четырьмя %, свергла феодальный режим, отменила привелеги и декретировала, что все граждане, без различия происхождения, могут зани мать все церковные, гражданские и военные должности, и что никакая про фессия не влечет за собой бесчестия;

«После того как представители французского народа об'явили чт все люди рождаются и пребывают свободными и равными в правах что цель всех политических ассоциаций есть сохранение естественны и неот'емлемых прав человека; что пользование естественными правами каждог человека не имеет иных границ, кроме тех, которые обеспечивают другим члена общества пользование такими же правами; что эти границы могут быть уста новлены только законом, который есть выражение общей воли; что все граждан имеют право лично или через своих представителей принимать участие в соста влении закона; что закон, исходя от всех, должен быть одинаковым для всех; что все, будучи равны перед лицом закона, равно допускаются ко всем местам должностям и званиям, смотря по способностям каждого и без всякого другог различия, кроме их добродетелей и талантов;

«Наконец после того как они признали и провозгласили, что принци всякой верховной власти заключается в народе, и что ни одно учреждение ни один человек не может пользоваться властью, не исходящей от народа,—

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

нельзя было ожидать, чтобы они обратили свои действия против самих себя; чтобы, отбросив громадную массу от верховной власти и разделив нацию, они свели себя к представительству только меньшей ее части; чтобы вручённую им власть они употребили на то, чтобы отнять у своих доверителей право вручить ее им, на то, чтобы превратить их в рабов или в пассивных граждан, что одно и то же.

«Не значило ли это свести верховную власть народа к простой подаче голосов за своих выборных? Неужели нужно было наносить нам еще оскорбление, исключая нас из первичных собраний, ссылаясь при этом на нашу трудолюбивую бедность, являющуюся источником ваших богатств? Если благодаря бедности наш разум остается непросвещенным настолько, что нас считают неспособными самим решать то, что для нас лучше, если по характеру наших потребностей мы лишены возможности заниматься общественными делами, в которых мы заинтересованы больше всех, так как мы вкладываем в него наши личные способности, — право посылать за себя представителей является нашим единственным рессурсом, единственной гарантией наших интересов,—и вот, вероломная и жестокая политика внушает нашим депутатам мысль лишить нас именно этого права».

Сильная аргументация! Конечно, провозгласить право всякого человека, а затем отнять у части людей политические права, признать, что все могут быть допущены к занятию всех должностей, и затем лишить миллионы граждан высшего правомочия, правомочия выбирать законодателей и составлять законы, есть недопустимое противоречие. Декларация Прав Человека неизбежно вела к демократии, и эту демократию Л'Анж представлял себе возможно более широкой и непосредственной. Он хотел непосредственного народоправства, непосредственного народного законодательства, и в небольшом памфлете, появившемся накануне революции, он указывал уже практический способ для установления во всех важных вопросах индивидуальной воли всех граждан. Какой великий гнев должен был подняться в нем, когда народ оказался лишенным не только права непосредственно принимать участие в законодательстве, но и права посылать своих представителей. И какая гордая защита достоинства бедняков!

«Я отнюдь не стану пытаться,—говорит он,—описывать глубокую скорбь, в которую повергает нас это лишение: вы получите представление о ней из нелегальной петиции домашних слуг, которой удалось тронуть до глубины души Национальное Собрание. Ах, если бы пошли по пути, вполне свободному от предубеждений, если бы приняли во внимание святое уважение к чужой собственности, проявляемое бедняком, когда он употребляет все свои силы на то, чтобы добыть для своего господина богатства ценой своего тела; если бы подумали, что богач, заставляя служить бедняка, принимает на себя по отношению к нему священный долг, что слово «кредитор» поглощает слово «слуга», что в слове «должник» исчезает слово «господин», что в своем договоре господин и слуга равноценны; что в моральном отношении их сходство вошло в пословицу, то непоследовательность, иронические доводы, тонкости, лукавые, хитросплетенные софизмы, придуманные для того, чтобы утишить их громкие жалобы, не помрачили бы величия французского народа, блеснувшего чистым блеском в Декларации Прав Человека».

Это не фривольные дерзости Фигаро; серьезным и глубоким тоном Л'Анж, ставя слугу в положение кредитора своего господина, отдает ему первенство. Он не уклоняется от затруднений, не смягчает проблемы. Будучи сам живо-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

писцем, зажиточным и, очевидно, образованным ремесленником, он не отделяет дела бедных ремесленников от дела наемных слуг. Для всех, даже для тех, кто находится в зависимости и приниженном положении, он требует всей полноты прав:

«Но что я вижу? на вашем челе, господа, появляются морщины; в вас вспыхивает чувство гордости; гордость всегда несправедливая, рисует вам рабское положение наемных слуг слишком отвратительным, чтобы быть совместимым с достоинством гражданина, и вы рукоплещете закону, который изгоняет их, выставляет их за дверь общества, приравнивает их к неразумным домашним животным.

«Ну что же, братья мои, закон приравнивает нас именно к этим людям, но мы жалуемся вовсе не на это приравнивание».

Нет, пассивные граждане жалуются на то, что закон приравнивает их к тем, кто за порочность, преступление, измену лишен права голоса: целая часть нации, не совершив никаких преступных деяний, подвергнута каре наравне с преступниками. Но Л'Анж с большой силой показывает, что революционная буржуазия будет наказана за свой эгоизм, что мало-но-малу, под предлогом передачи руководства обществом только просвещенным, богатым и независимым людям, ценз будет повышен, и значительная часть ныне активных граждан неизбежно попадет, в силу сокращения ею же установленной привилегии, в разряд пассивных. Так возникают в обществе недоверие и антагонизм, и богатые, отнявшие у народа его право, живут в постоянном страхе возмездия.

«Против кого направляется оружие? Кого вы так сильно остерегаетесь? Не бывших привилегированных, которые признают невозможным восстановить свою только что рассеянную разумом химеру; без сомнения, между ними есть и такие, которые никогда не простят вам, что вы больше не на коленях перед ними,—но что могли бы они предпринять против вас, если бы их месть не рассчитывала на наши силы! Значит, вы боитесь нас, об'явленных декретом пассивными, бездеятельными, вы боитесь нашей активности. **О, братья мои, это Каинов страх.** Ибо, действительно, декрет, исключающий нас из первичных собраний, отделяющий нас от вас и обрекающий нас на гражданскую смерть, есть поистине братоубийство, которое не может остаться безнаказанным. Эх, в каком преступлении можем мы когда-либо оказаться виновными перед вами. **Разве мы не находимся в состоянии войны?**

«Вы тяжело оскорбили нас, вы не по праву исключили нас из общества, вы нас вычеркнули из социального договора; вы помешали, тиранически запретив нам совещаться о нем; вы даже отнеслись с слишком большим презрением или страхом к свободной ратификации его нами, вы сами вернули нас в естественное состояние, освободили нас от договора, связывавшего нас с вами».

Таким образом, социальный договор нарушен, и общество разделено на два враждебных лагеря; это социальная война, или, скорее, это естественная война, возродившаяся в обществе. И каким случайностям подвергли сами себя эгоистичные активные граждане! Они не только могут лишиться права голоса благодаря закону, суживающему мало-по-малу привилегии, но и, обеднев, впасть в политическое небытие.

«Я вас прошу бросить взгляд направо и налево на ваших сограждан, находящихся вместе с вами на конституционном коромысле.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Каждую минуту ваши права гражданина поднимаются или опускаются, смотря по весу вашего непостоянного благосостояния. О, вы, кого оно покидает, вы опускаетесь в наш класс; на краю могилы, 50 лет вашей примерной добродетельной жизни, ваш опыт, ваша мудрость должны были бы обеспечить вам гражданский венок и общественное уважение... но вас бросают в грязь вместе с дурными людьми».

«Неужели необходимо, чтобы обеспечить себе политические права, разбогатеть какой бы то ни было ценой?

«Грабьте, богатейте в потемках, но покажите только свету марку серебра, и вы будете гражданами, а добродетели будут считать потом. Но тогда будете скупыми и жестокими из страха лишиться вашего гражданского права».

Но, что же? Сделает ли Л'Анж решительный и полный презрения вызов этому недальновидному и эгоистичному классу, который, освободив народ от социального договора, создал состояние глубокой вражды и общей необеспеченности и, унижая бедность, в которую сам может впасть, унизил сам себя? Думает ли он возбудить классовую борьбу, чтобы, завоевав сперва демократию, принудить затем оплатить вексель, поставивший по его мнению, слуг выше господ? Констатируя состояние войны, собирается ли он принять в ней участие и подготовить нападение на политические и социальные привилегии буржуазии? Нет, мысль Л'Анжа вдруг принимает другое направление, потому что он не верит в пролетариев и в их способность к действию. Или может быть, желая в своей величавой мечте о братстве всех людей избавить человечество от кровавых столкновений, он предается мирным упованиям. У него уже налицо идеи тех, кого позднее назовут утопическими социалистами. Он мечтает о великом человеке, о великом спасителе человечества, который заставит привилегированных устыдиться своего эгоизма и слепоты, и путем убеждения приведет их к более справедливой политике. И, кто знает, быть может, сам король, который созвал Генеральные Штаты и много раз говорил о своей любви к народу, присоединит свою мощь к силе народа, чтобы преобразовать общество, обеспечить права и счастье всех.

И, начиная с 1790 г., Л'Анж призывает к реабилитации труда, восстановлению его в его политических правах и обладании созданными им богатствами, этого героя своей мысли, неизвестного спасителя, которого поколения социалистов будут ждать с мистическим упованием.

«Все же не думайте, что этот развращающий финансовый закон делает их неспособными ни на какую добродетель, ни на какой благоразумный порыв. **Пусть явится герой филантроп.** Пусть он вернет их самим себе, их человеческому достоинству...

«Революция должна была стать спасительной, но извращение идей зачумило ее; ужаснейшие злоупотребления богатством внесли существенные видоизменения в носителя верховной власти: он состоит теперь из членов парализованных — бездейственных граждан; из членов благоразумных, но безвольных — пассивных граждан; из членов активных, но связанных избирательным законом; из благородных, но нерешительных членов; наконец, из небольшого числа правящих членов, зависящих от одного члена, дающего приказания короля, который по своему произволу направляет их волю в собрании всех членов.

«Ах, вот вы имеете квартиры, накормлены, выдрессированы по-собачьи. (Здесь Л'Анж заставляет своего героя-филантропа обращаться к лионским национальным гвардейцам, которые всегда были наготове для под-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

держания «порядка».) Вы носите груз оружия, пороха и свинца, вдвое превышающий ваш собственный вес, вы претерпеваете все перемены погоды, стоите на страже днем и ночью, охраняя безопасность наших врагов (дворян, замкам которых угрожали крестьяне), пробегая расстояния в 100—200 и больше лье, чтобы успокоить их, когда их встревожит какой-нибудь пустяк или приведет в трепет сознание собственной несправедливости; вы перестаете служить опорой для их деспотической дерзости лишь тогда, когда вы падаете под мстительной суровостью непогоды или кровавым сопротивлением свободных людей. Вы ведь — люди. Пользуйтесь же своей силой, как подобает вашему благородному характеру, будьте героями человечества! Вы ведь поклялись быть верными народу, т.-е. самим себе».

Это призыв к буржуазии сбросить с себя классовый дух и принять дух человечности. А вот призыв к королю разделить все богатства между королевской властью и народом.

«Истина открывается, и мы видим ясно, что существование человека является единственной основой права гражданства; мы видим ясно, что, напротив, налог (как условие права избирать или быть избранным) есть основание совершенно ложное по отношению к тем, кто кичится им перед нами».

Действительно, этот налог, выплачиваемый самыми зажиточными гражданами, и дающий им исключительное право голоса, не стоит им никаких жертв и лишений, ибо они покрывают его за счет чужого труда.

«Государь, тот, кто платит налог в размере местной цены трех, десяти или больше рабочих дней,—голодает ли он? Дают ли ему бесплатную квартиру на три, десять или больше дней? Ах, если бы голод и лишения давали права гражданства, кто мог бы предъявлять притязания на них в большей степени, чем мы? Но налог опирается вообще на один только труд, и никто не платит его иначе, как собирая их с нас—художников, ремесленников и рабочих. Посмотрите, государь, вот чистый доход с земли, первый результат наших трудов и работ; что делает власть, когда облагает его прямым налогом? Она входит в долю с продавцами при продаже. Она вместе с ними берет выкуп за удовлетворение наших потребностей, и, как будто было мало одних продавцов и откупщиков, чтобы грабить нас, им дают еще беспощадных помощников, и эти чудовища нарождаются и живут среди нас, чтобы непосредственно облагать косвенными налогами наше вынужденное потребление предметов, возникающих, становящихся полезными и ценными только благодаря труду наших рук».

Итак, все ценности, весь чистый доход с земли создаются трудом неимущих. Этот чистый доход работники отдают праздным собственникам: это «выкуп за удовлетворение своих потребностей», т.-е. плата, которую они вынуждены вносить собственникам за то, чтобы получить работу и средства к жизни. И когда финансовые чиновники взыскивают часть чистого дохода с собственника, они в действительности не налагают на него никакого бремени, так как он, не производя ничего, не имеет права ни на что. Они просто присоединяются к дележу награбленного, насильственно взятого от труда, отбирают часть добычи собственника. И вот теперь косвенные налоги, увеличивая цену на продукты, добытые работником, который вынужден вновь покупать их, захватывают еще и то, что собственник оставил наемникам. Все, следовательно, ложится своей тяжестью на труд; налоги так же, как и земельная рента, налоги прямые так же, как и косвенные. Таким образом, если бы политические права

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

имели одни только плательщики налогов, то активными гражданами должны были бы быть одни только работники.

«Наконец, просвещающая нас истина пронизывает смешной покров собственности, которым окутывают себя наши враги, с наглым чванством праздных людей. Золото, которым они кичатся, полезно и здорово только в рабочих руках, оно становится вредоносным, когда попадает в сундуки капиталистов, которые на политическом теле народа представляют из себя то же, что язвы на физическом теле. Повсюду, Государь, куда только Ваше Величество ни взглянет, оно увидит, что земля занята только нами; это мы возделываем ее, мы работаем, мы первые овладели ею, мы первые и последние фактические ее обладатели. **Ленивцы, именующие себя собственниками, могут собирать только излишек средств нашего пропитания; это доказывает, по крайней мере, что мы являемся совладельцами. Но, естественно, раз мы оказываемся совладельцами и единственными творцами всякого дохода, право ограничивать наше пропитание и лишать нас его излишков есть разбойничье право».**

Это самая яростная, отчетливая и жестокая атака на право собственности, какая только была до Прудона. Это не вспышка, как фраза Бриссо, это целая теория. Фактически работники занимают землю, они одни только занимают ее постоянно. «Ленивец, именующий себя собственником, может отлучиться из имения, и плодородие почвы нисколько не уменьшится от этого. Напротив, пролетарии заняты и должны быть заняты при земле постоянно: первый признак собственности. Больше того, если возможно мыслить себе исчезновение всех ленивых собственников, то существование работников является необходимостью. Оно необходимо должно поддерживаться продуктами земли, и только когда оно обеспечено, собственники могут приступить к получению чистого дохода. Поэтому работники являются по крайней мере совладельцами, и в этом совместном владении землею имеют даже приоритет.

И, наконец, так как они одни осуществляют это право совладения, так как только они сообщают ценность и плодотворность всякой собственности, они одни «создают доход», то их право совладельчества становится правом исключительной собственности, и вычет, делаемый «псевдособственниками», является грабежом. Собственность в праздных руках это — воровство.

И этот грабеж подрывает самую королевскую власть; ибо, когда король принимает от праздных собственников, т.-е. от грабителей, средства, необходимые для содержания его самого, его армии и судебных учреждений, он фактически участвует в дележе награбленного. Пусть будет положен конец этому сообщничеству короля и грабителей во славу королевской власти и на благо народа.

Одни только работники, которые создают богатство, имеют право отдавать часть его, и вот что предлагает Л'Анж королю от имени пролетариев. Все праздные люди будут исключены из пользования чистым доходом с земли, тем, что Л'Анж называет «изобилием» (l'abondance), и этот чистый доход будет разделен пополам между королем и производящим народом. Королю это даст возможность оплатить общественную службу, народу — обеспечить воспитание новых поколений.

«Откажитесь же, Государь, от 25 миллионов вашего цивильного листа, от оплаты вашей армии и судебных учреждений, предлагаемых вам их грязными руками, и соблаговолите стать справедливым распределителем половины изобилия, оставляя нам другую половину

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

только для воспитания наших детей, чтобы никто впредь не посмел сказать, что мы — народ, лишенный образования. Государь, вашему величеству приличествует и ваш долг принять это справедливое предложение, которое мы, очевидно, в праве сделать и в силе поддержать».

Это—революционная экспроприация всякой земельной собственности, церковной, дворянской и буржуазной, производимая на половинных правах пролетариями и королевской властью. Это—социализм 1790 г., социализм, представляющий из себя смесь утопии и демократизма. Он утопичен в своем ожидании героя-филантропа и спасителя; он утопичен в своем призыве к королю. В том, что касается промышленности, он слишком неопределенен; ибо, хотя Л'Анж, будучи сам ремесленником, жившим среди бесчисленных ремесленников и рабочих города Лиона, не мог забыть об индустриальной проблеме, хотя он вообще и говорит о промышленности, все же кажется, что раздел «изобилия» относится определенно только к чистому доходу с земли. Но если судя по всем этим чертам, лионский социализм 1790 г. пропитан утопизмом, то он пропитан также и демократизмом.

Во имя прав человека Л'Анж утверждает одновременно и право работников на участие в общественной жизни и их верховное право на собственность. И хотя он для осуществления социальной революции и рассчитывает на содействие короля, хотя он и понимает ее, как компромисс между народом и королем, аналогичный конституционному компромиссу, выработанному Учредительным Собранием, он тем не менее для выполнения общего плана экспроприации предлагает королю силу народа. Утопия примешивается к соцализму 1790 г. только потому, что демократия еще не получила тогда полного развития, и позднее, при Фурье, социализм станет действительно вполне утопическим лишь потому, что демократия будет тогда отодвинута назад. Социализм не был бы вынужден рассчитывать только на благородство привилегированных классов и на инициативу великих мира сего, если бы вполне демократический режим дал трудовому народу силу надеяться, хотеть и действовать.

Но вот изменническая королевская власть разоблачена и пошатнулась. Летом 1792 г. уже заметны признаки близящейся республиканской революции; в то же время нарушение экономического равновесия, хлебный и продовольственный кризис настойчиво выдвигают вперед социальную проблему.

И Л'Анж, которого лионская демократия провела за это время в муниципалитет, дает новую формулировку своим взглядам на переустройство общества. Но на этот раз, в июне 1792 г., он обращается уже не к королю, а к лионскому муниципалитету, и через его посредство—к Национальному Собранию, или, лучше сказать, ко всей демократии, ко всему народу. Он настаивает и отвечает на возражения после 10-го августа. Л'Анж не ограничивается общим протестом против собственности; он, повидимому, отказался от всякого плана общей экспроприации: он хочет разрешить продовольственную проблему, и для разрешения этой определенной проблемы намечает систему ассоциации, которая является очевидным зародышем фурьеризма.

Какое изумительное движение идей в конце 1792 г.! В то время как создается и укрепляется республика, вырабатываются и системы общественного обновления. Возникают не смутные мечтания или философские утопии. Намечается частичная, вполне конкретная экспроприация, вполне определенное расчленение права собственности. Наполовину скрытые идеи Доливье, становящиеся с каждым днем все более популярными среди народа, план общей таксировки товаров—проекты устройства магазинов и общественных зернохранилищ, находящихся под управлением выборных от народа, широкая

Электронная библиотека МГПУ имени А.А. Кулешова

система кооперации и ассоциации Л'Анжа,—все эти различные силы стремятся к своего рода социальной демократии, высшей форме политического народоправства.

«Простые и легкие способы закрепить изобилие и справедливую цену на хлеб. (Лион, 9-го июня 1792 г., в типографии Луи Гютти, соч. Л'Анжа) [1]. «У вас, — говорит он, обращаясь к собственникам, купцам, спекулянтам и капиталистам,—большая жажда золота: все сокровища Перу не могли бы ее утолить. Однако вы подчиняетесь необходимости довольствоваться частью, лишь бы эта часть была, по возможности, больше. Предположим, что для того, чтобы получить ее, у вас нет других способов, как уступить рудокопам те продукты, какие у вас останутся после вычета всех издержек производства,—под условием, что они отдадут вам все золото, какое добудут в копях за то время, когда они будут жить вашим излишком. Безумно и невозможно было бы требовать большего.

«Если бы вы доставили 60 мер пшеницы, 60 ржи и 60 другого зерна, овощей или соответственных продуктов, все первого сорта, но отличающихся друг от друга по цене на две пятых, и если бы за все это вам дали такое количество золота, которое бы составило 900 равных частей, ценностью по 20 су каждая часть, то это дало бы, самое большее, семь ливров за меру пшеницы, 5 за меру ржи и 3 за меру худшего зерна или других продуктов. Отсюда следует, что вы заслужили бы крайнюю ненависть народа, если бы предпочли предоставить своим продуктам скорее портиться, чем продать их по этой цене, и если бы эта такса не показалась вам достаточно высокой, чтобы ограничить ею свободу торговли».

Итак, по мнению Л'Анжа, хлеб, не потребляемый собственниками,—излишек, который они могут вывезти на рынок, стоит столько, сколько может заплатить за него вся совокупность потребителей. Народ-потребитель работает, чтобы иметь возможность купить себе средства существования, и, отдавая тем, кто продает ему эти средства, всю стоимость своего труда, он подобен тем рудокопам, которые отдавали бы все добытое ими золото в обмен на необходимые для жизни продукты. Золото, добытое народом - потребителем, это—ценность его труда. Если этой ценности недостаточно, чтобы окупить его пропитание, если она не определяет соответственной ценности продовольствия, возникает кризис, и народ получает право мстить за себя путем истребления тех, кто на деле истребляет его голодом.

Следовательно, цены на предметы продовольствия должны определяться ресурсами потребителей, а не притязаниями собственников и торговцев. Чтобы сделать существование общества возможным, необходима эквивалентность труда, эквивалентность жизненных функций, необходимо, чтобы труд мог оплачивать содержание трудящихся. Именно это соответствие и хочет обеспечить Л'Анж путем определения цен соразмерно с платежными средствами народа. Потребители-пролетарии будут таким образом предохранены от убийственной эксплоатации, но и собственники и торговцы также не будут терпеть от кризисов цен.

Л'Анж предлагает широкую систему коллективного абонемента, путем которой вся совокупность потребителей покупает на постоянных условиях весь урожай у всей совокупности собственников и торговцев. Чтобы дать возможность функционировать этой системе и осуществить принцип жизненной эквивалентности, выражением которого она является, Л'Анж об'единяет все семьи в стране в группы, автономные и то же время солидарные между собою. Таким образом

[1]) «Moyens simples et faciles de fixer l'abondance et le juste prix du pain» (Lyon, 9 juin 1792, de l'imprimerie Loui Cutty par L'Ange, officier municipal».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

теория ассоциации возникает не из личной фантазии и не из духа системы: она вытекает из продовольственного кризиса, переходящего в кризис революционный. Она рождается из насущной потребности в обществе, где демократия приобретает власть. Совершенно реальные заботы и глубокое коллективное беспокойство вызывают появление этих форм социализма, которые позднее, благодаря черезчур поверхностной оценке, марксизм назвал утопическими.

Л'Анж не хочет навязывать этой мировой, коллективной подписки, он только предлагает ее. Он рассчитывает, что она будет принята, во-первых, в силу очевидной необходимости создать организацию, без которой народ падет жертвою голода и анархии, и, во-вторых, в силу ясных преимуществ, которые извлекут сами продавцы из рациональной кооперативной организации обмена. Этой определенной чертой, этим призывом к свободной мировой ассоциации, которая будет действовать только одной притягательной силой своих благодеяний, система Л'Анжа, несомненно, предвозвещает и намечает будущую систему Фурье, и этими чертами она отличается от коммунизма, регламентации и таксировки, к которому склонялась в это время общественная мысль во Франции.

Мы имеем здесь чрезвычайно своеобразный и совершенно особый росток, выросший вместе, но не сливаясь, с другими на исторической почве революционной Франции, представляющий из себя существенные дополнения к ее несравненным богатствам. «Вы, следовательно, будете обязаны продавать по этим ценам и в праве продавать по меньшим. Но, если не цивилизируя вашей свободы т.-е., в сущности, не социализируя ее, не ставя ей ни малейших пределов, нам предложили купить у вас урожай с тем, чтобы вам нечего было уже бояться ни дождей, ни огня, ни града, ни непогоды; если бы ежегодно вам платили одну и туже цену, раз навсегда установленную, по взаимному соглашению, независимо от степени урожайности; если бы вас избавили от всякого беспокойства и даже от связанных с продажей хлопот, точно так же, как от расходов на перевозку,—разве не приняли бы вы с радостью такого предложения? Итак, для осуществления всего этого нехватает только подходящего повода, который очень легко создать.

«А вы, торговцы зерном и хлебом, вы, мельники и булочники, не обрадовались бы вы, если бы ваша торговля и ваши имущества давали вам большую выгоду с меньшим риском? Не были бы вы рады работать над своим благосостоянием с уверенностью в удаче, наслаждаясь в то же время общественным уважением, не будучи предметом народной вражды? Ну, что же, ваше положение легко улучшить до этой степени.

«А все вы, граждане, не являющиеся ни земледельцами, ни купцами, не были бы вы рады не терять больше времени, отправляясь на рынок всегда озабоченными, и возвращаясь оттуда часто с жалобами и сожалениями? Не были бы вы рады получить увернность, что у каждого из вас во всякое время есть под руками продовольствие? Знать, что во всякое время и во всех местах Франции всякий ест хороший хлеб по одной и той же цене? Не хотели бы вы, чтобы заработная плата была бы везде одна и та же? Чтобы масло, вино, шерсть, кожа, пенька, лен, шелк, дрова и уголь, железо, одним словом, все предметы торговли везде бы

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

подешевели? Чтобы увеличилось потребление всех предметов и, следовательно, общее благосостояние возросло настолько, чтобы ни один бедняк не должен был просить подаяния?»

Ослепительная программа, программа мирового изобилия, а через это и всеобщего мира.

Широкая и свободная ассоциация осуществит подобные чудеса, и Л'Анж, подобно Фурье, предвидит такое общее распространение богатства и благосостояния, что отказывается от воинственных мыслей, одушевлявших его в 1790 г. Или, скорее, из двух сил — мыслей о борьбе и кротких мечтаний о братстве, боровшихся между собою в его уме в 1790 г., уцелела только нежная и светозарная мечта. К чему возбуждать пролетариев против «лентяев, именующих себя собственниками», к чему угрожать последним полной экспроприацией, когда мировая ассоциация принесет людям, всем людям, больше благ, чем могла бы это сделать социальная революция? Старинное неравенство незаметно потонет в изобилии богатства и радости; о чем заботиться, когда широкий поток радости скроет на громадных пространствах существующие на дне неровности? Так Л'Анж кинул свою классовую ненависть в растущие волны морского прилива, в великую идею ассоциации, которая своими светозарными хлынувшими волнами сгладила, сравняла все привилегии и бедствия. Шарлети сообщил мне, что он не нашел никаких следов личного участия Л'Анжа в событиях, предшествовавших осаде Лиона, ни даже в сообщениях, происходивших во время осады. Я ничуть не удивляюсь этому: за много месяцев до конечного кризиса, уже с весны 1792 г. он был целиком во власти своей великой мечты об общей гармонии и о братском богатстве; и, без сомнения, когда обострились страдания и ненависть, ему должно было показаться безумием, что люди рвут на части и разоряют друг друга, тогда как достаточно было бы открыть всем систему ассоциации, чтобы все стали счастливыми и добрыми.

«Да, — говорит он, обращаясь ко всем тем, в ком возбудил надежды, — да, вы этого хотите. Что же, вас легко удовлетворить. Перестаньте только обманывать самих себя. **Перестаньте рассчитывать на средства и волю частных лиц, даже на средства и волю правительства и властей.** Откройте, наконец, глаза и посмотрите, как обманчивы и ненадежны первые, как слабы, тягостны, опасны и вероломны вторые; отвернитесь с негодованием от всякого финансового общества или управления, они таковы, что их мог выдумать только какой-нибудь аббат эпохи Людовика XV».

Так удивительным усилием мысли Л'Анж отвергает разом и старый порядок и революцию. Старый порядок знаком был с хозяйственной деятельностью в крупных размерах только в форме привилегированных компаний, которым произвол сообщал власть угнетателей-монополистов. А революция, недоверчиво смотревшая на ассоциации, знала, повидимому, только государство и индивидуумов. Лионский пре-фурьерист отвергает и привилегированные компании, одновременно и деятельность частных лиц, и деятельность правительства. Он призывает, через голову революции, к совершенной новой силе, к силе свободной, широкой ассоциации.

Широкой или, скорее, огромной. Ибо почему бы, раз она является благом для всего народа, не включить ей в себя всего народа? И, не распространяясь на всех граждан, не будучи повсеместной, каким образом могла бы она разрешить всеобщий кризис цен и обеспечить во всех областях рациональный и одинаковый уровень цен на продукты и на труд, предусмотренный Л'Анжем?

«Если нужно содействие, ассоциация людей, могущих ввести и закрепить изобилие везде, вплоть до самой маленькой хижины, если только интересы

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

компании могут создать и поддержать народное благополучие, то надо эту компанию образовать и притом безотлагательно; но и пусть она сразу же будет такой огромной, чтобы не нуждаться в исключительных привилегиях, и чтобы монополия или скупка не могли приносить никому барыша; нужно в то же время тесно связать ее с народом, и так хорошо устроить ее, чтобы в ней не могло возникнуть никаких злоупотреблений. Вот как ее представляю себе. Соблаговолите выслушать меня.

«Законодательная власть откроет подписку на один миллион восемьсот тысяч акций, по тысяче ливров каждая, что составит сумму в один миллиард восемьсот миллионов ливров.

«Эта сумма будет разделена на 30 тысяч равных частей, каждая, следовательно, будет состоять из 60 акций, могущих быть еще подразделенными, по желанию.

«Каждая из этих серий по 60 акций будет служить фондом для снабжения зерном, мукой и овощами ста семейств в течение 2 лет; эти сто семейств будут иметь в своем распоряжении и пользовании один общий склад продовольствия (grenier d'abondance).

«Итак, получится 30 тысяч складов продовольствия, регулярно распределенных в стране. Все эти склады будут построены за счет народа, по однородному плану, на авансы, внесенные акционерами.

«Каждый из 30 тысяч складов будет расположен возможно ближе к центру размещения ста семейств, и в нем будет также помещаться квартира главного заведующего, а также и людей, обслуживающих и охраняющих склад.

«Заведующие и их подчиненные оплачиваются за счет половины дохода с акций. Склады будут открыты постоянно для нужд обслуживаемых ими семейств. и главы этих последних изберут нескольких лиц из своей среды для контроля и наблюдения, чтобы не могло быть никаких злоупотреблений. Это будет тем легче, что, благодаря множеству складов, запасы продовольствия будут менее раздроблены.

«После каждого сбора урожая, государственное продовольственное ведомство, не препятствуя конкуренции, обязано в установленный законом срок наполнить каждый склад продовольствием в количестве, достаточном для прокормления приблизительно 1.500 человек, так чтобы сотне семейств хватило в избытке на 2 года. Эта статья, однако, будет обязательна только в первый год нового устройства.

«Все сельские хозяева, каков бы ни был род их хозяйства, могут заключать соглашение с Компанией для перевозки их продуктов, так же как и для страхования их урожаев, построек и движимости против града, наводнения, пожара и воров. Они найдут также у Компании все могущие понадобиться им авансы и средства, так как Компания, будучи заинтересована в потреблении, необходимо будет заинтересована и в прогрессе земледелия и населения.

«Компания должна будет поставлять хлеб и зерно всем потребителям во Франции по одной и той же твердой цене, представляющей из себя среднюю цену за три последние пятилетия во всех департаментах, и эта цена может быть изменена только раз в каждые 25 лет.

«Чтобы достичь этого столь спасительного и столь достойного братского единения французского народа—равенства цен на хлеб, а, следовательно, и на все остальные предметы, во всей Франции надобно произвести две операции...»

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Первая заключается в том, чтобы, подразделив Францию на пять областей, установить среднюю цену для каждой из этих областей, и затем вывести из них общую среднюю цену. Вторая операция сводится к равномерному разложению на все потребление расходов по перевозке продовольствия.

«Если вся сумма расходов по транспорту будет равняться пяти миллионам, Компания соберет два миллиона с пекарен или булочных тех земледельческих областей, где расходы по перевозке не доводят хлеб до его средней цены, и, получив эту сумму, она должна будет доставлять хлеб по сказанной средней цене во все местности, где расходы по транспорту удорожают хлеб. И обратно: жители земледельческих областей уплатят на два миллиона меньше за масло, вино и все предметы их повседневного потребления. Тогда обрабатывающая промышленность не будет более отнимать у деревни рук, столь нужных для земледелия, она расположится в бесплодных местностях, населяя их, потому что жизнь там будет стоить не дороже, чем в самых богатых по урожаю краях».

Итак, Л'Анж предлагает революции очень определенный и разработанный в подробности план. Все элементы фурьеристского мышления в нем налицо: упорядоченный и организованный капитализм, коллективизм, кооперация, взаимопомощь и «гарантия» («garantisme»). Предлагаемая Л'Анжем комбинация—капиталистическая, потому что она опирается на образование акционерного капитала в один миллиард восемьсот миллионов. Она коллективистская, потому что в ней «законодательная власть» берет на себя инициативу подписки, строит по однородному плану 30 тысяч складов и дает законную силу сделкам, совершающимся между потребительными ассоциациями и земледельцами. Она—кооперативная и «гарантистская», потому что каждый из этих складов свободно управляется сотней семейств, центром которых он служит, и потому, что эти 36 тысяч ассоциаций не только страхуют земледельца от риска потерь, но и взаимно гарантируют себя путем братского распределения расходов по транспорту и установления равенства цен. В тратегические часы конца 1792 г., когда нация боролась за свою жизнь и свободу, Л'Анж не мог отклонить ее от жизненных комбинаций, при помощи которых могло бы быть обеспечено общее продовольствие. Коллективизм и кооперация взаимно проникают друг друга и соединяются в одно, в особенности там, где коллектив управляется демократически, и где кооперация получает самое широкое распространение. Когда коммуной в национальном масштабе управляет всеобщая подача голосов, тогда различные группы интересов, включенные в большой национальный интерес, управляются групповой волей, и коллективизм обращается в кооперацию. И обратно, когда, как в системе Л'Анжа, кооперация берется урегулировать общие интересы всех граждан, она принимает форму народного организма и в конце концов сливается с самим народом. Отсюда вытекает в мышлении Л'Анжа та богатая комбинация элементов и идей, которую можно было бы назвать коллективистской кооперацией или кооперативным коллективизмом.

Но какой поразительный под'ем дают умам демократия и революция! Пылающий костер, раздуваемый бурными порывами урагана, всюду разбрасывает искры идей и грез; и с самого начала великое дыхание коллективной жизни создает так называемые «утопии». Мог ли бы Л'Анж предложить выпуск акций на миллиард восемьсот миллионов, если бы перед тем не было уже смелых финансовых попыток революции? Никогда при старом режиме финансист не решился бы предложить заем с таким размахом. Но так как революция, при продаже национальных владений, при постоянном выпуске ассигнаций, обеспеченных ее огромным имуществом, ворочала миллиардами, — все мысли, все исчисления достигли огромных размеров. Ветер революции унес дух человека в открытое море; и даже те, кто, как Фурье, впоследствии наполовину отреклись от нее,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

увлечены и подхвачены ее громадной волной. Эта революционная полнота сил сообщает уже с 1792 г. фурьеристскому течению мощь многоводной реки. Конечно, у Л'Анжа это еще не фаланстер, вся человеческая жизнь еще не охвачена волшебными движущимися кругами ассоциации, ее гибкими и свободными кольцами, свивающимися и развивающимися на солнце. Но продовольственный склад это—уже предварительный набросок будущего фаланстера, первый центр и точка опоры мировой ассоциации. В этом складе будут жить заведующий и его помощники. Таково первое проявление общей жизни. Больше того, там будет центр страхования и кредита. Компания, все склады которой представляют из себя самостоятельные отделения или, лучше, кооперативные секции, будет страховать земледельцев от всяких потерь и давать им авансы; этим, как определенно заявляет Л'Анж, она примет участие в производстве с целью содействовать ему и поощрять его развитие. Центр снабжения продовольствием, центр жизни, центр страхования, центр кредита, центр производства и прогресса,—так растет и разветвляется, расцветая многообразными обещаниями, этот росток, возникший на почве одного только продовольственного вопроса.

Под живым контролем этих дружных, согласных групп вырастут и будут приведены в порядок все богатства, и видоизменится сам лик страны,—здесь мы имеем в зародыше фурьеристское преображение земли.

«Тогда собственность будет хорошо охраняема; расходы на мосты и шоссе принесут действительно выгоду для народа; дороги будут всегда хороши, реки и каналы всегда доступны для перевозки всякого груза; через короткое время русла рек углубятся, болота будут осушены, бесплодные земли получат орошение; даже воды бурных водопадов начнут мирно орошать новые луга,—одним словом, мы вскоре увидим, как Франция станет земным раем, ибо это чудо общего усовершенствования неизбежно произойдет и с частными богатствами, которые каждый из членов Компании будет иметь возможность приобрести и неизбежно приобретет».

Как будто расстилается бесконечный мягкий луг, полный богатства и силы; неровная горячая почва революции становится богатой, мягкой и радостной, и мы охотно прощаем самым высоким травам, самым блестящим и пышным цветам их пышность и блеск за обилие расточаемых ими семян, которые подхватывает чистое и ровное дыхание ветра, рассеивая их повсюду. Построенные таким образом центры ассоциации должны были, однако, организовывать и развивать не только сельскохозяйственное дело. Великий лионский мечтатель, конечно, не мог обойти в своей грезе торговли и промышленности.

Эти ассоциации становятся банковыми ассоциациями: Компания, опирающаяся на столь крупный капитал и поддерживаемая растущим богатством страны, будет пользоваться всеобщим доверием. Она, следовательно, сможет ручаться за векселя коммерсантов в их заграничных сношениях; она возьмет на себя обязательство выплачивать за них по траттам на Францию. Ей легко будет занимать деньги за границей, потому что ручательством займа будет служить вызванное ею широкое развитие промышленности. Таким образом у нее будет в виде металлической наличности оборотный капитал, необходимый для международных банковых операций; и, обеспечив себя количеством золота, необходимого для заграничных платежей, она сможет принимать от купцов, за счет которых она оплачивала тратты, ассигнаты по курсу al pari золота.

Таким образом она поможет восстановить курс ассигнатов, сначала не предлагая их с потерей по курсу при заграничных сделках, а затем, принимая их по полной номинальной цене при внутренних сделках.

В новой брошюре «Ответ на возражения» («Réponse aux objections»), появившийся после 10-го августа, Л'Анж распространяет действия ассоциации на коммерческие и промышленные операции.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«У нее будет большой и солидный кредит за границей; и она поддержит свои займы, доводя до самых высоких цен изделия французского народа. Таким образом она будет иметь свои капиталы во всех местах торговли для оплаты всех обязательств, заключенных французскими купцами, которые смогут тогда уплатить Компании ассигнатами по курсу al pari звонкой монеты».

Л'Анж, следовательно, вдвигает свою систему в самое течение революционных операций и финансовый механизм революции, связывая ее таким образом со всей революционной жизнью. Его мысль движется уже не только в тесном аграрном круге; новая система прилагается к производству во всем его об'еме: широкая, свободная ассоциация обновит весь человеческий труд, все человеческое существование. Эти 30 тысяч центров страхования и кредита, связанные друг с другом, взаимно себя поддерживающие, взаимно солидарные, станут поистине многообразной и единой душой нации; с почти мистической экзальтацией Л'Анж восхваляет некоторые из их благодеяний. Он пишет в своей июньской брошюре: «Солидарно обязавшись гарантировать всем желающим безопасность от гроз, наводнений и пожаров, даже от ночных воров, каждый склад станет дозорной башней, депо помощи, оком предвидения».

Это как бы восторженный акафист ассоциации. И Л'Анж (еще одна черта, роднящая его с Фурье) безусловно верит в полную и незамедлительную осуществимость своей системы. Не сегодня, завтра она даст великолепные результаты. Для этого нужно только, чтобы все граждане ее поняли; ибо как же, поняв ее, не принять ее тотчас же? «Отчего не могу я,—восклицает он с чувством пламенного огорчения,—отчего не могу я представить этот проект всем французам разом? Почему нельзя собрать личные отзывы всех граждан?» Уже не к королю обращается Л'Анж, как недавно, не к сильному мира сего, не к неизвестному богатому благотворителю, как вынужден был сделать впоследствии Фурье. Величие революции в том, что всякая греза обращена в ней к каждому человеку, что всякая мысль доверена всем.

Система Л'Анжа не прошла незамеченной. На нее последовали многочисленные возражения, и он отвечал на них с большой силой. Боятся, что образованная таким образом Компания окажется сходной с монопольными компаниями старого режима. Но она «срастется с нацией» и везде будет подчинена народному контролю в лице старших членов семей. Думают, что богатая буржуазия не захочет помещать свои фонды в предприятие, которое не даст особенно большой прибыли на капитал, и будет, кроме того, иметь своим следствием уничтожение меркантилизма, в коем она заинтересована. Но капитал должен составиться из вкладов не олигархии, а самой демократии, мелких собственников. Миллиард восемьсот миллионов дадут по подписке 900 тысяч подписчиков.

Опасаются, что жизненные интересы народа будут отданы во власть шумных совещательных собраний? Но, напротив, эти серьезные и существенные совещания старших членов семьи будут служить примером спокойствия, мудрости и методичности. «Вы увидите, что неудобства, связанные с народными собраниями, окажутся почти ничтожными, а преимущества, наоборот,—громадными, потому что эти собрания разделятся на секции, состоящие притом только из семейных людей».

Нет, нечего больше колебаться; пусть Лионская Коммуна примет этот проект и со всем своим авторитетом обратит на него внимание Конвента. И тогда

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

почти что Мессии, в бедности одновременно смиренным и гордым. Л'Анж заклинает своих сограждан: «Вам достанется слава положить конец этой войне (гражданской войне интересов). Господа, вы покончите с ней, если предложите на усмотрение Законодательной Палаты меры, которые небо указывает вам чрезмерения, ибо в подобных случаях оно не пользуется великими людьми». Это первый лепет социалистического мессианизма, который будет владеть благородными великими умами три четверти века, и который диалектика Маркса передаст пролетариату. Л'Анж не обратил Лионской Коммуны к своей системе. Она была слишком сложной для тех дней острого кризиса и преждевременной. Для принятия ее требовалось, с одной стороны, рост капиталистических концепций, а с другой—чувство кооперации, взаимной поддержки, а все это могло развиваться только в более спокойное время, путем медленной эволюции.

В борьбе с надвигающимися бедствиями народ предпочел обратиться к более простым и грубым способам, а именно, немедленному использованию государственной силы, которая должна была таксировать товары или даже, в случае надобности, отнимать собственность. Теория Л'Анжа—зародыш далекого будущего; но сила настоящего—идея максимума. В эту форму и облеклись требования начинавшего наступать и нападать на Конвент пролетариата.

ГЛАВА XVI.

Петиции о таксе. Экономическая теория Сен-Жюста.

Несколько дней спустя после столь значительной речи делегата департамента Луар-э-Шер, 3 декабря, прокурор-синдик департамента Эндр-э-Луар, стяжав аплодисменты Конвента за отчет о своих усилиях заставить уважать закон, беспокоит и волнует его резким требованием ввести таксы на товары:

«Граждане, мы предлагаем вам единственное средство, которое мы считаем действительным в столь затруднительных обстоятельствах. Сделайте доступными для народа путем введения таксы на все'естные припасы, эти предметы первой необходимости; тогда к благодеянию основания Республики вы прибавите подвиг ее спасения». Часть Конвента аплодировала, часть роптала. Но проблема была поставлена на очередь, и ее уже нельзя было отложить.

Конвент был в крайней нерешимости. Сначала он не стал даже и обсуждать идеи максимума и таксы: она ему казалась слишком противной свободе обмена и праву частной собственности и, без сомнения, также трудно выполнимой. Единственный вопрос, который рискнули обсуждать в Конвенте, был следующий: как обязать собственников и арендаторов вывозить свое зерно на рынок? Но и здесь возникли большие затруднения. Соединенные комитеты земледелия и торговли предложили, 3-го и 16-го ноября, по докладу Фабра, депутата от департамента Эр, довольно путанный проект:

«Ст. 1. Немедленно после обнародования настоящего декрета, каждый владелец земли, арендатор или временный распорядитель обязан представить в муниципалитет, по месту своего жительства, сведения как о количестве имеющегося у него обмолоченного зерна, так и о том, сколько приблизительно у него остается еще необмолоченного хлеба; окружные директории назначают комиссаров для наблюдения за выполнением сего в различных муниципалитетах.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

« Ст. 2. На основании вышесказанных сведений муниципальные чиновники могут обязать каждого владельца, арендатора или временного распорядителя доставить на указанный им самим рынок зерно в количестве, какое будет признано нужным, ни в каком случае и ни под каким предлогом не таксируя цен.

«Ст. 3. Возчики и погонщики мулов могут продолжать свою торговлю, но имеют право заниматься ею только на общественных рынках.

«Ст. 18. Купцы, которые пожелают сделать закупки не в своем округе, обязаны заручиться удостоверением от своего муниципалитета, засвидетельствованным директором округа, с указанием количества зерна, которое они предполагают закупить, а также места его назначения; это удостоверение предъявляется на месте закупки муниципалитету, визируется им и сдается муниципалитету той местности, куда направляется вышеуказанное зерно».

Как видите, проект, представленный Конвенту, отнюдь не регламентировал хлебных цен. Напротив, он избегал всякой таксы. Он обеспечивал свободу обращения хлеба в стране, но обязывал землевладельцев и арендаторов заявить о количестве имеющегося у них обмолоченного и необмолоченного зерна, а также поставлять на любой рынок определенное количество зерна по требованию муниципалитета. Закон не фиксировал, значит, ни цены, которая определялась свободной конкуренцией, ни места продажи, свободно выбираемого продавцом. Но закон давал муниципалитетам право фиксировать время продажи. Это было уже весьма стеснительное ограничение свободы торговли, которая может осуществляться лишь при условии свободного распоряжения временем.

Торговая операция, время которой определяется помимо воли продавца властью, стоящей над ним, становится, несмотря на существующую еще конкуренцию, только определенным выполнением социальной функции. Депутат Феро протестовал против этого во имя свободы торговли и принципов Тюрго и Адама Смита. Снова завязывалась борьба между последователями экономистов и сторонниками государственного вмешательства. Депутат департамента Эн Беффруа, напротив, утверждал, что неограниченная свобода торговли может, при настоящих социальных отношениях, привести к чудовищному развитию скупок.

«Вы предоставляете, — говорил он, — неопределенную свободу действий, освящая ее особым законом. Не значит ли это возбуждать алчность в крупном сельском хозяине, в капиталисте, в спекулянте, наконец, просто в злонамеренном человеке, давая им возможность стягивать изо всех земледельческих местностей в потайные и недоступные склады такой предмет первой необходимости, как хлеб? Не значит ли это давать им все средства жиреть за счет народа, лишая один кантон самого необходимого, а в другом повышая цены?»

Закон, санкционирующий свободную торговлю, кажется ему преждевременным. «В настоящее время многие так стремятся сохранить неприкосновенность этого несоответствующего обстоятельствам закона, что скоро, пожалуй, весь сбор с земли станет для земледельца и для купца такой неприкосновенной собственностью, что к ним нельзя будет даже применить разумного и справедливого права, которое общество сохранило за собой в акте ассоциации,—права лишать их части этой собственности для общественных нужд, при условии предварительного и справедливого вознаграждения.

«...Нельзя, говорят нам, затрагивать право собственности земледельца: нельзя стеснять свободу торговли. Согласен: но разве жизнь не является самой первой, самой неоспоримой, самой законной, самой существенной собственностью? А для поддержания жизни не следует ли жертвовать всем?»

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Итак, право экспроприации во имя пользы или, по меньшей мере, в интересах общественной необходимости расширяется до чрезвычайности: право на существование, право на жизнь признается важнее права собственности.

И вот во имя страдающего народа, чья преданность одна только может спасти революцию, революционеры начинают борьбу с крупными арендаторами, с богатыми крестьянами, бывшими до тех пор любимцами революции. «Законодатели,—говорит Беффруа,—свобода скупок, первая и важнейшая причина непрерывного вздорожания зерна, мяса, масла, яиц, живности, шерсти, кожи, рога, сала, льна и пеньки,—эта свобода непосредственно связана с концентрацией в земледелии. Сюда надо направлять удар, если хотят искоренить зло. Как только причина будет уничтожена, равновесие восстановится само собой... Мне кажется, Учредительное Собрание странно заблуждалось на этот счет. Желая поощрять земледелие, оно предоставило тем, кого неизвестно почему зовут крупными земледельцами, кто эксплоатирует громадные имения, полную возможность поглотить все. Оно создает этим, конечно, само того не желая, привилегированный класс как раз в эпоху отмены привилегий и отличий. А эти люди так умеют использовать положение, что теперь они занимают в республике то же положение, какое при монархии занимала знать. Они отличаются жадностью, бесчеловечностью, самым закоренелым духом аристократизма; и что бы мне ни говорили, а я заявляю, что вижу в них не земледельцев, а спекулянтов, жадных и опасных для свободного государства.

«Учредительное Собрание поступало с ним так же, как делал один рыбак, который, чтобы не переводилась рыба в реке, бросал туда всех больших щук, попадавшихся ему в сети. Оно позабыло то, о чем я уже говорил, что система экономистов стремилась утвердить деспотический образ правления, покровительствуя аристократии богатства. Оно в особенности забыло, что та же ошибка у римлян положила начало концу Римской республики. Они также уважали земледелие, но не приняли в расчет интересов тех, кто исключительно занимался обработкой земли.

«И вы также будете всячески поощрять земледелие, этот неиссякаемый источник всех богатств,—вы дадите земледельцу особое право на покровительство закона, которым должны бы пользоваться все. Но вы, без сомнения, остережетесь принимать за образцового земледельца какого-нибудь фермера, который арендует столько участков, что их хватило бы на 15 или 20 семейств, который ездит на великолепной лошади, переходит от удовольствий к удовольствиям, нанимает работающего на него приказчика и оставляет заботу об обработке своей земли тому, кого он зовет старшим слугою. Богатство этого ненасытного человека растет с каждым днем за счет общественного разорения, а его жена, вся в бриллиантах и кружевах, является на наши рынки, чтобы уносить провизию, которую она должна была бы поставлять туда в изобилии.

«Граждане, товарищи, крупная аренда вредна для счастья, вредна и для обработки земли; помимо того, что она ведет к спешке в работе, ведь когда глаз хозяина не может уследить за всем, всегда будет много небрежности. В частности, концентрация в сельском хозяйстве вредно отражается на изобилии припасов, облегчает всякого рода сделку и вызывает удорожание всех товаров, так как продукты первой необхо-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

димости попадают в руки небольшого числа лиц; она сокращает конкуренцию продавцов на рынке, увеличивая в той же степени число покупателей. Например, человек, владеющий пятью участками земли, живет только на одном; остальные приходят в упадок. их опустошает скот, который привлекают скрытые там хлебные запасы; такой владелец забрасывает землю, что похуже, стараясь использовать лишь лучшую; мало разводит или не разводит совсем скота; его скотный двор редко вдвое больше двора фермера, имеющего один участок. Наконец, в его руках средства вызвать вздорожание всех съестных припасов. В скоплении земельных участков в руках одного семьянина — корень множества зол. это нежелательно. Трудно понять, каким образом при нашей системе равенства отдельному лицу. только потому, что он богат, предоставляется возможность парализовать хозяйственную деятельность всех окружающих и тем самым наносить ущерб всему населению, захватывая с помощью денежной мошны всю территорию округи...»

«И не бойтесь. что вам поставят на вид якобы покушение на право собственности; такой упрек будет необоснован, потому что здесь дело идет только о том, чтобы предписать собственнику такой образ действий, который не вредил бы другим».

И Беффруа предлагает в заключение проект весьма определенного декрета, не крайней мере по видимости.

1. Уничтожить скупку продуктов изданием закона, ясно воспрещающего соединение нескольких ферм в руках одного хозяина.

2. Пусть этот закон будет обязательным для всех. по мере истечения срока арендных договоров, а на будущее время пусть считаются абсолютно недействительными все договоры с арендаторами, имеющими больше одной фермы.

3. Налагать на собственников и арендаторов, нарушающих этот закон, и на чиновников, способствующих его нарушению, наказание, соответственно важности проступка, оцениваемого по его последствиям.

4. Разрешать продажу продуктов только на общественных рынках.

5. Отменить все виды комиссий и задатков при покупках зерна.

6. Установить надзор, который давал бы властям уверенность в том, что продовольствие, купленное в одном месте для перевозки в другое, пойдет по своему назначению.

7. Принять меры к тому, чтобы состояние продовольственных запасов проверялось ежегодно, и чтобы в любое время года можно было знать, соответствуют ли они нуждам потребителей.

8. Составить на первый раз капитал, достаточный для закупки за границей зерна в количестве, соответствующем годовому потреблению неземледельческих кантонов.

9. Обязать земледельцев удерживать у себя ежегодно, с октября по октябрь, определяемую законом часть урожая, которая предоставлялась бы в распоряжение правительства; стоимость этой части выплачивать им каждые три месяца по годовой расценке в том случае, если ею воспользуются только под конец года, и закончить выплату при сдаче. в какое бы время она ни пришлась.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Таким путем можно избежать расходов на помещение, содержание и управление складами, а также злостных спекуляций, возможных при хранении зерна на складах, и сохранять в то же время запасы с общественных зернохранилищ».

Но ведь это беспощадная война с тем, что мы назвали бы вслед за Марксом земледельческим капитализмом! Эти горькие обвинения по адресу крупных арендаторов, этих тщеславных и богатых жуиров, мы уже слышали в примитивных наказах крестьян Иль-де-Франса; их отзвук мы уловили два года спустя в книге Лекинио. Но на этот раз они раздаются с трибуны Конвента и формулируются в проекты грозных законов. Беффруа сокрушается, что Учредительное Собрание позволило новой аристократии,—аристократии крупных арендаторов,—захватить бо́льшую часть достояния республики. Именно они использовали великие мероприятия по отмене десятин и феодальных повинностей, они же получили широкий доступ к распродаваемым национальным имуществам. И теперь, сосредоточивая в одних руках многие земельные участки, они, и почти только они одни, извлекают пользу из́ чудовищного повышения цен. Очевидно, по мысли Беффруа, Учредительное Собрание должно было начать с законодательного запрещения крупной аренды. Но каков точный смысл понятия «арендный участок»? Как определяет Беффруа границы его величины? Тут открывается простор для произвола и неясности. Наконец, несмотря на попытку Беффруа доказать это, верно ли, что раздробленная эксплоатация земли будет такой же мощной и даст те же результаты, как эксплоатация, сосредоточенная в одних руках? И найдутся ли у бесчисленных мелких арендаторов, которые заменят крупных, капиталы, необходимые для улучшения почвы и усовершенствования обработки? Беффруа, впрочем, останавливается на полдороге, а логическим выводом из его рассуждений был бы аграрный закон. Дробление арендных участков должно привести к дроблению земель владельцев. Ибо, прежде всего, владелец, не имея больше возможности самому устанавливать порядок эксплоатации своей земли, не будет больше интересоваться ею; тогда он будет лишь получать доход с обработки и станет бесполезным бременем. Во-вторых, полезнее было бы поощрять производственную деятельность мелкого арендатора, сделав его мелким собственником. Наконец, если хотят воспрепятствовать «скупке зерна», накоплению его у небольшого числа людей, то недостаточно упразднить крупных арендаторов; надо упразднить крупных собственников, которые могут сосредоточивать у себя большие запасы зерна, получая его от каждого из своих мелких арендаторов.

Так, помимо своей воли, революция ставила проблему собственности; она и боялась аграрного закона, и не могла от него отрешиться. Раз этот закон о дроблении арендных участков будет применен, Беффруа не опасается больше свободного обращения и свободной торговли зерном. Но в ожидании осуществления своего проекта, он, в сущности, делает из торговли зерном род общественной повинности, строго регламентированной, и склады владельцев и арендаторов оказываются, как он и сам это признает, только разбросанными по стране отделениями громадного общественного склада, зерно которого находится всегда в распоряжении республики.

Лекинио, Буайе-Фонфред, напротив, поддерживали тезис свободной торговли. Буайе-Фонфред ограничился требованием, сверх того, премий за ввоз зерна из-за границы. Жозеф Серр, в своей речи 3-го декабря, горячо защищал земледельцев и арендаторов. Он уверял, что только недоверие, посеянное «анархистской» пропагандой, создает нужду, мешая свободному обращению зерна в стране. Он спрашивал, почти угрожающим тоном, действительно ли хотят лишить революцию арендаторов и земледельцев—ее друзей с первого ее часа? И уже начи-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

нашь предчувствовать ту консервативную политику, к которой примкнули при Директории и Консульстве зажиточные земледельцы, уставшие от революционного движения, которое сперва было им выгодно, а затем стало опасно. Но особенно, и это будет иметь ближайшее следствие, Серр указал на затруднение, из которого можно было бы выйти, только или отказавшись от всякой регламентации торговли зерном, или распространив регламентацию и таксу на всю торговлю и на все товары. «По какому праву,—спрашивал он,—обязывать земледельца продавать свои продукты и не обязывать других производителей продавать те товары, в которых нуждается земледелец?» Так по-своему и сам того не желая, Серр прокладывал дорогу к всеобщему максимуму.

«Требуют уменьшения хлебных цен, а о других продуктах молчат. Что же, право собственности на зерно менее священно в глазах закона, чем другие виды этого права? Как? меня отдадут во власть торговца железом, сукном, и я должен буду отдавать им плоды моих трудов по произвольной цене? Как? жадный купец,—ибо, что бы ни говорили друзья неизвестно какого народа (стрела, направленная в Марата), жадность свойственна всем сословиям, даже сапожники не исключение,—пример тому лионский сапожник Монпелье и совсем недавно добрый гражданин, республиканец Жердре (Серр намекает на спекуляции и преступления по должности поставщиков на армию, относительно Жердре это, кажется, клевета),—жадный купец, говорю я, может наживать сто на сто за свои товары с земледельца, а этот последний не может ему ответить тем же? Где же тут равноправие, если на стороне одних будут благоволение и покровительство закона, а другие останутся в забвении и пренебрежении? Я не буду более распространяться об этом мероприятии, которое мог изобрести только мозг изменника или горячечное воображение. Предоставляю тем, кому нечего делать, подсчитывать печальные следствия этой меры, если она когда-либо станет законом...»

«Как! неужели только потому, что земледелец при революции получил больше денежной выгоды, чем другие, вы захотите подчинить его порядкам более утеснительным и тираническим, чем при феодальной системе!.. Выходит, граждане земледельцы, что блага, обещанные вам революцией, оказались для вас только лживой иллюзией! Вы, значит, узнали свободу только на миг, чтобы затем опять надеть оковы, еще более унизительные! Поверьте мне, если вам опять суждено быть вьючными животными этих наглых бездельников, согласитесь на раздел земли; сами предложите аграрный закон, уступите этим торгующим словами, этим жалким крикунам часть ваших полей; пусть они бросят свои продажные перья, пусть их изнеженные руки попробуют поработать на земле, издавна орошаемой вашими слезами и слишком долго питавшей их добродетельную праздность; тогда вы убедитесь в их ничтожестве, они же, став умнее и справедливее, признают ваши заслуги, и вы будете отомщены».

Это звучит в духе яростной реакции; можно подумать, что это говорит лига крупных арендаторов, земельных капиталистов, доведенных до отчаяния и готовых броситься под защиту деспотизма. Впрочем, угроза Серра вполне определенна.

«Если вы добьетесь применения этих законов силой, вы неминуемо вооружите одних граждан против других, и этим окажете бо́льшую услугу австрийскому тирану, чем его приверженцы в Брауншвейге, или, скорее, вы откроете дорогу к трону любому, кому вздумается по ней пойти».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Таким образом, выскочки революции, те самые, кого она освободила и обогатила, уже готовы скорее отречься от нее, чем оплатить расходы по ее защите: ведь в сущности в этом все дело!

Кризис цен есть очевидное следствие умножения количества ассигнаций, а увеличивать их выпуск приходилось именно для того, чтобы оплачивать военные расходы, чтобы спасти революцию, которой угрожали изменники и деспоты. Что же могло быть более благоразумным, как предупредить законными мерами чрезмерное повышение цен на зерно в этот критический период? Допустим даже, что подобные меры несколько стеснительны и неприятны,—все же, какая чудовищная неблагодарность поднимать мятеж и, в тайной надежде на реакцию, участвовать в контр-революционных происках! Пока это еще только слабые попытки; но в нарушенном равновесии экономических и социальных сил конца 1792 г., в момент, когда народ, чтобы обеспечить себе пропитание, пред'являет усиленные требования к государству и видит в законе орудие общественного спасения, зажиточные классы начинают требовать политики упрочения революционных завоеваний, которая обеспечила бы ему все блага приобретенных преимуществ, охраняя его в то же время от всяких новых волнений. Серр об'ясняет это состоянние умов в тоне почти что ретроградного бешенства. Но соотношение цен в это время настолько тревожно, что он сам, после того как отверг всякий проект таксации и максимума, как бредовую фантазию, обмолвился загадочными и многообещающими словами:

«Регулируют,—говорит он,— поденную заработную плату там, где нарушено правильное и необходимое равновесие». Но каким образом Конвент мог бы привести заработную плату в соответствие с стоимостью ежедневного содержания рабочего? Если путем простого совета, то это осталось бы пустыми словами. Если путем прямого действия и благодаря давлению самих рабочих, то их усилия будут постоянно парализоваться колебаниями курса ассигнаций и соответственными колебаниями цен на продукты. А если Конвент восстановит это «необходимое» равновесие посредством закона, то вот он уже приближается все больше и больше ко всеобщей таксации!

С этого времени уже можно предугадать, что, если кризис затянется, Конвент придет, теми или иными путями, и несмотря на собственное сопротивление, к тем самым мерам, которые в конце этого 1792 г. он находил опасными,—к общей фиксации цен.

Депутат от Вандеи, Фейан, не заходя так далеко, формулировал гораздо яснее, чем Беффруа, идею общественной повинности. Во имя пролетариев, во имя не имеющих собственности он настойчиво требует организации национального органа снабжения продовольствием.

«Я обращаю ваше внимание,—говорил он,—особенно на этот многочисленный класс неимущих, которые не собирают жатв; я буду оберегать интересы собственников, но не тех крупных торговцев хлебом, низких спекулянтов, которые, под благовидным предлогом перевозки избытка, морят голодом все районы, или заставляют граждан платить втридорога за предметы первой жизненной необходимости. Они высчитывают с точностью до часа, до минуты даже, когда бедняк должен почувствовать голод. В Республике этот род купцов должен исчезнуть. Уничтожьте же, законодатели, этих жадных людей: они продавали бы также воздух, которым дышат другие, если бы могли его скупить. (Аплодисменты.)

«Я не буду входить в настоящую минуту в подробности тех благодеяний, какие сулит превосходный проект устройства общественных складов зерна. Необходимость в них почувствовали все, кто добросовестно старается облегчить народные бедствия. Этот проект, следовательно,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

будет осуществлен, но пока-что вы должны принять меры к тому, чтобы каждый имел у себя если не все необходимое, то хотя бы самое нужное. Законодатели, люди, призванные народом защищать его права, должны особенно следить за удовлетворением народных нужд, подобно отцам больших семейств. Следовательно, не торговцы хлебом, но муниципалитеты, округа, департаменты, вы сами, законодатели, должны быть поставщиками французов».

Конвент, в нерешимости, потребовал от сторонников свободы торговли и от сторонников регламентации ее резюмировать свои доводы в двух противоположных докладах. Я уже слишком подробно отметил различные идеи и течения, чтобы нужно было их снова анализировать. Я укажу только на настойчивость, с какою в качестве одного из докладчиков Беффруа возвращается к доводу, который он уже извлек из права экспроприации ради общественной пользы. При этом сразу же обнаруживается скрытое преимущество, с точки зрения революции, этого бесконечно растяжимого принципа.

«Мы жалуемся на то, что право собственности на зерно считается более священным, чем другие. В самом деле, если государству нужен мой дом, сад, поле, оно отбирает их у меня за известное вознаграждение. А разве есть достаточное вознаграждение за нарушение моих привычек, за потерю удобств моего жилища, самых особенностей его расположения? Что вознаградит меня за потерю моего сада, который был по моему вкусу, характеру, состоянию? И если правильно то, что общество не нарушает моего права собственности, овладевая по закону источником производства, раз оно мне платит за это, почему не быть этому правильным и в отношении продуктов?»

Конвент довольно долго не высказывался по этому вопросу и откладывал определенное решение. Всегда осторожный Робеспьер держался неопределенно. Несмотря на вызовы и на высмеивания со стороны партии умеренных, он не выдвинул никакого проекта, но определил и ограничил право собственности таким образом, что в решительный момент сильная и покровительствующая народу законодательная власть могла вмешаться.

«В чем,—говорил он,—заключается первоначальная цель общества? В поддержании неотъемлемых прав человека. Какое же первое из этих прав? Право на существование.

«Следовательно, основной закон общества это — тот, который гарантирует всем его членам средства к существованию, этому закону подчинены все остальные. Собственность была установлена и обеспечена только затем, чтобы укрепить его: владеют собственностью для того, чтобы жить. Недопустимо, чтобы собственность когда-либо могла стать в противоречие с самым существованием людей. Пища, необходимая человеку, так же священна, как сама жизнь. Все, что необходимо для сохранения жизни, составляет общую собственность. Только излишек поступает в частную собственность и предоставляется промыслу торговцев».

Было бы довольно тщетно доискиваться теперь, кто был в то время правее ли, кто рассчитывал на свободную конкуренцию для уменьшения роста цен, временного, по их мнению, или те, которые обращались к вмешательству государства? Спор между экономическим либерализмом и идеей государственного вмешательства («интервенционизма») еще не закончен. Впрочем, в том, что касается продовольствия, опыт XIX века показал, что достаточно свободной торговли, чтобы обеспечить страну хлебом, и если социалисты требуют теперь, чтобы снаб-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

жение припасами было общественной функцией, то это не во избежание недостатка в продуктах, который отнюдь не угрожает, а по причинам другого порядка. Но в 1792 году, когда имелись налицо все причины, расстраивавшие экономическую жизнь, когда в народных массах наблюдались неизбежные опасения и недоверие, когда начались колебания цен, вызванные выпуском ассигнаций, а также проделки скупщиков, как следствие этих колебаний,—спасение революции было только в энергичном вмешательстве закона, в национальной и революционной организации снабжения продовольствием и обслуживания всей экономической жизни страны. В октябре и ноябре кризис был еще не столь острым, а воля пролетариата не настолько преобладающей, чтобы одолеть все колебания и сопротивления. Но вся выработка доктрины, что право на жизнь выше права на собственность, и все народные волнения, вызванные чувством мести, подготовляют и предвозвещают близость необычайной кампании в пользу максимума. Затруднения текущего момента ставили на очередь не только продовольственный вопрос. Дело шло обо всей социально-экономической политике революции. Впервые со времени 1789 года оказывается, что народное благосостояние покоится на довольно искусственной и шаткой основе. Впервые сильное потрясение цен начинает угрожать революционному обществу таким экономическим расстройством, ближайших последствий которого боятся тем более, что не могут представить их себе конкретно. На очередь дня выдвигается великая проблема: куда идет революция с ее все растущими выпусками бумажных денег, ее огромными разорительными войнами, которые поглощают весь бюджет и дают всей экономической жизни, всем силам производства и обмена в стране искусственное и насильственное направление? Одна из самых больших заслуг Сен-Жюста заключается в том, что он тогда же заглянул в бездну, еще скрытую, и ребром поставил перед революцией вопрос о грозной опасности и всей трудности проблемы. Этот еще совсем молодой человек, фанатический поклонник Робеспьера, обладал исключительным и могучим умом, одновременно светлым и беспокойным. Порою он отдавался во власть ложных идей, самым простым понятиям ухитрялся придавать глубину; но иногда его ум бросал яркие снопы света, открывая широкие перспективы. Это был человек менее расчетливый, менее сдержанный и скрытный, чем Робеспьер. Несмотря на часто подчеркиваемое желание оставаться на втором плане, Сен-Жюст порой отдавался порыву собственной мысли. В эти первые месяцы существования Конвента его выступления суровы, но в них отнюдь не чувствуется горечи. Даже 28-го января 1793 года, даже после яростных схваток между жирондистами и монтаньярами на почве процесса короля, Сен-Жюст совершенно определенно продолжает придерживаться мысли о необходимости об'единения. Он настаивает на необходимости солидарности всех революционеров перед лицом истории и судьбы.

«Пусть все забудут о своих интересах и отрешатся от ложного самолюбия. Личное счастье и личный интерес, когда они не вяжутся с общественным благом и пользой, нарушают социальный порядок. Забудьте о самих себе. Революция находится между триумфальной аркой и подводным камнем, о который мы все разобьемся; ваши интересы властно требуют не раздроблять сил, каковы бы ни были ваши различия во взглядах; тираны не посмотрят на существующие между вами разногласия. И л и м ы в с е п о б е д и м, и л и в с е п о г и б н е м».

И та несколько надменная отчужденность, которая так ему нравилась в этот период, об'ясняется, повидимому, скорее сосредоточенностью мысли, чем гордостью. Он гораздо больше, чем Робеспьер, размышлял об экономических проблемах, гораздо ближе к ним подходил. В области социальных требований он пойдет гораздо дальше, чем тот. И тогда как Робеспьер изучает соотношения

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

права собственности и прав человека преимущественно абстрактно, Сен-Жюста занимает вопрос о материальных предпосылках существования революции. В вопросе продовольственном он пытается добраться до самых корней экономической неурядицы. Сен-Жюст, правда, любит формулы и обладает умом интуитивным и синтетическим, но он не легко сводит свои идеи к ясной системе, потому что его мысль идет резкими скачками, и взгляды его иногда кажутся весьма противоречивыми. Все же можно проследить общий уклон его идей.

«Я несогласен с мнением Комитета,—говорит он 29-го ноября 1792 года,—мне не нравятся стеснительные для торговли законы. Можно было бы сказать народу то же, что один карфагенский солдат сказал Аннибалу: «Вы умеете побеждать, но не умеете пользоваться победой». Благородные люди, свергнувшие тиранию,—научились ли они искусству управлять собою и поступать осторожно?»

«Множество зол коренится в бесконечно осложнившейся разрухе. Источник их следует искать в недостатках нашей экономической системы. Требуют продовольственного закона. Но определенный, изданный на этот счет закон никогда не будет мудрым. Изобилие есть результат умелого управления, а такового нам нехватает... Значит, если вы хотите восстановления порядка и изобилия, внесите свет в лабиринт той французской экономической системы, которая установилась со времени Революции».

Но если хотят излечить это зло, первое условие, это—иметь устойчивое, сильное и однородное правительство, способное придать гордому и свободному народу тот дух единства, каким деспотизм связывал некогда порабощенные народы.

«Во Франции монархия пала благодаря дефектам ее экономического режима; несчастье великого народа, который давно уже остро чувствовал тягу к философии и к свободе, зависит от трудности восстановить хозяйственную жизнь, пока в общественном сознании упорно держится дух независимости. Но, что увеличивает зло, это—неблагоразумие временного правительства, которое мы слишком долго терпели, и при котором все перемешано, чистые элементы свободы враждуют между собою, как, по преданию, во времена изначального хаоса.

«Посмотрим же, каково наше теперешнее положение. Мы впали в ужасное состояние анархии; одичалые люди не чувствуют больше узды закона; чувство независимости одного человека восстает против независимости другого и не признает больше ни закона, ни судей; за отсутствием необходимой гарантии все понятия о правосудии порождают только насилие и преступление; разобщенные воли ни к чему не обязывают ничьей воли; и так как каждый готов действовать в качестве и законодателя, и магистрата, то понятия каждого о порядке приводят к общему беспорядку.

«В природе вещей, чтобы наше экономическое положение запутывалось все больше и больше, пока учрежденная Республика не охватит всех отношений, всех интересов, всех прав, всех обязанностей и не даст общего направления всем частям государства».

Никогда умеренные и те из жирнодистов, которые об'явили непримиримую войну Парижской Коммуне, не отмечали с большей силой роковые последствия несогласованности воли людей, последствия всеобщей анархии. Но не партию блестящих, красноречивых и фривольных буржуа, а весь народ, всю нацию Сен-Жюст хочет наделить возможностью, путем концентрации власти, спасти отечество. Но Сен-Жюст хочет организовать единство действия вовсе не для того, чтобы подавлять мятежи в голодающих деревнях, или предавать мечу «проповедников анархии». Он хочет это сделать, чтобы облегчить совместное проведение строго согласованных между собой законов, восстановляющих гарантию и экономическое равновесие. Счастье народа обеспечит порядок, а это счастье

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

будет обеспечено не смутными общими теориями, заимствованными из обманчивого опыта соседних народов, а системой законов, точно приноровленных к потребностям и к духу революционной Франции. Будучи на первый взгляд чистыми идеологами, робеспьеристы, а особенно Сен-Жюст, проявляют повышенную чуткость к реальности:

«У несчастного народа нет отечества; он ничего не любит; и если вы хотите основать Республику, постарайтесь вытянуть народ из неуверенности существования и нищеты, которые его портят. Если вы хотите Республики, сделайте так, чтобы народ имел мужество быть добродетельным; *без гордости нет патриотических добродетелей*, а когда преобладает чувство скорби, нет места для гордости». Удивительные слова, делающие всеобщее благосостояние двигателем свободы!

«Нельзя закрывать глаза на то, что в данный момент, за недостатком законов и правильных сношений, наша экономическая система приняла уродливый вид. Феро говорил перед вами по Смиту и Монтескье. Смит и Монтескье не испытали того, что происходит у нас. Беффруа нарисовал вам картину злоупотреблений, посоветовал средства от них, но не рассчитал их применения. Ролан повторил советы экономистов, но это отнюдь недостаточно. Те, кто предлагает вам неограниченную свободу торговли, говорят вам великую истину, в качестве общего тезиса, но все дело в бедствиях Революции. Дело в том, что приходится создавать Республику из обломков и преступлений монархии в стране, где народ совершенно неорганизован. Я осмеливаюсь сказать, что хороший трактат по экономической политике невозможен. У каждого правительства свои злоупотребления, и болезни политического тела не менее неисчислимы, чем болезни физического. То, что происходит в Англии и во всех странах, не имеет ничего общего с тем, что делается у нас. В самой природе наших дел надо искать и болезни наши, и лекарства от них».

Итак, серьезная опасность для Франции времен революции, основная причина ее экономической разрухи лежит в излишке денежных знаков, металлических и особенно бумажных. И здесь Сен-Жюст, перейдя в своих пророчествах границу ближайшей реальности, рисует изумительную картину неведомого и глубокого потрясения, которое, благодаря избытку обесцененных бумажных денег, проникает во все отношения социальной жизни. Это потрясение ухудшают два факта. Первый состоит в том, что уже 15 или 20 лет, со времени развития интенсивной культуры земли, с тех пор как участки обнесены изгородями и нет больше свободного прогона для скота, затронута основа экономической жизни Франции. Она покоилась ранее на двух силах: на земледелии и скотоводстве, дававшем кожу и шерсть, в которой нуждались фабрики. Таким образом, экономическая жизнь Франции имела центр тяжести и точку опоры в самой себе. Она могла вести внешнюю торговлю, вывозить излишек своего производства; но ее сила была в устойчивости ее внутренней, национальной жизни. Теперь, напротив, она обеднела стадами, она должна покупать за границей шерсть и кожу; следовательно, она подпала под власть бесчисленных кризисов, а если она вынуждена еще оплачивать свои заграничные закупки обесцененными бумажными деньгами, то возникающее нарушение равновесия быстро прогрессирует. Значит ли это, что Сен-Жюст осуждает экономическую эволюцию Франции и хочет отодвинуть ее назад к полунастушескому быту? Ни в коем случае. Наоборот, он верит в непреодолимую силу прогрессирующего труда, все возрастающего производства и обмена. Но в то же время он полагает, что эти перемены опасны, что они могут повредить внутренней жизни страны, если государство не проявит своей высшей дальновидности и не упорядочит их. Например, обязанность государства не допускать прекращения или уменьшения разведения скота,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

не отдавать Францию во власть иностранных рынков из-за нужды в коже и шерсти, т.-е. в сырье для своих фабрик. Но раз страна еще до революции встала на путь смелого экономического переворота и сама изменила свои привычки, излишек денежных знаков грозил ей теперь серьезными потрясениями.

Наконец, само состояние войны должно было довершить переворот во всей экономической жизни. Казалось, все производство Франции сводится к выделке оружия, заготовке продовольствия и кой-какой одежды для бесчисленных легионов ее солдат. Установится ли такой режим прочно? Откажется ли Франция от утонченных жизненных удовольствий и от блеска роскоши? Можно было опасаться этого, услышав, как с самой трибуны Конвента указывают на преступную роскошь «земледельцев», крупных арендаторов. Нет, Франция никогда не примирится с чисто военной жизнью во вкусе Спарты. Сен-Жюст предвидит значительное накопление богатства. Надо только, чтобы государство сократило неумеренный выпуск ассигнаций, который все переворачивает вверх дном, и позаботилось о том, чтобы французское земледелие снабжало промышленность достаточно разнообразными продуктами и создавало для нее достаточно широкую базу. Тогда государственная власть сможет обеспечить известное равновесие и порядок при наличии все возрастающего богатства. Отсюда весьма далеко до так называемого революционного «аскетизма». И насколько Сен-Жюст понимает экономическую и социальную жизнь шире и современнее, чем Робеспьер! Перечитайте и поразмыслите над этой сильной речью; местами она еще более мрачна, чем сама действительность, но зато в ней необыкновенно чувствуется пульс жизни.

«Беспорядочный выпуск денежных знаков—вот что перевернуло во Франции со времени Революции систему торговли зерном. Их столько накопилось в обращении, что ими представлены все наши богатства как в металле, так и в виде земельного фонда; в обращении находятся денежные знаки, представляющие собой все ценности, но все они ничего не стоят на рынке, потому что не имеют никакой потребительской ценности. У нас слишком много денежных знаков, но очень мало реальных ценностей».

«Законодатель должен учесть стоимость всех производимых в государстве продуктов, а затем сделать так, чтобы ей соответствовала ценность, выраженная в выпущенных денежных знаках; если же в денежных знаках будет выражена не только стоимость продуктов, но и стоимость земли, которая их производит, то равновесие будет нарушено, и цена продуктов должна повыситься наполовину; нельзя выражать деньгами сумму вложенного капитала, можно только сумму дохода с него». (Сен-Жюст хочет сказать, что ассигнации представляя не только сумму дохода с земли, но и ценность самой земли, разом пущенной тогда в продажу, переобременяют обращение.)

«Вот что нас ожидает: роскоши больше нет, драгоценные металлы, дорого купленные или извлеченные оттуда, где они хранились в виде предметов роскоши, обращены в монеты. Не осталось больше ни металла, ни роскоши, стимулирующей производство. Количество денежных знаков увеличилось наполовину. Если так будет продолжаться, деньги потеряют всякую цену, обмен придет в расстройство, производство прекратится, рессурсы иссякнут. Нам останется только разделить землю и глодать ее».

«Проходя по улицам этого громадного города, я скорблю по поводу ожидающих его бедствий; та же участь постигнет и все другие города, если мы не предотвратим полного упадка наших финансов. Наша свобода пройдет как гроза, ее triumf.—как удар грома... Что нам до мнения света! Не будем искать мудрости так далеко от себя. К чему послужат нам уроки всего

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

мира, когда мы потеряем свободу? Мы будем ждать, чтобы люди просветили нас, и мечтать о мировой свободе; а тем временем человеческие слабости, злоупотребления всякого рода, преступления, честолюбие, заблуждения, голод будут продолжать свое разрушительное дело и торжественно приведут нас к рабству. Можно подумать, что мы хотим неволи, видя, как мы подвергаем свою свободу стольким опасностям. Мы рискуем погибнуть, если не оглянемся, наконец, где мы и куда идем. Дороговизна продовольствия и всего вообще зависит от несоразмерного обилия денежных знаков; процентные бумаги еще более увеличивают несоразмерность, потому что погашаемые капиталы также пущены в обращение; военные нужды вырывают с каждым днем все глубже бездну под нами. От мануфактур ничего не осталось, ничего не покупают, торговля вращается только около солдат. В теперешней торговле я не вижу ничего, кроме нашего безрассудства и горячности: все превращается в деньги, земледельческие продукты скупают или прячут. Наконец, в государстве теперь я вижу только нищету, гордость и бумагу. Не знаю, чем живут купцы; в этом нельзя обманываться,—они не смогут долго просуществовать. Мне кажется, я вижу внутри домов грустные, разоренные семьи; невозможно оставаться долго в таком положении. Надо снять завесу: никто не жалуется, но во скольких семьях втихомолку льют слезы! Напрасно вы хвалитесь тем, что создали республику, если удрученный народ не в состоянии ее принять».

«Говорят, что поденная плата ремесленника увеличивается пропорционально ценам на продукты, но если у ремесленника нет работы, кто оплатит ему прогульные дни? Какой-то тайный недуг подтачивает Париж. Чем заняты теперь те многочисленные рабочие, которым раньше привычки богатых людей давали средства к жизни? Нищета породила революцию, нищета же может ее погубить. Дело в том, чтобы знать, может ли то множество людей, которое еще недавно имело средства к жизни, благодаря излишествам роскоши, порокам другого класса, может ли оно жить теперь, обслуживая лишь свои собственные потребности?»

«Такое положение вещей очень опасно: если промышленность ограничится лишь изготовлением предметов потребления рабочих, торговый класс не сможет извлечь отсюда прибыли, достаточной для выплаты по обязательствам, так что торговля сведется в конце концов к удовлетворению несложных потребностей страны, и тогда она должна вскоре погибнуть, выродившись в простой товарообмен. Эта губительная система установится во всем государстве. Что нам делать тогда с нашим флотом? Мировые экономические отношения остаются в силе, торговлю мы никогда не перебьем у голландцев, у англичан, у других народов. В конце концов, не имея ни товаров для вывоза, ни денежных знаков, принимаемых за границей, мы вынуждены будем отказаться от всякой торговли».

«Мы еще не дали себе отчета в том, куда мы идем и какой род торговли хотим у себя ввести. Не думаю, чтобы мы собирались жить, как скифы или индийцы. Ни наш климат, ни нравы не располагают к лености или к пастушеской жизни, и, однако, мы идем, сами того не замечая, именно к ней».

«...Земледелец, который не расположен более наполнять свои кубышки бумажками, продает свое зерно лишь нехотя. Во всяком другом деле приходится неизбежно продавать, чтобы жить своим производством. Земледелец, напротив, ничего не покупает, его потребности удовлетворяются не путем торго-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

вли. Люди этого класса привыкли откладывать ежегодно часть дохода с земли в виде звонкой монеты; теперь же они предпочитают удержать у себя хлебные запасы, чем собирать бумажные деньги. Отсюда следует, что количество государственных денежных знаков не может определяться той самой значительной частью сельско хозяйственных продуктов, которую земледелец прячет, потому что не нуждается в деньгах, и выносит на рынок только ту часть продуктов, какая необходима для выплаты аренды».

«Здесь кто-то жаловался на роскошь земледельцев. Я не говорю, что роскошь хороша сама по себе, но если бы на наше счастье земледелец любил роскошь, он продавал бы хлеб, чтобы купить предметы роскоши. **В нашей Республике нельзя обойтись без роскоши:** иначе придется прибегнуть к насильственным мерам против земледельцев, что погубит Республику».

«...Пусть законодатель устроит так, чтобы у земледельца было как можно больше трат, и чтобы он не чувствовал отвращения к накоплению бумажных денег; тогда и все земледельческие продукты будут поступать на рынок и уравновешивать денежные знаки. Надо установить соответствие между денежными знаками, продуктами и потребностями: в этом секрет экономической политики...»

«Государство потрясено до самого основания; война сильно повредила скотоводству; разделы и распашка общинных угодий довершат его гибель, и скоро и у нас не будет ни вина, ни мяса, ни шерсти. Надо заметить, что голодовки особенно стали давать себя чувствовать со времени издания эдикта 1763 г., потому ли, что с сокращением скотоводства уменьшилось и количество удобрения, или потому, что крайне обильные урожаи приучили к небрежной обработке земли. Вам придется когда-нибудь поощрять земледельца бережно обходиться с землей и заниматься как земледелием, так и скотоводством. Не следует бояться, что если пустить часть земли под пастбища, то другой части не хватит для наших потребностей; удобрения будет больше, и при более тщательной обработке земля больше даст. Торговля хлебом прекратится; благодаря скотоводству у народа будет чем кормиться и во что одеться; мы будем торговать шерстью и кожей. 30 лет тому назад мясо стоило 4 су за фунт; сукно—10 ливров; сапоги—50 су; хлеб—1 су; пастбища не были распаханы; с тех пор их пустили под пашню, и если даже мы отрешимся от условий, связанных с настоящим временным кризисом, то даже в 1787 г. сукно стоило 20 ливров, мясо—8 су, сапоги—5 и 6 ливров, хлеб 2 с половиной су. Что же мы выиграли, распахав холмы и пустоши? Нам приходится вывозить свои деньги в Голландию и в Англию, откуда получаем кожу; мы продаем хлеб, чтобы одеваться; мы работаем только на Европу...»

«Вот наше положение: мы бедны, как испанцы, благодаря обилию золота или денежных знаков и скудости находящихся в обращении товаров. У нас нет для торговли ни скота, ни шерсти, ни продуктов промышленности. Ремесленники—в армии, мы торгуем только с государственным казначейством; выходит, что мы кружимся вокруг самих себя и торгуем без барыша».

«Если я не ошибаюсь, то, что сегодня стоит 1 экю, будет стоить 10 ливров через 8 месяцев, если мы не изменим своей системы. Будет отчеканено приблизительно на 200 миллионов звонкой монеты; выпущено денежных знаков на сумму, равную стоимости всех эмигрантских владений; недобор в государственных поступлениях будет возмещен выпуском ассигнаций, и вся сумма налогов

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

будет в обращении вместе с денежными знаками, представляющими сумму недоимок. Тогда народ застонет под сводами законодательных учреждений, голодные бунты поколеблют до основания ваши законы; фиксированные доходы обратятся ни во что, и само государство ничего уже не выиграет от дальнейшего выпуска денег: они ничего не будут стоить. Этими обесцененными деньгами мы не сможем честно расплачиваться с долгами. На что нам тогда надеяться? На почве народных мятежей снова поднимется отомщенная и победоносная тирания».

Вот самая пессимистическая речь, когда-либо сказанная в Конвенте; и это мрачное пророчество оправдается в период, когда крайнее обесценение ассигнаций, общая нищета и анархия подготовят почву для военных диктатур. Сен-Жюст, конечно, сгущает краски, чтобы во-время сделать предупреждение стране.

Но где же лекарство? Кажется, самым действительным было бы прекратить возможно скорее войну, поглощавшую все рессурсы революции. Сен-Жюст не решается предложить этого, или, скорее, он не решается верить в близкое наступление мира. Напротив, он знает и говорит, что торговые нации тоже ждут только подходящего случая, чтобы выступить против нас. Но весьма вероятно, что он желает, чтобы сильная и стоящая на-страже революции власть получила возможность начать переговоры и положить конец войне, которой Робеспьер не хотел с самого начала. Но пока что необходимо, чтобы война сама себя окупала.

«Если ваша армия завоевывает народам свободу, то несправедливо, чтобы вы ради этих народов доходили до истощения; они должны пополнить наше государственное казначейство, и тогда мы будем меньше расходовать на содержание своей армии».

Опасное средство. Во-вторых, надо поддержать курс ассигнаций, а это можно сделать двумя способами. Прежде всего надо заручиться общественным кредитом, отказавшись навсегда от всякой мысли, от всякой попытки федеративного расчленения, ибо, что же станется с ассигнациями, этими центральными и национальными денежными знаками, если мы будем иметь федерацию наших провинций?

«Страшно сказать, но, если государство придет к расчленению, всякий, кто придает какую-либо цену достатку, не спросит ли себя: что же станется в его руках с фиктивными богатствами, курс которых твердо установлен? Вы клялись поддерживать единство, но ход событий сильнее законов, если они не освящены конституцией».

Но особенно необходимо ограничить выпуск денежных знаков.

«Недостаток нашей экономической политики—избыток денежных знаков: мы должны стремиться, по крайней мере, не увеличивать количества их, чтобы не обесценивать еще более. Надо выпускать как можно меньше денег; но для этого надо сократить государственные обязательства или путем предоставления земли государственным кредиторам, или путем выплаты им долга вместе с процентами краткосрочными обязательствами капитала, но отнюдь не прибегая к новым денежным знакам; ибо этот метод наносит ущерб всей экономической системе и, как я уже показал, расстраивает обращение и соотношение цен. Например, если вы распродаете владения эмигрантов, предполагаемая ценность этих земельных фондов, самих по себе неподвижных, войдет в обращение, но будет представлена на рынке лишь продуктами, ценность которых в тридцать раз меньше ценности предназначенных к продаже земель. Так как земли будут продавать очень дорого, то и продукты соответственно поднимутся в цене, как это и было при распродаже национальных имуществ, и вы будете все время конкурировать сами с собой».

Электронный архив библиотеки ПГУ имени А. А. Кулешова

(Заметьте, что Сен-Жюст признает, что национальные имущества продавались очень дорого.)

Я не знаю, насколько ценной была комбинация, предложенная Сен-Жюстом. Без сомнения, государственные кредиторы не приняли бы уплаты долга этими краткосрочными обязательствами; а если бы и приняли, то получился бы еще новый вид государственных бумаг, которые стали бы конкурировать с ассигнациями и еще больше отягощали бы обращение, как это и случилось позднее с территориальными мандатами. Я не стану оспаривать отдельных экономических тезисов Сен-Жюста. Повышение цен с 1763 года, на которое он указывает, вероятно, зависело не от уменьшения пастбищ и скотоводства, а от общего под'ема экономической жизни и от избытка наличных денег. Интерес его речи не в этом. Он в той силе и отчетливости, с какими Сен-Жюст, оставляя в стороне вопрос продовольственный, поставил общую проблему:

«Вы должны решить, кем должен быть французский народ: коммерсантом или завоевателем?»

И особенно надо отметить, что он предугадал будущие кризисы, что он прекрасно сознавал всякого рода опасности, угрожающие революции, если она не объединит всех сил и не пойдет вперед мужественным и твердым шагом.

ГЛАВА XVII.

Партийная склока. Непримиримость жирондистов, их притязания. Жирондистская кампания против Робеспьера. Злосчастная роль Ролана.

Да, в это время еще не было непреодолимых трудностей, не было смертельной опасности. Ни возникавшие финансовые затруднения, ни нараставшее расстройство экономического равновесия, ни роялистские заговоры, ни клерикальные происки не могли бы сломить и поколебать революции, если бы в ее недрах не произошло раскола, который обратился против нее самой.

Но с первых же дней Конвента в нем резко проявился дух непримиримой партийности. Ответственность за эти яростные схватки лежит на Жиронде. Она легко могла бы сыграть крупную роль, добившись соглашения между партиями для совместных действий. В общем она одержала победу в стране. Большинство Конвента шло за ней. С самого начала Конвент составил свое Бюро, президиум, секретариат из ее представителей.

Военные успехи, одержанные в сентябре, октябре и ноябре оправдывали, казалось, воинственную политику Жиронды и содействовали усилению партии. Если бы она не злоупотребила, к несчастью, своей силой и престижем, если бы она сблизилась с Дантоном, если бы она предоставила избранникам Парижа и демократам-робеспьеристам подобающие им места в важных комиссиях, особенно в Конституционной, она мало-по-малу примирила бы всех враждующих, сгладила бы печальные сентябрьские воспоминания и обеспечила бы революции неслыханный размах. В этот момент противники Жиронды были бы страшны ей только в том случае, если бы она их преследовала. Робеспьер не пользовался влиянием. Его тесная близость к Парижской Коммуне, диктаторские замашки пугали или оскорбляли даже демократов крайней левой, делали его почти подозрительным в глазах огромного большинства Конвента. Тем более, что блестящие, головокружительные успехи республиканской армии являлись как бы наглядным опровержением его мрачных предсказаний, осуждением его политики мира. В эти минуты увлечения Жиронда могла сказать: война, которой мы хотели, освободила Францию от предательской королевской власти и принесла свободу соседним народам. Робеспьер, следовательно, вынужден был держаться оборони-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

тельной тактики, и только ошибки его врагов могли вывести его из затруднения и выдвинуть на авансцену революции. Марат был каким-то предметом общего отвращения в Конвенте. Бодо, человек широкого ума и отнюдь не любивший жирондистов, пишет в своих заметках:

«Имя Марата и воспоминания об его личности внушают мне такое отвращение, что я избегаю о нем говорить. Впрочем, одни считали его безумцем, другие презирали его, и никто не хотел оказать ему поддержки».

Гара, которой в своих мемуарах нарочито старается держаться посредине между жирондистами и монтаньярами, говорит о Марате с высокопарной яростью:

«Там я видел шумно суетившегося человека с лицом такого медно-желтого цвета, что его можно было бы счесть за выходца из кровавых пещер антропофагов или из адского пепла; с такой дергающейся, резкой, отрывистой манерой держаться, что по ней одной можно было бы узнать в нем одного из преступников, которые убежали от палачей, но не от фурий, и хотели бы уничтожить весь человеческий род, чтобы избавиться от ужаса, внушаемого им видом человека».

Видимо, и среди монтаньяров Марат был в одиночестве. Он признается, что те, кто были менее строги к нему, находили, что он хватает через край и только компрометирует себя. Со всех сторон ему рекомендовали быть умереннее и осторожнее, и сам он в первые дни Конвента старался быть спокойным и не распространять своей ненависти и подозрений на все Собрание огулом. В № 1 своего «Журнала Французской Республики», он пишет после первого заседания Конвента:

«Затем перешли к выборам бюро, в президиум был выбран парижский мэр Петион, а секретарями — Камюс, Кондорсе, Бриссо, Ролан, Ласурс и Верньо. Всякий сообразительный человек, который в курсе интриг партии Гадэ-Бриссо, не удивится, что она целиком пришла в бюро, огромное значение которого хорошо известно. Читателей же менее посвященных я отсылаю к листовкам, которыми Гадэ-Бриссо, Верцьо и Ласурс наводнили департаменты, чтобы склонить собрания выборщиков в пользу Кондорсе и Спэса, которые не могли рассчитывать пройти в Париже, где их слишком хорошо знали. В Париже не забыли, что именно их партии, так долго пресмыкавшейся перед Моттье, мы обязаны войной с целой лигой держав, фатальной беззаботностью, которую она нам внушила, хвастливым рекламированием несуществующих сил; именно жирондистам обязаны мы слепым доверием к вероломным генералам и несчастьям, которые явились неминуемым следствием всего этого».

«Предоставляю читателям поразмыслить об этом Пусть, однако они не делают отсюда вывода о плохом составе огромного большинства Национального Конвента; я нахожу его превосходным, несмотря на такое начало; вначале оно могло и поддаться влиянию интриганов, но как только встанет вопрос о том, чтобы закрепить права народа, установить царство правосудия и спасти отечество. пелена спадет с глаз этого большинства и оно пойдет твердым шагом по пути свободы»

Так Марат следит за собой и сдерживается, доходя до похвал Собранию, первым актом которого было провести в свое бюро членов жирондистской партии. Он определенно заявляет сам о себе в статье под заглавием «Новая тактика автора», что собирается умерить свои нападки и сдержать свое негодование. Он чувствует, что если будет продолжать свою безудержную полемику или свою кровожадную агитацию, то окажется подозрительным в глазах даже самых горячих патриотов. Еще в бо́льшей степени, чем Робеспьер, Марат занимает вначале оборонительную позицию:

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«С той минуты, когда я целиком посвятил себя отечеству, мне непрестанно причиняют всякого рода неприятности и наносят оскорбления. Больше всего меня огорчает не то, что я являюсь мишенью для убийц, а что я вижу, как масса искренних, но легковерных патриотов поддается вероломным инсинуациям, невероятной клевете врагов свободы насчет чистоты моих намерений и отвергает добро, которое я мог бы сделать. Уже давно клеветники изображали меня ренегатом, продающим свое перо всем партиям; тысячи писаний в столице и департаментах распространяли эту ложь; она рассеялась, когда увидели, что я нападаю одинаково на все анти-народные партии; ибо народ, чье дело я всегда защищал ценой своей жизни, никогда не подкупает своих защитников».

«Я вышиб это смертоносное оружие из рук моих клеветников, но они перестали обвинять меня в продажности лишь для того, чтобы оставить меня безумным. Трусы, слепцы, мошенники и изменники об'единились для того, чтобы изобразить меня, как желчного безумца,—ругательство, которым шарлатаны-энциклопедисты наградили автора Общественного договора. Сотни предсказаний по поводу главнейших революционных событий, оправдавшихся на деле, отомстили за нанесенные мне оскорбления; поражения при Турне, Монсе, Куртре, резня в Диллоне, в Семонвилле, эмиграция почти всех линейных офицеров, попытки отравить Суассонский лагерь, смещение одного за другим Моттье, Люкнера, Монтескью приложили печать достоверности к моим мрачным предсказаниями и сумасшедший патриот оказался пророком».

«Что же оставалось еще делать врагам отечества, чтобы лишить меня доверия моих сограждан? Навязать мне честолюбивые виды, искажая мое мнение о необходимости иметь военного трибуна, диктатора или триумвира для того, чтобы карать заговорщиков, находившихся под покровительством Законодательного Собрания, правительства и судов—их сообщников и по сию пору; представить меня в качестве подставного лица честолюбивой партии, состоящей из самых горячих патриотов? Абсурдные обвинения. Это мое личное мнение, и я часто упрекал самых преданных патриотов за то, что они отвергли эту здоровую меру, неизбежную необходимость которой знает всякий, кто осведомлен в истории революций; меру, которую можно было бы принять безо всякого неудобства, ограничив ее длительность несколькими днями и ограничив задачу ее выполнителей беспощадным наказанием заговорщиков; ибо никто в свете не восстает больше меня против того, чтобы доверять даже самым чистым рукам произвольную власть на сколько-нибудь продолжительное время. Впрочем, из гражданского чувства, из филантропии, из чувства человечности я считал своим долгом советовать эту суровую меру, повелительно диктуемую спасением государства. Если я советовал спести пятьсот преступных голов, то это для того, чтобы тем самым сберечь жизнь пятистам тысячам невинных».

План безапелляционной диктатуры Марата поражает своим чудовищным ребячеством. Революция не могла, не впадая в самый ужасный деспотизм, вручить одному человеку абсолютное и бесконтрольное право над жизнью и смертью, хотя бы даже на несколько дней. Каким образом целая нация, целиком отдавшая свое существование в руки одного человека, может затем вернуть его себе в определенный срок? Кровавая диктатура неизбежно упрочивается. И если бы было возможно на деле, поставить ей срок, ограничить ее несколькими днями,—к чему бы это послужило? Ребячество предполагать, что человек, вооружась секирой, мог разрубить все препятствия, вырезать из тайников сердца все крамольные мысли.

Даже если бы удалось искоренить таким образом скрытые силы контрреволюции, самый ход событий вызвал бы вскоре новые конфликты, новые трудности, и Марат должен был бы требовать нового военного трибуна. То, что Ма-

Электронный архив библиотеки МГПИИЯ им. М. Тореза

рат принимал за глубокую и смелую идею государственного человека, было не больше, как ребяческим бредом. Но что важно для этого периода, это то, что Марат вынужден защищаться и отрекаться даже от того метода насилия, который он оправдывает.

«Деспотизм уничтожен, королевская власть отменена, но их пособники не разбиты: интриганы, честолюбцы, изменники, заговорщики строят козни против отечества, у свободы еще тысячи врагов. Чтобы дать ей победу, надо раскрыть их планы, разоблачить их происки, расстроить их интриги; надо сорвать с них маску и раздавить их в деревнях, в секциях, муниципалитетах, директориях, судах, в самом Национальном Конвенте. Как добиться этого, если друзья отечества не согласны между собой, если они не объединяют своих усилий? Они думают, что можно восторжествовать над врагами, не добив их совсем. Пусть так, я готов согласиться на все меры, которые найдут действительными защитники отечества; я должен итти вместе с ними».

«Священная любовь к отечеству, я посвятил тебе мои бессонные ночи, мой отдых, мои дни, все способности моего существа; ныне я приношу тебе в жертву мои предубеждения, мое злопамятство, мою ненависть. Несмотря на посягательства врагов свободы, несмотря на насилия, которым подвергаются ее сыны, я заглушу, по возможности, в своей груди готовые вспыхнуть порывы негодования; я буду выслушивать, не впадая в бешенство, рассказы об избиении стариков и детей, вырезанных гнусными злодеями, я буду свидетелем происков изменников отечества, не призывая на их преступные головы меч народной мести».

«Божество чистых душ, дай мне силы выполнить мой обет. Свое самолюбие или упрямство я сумею подчинить требованиям разума, помоги же мне преодолеть веление чувства, и если в один прекрасный день в порыве негодования я увлекусь, выйду из границ и тем повредю общественному благу,— пусть я скорее умру от горя, чем совершу эту ошибку.»

Чего стоит клятва Марата, и долго ли он ей будет верен, это можно угадать уже по проклятиям, которые он к ней примешивает. Но его друзья, те, кого он сам называет защитниками свободы, наконец, добиваются от него в это время отказа от всяких призывов к убийствам, от мысли о кровавой диктатуре, которая до тех пор была всей его программой. У Марата этого времени нет веры в самого себя, в свои концепции и методы. Он встревожен растущими вокруг него подозрениями. Он спрашивает себя, не дал ли он сам, со своей манией военного трибуната или триумвиров, удобного для Жиронды повода, чтобы возвести тяжкое обвинение в стремлении к диктатуре или триумвирату всех троих: Робеспьера, Дантона и его самого? И он бы погиб, найдись у Жиронды достаточно мудрости и великодушия, чтобы предоставить ему путаться в этих противоречиях и отречениях: будь она настолько беспристрастной, чтобы не пытаться использовать внушаемый Маратом ужас для борьбы с целой революционной партией, с робеспьеристской демократией, с Парижем, с Дантоном. Но Жиронда в этот первый решающий период Конвента думала только о том, чтобы раздавить своих соперников. Ей было легко сгруппировать все силы, ускорить суд над королем, подготовить путем соглашения всех революционеров между собой, демократическую и народную конституцию, где власть была бы подлинным отражением национальной воли. Ей было бы легко взять твердый курс в армии, добиться при содействии Дантона, страдавшего от административной анархии, порядка, слаженности и ответственности в канцеляриях военного ведомства. Имея за собой столь мощное оружие для борьбы, Жиронда могла следить за ходом событий и управлять ими, выжидать благоприятных обстоятельств для заключения

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

мира, положить предел насильственному расширению Франции, обезоружить или разъединить Европу своей образцовой умеренностью и бескорыстием; тогда мало-по-малу явилась бы возможность использовать для работы по поднятию благосостояния страны те силы, которые до сих пор направлялись в сторону внешней борьба и рассеивались без пользы для Франции.

Для выполнения этой программы не требовалось никакого сверхчеловеческого ясновидения. Она отвечала идеалу Кондорсе. Она соответствовала также тому, что было лучшего, самого бескорыстного и здорового в мыслях Робеспьера и Сен-Жюста. Эта же программа была задумана Дантоном, который совершенно определенно хотел ее осуществления. В сущности, только от Жиронды зависело формулировать и выполнить ее. Она могла бы это сделать, если бы хоть на минуту стала выше своих партийных интересов, выше сведения счетов с врагами, тщеславия и интриг. Но она предпочла целиком отдаться во власть своих невероятно честолюбивых стремлений ради удовлетворения своей легкомысленной гордости, занялась мелочным сведением счетов с противниками, расходуя на клевету свои ораторские таланты. В этом, на мой взгляд, великое историческое преступление Жиронды, и во искупление его ей пришлось погибнуть, скомпрометировав в то же время революцию.

Роланы и их друг Бюзо сыграли в особенности роковую роль. Чуть только в какой-либо французской коммуне возникали беспорядки, как Ролан являлся ныть перед Конвентом и предрешать анархию. Из мелейших инцидентов, для мирного улажения которых достаточно было регулярной работы Конвента, Ролан делал мелодраматические выводы. А между тем тактика, которой следовало держаться, была чрезвычайно проста: пусть Конвент примется за дело, пусть поступит с изменником и клятвопреступником-королем по всей строгости революционных законов, пусть он энергично сопротивляется врагам внешним, организует республику мудрыми и терпимыми законами и, сохраняя единство внутри и проявляя энергию и во вне, найдет в себе достаточно силы для того, чтобы чрезмерные притязания Парижской Коммуны отпали мало-по-малу сами собой, и все силы революции пришли в должное соотношение и равновесие. Но нет! Ролан ищет случая взбудоражить Конвент, сообщая ему о каких-то смутьянах. Он тотчас же старается возбудить в нем недоверие к Парижу. «Франция разрывается на части,—пишет он Конвенту 23-го сентября.—все дезорганизовано; это крайне опасно. Неужели Париж, столько сделавший для блага государства, станет причиной его несчастий?» Но где же факты, которые оправдывали бы эти трагические декламации, этот тревожный набат? Ничего определенного, ничего важного. На следующий день, 24-го сентября, он едва может сослаться на беспорядки в Шалоне-на-Марне. «Народные расправы, только что происшедшие в Шалоне-на-Марне, заставили обратиться в бегство генерального прокурора-синдика департамента и директора почт в этом городе. Я не знаю, были ли они в чем виноваты, но они виновны уже тем, что бежали, ибо надо уметь умирать на своем посту».

Итак, ухватившись за чисто местный инцидент, не выждав даже донесения, не зная причин мятежа и степени ответственности бежавших чиновников, Ролан требует от Конвента репрессивных террористических мер. Послушайте еще, и вы убедитесь в безумии гибельной тактики, которой держалась Жиронда.

«Недавно задержали курьера, ехавшего из армии, и как ни спешили потом поправить эту нескромную неловкость, все же он запоздал с депешами на 12 часов».

Как! только из-за того, что при проезде курьера несколько граждан проявили недоверие, правда, по неосторожности и неразумию; из-за того, что они, под влиянием тревожных воспоминаний о Варенне, обо всех изменах короля.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

духовенства, знати, и негодования по поводу все возраставшей эмиграции аристократов, пополнявших ряды врагов, остановили курьера, везшего, по их предположению, подозрительные сообщения,—из-за этого тревожить Конвент, требовать строгих мер, клеветать на Париж! Но в том-то и дело, что в план Ролана и жирондистов входило взвалить на Париж ответственность за все беспорядки, хотя бы они и происходили очень далеко. Если несколько чересчур недоверчивых граждан остановили курьера, так это потому, что Парижская Коммуна держалась дерзко, что она посылала комиссаров в провинцию, что она распространила там дух анархии. Париж распространяет «недоверие». Пусть же он сам будет на подозрении. Пока новые члены Конвента еще не приехали в Париж, старались посредством жирондистских газет, статей Бриссо, тенденциозными прокламациями Петиона, сообщениями Ролана Законодательному Собранию, его плаксивыми воззваниями и элегическими письмами убедить новых избранников в том, что Париж по меньшей мере—разбойничий вертеп.

Без сомнения, в самого начала для многих членов Конвента на поверку оказалось, что в этих мрачных толках много преувеличений.

Прежде всего, в тот день, когда они собрались, не случилось, вопреки темным слухам, которым угодливо вторил Петион, никакого покушения на членов Собрания: не было ни насилия, ни угроз. Член Конвента Ле-Ба пишет своему отцу на другой день по приезде в Париж:

«Париж, 21-го сентября, 4-й год свободы, 1-й—равенства. Я приехал сюда вчера в 5 часов, дорогой отец. Тотчас же я предъявил свой мандат. Национальный Конвент сконструировался... Париж оказался гораздо спокойнее, чем мне говорили. Лагерные работы вокруг города подвигаются. Усердие, с каким граждане идут на защиту границ, не ослабело. В нашей холодной стране об этом трудно даже составить себе понятие».

Итак, члены Конвента вместо того, чтобы попасть в самое пекло анархии, дым от которого должен был вскоре покрыть всю Францию, находили великий город в полном порядке, спокойным, горящим лишь жаром патриотизма. Тогда Жиронде пришлось изменить тактику: стали запугивать депутатов беспорядками в отдельных местах, где будто бы сказывалось тлетворное влияние Коммуны.

Чтобы не дать Конвенту опомниться и заметить, что его морочат, Ролан и его друзья, действуя с заранее обдуманными намерениями, с первых же дней сгущали, в интересах своей партии, все краски и оглушали Конвент невероятными предложениями. Только что я приводил отчет Ролана, полный инсинуаций и в то же время бедный фактами. В ответ на этот жалкий отчет со скамей Жиронды раздавались в Конвенте страшные слова: эшафот. Этому было бы трудно поверить, если бы не было налицо протоколов. Едва прочитано письмо Ролана, как депутат Керсен поднимается на трибуну: «Пора, действительно,—говорит он,— обратить внимание Конвента на эксцессы, насилия, грабежи, на которые ежедневно жалуются департаменты. Пора поставить эшафоты для убийц и для подстрекателей. Народ смущают, его толкают к анархии; это последний удар со стороны наших врагов».

Видимо, удар был подготовлен Жирондой и Роланами. Вмешался Бюзо: он вынес на трибуну педантическую скаредность Ролана и бешеное злопамятство его жены. И сам он ожесточился и озлобился. Под конец Учредительного Собрания он вместе с Робеспьером вошел в оппозиционную партию крайней левой. Вернувшись в свою убогую и ничтожную провинцию, он гордо и молча страдал.

У Бюзо нечто вроде бессознательной ненависти к тем из его сотоварищей по борьбе, чьи имена, как имя Робеспьера, продолжали греметь; романтик, че-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ловек желчный и слабый, он готов был принять за благородное возмущение то, что в действительности говорило лишь о тайных страданиях на почве оскорбленного самолюбия. Это болезненное самолюбование ярко сказывается в его мемуарах. Посредственный ученик Жан-Жака, Бюзо сохранил опасную склонность к экзальтации в одиночестве, к тому, чтобы жить горьким созерцанием своей добродетели.

«Имея от рожденья независимый и гордый характер, который никогда не гнулся ни по чьему приказу, как мог бы я примириться с идеей наследственного государя или неприкосновенного человека? Мой ум и сердце были полны рассказами из греческой и римской истории о великих людях, которые возвеличили в этих древних республиках человеческий род; с самых юных лет я исповедывал их убеждения, я жил изучением их добродетелей. Моя юность была почти дикой; мои страсти, жившие в пылком и чувствительном сердце, проявлялись крайне бурно, но, ограниченные одним предметом, они целиком на нем сосредоточились. Разврат никогда не грязнил моей души своим нечистым дыханием... С каким очарованием я вспоминаю еще ту счастливую и уже невозвратимую эпоху моей жизни, когда днями я бегал по лесам и горам моего родного города, с восторгом читая в тиши какое-либо из творений Плутарха или Руссо... По временам, сидя на цветущей траве, в тени ветвистых деревьев, я предавался в сладкой меланхолии воспоминаниям о радостях и горестях, поочередно волновавших первые дни моей жизни».

Потом страдал от того, что не был на первом плане в Учредительном Собрании: «Меня не могут упрекнуть в зависти к славе, которую мои коммунальные товарищи стяжали себе в этом Собрании. Если бы у меня было желание заслужить блестящую репутацию, мне стоило бы только итти по простому и легкому пути, открывшемуся передо мной в Версале в первые дни французской революции; однако я скоро обрек себя на молчание, бесполезно об'яснять здесь, почему».

Я отнюдь не понимаю смысла этих таинственных слов. Не был ли Бюзо, знавший m-me Ролан со времени Учредительного Собрания, уже тогда влюблен в нее? Не страдала ли его любовь от того, что Лантена и Банкаль, повидимому, занимали больше места в сердце любимой им женщины? Но от этого молчания, от этого продолжительного бездействия, оттого, что он, после нескольких часов блеска, опять погрузился в темноту, у него осталась тайная горечь человека, который думает, что он не выполнил своего назначения и не показал себя во весь рост. Поэтому он явился в Конвент в нетерпеливом и тревожном настроении, а потому должен был, так сказать, все воспринимать в искаженном виде. Едва он снова встретился с m-me Ролан, едва почувствовал, наверно, какую-то надежду быть любимым ею, любовные тревоги смешались в нем с беспокойством о своей славе. Но какая внезапная ожесточенность, какой провокаторский язык! Какая выставка с е б я напоказ!

«Надо нам знать правду о состоянии Парижа; когда мои братья идут на границу защищать отечество, я должен знать, на какой зыбкой почве я стою: надо, чтобы какой-либо комитет предложил вам закон против этих гнусных людей, которые, из ненависти и л и ч н о й мести, м о г л и б ы м е н я з а к о л о т ь, обманывая тот самый народ, кем должен быть услышан мой голос, потому что я тот же, каким был в 1791 г.».

С этих пор вся Жиронда бредит кинжалом. Тогда как юный Ле-Ба, со своим трезвым умом и безмятежной душой констатирует спокойствие в Париже Бюзо, теряя всякое хладнокровие, сам создает себе призраки ужасов террора, создает их с каким-то неистовством, в котором я чувствую искусственность и предубеждение. Он говорит в своих мемуарах:

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Итак, я уступил, я отправился в Конвент; но я вскоре стал раздумывать, не вернуться ли мне на путь моего мирного уединения,—такой ужас я испытывал при отвратительном зрелище Парижа и Конвента».

В чем же состояло это отвратительное зрелище? Во всем этом нет ничего, кроме топорной реторики слабодушного человека, упорно, систематически ценяющегося за им же самим выдуманные страхи, чтобы иметь основание презирать и осуждать. И вот под влиянием столь смутных и невероятно раздутых впечатлений, Бюзо, подхватывая мысль Ролана, требует образования департаментской гвардии для охраны Конвента.

«Я возвращаюсь теперь к истинному положению вопроса. Говорите сколько угодно об уголовном кодексе, но, если у нас нет силы, достаточной для приведения этого закона в исполнение, до чего же мы дошли? Но та сила, о которой я вам говорю, и есть одна из мер, рекомендованных вам министром внутренних дел, тем министром, которого, вопреки всем клеветам на него, я считаю одним из величайших и достойнейших сынов Франции. (Снова аплодисменты.)

«Я требую общественной силы,—силы, посланной всеми департаментами: ибо я принадлежу не Парижу и не одному из департаментов, я принадлежу всей Республике. Вот мое сильнейшее желание, несмотря на декларации тех, кто говорит о пруссаках, и я не знаю, о ком еще, я, живший мирно в своей провинции, укрепляя свою сильную душу на случай всякого рода событий».

Душа была, напротив, слабой, ибо люди, действительно сильные, любят больше других, чем самих себя... Это был важный акт недоверия к Парижу. В этом таился зародыш гражданской войны между Парижем и Францией, и я замечаю, что никто из ораторов даже не пытается оправдать определенными фактами, покушениями на Конвент, сделанными или подготовлявшимися, эти чрезвычайные меры. Память о сентябрьских избиениях, умело использованная Жирондой, тревожила умы. Да, Марат, этот ясновидящий, «пророк», был вполне прав, когда, расследовав эти избиения, назвал их «роковыми»: они сбивали с толку революцию. Они вызывали в интересах жирондитской интриги тот кровавый призрак, который был ей нужен, и позволяли ей продлить ужас кошмара уже много спустя после того, как опасность миновала.

В тот же день, 24-го сентября, Конвент принял, под влиянием Жиронды, следующее предложение:

«Национальное Собрание постановляет назначить шесть комиссаров, обязанных: 1) представить, по возможности, отчет о состоянии Республики и особливо о состоянии города Парижа; 2) представить проект закона против подстрекателей к убийству и резне; 3) дать отчет о средствах предоставить в распоряжение Конвента общественную силу, которая была бы набрана в 83 департаментах».

Итак, Жиронда отмстила Парижу и революции за то, что просчиталась на парижских выборах. Она вскрыла и растравила раны, которые следовало закрыть. И Ролан, говоривший вначале, что надо набросить покрывало на сентябрьские события, теперь собирался начать обширное и злокозненное расследование их, чтобы погубить Дантона, гениальная деятельность которого внушала ему страх. Пусть революцию постигнет разложение, лишь бы самолюбие было отомщено. Какое мелочное тщеславие, какая низменная ненависть!

На другой день, 25-го сентября, гроза разразилась снова. Марлен де-Тионвилль, протестуя против декрета, прошедшего накануне, рассказал, что Ласурс говорил ему о стремящейся к диктатуре партии, существующей в Конвенте, и потребовал от него об'яснений. Ласурс отвечал яростными и сбивчивыми словами: а режим террора и резни, утвердившийся уже несколько недель, разве

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

не был режимом диктатуры? Дантон, Робеспьер, Марат потребовали слова, чтобы высказаться, наконец, по поводу этих обвинений в стремлении к диктатуре. Дантон говорил первым, он нашел ясные слова, сказанные от великого сердца, меньше заботясь о самозащите, чем о том, чтобы обезоружить ненависть и положить конец вражде. Он порвал с Маратом, без ненужной грубости и без проклятий:

«Счастливый день для народа, счастливый день для Французской Республики тот, который приносит с собой братские об'яснения среди этого Собрания... Я готов набросать вам картину моей общественной жизни. В течение 3 лет я делал все, что считал долгом делать для свободы. Будучи министром, я работал со всей присущей мне энергией и внес в Совет все усердие, всю активность гражданина, охваченного любовью к своей стране. Если кто-нибудь может обвинить меня в этом отношении, пусть он встанет и скажет. Правда, среди депутатов от Парижа есть один, чье мнение для республиканской партии является тем же, чем были мнения Руайу для партии аристократической, это—Марат.

«Довольно и слишком долго мне приписывали авторство писаний этого человека. Призываю в свидетели здесь председательствующего гражданина (Петиона). Он, ваш председатель, читал угрожающее письмо, посланное мне этим гражданином; он был свидетелем ссоры, происшедшей между ним и мною в мэрии. Но я приписываю эти преувеличения неприятностям, испытанным этим гражданином. Думаю, что подземелья, где ему пришлось скрываться, отравили его душу... Совершенно верно, что самые лучшие граждане могут быть республиканцами через меру, надо в этом признаться; но не будем из-за одного члена обвинять весь состав парижской делегации. Что же касается меня, то я не принадлежу Парижу, я принадлежу департаменту, на который всегда смотрю с чувством удовлетворения; но никто из нас не принадлежит тому или другому департаменту: каждый принадлежит всей Франции. Переменим же тему дискуссии, памятуя об общественных интересах.

«Неоспоримо, что нужен суровый закон против тех, кто хотел бы посягнуть на общественную свободу. Хорошо, проведем его, этот закон; проведем закон, назначающий смертную казнь всякому, кто выскажется за диктатуру или триумвират; но, установив основы, гарантирующие царство равенства, уничтожим дух партийности, который нас погубит. Говорят, что среди нас есть люди, желающие расчленить Францию; рассеем эти абсурдные идеи, об'явив смертную казнь их авторам.

«Франция должна быть неделимым целым; она должна иметь единое представительство. Граждане Марсели хотят протянуть руку гражданам Дюнкерка. Итак, я требую смертной казни для всякого, кто захотел бы разрушить единство Франции, и я предлагаю постановить, что Национальный Конвент кладет в основу правления, которое он имеет установить, единство представительства и исполнительной власти. Пусть дрожат австрийцы при виде этого священного единения; тогда, клянусь вам, наши враги погибли». (Оживленные аплодисменты.)

Но этого-то «священного единения» и не хотела Жиронда. Дантон своими лойяльными предложениями, двойным законом, направленным как против проектов диктатуры, приписываемых одним, так и против федералистических планов, приписываемых другим, осуществлял это единство на деле. Отречение его от Марата изолировало и обессиливало последнего. Но Жиронда хотела войны на смерть со всеми своими соперниками.

Бюзо выступил с резкой отповедью Дантону, которая сводилась к следующему: «Не имеет смысла,—говорил он,—издавать закон против диктатуры, если не предусмотреть одновременно способов ее подготовки». Таким образом,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

он хочет тенденциозного и коварного декрета; ведь диктатура подготовляется именно борьбой партий; Дантон же, изыскивая пути к установлению единства, тем самым гарантировал свободу!

Робеспьер вмешался, в свою очередь; но он раздражал Конвент, уже настроенный против него, длиннотами своих личных об'яснений. Он превозносил свои добродетели, свое бескорыстие, ставил себя в первом ряду революционеров, ссылаясь на необычайную ненависть, которую он возбуждает у врагов свободы. И все тот же нудный припев: это я, который... это я, кого... это для меня... В остальном он присоединился к предложениям Дантона.

Ободренный, без сомнения холодным и почти враждебным приемом, оказанным Конвентом Робеспьеру, Барбару поднялся, чтобы точно формулировать обвинение.

«Марселец Барбару готов подтвердить выставленное обвинение. Мы были в Париже,—говорит он,—до и после 10-го августа; вам известно, какой патриотический заговор был составлен, чтобы низвергнуть трон тирана, Людовика XVI. Эту революцию сделали марсельцы; не удивительно, что их старались привлечь к себе различные партии, на которые делился тогда, к несчастью, Париж.

«Нас привели к Робеспьеру. Там нам сказали, что надо примкнуть к гражданам, пользующимся популярностью. Гражданин Пани указал нам персонально на Робеспьера, как на добродетельного человека, который должен быть диктатором Франции. (Движение, шум.)

«Но мы ответили, что марсельцы никогда не склонят головы ни перед королем, ни перед диктатором. (Оживленные аплодисменты.) Вот что я подтверждаю и приглашаю Робеспьера опровергнуть это».

Сколько шума из-за пустяков! Я очень склонен верить, что Пани действительно так говорил. Но что же из этого? Неужели достаточно неосторожного слова чересчур усердного друга, чтобы уличить человека в том, что он стремился к диктатуре? И до и после 10-го августа в умах царила порядочная неразбериха. Легальной власти уже не существовало, и, фактически, была самопроизвольно возникшая революционная диктатура.

Перед 10-м августа, когда Робеспьер старался еще предотвратить насильственные действия, он спрашивал: «Но что будет делать народ без главы?»

Он писал: «Это большая перемена будет предлогом к новым смутам. Нужны ловкие и умелые руки, чтобы удержать руль государственного корабля и направлять его к пристани. Кто будут кормчими, которые его спасут?»

Возможно, что некоторые из фанатически преданных ему друзей, истолковали эти слова, как желание диктатуры. Возможно также, что другие не видели иного решения вопроса, как создание очень сильной революционной власти, в которой Робеспьер занял бы влиятельное положение. Но от этого до изобличения Робеспьера в диктаторских планах—целая бездна. На деле, он всегда высказывался за мирную и легальную политику, исключавшую, следовательно, всякую диктаторскую власть. Перед 10 августа он верил, что Собрание может, оставаясь в пределах закона и конституции, спасти свободу и отечество. А когда он, наконец, убедился в неизбежности революционного движения, он настаивал на немедленном созыве выбранного народом Национального Конвента. Что одно время он надеялся воздействовать через Парижскую Коммуну на самые выборы и на новое Собрание,—этому я верю, и только этим об'ясняю чудовищное обвинение, пред'явленное им против Жиронды в ужасную ночь со 2-го на 3-е сентября. Но это было следствием революционного взрыва 10-го августа, и если осуждать его за тогдашние его поступки и комбинации, то надо осудить и самое 10 августа. Теперь, подвергаясь лживому обвинению в стремлении к диктатуре, Робеспьер расплачивался за злосчастные честолюбивые мечты, которым он предался на миг, увлеченный сентябрьскими неистовствами.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

Пани, в свою очередь, поклялся, что утверждение Барбару было неточно.

«Я клятвенно утверждаю, что не говорил Барбару ни одного слова, которое относилось бы к перетягиванию марсельцев и что я никогда не говорил с ним о диктатуре. На основании чего он мог бы вывести подобное обвинение? Где его свидетели? — Ребекки: — Я, сударь. — Вы — его друг, я вас отвожу».

Пани, без сомнения, не мог сохранить в памяти всех мыслей, мелькнувших в его уме в эти страшные дни; но, еще раз, к чему могла привести Жиронду подобная система обвинений? Ни к чему, или к осуждению самой революции 10-го августа. В обоих случаях она губила самое себя.

Марат заговорил, наконец, не смущаясь взрывами презрения и ненависти, вспышками искренного и притворного гнева. В начале депутаты хотели стащить его с трибуны

— Выходит, что у меня в этом Собрании много личных врагов!

— Все, все!

— Если у меня много личных врагов в этом Собрании, я взываю к их благоразумию.

И он защищался, или, вернее, превозносил себя, все свои слова, все поступки. Но он, столь стремительный в своих обвинениях и призывах к мечу, отстаивал теперь свободу мнений.

«Я представил свои соображения на суд публики; если они опасны, мои враги должны были осудить их вескими доводами, а не преданием меня анафеме; они должны были разрушить их гибельное влияние, опровергая их, а не поднимая на меня меч тирании.

« Впрочем, моя точка зрения на триумвират и трибунат изложена в статьях, мною подписанных, в статьях, которые печатаются и выходят в свет вот уже в течение трех лет, и только теперь собираются представить их как покушение на самодержавие народа. Почему же с этим так долго медлили?»

И он принимает на себя ответственность за сентябрьские дни.

«Итак, в чем вы меня обвиняете?

«Неужели вы обвиняете меня в том, что среди козней и измен, которые все время угрожали отечеству, в виду страшных заговоров вероломного двора, тайных происков священников, вошедших в состав Учредительного Собрания, наконец, при наличии сообщников деспотизма, заседавших в Законодательном Собрании,—я предложил единственный способ, который считал подходящим, чтобы удержать нас на краю готовой поглотить нас бездны? Когда конституционные власти только и делали, что сковывали свободу, вырезывали патриотов, прикрываясь именем закона,—неужели было преступлением требовать карающего меча народной мести на головы изменников? Нет, если вы это назовете моим преступлением, народ не согласится с вами; внимая моему совету, он почувствовал, что я предлагал единственный способ для спасения отечества, и, став дектатором сам, сумел избавиться от изменников».

Таким образом, Марат берет на себя ответственность за сентябрьскую резню, связывая ее с ответственностью самого народа. И тут сказалась поразительная слепота Жиронды. К чему поднимать такие дебаты, выставлять такие обвинения, когда нельзя итти до конца? А Жиронда не могла итти до конца. Она не могла ясно и прямо осудить сентябрьские избиения, из опасения, что цепь революционных событий приведет ее к осуждению 10-го августа. Сам Верньо, отвечал Марату, читая террористический циркуляр, разосланный Комитетом Общественного Спасения Коммуны, старается провести различие между властями, которые не должны были подстрекать к резне, и народом, которого нельзя обвинить за ее учинение.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«В том,—говорит он,—что народ, устав от рядаизмен, поднялся, наконец, и беспощадно отомстил своим врагам, я вижу только сопротивление угнетению. И в том, что он предался некоторым эксцессам, выступающим из рамок правосудия, я вижу только преступления тех, кто толкнул его на это своими изменами.

«Но когда люди, облеченные общественной властью, которые, по самой природе выполняемых ими функций, должны говорить с народом языком закона и всей властью разума удерживать его в границах правосудия, когда эти люди проповедуют убийство и берут на себя их оправдание, то в этом сказывается уже последняя степень преступности.»

Как так? Разве это не вопрос одной только формы? Народу простительно, а его власти, только в силу того, что она—власть, виновны? А что бы ответил Верньо, если бы ему сказали, что в периоды мира должностные лица народа, действительно стражи закона, но в дни революции, когда она назначает их, они являются только высшим выражением народной силы и воодушевления?»

Здесь начинается бездонная пропасть, которой никому не заполнить, и лучше уж не открывать ее. Своими бессмысленными нападками Жиронда достигла неожиданного результата: Марат и Верньо оказались солидарными в восхвалении или по меньшей мере оправдании сентябрьских погромов. Нет, тут была возможна только одна политика: набросить покрывало, по выражению Ролана, повторенному Верньо, и обратиться к будущему.

Самою смелостью своих слов Марат заставил Конвент признать, что он не может осудить сентябрьской резни; затем очень искусно он начинает нащупывать почву для частичного отречения. Несмотря на все, он чувствует тяжесть этих кровавых дней и, приняв их с некоторой бравадой на себя, он все же старается уйти от них.

«Кровавые сцены 14-го июля, 6-го октября, 10-го августа, 2-го сентября спасли Францию... Жаль только, что ими не руководила умелая рука.

«Я сам содрогнулся, когда увидал, что бурные и беспорядочные народные волнения продолжаются, и вот, чтобы они не оказались, как всегда, бесплодными, чтобы не пришлось потом возобновлять их, я требовал назначить надежного гражданина, мудрого, справедливого и твердого, известного своей горячей любовью к свободе, который взял бы на себя руководство этим движением в интересах общественного блага; обратитесь к тому, что я писал, и вы убедитесь, что именно в этих видах я требовал, чтобы народ выбрал себе диктатора или военного трибуна».

Итак, он требовал кровавого диктатора для смягчения резни; как же было Жиронде, которая не смела, не могла отречься от сентябрьских убийств, клеймить комбинацию, придуманную Маратом для того, чтобы смягчить их?

Действительно, оставался только один выход: общая амнистия и молчание. Однако, под предлогом, что беспорядок и анархия искажают и губят народные волнения, Марат, как видим, начинает понемногу отрекаться от сентябрьских дней! Немного спустя, как я уже отметил, он подчеркнет свое порицание сентябрьским событиям и будет называть их не иначе, как «роковыми». И, наконец, он убедит самого себя, что этими зловещими днями Франция обязана контр-революции. Или по крайней мере он будет писать в своем номере от 17-го сентября: «После того, как значительное число контр-революционеров провоцировали резню в тюрьмах, чтобы похоронить под покровом вечного забвения некоторых из запертых там своих сообщников, дрожа, как бы те, кому удалось ускользнуть от смерти, не явились в качестве свидетелей, или как бы не были раскрыты их собственные махинации,—большинство из них думало лишь о бегстве».

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Итак, эволюция завершилась: получилось полное отречение. Марат, кажется, позабыл чудовищную статью от 19-го августа, в которой он призывал народ к избиению узников в тюрьме Сен-Жерменского аббатства. Он, корректный государственный человек, начал с сожаления о том, что народ внес некоторый беспорядок в эти экзекуции и что он не делал должного различия между виновными: как будто Марат мог предполагать, что спровоцированное им избиение будет умеренным и осторожным! Затем, без всяких объяснений и как бы осуждая их огульно, он говорит о гибельных сентябрьских событиях, и, наконец, объявляет их контр-революционным маневром. Это уже подлое и трусливое отречение! Более сурового осуждения сентябрьским дням и самому Марату я не могу придумать. Единственное оправдание этих убийств заключалось в их революционной необходимости. Но если они были гибельны по способу, каким выполнялись,—а выполняться иначе они и не могли,—если они даже послужили планам контр-революции, и если оказалось, что они—ее дело,—какое оправдание остается жалкому пророку резни, который, по его собственному признанию, не больше, как обагренный кровью глупец? Вот кара, которая по законам вечной справедливости и падает на подстрекателя к убийствам; и если бы у Жиронды нашлось хоть немного ясности ума и возвышенности чувств, если бы она не стремилась только к удовлетворению чувства ненависти и злобы, она бы выждала, пока неминуемое и близкое восстановление нормальной жизни и нормальной психологии сделали бы вынужденного заклеймить самого себя Марата предметом всеобщего отвращения.

Но Жиронда хотела нанести удар не непременно Марату, а стоявшим за ним, рядом с ним—Робеспьеру и Дантону, окружить их ненавистные головы кровавым ореолом. Плохой расчет, потому что при первой же встрече сам Марат ускользал от этих яростных, но неудачных нападок. И, однако, на этом же заседании против него повели сильнейшую атаку. Депутат Буало читает Конвенту статью Марата, где тот призывал народ окружить Конвент и держать его под своим постоянным грозным надзором. Статья кончалась двусмысленным призывом к резне: «О, народ-пустомеля, если бы ты умел действовать!» Она была написана за несколько дней перед тем, и с тех пор Марат имел время написать другую—ту, которую я цитировал, где он заявил о своем «новом направлении» и отрекался от всяких насилий. Депутат Буало, без сомнения, упустил ее прочесть. Марат дал прочитать ее одному из секретарей и, ссылаясь на свою недавнюю умеренность, ускользнул от обвинения. Удар Жиронды пришелся мимо.

Марат, в своей газете от 28-го сентября, торжествует по поводу этого заседания. Он осторожно отмечает свое недовольство отрекшимся от него Дантоном.

«Дантон появляется на ней (на трибуне) не для того, чтобы опровергнуть клеветников, раскрыть их козни и высмеять их обвинения, а чтобы дать отчет о своей политической жизни, заявить о своей любви к равенству, защититься от обвинения в том, что он был вдохновителем афиш и писаний Марата, этого Руайю революции (по курьезной опечатке, в тексте стоит вместо R o y o u — l e n o y a u, ядро революции), призывать по этому поводу в свидетели председателя и т. д.».

И он кончает следующими строками, звучащими, как апофеоз:

«Среди этого неописуемого волнения я взошел на трибуну: добрые, справедливые люди, знающие сердце друга народа, мотивы, всегда руководившие его пером, его неизменную преданность отечеству, вы готовы уже трепетать при виде невинности, приносимой в жертву варваров, при виде того, как самого пламенного из ваших защитников потащат на пытку, как какого-нибудь опасного заговорщика; вы уже представляете его себе под мечом тирании, его безжизненную голову в руках палача, выставленную напоказ толпе, сбитой с

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

толку обманом и рукоплесканиями его свирепых убийц. Разуверьтесь же. Полный спокойствия, сильный сознанием чистоты своей совести, опираясь на правоту своего дела, на свое неодолимое мужество, взывая к чувству справедливости большинства членов Конвента и здравому смыслу трибун, веря в непобедимую силу истины, стоя среди них, он с улыбкой бравировал неистовыми воплями своих врагов, уверенный, что он пристыдит их и выйдет победителем из этой опасной борьбы».

Это Жиронда дала Марату такое торжество. Но в конце концов победа Марата была только кажущейся: он начал с отречения от сентябрьских дней, он должен был обязаться, так сказать, перед Конвентом отказаться вообще от своего метода насилия. Он спасся только тем, что наполовину отрекся от самого себя. И он должен был признать, что Дантон от него отмежевался.

От самой Жиронды зависело примкнуть к великому патриоту и революционеру, свести на-нет политику Марата. Но она предпочла продолжать, без связи и без плана, уступая лишь влечениям своей фантазии и ненависти, свою бессмысленную борьбу. Спустя несколько недель за ней наберется столько ошибок, что непредубежденные депутаты потеряют к ней почти всякое доверие. Во-первых, пропитанная духом партийности, увлеченная пристрастием к тайным конспиративным собраниям, где нечего было беспокоиться встретить противоречие или оскорбление, и где она составляла секретные планы.—Жиронда пренебрегла связью с Якобинским клубом или, по крайней мере, почти перестала там выступать. В момент созыва Конвента, Жиронда еще пользовалась серьезной поддержкой у Якобинцев и могла ее сохранить, не потеряй она контакта с общественным мнением, с парижской демократией. На заседании Якобинского клуба 24-го сентября председательствовал Петион; и когда Фабр д'Эглантин нападал на Бюзо и на его предложение организовать департаментскую гвардию, его резко прерывали.

«Сколько бедствий может причинить эта гвардия, именуемая департаментской! (Ропот.) Возникнет большая опасность столкновения, если каждая из этих сил сплотится вокруг своих депутатов, а Париж встанет на сторону своих. (Сильнейший шум.) Не послужит ли это зародышем гражданской войны?» Барбару, напротив, приветствует эту идею: «Восемьсот марсельцев уже на пути к Парижу и беспрерывно прибывают. (Аплодисменты.) Марсель, предупреждавшая все хорошие декреты, уничтожившая королевскую власть за 4 месяца до ее формальной отмены, предупредила и этот хороший декрет, который Конвент собирается издать. Конечно, я с большим удивлением слышу, что Фабр, которого я считал до известной степени патриотом, пользуется для борьбы с его инициаторами теми же аргументами, какие употреблял главный парижский штаб в борьбе против организации двадцатитысячного лагеря под Парижем.

«Как бы то ни было, а марсельцы идут: этот отряд состоит из людей совершенно независимых по своему имущественному положению: каждый из них получил от родителей по паре пистолетов, сабле, ружью и по билету в тысячу ливров. Они идут вместе с кавалерийским отрядом в 200 человек помочь своим храбрым братьям-парижанам обеспечить господство равенства и братства. (Продолжительные аплодисменты.)

Итак, большинство якобинцев требовало в этот момент концентрации в Париже революционных сил из департаментов; они требовали этого даже, когда Барбару определенно заявил, что это были буржуазные силы, молодые люди из богатых фамилий; и они,—как это искусно вставил Барбару в конце своей речи,—требовали только одного: чтобы эти патриоты, собравшиеся со всех сторон

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Франции, не проявляли бы систематической враждебности к Парижу. Значит, Жиронда не сразу встретила у Якобинцев бурный поток оппозиции и невыносимого недоверия. Но она мало шла к ним. Она предпочитала таинственные собрания, где завязывались узлы интриг. Она надеялась, что мало-по-малу, вокруг Якобинского клуба образуется безмолвная пустыня, что депутаты не пойдут к ним,—одни потому, что связаны с жирондистской политикой, другие потому, что их отталкивала резкость тона в речах некоторых якобинцев, проникнутых властным духом Коммуны.

Реаль, председательствовавший в заседании 30-го сентября, жалуется на недостаток усердия со стороны членов Конвента:

«Почему на сегодняшнем собрании так мало членов Национального Конвента, когда они должны были бы присутствовать все? Говорят, что депутаты собираются в другом месте, чтобы сговориться где-нибудь, не на глазах у народа; я не боюсь сказать им, что эти собрания вредят общественному делу; ибо когда хотят добра народу и называют себя его друзьями, то у него же на глазах и совещаются о способах, какими быть ему полезными».

И Бурдон ответил: «Я далек от того, чтобы одобрять собрания депутатов в другом месте, кроме этой залы; но, считая важным для общественного спасения аккуратное посещение депутатами Клуба, я все же должен сказать Обществу, что многих депутатов оттолкнул от него беспорядок, царивший на первых заседаниях, на которые они пришли,—беспорядок, вызванный властными замашками некоторых членов, хороших, но мало просвещенных патриотов, желающих, чтобы выслушивались их и только их мнения; этот властный тон находит поддержку некоторых завсегдатаев трибуны для публики... После этого я надеюсь, что все мои товарищи, чувствуя настоятельную необходимость держаться сплоченно, будут посещать собрания постоянно и усердно».

Калю вмешался, чтобы сказать: «Я полагаю, что сниму все нарекания на общество, называемое: «Об ъ е д и н е н и е, сообщив, что оно только что постановило целиком войти к Якобинцам и составить с ними одно целое». (О б щ и е а п л о д и с м е н т ы.)

Таким образом, якобинцы должны были снова стать большой силой, но силой еще несколько неопределенной и неуверенной, не состоявшей еще в монопольном распоряжении какой-либо партии. Проводя терпимую и в то же время твердую политику, Жиронда могла бы на них опереться. Но жирондисты (я говорю о вождях, о руководителях) не хотели встречаться с этими депутатами Парижа, которых они рассчитывали погубить, припутав их почти всех к тому самому обвинению в анархии и резне, которое теперь вновь поднималось против Марата. Они не хотели вырабатывать политических планов сообща с парижскими демократами, к которым, еще со времени выборов, они питали непреодолимую злобу. Они не хотели итти на переговоры с Дантоном из боязни поддаться деятельной примиряющей силе его мысли; по своей легкомысленной гордости они изолировали себя от наиболее жизненных сил революции.

И опять, какая тактическая ошибка: предлагать ввести департаментскую гвардию и в то же время демонстрировать свою партийную исключительность! Депутаты, не страдавшие предубеждениями и ненавистью, сразу же должны были сказать себе, что национальная гвардия в таком составе оказалась бы на службе не у Конвента, а у эгоистичной, узкой и тщеславной партии, в нем господствующей. Когда, 11-го октября, Конвент избрал 9 членов Конституционного Комитета, были выбраны под влиянием Жиронды: Сийес, Томас Пэн, Бриссо (вскоре зачещенный Барбару), Петион, Верньо, Жансонне, Барер, Дантон, Кондорсе. Это был почти целиком «роландовский» Комитет. Друзьям Робеспьера не было дано ни одного места, а Дантон оказался в одиночестве. Он искал точки опоры у Якобинцев, и.

Электронный архив библиотеки имени А.А.Кулешова

председательствуя там на заседании 14-го октября, на том самом, где он, заключив в свои объятия Дюмурье, сказал: «Я не сомневаюсь, что это Общество будет вспомогательным Конституционным Комитетом». Так, благодаря нетерпимости, Жиронда вооружила против себя великие силы демократии, центром которых был Дантон; и эти силы сорганизовались. Все растущее недоверие и нерасположение к беспокойной, честолюбивой и суетной Жиронде находит себе очень любопытное выражение в речи Кутона. Больной, калека, он стоял почти вне партий, и сначала питал, повидимому, довольно слабые симпатии к Марату и членам Коммуны. Возможно, что, не будь у Жиронды каких-то расчетов и исключительных притязаний, он бы охотно присоединился к ней, чтобы обеспечить Конвенту, этой общенациональной и центральной власти, законное первенство; чтобы поставить в более узкие границы Парижскую Коммуну и чтобы постепенно, опираясь лишь на моральную силу единения и действия, остановить бурные волнения и положить конец погромной агитации, имевшей успех у части народа, находившейся под влиянием Марата. Но в действительности оказывается, что через несколько дней все проекты Жиронды стали подозрительны и даже ненавистны Кутону, потому что за ними всегда скрывалась задняя мысль.

«Граждане,—говорит Кутон у якобинцев 12-го октября, т.-е. на другой день после того, как Жиронда, злоупотребив своим влиянием на еще не освоившийся Конвент, захватила в свои руки весь Конституционный Комитет, и этим, казалось, самое будущее Республики, — граждане, никогда истинные друзья народного верховенства и счастья нации не нуждались так в объединении. Не будем скрывать от себя, в Конвенте существуют две партии, и, поверьте в этом сторому годами, как недавнему республиканцу, есть партия людей с крайними принципами, которая, по слабости имеющихся в ее распоряжении средств, тяготеет к анархии; есть другая партия людей, остроумных, ловких, интриганов и в особенности крайне честолюбивых; они хотят республики, потому что таково общественное мнение, но сами они хотят аристократии, хотят, чтобы их влияние было вечно, чтобы в их распоряжении были места, должности и в особенности казна республики. И разве мы не имеем уже тысячи доказательств тому? Посмотрите на раздачу мест, она целиком зависит от этой партии Посмотрите на состав Комитета Конституции, что особенно заставило меня прозреть. Этой партии, добивающейся свободы только для себя, надо нанести решительный удар. Для этого, граждане, необходимо, чтобы люди действительно безупречные и испытанные твердо решили это и затем объединились,— где же? Здесь, чтобы сконцентрировать для этого средства... Первая мера, которую надо принять , это—помешать провести проект об учреждении так называемой гвардии для охраны безопасности Национального Конвента, проект, предложенный Комиссией по очень веским причинам. В первую минуту я с ним согласился: я думал, что он установит еще одну братскую связь между департаментами; к тому же он был направлен к укреплению единства республики. Но состав Конституционного Комитета открыл мне глаза: я вижу в этом проекте только одну цель—создать известное боевое ядро. Правда, теперь требуют только 4.500 человек, но могут ввести народ в заблуждение, вызвать волнения и предложить Конвенту увеличить это число до десяти, двенадцати, пятнадцати и тридцати тысяч; тогда эта партия будет располагать средством, с помощью которого сможет по своему выбору препятствовать или содействовать любому постановлению; тогда верховная власть народа будет сведена на-нет, и получится аристократия должностных лиц... Я умоляю моих товарищей по Кон-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

венту объединиться здесь, сговориться для борьбы с этой кликой; я нисколько не боюсь за себя, но очень опасаюсь за отечество; надо избавиться от этих интриганов, составляющих несчастье Республики». (Аплодисменты.)

А всего двенадцать дней тому назад якобинцы соглашались с Барбару: всего несколько дней, как сам Кутон аплодировал проекту Бюзо. Но за эти две недели выяснилось, что департаментская гвардия была, по замыслу Жиронды, средством смертельной борьбы против Парижа, отвратительным орудием честолюбия и гражданской войны. Бюзо с неосторожной дерзостью, которую он считал героизмом, одобрял, хвастался этой политикой ненависти и мести Парижу. Парижская Коммуна хотела, чтобы приступили к обновлению департаментов и муниципалитетов посредством открытого голосования. Ей казалось, что таким путем, под надзором наиболее ярых народных элементов, выборщики произведут выборы, более соответствующие желаниям Коммуны. Конвент требует, чтобы выборы были тайными. Некоторые секции протестуют. Секция Butte des Moulins провозглашает 5-го октября, что «открытые выборы единственно достойны свободных людей и республиканцев». 7-го октября секция du Marais вотирует за гласные выборы; секция de la Fontaine de Grenelle просит Конвент издать декрет о воспрещении открытой подачи голосов.

Секция Гравилльеров формулирует перед решеткой такое же пожелание и заявляет, что «не потерпит, чтобы на место монархического деспотизма водворился деспотизм сенаторский». Любопытная вещь, тогда как в настоящее время, в период спокойной и легальной работы [1]), пролетариат стремится прежде всего обеспечить абсолютную тайну голосования, в конце 1792 года Парижская Коммуна усматривала, повидимому, в открытой подаче голоса одно из орудий, «диктатура пролетариата», выражаясь языком Маркса. Несколько ее секций попытались даже организовать совместное выступление. 6-го октября секция Пантеона посылает депутацию в секцию Арсенала, предлагая ей избрать двух делегатов, чтобы вместе с делегатами других секций образовать клуб в Епископском доме и обсуждать предстоящие назначения, а также, без сомнения, и способ этих назначений (см. Мелье). Это первая идея, зародыш Епископского Клуба. Но эта агитация была совершенно бессильна перед лицом непоколебимой мощи и огромного авторитета Конвента. От Марата до Комбона и до жирондистов, Конвент единодушно поддерживал тайные выборы и требовал от секций и Коммуны неуклонного применения закона. Никто не осмелился восстать против Конвента. Даже самые ярые деятели секций, как Моморо, не решаются нарушить закон и выступить против Конвента. Секция Французского Театра, прозванная Марсельскою, сообщает Конвенту 12-го октября, за подписью председателя своего Моморо и секретаря Пейра, о происходивших 6-го числа прениях.

«По последовавшему со стороны секции Марэ предложению назначить двух комиссаров для составления адреса на имя Национального Конвента совместно с соответствующим числом комиссаров, назначенных прочими 47 секциями, с целью побудить его издать декрет об открытом и поименном голосовании при всякого рода выборах, Собрание, приняв во внимание, что Национальный Конвент сам установил при своих выборах такой способ поименного голосования, и что секция Французского Театра только сообразовалась с этим способом, наилучшим, по ее мнению, из всех возможных способов,—полагает, что оно должно придерживаться своих постановлений по этому поводу, а посему оно постановляет сохранить за собою, в случае обнародования декрета противоположного характера, право принять новое решение, какое ей подскажет ее разум против подобного декрета, заявляя вместе с тем, что она временно будет выполнять этот самый декрет, если он ей

[1]) Работа Жореса вышла в начале 900-х г.г. П[illegible].

Электронный архив библиотеки им. А.А. Кулешова

будет официально сообщен». Словом, это было подчинение закону и воле Конвента, сопровождавшееся, правда, некоторым, довольно безобидным, впрочем, ворчанием. Члены Коммуны, опьяненные своим кратковременным революционным всемогуществом, сохраняли некоторые заносчивые повадки речи; но они не осмеливались начать борьбу против суверенного Собрания, представлявшего из себя законное средоточие всей революционной силы нации. И когда в Конвенте чтение протокола секции Французского Театра было встречено некоторым ропотом, Верньо, обладавший более широким умом, чем большинство жирондистов, и более свободный от чисто детского задора, призвал наиболее шумевших к благоразумию: «Я не думаю, чтобы мы могли заключить из формулировки этого постановления, что принявшая его секция находится в состоянии открытого возмущения против закона. В этом постановлении сказано, что по предложению секции Марэ она намеревается представить вам петицию с целью побудить вас издать декрет об открытой подаче голоса; но вслед за тем она говорит, что временно подчинится закону. Я полагаю, что при настоящем положении вещей председатель и секретарь, подписавшие это постановление, должны быть призваны к решетке». На следующий день Моморо доказал без труда, что секция при выборах мэра соблюла закон. Он заявил, что она и впредь будет блюсти закон, и, несмотря на попытки председателя, жирондиста Делакруа, раздуть дело, инцидент был исчерпан постановлением Конвента, восстановлявшим в правах Моморо и Нейра и заключавший в себе по поводу постановления секции Французского Театра переход к очередным делам с тою мотивировкою, что «закон при выборах мэра был выполнен и будет соблюдаться и при дальнейших выборах».

Так утвердилась спокойная мощь Конвента, который мог бы мало-по-малу вернуть к условиям нормальной жизни и закономерности все силы, взбудораженные великим движением 10-го августа.

Но послушайте, каким криком ярости разразился по поводу этого инцидента злосчастный Бюзо, этот язвительный истолкователь озлобленного отношения четы Роланов к Парижу: «Я не знаю,—говорит он того же 12-го октября, не считаясь с призывом к благоразумию со стороны Верньо,—я не знаю, не заслуживают ли с вашей стороны скорее жалости, чем гнева эти люди, которые восстают против ваших декретов; я их называю людьми, так как те, кто перестают признавать законы республики, теряют право на звание граждан; но очень странно, что одна часть этого города, который должен был бы окружить Национальный Конвент своим доверием и защитить его от внутренних врагов, готова поднять восстание против него. Вы, без сомнения, сделаете отсюда необходимый вывод, что раз только остальные 82 департамента сохранили к вам полное свое доверие, вы должны иметь их здесь».

Какая ужасная ставка на гражданскую войну, какая самоубийственная политика! Как! Из-за постановления одной парижской секции, подчинившейся, однако, закону, Конвент официально должен констатировать, что не может больше рассчитывать на Париж для защиты себя и в своем лице—революции! Должен открыто, преступно противопоставить Францию Парижу, и эта департаментская гвардия, провозглашавшаяся сначала живой связью всех сил отечества, должна теперь стать угрозою столице, нарочито принятою против нее предосторожностью, мечом Франции, направленным в ее сердце! Дальше провокации некуда было итти.

Смятение и возбуждение в Конвенте достигло крайних размеров. Для многих депутатов завеса внезапно разорвалась, и они увидели, куда их ведут. От выражения недоверия и угроз Парижу Бюзо переходит к нападкам на

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

якобинцев. В ответ на ропот и прерывающие его возгласы, он кричит: «Если некоторые граждане, члены Общества, славившегося ранее своей любовью к свободе, если эти граждане смеют заявить в этом Собрании, что 82 департамента могут послать для охраны своих представителей только людей, не достигших еще того уровня общественного сознания, которое царит в Париже, то я скажу, что департаменты пошлют людей, послушных закону, патриотов, которые пламенно любят свободу своей страны и будут ее защищать до последней капли крови».

Но Бюзо, повидимому, и сам почувствовал, что сгустил краски и чересчур драматизировал события. Он, еще недавно имевший возможность констатировать в департаменте Эр, до какой степени там оставались неизвестными те течения, на которые раскололась революционная партия, без сомнения, должен был задать себе втайне вопрос, поймут ли там внезапно занятую им враждебную и воинственную позицию? И он ощущал необходимость покрыть себя мнением своих избирателей, им же, несомненно, подсказанным. «Пусть честолюбивые анархисты хорошо помнят,—восклицает он,—что эта гвардия уже собирается в наших департаментах, пусть они знают, что наше пожелание было предвосхищено, и что оно осуществится; я заявляю, что мой департамент одобрил и признал согласным с принципами то, что я сделал».

Ясное дело! Каким образом избиратели Бюзо, привыкшие дарить ему полное, свое доверие, сразу лишили бы его такового? Но ими, несомненно, овладевали мучительные недоумения и растущая тревога: что же, наконец, такое происходит в Париже? Вскоре они откажутся солидаризироваться с этой бешеной политикой. И как понятно, что вечером того же дня Кутон в клубе Якобинцев взял обратно первоначально данное им согласие на проект правительственной гвардии, истинный смысл которого Бюзо сам только что разоблачил с таким болезненным ожесточением! Он поставил в очень компрометирующее положение тех из своих друзей, которые пытались еще истолковать обращенный к департаментам призыв, как залог дружественного отношения к Парижу.

9 октября газета Бриссо еще писала: «По поводу этой меры пытались встревожить граждан Парижа. Бюзо доказал, что она настоятельно вызывается интересами этого города. Париж существует только единством и неделимостью республики, своим тесным единением с департаментами: вот в чем секрет многочисленности его населения и богатств. Предложенная мера, помимо того что она является гарантией неделимости государства, умножает и укрепляет связи парижан с прочими французами». Итак, Бриссо резюмировал мысль Бюзо, как «т е с н о е е д и н е н и е Парижа и Франции». А тремя днями позже тот же Бюзо обвинял Париж и угрожал ему во имя Франции. Так в глазах самых невнимательных наблюдателей разоблачалось все, что было искусственного и бестолкового в неистовой политике Жиронды. Вокруг нее, в ней самой, усиливалось отрицательное к ней отношение.

Журнал Прюдома «Р е в о л ю ц и и П а р и ж а», подобно Кутону, также меняет свое отношение в течение нескольких дней. В номере 22-го—29-го сентября газета по поводу первой речи Бюзо, требовавшей департаментской гвардии для Конвента, говорит: «Во вторник 25-го Керсен и Бюзо потребовали, чтобы Собрание прибегло к строгим мерам против скопищ и особенно против агитаторов. И х р е ч и, с о п р о в о ж д а в ш и е с я ч а с т о о д о б р е н и е м и в с т р е т и в ш и е с л а б ы й о т п о р, побудили Собрание издать такой декрет». Никакого оттенка порицания нет; наоборот, чувствуется своего рода симпатия. В этот момент (номер 29-го сентября—6-го октября) «Р е в о л ю ц и и П а р и ж а» относятся очень строго к Комитету Надзора Коммуны: «Мы видели, к своему прискорбию, как Парижский Комитет Надзора уклоняется от принципов

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

и подпадает явно посторонним влияниям. Его действия, повидимому, определялись большею частью случаем, а разве можно предоставлять свободу граждан игре случайностей?.. Как! невинный, имени которого даже не потрудились проверить, был брошен в тюрьму и убит 2-го сентября... Пора уже, чтобы подобные беспорядки, чтобы самая возможность таких беспорядков были устранены. Если личная неприкосновенность страдает от таких нарушений, если все находящиеся в Париже французы подвергаются таким опасностям, если над депутатами тяготеет возможность неопределенных, случайных и запоздалых обвинений, то департаменты придут к заключению, и не без основания, что Комитет Надзора управляется, или увлекается группою, которая старается подчинить себе республику; они забудут наши заслуги перед отечеством; они потеряют к нам доверие и в конце концов нас возненавидят. Мы предоставляем читателю определить, какое непомерное зло вызовет такой раскол; но в заключение мы заметим, что депутаты департаментов явились в наши стены большею частью с этою мыслью: вот почему, забывая, что наилучшею охраной для общественных деятелей является общественное мнение, они пожелали дать Конвенту стражу, составленную всеми департаментами, стражу очень опасную для свободы, если Собрание само подпадет господству какой-нибудь партии. У нас нет больше королевской гвардии: по их мнению, нам необходима гвардия Конвента, составленная так, как гвардия Людовика Предателя, в составе 24.000 человек. Граждане Парижа, смотрите, как вы унижены! Поспешите восстановить свое достоинство и свои права на публичное уважение, произведя хорошие выборы и наполнив свой новый муниципалитет людьми, чуждыми всем партиям, и разумными патриотами».

При таком состоянии умов, при той потребности в порядке, безопасности и законности, которую испытывали в Париже самые пламенные демократы, как легко было бы Жиронде восстановить силу центральной исполнительной власти, не прибегая к провокации, и положить конец произвольным арестам и правонарушениям Парижской Коммуны!

Журнал Прюдома, оспаривая проект департаментской гвардии, обвиняет не жирондистов, предлагающих этот проект, а Комитет Надзора, который как будто употребляет все силы, чтобы сделать его необходимым. Неделю спустя, в номере 6-го—13-го октября, язык совсем другой. Заявления и угрозы Бюзо возымели свое действие. Журнал с силою обрушивается на проект «военного отряда» при Национальном Конвенте.

Сначала он проводит выразительную цитату из Монтескье:

«Общественное мнение лишено энергии и свободы, когда законодательный орган, подобно римским императорам, прикрывает свою грудь головой Медузы, когда он принимает тот угрожающий и ужасный вид, какой Коммод придавал своим статуям, когда он не знает своего авторитета и не понимает, что он должен чувствовать себя в полной безопасности, подобно тому как деспот должен считать себя окруженным опасностями».

И журнал продолжает: «Национальный Конвент принимает меры предосторожности против Парижа; что сделал последний, чтобы возбудить недоверие к себе со стороны народных представителей? Париж принес себя в жертву революции... Одна партия в Национальном Конвенте требует специальной стражи. Граждане, берегитесь! эта мера грозит нам самым отвратительным деспотизмом. Собрание соединяет в себе все власти, власть издавать законы власть исполнять государственные, т.-е. свои собственные, постановления, и власть судить, по своему желанию, преступления и лиц; если мы дадим ему еще янычаров, то жить будет не слаще, чем под игом династии султанов или венецианской аристократии... Почему хотят Национальному Кон-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

венту дать стражу? Не потому, что он в ней нуждается. Разве парижане не уважали прав даже таких людей, как Мори и Мирабо-младший? Истинная причина заключается в том, что эта гвардия, самый факт ее существования говорил бы всей республике: «Граждане, парижане—мятежники», а это—язык Кобленца, Тюильери и аристократов всех партий.

«Бюзо и не скрывал этого в заседании в пятницу 12-го текущего месяца. Этот депутат от департамента Эр окончательно сбросил маску по поводу одного постановления Марсельской с е к ц и и... Скажи, Бюзо, не говорил ли ты языком настоящего мятежника?»

Своими неосторожными и бессмысленными провокациями, таким образом, Жиронда обратила против себя людей, первоначально расположенных к ней довольно благосклонно.

Карра, которого м-м Ролан называет «очень сильным человеком с очень слабой головой»,. и «А н н а л ы» которого имели среди народа удивительный успех благодаря своему пророческому стилю, всегда импонирующему толпе, отказался наотрез присоединиться к компании Бюзо.

В номере от 9-го октября мы читаем: «Хотя мы прочли прения относительно вооруженной силы департаментов, которою Конвент будто бы считает необходимым себя окружить, мы пока-что не уразумели большой полезности этой меры... Не на вооруженной силе должны покоиться независимость и свобода Конвента; эта сила не в состоянии обеспечить и гарантировать свободу республике, скорее она способна произвести противоположное действие: гвардиями окружают себя тираны из-за страха». 28 октября «А н н а л ы» отмечают свое неодобрение систематической травле, поднятой против Коммуны: «Можно подумать, что Конвент, стоящий вне всякого соперничества и долженствующий быть выше всяких опасений, точно так же, как он стоит выше всякой опасности, испытывает тем не менее детский страх встретить соперника в лице Парижской Коммуны».

Но серьезнее для Жиронды было сдержанное, но решительное порицание и публичное осуждение со стороны Кондорсе. М-м Ролан, которая не прощает ему отказа от погубившей Жиронду и потрясшей революцию тактики,—тактики коттерии и ненависти,—обвиняет его в том, что он отступил из страха быть освистанным толпою. Это клевета. Он судил и осудил политику ожесточения Бюзо и Ролана в своем рабочем кабинете, с пером в руке. После 10-го октября, когда становится очевидным, что требуя от Парижской Коммуны отчета в предметах, принятых ею на сохранение 10-го августа, роландисты просто стремятся свести с нею свои счеты, Кондорсе пишет с силою:

«В памятный день 10-го августа в руки Парижской Коммуны или ее Комитета Надзора было передано большое количество драгоценностей, золота и серебра. Теперь у нее требуют отчета, который она сама предлагает дать.

«Комиссии 24-х было поручено представить проект закона по этому поводу. 2-й параграф декрета гласит, что заявления, поданные относительно депонированных предметов, останутся тайными. Тщетно требовали публичности этих заявлений, основываясь на том неоспоримом как с юридической, так и с политической точки зрения принципе, что всякое заявление, не имеющее публичного характера, тем самым становится подозрительным. Г-н Дантон, аргументируя и развивая дальше эту мысль, показал, что публичность, которой требовали для этих заявлений, будет самым верным средством внести ясность в отчеты Коммуны и убедиться в их точности.

«Т е, у к о г о в о з н и к л и о с н о в а т е л ь н ы е и л и н е о с н о в а т е л ь н ы е п р е д у б е ж д е н и я п р о т и в П а р и ж с к о й К о м м у н ы, к о т о р ы м и о н и н е х о т я т п о ж е р т в о в а т ь д л я б л а г а о б щ е с т в а; т е, к т о у с т у п а е т к а к и м - л и б о п р е д в з я т ы м ч у в с т в а м

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

или даже страху, который им внушала несколько мгновений эта революционная Коммуна; те, кто в ошибках, которые она могла совершить, находят предлог для нападок на революцию 10-го августа, а косвенно и на Республику, которую они еще не смеют осуждать вслух; те, кто, оставаясь вдали от Парижа, где плелись все заговоры и подготовлялась гибель свободы, не имели возможности видеть, насколько эта последняя революция была необходима, и, быть может, и сейчас еще не понимают, что без нее они уже не существовали бы; те, наконец, кто, вместо того чтобы требовать подчинения Парижской Коммуны отчетности перед народом и общественным мнением, хотят превратить ее отчеты в лабиринт юридических и сутяжнических форм,—все эти люди в весьма значительном числе восстали против мнения г. Дантона. Нужно сказать, не вменяя этого, однако, в вину большинству Собрания, достойному доверия республики, что пункт декрета был принят после прений, в которые несколько членов внесли больше чувства, чем рассудка, больше того духа умеренности, который возник в 89 году и повел к образованию клуба Фельянов, чем истинного патриотизма.

«Впрочем, с какою строгостью ни требовать отчета у Парижской Коммуны, для всякого предубежденного человека ясно, что, не потребовав от вкладчиков приемочной квитанции, не будет возможности уличить ее в другом правонарушении, кроме небрежности».

Это было для Жиронды страшным предупреждением, бившим прямо в корень вещей. Кондорсе видел ясно, что такое осуждение сентябрьских событий, представлявших из себя горестный и отвратительный эпизод революционного движения, ведущего свое начало от 10-го августа, вело логически к нападению на само 10-ое августа и на республику. Печальные тэчки соприкосновения Жиронды с контр-революцией, имевшие место в последнее время; реакционные проклятия, которые скоро Бюзо будет метать из глубины своего уязвленного сердца в самое республику, оправдают предупреждения и предчувствия Кондорсе. Несчастный великий человек, который умел подняться выше личных счетов и опасений, но не был в состоянии поднять за собою других, начинает с этого момента напрасно тратить свои силы на призывы к примирению и благоразумию. Замечательная вещь: в то самое мгновение, когда он сильнее всего чувствует необходимость единения и преступную пагубность ссор и междоусобий, он поддерживает Дантона, присоединяется к мнению, выраженному последним.

Подвергшись нападкам со стороны Жиронды, Якобинцы решительно выступили против нее. Они потребовали Бриссо к ответу за те статьи его газеты, в которых он систематически изобличал Парижскую Коммуну и доказывал существование в Конвенте партии, вносящей дезорганизацию. Бриссо не отозвался, и Якобинцы вынесли в заседании 12-го октября обстоятельно мотивированное постановление об его исключении. Более того, будучи убеждены, что жирондисты, вызывая возмущение и гнев против сентябрьских событий, стремятся нанести удар не одному только Марату, а всем парижским депутатам и самому Парижу, они решили опубликовать в свою защиту памфлет, составленный в весьма сдержанных и ловких выражениях. Жирондисты мало-по-малу заставили часть демократии наполовину склониться в пользу Марата и принять на себя, во имя народа, бо́льшую долю ответственности за сентябрьские события, чем им, быть может, хотелось. Таким образом Жиронда скоро увидела против себя всю массу парижской демократии.

Электронный архив библиотеки ПГУ имени А.С. Пушкина

Когда Кутон произнес в Якобинском клубе цитированную мною выше речь, в которой он жаловался на существование в Конвенте двух партий, и когда возник вопрос о рассылке этой речи в отделения Клуба, это вызвало возражения. Бентаболь, Шабо, Тальен, Демулен заявили, что в Конвенте не существует партии экзальтированных голов, и что если допустить, что Марат справедливо может быть обвинен в чрезмерности, то он одинок и еще не составляет партии. Так инстинкт революционного самосохранения подсказывал якобинцам не растрачивать свои силы, не бить одновременно направо и налево, и сосредоточить все свои усилия против «интриганов», т.-е. против Жиронды. Чувствуя, что жирондисты, первоначально столь грозные, быстро истощаются и идут к собственной гибели, якобинцы отважно оправдывают и прославляют парижский народ во всех его актах. В опубликованном 15-го октября циркуляре они говорит прямо о событиях 2-го сентября, которые «партия и министр внутренних дел» хотят использовать против Парижа.

«Вот что произошло за это время: неприятели заняли часть нашей территории и наступали на Париж. Парижская Коммуна, видя, что Законодательное Собрание не только не прибегает к мерам, диктуемым столь исключительными обстоятельствами, но и неохотно принимает указываемые ему средства общественного спасения, приняла по докладу патриота Манюэля решение об'явить всем о грозящей опасности, приказав стрелять из пушек, ударив в набат и разослав по всему Парижу городских чиновников, которые бы устно провозглашали постановление коммуны. В течение нескольких часов, на Поле Федерации стеклось 30.000 человек и записалось, чтобы итти сражаться с неприятелем. Этот прекрасный порыв одушевления все разрастался, увлекая за собой и все департаменты. Образовавшиеся таким путем многочисленные армии обеспечили спасение республики.

«И вот! Партия хочет набросить тень на этот великий день; его вдохновителям она вменяет в вину, что граждане, вырванные внезапно из лона семьи, чтобы устремиться на защиту своих очагов, сочли своим долгом принести в жертву общественной безопасности оставшихся безнаказанными злодеев и заговорщиков, заполнявших тюрьмы, несмотря на обещание, что они в течение двадцати четырех часов получат возмездие. К тому же было доказано, что организуются новые заговоры, и что эти предатели должны были быть выпущены на волю, чтобы в условленный час начать по всему городу резню и убийства. Очевидно, что в глазах интриганов преступление патриотов и защитников отечества заключается в их любви к отечеству».

Ненавистная политика Жиронды, искавшей орудия для партийной борьбы в этих ужасных событиях, в которых невозможно было установить ответственность и разграничить элементы патриотизма и преступления, принуждала самое революцию принять на себя эти скорбные дни, признать их своими!

Осторожность и ловкость Робеспьера и Марата оказали удивительное содействие нападению якобинцев на Жиронду. Никогда они не проявляли столько благоразумия и находчивости, как в этот период, между тем как жирондисты изощрялись в громких и негодующих предложениях и дискредитировали себя яростными речами и жестами. В Конвенте был дан лозунг лишить Робеспьера возможности говорить. Как только он направился к трибуне, поднялась заранее хорошо подготовленная буря проклятий, ругательств и свистков. Жиронда насиловала свободу слова. В лице Робеспьера она нарушала права его избирателей; она аннулировала в Конвенте мандат того, кто, со своим изумительным революционным чутьем, первый предложил созыв Национального Конвента, как средство разрешить кризис 10-го августа. Но Жиронда больше не рассуждала, она отдалась порыву гнева и слепо наносила удары. Она опасалась также, как бы

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ораторский талант Робеспьера, сила внутреннего убеждения и демократической страсти которого не раз потрясали умы, не рассеяла каких-либо предубеждений. Жиронда поставила себе целью не сдерживать Робеспьера, а уничтожить его; это видно из того, как говорит о нем Бриссо в своей газете от 29-го октября.

«Робеспьер, погребенный под тяжестью презрения, которое он навлек на себя единственным свим выступлением, Робеспьер который, повидимому, дал сам себе должную оценку, осудив себя на молчание...»

Нет, он себя осудил не на вечное молчание. Обычно столь многоречивый, с таким упорством заставлявший выслушать свои длинные речи полувраждебно настроенную аудиторию, которую он в конце концов укрощал благодаря своей выдержке, он на этот раз понял, что напрасно стал бы истощать свои силы в бесславной борьбе, стараясь высказаться наперекор этому вихрю ненависти, искренней или лицемерной; и молчаливый, в ожидании своего часа, он предоставил Жиронде растратить свои силы на унизительные для нее самой яростные выходки.

Что же касается Марата, то он, конечно, заставил испытать не мало неприятных минут тех, которые рекомендовали ему спокойствие и умеренность. 24-го сентября Фабр д'Эглантин говорит о нем в Якобинском клубе:

«Это человек, у которого целыми днями сидят кордельеры, проповедуя ему благоразумие, без чего он, наверное, наделал бы не мало других вещей, помимо того, в чем его упрекают».

14-го октября Шабо говорит в Якобинскм клубе:

«Что касается так называемой маратистской партии, то я ее не знаю и не могу ее понять, ибо Марат похож на ежа, до которого нельзя дотронуться даже пальцем, и никому не дано понять его идей».

Повидимому, даже в это время на него было трудно воздействовать. И тем не менее, со своим больным политическим чутьем, он старается, в эти первые недели деятельности Конвента, следить за собою и обрывать себя. Он понял, что если не дать жирондистам повода к насилиям, они, решив во что бы то ни стало погубить его, этим погубят лишь самих себя. Он знал их несостоятельность и опрометчивость и желал предоставить им полную возможность скомпрометировать себя. В то же время он искренне старается защитить Конвент, хорошо понимая, что он представляет собою высший оплот революции, хотя бы приверженцы Ролана и Бриссо и пользовались еще в нем преобладающим влиянием; он старается поэтому устранять столкновения между Конвентом и Коммуною. Что касается генералов, то он, предостерегая народ и Конвент против увлечения ими, все же старается воздать им должное:

«Вчера утром два моих товарища, по получении известий от Дюмурье об одержанных им над неприятелем победах, потребовали от меня отказа от обвинений, выставленных мною против него. Прошу вас, дорогие друзья, не будьте опрометчивы: без сомнения, мне самому будет очень приятно воздать ему должное, но я жду, чтобы он завершил свое дело, жду, чтобы он разбил наголову пруссаков, способствовал восстанию фламандцев и вслед за тем расположился в Брюсселе на зимних квартирах; пусть он, наконец, ускорит казнь заговорщика Капета, и тогда я откажусь от своих обвинителей» (№ от 5-го октября).

В номере от 5-го октября чувство радости чередуется с недоверием:

«Новости, получаемые нами от наших армий, продолжают быть благоприятными. Письма Дюмурье доносят, что пруссаки отступают по всей линии... Такое обилие счастливых вестей должно было вызвать живую радость; усыпители ловко этим воспользовались, чтобы осыпать похвалами наших генералов и погрузить общество в состояние беспечности, которое может иметь роковые последствия.

«Без сомнения, в настоящее время нужно доверие к нашим генералам; но должно ли оно быть слепым, после всех предательств, жертвами коих мы до сих

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

пор оказывались? Не должна ли неизменно сопутствовать ему осторожность?. Известно, что до 10-го августа самые прославленные из генералов не совершили ничего, что было бы достойно восхваления. Все они внушали, по меньшей мере, подозрения своими сношениями с экс-монархом, клятвопреступником и заговорщиком, своим бездействием, своим противогражданским поведением. И, опираясь на то, что некоторые из них, вынужденные впоследствии проявить себя патриотами, сделают кое-какие спасительные распоряжения и одержат некоторые успехи над врагом, который уже не в состоянии защищаться, будут кричать о чуде и громко превозносить их подвиги, лойяльность, гражданские добродетели...

«За отечество сражались не наши министры и не наши генералы, а сами события, природа, гражданские чувства наших солдат. Вероломное коварство Понятовского, польское восстание, дряхлость Екатерины освободили нас от свирепых русских орд.

«Аукальстром избавил нас от Густава и его шведов.

«Обжорство, пьянство, дизентерия освободили нас от австрийцев и пруссаков. Вот первая причина наших побед.

«Необходимо разъединить пруссаков и австрийцев, отрезать им отступление и разбить их на-голову, если они откажутся сложить оружие. Необходимо также поднять всеобщее восстание в Бельгии. Чтобы стать защитником Дюмурье, я жду, чтобы он пришел сюда. Савойя, Женева, Нефшатель, аристократические швейцарские кантоны уже сбрасывают тяготевшее над ними иго. Святая эпидемия свободы захватывает все новые и новые пространства: вскоре она освободит нас от всех наших врагов, низвергнув троны деспотов, уничтожив рабство, заселив землю свободными людьми, водворив на ней царство мира и справедливости».

Было несправедливо не придавать никакого значения в аргонских успехах личным качествам Дюмурье, его живости, гибкости, уверенности. Но тон статьи не резкий, и, в конце концов недоверие исчезает, уступая место всеобщей надежде. Марат даже хвалит Кюстина, черня, правда, косвенно Дюмурье.

«Никогда не раздавалось таких громких рукоплесканий, как после прочтения письма Кюстина: ликование было вполне основательным, так как это были первые несомненные успехи французского оружия над нашими врагами» (№ от 6-го числа).

Странная предубежденность, ставящая взятие Шпейера выше победы при Вальми! Как близорук был иногда взгляд «пророка»! Но здесь нет неистовства. В том, что он говорит о рейнской армии и ее успехах, мы не находим ни следа желчи. Я, впрочем, сомневаюсь, чтобы благодаря этим «первым лучам республиканской славы», которые могли бы проникнут в глубину души какого-нибудь Вовенарга [1]), и которые ослепили неустойчивый ум жирондистов Марат испытал одно из тех мгновений, когда бедное человечество забывает о тяжести рока. Это — возмездие, которое носят в себе подобные тщеславные и ожесточенные умы.

Марат (в № от 10-го октября) одобряет суровые меры, при помощи которых Кюстин восстановил дисциплину в своей армии и наказал виновных в грабеже солдат.

«Генерал приказал арестовать солдат с награбленной добычей; добровольцы сами их выдали, и виновные были расстреляны на месте (в газете вместе «fusillés» напечатано «surveillés», одна из обычных опечаток, характерных для на-спех составлявшегося листка Марата), а награбленные вещи возвращены: пример справедливости, нужный не для поддержания чести французского имени, как говорит Кюстин, а для того, чтобы не запятнать оружия солдат-патриотов,

---

[1]) Французский моралист XVIII века. Ред.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

чтобы не внушить им отвращения к делу свободы, которую они должны поддерживать».

Без чрезмерной страстности, вполне справедливо он возлагает на Жиронду, столь склонную к резким обвинениям, часть ответственности за сентябрьские убийства (№ от 6-го октября):

«Утверждают, что содержавшихся в тюрьмах изменников и преступников перебили разбойники. Если бы это было так, Петион был бы повинен в том, что допустил разбойников спокойно совершать свои преступления в течение двух дней под-ряд во всех парижских тюрьмах; его преступное бездействие явилось бы самым ужасным злодеянием, и он должен был бы заплатить своей головой за то, что не поднял на ноги всех имевшихся в его распоряжении вооруженных сил для борьбы с убийствами. Чтобы оправдать себя, он, конечно, скажет что вооруженные силы отказали в повиновении, и что весь Париж принимал участие в движении, и в действительности это так и было; согласитесь же, что сваливать на голову разбойников действия, к сожалению, слишком необходимые,—чистое лицемерие».

Он отвечает спокойно на нападки жирондистов, и, удивительное дело, во всем, что он говорит о Бюзо, можно уловить как будто оттенок почтительной симпатии. Прежде всего, даже во внесенном в заседании 25-го числа предложении против диктатуры, которым Бюзо начал свою кампанию, Марат, повидимому, не усматривает никаких враждебных действий.

«Бюзо,—пишет он,—вполне основательно отмечает, что следует опасаться не диктатуры, а тех средств, которые могут быть применены для ее введения: что вопрос о смертной казни для тех, кто предлагает диктатуру, должен быть разлля Марата», он выражается весьма сдержанно: «Многие члены Комиссии и решен после зрелых размышлений, и он предлагает вернуть его шести комитетам».

Правда, Марат мог поднасть под действие предложения Дантона. После заседания 4-го октября, когда жирондисты осыпали Марата обвинениями, когда Бюзо нанес ему кровное оскорбление, крикнув: «Пруссаки просят слова некоторые из их товарищей осыпали меня обвинениями с высоты трибуны. В этих слепых нападках выявили себя отважный Барбару, Гаде и Бюзо. Я прощаю эти оскорбления, которые могут опозорить лишь их авторов; трибуны, сохранявшие молчание при повторных взрывах рукоплесканий со стороны соратников своры Бюзо, должны были спросить себя, какова причина ожесточения столь августейших законодателей против народного защитника? Но что задело меня до глубины души, это то искусство, с которым, облив меня потоками своего яда, спокойный брат Бюзо возбудил самолюбие своих товарищей против Наблюдательного Комитета и вызвал у них стремление отомстить за разоблачения, он, платоническая душа которого должна стоять выше всяких подозрений, он, кто так долго имел возможность вблизи наблюдать все средства подкупа, практиковавшиеся в Учредительном Собрании».

Марат сохранял известное уважение к бесспорной честности Бюзо; он, без сомнения, не разбирался в достаточной степени в причинах его поведения, внезапно ставшего агрессивным; он не понимал глубоких корней гордости, ненависти и любви, породивших его гневные слова: но он чувствовал, что перед ним не противник, достойный презрения.

Мудрая и полная умеренности тактика Марата особенно выявилась в конфликте между Конвентом и Коммуной. Весь номер его газеты от 8-го октября прямо-таки замечателен по силе политического понимания, предвидения и умеренности.

Электронный архив библиотеки МГПУ имени А.А. Кулешова

Я не делаю никаких упреков Конвенту за то, что он принял тайное голосование при выборах мэра и членов муниципалитета; я знаю, что существуют серьезные основания как за, так и против; но я бесконечно сожалею, что он поддал под влияние риторов, сыгравших на его чувствах самолюбия.

«Я сожалею, что он не обратился к общественному мнению, прежде чем выносить постановление как для того, чтобы пойти за ним в том, что окажется разумным, так и затем, чтобы вернуть его к истине, если бы оно от нее уклонилось. Конвент позабыл сделать это в вопросе о способах выборов; многие департаменты и ряд парижских секций уже приняли порядок поименного голосования. Почему же, говорят граждане, не принять нам того порядка выборов, который установил Конвент для самого себя? (Неточность: открытое голосование имело место лишь при очень небольшом количестве избраний.) Мы не можем сделать лучше. Итак, твердо став на эту точку зрения, граждане рассматривают декрет, навязывающий им тайное голосование, лишь как каприз; глубоко убежденные в том, что не может быть устойчивых законов без народной санкции, они думают, что заблаговременно могут пользоваться правами, осуществить которые они будут современем призваны... В настоящее время, когда ряд департаментов пришел к определенному решению, важно приостановить их возражения и заставить их понять те основания, которыми руководствовался законодатель, поступая иначе, чтобы мягко склонить их умы к подчинению закону, не возмущая их и не подрывая собственного авторитета. Каковы бы ни были внушенные моими врагами предубеждения против меня, я бы высказал по этому поводу несколько важных соображений, имевших в виду поддержать авторитет и славу Конвента, если бы я имел уверенность в том, что меня благосклонно выслушают; как бы то ни было, я с горестью вижу, что парижские секции и департаменты, зашедшие слишком далеко, не проявили достаточно благоразумия, чтобы обождать некоторое время, пока Собрание не выскажется; во имя общественного блага я заклинаю их не бороться в настоящее время с законодателем. В их интересах окружить последнего уважением; без сомнения, за ним следует в тишине наблюдать и, в случае необходимости, возвращать его мягкими мерами на правильный путь; но лишь тогда, когда он, пачечаяния, нарушит права народа и граждан, лишь тогда настанет время противопоставить ему открытое сопротивление».

Эти слова свидетельствуют о глубоком политическом понимании. Человек, который умеет так говорить о Собрании, где его осыпали градом оскорблений, должен обладать исключительным самообладанием и спокойной уверенностью в будущем. Марат убежден (предложения Бюзо и оставшиеся после него бумаги вполне подтверждают это убеждение) в том, что жирондисты при наличности малейшего повода предложат Конвенту покинуть Париж; печальное решение, которое погубило бы сразу и революцию, и родину. Чтобы избежать этой гибели, Марат и умоляет Париж оставаться спокойным и относиться всегда с уважением к закону. 14-го октября он пишет:

«Заговорщикам, вынужденным отступить на последние позиции, осталось лишь сеять смуту, распространяя губительный проект окружить Конвент вооруженной силой, преторианской гвардией, подобно той, которою пользовались тираны, с целью создать волнения в Париже; обвинять его мирных обитателей

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

в беспорядках, вызванных находящимися в соглашении с ним мятежниками, заставить честных, но слабых душой депутатов беспокоиться относительно их личной безопасности, поднять департаменты против Парижа, чтобы доставить заговорщикам предлог бежать из его стен и увлечь за собой также и Национальный Конвент. Они не устают провоцировать это роковое событие с целью основать федеративную республику. Но парижане предупредят это гибельное событие своею умеренностью, выдержкой, мудростью. Друг Народа предлагает им сделать это во имя спасения общества, тот Друг Народа, которого изменники все время изображают в качестве поджигателя. Еще несколько дней, и адская тайна будет разоблачена; скоро Национальный Конвент откроет свои глаза, и лишь тогда он сможет работать для спасения республики».

Марат в это время настолько стремится избежать всяких волнений, что 8-го октября пишет:

«Петиция рабочих парижского лагеря, протестовавших против оплаты труда в соответствии с их силами и работой (они требовали замены сдельной платы постоянной поденной), конечно, была составлена зачинщиками, которые, под предлогом установления равенства, стараются посеять в лагере раздоры и все ниспровергнуть».

Кажется, что к его обычной узкой проницательности присоединилось новое и широкое чувство ответственности. Он действует определенно и хладнокровно. Он оценил своих противников; он чувствует, что они сильны, но непостоянны и легкомысленны; что за ними необходимо зорко наблюдать, и что они быстро погубят сами себя, если только не давать им боя.

«Ролан держит в своих руках все средства власти внутри страны и все вооруженные силы нации, которыми, к сожалению, слишком легко злоупотребить. Я хорошо знаю, что приписывать Ролану столь высокие цели — слишком много чести. Но этот человек окружен людьми, полными энергии, интриг и честолюбия» (8-го октября).

15-го октября, изливая свое презрение по отношению к противникам, он пишет:

«Я с негодованием вижу тайные интриги, пускаемые в ход заговорщиками, с целью стянуть распущенных добровольцев в Париж, осуществить помимо декрета свой проект создания вооруженной силы, окружить себя преторианской гвардией и выполнить свои пагубные планы. Пока эта шайка не так опасна, как это кажется с первого взгляда, потому что она состоит из бесталанных людей, мелких, коварных интриганов, легкомысленных ветрогонов, слишком торопливых для того, чтобы дать созреть своим планам».

В момент наивысшего триумфа Жиронды Марат своим верным глазом разглядел ее слабость. Ту же политику умеренности и веры в себя он ведет и в Якобинском клубе. На заседании в пятницу 12-го октября он говорит:

«В недрах Национального Конвента обнаружилась преступная партия; подобно тому как ранее она руководила Законодательным Собранием, она, по-видимому, удерживает в настоящее время в сфере своего влияния и Конвент. Я преследую ее уже в течение пятнадцати месяцев. У нее пагубные планы, потому что она призывает к себе на поддержку преторианскую гвардию. Эти люди хотят заставить Коммуну выйти из рамок законности, чтобы иметь предлог покинуть Париж. Граждане! сохраняйте спокойствие, друг народа призывает вас к мудрости и сдержанности.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«Вчера я заставил эту партию выдать свой секрет, я сказал ей: «Вы не знаете или делаете вид, что позабыли мотивы наших протестов; дело в том, что мы не хотим федеративной республики». При этих словах их лица стали растерянными. Поверьте мне, граждане, эта партия быстро приближается к своей гибели; она скоро обратится к насильственным мерам. Будьте сдержанными. Маска с нее будет сорвана через несколько дней». (Сильные рукоплескания.)

Марат полагает, что нечего пугаться департаментской гвардии. Он знает Париж; он хорошо знает, какова сила этого пылающего горна, как быстро перерабатывает он попавшие в него извне элементы. Он почти желает, чтобы в Париж была действительно призвана добровольческая армия, твердо веря, что он сумеет обратить ее против самой Жиронды.

«Граждане,—говорит он 15 октября якобинцам,—позвольте мне на мгновение прервать обсуждение по поводу пустого призрака, которому придают слишком много значения; осужденный общественным мнением проект существует лишь в воображении предложивших его людей; я весьма сомневаюсь, чтобы у них оказалось достаточно мужества для его реализации; и если бы они действительно попытались сделать это, то тем лучше было бы для свободы. Вместо преторианцев они призвали бы людей, которые бы стали наблюдать за ними и призвали их к выполнению своего долга».

Взгляды Марата становятся шире. Вызванная сентябрьскими убийствами реакция жалости и возмущения показала ему, что кровавые средства идут на пользу контр-революции. Он понял, что выдвинутая им идея военного трибуната, идея префекта революции, слишком легко даст повод к обвинению в диктатуре. Он надеется, не прибегая к насилиям и убийствам, опираясь лишь на общественное мнение, постепенно завоеванное мудростью демократов, восстановить в Конвенте единство воли и действия, подчинить и свести на-нет интриганскую партию Жиронды. Снова овладев самим собою и освободившись от котерии, Конвент направит свою единую волю и свободный ум на то, чтобы определить и побороть опасности, окружавшие революционную Францию. Нет ни следа самоопьянения и фанфаронады; мы видим ясный и трезвый взгляд на вещи, и громадное усилие, соответствующее огромности опасностей.

«Несомненно, что в течение уже нескольких месяцев Франция находится в состоянии напряженнейшей борьбы, заставившей напрячь все силы государства, и что она истощила себя, стремясь развернуть возможно шире свои силы. Государственная казна содержит более 800.000 солдат; из них едва половина одета и вооружена; триста тысяч человек, истощенных голодом, усталостью, дурной погодой заполняют госпитали, закрывая доступ туда раненым. 50.000 призванных на-спех в слишком раннем или слишком старом возрасте погибли от болезней. Итак, если бы, вместо того чтобы стараться непрерывно импонировать нам ложным развертыванием наших сил и успехов, наши генералы и министры изложили действительное положение вещей, то нация, наконец, почувствовала бы необходимость принять решительные меры, и мы имели бы теперь огромные и страшные армии».

Он отнюдь не вызывает Европу на бой; он склонен думать, что составленная против Франции коалиция распадется. 15 октября он пишет:

«Успехи, одержанные нами над пруссаками, кажутся несомненными; правда, они обязаны не столько перевесу нашего оружия, сколько тем потерям, которые понесли гражданские войска благодаря дизентерии, моральному распаду, всегда охватывающему армии, находящиеся слишком долгое время в бездействии, и особенно раскаянию прусского короля в том, что он принял участие в кам-

Электронный архив библиотеки МГИМО имени А.А. Громыко

нании для него бесславной и угрожающей ему гибелью благодаря вызванному ею в его государстве недовольству, которое может стать источником близкого восстания.

«Диллону было поставлено в вину то обстоятельство, что он вступил с ним в переговоры относительно сдачи Вердена, и с трибуны Конвента потребовали издать декрет, запрещающий нашим генералам заключать соглашения с врагом. Никто в мире не питает меньше доверия к нашим генералам, назначенным бывшим монархом, взятым из среды придворной клики, носящим его цвета и осыпанным милостями двора, чем я... Однако, несмотря на мой ригоризм, имеющий весьма серьезные основания, осуждение принятых Диллоном мер по отношению к пруссакам в связи со сдачей Вердена представляется мне лишь дурной придиркой, а предложенный декрет—лишь препятствием, которое может только помешать операциям наших армий и воспрепятствует нашим генералам закрепить победу, используя достигнутые успехи. Диллон сделал по отношению к прусскому командованию лишь то, что должен был сделать генерал, и что делают все генералы, прежде чем осадить крепость, то-есть потребовал ее сдачи и капитуляции. Если согласиться с тем, что город Верден населен французами, и что он должен был быть осажден французами же, то какой благоразумный гражданин посмеет поставить в вину Диллону то, что он попытался избегнуть пролития крови наших братьев? Какой разумный человек посмеет признать дурным то обстоятельство, что он принял меры к тому, чтобы ускорить отступление пруссаков, которые все еще могли причинить нам много зла, хотя бы поддерживая своим присутствием дерзость или, скорее, свирепость австрийцев и увековечивая их смертоносные набеги?

«С какой бы точки зрения ни рассматривать поведение этого генерала, он поступил весьма хорошо, начав вести, как выражаются, дипломатические переговоры, так как разорвать лигу вступивших в заговор деспотов, разъединить Франца и Вильгельма, освободить нас быстро и притом навсегда от пруссаков, благодаря чему нам останется лишь борьба с одними австрийцами, потерявшими всякое право на пощаду, предотвратить подготовляемые ими новые бедствия, дать французам возможность хоть несколько передохнуть и залечить полученные раны,—значит добиться весьма больших успехов».

Марат делает как бы величайшее усилие остаться беспристрастным и спокойным. Конечно, его ум еще полон черных подозрений и склонен к несправедливости. «Дипломатию», которую он прославил у Диллона, за несколько дней до того он осудил у Дюмурье (в номере от четверга, 4-го октября):

«Обратимся к Дюмурье. С первого взгляда ответ, данный им, по его словам, прусскому королю, кажется очень удачным; но мне вовсе не нравятся переговоры, в которые он, повидимому, хотел вступить. Подобные переговоры могли бы показаться своевременными, если бы вопрос шел о том, чтобы отколоть могущественного врага от его союзников. Но в том случае, когда враг доведен до крайности, когда он погибает от голода и болезней, когда он уже не в состоянии держаться, единственно возможный вид переговоров состоит в том, чтобы напасть на него и уничтожить. Дюмурье при этом не может сослаться на неведение: его ответ, следовательно, неуместен. Какова же его цель? Столковаться с министрами и роялистами, пускающими в ход все, чтобы спасти своего патрона, предоставляя прусскому королю сомнительную в смысле выгоды (?) возможность высказаться по этому поводу, а событиям — разрешить вопрос».

Таким образом то, что в дипломатии Диллона является мудростью, в действиях Дюмурье представляет из себя измену. Между тем, когда Диллон вел

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

переговоры с пруссаками, они находились в еще худшем положении. Жестокая несправедливость, которая, оскорбляя Дюмурье, явилась,—увы!—одной из причин его последовавшей позднее измены.

Но, несмотря на все со стороны Жиронды было безумием отказываться от всей своей политики ради борьбы с Маратом. Можно сказать, что последний в это время стремится к умиротворению; но как раз в то время, когда он употребляет все силы, чтобы сдержать себя, когда он обещает соблюдать умеренность и действительно старается вести себя так, крики и угрозы против него возобновляются с удвоенной силой. И вот он в отчаянии снова возвращается в свое подполье, чтобы вести оттуда борьбу с Жирондой не на живот, а на смерть. Он снова погружается в волны мрачной ненависти и воспринимает возвышение угнетенных лишь в виде принижения счастливых: «Ut redeat miseris, abeat fortuna superbis». Таков эпиграф его журнала.

«Друзья и братья,—пишет он 2-го ноября,—с моими требованиями я обращаюсь к вам из подполья. Один лишь, может быть, долг сохранить для защиты отечества мою жизнь, ставшую для меня в конце концов тяготой, побуждает меня снова уйти в подполье, чтобы спасти себя от кинжала трусливых убийц, которые не перестают преследовать меня. Могли ли вы представить себе это? В эти будто бы славные и победные дни на одного из ваших депутатов в недрах самого Сената сыплются угрозы со стороны некоторых из его же товарищей за то, что он разоблачил заговор, направленный против общественного блага. Неужели для того чтобы обезопасить себя от черных покушений клики заговорщиков, народный представитель должен тщетно взывать к своим согражданам о помощи и искать убежища в темном подземелье, стараясь спасти себя от ножа разбойников, похожих на солдат, сбитых с толку своими вероломными начальниками, в то время как толпа этих пьяных солдат угрожает поджечь его дом?»

Бедный ягненок, блеющий под ножом мясника! Как легко забывает Марат, что он сам непрерывно точил свой кинжал! Но при этом внезапном превращении убийцы, который, дрожа и стеная, начинает проливать слезы о самом себе, Жиронда совершила великое преступление, чрезмерно возвеличив его личность и не попытавшись даже несколько умиротворить его в эти славные дни, когда так легко можно было быть великодушным.

Чтобы восстановить свое влияние, потрясенное напрасными волнениями и вымышленными насилиями, она попыталась нанести решительный удар. 29-го октября она попробовала раздавить Марата и прежде всего Робеспьера. Борьбу открыл язвительный и напыщенный доклад Ролана. С какой претенциозной напыщенностью и почти вздорной героической аффектацией начинает Ролан свой доклад.

«Я намереваюсь изложить перед Конвентом положение Парижа согласно декрету, который возлагает на меня эту обязанность. Если бы мой голос был бы столь же сильным, как мое мужество, я бы сам прочитал свой доклад».

Его прочитал один из секретарей—Ланжюинэ. Он весь был сплетен из направленных против Парижа обвинений. Он смешивает в одно жалобы на самые пустячные административные обиды с самыми серьезными обвинениями и все снова и снова возвращается к незакономерным актам революционной Коммуны, как будто бы со стороны Конвента не было достаточно спокойного осуществления своей власти для того, чтобы всюду постепенно восстановить законность и порядок.

«Когда я вижу, что приезжающие в Париж федераты, заботы о которых, по закону, до сих пор лежат на Коммуне, получают плохие жилища, встре-

Электронный архив библиотеки МГПУ имени А.А. Кулешова

чают дурной прием и часто направляются ко мне за получением квартир или постелей,—как будто все это имеется у меня, а не в распоряжении Коммуны, которая точно нарочно заставляет федератов страдать, чтобы убедить их, что эти страдания, прекратить которые ее власти, являются делом министерства (когда видишь все усилия Коммуны изыскать продовольствие и оружие, инсинуации Ролана кажутся бессмысленными); когда, снабжая казармы матрацами или койками, я не получаю никаких отчетов об этих вещах и узнаю, что они исчезают...; когда я узнаю в то же время о лживых обвинениях, распространяющихся против государственных людей, соединяющих обладание характером с кое-какими талантами и получивших известность благодаря своей честности; когда, наконец, в собраниях громко провозглашаются принципы мятежа и убийства, вызывая рукоплескания, а против самого Конвента поднимаются крики...,—я не могу более сомневаться, что сторонники старого порядка или ложные друзья народа, скрывающие свои сумасбродства или злодейства под маской патриотизма, задумали план переворота, посредством которого надеются возвыситься на развалинах и трупах, вкусить крови и золота и упиться жестокостью. (Бурные рукоплескания.)

«Департамент благоразумный, но бессильный; деятельная и деспотическая Коммуна; превосходный народ, здоровая часть которого, однако, запугана, тогда как другая подстрекается льстецами и разжигается клеветой; смешение властей, злоупотребления и презрение к авторитету начальствующих лиц; слабая или сведенная на-нет дурным командованием вооруженная сила,— вот весь Париж».

Желчная, добродетельная болтовня бюрократа, жалующегося в одной и той же фразе на пропажу матрацов и на проповедь принципов убийства и кровопролития! Но к кому же относились эти диатрибы, на что намекали они как раз в то время, когда Коммуна становилась заметно благоразумнее, и когда сам Марат стал отрицать свои разрушительные доктрины? Ролан усердно раздувает остывающий пепел, чтобы вызвать снова пламя гражданской войны. И кого мог он характеризовать таким образом? Какой это партии захотелось «вкусить крови и упиться жестокостью»? Кто это?—Робеспьер? Или Дантон? Что это—пустая декламация или злостная клевета? О, фальшивые мудрецы! сколько зла они причинили своими мелкими целями, своей тщеславной суровостью, своим бесконечным злоупотреблением!

И Ролан еще раз подставляет под воображаемые кинжалы свою жизнь, которой никто не угрожает.

«Меня недолюбливают слабые, которые боятся стеснительного для них света; нечестивцы, которых раздражает свет, разоблачающий их; невежды, всегда готовые сердиться, когда им указывают на то, о чем они даже не могли подозревать; даже хорошие люди подчас приходят в беспокойство, так как им не хочется верить в существование огорчающего их зла, которого они не сумели предусмотреть. Но я ни одной минуты не стану колебаться между горькой, но спасительной истиной и губительной лестью или предательским замалчиванием, даже если бы это угрожало моей жизни». (Бурные рукоплескания.)

Кто же, однако, посягал на его жизнь? Кто смог бы заставить во-время замолчать эту болтливую, старую ворону, каркавшую, взгромоздившись на сук дерева свободы? Этот печальный голосок, эти траурные перышки — сигнал к гражданской войне. Каждый раз, когда этот человек говорит, а говорит он всегда, каждый раз, когда он жалуется, а жалуется он тоже всегда, разыгрываются бурные страсти, и революция начинает раздирать себя. К своему злоб-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ному и пустому докладу Ролан прилагает для большей убедительности полицейские донесения, одно из которых, как будет видно дальше, самым гнусным образом намекает на Робеспьера.

«Письмо, адресованное министру юстиции.

«Вчера утром я был у того свирепого суб'екта, о котором мы несколько раз говорили. К нему пришел член Марсельской секции, он же, кроме того, и член клуба Кордельеров. Этот негодяй произнес длинную апологию событий 2-го сентября и прибавил, что это дело еще не закончено, что необходимо новое кровопускание, еще более обильное, чем первое. «У нас есть,—говорил он,—клика Ролана и Бриссо, от которой нам нужно избавиться; этим кое-кто уже занимается, и я надеюсь,—продолжал он,—что не позже, чем через две недели дело будет сделано». Заклинаю вас, обратите на пользу общества сообщение, которое я делаю. Я не спросил об имени этого человека, потому что боялся, чтобы не заподозрили, какое употребление я хочу из этого сделать. Но если вам хочется знать, я могу сообщить его дня через два, не позже. Пора, наконец, прекратить неистовства убийц! Что касается до меня, то меня страшат готовящиеся ужасы. Бюзо им очень не понутру; Верньо, Гюаде, Лазурс и т. д., вот те, кого причисляют к клике Ролана; они ни о ком слышать не хотят, кроме Робеспьера».

Один из членов: «А! злодей!»

«Я не ставлю своей подписи, и вы хорошо знаете, что это не из недостатка доверия, но я боюсь вас скомпрометировать. Я знаю одно только средство ослабить ярость убийц: это—добиться издания уже предложенного закона против подстрекательств к убийству, и, как только он будет обнародован, пустить по их следам надежных людей, которые изобличали бы их. Если наказать хотя бы одного из них, проповедники убийств исчезли бы и порядок был бы надолго обеспечен.

«Государственный обвинитель— большой друг суб'екта, у которого я был. Он дал ему письмо в трибунал, но я не знаю его содержания».

«Человек, имя которого было неизвестно, это—некто Фурнье, по прозвищу Американец, проживающий в Новой Люксембургской улице, у одного аптекаря.

«Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что настоящее письмо адресовано мне гражданином Маркандье, которому известна моя любовь к отечеству. В удостоверение чего подписываю сие, сегодня, двадцать шестого октября тысяча семьсот девяносто второго года, первого года республики».

«Подпись: Дюбайль, вице-председатель второй секции парижского уголовного трибунала, улица Вожирар.

«С подлинным верно: подпись Ролан.»

И протокол отмечает: Живейшее выражение возмущения. Как? возмущения из-за этой глупой и гнусной полицейской бумажонки? Это могло быть только жирондистское возмущение, заранее рассчитанное и притворное; потому что какое значение может иметь этот более, чем странный документ? Прежде всего, письмо предназначается для пред'явления министру юстиции, а адресовано оно г-ну Дюбайлю, который и передает его. Автор не подписывается, чтобы не компрометировать адресата, и тем не менее адресат знает его имя и спешит предать его гласности. Все это, очевидно, мелкие полицейские уловки с целью заинтересовать министра юстиции Гара и втереться к нему в доверие. Если я не ошибаюсь, я узнаю в этой записке претенциозный, сентенциозный, тягучий и туманный стиль «наблюдателя Дютара», который впоследствии, в конце апреля официально поступил на службу к Гара. И какая несвязность в этой бумажонке! Автер начинает с заявления, что не знает имени свирепого человека, говорящего о новой резне, а затем в конце письма называет его

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Фурнье-Американцем. Очевидно, за этим скрывается небольшая шайка заштатных полицейских, старающихся запугать Гара, с целью поступить к нему на службу. Скромный совет, который они дают министру, пустить надежных людей, т.-е. хорошо оплаченных полицейских, по пятам лиц, на которых сделан донос самой же полицией,— верная доходная статья для так называемой революционной полиции. И какое же открытие они делают для первого раза? То, что некое частное лицо (un particulier) развивает преступные планы. Они делают даже такое замечательное открытие, что Верньо и Бриссо—друзья Ролана. А так как это «лицо» поносит Ролана и хорошо отзывается о Робеспьере, значит, Робеспьер скомпрометирован. Флегматический Гара, стараясь оградить себя со всех сторон, препровождает этот гнусный полицейский документ в совет министров; Ролан хватается за него с добродетельным усердием и оглашает его в Конвенте с целью создать дело против Робеспьера. Это жалкое и гнусное зрелище, и я не знаю в истории партий ничего более подлого. Как ни жестока была судьба к Жиронде, в этот день она потеряла право протестовать против какой бы то ни было низости. Робеспьер, вызванный на трибуну этим коварным ходом, хочет рассеять впечатление, созданное докладом Ролана; он с трудом получает слово. И, как только он хочет коснуться самой сущности вопроса и очистить себя от низких полицейских обвинений, Жиронда не дает ему говорить, прерывая его речь свистом. Напрасно Дантон протестует:

«Председатель, оставьте слово за оратором: и я также прошу слова потом: пора, чтобы все это раз'яснилось».

Председатель (это был саркастический и язвительный Гюаде) в свою очередь пытается ухудшить положение Робеспьера, не давая ему защищаться:

«Робеспьер, вам предоставляется слово только по вопросу о впечатлении, которое произвел доклад министров, так как вопрос по существу еще не поставлен».

Как будто Робеспьеру не было нужно установить ложность некоторых доводов доклада, чтобы добиться отсрочки дальнейшего его рассмотрения! Организованный систематический шум усиливается вдвое.

«Если вы не хотите меня слушать,—говорит Робеспьер,—если вы прерываете меня под разными предлогами, и если председатель, вместе того чтобы заставить уважать свободу слова, пользуется сам более или менее благовидными предлогами...»

Как! Он оскорбляет председателя! Он уже на трибуне говорит языком диктатора! И Гюаде, с язвительным великодушием и лукавым злорадством заискивающе говорит:

«Робеспьер, вы видите, какие я употребил усилия, чтобы восстановить тишину: ваши слова—еще одна клевета, которую я вам прощаю, и простить вам которую прошу разрешения у собрания». (Бурные рукоплескания.)

Но какое злобное, хотя и прикрытое лицемерием, злоупотребление силой у этих людей, кричащих о диктатуре! О, добродетельный Ролан и его доблестный полицейский чиновник устроили хорошее дельце! Наконец, среди криков и шиканья Робеспьеру удалось сказать:

«Как! В то время как не находится ни одного человека, который осмелился бы выступить против меня с обвинениями и выставить против меня положительные данные; ни одного, кто бы посмел взойти на эту трибуну и начать со мной спокойно и серьезно прения...»

Луве бросается в бой: он направляется к подножию трибуны и, вызывающе обращаясь к Робеспьеру, кричит:

«Я выступаю против тебя, Робеспьер, и прошу слова, чтобы обвинить тебя!»

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Это—формула рыцарского вызова. Ребекки и Барбару восклицают в свою очередь:

«И мы тоже будем обвинять тебя!»

Буря криков утихает, и в Конвенте восстановляется тишина. Что выйдет из этого трагического вызова и этого сражения? На мгновение Робеспьер кажется взволнованным, почти смущенным. Он обладал смелой настойчивостью и сознательным героизмом. Но у него не было той прирожденной отваги и силы темперемента, которые вспыхивают внезапно в критические моменты, выливаясь в сильные, всепокоряющие речи. Он вдруг почувствовал себя окруженным, застигнутым врасплох и замолчал, стараясь, вероятно, рассмотреть противника своими несколько близорукими и неуверенными глазами.

«Да, Робеспьер,—повторяет Луве,—это я обвиняю тебя», и он взошел на трибуну как бы для того, чтобы навсегда столкнуть с нее глубоко ненавистного противника, низвергнутого теперь в разряд обвиняемых.

«Продолжай, продолжай, Робеспьер,—закричал Дантон своим могучим голосом,—здесь есть добрые граждане, и они слушают тебя».

Великий человек знал хорошо, что безумие ненависти может сорвать революцию, если сразу не будет оказано должного сопротивления. Он знал хорошо, что при первом ударе топора, направленном на одно дерево, и притом на одно из самых крупных, опасность начинает угрожать всему лесу, и он решил сообщить смутившемуся на минуту Робеспьеру свою мужественную силу. И настанет день, когда именно Робеспьер гильотинирует Дантона! Но удержим проблески беспокойной мысли, стремящейся проникнуть в темное будущее; останемся в замкнутом кругу ненависти, борьбы, догадок, в котором мятутся в этот момент люди 1792-го г. Робеспьер доказал рассудительно и методично, без всякого темперамента и блеска, что следует серьезно рассмотреть доклад, обсудить все данные за и против и назначить день для того, чтобы выслушать его самого и его противников. Дантон тоже потребовал обстоятельного и ясного обсуждения вопроса. Чтобы восстановить спокойствие в Конвенте, он тотчас же попытался вернуть к широкому революционному единению терзавшие друг друга партии:

«Пора нам знать, наконец, кто наши товарищи, и пора, чтобы наши товарищи знали, что им следует думать о нас. (Рукоплескания.) Нельзя скрывать от себя, что среди членов Собрания существует не мало взаимного недоверия. (Несколько возражений.) Если я сказал правду, которую вы все чувствуете, предоставьте же мне сделать необходимые заключения. Итак, необходимо, чтобы это недоверие прекратилось, и чтобы вы, в том случае, если его виновник находится среди нас, поступили бы с ним по справедливости. (Бурные рукоплескания.) Я заявляю Конвенту и всей нации, что я не люблю Марата. (Рукоплескания.) Я откровенно говорю, что я испытал на себе его темперамент; он не только вспыльчив и брюзглив, но и неуживчив. После такого признания да будет позволено мне сказать, что я также стою вне всяких партий и комплотов. Если кто может доказать мне, что я связан с каким-нибудь комплотом, пусть он уличит меня сейчас же... Если же, наоборот, верно то, что моя мысль принадлежит лично мне и что я твердо решил скорее умереть, чем быть причиной раздоров в республике, я требую, чтобы мне была предоставлена возможность изложить полностью мои мысли о нашем теперешнем политическом положении. (Рукоплескания.)

«Без сомнения, прекрасно, что филантропия и чувство гуманности побуждают министра внутренних дел и всех добрых граждан скорбеть о бедствиях, неразрывно связанных с великой революцией; без сомнения, граждане в праве требовать применения народного правосудия во всей его стро-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

гости против тех, кто явно преследовал свои личные интересы, вместо того чтобы служить революции и свободе. Но как могло случиться, что один министр, не могущий не знать обстоятельств, вызвавших события, о которых он вам говорил, забывает те принципы и истины, которые другой министр развивал перед нами по поводу тех же событий? Вспомните, что̀ теперешний министр юстиции сказал вам об этих бедствиях, неразрывно связанных с революциями. (Ропот.)

«Я не дам другого ответа и министру внутренних дел. Если всякий из нас, если каждый республиканец имеет право призывать правосудие против тех, кто стал бы возбуждать революционные движения только для удовлетворения личного чувства мести, то тем более нельзя упускать из виду, что никогда троны не рушились без того, чтобы осколками их не было ранено несколько добрых граждан; что никогда решительная революция не происходила без того, чтобы широкое разрушение существующего порядка вещей не имело для некоторых лиц роковых последствий, и что не следует поэтому ставить в вину ни городу Парижу, ни другим городам, в которых могли обнаружиться такие же бедствия, того, что могло быть следствием проявления личного чувства мести,— существования которых я не отрицаю,—но что, вероятнее, является результатом всеобщего сотрясения, народной лихорадки, создавших такие чудеса, которым будет удивляться потомство».

Какая поразительнная глубина и тонкость мысли! Какое неисправимое несчастье, что ему не удалось убедить и примирить противников! Он пытается, не оскорбляя Ролана, рассеять мрачные призраки, которыми министр пугает самого себя:

«Итак, я говорю, что министр поддался чувству, которое я уважаю, но что его горячая любовь к порядку и законности заставили его увидеть комплоты и обширные государственные заговоры (ропот) в том, что является, может быть, лишь сцеплением мелких интриг,—мелких как по их содержанию, так и по средствам их выполнения. (Новый ропот.) Проникнетесь той истиной, что в республике не может быть заговоров (ропот); есть затаенные страсти; есть отдельные преступления, но нет таких больших заговоров, которые могли бы нанести ущерб свободе. (Продолжительный ропот.) И где же люди, которых обвиняют в заговоре, в стремлении к диктатуре или триумвирату? Пусть назовут их! Марат? Но я уже вам сказал... Да, мы должны соединить все усилия, чтобы прекратить проявления злопамятства и личных предубеждений, а не пугать себя воображаемыми и фантастическими заговорами, существование которых было бы очень трудно доказать. Я призываю поэтому к откровенному взаимному выяснению раз'единяюших нас сомнений; я требую, чтобы прения по докладу министра были отложены на определенный день, потому что я хочу, чтобы факты были подвергнуты разностороннему расследованию, и чтобы Национальный Конвент принял меры против лиц, которые могли бы оказаться виновными.

«Я уверяю, что совершенно правильны раздававшиеся здесь протесты против отправки в департаменты писем, косвенно обвиняющих членов этого собрания. Ролану следовало бы отослать письмо, в котором говорится об убийствах, министру юстиции или государственному обвинителю, для препровождения его в трибуналы, где, вне всякого сомнения, выяснилось бы, что все эти страшные проекты являются пустыми химерами. (Ропот.) Я заявляю это определенно, потому что пора это сказать; все, кто говорит о комплоте Робеспьера, являются в моих глазах или людьми предубежденными или плохими гражданами». (Рукоплескания.)

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

Дантон сказал свою речь среди все усиливающегося ропота и возрастающего противодействия. Конвент не соглашался на отсрочку обсуждения. Он проявлял ту почти болезненную торопливость, с которой обыкновенно большие собрания стремятся исчерпать волнующие их вопросы: ристалище открыто, надо позвать борцов. Стремление поскорее покончить со всем этим, выяснить все до конца— захватило самых лучших. А Жиронда видела, что Робеспьер смущен, взволнован; кто знает, не собралась ли она покончить с ним в тот же вечер? Очевидно, между Роланом—с одной стороны, и Барбару, Луве и Ребекки—с другой, нападение было условлено заранее. У Луве имелась в запасе совершенно готовая длинная речь, именно та речь, о которой сообщалось в докладе Ролана и в полицейской записке. Трогательное сотрудничество между добродетельной четой, упрекавшей Дантона за его свободную жизнь, и скабрёзным романистом, автором «Фобласа», который, прежде чем приступить к сочинению темных историй с заговорами, изображал приключения альковного характера, способные пресытить самых требовательных любителей этого жанра. Г-жа Ролан, в своих «Portraits et Anecdotes», написанных ею позднее, во время нахождения в Sainte-Péiagie, в 1793 году, говорит о Луве в очень лестных выражениях:

«Луве, которого я знала во время первого министерства Ролана, и общество которого для меня всегда останется привлекательным, мог бы иногда, как Филопемен, брать своей дурной наружностью: маленький, хилый, близорукий и небрежно одетый, он не привлекает внимания заурядных людей, не замечающих благородства его лба и огня, которым загораются его глаза и лицо, когда он начинал говорить о великих истинах, прекрасных чувствах, при остроумных выдумках или тонких шутках. Писатели и люди со вкусом знают его прелестные романы, в которых изящество изображения соединяется с легкостью стиля, философским слогом и солью критики. В области политики он написал весьма серьезные произведения, в которых принципы и манера изложения одинаково свидетельствуют в пользу его души и его талантов. Он доказал, что его умелая рука могла попеременно потрясать бубенцами безумия, водить резцом истории и метать громы и молнии красноречия. Невозможно соединять больше ума с меньшей претенциозностью и бо́льшим добродушием; храбрый, как лев, простой, как ребенок, чувствительный человек, хороший гражданин, сильный писатель, он способен на трибуне заставить задрожать Катилину, и, п о о б е д а в у Г р а ц и й, о т у ж и н а т ь с Б а ш о м о н о м. Его Катилинария или Р о б е с п ь е р и а д а заслуживала быть произнесенной в Сенате, обладающем силой творить правосудие!»

Увы!—г-жа Ролан, которая становится почти жеманницей стиля регентства, говоря о Грациях и Башомоне, одолевала Дантона своим ригоризмом! Какие глубокие источники лицемерия дух партии и котерии создает даже в правдивых и благородных душах!

Жалкий роман принес Луве с собой на трибуну, и напрасно он пытался подражать раскатам грома, потрясая надтреснутыми бубенцами. В этой схватке не на жизнь, а на смерть с Робеспьером нужны были прямые и верные удары, определенные обвинения, установленные факты. Он только бесконечно повторял неопределенные обвинения в диктатуре, попрекал Робеспьера его влиянием на якобинцев и, когда хотел формулировать свои нападки точнее, смог выставить только жалкие или ложные обвинения. Послушайте, что говорит он об одном преступлении Робеспьера, по поводу того, что после десятого августа он принял участие в заседании временного генерального совета Коммуны, в к о т о р о м у ч а с т в о в а л и с а м Л у в е:

«Представители народа, один навсегда славный день, день десятого августа, спас Францию. Прошло еще два дня. Будучи членом этого Временного Генераль-

Электронный архив библиотеки МГПУ имени А.А. Кулешова

ного Совета (р о п о т), я находился при исполнении своих обязанностей; входит человек, и вдруг в собрании происходит сильнейшее движение. Я смотрю и еле верю своим глазам... это был он, Робеспьер! Он усаживается среди нас. Нет, я ошибаюсь, он уже направляется занять место у бюро: с этих пор равенство уже не существовало для него».

Что думать о ребячестве этого наговора Луве! Но вот еще более страшное обвинение... если только оно справедливо: «Законодательное Собрание также ежедневно терпело беспокойства, неуважение к своим правам, оскорбление своего достоинства со стороны наглого демагога, который являлся к решетке предписывать ему декреты и возвращался в Генеральный Совет только затем, чтобы доносить на него, который проник даже в комиссию двадцати одного, чтобы угрожать набатом...»

Вслед за этими словами, еще до того, как Луве успевает закончить свои об'яснения, разражается взрыв негодования против Робеспьера. Напрасно Бильо-Варенн кричит: «Это ложь!» Его голос покрывается криками, утверждениями свидетелей, поддерживающих Луве. Возбуждение, повидимому, охватывает не только одних жирондистов. Многочисленные члены Конвента обращаются к Робеспьеру с обвинительными и угрожающими жестами. Камбон, который не мог забыть унижений и страхов Законодательного Собрания, яростно восклицает, как бы размахивая невидимым кинжалом,—кинжалом, который является необходимым аттрибутом всех страстных адептов свободы:—«Негодяй! Вот смертный приговор диктаторам!»

Делакруа торжественно подтверждает истинность рассказа Луве: «...Когда, сойдя с трибуны, я направился вглубь левой стороны зала, Робеспьер сказал мне, что, если собрание не одобрит добровольно того, что от него требуют, его сумеют принудить к этому набатом». И хор жирондистских проклятий тотчас же возобновляется: «Негодяй! Негодяй!»

А между тем Делакруа, подтверждая слова Луве, опровергает их: по Луве место происшествия — комиссия двадцати одного, а по Делакруа — само зало заседаний; кроме того это не были публичные, официальные, запротоколированные слова, а личное заявление человека человеку, буквальные выражения и смысл которого могли быть искажены. Эффект, годный для собрания, но неспособный выдержать серьезного расследования. Даже в этом заседании впечатление было скоро нейтрализовано твердостью Робеспьера. При помощи своего брата он разорвал круг обступивших его жестикулирующих врагов и взобрался на трибуну. Он горячо протестовал против обвинений Луве. Но Жиронда уже хотела превратить его в обвиняемого.

«Я указываю Конвенту,—закричал один из его членов,—что он не должен выслушивать с трибуны человека, обвиняемого в таком преступлении! Нужно, чтобы он сошел к решетке».

Несмотря на все это, горячий протест Робеспьера возбудил сомнения и несколько притушил водоворот. Луве произнес страшные и предательские слова: «Отомстите за Законодательное Собрание». Под влиянием крайне уязвленного самолюбия, все депутаты, которым, в наказание за то, что они не сумели вовремя взять в свои руки инициативу и руководство революционной борьбой с королевской властью, пришлось вынести в течение нескольких дней диктатуру смелой и победоносной Коммуны,—действительно горели жгучей жаждой мести. Но речь Луве представляла из себя только слабую точку опоры, она была лишь праздной декларацией, повисшей в пустом пространстве. Она обманула ожидания ненавистников. Что касается до сентябрьских дней, софизм был слишком вопиющий. Невозможно было сколько-нибудь серьезно скомпрометировать в деле убийств Робеспьера и Дантона и совершенно выгородить Жиронду. Когда Луве говорит, что

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

«охранительная власть Петиона была скована, а слова Ролана напрасны»,—это чистейшая партийная риторика; в первый день ни Петион, ни Ролан не сделали никаких сколько-нибудь осязательных усилий; Луве, чтобы доказать солидарность между Робеспьером и Маратом, принужден был согласиться на то, что первый поддерживал в избирательном собрании кандидатуру второго. Поэтому речь Луве пронеслась, как пухлая, фантастическая, но бездождная туча, грозная по виду и бесплодная на деле. К тому же он сам ослабил силу своих обвинений неуверенностью своих заключений и их несвязностью:

«Робеспьер, я обвиняю тебя в том, что ты с давних пор клеветал на самых чистых и самых лучших патриотов; я обвиняю тебя в этом, потому что думаю, что чести добрых граждан и народных представителей ты не имеешь права касаться.

«Я обвиняю тебя в том, что ты особенно яростно клеветал на тех же людей во время первых сентябрьских дней, т. - е. в такое время, когда клевета являлась проскрипцией.

«Я обвиняю тебя в том, что ты, насколько это было в твоей власти, преследовал и унижал народное представительство и всячески способствовал его преследованию, унижению и отрицанию его прав другими.

«Я обвиняю тебя в том, что ты постоянно вел себя, как предмет идолопоклонения, допускал, чтобы называли тебя в твоем присутствии единственным добродетельным человеком во Франции, единственным человеком, могущим спасти Францию, и сотни раз сам заставлял выслушивать это.

«Я обвиняю тебя в том, что ты всеми средствами, интригами и запугиванием терроризировал избирательное собрание Парижа.

«Я обвиняю тебя в том, что ты, несомненно, стремился к верховной власти, что доказывается и фактами, которые я уже привел, и всем твоим поведением, которое говорит в твое обвинение громче меня.

«Я требую, чтобы расследование твоего поведения было передано особому комитету.

«Законодатели, среди вас есть другой человек, имя которого не осквернит моего языка,—человек, которого мне нет надобности обвинять, потому что он сам обвинил себя. Он сам сказал вам, что, по его мнению, следовало бы снять 200.000 голов; он сам признался вам в том, чего, впрочем, и не мог отрицать, что советовал ниспровергнуть правительство и призывал к установлению трибуната, диктатуры, триумвирата: но, когда он делал вам это признание, вы, может быть, не знали еще всех обстоятельств, придающих этому преступлению поистине национальное значение; и этот человек находится среди вас! И Франция возмущается, и Европа поражается этим. Они ждут, чтобы вы высказались.

«Я требую, чтобы против Марата был издан обвинительный декрет (р о п о т н а к р а й н е й л е в о й, р у к о п л е с к а н и я н а д р у г и х с к а м ь я х), и чтобы на Комитет Общественной Безопасности было возложено расследование поведения Робеспьера и н е к о т о р ы х д р у г и х».

Но откуда эта разница в отношении к Марату и Робеспьеру? Почему нужно было требовать немедленного предания суду одного и только расследования для другого? Значит, Луве признавал этим, что сам он не имел абсолютного доверия к силе своих доказательств, потому что, если бы преступление Робеспьера, как выражавшего притязания на верховную власть и действительно добивавшегося ее, было доказано, оно было много важнее всех заявлений Марата. Ни Луве, ни жирондисты не чувствовали себя способными убедить Конвент вынести решительный приговор против Робеспьера. Разочарование Конвента было огромное. Он ждал от жирондистов вовсе не доказательств того, что во время революционного кризиса, из которого вышла республика, Робеспьер работал для усиления политического влияния своего и Коммуны.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

Что требовалось доказать, это—что Робеспьер старался определенными действиями уничтожить народное представительство, подменить диктатурой законную власть Конвента. Но как раз Робеспьер требовал созыва Конвента. Обвинение Луве провалилось. От него не осталось ничего определенного, кроме смутного тенденциозного дела, к которому привлекались вместе с Робеспьером некоторые другие и, в конечном итоге, сам парижский народ, народ десятого августа. Нет, Конвент не мог рискнуть вступить на этот путь. Жиронда имела только один шанс завлечь его. Это—ослепить его, фанатизировать, связать круговою ответственностью. Так как Жиронда не согласилась на отсрочку разбора дела, требуемую Дантоном, нужно было, путем декрета в тот же самый вечер, и тотчас же после речи Луве, отдать Робеспьера под суд и арестовать. Откладывая решение, после отказа отложить обсуждение, Жиронда обнаружила в одно и то же время и слабость и самонадеянность. Ограничиться отдачей Марата под суд за речь, которая была целиком направлена против Робеспьера, это значило обнаружить все, что только было поддельного в выставленных напоказ проявлениях гнева и опасений. Это значило также дать время холодному рассудку рассеять престиж страстной риторики романиста Луве.

Впечатление от заседания было очень плохое для Конвента и плачевное для Жиронды. Газета «Les Revolutions de Paris», выставлявшая на вид свою беспартийность и, сверх того, недолюбливавшая Робеспьера и Марата,—вероятно, потому, что она не смогла оказать достаточного влияния на избирательные собрания Парижа,—передает довольно хорошо пониженный тон общественного мнения.

«Увы!—мы краснеем за наших депутатов. Они проводят время в доносах друг на друга. Длинные заседания до глубокой ночи уходят на то, чтобы выслушивать, как Луве обвиняет Робеспьера, Робеспьер доносит на Бриссо и компанию, Барбару доносит на Марата, Марат, в дополнение ко всему, один доносит на всех генералов, всех министров, всех своих товарищей по Конвенту, кроме Дантона, который настолько неблагодарен, что оставляет Марата одного среди всеобщей свалки; что за жалкая картина! Луве! если некоторые честолюбцы имели преступное поползновение переменить правительство, то раз Конвент имел благоразумие перейти к очередным делам,—к чему возобновлять наступление? Разве нет судей и ликторов? Если Марат, Дантон и Робеспьер являются триумвирами той диктатуры, о которой ты говоришь, то тебе стоило только сказать им: «Вон из этого помещения, откуда вас гонят ваши преступления, и следуйте за мной в трибунал; я берусь обвинять вас, идите защищаться». Ты избавил бы нас от длинных повествований о прениях в обществе якобинцев, от скандала в заседании Конвента, совершенно ничтожного в политическом отношении, и от смущения Робеспьера, вынужденного просить восемь дней для ответа. Восемь дней для самооправдания неподкупному Робеспьеру!»

Та горечь, с которой газета Прюдома говорит о парижском избирательном собрании, о господстве в нем Робеспьера, Дантона и Марата, ясно показывает, что этот добрый доктринерский и сентенциозный листок потерпел неудачу на выборах. Он утешает себя тем, что все это мелко:

«Конвент, в общем плохо избранный, в особенности депутация от Парижа, которой следовало бы быть получше; Конвент, который, вместо того чтобы быть Атласом, потому что ему предстоит, так сказать, повернуть весь земной шар на оси разума, испытывает мелкие страстишки слабого своенравного ребенка»...

Для Дантона газета находит следующие жестокие и предательские слова:

«И ты, Дантон, ты тоже молчишь или открываешь рот только затем, чтобы трусливо отречься от своего помощника (agent subelterne)!»

Электронная библиотека МГУ имени А.А. Кулешова

Общность избирательных неудач в Париже должна была сблизить журналистов газеты Прюдома с жирондистами. Но впечатление, произведенное речью Луве на демократов, было так неблагоприятно, что газета принуждена была осудить ее. Карра в отчете, помещенном в его «Annales patriotiques», явным образом отмежевывает себя от Жиронды; он не одобряет Луве:

«Луве выступает с длинным донесением, направленным против Робеспьера, Марата, Дантона и т. д., но более всего он нападает на Робеспьера, которого он обвиняет, как главу партии убийц и губителей свободы; он уснащает свое повествование ораторскими трюками, употребляет все главнейшие рессурсы красноречия в вопросе, в котором их следовало бы, наоборот, избегать. Говоря о Марате, оратор употребляет один из тех приемов, которые, благодаря преувеличению, теряют весь свой эффект. Он характеризует его сначала, не называя его, как единственного человека в мировых летописях, как enfant perdu убийства, затем, назвав его, спохватывается и восклицает: «Боги! я произнес его имя!» Этот прием, может быть, покажется кому-нибудь удачным: мы же находим его холодным и младенческим. Не более одобряем мы другое место: «О, верх ужаса! уже был дан приказ об аресте добродетельного Ролана!» Ибо каким бы злодеем ни считать Марата, его имя является лучшим способом определить его, указать его тем, кого требуется с ним ознакомить, а как бы добродетелен ни был Ролан, приказ об его аресте не является верхом ужаса, когда только что говорилось о стольких намеченных и совершонных убийствах».

Разобранное таким образом красноречие Луве едва ли могло рассчитывать на успех в ближайшие дни.

Тон Кондорсе проникнут строгостью и грустью. Он выступает сам за своей подписью в «Chronique de Paris» от 31-го октября. Его статья, выдержанная в умеренных выражениях и с оттенком сдержанной печали, представляет из себя подавляющий обвинительный акт против Ролана и Жиронды:

«Министр внутренних дел представил записку о политическом положении Парижа. Пристрастие к введениям, столь обычное у прежних министров, сказалось в ней настолько ярко, что нельзя было не заметить сразу же намерения произвести впечатление такого рода, к которому, нужно это признать, не должен стремиться государственный деятель. Широко набросав картину препятствий, которое встречает в Париже исполнение законов, злоупотреблений незаконной и анархической власти, ошибок одних и преступлений других, г. Ролан счел себя обязанным донести о заговорах, которые, если бы они действительно существовали, могли бы заставить отчаяться в возможности установить законы и вообще свободу во Франции. Как можно допустить мысль о возможности возобновления преступлений 2-го и 3-го сентября? Как поверить, что на самом деле существует заговор с целью устроить резню граждан, которые во всех отношениях хорошо служили родине, и жизнь которых до известной степени связана с судьбой государства? Как поверить, наконец, в существование заговора, столь же бессмысленного, как и отвратительного? В подтверждение было прочитано письмо одного из членов трибунала. Но содержит ли это письмо разбор доказательств? Почему бы в таком случае не проследить их по имеющимся указаниям перед трибуналом? Как не предвидеть, что подобные доносы, направленные в самый Конвент, могут забросить туда зародыш смут, всегда гибельных для общественного блага, возродить там чувства ненависти и подозрительности, и что в интересах отечества, если не в интересах славы,

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

следовало бы стараться задушить их? Неужели думают, что народ станет равнодушно смотреть, как время прений употребляется на споры, не имеющие никакого отношения к его интересам и к обязанностям его представителей? Не виновен ли тот, кто возбуждает эти споры, даже если предположить, что волнующие его опасения не напрасны? Не означает ли стремление беспрестанно занимать собою общество, желания во что бы то ни стало сделаться важным персонажем? Не представляет ли собою это притязание опасности в республиках, в особенности, когда оно облекает себя в особые суровые формы и когда между партией, на которую нападают, и той, которую поддерживают, не предполагается иного расстояния, кроме того, какое существует между бесчестием и честностью, между преступлением и добродетелью?

«Доклад г. Ролана отнял, повидимому, довольно много времени у Собрания, а может быть, и у общественного дела. Было заметно, что он в достаточной мере растравил раны, нанесенные подозрениями, ненавистью и опасениями дня 10-го августа. Но Луве взял слово, чтобы выступить с обвинением против Робеспьера, и так как все волнующее страсти неизбежно привлекает внимание человеческих собраний, ибо такова уж природа человека,— оратор мог всецело отдаться всем дурным чувствам (впрочем, по большей части очень основательным), которыми была проникнута его душа.

«Сегодня мы ничего не скажем об этой речи, кроме того, что она оказалась подготовленной с тем расчетом, чтобы оставить после себя впечатления, к сожалению, слишком длительные в умах значительного числа слушателей, и заставить других оплакивать роковые последствия личных страстей. Все это вовсе не то, в чем нуждается общественное дело».

Критический дух Кондорсе, еще вчерашнего друга Жиронды, глубоко возмутила нелепость полицейской бумажонки, принесенной Роланом, и он—вне себя от грубого и бесцеремонного тщеславия этого неумного и желчного бюрократа, который, чтобы придать себе цену, создает призраки заговоров и разжигает чувства ненависти. Кондорсе возмущает и пугает эгоизм и сумасбродство Жиронды. О, великий человек, ты, как и Дантон, заплатишь жизнью за ошибки, совершонные другими!

Один депутат предложил 31-го октября, чтобы ни один из членов Конвента не мог делать донесений на другого; это было несколько наивное решение вопроса, но хотя Конвент и перешел к порядку дня, оно указывало на все усиливающееся недовольство, в которое ввергла умы яростная агитация Жиронды. Газета Бриссо с негодованием обрушилась на злополучного миротворца:

«Очень мало просвещенный патриотизм или крайне коварный партийный дух внушили одному члену Собрания предложение, которое может одобрить только один анархизм; он потребовал, чтобы ни один депутат ни под каким видом не мог доносить на другого, и предложил различные карательные постановления против нарушителей этого странного закона. Когда остатки нечестивых приверженцев Суллы заседали в Римском сенате, рядом с истинными республиканцами; когда Катилина и Цетег стояли лицом к лицу с Цицероном и Катоном; когда эти два друга отечества возвысили голос против жестоких анархистов, стремившихся через демогогию к тирании,—что стало бы делать честное и непреклонное большинство римских законодателей, если бы было внесено предложение зажать рот гражданам, достаточно мужественным, чтобы не по-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

бояться кинжалов убийц и смело указать на дверь заговорщикам и их соумышленникам? Римский сенат с презрением или негодованием отверг бы это преступное или бессмысленное предложение. То же сделал Национальный Конвент: он перешел к порядку дня, несмотря на некоторые возражения».

С каким искусством и с какою настойчивостью Жиронда точит нож гильотины, который снесет все ее головы! Она погибнет первой, как соумышленница тирана, низвергнутого 10-го августа, как «остаток нечестивых приверженцев Суллы». Но Конвент уже начинал пресыщаться всеми этими нападками, и декламаторская речь Луве уже утратила весь свой эффект, когда, в понедельник, 5-го ноября, восемь дней спустя, Робеспьер взошел на трибуну, чтобы защищаться. Он говорил умеренно, скромно в искусных и точных выражениях. Он, видимо, старался противопоставить высокопарным словам Луве тщательно взвешенные, существенные возражения, и легко свел на-нет ряд вздорных обвинений:

«Мне вменили в преступление даже то, как я вошел в зал, где заседал новый муниципалитет. Мой доносчик вполне серьезно обвинял меня в том, что я направил свои шаги в сторону бюро. При тех обстоятельствах, когда нас занимали другие заботы, я был далек от того, чтобы предвидеть, что мне придется когда-нибудь осведомлять Национальный Конвент о том, что я шел к бюро только затем, чтобы проверить свои полномочия».

Вот на чем Луве основывал свое знаменитое «я обвиняю». По поводу другого факта, из-за которого на Робеспьера 29-го октября обрушился, так сказать, целый ливень негодования Жиронды, он говорит:

«Лакруа вам сказал, что в углу левой стороны я угрожал ему набатом. Лакруа, без сомнения, ошибся (р о п о т). Нет никакого основания прерывать меня, точно так же как с моей стороны не было бы никакого основания отрицать этот факт, если бы он действительно произошел. Но я повторяю, Лакруа ошибся. Весьма возможно спутать или забыть обстоятельства, относительно которых у меня также имеются свидетели, находящиеся даже в этом Собрании и из членов Законодательного Корпуса. Я хочу напомнить эти обстоятельства; я очень хорошо помню, что в том углу, о котором я говорил, я услышал ряд предложений, показавшихся мне довольно-таки фельянтинскими и мало достойными тех обстоятельств, среди которых мы находились, — между ними одно, обращенное к Коммуне: П о ч е м у в ы н е б ь е т е в н а б а т? Вот на это заявление или на другое, подобное ему, я ответил: «Бьют в набат те, кто старается ожесточить умы несправедливостью». Я припоминаю еще, что тогда один из моих товарищей, менее терпеливый, чем я, под влиянием досады, действительно, предложил нечто подобное тому, что приписывается мне, и другие слышали, как я сам упрекнул его за это».

Р е н ь о: «Я удостоверяю факт, только что сообщенный Робеспьером».

Итак, при тщательном рассмотрении, все что было сколько-нибудь достоверного в речи обвинителя, рассеивалось, как дым. Робеспьер отметил расстояние, отделявшее его от Марата, и выступил с определенной защитой всех действий Коммуны.

«Разве нас не обвиняли в том, что, по соглашению с Исполнительным Советом, мы послали в некоторые департаменты комиссаров, чтобы пропагандировать наши принципы и побудить их соединиться с парижанами против общего врага? Какое представление составилось о последней революции? Разве до достижения успеха крушение трона казалось таким легким? Разве дело состояло только в том, чтобы сделать внезапное нападение на Тюильери? Разве не нужно было уничтожить во всей Франции партию тиранов, а, следовательно, сообщить всем департаментам о том благотворном сотрясении, которое охватило весь Париж? И каким образом эти заботы не могли касаться тех самых долж-

Электронный архив библиотеки им. Н. К. Крупской

ностных лиц, которые призвали народ к восстанию? Дело касалось общественного спасения: дело касалось их голов! И им вменено в преступление то, что они послали комиссаров в другие коммуны, чтобы побудить их притти на помощь, поддержать их дело! Что я говорю! Клевета преследовала самих этих комиссаров. Некоторые из них были брошены в оковы. Фельяны или невежды вычисляли степень горячности их поведения конституционным компасом, вымеряли все их поступки, чтобы найти предлог превратить миссионеров революции в поджигателей, в врагов общественного порядка...

«Граждане, хотите ли вы революции без революции?

«И что за дух преследования явился с целью, так сказать, проконтролировать революцию, разбившую наши цепи? Но как можно заранее составить определенное суждение о результатах, какие могут повлечь за собою эти великие сотрясения? Кто может определенно указать точку, где должны были разбиться волны народного восстания? Какой народ мог когда-либо свергнуть при таких условиях ярмо деспотизма?.. Нет, мы не совершили ошибки; клянусь в этом низвергнутым троном и возвышающейся республикой».

В этом заявлении Робеспьера была очевидная истина; да и кроме того, он только повторил то, что Ролан сам говорил после десятого августа и даже после 2-го сентября. Остается неопровергнутым,—и в этом Робеспьер в об'яснениях, данных им по поводу убийств, не смог оправдаться,—то, что он хотел воспользоваться революционным движением, чтобы погубить Жиронду, что он, насколько это было в его власти, стремился использовать это величайшее потрясение в интересах удовлетворения своего честолюбивого «я», своей необузданной гордости. Остается неопровергнутым также то, что, под влиянием этих ужасных личных мотивов, Робеспьер всегда был готов использовать силу событий, чтобы урезать и устранить соперничающие влияния. Но если бы в революции сохранилось внутреннее единство, если бы Жиронда с первых же дней не стала подрывать Конвента, какое значение имела бы в широком развитии революционных сил запальчивая гордость Робеспьера? Жиронда сама подготовляла диктатуру Робеспьера своими доносами на нее. По мере того как революция суживается, она рискует стать не более, как пьедесталом для одного человека. Жирондисты же изо всех сил принялись суживать ее именно в тот лучезарный день победы и надежд, когда она могла бы все расширяться благодаря согласию и радости. Чтобы защитить себя перед историей, они не могут даже сослаться на искренность своей запальчивости. Все свое филантропическое негодование по поводу сентябрьских событий они раздувают в себе post factum, хладнокровно, в целях политического господства. В этом нет ничего, кроме лицемерия и театральных волнений.

«Я мог бы,—восклицает Робеспьер,—привести в защиту Генерального Совета Коммуны, слова самого г-на Луве, который начинает одну из прокламаций своего «Часового» («La Sentinelle») следующими словами: «Честь и слава Генеральному Совету Коммуны! Он ударил в набат! Он спас отечество!»... Это было во время выборов. (Аплодисменты на левой и на трибунах.)

«Уверяют, что погиб один ни в чем не повинный человек. Многие старались преувеличить число жертв. Но, без сомнения, и одной слишком много. Граждане, плачьте об этой жестокой ошибке. Мы давно оплакиваем ее; это был добрый гражданин, это был, следовательно, один из наших друзей. Плачьте даже по виновным, подлежавшим законному возмездию, которые пали жертвой народного суда. Но пусть ваша скорбь имеет конец, как все человеческое.

«Сохраним некоторое количество слез для несчастий, более достойных оплакивания. Плачьте о ста тысячах патриотов, убитых тиранией, плачьте о

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

наших гражданах, умирающих под пылающими крышами. Но утешьтесь, если, возвысившись над всеми низменными страстями, вы хотите обеспечить счастье вашей стране и подготовить счастье всего мира... Чувствительность, печалующаяся почти исключительно о врагах свободы, мне подозрительна. Перестаньте махать перед моими глазами окровавленным платьем тирана, или я подумаю, что вы хотите снова ввергнуть Рим в оковы. Когда вы выслушиваете патетические описания судьбы Ламбалей и Монморенов, приводящие в ужас дурных граждан, и яростные декламации против людей, обладающих совершенно противоположной репутацией, не кажется ли вам, что вы читаете манифест Брауншвейгского герцога или Конде? Вечные клеветники, уж не хотите ли вы мстить за деспотов? Не хотите ли осквернить колыбель республики? Не хотите ли обесчестить в глазах Европы революцию, которая ее породила, и снабдить оружием всех врагов свободы? Поистине замечательная любовь к человечеству, стремящаяся закрепить нищету и порабощение народов и скрывающая в себе варварское стремление упиться кровью патриотов!»

Трибуны приветствовали бурными криками одобрения эту великую речь, которая была бы еще грандиознее без последних слов. Даже в моменты под'ема, Робеспьер не может освободиться от бремени дурных мыслей. Пораженный Конвент в молчании слушал человека, которого за неделю перед тем жирондисты в своем неистовстве почти затоптали ногами. Он чувствовал в нем одну из сил революции и удивлялся этому выдержанному и властному тону. Робеспьер торжествует, наконец, над измышленными Роланом жалкими полицейскими уловками и насмехается над его беспрестанными тревогами и непрерывным бахвальством:

«Граждане, если когда-нибудь, по примеру лакедемонян, мы воздвигнем храм страху, я полагаю, что служители (ministres) его культа должны быть избраны среди тех министров (ceux la ministres), которые говорят вам беспрестанно о своем мужестве и грозящих им опасностях. (Несколько раз возобновляющиеся аплодисменты на левой и на трибунах) [1]).

«Но что сказать мне об этом псевдо-письме, робко и, осмелюсь сказать, крайне неловко предложенном вашему вниманию? Загадочное письмо, адресованное третьему лицу анонимным лицом! Анонимные разбойники и убийцы! И среди этих замысловатостей фраза, как бы нечаянно брошенная: они хотят слышать только Робеспьера! Умолчания, тайны, и это в обращении к Национальному Конвенту! Все это прилагается к крайне коварному докладу,—после того как столько пасквилей, афиш, памфлетов, всякого рода газетных листков было распространено всевозможными способами, с громадными издержками по всем углам республики! О, добродетельный человек, всегда и только добродетельный! Куда же хотели вы итти этими темными путями? Вы испробовали общественное мнение и остановились в испуге. И вы хорошо сделали. Природа не создала вас ни для великих дел, ни для крупных посягательств. Здесь я останавливаюсь сам из внимания к вам. Вы не знаете отвратительной истории человека с этим загадочным письмом. Разыщите ее, если у вас хватит на это духу, в полицейских архивах».

Это была тонкая и в то же время сильная речь; добродетельный Ролан, унизившийся до таких пошлых полицейских способов, был насквозь пронзен этой могущественной иронией. Сделав призыв к согласию и миру, Робеспьер сошел с трибуны при громких криках одобрения, и Конвент, освободившись

[1]) Непереводимая игра слов: ministre — служитель и ministre — министр. Прим. перев.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

от ига Жиронды, отказался выслушать возражения Луве. Это было большим поражением для жирондистов: они возвысили своего противника, увеличив его могущество, авторитет, гордость и ненависть. А сами они, злоупотребив своим влиянием, тем самым подорвали и извратили его. Барер, со своей всегда несколько двусмысленной ловкостью, попытался, резюмируя все происшедшее, представить в благоприятном свете поражение Жиронды. Он потребовал, чтобы Конвент предложил переход к очередным делам, но в презрительных для Робеспьера выражениях:

«Что значат в глазах политического законодателя все эти обвинения в диктатуре, в честолюбивом стремлении к высшей власти и смехотворные проекты триумвирата? Граждане, не будем придавать значения людям, которых общественное мнение сумеет лучше нас поставить на место; не будем воздвигать пьедесталов для пигмеев. Граждане, если бы нашелся в республики человек, родившийся с гением Цезаря или отвагой Кромвеля, человек, который, вместе с талантом Сулла, обладал бы его опасными средствами,—я смело явился бы к вам, чтобы обвинять его: такой человек мог бы представлять опасность для свободы. Если бы сюда вошел какой-нибудь законодатель с крупным характером, глубоким умом или необ'ятным честолюбием, я спросил бы сначала, имеет ли он в своем распоряжении армию или большую партию в сенате или республике.

«И, если бы такие люди оставили следы своего намерения покуситься на права народа или на величие законов, вы должны были бы декретировать обвинение их, как дерзостных конспираторов. Но случайные люди, мелкие предприниматели революции, политиканы, которые никогда не войдут в историю, не созданы для того, чтобы отнимать драгоценное время, которое вы обязаны отдавать великим трудам, возложенным на вас народом».

И, как бы для того, чтобы отметить, что все эти прения имеют второстепенное значение, Барер предложил следующий переход к очередным делам:

«Национальный Конвент, считая, что он должен заниматься только интересами республики, переходит к очередным делам».

Но Робеспьеру было уже не достаточно своего спасения; он не хотел допустить умаления своей личности.

«Я не хочу вашего перехода к очередным делам, если вы предпошлете ему такое оскорбительное для меня вступление».

Его друзья и он сам требовали простого перехода, и при аплодисментах трибун, этот простой переход был принят. Неслыханное дело! Жиронда обнаружила в своем поражении так мало достоинства, так мало политического смысла, что она уперлась на требовании голосовать переход к порядку дня, предложенный Барером, как будто он не был, прежде всего, жестоким осуждением жирондистской политики, открывшей обсуждение. Но обезумевшая Жиронда стремилась прежде всего затушевать свою неудачу. Ей хотелось иметь право сказать стране, что если Конвент не преследует Робеспьера, то лишь из презрения к нему. Какое жалкое противоречие! Почему же она сама не подала примера презрения? Поистине, она уже была неспособна ни сказать, ни увидеть правды; она не была уже в состоянии понять уроков событий. Бриссо, в своем отчете в Patriote Français, отделывается жалкими обиняками. Сказав несколько слов о скучной и незначительной защитительной речи Робеспьера, который никогда еще в действительности не был так остроумен, многообразен и красноречив, Бриссо говорит:

«Поднялись новые дебаты: одни вовсе не хотели перехода к очередным делам, опасаясь, чтобы он не оправдал Робеспьера, который сам себя нисколько не реабилитировал; другие, а таких было всего больше, хотели его, потому что этот переход означал то же, что и «признание неподлежащим обсуждению» (hors de cause) и представлял из себя со стороны Конвента выражение презрения

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

к агитаторам; в этом смысле он и был принят громадным большинством; даже меньшинство отнеслось к нему отрицательно только потому, что не видели этого презрения достаточно глубоко выраженным».

Жалкие ослепленные умы, сами себя обманывающие! Жалкие политики, которые, после первого предостережения судьбы, еще могут внести порядок в свои дела, но в стремлении убедить себя в неприкосновенности своего влияния прямо идут к полному банкротству!

Могущество Жиронды повсюду стало колебаться. У нее были серьезные недоразумения с новым министром юстиции Гара и новым военным министром Пашем. Она вообразила себе, что они окажутся преданными ей людьми, но оба с первых же дней отвернулись от нее. В военном министерстве больного Сервана заменил Паш. Он служил раньше чиновником у Ролана, и его простота, скромность, мягкость, молчаливость и привычка к порядку убедили Ролана, бывшего очень поверхностным наблюдателем, что он найдет в Паше послушное орудие.

«Паш,—пишет г-жа Ролан,—носит маску величайшей скромности; так что можно легко притти к мнению, что он не представляет большой ценности, мнению, которое он сам, повидимому, имеет о себе. Но эта скромность ставится ему в заслугу, когда обнаруживаешь, что он правильно рассуждает и не лишен познаний... Человек, который говорит мало, слушает с пониманием все, о чем говорится, и позволяет себе вставить лишь несколько умело вставленных замечаний, может легко сойти за способного. Паш сблизился с Менье и Монжем, членами Академии наук; они основали даже народное общество в Люксембургской секции, задачей которого, говорили они, было насаждение просвещения и гражданственности. Паш усердно посещал это общество. Казалось, он посвящал отечеству, как гражданин, все время, которое не отдавал своим детям, и которое оставалось у него свободным от занятий, на которые он их водил.

Он вошел в состав кабинета Ролана, но отказался от каких бы то ни было чинов и вознаграждения... Он являлся каждый день в семь часов утра с куском хлеба в кармане и оставался до трех часов, упорно отказываясь от всего; внимательный, благоразумный, ревностный, прекрасно исполняющий свои обязанности, он делал замечания, вставлял слово, возвращавшее вопрос к его сути, умиротворял Ролана, которого иногда раздражали возражения его аристократических чиновников.

По рекомендации Ролана он стал преемником Сервана в должности военного министра; и тотчас же Роланы с неудовольствием стали замечать, что он не весь принадлежит им, не обращается к ним за директивами и охотно окружает себя друзьями Дантона.

«Мы предполагали сначала, что причиной подобного поведения были страх показаться креатурой Ролана и чувство самолюбия. Но я узнала, что этот человек, никогда не принимавший приглашений своего товарища по службе под тем предлогом, что многочисленные занятия заставляют его жить вдали от общества,—принимал у себя Фабра, Шабо и других монтаньяров, окружал себя их друзьями, устраивал на места их креатур: разных лакеев с театральных подмостков, невежд, интриганов и подобных им суб'ектов; честные люди начинали роптать и жаловаться. Я подумала, что следует испытать последнее средство образумить его, если он только ослеплен, и доказать ему его неправоту, если он сознательно действует с недобрыми намерениями. 11-го ноября я написала ему в дружеском тоне о поднимавшемся против него ропоте, о причинах, порождающих его, с указанием на то, что, казалось бы, диктуется его интересами. Я упомянула о неподдельных чувствах, которые мы проявляли к нему, обо всем, на что он в общем давал основания надеяться, о положении дел, столь

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. Кулешова

противоположном тому, чего можно было ожидать. Паш не дал мне никакого ответа».

Без сомнения, он нашел г-жу Ролан назойливой и неделикатной. Я думаю, что скромность его была искренняя и прямота абсолютная. Он не прибегал ни к каким интригам, чтобы попасть в министерство, и считал себя обязанным служить общественному делу, а не Ролану. Позднее, когда забытый почти всеми, за исключением преследовавшей его директории, Паш удалился на свою маленькую ферму в Арденнах, он написал следующие простые и исполненные несомненной искренности слова:

«С тех пор, как я уже не должностное лицо, я смеюсь над собственным ничтожеством и над ничтожеством стольких других. Я не оратор, не писатель, не богач, не интриган... Искренне оценивая самого себя, я должен сказать, что, не относясь безразлично к своей репутации, я не был терзаем манией славы». (Mémoires de Pache: sa retraite á Thin-le-Moutier, par Louis Pierquin, Charleville, 1900 г.).

Без сомнения, он осуждал Ролана; он видел, насколько его важность прикрывала старческое чванство, насколько была пуста его деятельность, вся направленная на удовлетворение тщеславия. Он хотел действовать скромно, хотел дать возможность действовать революционным силам, исходящим от Дантона. Досадная история для Роланов, «преданных» таким образом своей «креатурой» и все более и более становившихся изолированными.

Гара (Garat) совершил по отношению к Жиронде гораздо более тяжкое преступление. Это был несколько неопределенный, бесцветный философ, не обладавший ни большой силой ума, ни жаром души; довольно уравновешенный и осторожный, он искал средних путей скорее из робости, чем из благоразумия. Обладая таким складом ума, он не решался ни оправдать сентябрьские убийства, ни осудить их. Отвергая их, он в то же время связывал их с инсурреционным движением 10-го августа. Он шел, таким образом, в большей, может быть, мере, чем сам сначала предполагал или хотел, против тактики Жиронды, которая должна была совершенно отграничить десятое августа от сентябрьских дней, чтобы косвенно заклеймить последние, прославляя первое. От этого было недалеко до обвинения Гара, будто он стал апологетом убийства, и сначала Жиронда, а позднее и термидоровцы, сделали этот шаг.

Несчастный Гара отчаянно защищается в своих мемуарах от этого обвинения. Все великое имеет в этом мире свою пародию. Высокий и твердый ум Дантона, господствовавший над партиями и ненавистничеством, имеет свою карикатуру в расслабленной беспартийности испуганного философа. Послушайте, как Гара об'ясняет промахи и недоразумения, в которых он утопал,—бедный, выбивающийся из сил пловец, колебающийся, у какого из двух берегов искать спасения

«В самом Национальном Конвенте, когда я говорил там о днях 2-го и 3-го сентября, заседали люди, из которых одни считались провокаторами и организаторами убийств, другие—громко и публично высказывали им свое одобрение; с другой стороны, там были и такие, которые, питая отвращение к убийствам и к тем, кто мог их поощрять и покрывать, держали это обвинение в резерве, чтобы при случае поразить им, как громом, своих соперников в борьбе за власть и влияние. При первых словах, произнесенных мною о днях 2-го и 3-го сентября, словах, выражавших и призывавших проклятие всего человечества против этих дней, лица, бывшие по меньшей мере их покровителями, подумали, что я собирался внести предложение о возбуждении преследования против них: поднялся ропот, и мне пришлось ставить вопросы и высказывать свои принципы среди страшного шума. Когда же затем среди этого шума из моей

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

речи, стали доноситься отдельные слова — жалость, милосердие, политический юбилей, — те, у которых были свои замыслы против виновников убийств, подумали, что я собираюсь предложить для этих преступников амнистию или одобрение, и ропот перешел с одной стороны собрания на другую или, скорее, поднялся на обеих сторонах. Таким образом начало моей речи было слишком хорошо воспринято одними, а вся речь слишком плохо—другими. Но то, что некоторые члены правой стороны считали нужным поставить мне в упрек, то некоторые члены левой стороны сочли нужным поставить мне в похвалу».

Этот ясный идеологический анализ, во вкусе Кондильяка, в приложении к неудавшейся речи имеет в себе что-то непреодолимо комическое. Но в этой аффектации равновесия есть некоторая хитрость, ибо какое значение имело для монтаньяров то, что он во имя гуманности сокрушался о сентябрьских убийствах? Они ведь тоже сокрушались. Существенное значение имело для них то, что министр юстиции, связывая сентябрь с августом, разрушил весь злодейский и, вместе с тем, роковой для Жиронды маневр. Гара сказал:

«Если эти ужасные события не были результатом инсуррекционного движения, почему же они не были предупреждены? Почему они не были остановлены? Почему они до сих пор не наказаны? Почему пролилось столько крови под иными мечами, чем мечи правосудия, а законодатели и сам народ не направили всю вооруженную силу в места, где происходили эти кровавые сцены?»

Этими словами, очень, впрочем, разумными, Дантон с полным правом воспользовался против Жиронды, а она, вместо того чтобы сознаться в гнусной и необузданной жестокости своей политики, естественно восстановившей против нее не только благородные сердца, но и самую посредственность, обвиняла Гара в коварстве и в моральном соучастии с убийцами. Таким образом мало-помалу пустое место вокруг нее становилось все больше и больше.

Выборы в парижский муниципалитет, происходившие в декабре, прошли для жирондистов крайне злополучно. Правда, мэр Шамбон (Chambon) не был монтаньяром, и газета Бриссо, уже лишившаяся права проявлять разборчивость, шумно приветствует этот успех:

«Результат баллотировки между Шамбоном и Люйе (Lhuillier) дал 7.558 голосов в пользу первого и 3.906 голосов в пользу второго. (Как мало избирателей участвовало в голосовании, как слабо еще стремился народ воспользоваться недавно завоеванным избирательным правом!). Итак, вот, наконец, патриот Шамбон—мэр Парижа, несмотря на крики и интриги анархистов. Эта победа истинных республиканцев и обеспечившее ее громадное большинство должны доказать департаментам, что господство крамольников (factieux) проходит даже в Париже, и что об'единению благомыслящих людей (gens de bien) удастся спасти этот город и Республику. Анархистов, как мошенников, так и только одураченных, всего три тысячи девятьсот шесть! Ибо не следует игнорировать того, что они вложили в избирательную кампанию все свои силы; у якобинцев не было заседаний в дни выборов, и следует сказать,—потому что это правда, потому что в этом утешение для благомыслящих людей,—что, по отношению к общему числу голосующих, число мошенников бесконечно мало.

«Республиканцы Парижа, не предавайтесь отдыху после кратковременного усилия; противопоставьте ложным патриотам, переряженным роялистам стойкую выдержку; этой ценой приобретается свобода. Вам предстоит еще произвести важные выборы. Усердие добродетельного мэра будет бессильно, если он не встретит в своих товарищах патриотического и в то же время просвещенного содействия. Первые выборы, которые вам предстоит произвести, это—выборы прокурора Коммуны. Для этой должности требуется человек, соединяющий твер-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

дость с знаниями и любовью к законам. Мы полагаем, что Реаль отвечает этим требованиям».

Да, но на этот призыв жирондистской газеты, вышедшей второго декабря, парижане-избиратели ответили тем, что 9-го декабря дали относительное большинство голосов Анаксагору Шомету,—Шомету, секретарю Дантона в секции Французского Театра, пламенному энтузиасту революционной Коммуны, «одному из орлов Коммуны 2-го сентября», говорит Patriote français. Через несколько дней он одерживает окончательную победу; 22-го декабря его заместителем выбирается «Пер-Дюшен»—Гебер, (Hébert), и выбитый из колей, обессиленный Шамбон вскоре будет вынужден выйти в отставку. В то время как влияние Жиронды в Конвенте падает, в то время как Ролан понемногу теряет свое влияние в министерстве, Париж решительно идет на выручку самым решительным врагам Жиронды.

Среди народа диатрибы Гебера против Ролана, то грубые и пошло демагогические, то едкие и остроумные, имеют все возрастающий успех. Своими политическими обедами, которые народная пресса слишком легко могла превращать в оргии, своими беспрестанными перемиэдами чета Роланов все более и более давала повод к насмешкам, к оскорбительной или тонкой сатире. Гебер в № 199 (декабрь, 1792 года) своей газеты только груб, циничен и гадок, с оттенком народного юмора и игривости; но картина разыгравшейся в Париже грозы была бы неполна, если бы мы не отметили этого сквернословящего и беспутного, но все же порою мощного голоса.

«Говорю же я, чорт возьми, что коко Ролан, или король Ролан, если вам угодно, достаточно вознаграждает себя за ранее соблюдавшиеся им посты, и я хочу рассказать вам по этому поводу одно совершенно истинное происшествие, которое сможет составить современем добрую главу в истории добродетельного Ролана.

«Несколько дней тому назад, чорт возьми, с полдюжины санкюлотов, которых я не побоюсь назвать: администратор департамента Гренар, член Коммуны Мулинэ Дюпле, комиесары секции Республики Пуссен и Оже,—явились в виде депутации к этому старому хрену; к несчастию, это было в момент обеда. — «Чего фам надо?» — спросил ломаным языком швейцар, останавливая их у двери.—«Нам нужно поговорить с добродетельным Роланом». — «Здесь нет никаких добродетельных» (L'être point ici de vertueux), —возразил толстый привратник, жирный и коротко остриженный, протягивая лапу, не хуже, чем в былые времена нормандский прокурор.—«Не нам смазывать ее,—сказал друг Гренар,—мы должны проходить бесплатно, как капуцины, потому что мы посланы санкюлотами».

«При этих словах швейцар скрывается в свою ложу, как улитка в свою раковину, после того как она на минуту высунула свои рога. Наши санкюлоты, пройдя коридор, появляются в передней добродетельного Ролана. Они еле могут пробиться сквозь толпу челяди, наполняющей ее. Добрых две дюжины поваров, нагруженных самыми тонкими блюдами, кричат во все горло: «Сторонись, сторонись, дайте дорогу, вот закуски добродетельного Ролана»; другие кричат: «вот hors d'oeuvre добродетельного Ролана»; третьи: «вот жаркое добродетельного Ролана»; иные: «вот фритюры добродетельного Ролана».—«Что вам угодно?» спросил депутатов камердинер добродетельного Ролана».—«Мы желаем говорить с добродетельным Роланом».—«Он сейчас никого не принимает».—«Скажите ему, что он всегда должен принимать должностных лиц народа!»

«Камердинер идет доложить это заявление добродетельному Ролану, который появляется с недовольным видом и полным ртом, с салфеткой под мышкой.—«По всей вероятности, Республика в опасности,—говорит он,—если вы так

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

настойчиво отрываете меня от моего обеда», и т. д. Ролан ведет моих молодцов в свой кабинет, сначала через столовую, где находится в это время более тридцати прихлебателей. На почетном конце стола, по правую сторону от добродетельного Ролана помещался Бюссатье, по левую сторону—доноситель на Робеспьера, маленький Луве, с лицом словно из папье-маше и впалыми глазами, бросавший блудливые взгляды на жену добродетельного Ролана, далее Барбару и т. п.».

«Среди этого шума и гама дессерт летит вниз, и комиссары уходят представить отчет департаменту о своих действиях и в особенности об обильном обеде добродетельного Ролана».

Узнав о погибшем дессерте «жена добродетельного Ролана в раздражении срывает с себя накладные волосы». (Статья, приведенная у г. Добана, который вполне основательно замечает, что статьи Гебера не всегда легко найти; даже коллекция их в Национальной Библиотеке не совсем полна).

Увы! В момент, когда я заношу на бумагу эти строки, я чувствую, как на м-ме Ролан надвигается трагическая тень смерти. Я вижу ореол ее мужества, и мне кажется, что, воспроизводя эти оскорбительные выражения, я допускаю святотатство. Но человеческая история, это—большая река с мутными, бурливыми водами. Я не имею права выбирать. Добавлю с еще большею грустью, что героическая, ослепленная женщина, которую так низко оскорбляет Гебер, причинила Революции и своим собственным друзьям неисчислимое зло. Грязный поток, извергаемый Гебером, вытекает из источника глубочайшей истины. О, блестящие жирондисты, эгоистические и легкомысленные люди, как я досадую на вас за то, что вы на момент сами усилили Гебера, обратив к нему сердце народа, лишившееся благодаря вашим ошибкам всяких благородных симпатий. Как грустна эта распря, в которой оскорбляемые виновны, а оскорбитель отвратителен!

В № 202 (в конце декабря) Гебер упорно продолжает свои нападки:

«Мы уничтожили королевскую власть и, чорт возьми, позволяем возвышаться, вместо нее, другой, еще более отвратительной тирании. Нежная половина добродетельного Ролана ведет теперь Францию на помочах, как прежде Помпадур и Дюбарри. Бриссо — обер - шталмейстер этой новой королевы, Луве—ее камергер, Бюзо—великий канцлер, Фоше—придворный духовник, Барбару, которого Марат называет полицейским шпионом, — командир гвардии, Верньо—главный церемониймейстер, Гюаде—виночерпий, Лантенас—привратник. Таков, чорт возьми, новый двор, от которого зависит теперь все и вся в Конвенте и департаментах.

«Она заседает каждый вечер, в сумерки, там же, где Антуанета подготовляла вместе с австрийским комитетом Варфоломеевскую ночь. Растянувшись на софе, как бывшая королева, госпожа Коко, окруженная своими умниками, рассуждает вкривь и вкось о войне, о политике, о снабжении. В этом-то притоне фабрикуются все афиши».

В № 204 Père Duchesne изображает разговор Бриссо с Бюзо:

«Что касается тебя, мой дорогой Бюзо, то, согласись, с твоей стороны было бы чертовски глупо оставаться просто честным человеком. После Учредительного Собрания ты удалился в свой департамент, обремененный славой, но с легким карманом. Пришлось вернуться к образу жизни мелкого провинциального адвоката, и ты вынужден был питаться картофелем. Став членом Конвента, ты использовал этот случай, чтобы сделаться важной особой. Согласись, что прекрасно служить правой рукой такого человека, как я. Я тебя ввел в общество умных людей, управляющих Францией; без меня ты не был бы нежно любим обожателями добродетельной супруги добродетельного Ролана. Какое

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

наслаждение репетировать у ее ног роль, которую ты должен играть на следующий день в Конвенте, слышать ее аплодисменты, когда ты декламируешь какую-нибудь удачную тираду против Робеспьера, видеть ее млеющей в твоих об'ятиях, когда тебе удается с одного маху добиться какого-нибудь хорошенького декрета, с целью изгнать тех, кто сделал Революцию, или зажечь гражданскую войну между Парижем и департаментами».

В этом случае заряды Гебера попадали не в бровь, а прямо в глаз. При посредстве Бюзо г-жа Ролан, действительно, пользовалась в Конвенте очень нехорошим влиянием.

В № 205 (начало января 1793 года), Père Duchesne высмеивает с грубым и комическим юмором смехотворные страхи Ролана, его беспрестанные россказни о несуществовавших тогда заговорах. Но разве Ролан не сам вызвал эти неприличные, мстительные выходки, представив Конвенту нелепый документ, в котором заштатный полицейский чиновник сфабриковал план заговора и старался скомпрометировать Робеспьера?

«№ 205: Новогодние визиты отца Дюшена, 1 января 1793 года.

«Чертовски патриотические подарки, которые он преподносит жене Коко Ролана. Его большое сражение с этим старым хреном, которого он избавляет от греха лености, с целью научить его жить и воспрепятствовать ему искать ссоры с обитателями Парнжа. Большая беда, случившаяся с обойщиком Луве, пожелавшим оклеить углы улиц розовыми афишами, направленными против санкюлотов.

«Итак, вот он окончился, этот знаменитый год, который был бы последним годом королей, если бы не было на свете некоего Ролана и некоего Бриссо. Я надеюсь, что начавшийся год освободит нас от всех дьяволов, вставляющих палки в колеса, задерживающих наступление царства свободы и равенства. Заваривается новая революция. 1793 год будет последним годом дома Роланов и Бриссо. Они этого ждут, и как маленькие угри, кричат раньше, чем им станет больно от того, что с них сдирают кожу. Министр Коко только и бредит восстаниями и фонарями. Каждую ночь он задыхается гораздо больше от страха, чем от скопления мокроты. Несколько дней тому назад он совсем решил, что настал его последний час. Это—фарс, от которого можно умереть со смеху, и которым надо угостить наших товарищей санкюлотов.

«Было около полуночи, и добродетельная Роланша, в об'ятиях своего негритенка Лантенаса, вознаграждала себя за нравственные наслаждения, доставляемые ей ее мужем.

«Беременная речью, которою на следующий день должен был разрешиться обойщик, она находилась в родовых муках, как вдруг входит, запыхавшись, Луве и прерывает их забавы.

«Этому молодчику, стоявшему на часах, привидилось начало восстания. «Анархия,—закричал он,—в самом разгаре. Они собираются распороть брюхо Луи Капету, распотрошить министров, честных членов Конвента и кастрировать всех наших друзей бриссотинцев». При этих словах Роландша падает в обморок. Ее Лантенас ревет, Луве бежит предупредить добродетельного Ролана. Тот в испуге просыпается, шевелит своими длинными ушами. — «Что такое?.. Где они?.. Моя жена... циркуляр, курьеры, восемьдесят четыре департамента, мои приказы... Бриссо, Бриссо... Мэр ничего не написал мне. Министры не явились, меня оставляют... созовите Коммуну, созовите Конвент... набат, пушку... Мои туфли, мой колпак... К оружию! Ах, м-ме Ролан! Луве, позовите ее...

Электронный архив библиотеки МГУ имени А. А. Кулешова

Нет, оставьте... А не то моя речь не будет готова. А ты, часовой Луве, отправляйся к своему посту; печатай, мой друг, расклеивай, расклеивай... Беги в клуб».— И вот мои молодчики оклеивают своими нелепостями все улицы, по которым должно пройти святое восстание.

«Вы расхохотались бы, чорт возьми, если бы посмотрели на Луве, нежного Лантенаса и Кастрю-де-Банкала. Они преподносили вам груды своих глупостей; но вот еще другие. Бедный Луве хочет подняться на одну ступенку лестницы выше, чтобы наклеить нравоучительную сказку (conte) розового цвета (отчет— compte rendu—об управлении делами министерства Ролана: Гебер играет словом compte); его тонкие журавлиные ноги бургундца переплетаются, и он хлопается поясницей на голову этой жабы Лантенаса; горшок с клеем нахлобучивается, в виде полицейской фуражки, на голову Банкалю и окрашивает его нос в цвет пряника. Посмеявшись немного над рожами, которые корчили эти молодчики, я, закурив трубку, отправляюсь посмотреть, что делается у Роланов. Там все было вверх дном. Я пользуюсь свободным входом повсюду. Неужели я не найду этой женщины.— «Ах! это вы, господин Дюшен?»—«Эх! Да, это я, самый настоящий из настоящих отцов Дюшенов; а где же твой рогоносец?»—«Не сердитесь, господин Дюшен!»—«А я хочу сердиться, я... Я давно уже замечаю все ваши махинации. Ты тоже желаешь корчить из себя политика... Но, тысяча чертей, отец Дюшен выши бет это из тебя. Где он, этот добродетельный?»—«Господин Дюшен, он в Совете.»—«Ну, чорт возьми, надо бы посмотреть этот Совет.»—«Постойте; посветите г-ну Дюшену.»—«Э! я вижу даже слишком ясно для вашего брата».—Я выхожу на улицу; погода была прескверная... Ищу везде бунта, и, чорт подери, оказывается, что он существовал только в голове этого старого болвана. Наконец, прихожу в этот Совет; я рассчитывал встретить там почтенных членов, но этот паршивец был совершенно один в углу. Я, чорт подери, громко кашлянул; он же подумал, что это пушечный выстрел и побежал к камину.—«Это я, только я».—«А кто это?»—«Отец Дюшен, чорт возьми!».—«Ах, г-н Дюшен, как во-время вы пришли!»—«Что? ты смеешься надо мною со своим господином Дюшеном; но я прощаю тебе это,—ты боишься. Вот, что значит делать глупости».—(Ролан, дрожа еще сильнее): «Ах, господин... гражданин Дюшен; как вы счастливы, что не боитесь!»—«Никакого господина, но гражданин, настоящий отец Дюшен».— «Моя жена, обладающая таким крепким сложением, до сих пор еще вся дрожит».—«Но кто это смастерил такого паршивца, как ты? И зачем только ты устраивал кутежи для всех этих об'едал, приходящих к тебе проедать два миллиона? Разве за тем только, чтобы было произнесено красивое надгробное слово, когда ты умрешь и твой костяк будет служить цементом для моих печей?»

Человек, который обливал так помоями Жиронду и ее министра, сделался избранником Парижа; народ предместий своим громким веселым или злобным смехом вымещал на жирондистах их провокации и угрозы. Они об'явили войну Парижу, который, после потрясения десятого августа и кровавых сентябрьских испытаний, жаждал только забвения и согласия. Создалось положение, когда эти мужественные революционеры, которые рисковали головой десятого августа и, свергнув королевскую власть, считали себя вне всякой опасности, должны были задать себе вопрос: уж не собирается ли Жиронда погубить их? Как! Ускользнуть от меча короля, чтобы пасть под ножом Революции! Ими овладело страшное возмущение: Жиронда заставила их сказать себе, что, если они не станут убивать, они сами погибнут. С другой стороны, громко сообщая о воображаемых восстаниях и предполагаемых заговорах, которые были нужны ей для оправдания политики репрессий и террора, Жиронда, начиная с конца 1792 года, подсказала народу мысль, что нужно покончить дело путем восстания. С начала января Père Duchesne об'являет, что «заваривается новая рево-

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

люция». Жиронда уже погибла; она, как бы нарочно, разрушила устои, на которые сначала опиралась; оттолкнула от себя и подорвала народные симпатии; обратила против себя трезвые умы и прямые души, чуждые предубеждений и ненавистничества.

Для этого момента чрезвычайно характерны душевные переживания такого человека, как Леба; они похожи на то, что совершалось в душе Кутона. К тому же Леба был первоначально более свежим, более свободным от всяких партийных впечатлений, более деятельным. Я уже отметил его удивление, когда, приехав в Париж, он не нашел его таким бурным, как это изображали жирондистские газеты и плакаты, и без сомнения эта первая испытанная им ложь Жиронды послужила для него предостережением. Но он не обращает на нее внимания. Даже после первых тягостных заседаний, в которых Бюзо бьет в набат гражданской войны, он не поддается и отказывается верить в окончательный разрыв. 29-го сентября он пишет своему отцу:

«Дела Конвента идут д о в о л ь н о х о р о ш о. Новости из армии удовлетворительны, и все, повидимому, обещает успех справедливого дела». 3-го октября вера еще преобладает. Радостное чувство, вызванное успехами свободы, ослабляет тяжелое впечатление от внутренних раздоров.

«Новости, полученные сегодня, которые ты подробно узнаешь из бюллетеня, который я тебе вышлю завтра, должны усилить твою надежду, что скоро страна свободы будет очищена от разбойников, желавших разорить ее и начавших уже исполнение своих страшных планов. Н е с м о т р я н а н е к о т о р ы е м е л к и е н е с о г л а с и я, н е и з б е ж н ы е в б о л ь ш и х с о б р а н и я х, о с о б е н н о в о в р е м я Р е в о л ю ц и и, Конвент, повидимому, всегда проникнут в общем добрым духом и готов к выполнению своего высокого предназначения. В нем слишком много крупных талантов, чтобы я решился высказать без нужды мнение, которое другие разовьют лучше меня. Важно хорошо поступать, хорошо слушать для того, чтобы хорошо голосовать, и говорить только тогда, когда требуется высказать истину, которая без тебя ускользнет от внимания других. Теперь дело идет не о нашем личном, мелочном тщеславии, но о спасении Республики. Вот мои принципы, и я тем сильнее придерживаюсь их, что это—принципы многих депутатов, превосходству которых я с удовольствием отдаю дань почтения».

О, как легко было бы Жиронде, если бы она пошла за широкой политикой Дантона, сгруппировать все эти честные, скромные и проникнутые гордой волей элементы и создать единую, ни с чем не сравнимую революционную и национальную силу, полную энтузиазма и в то же время уравновешенную! Общественный порядок покоился бы тогда на незыблемой скале человеческих умов и сердец. Но нет, Жиронда агитировала, декламировала, клеветала, и покров согласия, который Леба все еще усиленно старался набросить на раз'яренных людей и мятущиеся в беспорядке события, наконец, разрывается. 27-го ноября он пишет отцу:

«Я п о с ы л а ю т е б е о д н у б р о ш ю р к у: о н а д а с т т е б е п р е д с т а в л е н и е о ц а р я щ и х с р е д и н а с р а з д о р а х. К а к о в ы б ы т о н и б ы л и п л а н ы т е х, к т о т а к г р о м к о к р и ч и т о б а г и т а т о р а х, д л я х о р о ш е г о н а б л ю д а т е л я п о в е д е н и е и х в п о л н е я с н о. Э т о н е п о в е д е н и е и с т и н н ы х п а т р и о т о в и о ч е н ь н а п о м и н а е т п о в е д е н и е ф е л ь я н о в, о т к о т о р ы х о н и п о ч т и п о л н о с т ь ю п е р е н я л и о б р а з д е й с т в и й и п р а в и л а, и к о т о р ы х д о в о л ь н о к у р ь е з н о в и д е т ь в о д н о й к о м п а н и и с а р и с т о к р а т а м и, с р е д и и х с т о р о н н и к о в, п р и с о е д и н я ю щ и м и с я к н и м, ч т о б ы с б и т ь с т о л к у о б щ е с т в е н н о е м н е н и е, л и ш и т ь

Электронный архив библиотеки МГПИ имени А.А. Кулешова

популярности самых пылких защитников свободы и провоцировать губительные для свободы декреты».

Конечно, шаг сделан. Жиронда с неистовством отбросила в сторону Робеспьера тех, кто требовал только великого революционного единения. Под пером Леба нападки на Жиронду и недовольство против нее становятся все определеннее и увеличиваются.

Но если Жиронда ослабела, если она нанесла себе удары, действие которых должно было в более или менее близком будущем стать для нее смертельным, она все еще была могущественна. При отсутствии великого и прекрасного единства революционных сил, порождаемого согласием, в Конвенте не было еще того узкого и жестокого единства, которое вытекает из полного отстранения одной партии другой. Несмотря на то, что Конвент был расшатан и выбит из колеи распрями, все же перед этим великим хаотическим и бурным собранием стояли самые грозные проблемы. Революция пришла в соприкосновение с Европой, можно сказать со всем миром. Ее армии переходят границу; но что станет она делать за пределами страны? Какую организацию даст она народам? Какое реальное глубокое содействие встретит она с их стороны? Каковы тайны германской и английской души? Какое впечатление произведут на народы события, развивающиеся или подготовляющиеся во Франции? Как примут они осуждение короля и, может быть, его смерть? Обновляя мир, натолкнется ли революция на непреодолимую силу противодействия или, наоборот, она возбудит решительные симпатии, или же, наконец, она вызовет противоречивые, нерешительные, двойственные усилия, неустойчивые колебания между согласием и сопротивлением? Что, в самом деле, думает мир о нашей Революции? Страшная и глубоко жизненная проблема! Сможет ли рычаг, который Франция держит в своих руках, поднять человеческую массу, или же он сломается, и всеобщее порабощение обрушится всей своей тяжестью на обессиленную освободительницу? Вот вопросы, которые, без сомнения, ставили себе революционеры конца 1792 года. Вот душевные муки, которые, несмотря на упоение первыми победами, угнетали, вероятно, не одно сознание. Великое дыхание надежды, казалось, все поднимало, все уносило на своем пути. Но, благодаря войне, Франция становилась теперь солидарной со всем миром: чего хотят народы? Чем могут стать они? Что они будут делать? Какую цену имели первые адресы, полученные Конвентом, и чувства какой части общества выражали они? В какой мере люди были готовы содействовать революции или принять ее? Слишком часто в историях революции всю сцену заполняет почти одна Франция. Другие народы находятся как бы в некотором отдалении. Революционеры 1792 года имели об остальном мире лишь крайне поверхностное и неопределенное представление. Судя по упрощенному взгляду, который французское сознание составило себе на эту великую драму, можно подумать, что в этот момент существовало только две активные силы: сила революционной Франции и сила вступивших в коалицию тиранов. Народные массы Европы представляются лишь как неизвестная, неясная сила, из-за которой спорят между собой противоположные тенденции. Обязанность историка, в особенности историка-социалиста, желающего разрушить узкие национальные предрассудки, состоит в том, чтобы тщательно исследовать мысли и настроения народов, принимавших то или иное участие в великой драме Революции.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЧАСТЬ I.

Введение. От 10 августа до 21 сентября.

Стр.

Гл. I. Парижская Коммуна после 10 августа 1
II. Борьба между Коммуной и Законодательным Собранием. 17
III. Первые неприятности. Дантон 31
IV. Сентябрьская резня 38
V. Выборы в Конвент. 70
VI. Первые партийные схватки. 89
VII. Брожение на экономической почве, проект аграрной реформы. . . 101
VIII. Лонгви. — Верден. — Вальми. 115

ЧАСТЬ II.

Республика.

Гл. IX. Настроение в Конвенте. Провозглашение Республики 128
X. Успехи революционных армий. Жемапп. Майнц. 136
XI. Адресы из Англии. Присоединение Савойи. Опьянение победами. . 153

ЧАСТЬ III.

Затруднения и партийные раздоры.

Гл. XII. Контр-революционные заговоры и агитация на религиозной почве. Вопрос о бюджете вероисповеданий. Дебаты в Якобинском клубе. Точка зрения Робеспьера. 165
XIII. Финансово-экономическое положение. Кредитные билеты. 195
XIV. Рост цен на съестные припасы, особенно на зерно. Тревожное настроение. Борьба за повышение заработной платы 211
XV. Проекты и системы. Лионский социалист Л'Анж. 244
XVI. Петиции о таксе. Экономическая теория Сен-Жюста 262
XVII. Партийная склока. Непримиримость жирондистов, их притязания. Жирондистская кампания против Робеспьера. Злосчастная роль Ролана. 277

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова